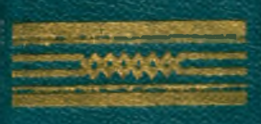

Д.И.ПИСАРЕВ

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ПАМЯТНИКИ
МИРОВОЙ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ И КРИТИЧЕСКОЙ
МЫСЛИ

Д. И. ПИСАРЕВ

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАД 1968

8 PI
П 34

Составление,
подготовка текста и примечания
Ю. С. Сорокина

Оформление художника
Л. Яценко

7—2—3
251—68

Д. И. ПИСАРЕВ И ЕГО «ТЕОРИЯ РЕАЛИЗМА»

Исполнилось сто лет со дня смерти Писарева. Писарев погиб, не достигнув двадцати восьми лет[1]. Его литературная деятельность началась рано, когда ему было всего восемнадцать лет, и продолжалась недолго — около восьми лет, если не считать вынужденных перерывов. Но она оставила глубокий и яркий след в истории русской общественной мысли. Его произведения неоднократно вызывали горячие споры, идеи, в них заключенные, живо обсуждались и в кругах демократической интеллигенции 60—80-х годов и в марксистских кружках 90-х годов. Н. К. Крупская вспоминала о том, как во время шушенской ссылки В. И. Ленин говорил ей, что он «сам зачитывался Писаревым и нахваливал смелость его мысли»[2].

В судьбе Писарева есть много общего с судьбой Добролюбова. Их деятельность началась рано и преждевременно оборвалась, оба они были властителями дум передовой демократической молодежи своего времени.

Как отметил еще В. В. Воровский в 1908 году, «крупная фигура Дм. Ив. Писарева, промелькнувшая, как метеор, в 60-е гг. и вызвавшая целую бурю в современной ему критике, до сих пор еще мало освещена»[3].

Конечно, с тех пор, когда писались эти строки, многое изменилось. Трудами советских литературоведов, историков и философов сделано немало для углубленного и разностороннего освещения исторического значения литературного наследия Писарева и определения его места в истории общественной мысли. Теперь уже укрепился взгляд на Писарева как на выдающегося представителя революционно-демократического движения

---

[1] Он утонул во время купанья в Дубельне (ныне Дубулты), на Рижском взморье, 4 (16) июля 1868 г.

[2] Н. К. Крупская, Педагогические сочинения, т. 8, М. 1960, стр. 582.

[3] В. В. Воровский, Литературно-критические статьи, М. 1956, стр. 199.

60-х годов. С особенною силою отмечено то, что объединяло его с Чернышевским и Добролюбовым: защита и развитие идей материализма, страстная борьба с идеализмом и религией, пристальное внимание к вопросу о роли трудящихся масс в истории и об историческом значении революционного действия, так же как и последовательная борьба с политической и идеологической реакцией и решительное развенчание буржуазно-дворянского либерализма во всех его проявлениях.

Но вместе с тем следует признать, что некоторые специфические особенности мировоззрения Писарева, определение того особого места, которое его публицистика занимает в общем потоке демократической публицистики 1860 годов, еще требуют пристального исследования. В произведениях Писарева выступают, иногда очень резко, такие противоречия, которые нуждаются в самом внимательном истолковании.

В значительной степени эти черты в мировоззрении Писарева определяются особенностями той сложной эволюции, которая отмечается на протяжении его недолгой, но чрезвычайно интенсивной литературной деятельности. Духовное развитие Писарева заметно отличается от того пути, который прошли Чернышевский и Добролюбов. Они рано оформились как писатели, прочно занявшие революционно-демократические позиции. Их мировоззрение определилось с начала журнальной деятельности в «Современнике». Зримого для современных им читателей периода «ученичества» в их журнальной деятельности не было.

У Писарева, напротив, оригинальная и цельная система убеждений складывалась уже в то время, когда он стал известным журналистом. Первые годы его деятельности представляют своего рода «эмбриональный период».

Чернышевский и Добролюбов пришли в революционное движение из разночинной среды, они уже с детства познали и тяжкую участь и заботы о трудовом куске хлеба. Они были старше Писарева и в годы своего становления пережили удушающее действие николаевской реакции, рано закалились как борцы демократического лагеря.

Писарев пришел в демократическое движение из иной среды. В детстве его окружала тепличная обстановка довольно обеспеченной, культурной дворянской семьи. В юные годы его влекла к себе сфера лирической поэзии, общие интересы спокойного, гуманного интеллектуального саморазвития. Поступив на историко-филологический факультет Петербургского университета в 1856 году, он еще мечтал о спокойной ученой карьере. По собственным признаниям [1], он был в эти годы далек от революционных стремлений. Особенно тесно был он связан с кружком студентов, которые культивировали сугубо специальные, филологические интересы. Даже в 1858 году, когда борьба различных политических направлений в стране уже сильно обострилась и значительная часть студенчества была захвачена новыми идеями, Писареву, как и его ближайшим товарищам, был еще чужд, по его собственным свидетельствам, Добролюбов и его взгляды.

---

[1] В статье «Наша университетская наука».

I

В 1859 году, еще не закончив университета, Писарев вступил на путь, «исполненный, — как он иронически писал позднее, — суеты и гордыни», с точки зрения присяжного «специалиста». Он стал сотрудником «журнала для девиц» «Рассвет». Журнал этот, который должен был «развивать» девиц, но вместе с тем, по шутливому определению Писарева, и «не огорчать... почтенных родителей», был довольно прогрессивным, но по общему направлению своему не очень определенным. Писарев вел в нем критико-библиографический отдел. «Один год журнальной работы, — вспоминал он позднее, — принес больше пользы моему умственному развитию, чем два года усиленных занятий в университете и в библиотеке».

Обратившись к статьям и рецензиям Писарева в «Рассвете», мы увидим, что мировоззрение критика оставалось еще не выработанным, сочетавшим в себе элементы разнородного характера. Отчасти это объяснялось скромными педагогическими задачами «журнала для девиц», но не только этим. Бурная общественная атмосфера тех лет еще только едва затронула юного журналиста.

1859 год отмечен в истории России как начало первой революционной ситуации. Борьба вокруг реформ и особенно вокруг «крестьянского вопроса» становилась все резче и сильнее. Самое острое значение приобретало последовательное идейное размежевание сторон, борьба демократов против тех, кто проводил идеи политического компромисса с правительством и крепостниками. Вот почему «Современник» Чернышевского и Добролюбова в это время уделяет особенное внимание разоблачению буржуазно-дворянского либерализма и готовящейся сделки либералов с крепостниками. В известном письме «Русского человека» к Герцену, опубликованном в «Колоколе» весной 1860 года и исходившем, несомненно, от руководителей революционно-демократического движения в России [1], помимо критики уклонений к либерализму у Герцена, впервые со всей отчетливостью формулируется основной девиз демократов: звать Русь «к топору», то есть делать ставку на подготовку прямого выступления масс против существующего строя.

Журналистика 1859 и 1860 годов уже достаточно резко отражает это размежевание классов и партий. «Русский вестник» Каткова, начавший с либерально-консервативной программы, самым недвусмысленным образом эволюционирует в сторону реакции. «Журнал для землевладельцев» откровенно отстаивает интересы крепостников. «Отечественные записки» и «Библиотека для чтения» занимают уклончиво-либеральные позиции. «Современник» с первых книжек 1859 года предпринимает решительное наступление не только на крепостников, но и на блокирующихся с ними либералов. На страницах «Современника» разоблачаются основные лидеры реакции и либерализма в журналистике — Катков, Чичерин, Громека, Дружинин и др. Борьба захватывает самые различные идеологические сферы —

---

[1] Вопрос об авторе этого «Письма из провинции» остается до сих пор не решенным окончательно; многие считают, опираясь на некоторые свидетельства, что им был Чернышевский.

социально-экономические теории, политику, философию, эстетику и литературную критику.

Молодой рецензент «Рассвета» еще не подготовлен для того, чтобы занять в этом размежевании четкую позицию.

Общее направление статей и рецензий Писарева, опубликованных в «Рассвете», было прогрессивным. Особенно это касается темы женской эмансипации, занимавшей там видное место. Писарев настойчиво проводит мысль о необходимости для женщины участвовать во всех областях умственной и практической деятельности. В этом отношении Писарев сходится с публицистикой «Современника», сочувственно отзываясь о статьях М. Л. Михайлова на эту тему. Но по другим вопросам молодой критик высказывает мысли, которые не всегда легко отграничить от типичных суждений публицистики «Отечественных записок» или «Библиотеки для чтения».

Очень наглядно это выступает в темах эстетического характера. На суждениях Писарева, конечно, уже лежит печать влияния передовой критики — в освещении проблем художественности литературных произведений, во взгляде на литературу как на отражение действительности, в признании важности правдивого и глубокого изображения действительности и важности роли литературы в воспитании молодого поколения, в высоких оценках русской реалистической школы. Наиболее значительные статьи Писарева за 1859 год были посвящены анализу, часто психологически тонкому и глубокому, романов «Дворянское гнездо» и «Обломов», рассказа Л. Толстого «Три смерти». Но на примере этих статей видно также, какое расстояние еще отделяет начинающего критика от наиболее волнующих демократическую критику того времени проблем.

Если у Добролюбова анализ романа Гончарова вел к постановке острых социально-политических вопросов современности, к характеристике «обломовщины» как порождения целой эпохи общественных отношений, к полемическому удару по «обломовцам» как представителям социально-политической инерции и реакции, то в статье Писарева даются более расплывчатые оценки. Обломов, конечно, также признается прямым порождением всей атмосферы русского барства, «старорусской жизни»; Ольга Ильинская также симпатична Писареву своим стремлением к самостоятельности; но вместе с тем он готов согласиться с Гончаровым в том, что Штольц может служить образцом нового практического деятеля [1].

Трудно себе представить будущего «разрушителя эстетики» как проводника концепций «искусства для искусства». Но, однако, и это имеет место в статьях и рецензиях 1859 и 1860 годов. Характерна даже сама фразеология. В статье о рассказах Марко Вовчка, относящейся к лету 1860 года, где Писарев подробно излагает сложившуюся к тому времени у него общественно-историческую и эстетическую концепцию, он, не оби-

---

[1] В полном противоречии с тем, что он напишет по поводу «Обломова» два года спустя. Ср. статью «Писемский, Тургенев и Гончаров» (1861), где прямо говорится, что Штольц «представлен вне жизни», что «сооружение» этой добродетельной фигуры отражает типичные либеральные поползновения и «вышло до крайности неудачным» (Д. И. Писарев, Сочинения, т. 1, М. 1955, стр. 204—205).

нуясь, называет каждого «порядочного писателя» «жрецом чистого искусства», о его деятельности говорит как «о священнодействии» и т. д.

Зрелый Писарев известен не только как враг деспотизма, самодержавия, но и как убежденный противник всякого рода аристократических тенденций. «Умственная аристократия» ему чужда не менее, чем аристократия как социальный слой и форма правления. В статье о Марко Вовчке, безусловно осуждая деспотизм, молодой критик пытается взывать к аристократии как к традиционной хранительнице «вольностей» и духовной независимости. Так, говоря о преимуществах английского конституционного строя, он объясняет их именно наличием в Англии «самой сильной» и «самой умной» аристократии, которая, «не отрываясь от народа, умела управлять им, становиться во главе его в трудных случаях и постоянно противодействовать бюрократо-деспотическому началу, которое старалась усилить и провести монархическая власть» [1].

Однако в этой довольно пестрой и нестойкой амальгаме ранних суждений, пристрастий и антипатий есть один мотив, который заметно усиливается и как бы перебрасывает мост в следующий период деятельности. В той же статье о Марко Вовчке Писарев подчеркивает, что центральной задачей времени является воспитание гармонически цельного человека, стоящего на уровне знаний своей эпохи, достигшего гуманного развития и вполне независимого от любых насильственных посягательств извне, выражает протест против застойной социальной среды, безусловно осуждает то, что гнетет и давит личность, провозглашает ее право на борьбу против гнета. В свете этого идеала свободной личности он и оценивал бурные общественные события 1861 года. С этими убеждениями пришел он в новый журнал — «Русское слово».

II

Журнал «Русское слово» начал издаваться в 1859 году на средства богатого барина и писателя-дилетанта, графа Г. А. Кушелева-Безбородко. Направление журнала на первых порах было расплывчатым; его политическая программа не шла далее умеренного либерализма. Дело изменилось с 1860 года, когда редактором журнала стал Г. Е. Благосветлов, занимающий одно из выдающихся мест в истории демократической журналистики 60—70-х годов. Под его редакцией журнал «Русское слово» становится одним из органов демократического направления.

---

[1] Д. И. Писарев, Сочинения, дополн. выпуск, изд. 3-е, СПб. 1913, стр. 108. — Ср. в статье «Исторические идеи Огюста Конта» (1865): «Аристократический образ правления может сделаться, и обыкновенно делается, для народа тяжелее самого безумного личного деспотизма; привилегированное сословие может устроить такую утонченную, многостороннюю и систематическую эксплуатацию масс, в которой вовсе не нуждается единичный деспот. С этой точки зрения аристократия хуже всякой тирании» (Д. И. Писарев, Сочинения, изд. 5-е, т. V, СПб. 1911, стр. 365).

Писарев был привлечен к участию в журнале в конце 1860 года. С весны 1861 года его статьи публикуются там уже регулярно. Первый период сотрудничества Писарева в «Русском слове» охватывает немногим более полутора лет. За это время, если не считать переводов из Гейне и ряда рецензий, им было опубликовано в журнале семнадцать больших статей самого различного содержания. Здесь и общие полемические статьи, направленные против реакционно-либеральной публицистики, и статьи на исторические темы, работы философские и научно-популярные и, наконец, несколько литературно-критических статей.

Незадолго до прихода в «Русское слово» Писарев пережил духовный кризис. Основы старого мировоззрения, столь ощутимые в статьях для «Рассвета», пошатнулись. В результате напряженных занятий в конце университетского курса впечатлительный юноша перенес краткое, но тяжелое психическое заболевание. Он впал тогда, по его собственным словам, в напряженно-восторженное состояние, представлял себя каким-то титаном, Прометеем, вступившим в битву с богами. За крайним напряжением сил последовала депрессия, от которой Писарев оправился к лету 1860 года.

Писарев дальнейший решительный поворот в своих воззрениях связывает с обращением к творчеству Гейне. «В 1860 году, — писал он в статье «Промахи незрелой мысли» (1864), — в моем развитии произошел довольно крутой поворот. Гейне сделался моим любимым поэтом, а в сочинениях Гейне мне все больше стали нравиться самые резкие ноты его смеха». Ирония Гейне, характерные для него сарказмы, двойственный характер его поэзии, так ярко отражавший столкновение двух исторических эпох и мировоззрений, тяготение к демократии и революционности, сочетавшееся с отголосками старых лирических симпатий, создавали благоприятную почву для совершающегося перелома сознания в молодом критике. Писарев ведет дальнейшее развитие своего мировоззрения в эти годы от Гейне «к естествознанию», а затем уже и «к последовательному реализму и к строжайшей утилитарности». Но, конечно, по понятным причинам, в объяснениях Писарева отсутствуют указания на другие источники и импульсы происшедшего в нем крутого перелома, не менее, а даже, пожалуй, более существенные и определяющие. Писарев постепенно вовлекался в общую атмосферу усиливавшегося демократического движения. На него не могли не влиять студенческие волнения, особенно усилившиеся в 1861 году, в частности, в Петербургском университете, а так же революционная пропаганда, издания Герцена и Огарева, с которыми он теперь знакомится. Влияние Герцена, несомненно, было очень важным, определяющим звеном в эволюции Писарева этих лет. Сближение с Благосветловым также оказало воздействие на формирование новых взглядов Писарева. Во всяком случае, уже с первых статей Писарева, опубликованных в «Русском слове» весной и осенью 1861 года, перед нами выступает сознательный демократ, сочувствовавший общему направлению «Современника», идеям Герцена и Чернышевского.

В этом смысле показательна уже его философская статья «Идеализм Платона», опубликованная в апреле 1861 года. Решительная критика философского идеализма (а еще в рецензиях для «Рассвета» выступало тради-

ционное признание религиозных верований) сочетается в ней с разоблачением реакционных тенденций идеализма.

Писарев принял теперь прямое участие в ожесточенной борьбе между журналами разных политических направлений. Он безоговорочно стал на сторону «Современника», защищал Чернышевского от яростных нападок со стороны реакционной и либерально-охранительной прессы и сам переходил в наступление против реакции, либерального компромисса.

В этом отношении центральное место занимает большая статья «Схоластика XIX века». В отличие от таких статей Чернышевского, как «Антропологический принцип в философии» или «Суеверие и правила логики», в ней нет ни полноты исчерпания выдвинутых тем, ни систематического изложения определенной программы, но некоторые общие положения выдвинуты предельно резко и сильно. Здесь есть свои «сквозные темы», свои ударные мотивы, определенное общественно-политическое кредо. Философское ядро статьи, как и в статье «Идеализм Платона», составляет признание истинности и силы материалистического мировоззрения, так же как и указание на то, что с демократизацией русского общества лишь материалистическая философия может рассчитывать на безусловный успех. «Ни одна философия в мире, — говорит Писарев, — не привьется к русскому уму так прочно и так легко, как современный здоровый и свежий материализм». С этим связано и безусловное отталкивание критика от различных форм идеалистического «умозрительства» и от беспочвенных фраз. Отсюда горячее обращение к факту [1], к непосредственному восприятию действительности. «Очевидность» явления признается «лучшим ручательством действительности». «Невозможность очевидного проявления, — констатируется в статье, — исключает действительность существования». Не трудно заметить в этих резких и лапидарных формулах и силу и уязвимые стороны философской концепции Писарева. Сила ее в безоговорочном признании примата бытия над сознанием, прав действительности в ее естественном развитии. Слабость — в неопределенности ссылок на прямую «очевидность», на непосредственное восприятие как критерий действительности существования, в безоговорочном предпочтении факта перед «теорией». Это создает известную почву для дальнейшего влияния на Писарева философского позитивизма и, соответственно, для некоторых упрощенных решений вопросов теории познания. Напомним: Чернышевский еще в 1855 году писал, что не непосредственное восприятие, а практика является «непреложным пробным камнем всякой теории» [2]. Существенно и другое мнение Писарева, относящееся к вопросу о критерии истины: «Воззрения не могут быть ни истинны, ни ложны: есть мое, ваше воззрение, третье, четвертое и т. д.». Такое заявление, конечно, прежде всего обращено против «абсолютных истин» идеализма, но оно оставляет свободу и для субъективистских истолкований. Здесь, конечно, проявлялась и общая слабость домарксова материализма, его созерцательный характер. Отправным

---

[1] Известен афоризм Писарева, высказанный им в другой статье 1861 года: «Слова и иллюзии гибнут, факты остаются» («Процесс жизни»).

[2] Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. II, Гослитиздат, М. 1949, стр. 102.

пунктом для Писарева, как и для Чернышевского и Добролюбова, служил материализм Фейербаха. Но Чернышевский и Добролюбов развивали эту философскую концепцию дальше, и это находилось в тесной связи с их общей революционной позицией. Критерием истины признавалась практика, практика революционного действия выдвигалась как основной критерий прогресса в социальной жизни современности. С отдельными слабыми пунктами философского мировоззрения Писарева неразрывно связана также и известная ограниченность его социально-политической программы.

Отрицание старого и отжившего выражено в статье решительно, запальчиво и резко: «Вот ultimatum нашего лагеря: что можно разбить, то и нужно разбивать; что выдержит удар, то годится, что разлетится вдребезги, то хлам; во всяком случае, бей направо и налево, от этого вреда не будет и не может быть». Конечно, это требование, выраженное в столь общей и категорической, как бы «нигилистической» форме, должно быть воспринято и понято в определенном социально-историческом контексте. Оно обращено против господствующих идеалистических доктрин, против реакционных заслонов, против либеральных фраз, против крепостнического строя, против нелепых форм «патриархального» быта, против давящего гнета господствующей социальной среды, против самодержавия. Что именно таков смысл этой отрицающей формулы, достаточно отчетливо говорят материалы и других статей Писарева, написанных в эти годы.

Но при всей решительности и радикальности этой программы отрицания, при всей определенности ее исторического содержания, нельзя не заметить ограниченности и известной узости положительной программы Писарева в эти годы. Здесь еще виден неофит демократического движения, только что порвавший со старыми убеждениями, но не вполне еще развивший новые взгляды.

Определяя основную задачу литературы и журналистики в существующих условиях, Писарев выдвигает прежде всего борьбу за эмансипацию личности. «Литература во всех своих видоизменениях, — пишет он, — должна бить в одну точку; она должна всеми своими силами эмансипировать человеческую личность от тех разнообразных стеснений, которые налагают на нее робость собственной мысли, предрассудки касты, авторитет предания, стремление к общему идеалу и весь тот отживший хлам, который мешает живому человеку свободно дышать и развиваться во все стороны». Освобождение личности от всякого рода произвола и стеснений было существенной частью общей демократической программы, выдвинутой передовой русской общественной мыслью 40—60-х годов. Прежде всего имелась в виду свобода ее от крепостнического гнета и полицейских стеснений, но также и внутреннее освобождение личности из-под влияния господствующей реакционной и либерально-дворянской идеологии, выработка цельного материалистического и демократического мировоззрения. Эту программу принимает и Писарев.

Писарев касается в статье и коренного вопроса: об освобождении народа, о его раскрепощении и улучшении условий его жизни. Эта часть требований в подцензурной статье выражена по необходимости «скромно», но также достаточно отчетливо. «Упрочьте экономический быт, обеспечьте ма-

териальную сторону, — говорится там, — и народ... примется читать и даже писать книги», не мешайте народу, удалите препятствия, он сам разовьется». Таким образом, программа предусматривает не только свободное, нестесненное развитие отдельной личности, но и экономическое освобождение народа, широкую демократизацию общества.

Однако конкретные пути, которые выдвигал Писарев для достижения идеала свободной, развитой личности и освобожденного от эксплуатации и угнетения народа, еще обнаруживают известную ограниченность его требований. Подвергая критике в статье «Схоластика XIX века» изолированность сословий в феодально-крепостническом обществе, Писарев ставит на первый план необходимость формирования и гуманизирования «среднего сословия», в чем решающую роль должна играть литература. Необходимо преодолеть оторванность литературы от народа и открыть путь для влияния гуманных идей на все сферы общественной жизни. Чем шире будет круг людей, «способных понять истину и отрешиться от отцовских заблуждений», способных выработать и воспринять разумное миросозерцание, тем большие возможности откроются для преодоления разрыва между народом и передовой частью общества.

Уже в эти годы Писаревым выдвигается, в частности, как особая тема пропаганда и распространение естественнонаучных знаний. Три статьи были специально посвящены популярному изложению вопросов физиологии человека («Процесс жизни», «Физиологические эскизы Молешотта» и «Физиологические картины»). В них Писарев широко воспользовался материалами популярных тогда сочинений немецких ученых — Фогта, Молешотта и Бюхнера. Все они принадлежали к тому разряду вульгарных материалистов, которых Энгельс метко наименовал «разносчиками дешевого материализма». Следы упрощенного понимания вопросов, касающихся материи и сознания, налет поверхностно-механистических истолкований явлений природы заметны и на этих статьях Писарева. Вместе с тем для них характерно постоянное перебрасывание мостов от проблем естественнонаучных к проблемам социологии, общественной жизни. Говоря о том, что нужно для нормального развития и работы человеческого организма, Писарев постоянно имеет в виду право каждого человека на коренное улучшение условий жизни и труда. Впоследствии эта тема займет в творчестве Писарева особо важное место.

Другая тематическая линия, также получившая большое развитие в последующем творчестве Писарева, представлена четырьмя статьями на исторические темы [1]. Среди них выделяется прежде всего статья «Меттерних».

---

[1] «Аполлоний Тианский. Агония древнего римского общества в его политическом, нравственном и религиозном состоянии» («Русское слово», 1861, №№ 6—8), «Меттерних» (1861, №№ 11—12), «Очерки из истории печати во Франции» (1862, №№ 3—5) и «Бедная русская мысль» (1862, №№ 4—5). «Аполлоний Тианский» представляет собою обработку для печати кандидатской диссертации Писарева, подготовленной им еще в 1860 году. К ним примыкает статья «Русский Дон Кихот» о И. В. Киреевском, дающая острую характеристику русского славянофильства 40—50-х годов.

В ней Писарев показывает тщетность усилий этого столпа европейской реакции и вдохновителя «Священного союза», направленных против национально-освободительных и демократических движений. Политика Меттерниха, замечает Писарев, «уже осуждена историей; ее несостоятельность обнаружили итальянские события трех последних годов». Демократическая журналистика с глубоким вниманием следила за развитием национально-освободительного движения в Италии. Прямые сопоставления с демократической борьбой против русского самодержавия были обычными. И статья Писарева, трактующая об австрийских делах кануна революции 1848 года, естественно воспринималась современным читателем как проецированная на русскую действительность того времени.

Статья «Бедная русская мысль» появилась непосредственно перед тем, как журнал был приостановлен по распоряжению правительства. Есть свидетельства, что ее опубликование было одной из непосредственных причин запрещения журнала. В статье, посвященной характеристике Петра I, нашли отражение революционные настроения автора, протест против самодержавного деспотизма. Писарев подчеркивал, что только те преобразования получают великое историческое значение, которые касаются самих основ политического и экономического устройства. Только такие коренные изменения, пишет он, могли бы «стряхнуть с русского мужика его отчаянную апатию, — эту вынужденную апатию безнадежности». «Стряхнуть эту роковую апатию, которую многие совершенно ошибочно принимают за физиологическую черту русского народного характера, мог бы только или сам народ, или такой смелый преобразователь, который... решился бы коснуться основных сторон гражданского и экономического быта нашего простонародья». Но здесь же высказаны и сомнения Писарева в отношении готовности крестьянских масс к решительному выступлению, так же как и горькое признание оторванности интеллигенции от народа, — мотив, очень характерный для произведений Писарева этих лет и во многом определявший его позицию. «Проснулся ли он (то есть народ. — *Ю. С.*) теперь, — говорится в статье, — просыпается ли, спит ли по-прежнему, — мы не знаем. Народ с нами не говорит, и мы его не понимаем».

* * *

Литературная критика занимала в демократической журналистике особое и выдающееся положение. Анализ литературных произведений служил не только истолкованию тех материалов и сторон действительной жизни, которые в них отражались, но и доведению до сознания читателя основных требований и задач демократического движения. Писарев уже в первых литературно-критических статьях в «Русском слове» примкнул к этой традиции Белинского, Чернышевского и Добролюбова. Его статьи — «Стоячая вода», «Писемский, Тургенев и Гончаров» и «Женские типы в романах и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова» (1861), «Базаров»

(1862) — образуют органическое идейное единство с другими его произведениями этих лет, в них находят конкретизацию те программные заявления, которые были выдвинуты в «Схоластике XIX века».

Осуждение всего отжившего, решительный протест против социального угнетения и подавления личности — основной нерв и этих статей. В них звучат и страстные призывы к деятельности, к духовной и нравственной независимости всех, кто способен противостоять этой «стоячей воде» старого социального уклада. Самостоятельное духовное развитие выдвигается при этом на первый план. «Только тот, кто переработал идею, — заявляет Писарев, — способен сделаться деятелем или изменить условия своей собственной жизни под влиянием воспринятой им идеи, то есть только такой человек способен служить идее и извлекать из нее для самого себя осязательную пользу». Отсюда и безусловное осуждение всякого фразерства, разрыва между словом и делом. «Работать надо, работать мозгом, голосом, руками, а не упиваться сладкозвучным течением чужих мыслей, как бы ни были эти мысли стройны и вылощены». Работа, живительный и упорный труд, духовная энергия, способная преодолевать застой и инерцию, — вот что является теперь постоянным девизом Писарева.

Близость этих идей к общим мотивам демократического движения еще не означает полного совпадения его программы с программой наиболее передовых и решительных представителей революционной демократии, с программой «Современника». «Современник» в годы революционной ситуации обращал главное внимание на задачу слияния революционной энергии разночинной интеллигенции с нарастающим стихийным движением самих крестьянских масс. Именно поэтому в критике Добролюбова такое решающее значение получил, с одной стороны, образ Катерины из «Грозы» Островского, воплощающий в себе невозможность и нежелание народа жить по-старому, а с другой стороны — мечта о «русском Инсарове», о герое революционного действия.

У Писарева в статьях 1860—1861 годов мы еще не находим никаких указаний на само движение масс. Он не видит условий для возникновения такого движения. Вот почему на первом плане для него оказывается внутренняя эмансипация молодого поколения интеллигенции, достижение ею духовной независимости, выработки цельного мировоззрения, противостоящего реакции и застою.

Характерно, что в этих статьях обнаружились уже и более конкретные расхождения с выводами критики Добролюбова, расхождения, на которые Писарев сам указывал впоследствии. Наиболее очевидным из них была полемическая по отношению к Добролюбову оценка тургеневского Инсарова. При отдельных слабостях этого образа, отмечаемых и в статье «Когда же придет настоящий день?», Добролюбов все же выделял цельность его характера и особенно «величие и красоту его идей». Писарев ничего не увидел в этом характере, кроме «механического построения». Столь же существенны и расхождения в оценке образа Елены, отчасти и в оценке Берсенева и Шубина. В критической статье Добролюбова образ Елены оценен как «новая попытка создания энергического, деятельного характера». Для

Писарева это только экзальтированная мечтательница, личность почти «психически больная». Здесь сказывается и различная оценка современной действительности. Для Добролюбова в 1860—1861 годах главное — политическое и социальное действие, поиски тех сил, на которые можно опереться в решительной борьбе с миром насилия и угнетения. Для Писарева на первом плане стоит отрицание старого; он не видит еще сил, которые можно было бы признать вполне готовыми к решительной схватке, которые располагали бы вполне выработанной положительной программой. Отсюда характерное пессимистическое заключение Писарева, относящееся к попыткам литературы развернуть этот положительный идеал. «Кто в России сходил с дороги чистого отрицания, — писал он в статье «Женские типы в романах Писемского, Тургенева и Гончарова», — тот падал».

Выше уже говорилось о характеристике романа «Обломов» в статье 1859 года. Теперь оценка этого романа оказалась направленной против существенных выводов Добролюбова. Писарев не любил Гончарова, невысоко ставил его как художника. Добролюбов, как известно, особенно ценил автора «Обломова» за силу объективного реалистического анализа действительности. Писарев склонен видеть здесь только бесстрастность, тайную наклонность автора к «чистому искусству». Уже и эта оценка явно полемична по отношению к выводам Добролюбова, но расхождение касается и содержания романа, смысла его основных образов. Самому слову «обломовщина», получившему такую остроту критического звучания с момента появления романа, Писарев отказывает в конкретном социально-историческом смысле. Лень и инерция Обломова представляются ему явлением, не столько возникшим на определенной социально-политической почве, сколько нуждающимся в более «простом» психолого-физиологическом истолковании. Фигура Обломова лишается типического значения. Добролюбов полемически поместил образ Обломова в общую галерею «лишних людей», неспособных к деятельности, направленной на коренное изменение окружающей жизни, и не желающих таких перемен в обстановке глубокого кризиса старого уклада жизни. Смысл такого полемического сближения «лишних людей» с Обломовым ясен. Он вполне отвечает одной из основных целей критики Добролюбова — разоблачению половинчатой сущности буржуазно-дворянского либерализма. Писарев решительно отделяет Обломова от «лишних людей» типа Рудина и тем более Бельтова. Здесь он солидарен с критикой Герцена в отношении Добролюбова. Недостатки Рудиных и Бельтовых, недостаток энергии и силы в них он объясняет влиянием и давлением окружающей среды; он смотрит на них как на жертвы существующего порядка вещей. В этом признании есть, конечно, доля исторически объективной оценки; но ему недостает остроты политической характеристики, силы социального отрицания. Здесь видна еще дань либеральной интерпретации проблемы «лишнего человека» как объекта не столько критики и отрицания, сколько сочувственного сожаления. В условиях революционного подъема Добролюбов, характеризуя «лишних людей», закономерно переносил акцент с вопроса о «лишнем человеке» как жертве «среды» на социальную пассивность этих людей. Говоря об «обломовцах», не только не способных

вести борьбу с окружающим злом, но и не желающих идти на нее и расстаться с выгодами своего положения, Добролюбов нацеливает удар по либеральным фразерам, прикрывающим бездействие ссылками на свое угнетенное положение в прошлом.

Особое место среди литературно-критических выступлений Писарева этого времени занимает статья «Базаров». В ней рельефно отразилась позиция, которую занял Писарев в эти годы. По самой теме своей она наиболее тесно связана с последующими его критическими выступлениями. В Базарове Писарев наконец обрел того героя, которого мог любить всеми силами своей души, поступки и взгляды которого он неоднократно, охотно и подробно объяснял и защищал от нападений и обвинений с любой стороны [1].

Роман «Отцы и дети» при первом своем появлении вызвал самые бурные отклики в критике и публицистике. Уже то, что большой художник впервые взялся за изображение «нового типа», представителя демократической молодежи 60-х годов, определяло повышенное внимание к роману, пристрастные оценки его содержания и особенно образа Базарова. Сложность отношений автора к своему герою лишь усугубляла пристрастные оценки романа. В Базарове были черты, которые позволяли видеть силу этого типа, его жизненность, его преимущества перед людьми «старого закала». Но в Базарове автор, несомненно, предполагал подчеркнуть и крайние стороны «нового типа», его слабости, его ограниченность. Уже то обстоятельство, что Тургенев согласился опубликовать свой роман в катковском «Русском вестнике», давало повод многим воспринимать этот роман как «антинигилистический». Тем более что Катков позволил себе при публикации романа в «Русском вестнике» внести в его текст несколько явных антидемократических штрихов, против чего Тургенев своевременно и открыто не возражал.

Реакционная и либеральная критика воспользовалась выходом романа, чтобы обратить его против демократов. Всячески подчеркивались отрицательные черты в облике героя романа, непоследовательность его поведения, ограниченность суждений, со злорадством, как своего рода многозначительный символ, воспринималась трагическая гибель Базарова. Демократическая критика и публицистика отнеслись к роману как к акту им враждебному, а в образе Базарова увидели карикатуру на демократического деятеля. Так отнесся к «Отцам и детям» прежде всего «Современник». В воспоминаниях Чернышевского, написанных значительно позднее, сохранилось свидетельство, что в кругах «Современника» предполагали со стороны Тургенева намерение представить в искаженном свете Добролюбова. «Современник» сразу же после появления романа выступил с резкой статьей, написанной М. А. Антоновичем и одобренной Чернышевским. Статья называлась «Асмодей нашего времени». Роман здесь не просто осуждался, он высмеивался,

---

[1] Позднее, в статье «Реалисты», он признавался: «Базаров с первой минуты своего появления приковал к себе все мои симпатии, и он продолжает быть моим любимцем даже теперь».

иронически сопоставлялся с вышедшим несколько ранее бездарным и тенденциозным романом мракобеса Аскоченского, носившим то же название, что и статья Антоновича. Образ Базарова рассматривался как «карикатура самая злостная», роман в целом — как пасквиль на молодое поколение и апология «отцов».

Писарев работал над своей статьей, когда статья Антоновича в «Современнике» еще не появилась, но когда отрицательное отношение к роману в демократических кругах, близких Писареву, уже отчетливо обозначилось. В письме к И. С. Тургеневу от 18 мая 1867 года Писарев признавался, что его мнение об «Отцах и детях» было его «личным мнением», с которым «в первое время после появления романа, не соглашался никто» из числа его сотрудников по «Русскому слову».

Почему же Писарев не присоединился к общему хору голосов, которые, правда, с противоположных позиций, утверждали, что роман направлен против молодого поколения, против демократов?

Сам Писарев в статье «Реалисты» так объяснял истоки своей стойкой симпатии к типу Базарова: «Я долго не мог себе объяснить причину этой исключительной привязанности, но теперь я ее вполне понимаю. Ни один из подобных ему героев не находился в таком трагическом положении, в каком мы видим Базарова». Объясняя трагизм положения Базарова, Писарев видел его «в полном уединении» героя «среди всех живых людей, которые его окружают», и в отсутствии понимания между ними, когда «нет причин для разрыва и нет возможности сблизиться» даже с людьми, которые являются «очень добродушными и честными». После этого объяснения вчитаемся в концовку статьи 1862 года. Она звучит напряженно и даже мрачно: «А Базаровым все-таки плохо жить на свете, хоть они припевают и посвистывают. Нет деятельности, нет любви, — стало быть, нет и наслаждения.

Страдать они не умеют, ныть не станут, а подчас чувствуют только, что пусто, скучно, бесцветно и бессмысленно».

Правда, заключительные строки статьи направлены против уныния и пассивности, взывают к мужеству и энергии. Но и они окрашены тем же трагическим колоритом.

«А что же делать? Ведь не заражать же себя умышленно, чтобы иметь удовольствие умирать красиво и спокойно? Нет! Что делать? Жить, пока живется, есть сухой хлеб, когда нет ростбифу, быть с женщинами, когда нельзя любить женщину, а вообще не мечтать об апельсинных деревьях и пальмах, когда под ногами снеговые сугробы и холодные тундры» (разрядка наша. — *Ю. С.*).

Здесь отражаются и условия окружающей обстановки и то, как их воспринимал молодой критик. Конец 1861 и первые месяцы 1862 года ознаменованы героическими выступлениями демократической интеллигенции, студенческими волнениями, распространением прокламаций, первыми попытками консолидации революционно настроенных сил, но они же отмечены и первыми ударами со стороны реакции, репрессиями. Становилось очевидным, что самодержавие и реакция переходят в контрнаступление, что над революционерами нависают грозные тучи, а силы их очень ограничены. Чернышевский и близкие к нему наиболее стойкие революционеры делали

ставку на создание и укрепление революционных организаций; они связывали свои надежды на революционный взрыв со стороны народных масс с предстоявшим в 1863 году окончанием так называемого «переходного положения», когда крестьяне смогли бы воочию убедиться, что реформа 19 февраля их ограбила и оставила по-прежнему во власти помещиков и полиции; они видели признаки зреющего национально-освободительного восстания в Польше. Поэтому Чернышевский даже в романе «Что делать?», написанном уже после ареста, намекал на предстоящие революционные схватки. Писарев был близок к отдельным кругам революционно настроенной интеллигенции и разделял их убеждения в необходимости решительной борьбы, но он не был еще, насколько об этом можно судить, ни столь тесно связан с революционным подпольем, ни настолько закаленным, чтобы разделять в полной мере эту надежду.

Писарев из крупных черт и отдельных рассеянных в романе штрихов создает образ Базарова, не лишенный противоречий, характерных для самого Писарева этих лет. Писарев прежде всего выделяет в Базарове то, что делает его героем нового типа, стремится обратить внимание читателя на революционные его черты. Достаточно прозрачно в этом смысле летучее сопоставление Базарова с В. Франклином. Базаров, по убеждению Писарева, тоже ждет своего часа, своего большого «дела», ради самого активного участия в котором он может бросить даже свои любимые занятия натуралиста. Но вместе с тем, объясняя скептицизм Базарова, который также отмечается как его характерная черта, Писарев прямо говорит о том, что «в течение 1860 и 1861 годов Базаров не мог бы сделать ничего такого, что бы показало нам приложение его миросозерцания в жизни». Писарев охотно подчеркивает в Базарове его природный демократизм, но с симпатией относится и к его эгоизму, основывающемуся на уважении естественных требований человеческого организма. Ему импонирует, что «Базаров везде и во всем поступает только так, как ему хочется или как ему кажется выгодным и удобным». Отметим, что такое наивное оправдание базаровского эгоизма сменится более глубоким и социально направленным истолкованием его в духе теории «разумного эгоизма» в позднейшей статье «Реалисты». Там уже не будет двусмысленной, с точки зрения революционера, речи о том, что Базаров «ни над собой, ни вне себя, ни внутри себя... не признает никакого регулятора, никакого нравственного закона, никакого принципа», что впереди у него «никакой высокой цели», а в уме — «никакого высокого помысла» и что им «управляют только личная прихоть или личные расчеты». Принцип будет обнаружен и сформулирован, цели определены, для выражения самых высоких помыслов найдутся вполне точные и определенные слова. Индивидуалистическая трактовка Базарова окажется сознательно отброшенной. Но сейчас она еще, несомненно, имеет место. Она оказывается в органической связи с общим, характерным для Писарева тех лет, устремлением к «самоосвобождению личности» как самой насущной задаче. Именно поэтому ценна и борьба против отживших авторитетов, именно на этой почве формируется отвращение ко всякой «схоластике», ко всякой «теории». Любопытно отметить, имея в виду новое обращение Писарева к Базарову в 1864 году, общую оценку тургеневского романа в статье

«Базаров». Писарев здесь не видит у Тургенева сознательного желания унизить и опорочить молодое поколение в образе Базарова, но он не считает роман все же вполне свободным от непонимания отдельных характерных черт данного типа. Среди таких черт указывается ригоризм Базарова и отрицание искусства и тем более природы как источника эстетического наслаждения. В «Реалистах» будут положительно приняты и получат своеобразное реальное, хотя и очень одностороннее истолкование и эти черты Базарова.

* * *

«Базаров», «Бедная русская мысль» и «Очерки из истории печати во Франции» были последними печатными выступлениями Писарева до вынужденного перерыва в его литературной деятельности, продолжавшегося целый год.

В июне 1862 года Писарев был арестован за составленную им прокламацию о клеветнической антигерценовской брошюрке Шедо-Ферроти. Эта прокламация, предназначенная не для опубликования в подцензурной печати, а для тайного распространения, с особой прямотой освещает отношение Писарева к существующему строю. В ней выражено безусловное осуждение самодержавия и всех его защитников, гневный протест против расправ царского правительства над народными массами и революционерами, против закрытия на полгода «Современника» и «Русского слова» и страстное убеждение в том, что никакие репрессии, никакие искусственные и насильственные меры не спасут в конечном счете существующего порядка. Наконец здесь выступает и прямое признание необходимости революционного действия. «Династия Романовых и петербургская бюрократия должны погибнуть, — кончалась прокламация. — ...То, что мертво и гнило, должно само собою свалиться в могилу. Нам остается только дать им последний толчок и забросать грязью их смердящие трупы».

Несмотря на такую решительность общего приговора, прокламация, как уже отметил первый ее исследователь [1], отличается от других прокламаций начала 60-х годов — «Великорусса», «К молодому поколению», «Молодой России» — тем, что она не содержит какой-либо конкретной социально-политической программы.

Разработке этой конкретной программы действий, основных положительных идеалов и требований и была посвящена возобновившаяся с лета 1863 года литературная деятельность Писарева.

III

Писарев поплатился за прокламацию четырьмя с лишним годами заключения в Петропавловской крепости. Но он не пал духом. На эти годы приходится наиболее плодотворный и блестящий период его творчества.

---

[1] М. К. Лемке, Политические процессы в России 1860-х гг., изд. 2-е, М. — Пг., 1923, стр. 548.

«Русское слово» возобновилось изданием с начала 1863 года. Заключенный в крепости Писарев не сразу и лишь после усиленных хлопот со стороны его родных и близких получил возможность продолжить свою литературную работу и право публиковать свои произведения в журнале. В эти годы круг талантливых, демократически настроенных сотрудников журнала заметно расширился и вместе с тем сплотился. Помимо Благосветлова и Писарева, постоянным сотрудником журнала стал известный публицист Н. В. Шелгунов, революционный демократ по убеждениям, активный участник нелегального революционного движения 1860-х годов, прошедший непосредственно школу Чернышевского и Добролюбова и близко знавший их. Из молодых критиков ярко выделялся полемически страстными статьями В. А. Зайцев. Но бесспорно, что в этом созвездии талантливых представителей боевой демократической публицистики именно Писарев во многом определял дух и направление журнала. «Русское слово», наряду с «Современником», стало в эти годы одним из ведущих органов демократической журналистики.

Сопоставляя оба журнала, Н. В. Шелгунов в своих воспоминаниях [1] проводил хронологическую грань между периодами наибольшего влияния того и другого журнала. Наибольший успех «Современника» приходится на период сотрудничества в нем Чернышевского и Добролюбова, на 1855—1862 годы. Естественно, отмечает Шелгунов, что в «Современнике» в эти годы нарастания и высокого подъема демократического движения в стране вопросы экономические и политические, касавшиеся «крестьянского дела», борьбы классов и партий, стояли на первом плане. Время наибольшего успеха «Русского слова» падает на более поздние годы (1863—1865), для демократического движения тяжелые. Революционная ситуация 1859—1861 годов окончилась, не приведя к широкому массовому движению в масштабах всей страны. Началось контрнаступление реакции. Польское национально-освободительное восстание 1863 года было жестоко подавлено. «Антинигилистические» силы воспрянули духом и занялись безудержной клеветой на демократическое движение. Чернышевский был отправлен на каторгу и лишен права выступать в печати. Перед демократическим движением встала задача выработки новой тактики, мучительного осмысления вопросов основной программы, их перегруппировки, внесения в них новых идейных акцентов. Шелгунов считал, что, в отличие от «Современника», в «Русском слове» центральное положение заняли вопросы личности, ее развития, выяснения возможностей ее инициативы в новых условиях. Кратчайшим образом он выражал это размежевание так: «Областью «Современника» были учреждения и порядки, областью «Русского слова» — интеллигентная личность» [2].

Конечно, такие резкие противопоставления способны вызвать неверное, смещенное представление об облике «Русского слова» и об идейном

---

[1] Н. В. Шелгунов, Л. П. Шелгунова, М. Л. Михайлов, Воспоминания, т. 1, изд-во «Художественная литература», М. 1967, стр. 210—215.

[2] Там же, стр. 215.

существе произведений Писарева как его ведущего критика. Шелгунов понимал это и сопровождал свое заключение оговоркой: «„Русское слово", взявшее на себя ответы на запросы личности, вовсе не являлось чем-то обособленным. Оно было лишь другой стороной медали, первую сторону которой представлял «Современник»... Как «Современник», разрешая экономические, общественные и политические вопросы, не обходил вопросов бытовых и личных, так и «Русское слово», разрабатывая личные вопросы, не обходило и всех остальных. Таким образом, «Современник» примыкал своими бытовыми и личными вопросами к «Русскому слову», а «Русское слово» статьями политического, общественного и экономического содержания примыкало к „Современнику"» [1]. Эта оговорка подчеркивает не только тематическое многообразие обоих журналов, но и единство основной цели, единство их общих принципов, при котором только и возможно рассматривать их как явления одного ряда, своеобразно дополняющие друг друга. И тем не менее определение, данное Шелгуновым основному содержанию «Русского слова», нуждается в существенных уточнениях.

Вопросы развития и освобождения личности действительно имели очень существенное значение для «Русского слова» первых лет издания и для всего начального периода литературной деятельности Писарева. Несомненно, что они сохранили свое значение и для последующего времени его сотрудничества в «Русском слове». Но нельзя не заметить, что теперь они получили иное звучание и освещение. Сама основа общих воззрений критика существенно изменилась. Мировоззрение Писарева окрепло, получило вполне определенное направление. Отдельные мотивы, связь между которыми прежде не была еще достаточно прочной, слились в систему убеждений, стройную и единую, несмотря на присущие ей противоречия. С особой силой зазвучали в ней темы, которые были еще мало развиты в предыдущий период,

В «Русском слове» за неполных три года Писарев опубликовал двадцать четыре большие статьи: литературно-критические и полемические, на естественнонаучные и исторические темы, по вопросам воспитания, по основным проблемам философии, социологии, эстетики. Некоторые из них, как, например, исторические очерки, составляют внушительные циклы. Общая концепция легко прослеживается в этом тематическом многообразии.

Деятельность Писарева в «Русском слове» возобновилась в 1863 году двумя большими статьями, определившими ее дальнейшее направление. Одна — «Очерки из истории труда» — посвящена основным этапам в начальном развитии человеческого общества. Это его первая развернутая попытка ответить на вопрос о движущих силах, стимулах и конфликтах, составляющих содержание общественного развития. Основой исторического прогресса является, по Писареву, трудовая деятельность масс. Отсюда исключительное внимание Писарева к тем условиям и формам, в которых протекает эта деятельность. Основным конфликтом, определявшим слож-

---

[1] Н. В. Шелгунов, Л. П. Шелгунова, М. Л. Михайлов, Воспоминания, т. I, изд-во «Художественная литература», М. 1967, стр. 215.

ный путь этого развития, является конфликт между эксплуататорами и эксплуатируемыми. Основное внимание сосредоточивается на смене различных форм эксплуатации народных масс. «Различные видоизменения войны и различные проявления рабства, — говорится здесь, — наполняют собою все страницы всемирной истории. Переход от одного вида войны к другому и от одной формы рабства к другой называется благозвучным именем человеческого прогресса». Эти различные формы ограбления и эксплуатации непосредственных производителей составляют, по выражению Писарева, «патологию» труда в противоположность его «физиологии» как целесообразным формам взаимодействия между силами человека и силами природы, создания всех материальных и духовных ценностей. Вершиной этого анализа различных «патологических форм труда» является острая критика антагонистических противоречий капитализма. В заключение в «Очерках» выдвигается и основная историческая задача будущего: «Надо, чтобы труд был приятен, чтобы результаты его были обильны, чтобы они доставались самому труженику и чтобы физический труд уживался постоянно с обширным умственным развитием. Пока это не будет сделано, всякая цивилизация будет находиться в неустойчивом равновесии перевернутой пирамиды». Так впервые четко, хотя и в скромном виде, обусловленном цензурными препятствиями, выдвигается в сочинениях Писарева тема социализма, составляющая основное подводное течение всех наиболее значительных его статей этого времени.

Известно, что последовательный революционный демократизм начиная с XIX века в развитии своем неразличимо сливается с социалистическими идеями и требованиями. Так было и у Писарева. Развитие и укрепление демократических взглядов привело его к идее социалистического переустройства общества.

Но каковы же пути достижения этой цели? На этот вопрос в конце «Очерков» дается чисто негативный ответ: «А как же это сделать? Не знаю. Рецептов предлагалось много, но до сих пор ни одно универсальное лекарство не приложено к болезням действительной жизни».

Статья «Наша университетская наука», появившаяся в «Русском слове» непосредственно перед «Очерками из истории труда», оригинальна по своему замыслу. Она состоит из двух частей. Одна — это воспоминания Писарева о годах учения. Анализ развития ребенка и юноши сочетается с блестящим памфлетом. Писарев с тонкой и едкой иронией рассказывает о филологическом факультете Петербургского университета, о своих учителях, которых он выводит под вымышленными, но легко раскрываемыми именами. Писареву глубоко чужд академически бесстрастный дух старой университетской науки.

Вторая часть статьи посвящена изложению основной программы общего образования юношества [1]. Это открывает чрезвычайно важную для

---

[1] Изложению и обоснованию этой программы общего образования на реальной основе была посвящена им позднее еще одна статья — «Школа и жизнь» (1865). Резкой критике старая гуманитарная школа и классическая гимназия подверглись тогда же в полемической статье «Педагогические софизмы».

Писарева тему воспитания молодого поколения, новых деятелей, способных служить и развитию производительных сил страны и изменению междучеловеческих отношений. Тема воспитания молодого поколения неразрывно связывается и растворяется в теме его реального образования. Реальный же характер образования определяется не только и не столько его рациональной специализацией, сколько и прежде всего его правильным общим направлением. Это направление, в свою очередь, зависит от удельного веса в общем образовании отдельных наук, от их правильного соотношения. Изучение отдельных наук должно дать не только определенную сумму знаний, оно должно познакомить с наиболее точными методами познания, способствовать формированию реального мировоззрения. Такой опорой, определяющей правильное формирование общего мировоззрения и реального отношения к жизни, Писарев признает прежде всего науки естественные. Это диктуется не только тем, что важно и необходимо усвоить самое главное из обильного запаса накопленных знаний о природе и ее силах. Это особенно важно потому, что именно естественные науки наиболее успешно развиваются и именно тут выработаны наиболее точные и надежные методы познания живых явлений, что естествознание открывает свободные пути для формирования целостного материалистического мировоззрения.

Для Писарева открывается теперь период самой страстной пропаганды естествознания. По свидетельству К. А. Тимирязева[1], влияние Писарева на молодых исследователей, которые решили в эти годы отдать свои силы прогрессу в области естествознания, было бесспорным и плодотворным. Это влияние испытали на себе в молодости и сам К. А. Тимирязев, И. П. Павлов и другие исследователи. Писарев был одним из первых в России, кто дал развернутое изложение теории Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора и оценил ее великое научное значение[2]. Но пропаганда естественных знаний не была для Писарева самоцелью. Она оказывалась чрезвычайно важным средством и орудием в общей борьбе за решение основных общественных задач, в великом деле устранения двух социальных зол, препятствующих дальнейшему прогрессу общества — «бедности» и «глупости», как он попросту писал в «Реалистах». Бедность имеет свои корни в недостаточном, скованном развитии производительных сил. Глупость находит самое вопиющее выражение в искажении междучеловеческих отношений, в непонимании общечеловеческой солидарности, в порабощении и эксплуатации человека человеком. Отсюда другое постоянное направление борьбы Писарева — разоблачение всякого рода «фразы» — идеализма, либеральных иллюзий и филантропических упований.

Вера в воспитательное и образовательное могущество естественных наук вытекала не только из признания того факта, что они далеко про-

---

[1] См. К. А. Тимирязев, Развитие естествознания в России в эпоху 60-х гг., Сочинения, т. VIII, 1939, стр. 142.

[2] В «Русском слове» (1864, №№ 4—7 и 9) была опубликована большая работа Писарева «Прогресс в мире животных и растений», специально этому посвященная.

двинулись в познании окружающего мира и выработали точные и надежные методы дальнейшего его изучения, но и из общего кризиса домарксовых социологических построений и философских учений. Писарев, как и другие передовые мыслители России того времени, не мог подняться до последовательно материалистического объяснения исторического процесса. Но он страстно стремился вскрыть диалектику этого развития, найти силы для решения коренных социальных вопросов и способствовать превращению обществознания из набора утопических рецептов и разрозненных выводов в цельную, осмысленную и опирающуюся на исторический опыт теорию. В методах естественных наук он видел средство проникнуть в основные закономерности функционирования и развития «общественного организма», видел в них орудие критики утопических и идеалистических доктрин. Естественные науки, писал он, «сообщают человеку, посвятившему себя их изучению, такую трезвость и неподкупность мышления, такую требовательность в отношении к своим и к чужим идеям, такую силу критики, которая сопровождает этого человека за пределы выбранных им наук, которая не оставляет его в действительной жизни и кладет свою печать на все его рассуждения и поступки». Следовательно, по мнению Писарева, опыт естественных наук, его распространение и усвоение создавали условия для воспитания нового, реального отношения к труду, для понимания природы общественного неравенства и для его устранения.

В таком утверждении, конечно, было много иллюзий, что ставилось в упрек Писареву уже его современниками. Писарева упрекали и над его невольными иллюзиями смеялись и справа и слева. Слева его упрекали в понижении «общественного тона», в том, что он не верит в действия масс как решающее условие общественного прогресса, упрекали в склонности к либеральному просветительству и к мирному «эволюционизму». Но такие обвинения можно поддерживать, только если опираться на отдельные высказывания Писарева и не учитывать их совокупности [1]. Общая несправедливость такого вывода применительно к Писареву обнаруживается внимательным анализом двух важнейших по идейному их содержанию статей 1864 года — «Исторические эскизы» и «Реалисты».

---

[1] Наиболее уязвимыми в этом смысле являются те места из статьи «Цветы невинного юмора» (1864), где Писарев дает легкомысленный совет Щедрину покончить с карьерой сатирика и перейти на роль популяризатора естественнонаучных знаний. В этой статье апофеоз естествознания представлен наиболее прямолинейно. В заключение статьи, между прочим, выражается надежда на то, что даже капиталисты, поучившись естествознанию и выучившись мыслить, поймут, в чем состоит их действительная польза, и откажутся от эксплуатации и грабежа. «Это предположение,— замечает сам критик, — может показаться идиллическим, но утверждать, что оно неосуществимо, — значит утверждать, что капиталист не человек и даже никогда не может сделаться человеком». Именно на это место и ссылались критики Писарева, упрекавшие его в подмене революционных убеждений либеральными упованиями. Ср. аналогичные рассуждения в другой полемической статье того же времени — «Мотивы русской драмы» (Д. И. Писарев, Сочинения, т. 2, М. 1955, стр. 393) и в гл. XXXII «Реалистов».

«Исторические эскизы» начинают серию статей, опубликованных Писаревым в «Русском слове» за 1864—1865 годы[1]. В общий замысел входило представить картины исторического развития разных европейских народов на крутых его рубежах — в период складывания феодальных отношений, Возрождения и Реформации, буржуазных революций и т. д. В «Исторических эскизах» Писарев обратился к событиям Великой французской революции. Характерно, что его интересуют не сами по себе полные драматизма эпизоды революционных событий, не те или иные выдающиеся исторические деятели этого времени и вообще не только политическая история революции, ее представительных собраний и отдельных клубов и кружков. Его занимают прежде всего экономические условия существования народа, какими они сложились за несколько веков феодального строя и насколько они изменились в ходе буржуазной революции. В статье дана яркая картина крушения старого порядка во Франции. Особое внимание уделяется при этом трем сторонам процесса. Во-первых, представлена характеристика условий народной жизни перед революцией, гнета и бесправия, а особенно нищеты, финансового оскудения и экономических неурядиц, которые привели к революционному взрыву, вызвали пробуждение революционного сознания в массах и определили ту решительность, с которой народ приступил к слому старых порядков и учреждений. Действующая сила исторических событий, говорит Писарев, «лежала и лежит всегда и везде — не в единицах, не в кружках, не в литературных произведениях, а в общих и преимущественно — в экономических условиях существования народных масс». Во-вторых, ярко показана неотвратимость происходивших перемен и тщетность попыток спасти старые отношения и учреждения их частичным подновлением, разрозненными полумерами, дипломатическими маневрами и ухищрениями. В третьих, обращено особенное внимание на то, как в рамках общего демократического движения за свержение старого строя вызревают новые конфликты. Писарев отмечает процесс формирования и решительного размежевания в ходе революции двух основных партий — буржуазно-либеральной и демократической. В этой (и не только в этой) статье он решительно высмеивает либерально-реформистские планы «постепенного и спокойного прогресса». Безусловны и симпатии Писарева к истинным демократам того времени, якобинцам, и именно за то, что они «безгранично верили в народ и надеялись, что его живые силы выработают что-нибудь превосходное, если только силы эти будут взволнованы во всей своей глубине и если брожение, необходимое для этого народного творчества, будет постоянно поддерживаться в полном своем могуществе». Народ и его творчество, его силы признаются решающими в развитии исторического процесса и важнейшим предметом исторического изучения. Вместе с тем Писарев особенно внимателен к тому про-

[1] «Историческое развитие европейской мысли» («Русское слово», 1864, №№ 11—12), «Перелом в умственной жизни средневековой Европы» (там же, 1864, №№ 1 и 3). Позднее в журнале «Дело» за 1867 год печатались пространные «Очерки из истории европейских народов». Особое место занимает статья «Исторические идеи Огюста Конта» («Русское слово», 1865, №№ 9—11 и 1866, № 1).

цессу, который в ходе революции, несмотря на желания демократов-якобинцев и все их решительные действия, вел к победе буржуазии, к ее господству. Он следит за этими симптомами новой «болезни века», за тем, как продолжают поляризоваться крайние силы, как растет «четвертое сословие», пролетариат. В термин «пролетариат» Писарев, как и другие социологи домарксова периода, вкладывает еще недостаточно определенное содержание. Это все, лишенные собственности. И все-таки как главный конфликт нового времени им выделяется именно конфликт между капиталом и трудом, между собственниками-буржуа и теми, кто лишен собственности, кто работает на хозяина.

В «Очерках из истории труда» и «Исторических эскизах» освещены важнейшие этапы исторического пути, выдвинут социалистический идеал как основная задача будущего. В «Реалистах» была предпринята попытка определить задачи, доступные в существующих условиях и вместе с тем идущие в русле общих конечных целей. Программа, которая излагается в статье, получила у Писарева общее название «теории реализма». Реалисты — те, кто следует этой теории, разделяет ее основные положения и отвечает ее главным требованиям. Термин «реализм» в середине XIX века еще достаточно широко применялся в русской литературе как термин философский, обозначавший одно из основных направлений философии, противопоставленное идеализму, или метафизике, как еще часто тогда писали. Это в данном случае более широкий по смыслу синоним термина «материализм», поскольку с последним нередко связывались специфические концепции материализма механистического, ограниченного. В таком именно смысле термин «реализм» выступает, например, в основных философских произведениях Герцена 40-х годов — «Дилетантизм в науке» и «Письма об изучении природы». Писарев примыкает к этой традиции. Но в его концепции понятие реализма получает по крайней мере два существенных ограничения. Общая материалистическая направленность его «теории реализма» находит свою основную опору в данных и методах современного ему естествознания.

Другое важное ограничение касается отношения реалистов к другим сферам человеческого знания, собственно «гуманитарным». Из «Нашей университетской науки» и отчасти из «Исторических эскизов» нам уже известно скептическое отношение Писарева к филологии и истории в том виде, в котором они преимущественно развивались в то время. Многое в этих специальных областях знания Писарев считал отвлекающим внимание от главных задач развития человека и человеческого общества. Теперь критический удар переносится и на искусство, во всяком случае — на отдельные его сферы. Так «теория реализма» в истолковании Писарева получает известную «антиэстетическую» направленность.

Сам Писарев неоднократно и настойчиво подчеркивал демократическую основу этой теории. «Приобретенный (мыслящими реалистами. — *Ю. С.*) ...запас свежей энергии и умственных сил, — писал он и в данной статье, — отправляется все-таки вниз по течению, в то живое море, которое называется массою и в которое тем или другим путем, рано или поздно, вливаются, подобно скромным ручьям, или бурным потокам, или

величественным рекам, все наши мысли, все наши труды и стремления». В качестве общей цели, к достижению которой должны быть в конечном счете направлены усилия мыслящих реалистов, выдвигается «общечеловеческая солидарность» — «скромное» подцензурное обозначение социалистических идеалов [1]. Это слияние общих демократических требований и социалистических идеалов объединяет Писарева с Чернышевским и Добролюбовым.

Писарев неизменно высоко оценивал роль и значение революционных выступлений масс. Это его убеждение не только не ослабело в период развития «теории реализма», но, напротив, окрепло и получило более строгие очертания. Именно с развитием и успехом широкого революционного движения связывал он наиболее крупные, глубинные и решительные изменения в жизни народа. Такова его позиция в «Исторических эскизах». Такова же характеристика значения революционного действия в позднейшей статье «Генрих Гейне». «Если война или переворот, — писал он там, — вызваны настоятельною необходимостью, то вред, наносимый ими, ничтожен в сравнении с тем вредом, от которого они спасают... Тот народ, который готов переносить всевозможные унижения и терять все свои человеческие права, лишь бы только не браться за оружие и не рисковать жизнью, — находится при последнем издыхании». «Титанами любви» к человечеству называет здесь Писарев тех людей, которые «стоят во главе всех великих народных движений». Предпочтение пути мирной эволюции революционному действию, пути постепенных реформ и частичных улучшений — коренному и решительному их преобразованию обычно видели в известном рассуждении Писарева (из статьи «Реалисты») о «механических» и «химических» изменениях в общественной жизни. Однако подобное истолкование основано на прямом недоразумении. Писарев говорит о том, что «иногда общественное мнение действует на историю открыто, механическим путем. Но, кроме того, оно действует еще химическим образом, давая незаметно то или другое направление мыслям самих руководителей». Здесь нет, по существу, никакого противопоставления «механического», насильственного революционного действия «химической работе» эволюционирующего общественного сознания. Цитата вообще не имеет прямого отношения к вопросу о революции и реформе, о насильственном перевороте и мирной эволюции, зато непосредственно характеризует общую концепцию исторического развития, как она сложилась у Писарева. Ключ к цитате дает наиболее развернутое и прямое изложение этих взглядов в статье «Исторические идеи Огюста Конта». Писарев уделял большое внимание развитию производительных сил общества и ставил в зависимость от этого развития степень экономического благополучия его членов. Главная задача социального прогресса как раз и состояла, по его убеждению, в том, чтобы устранить неравенство и экономическую зависимость, чтобы освободить непосредственных производителей материальных ценностей от эксплуатации. Но при всем этом движении к материали-

[1] Ссылка на Фурье в самом начале статьи исключает иное толкование этой по необходимости уклончивой формулы.

стическому пониманию общего содержания и направления исторического прогресса, Писарев, как и другие представители революционно-демократической мысли в России этого времени, не мог выработать последовательно материалистического понимания истории, не мог подняться до исторического материализма. Все-таки решающим оказывалось для исторического прогресса развитие сознания, смена мировоззрений, которая и определяет изменение различных сторон общественной жизни. «Когда изменяется миросозерцание, — заключал он далее, — тогда и в общественной жизни происходят соответственные перемены; когда борются между собою два различные миросозерцания, тогда и общественная жизнь наполняется тревогами и волнениями; когда одно из борющихся миросозерцаний одерживает окончательную победу над другим, тогда и в общественной жизни водворяется спокойствие и единодушие»[1]. Таким образом, получался известный логический круг. С одной стороны, миросозерцание формировалось под воздействием известных условий жизни и деятельности людей. С другой стороны, именно оно, его развитие, его изменения в конце концов определяли изменение самих условий существования, направление действий людей и соотношение общественных сил. Под «химическими» процессами в общественной жизни и понимались те глубинные, постепенно складывающиеся и накапливающиеся изменения в сознании людей, которые в конце концов находят себе и «механические» проявления в общественной жизни, то есть приводят к прямым, ощутимым изменениям в условиях социальной жизни, к политическим переворотам, сменам бытовых форм, к улучшениям в самом способе производства материальных ценностей, в промышленности.

Основное различие между «теорией реализма» Писарева и социально-исторической концепцией других представителей русской революционной демократии 60-х годов заключено прежде всего в конкретных требованиях, выдвигаемых на первый план применительно к существующей обстановке, в вопросах тактики, определения ближайших достижимых задач.

Сам Писарев отчетливо указал в «Реалистах» на бросающееся в глаза противоречие между очень радикальными конечными целями и относительно скромной программой конкретных действий. «Начал я, — говорится там, — с общечеловеческой солидарности, а кончил тем практическим заключением, что нам, русским реалистам, можно только осмеивать потихоньку наши мелкие глупости и медленно учиться... самым элементарным истинам строгой науки. Какое торжественное начало и какой мизерный конец!» И далее, говоря о трудностях распространения новых идей даже в сравнительно ограниченном круге читающей публики, Писарев замечает: «Великая и плодотворная идея должна пристроиться к самому мелкому практическому применению, и только при этом условии она может, с грехом пополам, проникнуть в сознание лучшего меньшинства нашей читающей публики». В этом отношении в термин «реализм» Писарев вносит еще один существенный смысловой оттенок: действительными реалистами являются те, кто, поставив перед собою самую широкую и важную цель,

[1] Д. И. Писарев, Сочинения, изд. 5-е, т. V, СПб., 1911, стр. 310.

неуклонно добиваются ее, сообразуясь с реальной обстановкой, всеми доступными в этой обстановке средствами.

Относительная скромность конкретной программы, программы-минимум, выдвигаемой Писаревым перед демократической молодежью, прямо обусловлена его оценкой общей исторической обстановки и в Западной Европе и в России. На этой оценке отразился и кризис, который пережила русская демократическая мысль после поражения самого крупного до тех пор выступления парижского пролетариата в июне 1848 года, и те трудности, которые переживало русское революционное движение после окончания первой революционной ситуации. В Англии, классической стране капитализма, несмотря на прошедший серьезный экономический кризис, — сохранение в неприкосновенности устоев капиталистической системы; во Франции — «долгая декабрьская ночь» после государственного переворота Наполеона III в 1852 году; в Италии после тяжелых битв за национальное освобождение и объединение — выход на авансцену либерально-буржуазных сил. В России, где в начале 60-х годов даже «самый осторожный и трезвый политик, — по словам Ленина, — должен был бы признать революционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание — опасностью весьма серьезной» [1], теперь уже не было признаков непосредственного кризиса.

Мы уже знаем, что и в период революционной ситуации Писарев не принадлежал к тем, кто видел возможность крестьянского восстания в ближайшем будущем. Тем более нереальной казалась ему близкая перспектива революционного взрыва теперь. Крестьянство, «социальные низы» вообще представлялись ему еще не подготовленными для широкого и сознательного социального протеста и движения. Для непосредственного действия на них и среди них он не видел еще прямых возможностей. Об этом свидетельствует одна из статей, предшествовавшая «Реалистам», — статья «Мотивы русской драмы», полемически направленная против статьи Добролюбова «Луч света в темном царстве». Вполне присоединяясь к оценке «темного царства», данной Добролюбовым в двух его статьях о пьесах Островского, Писарев критикует «увлечения» Добролюбова. Такое увлечение он видит прежде всего в оценке образа Катерины как «луча света в темном царстве». Оценка Добролюбова содержала в себе указание на зреющий в низах социальный протест, в статье его выражалась уверенность в силе этого протеста. Непосредственному выступлению самих низов отводилась решающая роль. Отсюда — апофеоз Катерины, несмотря на трагический характер ее первого протеста.

Полемическая струя в статье Писарева необычайно резка. Катерина решительно развенчивается. В ее личности Писарев не видит ничего другого, кроме вариации типа «карлика» или «вечного ребенка». Акценты переносятся на другой тип. Истинными героями, которые «не Катерине чета», оказываются люди вроде Базарова и героев «Что делать?». Главная задача времени представляется прежде всего как воспитание молодежи в духе внимательного изучения действительности, вооружение ее

---

[1] В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 30.

«непримиримою ненавистью против всякой фразы, кем бы она ни была произнесена, Шатобрианом или Прудоном». При этом необходимо «постоянно иметь в виду» вопрос о народном труде и «не развлекаться теми второстепенными подробностями, которые все будут устроены, как только подвинется вперед главное дело».

Статья «Мотивы русской драмы» вызвала резкую критику со стороны «Современника». Именно в этом отвержении выводов добролюбовской статьи критика «Современника» видела отступление Писарева от демократической программы и его переход на позиции «просветительства»[1]. Однако при этом не были разделены две стороны вопроса. Ведь и для Писарева центральным оставался вопрос о «народном труде», о коренном изменении жизни народных масс. В этом также заключалась «альфа и омега» его программы. Но утверждения, что упор следует делать по-прежнему на выступление народных масс, представлялось ему в современных условиях «фразой». Характерно, что Писарев призывает вооружиться не только против фраз, исходивших от писателей-идеалистов реакционного толка, но и против фраз, исходящих из радикального лагеря. «Фраза Шатобриана» соседствует с «фразой Прудона». Здесь отразилось и острое восприятие тех кризисов, которые переживал утопический социализм в различных своих формах. В статье «Посмотрим!» (1865) Писарев прямо указывал на «крайнее разногласие положительных проектов» решения вопроса о социальном и экономическом равенстве. «До сих пор никто не может утверждать наверно, что теоретическое решение задачи действительно найдено». Осуществление этой задачи представлялось ему «чрезвычайно трудным». На поиски новых решений и были направлены его теоретические усилия.

Исходной точкой «теории реализма» было признание принципа «личной выгоды» как важнейшего стимула человеческой деятельности, требование его правильного истолкования и последовательного проведения. Это было то же учение о «разумном эгоизме», которое исходило от Фейербаха и получило острую социальную интерпретацию у Чернышевского и Добролюбова. Оно было прежде всего направлено против идеалистических

---

[1] Это было главным обвинением, предъявленным Писареву в затяжной полемике, развернувшейся между «Современником» и «Русским словом» в 1864—1865 годах. М. А. Антонович, основной противник Писарева в этом споре, подвергал критике прежде всего именно статью «Мотивы русской драмы» — за отход от Добролюбова, и «Реалисты» — за апологию Базарова и преувеличение роли естественных наук. Мы лишены здесь возможности подробно осветить ход этой резкой полемики, которую противники демократического лагеря поспешили окрестить как «раскол в нигилистах». См. о ней в статье Б. П. Козьмина «Раскол в нигилистах» в его кн.: «Из истории революционной мысли в России» (М. 1961). Интересные данные о начале полемики и о позиции в ней М. Е. Салтыкова-Щедрина, также обвинявшего критику «Русского слова» в понижении тона, содержатся в приложении к работе С. Борщевского «Щедрин и Достоевский» (М. 1956, стр. 359—390). Но анализ взглядов Писарева периода 1864—1865 годов здесь отсутствует. См. также общую характеристику этой полемики во вступительной статье к изданию Сочинений Д. И. Писарева, т. 1, М. 1955, стр. XLIX—LII.

этических норм, бессильных там, где дело идет о самом существовании, о живых потребностях организма. Но упор делался при этом на «разумное решение» вопроса о личной выгоде, которое оказывалось возможным лишь в том случае, когда личная выгода одного человека не противостоит выгодам других людей. Отсюда требование последовательного распространения принципа «личной выгоды» на всех, и прежде всего — на массу работников. Именно они, обездоленные, кого эксплуататоры и их идеологи призывают к пренебрежению своими собственными выгодами, к терпению и покорности, должны проникнуться этой идеей. Именно на этом пути и возможно разумное решение вопроса о «личной выгоде», потому что принцип, усвоенный трудящимся большинством, подрывает самые основы дурного «эгоизма», «личные выгоды» эксплуатирующего меньшинства.

В «Исторических идеях Огюста Конта» Писарев указывал, что «для решения задачи о голодных людях необходимо соблюдение двух условий. Во-первых, задачу эту должны решить непременно те люди, которые в ее разумном решении находят свои личные выгоды, то есть ее должны решать сами голодные люди, сами пролетарии, сами работники. Кто берется решать ее для работников, но не через работников, тот наверное кого-нибудь обманывает, самого себя или свою публику. Во-вторых, решение задачи заключается не в возделывании личных добродетелей, а в перестройке общественных учреждений»[1]. Но если решение задачи ставится таким образом, если оно может быть и должно быть совершено не «добродетельными» собственниками и не путем филантропических подачек и частных поправок, а через самих работников и путем перестройки общественных учреждений, то условием этого решения становится доведение правильного понимания своих выгод до массы трудящегося большинства. Однако, как писал критик в «Исторических эскизах», «до сих пор масса была всегда затерта и забита в действительной жизни». Над современным обществом, по его признанию, тяготеет «гибельный разрыв между трудом мозга и трудом мускулов». Следовательно, первая задача состоит в том, чтобы устранить этот трагический разрыв между трудом и знанием.

В условиях задавленности и невежества масс, когда непосредственное обращение к ним с пропагандой знаний и социалистических идей оказывалось еще невозможным, задача, по Писареву, состояла в распространении этих взглядов в образованном кругу, прежде всего в том, чтобы найти ту среду, которая была бы способна к наиболее полному и правильному восприятию таких взглядов и которая, в силу самих условий своего существования и самих своих занятий и интересов, могла бы дальше развивать и пропагандировать их. Такую среду сам Писарев выразительно наименовал «мыслящим пролетариатом». Его составляют те, кто сами вышли из социальных низов или близко стоят к ним, зарабатывают средства к существованию собственным трудом, привыкли к трудовой деятельности и любят ее и кому, следовательно, близки, знакомы и понятны нужды трудящегося большинства. Именно в этой среде «идея общечеловеческой

---

[1] Д. И. Писарев, Сочинения, изд. 5-е, т. V, стр. 398.

солидарности» и «разумное понимание личной выгоды» могли, по убеждению Писарева, найти себе быстрое и полное признание.

Важным же средством, способствующим наиболее активному и сознательному усвоению и развитию этих идей, признавалось материалистическое мировоззрение и его надежная основа — научное изучение явлений природы, естествознание. Ведь сама теория разумного эгоизма и учение о правильно понятой личной выгоде исходили из представлений о человеке прежде всего как продукте природы. Из самой «физиологии» человека и «физиологии» его трудовой деятельности вытекало требование «личной выгоды». Различные общественные неустройства и несправедливости относились к области «патологии», к тем «детским болезням» человечества [1], которые вызывались недостаточным развитием материальных возможностей и умственных сил на начальных этапах его исторического пути. Естествознание с его точными методами изучения живых явлений, опирающимися на опыт, ближе всего могло относиться к сфере изучения природы человека. Отсюда и неоднократно высказывавшееся Писаревым убеждение, что важнейшие выводы нового естествознания могут быть непосредственно перенесены на область изучения общественной жизни и, во всяком случае, окажут на эту сферу самое благодетельное воздействие, выводя ее из-под власти гипотетических и чисто умозрительных заключений и подчиняя ее общим законам опытного знания [2]. Здесь Писарев отдавал дань популярным тогда идеям позитивизма. Эта сторона его взглядов составляет специфическую конкретную особенность его «теории реализма», отличающую ее от концепций Чернышевского и Добролюбова. Чернышевский также придавал большое значение развитию естествознания и видел в нем прочную опору современного материализма, но он не был склонен ни к преувеличению общественной роли естественных наук, ни к неосторожным переносам отдельных их выводов и теорий в область истолкования социальных явлений. Резко критиковал он и философский позитивизм, в частности учение О. Конта о трех фазах, которые проходит человеческое знание (третьей и высшей из них оказывалась как раз фаза «положительной», то есть позитивной философии) [3]. Писарев, несмотря на критику контовского позитивизма в ряде существенных пунктов [4], склонен был этой метафизической формуле исторического прогресса придавать реальное значение.

---

[1] Выражение самого Писарева (см. Сочинения, т. II, М. 1955, стр. 286).

[2] В статье «Исторические идеи Огюста Конта» Писарев утверждал, например, что дарвиновский принцип естественного отбора, «без сомнения, произведет переворот не только в ботанике и в зоологии, но и в понимании истории» (Сочинения, изд. 5-е, т. V, СПб. 1911, стр. 328).

[3] См. его письмо сыновьям из Сибири от 27 апреля 1876 г. (Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. XIV, М. 1949, стр. 651—652).

[4] Так, он решительно высмеивал реакционные претензии О. Конта на создание новой, интеллектуальной «теократии», которая должна якобы определять направление общественного прогресса и воле которой должно подчиняться большинство.

IV

Одним из общих принципов, выдвигаемых в «теории реализма» был принцип «экономии сил». Все усилия «мыслящих реалистов» должны быть устремлены на достижение таких целей, которые непосредственно связаны с выяснением и проведением в жизнь принципов «личной выгоды» и «общечеловеческой солидарности». В условиях невежества и нищеты, распространенных в обществе, не всякие знания могут вести к намеченной цели. Безусловно должны быть осуждены те занятия, которые от нее отвлекают. Критерий непосредственной пользы знания выдвигался как основной. На мировоззрении Писарева этих лет лежит отпечаток ригористических тенденций, влияние идей утилитаризма. По изложенным выше причинам на первом плане оказывались при этом знания из области естественных наук; занятия ими рассматривались как безусловно полезные и необходимые.

Сложнее всего оказалось отношение к литературе и искусству. Писарев в эти годы уделял общим вопросам эстетики большое внимание. Но формы решения некоторых вопросов носили у него нередко негативный характер. Одна из таких негативных формул выступает даже как заглавие специальной статьи по общим вопросам эстетики, написанной в это время. «Разрушение эстетики» — так кратко и резко определил Писарев один из актуальных итогов и вместе с тем задачу «теории реализма».

В «наше время», писал критик в статье «Исторические идеи Огюста Конта», «наука и литература сделались великими общественными силами» [1]. Именно признанием общественной силы и назначения литературы и искусства, наряду с наукой, и диктуются те требования, которые Писарев к ним предъявляет. Писарев уже в статьях 1861—1862 годов нападал на так называемое чистое искусство. Теперь его взгляды на искусство получили систематический характер, сложились в определенную теорию, оснащенную логическими и историческими доказательствами, однако в такую теорию, где выводы, безусловно верные и оправданные, соседствуют с явными преувеличениями и характерными ошибками.

Рассматривая в статье «Исторические идеи Огюста Конта» эволюцию отношения к науке и искусству в перспективе смены трех фаз мировоззрения, Писарев устанавливает, что отношение к ним в двух крайних фазах, связанных с господством теократических воззрений — в древности — и с господством положительной философии — в современной, — сходится в общем выводе. «В древних теократических обществах наука и искусство были орудиями; современные реалисты стараются также превратить их в орудия» [2]. Различие между отношением к науке и искусству в столь противоположные и отдаленные эпохи определяется лишь теми целями, достижению которых должны служить орудиями и наука и искусство. В промежуточной фазе «метафизического знания», напротив, господствует отношение к науке и особенно к искусству как к сферам «чистым», вполне особым, стремящимся оторваться от потребностей действительной жизни.

---

[1] Д. И. Писарев, Сочинения, изд. 5-е, т. V, СПб. 1911, стр. 359.
[2] Там же, стр. 358.

Победа «положительного знания» связана с окончательным подрывом такого взгляда на искусство. Такова историческая концепция, на основе которой развертывается борьба за реальное понимание основных задач литературы и искусства.

Что же мешает искусству и литературе превратиться в такую «преобразовательную силу», прямо поставленную на службу обществу? Этому мешают, во-первых, исторически сильные связи искусства с потребностями и интересами эксплуататорских классов. Когда в статье «Разрушение эстетики», а затем и в статье «Посмотрим!» Писарев так настойчиво отводит самое скромное место скульптуре, живописи и музыке в общей жизни современного общества, когда он ополчается на них, относя к области непроизводительного труда, когда, наконец, он выводит архитектуру за пределы искусства, то он делает упор именно на то, что до сих пор здесь сильнее всего проявляются излишества, что занятия искусствами особенно часто преследовали цели удовлетворения прихотей господствующих классов на фоне ужасающей нищеты в нижних этажах общественного здания. Превращению искусства в служителя общества мешает, во-вторых, эстетическая теория, основанная на «метафизической аргументации» и обособляющая его в особую сферу, не зависящую от действительной жизни,— теория «искусства для искусства».

В эту пору слова «реакция» и «метафизика» (в смысле идеалистического умозрительства), с одной стороны, «эстетика», с другой, у Писарева выступали нередко как синонимы. Достаточно вспомнить хотя бы брошенное мимоходом в «Исторических эскизах» игривое, но многозначительное противопоставление «реального элемента беспанталонности», то есть демократического санкюлотизма, «элементу эстетики», представленному реакционно-феодальными и буржуазно-либеральными силами. «Эстетика», таким образом, отождествлялась с теорией «чистого искусства» и лишалась права занимать особое место в системе реальной философии. Как этика с ее теорией морали и долга растворялась в учении о «личной выгоде», так и эстетика растворялась в общем изучении вкусов и потребностей человеческого организма, превращалась в составную часть общей физиологии и социальной гигиены.

Статья «Разрушение эстетики» содержит анализ основных положений работы Н. Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» и подчеркивает историческое значение ее как изложения материалистических взглядов на искусство. Во многих существенных пунктах Писарев солидарен с Чернышевским. Он также исходит из приоритета действительности над искусством, видит сущность искусства, его «общий, характеристический признак» в воспроизведении жизни, также ожидает от произведений искусства, и в первую очередь — от литературы, «объяснения жизни» и «приговора о явлениях жизни» [1]. Он горячо поддерживает борьбу Чернышевского с идеалистическими истолкованиями понятия прекрасного и других категорий эстетики, сам страстно и постоянно

[1] См. Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. II, М. 1949, стр. 92.

ведет наступление на теорию и практику «чистого искусства», стремившиеся замкнуть деятельность художника в сферу «абсолютных» ценностей художественного выражения, оторвав ее от насущных интересов действительности, от активного вторжения в общественную жизнь. В этом смысле, выделяя на первый план «пользу», приносимую искусством, Писарев еще не впадает в плоский утилитаризм, в котором его так любили обвинять противники из лагеря «эстетиков». «Слово «польза», — объяснялся он по этому поводу в «Реалистах», — мы принимаем совсем не в том узком смысле, в каком его навязывают нам наши литературные антагонисты. Мы вовсе не говорим поэту: «шей сапоги» или историку: «пеки кулебяки», но мы требуем непременно, чтобы поэт, как поэт, и историк, как историк, приносили, каждый в своей специальности, *действительную* пользу». Отсюда, в зависимости от того, какое участие художник принимает, действуя в своей сфере и своими средствами, в общем движении исторической жизни. вытекает и общая оценка его значения. «Поэт, — писал критик в той же статье, — или великий боец мысли, бесстрашный и безукоризненный «рыцарь духа»... или же ничтожный паразит, потешающий других ничтожных паразитов мелкими фокусами бесплодного фиглярства. Середины нет. Поэт — или титан, потрясающий горы векового зла, или же козявка, копающаяся в цветочной пыли». Характерно, что эти страстные слова об историческом значении деятельности поэта произносятся, как правило, не на основе прямолинейного осуждения тех или иных ошибочных его тенденций и взглядов, а с учетом внутренней диалектики его творчества. Так, например, в той же статье «Реалисты» Гете безусловно относится к «титанам», хотя столь же безусловно осуждаются и проявления филистерства в отношении Гете к современной действительности и та дань, которую он отдавал «чистому искусству». Но, пожалуй, наиболее ярко отразился этот диалектический подход к творчеству писателя в оценках любимого поэта Писарева — Гейне. К его творчеству Писарев обращался неоднократно, особенно часто в период развития «теории реализма». Ему посвящена особая глава в «Реалистах», подробный анализ его творчества дан в статье «Генрих Гейне». И в том и в другом случае основное внимание сосредоточено на внутренних противоречиях, свойственных мировоззрению поэта. В специальной статье, пожалуй, даже центральное положение занимает критика «слабостей» Гейне, «капризов» поэтического отношения к действительности, непоследовательности в отношении к политической борьбе его времени, проявления «чисто эстетических» тенденций и т. п. И тем не менее Гейне для Писарева — «титан», гениальный поэт, а его лирика оценивается прежде всего «как неподражаемо полная и правдивая картина тех чувств и мыслей, тех тревог и огорчений, тех чередующихся припадков энергии и апатии, среди которых тратят свою жизнь лучшие люди XIX века» («Реалисты»).

От искусства и литературы Писарев требует прежде всего глубокого, верного и яркого отражения жизни. С этой точки зрения оцениваются и лирика, и драма, и современный роман. Последнему, как наиболее всестороннему и не стесненному искусственными рамками изображению современной жизни со всеми ее конфликтами и противоречиями, отводится

первое место в ряду других литературных жанров. В развитии современного реалистического романа подчеркивается и прослеживается прежде всего живая связь между полнотою, точностью и глубиной воспроизведения социальной жизни и психологии людей и формированием нового, реалистического отношения к действительности [1].

Выдвинутый Писаревым лозунг «разрушения эстетики», борьбы с эстетикой не означал, конечно, вопреки заявлениям его критиков, отрицания искусства. Отвергая эстетику как особую науку, предметом которой признается прекрасное, Писарев вместе с тем рассматривал литературу и искусство как важную общественную силу (правда, с сильными ограничениями в отношении отдельных видов искусства), постоянно говорил об их пользе — и именно о пользе с точки зрения коренных интересов общества. Это одно из теоретических противоречий, результат суженного понимания предмета эстетики. Ведь вопрос об эстетике как теории прекрасного в ее традиционном понимании и как теории искусства в его отношении к социальной жизни оставался еще не вполне разрешенным. Критика искусства, поскольку и она предполагалась в концепции «разрушения эстетики», практически означала резкое осуждение «чистого искусства». Безусловному отрицанию подвергались всяческие проявления социального индифферентизма художника. Заветной целью было при этом освободить художника из-под власти капитала, от влияния реакционных теорий, перевести его в стан «мыслящих реалистов». Необходимость и плодотворность слияния самого высокого, «классического» мастерства с самой великой идеей современности остро чувствовал и Писарев. Это было и в интересах самого «дела» и в интересах художника. Здесь Писарев вполне солидарен с той линией русской эстетической мысли, которая была отчетливо выдвинута Белинским и развита Чернышевским и Добролюбовым. Но специфические особенности его «теории реализма» предопределили и характерные уклонения от общего пути, явные крайности и ошибки в разрешении вопроса о роли и месте отдельных видов искусства в общественной жизни.

Вопрос о литературе решался в целом, несмотря на отдельные характерные отклонения, в духе теории Чернышевского. Бросающееся в глаза расхождение с ней начиналось при переходе к другим видам искусства. Признавая ограниченное, прикладное назначение таких искусств, как живопись, скульптура и музыка, Писарев весьма скептически относился к рассуждениям об их общественной роли. «Я чувствую к ним глубочайшее равнодушие, — писал он в «Реалистах». — Я решительно не верю тому, чтобы эти искусства каким бы то ни было образом содействовали умственному или нравственному совершенствованию человечества». Здесь познаватель-

---

[1] «Каждый последовательный реалист видит в Диккенсе, Теккерее, Троллопе, Жорж Занде, Гюго — замечательных поэтов и чрезвычайно полезных работников нашего века... Они — популяризаторы разумных идей по части психологии и физиологии общества» («Реалисты»). Ср. также характеристику реалистического романа XIX века в первых главах статьи о романе «Что делать?» Чернышевского в редакции 1863 года (см. приложение 1).

ная и воспитательная роль искусства решительно отодвигалась, и дело сводилось по преимуществу, с одной стороны, к вопросу о техническом умении, с другой — к вопросу о простом удовлетворении личных склонностей и вкусов субъекта. Отсюда — иронические сопоставления искусства Бетховена и Моцарта, Рафаэля и Рембрандта, Рубини и Олдриджа с «искусством» шахматиста Морфи, повара Дюссо или биллиардного маркера Тюри. Уже здесь вносилась существенная и огрубляющая поправка к эстетической теории Чернышевского.

Но расхождения коснулись и самой основы теории. Эстетика не случайно должна была, по представлению Писарева, уничтожиться как самостоятельная область знания и раствориться «в физиологии и социальной гигиене». Дело в том, что, в противоположность Чернышевскому, Писарев давал субъективистское истолкование категории прекрасного. Из рассуждений Чернышевского относительно реальной основы понимания прекрасного, из его указаний на различие в критериях прекрасного у представителей различных классов и в разные исторические эпохи, он делал тот вывод, что прекрасное вообще не имеет значения независимо «от бесконечного разнообразия личных вкусов», что «все разнообразнейшие понятия о красоте оказываются одинаково законными» и что единственным материальным основанием для этих понятий могут быть только те или иные особенности человеческой природы, определяющие индивидуальные склонности и конкретные вкусы людей. Не трудно заметить и здесь воздействие естественнонаучных увлечений Писарева, отступление от конкретного социально-исторического анализа эстетических понятий в сторону более метафизического, позитивистского их истолкования.

Другим источником ошибочных построений Писарева был выдвигаемый им в качестве важного социального регулятора «принцип экономии сил», формулированный в духе утилитаризма. Мера «прямой пользы» и мера «непроизводительных затрат» в этом случае упрощенно сопоставлялись. Затраты на создание произведений живописи, музыки, на театральные представления и т. д. бóльшие, прямая выгода от них — меньшая, чем от литературного произведения, степень доступности и легкости распространения также меньшая. Отсюда, при проведении принципа «экономии сил», и создавались предпосылки для игнорирования искусств этого рода при максимальном внимании к судьбам и путям развития литературы.

Но позиция Писарева и в отношении литературы не осталась свободной от предвзятых суждений и крайностей. И здесь можно отметить наличие, сравнительно с критикой Чернышевского и Добролюбова, слабых пунктов, связанных с недостатками социально-исторического истолкования ряда литературных явлений. Дело не только в том, что в яростном сражении с литературной реакцией и с «чистым искусством», самые сильные удары доставались «нашим милым лирикам», по иронической квалификации Писарева, в том числе и лучшим из них — Фету, Полонскому, А. Майкову. Их вообще не щадила демократическая критика того времени, и недостаток исторической объективности объяснялся самими условиями борьбы и компенсировался достижением главной цели — привлечь внимание к насущным нуждам демократического движения, к общественно-актив-

ной роли литературы. Но удар по «чистому искусству» у Писарева распространился и на Пушкина, отчасти — на Лермонтова. Полемический характер «отрицания» Пушкина, иронического третирования его как «нашего маленького и миленького Пушкина», конечно, очевиден. Это вызвано попытками со стороны «эстетической критики» лишить творчество Пушкина его общественно-политического звучания, представить Пушкина как «гармонически спокойного» и «чистого» поэта, стоящего выше «житейского волненья» и «битв». Такие попытки неоднократно предпринимались дворянской реакционной и либеральной критикой 50—60-х годов. Чернышевский и Добролюбов вели борьбу с подобными истолкованиями творчества Пушкина. Писарев решительно продолжил эту борьбу, но вместе с тем и поддался интерпретации Пушкина как «чистого» поэта. Только знак плюс был заменен при этом на знак минус. Либеральная критика этих лет любила противопоставлять Пушкина и Гоголя, имея в виду показать преимущество Пушкина как художника, свободного от «духа партий», перед Гоголем, который слишком, с ее точки зрения, ограничил свое творчество «критическим началом», преимущественным вниманием к «низкой действительности». Писарев не только, вслед за Чернышевским, считает Гоголя основоположником нового критического направления в русской литературе, но также и решительно противопоставляет его Пушкину. В Пушкине он готов видеть родоначальника направления «чистого искусства».

Оценка Писаревым творчества Пушкина в эти годы совершенно лишена историко-литературного характера. Если и признается какая-либо роль Пушкина в развитии нашей литературы, то только роль «великого стилиста», способствовавшего усовершенствованию русского стиха и русского языка.

* * *

1863—1866 годы были для Писарева порой наивысшего творческого подъема. Его деятельность в этот период почти целиком связана с «Русским словом». В каждой книжке журнала в 1864—1865 годах появлялась новая статья Писарева, иногда и не одна. Именно в эти годы он напряженно ищет ответы на наиболее актуальные и острые вопросы современности, стремится создать цельную концепцию, охватывающую различные стороны исторического процесса — соотношение интересов трудящихся масс и мыслящей личности, движущие силы исторического развития, роль науки, литературы и искусства в общественной жизни и т. д. «Теория реализма» со всеми характерными для нее специфическими ведущими мотивами и противоречиями была попыткой дать ответ на вопрос, что делать молодому поколению в сложившихся трудных условиях, чтобы всемерно способствовать достижению конечных идеалов, «перенесению будущего в настоящее». Влияние Писарева в эти годы на широкие круги демократических читателей было особенно сильным.

Последние полтора года жизни Писарева оказались для него трудным временем. В ноябре 1866 года он был наконец освобожден из Петропавловской крепости. Нервная его организация оказалась потрясенной

этим переходом от одиночного заключения, проведенного за самой напряженной работой, к свободе[1]. Общественная атмосфера была в эти годы гнетущей. После покушения Каракозова на Александра II в апреле 1866 года начались новые преследования демократической интеллигенции — аресты, обыски, допросы, ссылки. Еще в начале 1866 года, после нескольких предупреждений (в частности, и за статьи Писарева о романе «Что делать?» и «Исторические идеи Огюста Конта») был закрыт журнал «Русское слово». Одновременно был закрыт и «Современник». Демократическая публицистика временно лишилась своих легальных органов, Писарев — привычной для него трибуны. По разным причинам оказались разорванными и отношения Писарева с некоторыми из сотрудников по «Русскому слову», и прежде всего — с Благосветловым. Писарев отказался от сотрудничества в новом журнале «Дело», который с 1867 года стал редактировать Благосветлов[2].

Все, кто коротко знал Писарева в эти последние полтора года, отмечают характерную для него неуравновешенность, временный спад энергии, признаки нового духовного кризиса. Действительно, почти все то, что было написано критиком после выхода из крепости и до его трагической гибели, ни по количеству, ни по оригинальности замысла и яркости изложения несравнимо с тем, что было сделано на протяжении 1864—1865 годов.

Важным событием, открывшим для Писарева новые перспективы литературной деятельности, было приглашение стать постоянным сотрудником журнала «Отечественные записки», который с 1868 года стал выходить под редакцией Н. А. Некрасова и М. Е. Салтыкова-Щедрина. Это соглашение о сотрудничестве в журнале, где рядом с Писаревым оказывались и его прежние «противники» из «Современника»[3], было симптоматичным. Оно свидетельствует не только о том, что руководители «Отечественных записок», несмотря на прошлые разногласия, высоко ценили Писарева как демократического критика. Это «примирение» было также стремлением к консолидации демократических сил, означало с той и другой стороны отказ от затяжной и ненужной теперь полемики.

Но положение Писарева в «Отечественных записках» не могло установиться сразу. Хотя ему и поручалось регулярное участие в литературно-критическом отделе журнала, он не мог еще рассчитывать здесь на роль первого критика, чьи статьи определяют цвет и направление издания. Писарев был вынужден заниматься для журнала также переводом и литературной обработкой иностранных беллетристических произведений. В «Отечественных записках» были опубликованы четыре литературно-критические статьи Писарева[4]. Наиболее значительная из них — «Французский кре-

---

[1] Эта «свобода» была, конечно, относительной. Писарев оставался под негласным надзором полиции.

[2] Несколько статей Писарева, написанных и переданных им Благосветлову ранее, были, однако, опубликованы в этом журнале.

[3] Правда, главного его антагониста — М. А. Антоновича — уже не было среди них.

[4] «Романы Андре Лео», «Старое барство», «Мистическая любовь» и «Французский крестьянин в 1789 году».

стьянин в 1789 году», характеризующая, по материалам романа Эркмана — Шатриана «История одного крестьянина», отношения, сложившиеся между различными социальными слоями французского общества в начале революции, — продолжает ту тематическую линию, которая определилась уже в предшествующий период. Эта статья примыкает по основным выводам своим к статье «Исторические эскизы». Главное внимание уделено развитию самосознания трудящихся масс и решающей роли их в общем развитии исторических событий. Писарев с глубоким вниманием относится к тому «гласу народа», который «действительно, рано или поздно, всегда оказывается гласом божиим, то есть определяет своим громко произнесенным приговором течение исторических событий».

В статьях, написанных критиком в последний год его жизни, он не возвращался уже к разработке «теории реализма». В них не выдвигаются специально те «нерешенные вопросы», которые так занимали Писарева в 1864—1865 годах. Нет в них и тех специфических крайностей, например в оценке роли и назначения отдельных наук и искусств, которые так характерны для критики Писарева в предшествующий период. Полемическая заостренность не свойственна последним его статьям.

В рассуждениях некоторых исследователей, касавшихся эволюции мировоззрения Писарева, нередко выступало такое построение. Писарев начал в «Русском слове» с программы, во многих отношениях очень радикальной, но все-таки не идущей в основном русле революционно-демократического направления. Его отделяло в эти годы от позиции «Современника» непонимание решающей роли трудящихся масс в истории и основной задачи движения — сближения революционно-демократической интеллигенции с народом. Лишь в последние годы Писарев, согласно этой концепции, переходит на революционно-демократические позиции. Самым ярким выражением этого признавалась статья «Генрих Гейне», написанная не ранее 1866 года, и статья «Французский крестьянин в 1789 году», в которых действительно вопросу о революционном действии как важнейшей движущей силе истории посвящены очень яркие страницы. Но при этом игнорировались некоторые важнейшие суждения Писарева, характерные для него в годы формирования «теории реализма». Здесь имела место недооценка того решающего положения, которое занимали в таких произведениях Писарева 1864—1865 годов, как «Исторические эскизы», «Реалисты», «Исторические идеи Огюста Конта», «Посмотрим!» и др., проповедь социализма, защита интересов трудящихся масс, убежденность в решающем историческом значении революционных переворотов, решительное осуждение всякой реакции и буржуазного либерализма и стремление связать развитие науки и искусства с интересами народа, подчинить его общему делу коренного переустройства общественной жизни[1]. Основное внимание уделялось не основным и исходным положениям «теории реализма», а ее отдельным крайностям и полемически заостренным выводам. Между тем историческое значение этой теории в ее отношении к сложившейся социально-политической обстановке того времени может быть объективно

[1] См., например, указанную выше статью С. Борщевского.

оценено только в том случае, если ее рассматривать не как собрание отдельных полемических заявлений и преувеличений, а как сознательную попытку найти пути для разрешения основного вопроса истории, попытку, исходившую из убеждения в необходимости радикально изменить существующие социальные отношения. В конкретных положениях этой теории немало иллюзорного и утопического. Но ее действительно реальную основу составляет все-таки последовательная демократическая программа и связанная с нею убежденная проповедь социализма. Этим прежде всего и объясняется сильное воздействие критики Писарева на ряд поколений передовой интеллигенции. Этим определяется то почетное место, которое по праву заняла его публицистика в истории русской общественной мысли.

V

Лучшие из многочисленных литературно-критических статей Писарева по праву входят в то замечательное наследие, которое оставила нам демократическая критика 1860-х годов.

Высоко оценивая общественное значение литературы и считая, что лучшие ее произведения должны занять важное место в общей школе «реализма», способствовать выработке цельного мировоззрения и воспитанию молодых поколений, Писарев видел одну из существенных задач критики в глубоком истолковании и оценке литературного наследия. «Задача реалистической критики в отношении ко всей массе литературных памятников, оставленных нам отжившими поколениями, — говорил он, — состоит именно в том, чтобы выбрать из этой массы то, что может содействовать нашему умственному развитию» («Реалисты»). Писарев подчеркивал, что без знакомства с творчеством таких писателей, как Шекспир, Мольер, Байрон, Гете, Шиллер, Гейне, Жорж Санд, Теккерей, Крылов, Грибоедов, Гоголь и др., остались бы «непонятными настоятельные потребности и накопившиеся со всех сторон задачи нашей собственной мысли». Самое большое внимание уделял он современной литературе, непосредственно посвященной широкому изображению жизни с ее острейшими социальными конфликтами. Здесь достаточно назвать имена Гюго, Диккенса, Некрасова, Тургенева, Достоевского, Л. Толстого и др. Всех их, независимо от степени согласия с их отдельными выводами и взглядами и даже несмотря на отдельные явно чуждые ему тенденции в их творчестве, он называл «чрезвычайно полезными работниками нашего века». Среди лучших его литературно-критических статей — статьи о произведениях Л. Толстого, Достоевского. Неизменно привлекала его внимание проза Тургенева, а разбору его романа «Отцы и дети» и анализу типа Базарова посвящены целые две статьи. С особой симпатией относился он в годы развития «теории реализма» к тем произведениям, в которых была дана не только последовательная критика и разоблачение отживших и отживающих явлений и типов, но и выступало стремление воспроизвести «новый тип» положительного героя, отразить поиски новых путей общественного развития. Писарев первым откликнулся на появление «рассказа о но-

вых людях» — «Что делать?» Чернышевского. Его замечательная статья об этом романе была написана еще в 1863 году, сразу же после опубликования романа в «Современнике», хотя и увидела свет позднее. Превосходные статьи посвящены выдающимся произведениям демократической прозы 60-х годов — повести В. А. Слепцова «Трудное время» (статья «Подрастающая гуманность»), «Очеркам бурсы» («Погибшие и погибающие»), повестям «Мещанское счастье» и «Молотов» Н. Г. Помяловского («Роман кисейной девушки»).

Глубокие мысли об историческом романе содержатся в статье «Французский крестьянин в 1789 году». Подлинно историческими признает Писарев те произведения, которые привлекают внимание читателя к глубинным процессам истории, дают широкую картину народной жизни в определенную эпоху. Писарев развивает здесь теорию исторического романа, выдвинутую впервые в русской критике Белинским. Именно романы такого характера нужны, по мнению Писарева, широким кругам читателей. Таким образом органически связываются проблемы историзма и народности художественного произведения.

«Теория реализма» Писарева касалась различных проблем общественного развития, социально-политической жизни, философии, этики и эстетики, но она предполагала и последовательное отстаивание принципов реализма в литературе. Как Чернышевский и Добролюбов, Писарев требовал от литературы прежде всего глубокого воспроизведения социальной действительности в ее основных проявлениях, создания типических характеров. Он сознательно примыкал к той линии «реальной критики», принципы которой были наиболее отчетливо определены Добролюбовым. «Реальная критика» безоговорочно порывала с традицией чисто эстетического анализа литературных произведений, решительно отказывалась от «абсолютных эстетических приговоров», от анализа, идущего только «изнутри» произведения и не приводящего его образы в связь с живыми явлениями действительности. «Реальная критика» шла от материалов художественного произведения к материалам самой действительности, сопоставляла их и обращала свои выводы прежде всего в сторону действительности. В этом смысле «реальная критика» носила ярко выраженный публицистический характер. Такой характер имела и критика Писарева. Писарев неоднократно предупреждает читателя, что он не будет заниматься эстетической оценкой произведения или его стилистическим анализом, что для него произведение важно прежде всего фактами действительности, отраженными в нем, и что на анализе этих последних и сосредоточено его внимание. Такое направление критического анализа у Писарева проводится даже более резко, чем у Добролюбова. Ведь Добролюбов, идя от материалов художественного произведения к явлениям действительности, уделял существенное внимание особенностям творческого метода писателя, его художественного таланта. Писарев, обычно минуя это, целиком сосредоточивается на выяснении реальной основы, отраженной в тех или иных литературных типах и образах. Здесь следует отметить также своеобразие критической манеры Писарева. Обращаясь к анализу литературных типов и жизненных ситуаций, как они воспроизведены в художе-

ственных произведениях, он не ограничивается пассивным подбором примеров и иллюстраций из этих произведений к тем или иным общим положениям своей теории. Для него художественный образ, литературный тип, поскольку он достаточно верно и полно отражает черты самой действительности, оказывается своего рода живым лицом, данным во всей своей непосредственности и подлежащим творческой интерпретации. Отсюда так часто и охотно сам критик выступает в роли художника и, осторожно и внимательно группируя материалы, взятые из художественного произведения, создает свою вариацию известного литературного типа. Иногда дело ограничивается тем, что подчеркиваются или ретушируются не те черты образа, которые выделены или, напротив, несколько затенены в самом литературном первоисточнике. В других случаях этот своеобразный процесс «сотворчества» идет дальше. Художник-публицист не ограничивается простой группировкой уже воспроизведенных писателем черт образа, выделением тех или иных его особенностей или сменой акцентов в его интерпретации, и образ дополняется новыми штрихами, литературный персонаж ставится в новые ситуации. Характерные примеры того и другого рода художественно-критического «воссоздания» литературного типа представляют, с одной стороны, те статьи, которые посвящены анализу образа Базарова, с другой — статья о «Трудном времени» Слепцова.

Мы уже видели, какую интерпретацию получил образ Базарова в одноименной статье 1862 года. Но анализ типа Базарова явился основным стержнем, отправным пунктом и при изложении собственной программы Писарева в статье «Реалисты». Не трудно заметить, насколько видоизменился здесь образ Базарова сравнительно с тем, как он был представлен в романе Тургенева и как он охарактеризован в ранней статье самого Писарева. В «Реалистах», несомненно, имеет место освобождение этого образа от некоторых черт, приданных ему Тургеневым. Существенно отличное от тургеневского объяснение дается здесь некоторым действиям Базарова. Его отношения к «отцам», к любимой женщине, к родителям получают здесь во многом новое освещение, психологически тонкое и самостоятельное. Образ Базарова сознательно приподнимается, героизируется, во многом наполняется новым содержанием, созвучным исканиям самого критика. Даже ригоризм Базарова, непонимание им произведений искусства, его взгляд на природу не как на «храм», а как на «мастерскую», в которой человек призван быть работником, находят здесь, в противоположность Тургеневу, выставлявшему на первый план ограниченность нигилиста Базарова, и в отличие от отношения самого Писарева к этим особенностям любимого героя в статье 1862 года, не только свое реальное объяснение, но и оправдание. Такое же изменение акцентов происходит и в характеристике «друга, Аркадия Николаевича». Снимаются те снисходительно-лирические краски, которыми все-таки окрашен образ «либерального птенца» в самом романе; ядовито и решительно обнажается его бесхарактерность, умственная незрелость, беспринципность и «пение с чужого голоса».

В статье «Подрастающая гуманность», представляя читателю образ либерального барина Щетинина, Писарев дополняет разбор самих по

себе ярких и недвусмысленных сцен повести Слепцова новой развернутой картиной. Пространный и созданный в том же сатирическом ключе, что и у писателя-демократа Слепцова, диалог между самим критиком-реалистом и господином Щетининым в заключительной части статьи доводит до логического конца разоблачение либеральной идеологии и фразеологии. В этом столь характерном для Писарева-критика приеме сознательного дополнения образа новыми штрихами, «вдвижения» его в новую характерную ситуацию, сталкивания с новыми персонажами есть нечто общее с щедринской манерой сатирического перевоплощения известных литературных персонажей [1].

Ряд выдающихся образов, созданных современной ему реалистической литературой, получил в критике Писарева глубокое и проникновенное раскрытие. Здесь можно напомнить и характеристику Иртеньева из «Юности» Толстого в «Промахах незрелой мысли», и анализ типа Раскольникова в статье «Борьба за жизнь», Друбецкого и Николая Ростова из «Войны и мира» в статье «Старое барство». Но особое внимание Писарева-критика неизменно привлекал к себе образ «нового человека». Его любимыми героями стали герои «Что делать?» Чернышевского и особенно Базаров. Совершенно ясны причины, по которым Писареву герой тургеневского романа был особенно, как бы интимно близок. Его характеристика Базарова была во многом субъективна и полемична. Но она оказала самое сильное воздействие на дальнейшее отношение к этому роману и его герою со стороны передового русского читателя. Полемика, развернувшаяся вокруг «Отцов и детей» сразу же после их появления, не способствовала раскрытию основного исторического значения этого типического образа. За осуждением некоторых тенденциозных намерений Тургенева со стороны демократической критики, за похвалами Тургеневу со стороны яростных противников «нигилизма» оказались скрытыми такие реальные черты этого нового типа, как его демократизм, его непримиримость в борьбе со старым. Писарев, подчеркивая именно эти черты в облике Базарова, придал ему новое звучание. После статьи Писарева «Реалисты» уже не могло иметь успеха отношение к роману Тургенева как к произведению только тенденциозному. Параллели, проводимые Писаревым между типом Базарова и типом Рахметова, подчеркнули прогрессивную сущность, нравственную силу, историческое значение и живое многообразие этого типа. Критика Писарева внесла много нового и важного в истолкование «нового типа» героев, способствовала дальнейшему развитию этого типа в литературе, поддерживала и укрепляла веру в торжество демократических идей, революционного дела.

Не менее важную роль имела и другая сторона критики Писарева, нашедшая также самое широкое раскрытие в его творчестве. Писарев был беспощаден в оценке всего старого и отживающего, в критике любых проявлений социальной несправедливости, в язвительном разоблачении реакции, всякого «примиренчества» с ней и буржуазно-дворянского либерализма,

---

[1] Ср. и новый облик и новую «жизнь» тургеневского Берсенева в «Дневнике провинциала в Петербурге» и т. д.

прикрывающего красивой фразой корыстную заинтересованность в сохранении эксплуататорского строя. Эта полемическая, обличительная струя и в литературной критике Писарева занимает большое место. Наряду с истолкованием лучших реалистических произведений литературы, демократическая критика неизменно преследовала бездарную продукцию реакционных беллетристов. У Писарева есть также превосходные образцы такой памфлетной критики. С разящей язвительностью преследовал он так называемые «антинигилистические романы», распространившиеся в 1860-е годы и стремившиеся оклеветать демократическое движение, забросать грязью «новый тип» и вывести его в карикатурном виде. Такова, например, его статья «Сердитое бессилие», посвященная разбору антинигилистического романа В. П. Клюшникова «Марево».

Литературно-критическая деятельность Писарева, органически сочетавшаяся с рассмотрением важнейших социальных проблем и пропагандой передовых демократических взглядов, неизменно привлекала к себе внимание многих поколений и сохраняет свою силу и обаяние и для современного читателя.

Ю. Сорокин

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

БАЗАРОВ

(«Отцы и дети», роман И. С. Тургенева)

I

Новый роман Тургенева дает нам все то, чем мы привыкли наслаждаться в его произведениях. Художественная отделка безукоризненно хороша; характеры и положения, сцены и картины нарисованы так наглядно и в то же время так мягко, что самый отчаянный отрицатель искусства почувствует при чтении романа какое-то непонятное наслаждение, которого не объяснишь ни занимательностью рассказываемых событий, ни поразительною верностью основной идеи. Дело в том, что события вовсе не занимательны, а идея вовсе не поразительно верна. В романе нет ни завязки, ни развязки, ни строго обдуманного плана; есть типы и характеры, есть сцены и картины, и, главное, сквозь ткань рассказа сквозит личное, глубоко прочувствованное отношение автора к выведенным явлениям жизни. А явления эти очень близки к нам, так близки, что все наше молодое поколение с своими стремлениями и идеями может узнать себя в действующих лицах этого романа. Я этим не хочу сказать, чтобы в романе Тургенева идеи и стремления молодого поколения отразились так, как понимает их само молодое поколение; к этим идеям и стремлениям Тургенев относится с своей личной точки зрения, а старик и юноша почти никогда не сходятся между собою в убеждениях и симпатиях. Но если вы подойдете к зеркалу, которое, отражая предметы, изменяет немного их цвета, то вы узнаете свою физиономию, несмотря на погрешности зеркала. Читая роман Тургенева, мы видим в нем типы настоящей минуты и в то же время отдаем себе отчет в тех изменениях, которые испытали явления действительности, проходя чрез сознание художника. Любопытно проследить, как действуют на человека, подобного Тургеневу, идеи и стремления, шевелящиеся в нашем молодом поколении и проявляющиеся, как все живое, в самых разнообразных формах, редко привлекательных, часто оригинальных, иногда уродливых.

Такого рода исследование может иметь очень глубокое значение. Тургенев — один из лучших людей прошлого поколения; определить, как он смотрит на нас и почему он смотрит на нас так, а не иначе, значит найти причину того разлада, который замечается повсеместно в нашей частной семейной жизни; того разлада, от которого часто гибнут молодые жизни и от которого постоянно кряхтят и охают старички и старушки, не успевающие обработать на свою колодку понятия и поступки своих сыновей и дочерей. Задача, как видите, жизненная, крупная и сложная; сладить я с нею, вероятно, не слажу, а подумать — подумаю.

Роман Тургенева, кроме своей художественной красоты, замечателен еще тем, что он шевелит ум, наводит на размышления, хотя сам по себе не разрешает никакого вопроса и даже освещает ярким светом не столько выводимые явления, сколько отношения автора к этим самым явлениям. Наводит он на размышления именно потому, что весь насквозь проникнут самою полною, самою трогательною искренностью. Все, что написано в последнем романе Тургенева, прочувствовано до последней строки; чувство это прорывается помимо воли и сознания самого автора и согревает объективный рассказ вместо того, чтобы выражаться в лирических отступлениях. Автор сам не отдает себе ясного отчета в своих чувствах, не подвергает их анализу, не становится к ним в критические отношения. Это обстоятельство дает нам возможность видеть эти чувства во всей их нетронутой непосредственности. Мы видим то, что просвечивает, а не то, что автор хочет показать или доказать. Мнения и суждения Тургенева не изменят ни на волос нашего взгляда на молодое поколение и на идеи нашего времени; мы их даже не примем в соображение, мы с ними даже не будем спорить; эти мнения, суждения и чувства, выраженные в неподражаемо живых образах, дадут только материалы для характеристики прошлого поколения, в лице одного из лучших его представителей. Постараюсь сгруппировать эти материалы и, если это мне удастся, объясню, почему наши старики не сходятся с нами, качают головами и, смотря по различным характерам и по различным настроениям, то сердятся, то недоумевают, то тихо грустят по поводу наших поступков и рассуждений.

II

Действие романа происходит летом 1859 года. Молодой кандидат, Аркадий Николаевич Кирсанов, приезжает в деревню к своему отцу вместе с своим приятелем, Евгением Васильевичем Базаровым, который, очевидно, имеет сильное

влияние на образ мыслей своего товарища. Этот Базаров, человек сильный по уму и по характеру, составляет центр всего романа. Он — представитель нашего молодого поколения; в его личности сгруппированы те свойства, которые мелкими долями рассыпаны в массах; и образ этого человека ярко и отчетливо вырисовывается перед воображением читателя.

Базаров — сын бедного уездного лекаря; Тургенев ничего не говорит об его студенческой жизни, но надо полагать, что то была жизнь бедная, трудовая, тяжелая; отец Базарова говорит о своем сыне, что он у них отроду лишней копейки не взял; по правде сказать, многого и нельзя было бы взять даже при величайшем желании, следовательно, если старик Базаров говорит это в похвалу своему сыну, то это значит, что Евгений Васильевич содержал себя в университете собственными трудами, перебивался копеечными уроками и в то же время находил возможность дельно готовить себя к будущей деятельности. Из этой школы труда и лишений Базаров вышел человеком сильным и суровым; прослушанный им курс естественных и медицинских наук развил его природный ум и отучил его принимать на веру какие бы то ни было понятия и убеждения; он сделался чистым эмпириком; опыт сделался для него единственным источником познания, личное ощущение — единственным и последним убедительным доказательством. «Я придерживаюсь отрицательного направления, — говорит он, — в силу ощущений. Мне приятно отрицать, мой мозг так устроен — и баста! Отчего мне нравится химия? Отчего ты любишь яблоки? Тоже в силу ощущения — это все едино. Глубже этого люди никогда не проникнут. Не всякий тебе это скажет, да и я в другой раз тебе этого не скажу». Как эмпирик, Базаров признает только то, что можно ощупать руками, увидать глазами, положить на язык, словом, только то, что можно освидетельствовать одним из пяти чувств. Все остальные человеческие чувства он сводит на деятельность нервной системы; вследствие этого наслаждения красотами природы, музыкою, живописью, поэзиею, любовью женщины вовсе не кажутся ему выше и чище наслаждения сытным обедом или бутылкою хорошего вина. То, что восторженные юноши называют идеалом, для Базарова не существует; он все это называет «романтизмом», а иногда вместо слова «романтизм» употребляет слово «вздор». Несмотря на все это, Базаров не ворует чужих платков, не вытягивает из родителей денег, работает усидчиво и даже не прочь от того, чтобы сделать в жизни что-нибудь путное. Я предчувствую, что многие из моих читателей зададут себе вопрос: а что же удерживает Базарова от подлых поступков и что побуждает его делать что-нибудь путное? Этот вопрос

поведет за собою следующее сомнение: уж не притворяется ли Базаров перед самим собою и перед другими? Не рисуется ли он? Может быть, он в глубине души признает многое из того, что отрицает на словах, и, может быть, именно это признаваемое, это затаившееся спасает его от нравственного падения и от нравственного ничтожества. Хоть мне Базаров ни сват, ни брат, хоть я, может быть, и не сочувствую ему, однако, ради отвлеченной справедливости, я постараюсь ответить на вопрос и опровергнуть лукавое сомнение.

На людей, подобных Базарову, можно негодовать, сколько душе угодно, но признавать их искренность — решительно необходимо. Эти люди могут быть честными и бесчестными, гражданскими деятелями и отъявленными мошенниками, смотря по обстоятельствам и по личным вкусам. Ничто, кроме личного вкуса, не мешает им убивать и грабить, и ничто, кроме личного вкуса, не побуждает людей подобного закала делать открытия в области наук и общественной жизни. Базаров не украдет платка по тому же самому, почему он не съест кусок тухлой говядины. Если бы Базаров умирал с голоду, то он, вероятно, сделал бы то и другое. Мучительное чувство неудовлетворенной физической потребности победило бы в нем отвращение к дурному запаху разлагающегося мяса и к тайному посягательству на чужую собственность. Кроме непосредственного влечения, у Базарова есть еще другой руководитель в жизни — расчет. Когда он бывает болен, он принимает лекарство, хотя не чувствует никакого непосредственного влечения к касторовому маслу или к ассафетиде. Он поступает таким образом по расчету: ценою маленькой неприятности он покупает в будущем большее удобство или избавление от большей неприятности. Словом, из двух зол он выбирает меньшее, хотя и к меньшему не чувствует никакого влечения. У людей посредственных такого рода расчет большею частью оказывается несостоятельным; они по расчету хитрят, подличают, воруют, запутываются и в конце концов остаются в дураках. Люди очень умные поступают иначе; они понимают, что быть честным очень выгодно и что всякое преступление, начиная от простой лжи и кончая смертоубийством, — опасно и, следовательно, неудобно. Поэтому очень умные люди могут быть честны по расчету и действовать начистоту там, где люди ограниченные будут вилять и метать петли. Работая неутомимо, Базаров повиновался непосредственному влечению, вкусу и, кроме того, поступал по самому верному расчету. Если бы он искал протекции, кланялся, подличал, вместо того чтобы трудиться и держать себя гордо и независимо, то он поступал бы нерасчетливо. Карьеры, пробитые собственною головою, всегда прочнее и шире карьер, проложенных низкими поклонами или заступ-

ничеством важного дядюшки. Благодаря двум последним средствам можно попасть в губернские или в столичные тузы, но по милости этих средств никому, с тех пор как мир стоит, не удавалось сделаться ни Вашингтоном, ни Гарибальди, ни Коперником, ни Генрихом Гейне. Даже Герострат — и тот пробил себе карьеру собственными силами и попал в историю не по протекции.— Что же касается до Базарова, то он не метит в губернские тузы; если воображение иногда рисует ему будущность, то эта будущность как-то неопределенно широка; работает он без цели, для добывания насущного хлеба или из любви к процессу работы, а между тем он смутно чувствует по количеству собственных сил, что работа его не останется бесследною и к чему-нибудь приведет. Базаров чрезвычайно самолюбив, но самолюбие его незаметно именно вследствие своей громадности. Его не занимают те мелочи, из которых складываются обыденные людские отношения; его нельзя оскорбить явным пренебрежением, его нельзя обрадовать знаками уважения; он так полон собою и так непоколебимо-высоко стоит в своих собственных глазах, что делается почти совершенно равнодушным к мнению других людей. Дядя Кирсанова, близко подходящий к Базарову по складу ума и характера, называет его самолюбие «сатанинскою гордостью». Это выражение очень удачно выбрано и совершенно характеризует нашего героя. Действительно, удовлетворить Базарова могла бы только целая вечность постоянно расширяющейся деятельности и постоянно увеличивающегося наслаждения, но, к несчастию для себя, Базаров не признает вечного существования человеческой личности. «Да вот, например, — говорит он своему товарищу Кирсанову, — ты сегодня сказал, проходя мимо избы нашего старосты Филиппа, — она такая славная, белая, — вот сказал ты: Россия тогда достигнет совершенства, когда у последнего мужика будет такое же помещение, и всякий из нас должен этому способствовать... А я и возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который мне даже спасибо не скажет... Да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет; — ну, а дальше?»

Итак, Базаров везде и во всем поступает только так, как ему хочется или как ему кажется выгодным и удобным. Им управляют только личная прихоть или личные расчеты. Ни над собой, ни вне себя, ни внутри себя он не признает никакого регулятора, никакого нравственного закона, никакого принципа. Впереди — никакой высокой цели; в уме — никакого высокого помысла, и при всем этом — силы огромные.— Да ведь это безнравственный человек! Злодей, урод! — слышу я со всех сторон восклицания негодующих читателей. Ну,

хорошо, злодей, урод; браните больше, преследуйте его сатирой и эпиграммой, негодующим лиризмом и возмущенным общественным мнением, кострами инквизиции и топорами палачей, — и вы не вытравите, не убьете этого урода, не посадите его в спирт на удивление почтенной публике. Если базаровщина — болезнь, то она болезнь нашего времени, и ее приходится выстрадать, несмотря ни на какие паллиативы и ампутации. Относитесь к базаровщине как угодно — это ваше дело; а остановить — не остановите; это та же холера.

III

Болезнь века раньше всего пристает к людям, стоящим по своим умственным силам выше общего уровня. Базаров, одержимый этою болезнью, отличается замечательным умом и вследствие этого производит сильное впечатление на сталкивающихся с ним людей. «Настоящий человек, — говорит он, — тот, о котором думать нечего, а которого надобно слушаться или ненавидеть». Под определение настоящего человека подходит именно сам Базаров; он постоянно сразу овладевает вниманием окружающих людей: одних он запугивает и отталкивает; других подчиняет, не столько доводами, сколько непосредственною силою, простотою и цельностью своих понятий. Как человек замечательно умный, он не встречал себе равного. «Когда я встречу человека, который не спасовал бы передо мною, — проговорил он с расстановкой, — тогда я изменю свое мнение о самом себе».

Он смотрит на людей сверху вниз и даже редко дает себе труд скрывать свои полупрезрительные, полупокровительственные отношения к тем людям, которые его ненавидят, и к тем, которые его слушаются. Он никого не любит; не разрывая существующих связей и отношений, он в то же время не сделает ни шагу для того, чтобы снова завязать или поддержать эти отношения, не смягчит ни одной ноты в своем суровом голосе, не пожертвует ни одною резкою шуткою, ни одним красным словцом.

Поступает он таким образом не во имя принципа, не для того, чтобы в каждую данную минуту быть вполне откровенным, а потому, что считает совершенно излишним стеснять свою особу в чем бы то ни было, по тому же самому побуждению, по которому американцы задирают ноги на спинки кресел и заплевывают табачным соком паркетные полы пышных гостиниц. Базаров ни в ком не нуждается, никого не боится, никого не любит и, вследствие этого, никого не щадит. Как Диоген, он готов жить чуть не в бочке и за это пре-

доставляет себе право говорить людям в глаза резкие истины по той причине, что это ему нравится. В цинизме Базарова можно различить две стороны: внутреннюю и внешнюю, цинизм мыслей и чувств и цинизм манер и выражений. Ироническое отношение к чувству всякого рода, к мечтательности, к лирическим порывам, к излияниям составляет сущность внутреннего цинизма. Грубое выражение этой иронии, беспричинная и бесцельная резкость в обращении относятся к внешнему цинизму. Первый зависит от склада ума и от общего миросозерцания; второй обусловливается чисто внешними условиями развития, свойствами того общества, в котором жил рассматриваемый субъект. Насмешливые отношения Базарова к мягкосердечному Кирсанову вытекают из основных свойств общего базаровского типа. Грубые столкновения его с Кирсановым и с его дядею составляют его личную принадлежность. Базаров не только эмпирик — он, кроме того, неотесанный бурш, не знающий другой жизни, кроме бездомной, трудовой, подчас дико-разгульной жизни бедного студента. В числе почитателей Базарова найдутся, наверное, такие люди, которые будут восхищаться его грубыми манерами, следами бурсацкой жизни, будут подражать этим манерам, составляющим, во всяком случае, недостаток, а не достоинство, будут даже, может быть, утрировать его угловатость, мешковатость и резкость. В числе ненавистников Базарова найдутся наверное такие люди, которые обратят особенное внимание на эти неказистые особенности его личности и поставят их в укор общему типу. Те и другие ошибутся и обнаружат только глубокое непонимание настоящего дела. И тем и другим можно будет напомнить стих Пушкина:

Быть можно дельным человеком,
И думать о красе ногтей.

Можно быть крайним материалистом, полнейшим эмпириком, и в то же время заботиться о своем туалете, обращаться утонченно-вежливо с своими знакомыми, быть любезным собеседником и совершенным джентльменом. Это я говорю для тех читателей, которые, придавая важное значение утонченным манерам, с отвращением посмотрят на Базарова, как на человека mal élevé и mauvais ton [1]. Он действительно mal élevé и mauvais ton, но это нисколько не относится к сущности типа и не говорит ни против него, ни в его пользу. Тургеневу пришло в голову выбрать представителем базаровского типа человека неотесанного; он так и сделал и, конечно, рисуя своего героя, не утаил и не закрасил его угловатостей; выбор Тургенева можно объяснить двумя различными

---

[1] Плохо воспитанного и дурного тона *(франц.)*. — *Ред.*

причинами: во-первых, личность человека, беспощадно и с полным убеждением отрицающего все, что другие признают высоким и прекрасным, всего чаще вырабатывается при серой обстановке трудовой жизни; от сурового труда грубеют руки, грубеют манеры, грубеют чувства; человек крепнет и прогоняет юношескую мечтательность, избавляется от слезливой чувствительности; за работою мечтать нельзя, потому что внимание сосредоточено на занимающем деле; а после работы нужен отдых, необходимо действительное удовлетворение физическим потребностям, и мечта нейдет на ум. На мечту человек привыкает смотреть как на блажь, свойственную праздности и барской изнеженности; нравственные страдания он начинает считать мечтательными; нравственные стремления и подвиги — придуманными и нелепыми. Для него, трудового человека, существует только одна, вечно повторяющаяся забота: сегодня надо думать о том, чтобы не голодать завтра. Эта простая, грозная в своей простоте забота заслоняет от него остальные, второстепенные тревоги, дрязги и заботы жизни; в сравнении с этою заботою ему кажутся мелкими, ничтожными, искусственно созданными разные неразрешенные вопросы, неразъясненные сомнения, неопределенные отношения, которые отравляют жизнь людей обеспеченных и досужих.

Таким образом пролетарий-труженик самым процессом своей жизни, независимо от процесса размышления, доходит до практического реализма; он за недосугом отучается мечтать, гоняться за идеалом, стремиться в идее к недостижимо-высокой цели. Развивая в труженике энергию, труд приучает его сближать дело с мыслью, акт воли с актом ума. Человек, привыкший надеяться на себя и на свои собственные силы, привыкший осуществлять сегодня то, что задумано было вчера, начинает смотреть с более или менее явным пренебрежением на тех людей, которые, мечтая о любви, о полезной деятельности, о счастии всего человеческого рода, не умеют шевельнуть пальцем, чтобы хоть сколько-нибудь улучшить свое собственное, в высшей степени неудобное положение. Словом, человек дела, будь он медик, ремесленник, педагог, даже литератор (можно быть литератором и человеком дела в одно и то же время), чувствует естественное, непреодолимое отвращение к фразистости, к трате слов, к сладким мыслям, к сентиментальным стремлениям и вообще ко всяким претензиям, не основанным на действительной, осязательной силе. Такого рода отвращение ко всему отрешенному от жизни и улетучивающемуся в звуках составляет коренное свойство людей базаровского типа. Это коренное свойство вырабатывается именно в тех разнородных мастерских, в которых человек, изощряя свой ум и напрягая мускулы,

борется с природою за право существовать на белом свете. На этом основании Тургенев имел право взять своего героя в одной из таких мастерских и привести его в рабочем фартуке, с неумытыми руками и угрюмо-озабоченным взглядом в общество фешенебельных кавалеров и дам. Но справедливость побуждает меня выразить предположение, что автор романа «Отцы и дети» поступил таким образом не без коварного умысла. Этот коварный умысел и составляет ту вторую причину, о которой я упомянул выше. Дело в том, что Тургенев, очевидно, не благоволит к своему герою. Его мягкую, любящую натуру, стремящуюся к вере и сочувствию, коробит от разъедающего реализма; его тонкое эстетическое чувство, не лишенное значительной дозы аристократизма, оскорбляется даже самыми легкими проблесками цинизма; он слишком слаб и впечатлителен, чтобы вынести безотрадное отрицание; ему необходимо помириться с существованием если не в области жизни, то по крайней мере в области мысли или, вернее, мечты. Тургенев, как нервная женщина, как растение «не тронь меня», сжимается болезненно от самого легкого соприкосновения с букетом базаровщины.

Чувствуя, таким образом, невольную антипатию к этому направлению мысли, он вывел его перед читающею публикою в возможно неграциозном экземпляре. Он очень хорошо знает, что в публике нашей очень много фешенебельных читателей, и, рассчитывая на утонченность их аристократического вкуса, не щадит грубых красок, с очевидным желанием уронить и опошлить вместе с героем тот склад идей, который составляет общую принадлежность типа. Он очень хорошо знает, что большинство его читателей скажут только о Базарове, что он дурно воспитан и что его нельзя пустить в порядочную гостиную; дальше и глубже они не пойдут, но, говоря с такими людьми, даровитый художник и честный человек должен быть в высшей степени осторожен из уважения к самому себе и к той идее, которую он защищает или опровергает. Тут надо держать в узде свою личную антипатию, которая при известных условиях может превратиться в непроизвольную клевету на людей, не имеющих возможности защищаться тем же оружием.

IV

Я старался до сих пор обрисовать крупными чертами личность Базарова, или, вернее, тот общий, складывающийся тип, которого представителем является герой тургеневского романа. Надобно теперь проследить по возможности его историческое происхождение; надо показать, в каких отноше-

ниях находится Базаров к разным Онегиным, Печориным, Рудиным, Бельтовым и другим литературным типам, в которых, в прошлые десятилетия, молодое поколение узнавало черты своей умственной физиономии. Во всякое время жили на свете люди, недовольные жизнью вообще или некоторыми формами жизни в особенности; во всякое время люди эти составляли незначительное меньшинство. Масса во всякое время жила припеваючи и, по свойственной ей неприхотливости, удовлетворялась тем, что было налицо. Только какое-нибудь материальное бедствие, вроде «труса, глада, потопа, нашествия иноплеменных», приводило массу в беспокойное движение и нарушало обычный, сонливо-безмятежный процесс ее прозябания. Масса, составленная из тех сотен тысяч неделимых, которые никогда в жизни не пользовались своим головным мозгом как орудием самостоятельного мышления, живет себе со дня на день, обделывает свои делишки, получает местечки, играет в картишки, кое-что почитывает, следит за модою в идеях и в платьях, идет черепашьим шагом вперед по силе инерции и, никогда не задавая себе крупных, многообъемлющих вопросов, никогда не мучась сомнениями, не испытывает ни раздражения, ни утомления, ни досады, ни скуки. Эта масса не делает ни открытий, ни преступлений; за нее думают и страдают, ищут и находят, борются и ошибаются другие люди, вечно для нее чужие, вечно смотрящие на нее с пренебрежением и в то же время вечно работающие для того, чтобы увеличить удобства ее жизни. Эта масса, желудок человечества, живет на всем на готовом, не спрашивая, откуда оно берется, и не внося с своей стороны ни одной полушки в общую сокровищницу человеческой мысли. Люди массы у нас в России учатся, служат, работают, веселятся, женятся, плодят детей, воспитывают их, словом, живут самою полною жизнью, совершенно довольны собою и средою, не желают никаких усовершенствований и, шествуя по торной дороге, не подозревают ни возможности, ни необходимости других путей и направлений. Они держатся заведенного порядка по силе инерции, а не вследствие привязанности к нему; попробуйте изменить этот порядок — они сейчас сживутся с нововведением; закоренелые староверы являются самобытными личностями и стоят выше безответного стада. А масса сегодня ездит по скверным проселочным дорогам и мирится с ними; чрез несколько лет она сядет в вагоны и будет любоваться быстротою движения и удобствами путешествия. Эта инерция, эта способность на все соглашаться и со всем уживаться составляет, может быть, драгоценнейшее достояние человечества. Убогость мысли уравновешивается, таким образом, скромностью требований. Человек, у которого не хватает ума на то, чтобы придумать средства для улучшения своего

невыносимого положения, может назваться счастливым только в том случае, если он не понимает и не чувствует неудобств своего положения. Жизнь человека ограниченного почти всегда течет ровнее и приятнее жизни гения или даже просто умного человека. Умные люди не уживаются с теми явлениями, к которым без малейшего труда привыкает масса. К этим явлениям умные люди, смотря по различным условиям темперамента и развития, становятся в самые разнородные отношения.

Вот, положим, живет в Петербурге молодой человек, единственный сын богатых родителей. Он умен. Учили его как следует, слегка всему тому, что по понятиям папеньки и гувернера необходимо знать молодому человеку хорошего семейства. Книги и уроки ему надоели; надоели и романы, которые он читал сначала потихоньку, а потом открыто; он жадно набрасывается на жизнь, танцует до упаду, волочится за женщинами, одерживает блестящие победы. Незаметно пролетает два-три года; сегодня то же самое, что вчера, завтра то же, что сегодня, — шуму, толкотни, движения, блеску, пестроты много, а в сущности разнообразия впечатлений нет; то, что видел наш предполагаемый герой, то уже понято и изучено им; новой пищи для ума нет, и начинается томительное чувство умственного голода, скуки. Разочарованный или, проще и вернее, скучающий молодой человек начинает раздумывать, что бы ему сделать, за что бы ему приняться. Работать, что ли? Но работать, задавать себе работу для того, чтобы не скучать, — все равно, что гулять для моциона без определенной цели. О таком фокусе умному человеку и подумать странно. Да и, наконец, не угодно ли вам найти у нас такую работу, которая заинтересовала и удовлетворяла бы умного человека, не втянувшегося в эту работу смолоду. Уж не поступить ли ему на службу в казенную палату? Или не готовиться ли для развлечения к магистерскому экзамену? Не вообразить ли себя художником и не приняться ли в двадцать пять лет за рисование глаз и ушей, за изучение перспективы или генерал-баса?

Разве влюбиться? — Оно, конечно, не мешало бы, да беда в том, что умные люди очень требовательны и редко удовлетворяются теми экземплярами женского пола, которыми изобилуют блестящие петербургские гостиные. С этими женщинами они любезничают, с ними они сводят интриги, на них они женятся, иногда по увлечению, чаще по благоразумному расчету; но сделать из отношений с подобными женщинами занятие, наполняющее жизнь, спасающее от скуки, — это для умного человека немыслимо. В отношения между мужчиною и женщиною проникла та же мертвящая казенщина, которая обуяла остальные проявления нашей частной

и общественной жизни. Живая природа человека здесь, как и везде, скована и обесцвечена мундирностью и обрядностью. Ну вот, молодому человеку, изучившему мундир и обряд до последних подробностей, остается только или махнуть рукой на свою скуку, как на неизбежное зло, или с отчаянья броситься в разные эксцентричности, питая неопределенную надежду рассеяться. Первое сделал Онегин, второе — Печорин; вся разница между тем и другим заключается в темпераменте. Условия, при которых они формировались и от которых они заскучали, — одни и те же; среда, которая приелась тому и другому, — та же самая. Но Онегин холоднее Печорина, и потому Печорин дурит гораздо больше Онегина, кидается за впечатлениями на Кавказ, ищет их в любви Бэлы, в дуэли с Грушницким, в схватках с черкесами, между тем как Онегин вяло и лениво носит с собою по свету свое красивое разочарование. Немножко Онегиным, немножко Печориным бывал и до сих пор бывает у нас всякий мало-мальски умный человек, владеющий обеспеченным состоянием, выросший в атмосфере барства и не получивший серьезного образования.

Рядом с этими скучающими трутнями являлись и до сих пор являются толпами люди грустящие, тоскующие от неудовлетворенного стремления приносить пользу. Воспитанные в гимназиях и университетах, эти люди получают довольно основательные понятия о том, как живут на свете цивилизованные народы, как трудятся на пользу общества даровитые деятели, как определяют обязанности человека разные мыслители и моралисты. В неопределенных, но часто теплых выражениях говорят этим людям профессора о честной деятельности, о подвиге жизни, о самоотвержении во имя человечества, истины, науки, общества. Вариации на эти теплые выражения наполняют собою задушевные студенческие беседы, во время которых высказывается так много юношески-свежего, во время которых так тепло и безгранично верится в существование и в торжество добра. Ну вот, проникнутые теплыми словами идеалистов-профессоров, согретые собственными восторженными речами, молодые люди из школы выходят в жизнь с неукротимым желанием сделать хорошее дело или — пострадать за правду. Пострадать им иногда приходится, но сделать дело никогда не удается. Они ли сами в этом виноваты, та ли жизнь виновата, в которую они вступают, — рассудить мудрено. Верно по крайней мере то, что переделать условия жизни у них не хватает сил, а ужиться с этими условиями они не умеют. Вот они мечутся из стороны в сторону, пробуют свои силы на разных карьерах, просят, умоляют общество: «Пристрой ты нас куда-нибудь, возьми ты наши силы, выжми из них для себя какую-нибудь частицу пользы; погуби нас, но губи так, чтобы наша гибель

не пропала даром». Общество глухо и неумолимо; горячее желание Рудиных и Бельтовых пристроиться к практической деятельности и видеть плоды своих трудов и пожертвований остается бесплодным. Еще ни один Рудин, ни один Бельтов не дослужился до начальника отделения; да к тому же — странные люди! — они, чего доброго, даже этою почетною и обеспеченною должностью не удовлетворились бы. Они говорили на таком языке, которого не понимало общество, и после напрасных попыток растолковать этому обществу свои желания они умолкали и впадали в очень извинительное уныние. Иные Рудины успокоивались и находили себе удовлетворение в педагогической деятельности; делаясь учителями и профессорами, они находили исход для своего стремления к деятельности. Сами мы, говорили они себе, ничего не сделали. По крайней мере передадим наши честные тенденции молодому поколению, которое будет крепче нас и создаст себе другие, более благоприятные времена. Оставаясь таким образом вдали от практической деятельности, бедные идеалисты-преподаватели не замечали того, что их лекции плодят таких же Рудиных, как и они сами, что их ученикам придется точно так же оставаться вне практической деятельности или делаться ренегатами, отказываться от убеждений и тенденций. Рудиным-преподавателям было бы тяжело предвидеть, что они даже в лице своих учеников не примут участия в практической деятельности; а между тем они бы ошиблись, если бы, даже предвидя это обстоятельство, они подумали, что не приносят никакой пользы. Отрицательная польза, принесенная и приносимая людьми этого закала, не подлежит ни малейшему сомнению. Они размножают людей, *неспособных* к практической деятельности; вследствие этого самая практическая деятельности, или, вернее, те формы, в которых она обыкновенно выражается теперь, медленно, но постоянно понижаются во мнении общества. Лет двадцать тому назад все молодые люди служили в различных ведомствах; люди неслужащие принадлежали к исключительным явлениям; общество смотрело на них с состраданием или с пренебрежением; сделать карьеру — значило дослужиться до большого чина. Теперь очень многие молодые люди не служат, и никто не находит в этом ничего странного или предосудительного. Почему так случилось? А потому, мне кажется, что к подобным явлениям пригляделись, или, что то же самое, потому что Рудины размножились в нашем обществе. Не так давно, лет шесть тому назад, вскоре после Крымской кампании, наши Рудины вообразили себе, что их время настало, что общество примет и пустит в ход те силы, которые они давно предлагали ему с полным самоотвержением. Они рванулись вперед; литература оживилась; университетское

преподавание сделалось свежее; студенты преобразились; общество с небывалым рвением принялось за журналы и стало даже заглядывать в аудитории; * возникли даже новые административные должности. Казалось, что за эпохою бесплодных мечтаний и стремлений наступает эпоха кипучей, полезной деятельности. Казалось, рудинству приходит конец, и даже сам г. Гончаров похоронил своего Обломова и объявил, что под русскими именами таится много Штольцев. Но мираж рассеялся — Рудины не сделались практическими деятелями; из-за Рудиных выдвинулось новое поколение, которое с укором и насмешкой отнеслось к своим предшественникам. «Об чем вы ноете, чего вы ищете, чего просите от жизни? Вам небось счастия хочется, — говорили эти новые люди мягкосердечным идеалистам, тоскливо опустившим крылышки, — да ведь мало ли что! Счастие надо завоевать. Есть силы — берите его. Нет сил — молчите, а то и без вас тошно!» — Мрачная, сосредоточенная энергия сказывалась в этом недружелюбном отношении молодого поколения к своим наставникам. В своих понятиях о добре и зле это поколение сходилось с лучшими людьми предыдущего; симпатии и антипатии у них были общие; желали они одного и того же; но люди прошлого метались и суетились, надеясь где-нибудь пристроиться и как-нибудь, втихомолку, урывками, незаметно влить в жизнь свои честные убеждения. Люди настоящего не мечутся, ничего не ищут, нигде не пристраиваются, не подаются ни на какие компромиссы и ни на что не надеются. В практическом отношении они так же бессильны, как и Рудины, но они сознали свое бессилие и перестали махать руками. «Я не могу действовать теперь, — думает про себя каждый из этих новых людей, — не стану и пробовать; я презираю все, что меня окружает, и не стану скрывать этого презрения. В борьбу со злом я пойду тогда, когда почувствую себя сильным. До тех пор буду жить сам по себе, как живется, не мирясь с господствующим злом и не давая ему над собою никакой власти. Я — чужой среди существующего порядка вещей, и мне до него нет никакого дела. Занимаюсь я хлебным ремеслом, думаю — что хочу, и высказываю — что можно высказать».

Это холодное отчаяние, доходящее до полного индифферентизма и в то же время развивающее отдельную личность до последних пределов твердости и самостоятельности, напрягает умственные способности; не имея возможности действовать, люди начинают думать и исследовать; не имея возможности переделать жизнь, люди вымещают свое бессилие в области мысли; там ничто не останавливает разрушительной критической работы; суеверия и авторитеты раз-

биваются вдребезги, и миросозерцание совершенно очищается от разных призрачных представлений.

«— Что же вы делаете? (спрашивает дядя Аркадия у Базарова).

— А вот что мы делаем (отвечает Базаров): прежде — в недавнее время, мы говорили, что чиновники наши берут взятки, что у нас нет ни дорог, ни торговли, ни правильного суда.

— Ну да, да, вы — обличители, — так, кажется, это называется? Со многими из ваших обличений и я соглашаюсь, но...

— А потом мы догадались, что болтать, все только болтать о наших язвах не стоит труда, что это ведет только к пошлости и к доктринерству; мы увидали, что умники наши, так называемые передовые люди и обличители, никуда не годятся, что мы занимаемся вздором, толкуем о каком-то искусстве, бессознательном творчестве, о парламентаризме, об адвокатуре и черт знает о чем, когда дело идет о насущном хлебе, когда *грубейшее суеверие нас душит,* * когда все наши акционерные общества лопаются единственно от того, что оказывается недостаток в честных людях, когда самая свобода, о которой хлопочет правительство, едва ли пойдет нам впрок, потому что мужик наш рад самого себя обокрасть, чтобы напиться дурману в кабаке...

— Так, — перебил Павел Петрович, — так; вы во всем этом убедились и решились сами ни за что серьезно не приниматься?

— И решились ни за что не приниматься, — угрюмо повторил Базаров. Ему вдруг стало досадно на самого себя, зачем он так распространился перед этим барином.

— А только ругаться?

— И ругаться.

— И это называется нигилизмом?

— И это называется нигилизмом, — повторил опять Базаров, на этот раз с особенною дерзостью».

Итак, вот мои выводы. Человек массы живет по установленной норме, которая достается ему на долю не по свободному выбору, а потому, что он родился в известное время, в известном городе или селе. Он весь опутан разными отношениями: родственными, служебными, бытовыми, общественными; мысль его скована принятыми предрассудками; сам он не любит ни этих отношений, ни этих предрассудков, но они представляются ему «пределом, его же не прейдеши», и он живет и умирает, не проявив своей личной воли и часто даже не заподозрив в себе ее существования. Если попадется в этой массе человек поумнее, то он, смотря по обстоятельствам, в том или в другом отношении выделится из массы

и распорядится по-своему, как ему выгоднее, удобнее и приятнее. Умные люди, не получившие серьезного образования, не выдерживают жизни массы, потому что она надоедает им своею бесцветностью; они сами не имеют понятия о лучшей жизни и потому, инстинктивно отшатнувшись от массы, остаются в пустом пространстве, не зная, куда идти, зачем жить на свете, чем разогнать тоску. Здесь отдельная личность отрывается от стада, но не умеет распорядиться собою. Другие люди, умные и образованные, не удовлетворяются жизнью массы и подвергают ее сознательной критике; у них составлен свой идеал; они хотят идти к нему, но, оглядываясь назад, постоянно, боязливо спрашивают друг друга: а пойдет ли за нами общество? А не останемся ли мы одни с своими стремлениями? Не попадем ли мы впросак? У этих людей, за недостатком твердости, дело останавливается на словах. Здесь личность сознает свою отдельность, составляет себе понятие самостоятельной жизни и, не осмеливаясь сдвинуться с места, раздваивает свое существование, отделяет мир мысли от мира жизни. Люди третьего разряда идут дальше — они сознают свое несходство с массою и смело отделяются от нее поступками, привычками, всем образом жизни. Пойдет ли за ними общество, до этого им нет дела. Они полны собою, своею внутреннею жизнью и не стесняют ее в угоду принятым обычаям и церемониалам. Здесь личность достигает полного самоосвобождения, полной особности и самостоятельности.

Словом, у Печориных есть воля без знания, у Рудиных — знанье без воли; у Базаровых есть и знанье и воля. Мысль и дело сливаются в одно твердое целое.

V

До сих пор я говорил об общем жизненном явлении, вызвавшем собою роман Тургенева; теперь надо посмотреть, как это явление отразилось в художественном произведении. Узнавши, что такое Базаров, мы должны обратить внимание на то, как понимает этого Базарова сам Тургенев, как он заставляет его действовать и в какие отношения ставит его к окружающим людям. Словом, я приступлю теперь к подробному фактическому разбору романа.

Я сказал выше, что Базаров приезжает в деревню к своему приятелю, Аркадию Николаевичу Кирсанову, подчиняющемуся его влиянию. Аркадий Николаевич — молодой человек неглупый, но совершенно лишенный умственной оригинальности и постоянно нуждающийся в чьей-нибудь интеллектуальной поддержке. Он, вероятно, лет на пять моложе База-

рова и в сравнении с ним кажется совершенно неоперившимся птенцом, несмотря на то, что ему около двадцати трех лет и что он кончил курс в университете. Благоговея перед своим учителем, Аркадий с наслаждением отрицает авторитеты; он делает это с чужого голоса, не замечая таким образом внутреннего противоречия в своем поведении. Он слишком слаб, чтобы держаться самостоятельно в той холодной атмосфере трезвой разумности, в которой так привольно дышится Базарову; он принадлежит к разряду людей, вечно опекаемых и вечно не замечающих над собою опеки. Базаров относится к нему покровительственно и почти всегда насмешливо; Аркадий часто спорит с ним, и в этих спорах Базаров дает полную волю своему увесистому юмору. Аркадий не любит своего друга, а как-то невольно подчиняется неотразимому влиянию сильной личности, и притом воображает себе, что глубоко сочувствует базаровскому миросозерцанию. Отношения его к Базарову чисто головные, сделанные на заказ; он познакомился с ним где-нибудь в студенческом кругу, заинтересовался цельностью его воззрений, покорился его силе и вообразил себе, что он его глубоко уважает и от души любит. Базаров, конечно, ничего не вообразил и, нисколько не стесняя себя, позволил своему новому прозелиту любить его, Базарова, и поддерживать с ним постоянные отношения. Поехал он с ним в деревню не для того, чтобы доставить ему удовольствие, и не для того, чтобы познакомиться с семейством своего нареченного друга, а просто потому, что это было по дороге, да и, наконец, отчего же не пожить недели две в гостях у порядочного человека, в деревне, летом, когда нет никаких отвлекающих занятий и интересов?

Деревня, в которую приехали наши молодые люди, принадлежит отцу и дяде Аркадия. Отец его, Николай Петрович Кирсанов, — человек лет сорока с небольшим; по складу характера он очень похож на своего сына. Но у Николая Петровича между его умственными убеждениями и природными наклонностями гораздо больше соответствия и гармонии, чем у Аркадия. Как человек мягкий, чувствительный и даже сентиментальный, Николай Петрович не порывается к рационализму и успокоивается на таком миросозерцании, которое дает пищу его воображению и приятно щекочет его нравственное чувство. Аркадий, напротив того, хочет быть сыном своего века и напяливает на себя идеи Базарова, которые решительно не могут с ним срастись. Он — сам по себе, а идеи — сами по себе болтаются, как сюртук взрослого человека, надетый на десятилетнего ребенка. Даже та ребяческая радость, которая обнаруживается в мальчике, когда его шутя производят в большие, даже эта радость, говорю я, заметна в нашем юном мыслителе с чужого голоса. Аркадий щеголяет своими

идеями, старается обратить на них внимание окружающих, думает про себя: «Вот какой я молодец!» и, увы, как дитя малое, неразумное, иногда провирается и доходит до явного противоречия с самим собою и с накладными своими убеждениями.

Дядя Аркадия, Павел Петрович, может быть назван Печориным маленьких размеров; он на своем веку пожуировал и подурачился, и, наконец, все ему надоело; пристроиться ему не удалось, да это и не было в его характере; добравшись до той поры, когда, по выражению Тургенева, сожаления похожи на надежды и надежды похожи на сожаления, бывший лев удалился к брату в деревню, окружил себя изящным комфортом и превратил свою жизнь в спокойное прозябание. Выдающимся воспоминанием из прежней шумной и блестящей жизни Павла Петровича было сильное чувство к одной великосветской женщине, чувство, доставившее ему много наслаждений и вслед за тем, как бывает почти всегда, много страданий. Когда отношения Павла Петровича к этой женщине оборвались, то жизнь его совершенно опустела.

«Как отравленный, бродил он с места на место, — говорит Тургенев, — он еще выезжал, он сохранил все привычки светского человека, он мог похвастаться двумя-тремя новыми победами; но он уже не ждал ничего особенного ни от себя, ни от других и ничего не предпринимал; он состарился, поседел; сидеть по вечерам в клубе, желчно скучать, равнодушно поспорить в холостом обществе стало для него потребностью, — знак, как известно, плохой. О женитьбе он, разумеется, и не думал. Десять лет прошло таким образом, бесцветно, бесплодно и быстро, страшно быстро. Нигде время так не бежит, как в России: в тюрьме, говорят, оно бежит еще скорее».

Как человек желчный и страстный, одаренный гибким умом и сильною волею, Павел Петрович резко отличается от своего брата и от племянника. Он не поддается чужому влиянию, он сам подчиняет себе окружающие личности и ненавидит тех людей, в которых встречает себе отпор. Убеждений у него, по правде сказать, не имеется, но зато есть привычки, которыми он очень дорожит. Он по привычке толкует о правах и обязанностях аристократии и по привычке доказывает в спорах необходимость *принсипов*. Он привык к тем идеям, которых держится общество, и стоит за эти идеи, как за свой комфорт. Он терпеть не может, чтобы кто-нибудь опровергал эти понятия, хотя, в сущности, он не питает к ним никакой сердечной привязанности. Он гораздо энергичнее своего брата спорит с Базаровым, а между тем Николай Петрович гораздо искреннее страдает от его беспощадного отрицания. В глубине души Павел Петрович такой же скептик и эмпирик, как и сам

Базаров; в практической жизни он всегда поступал и поступает, как ему вздумается, но в области мысли он не умеет признаться в этом перед самим собою и потому поддерживает на словах такие доктрины, которым постоянно противоречат его поступки. Дяде и племяннику следовало бы поменяться между собою убеждениями, потому что первый ошибочно приписывает себе веру в *принсипы,* второй точно так же ошибочно воображает себя крайним скептиком и смелым рационалистом. Павел Петрович начинает чувствовать к Базарову сильнейшую антипатию с первого знакомства. Плебейские манеры Базарова возмущают отставного денди; самоуверенность и нецеремонность его раздражают Павла Петровича как недостаток уважения к его изящной особе. Павел Петрович видит, что Базаров не уступит ему преобладания над собою, и это возбуждает в нем чувство досады, за которое он ухватывается как за развлечение среди глубокой деревенской скуки. Ненавидя самого Базарова, Павел Петрович возмущается всеми его мнениями, придирается к нему, насильно вызывает его на спор и спорит с тем рьяным увлечением, которое обыкновенно обнаруживают люди праздные и скучающие.

А что же делает Базаров среди этих трех личностей? Во-первых, он старается обращать на них как можно меньше внимания и бо́льшую часть своего времени проводит за работою; шляется по окрестностям, собирает растения и насекомых, режет лягушек и занимается микроскопическими наблюдениями; на Аркадия он смотрит как на ребенка, на Николая Петровича — как на добродушного старичка, или, как он выражается, на старенького романтика. К Павлу Петровичу он относится не совсем дружелюбно; его возмущает в нем элемент барства, но он невольно старается скрывать свое раздражение под видом презрительного равнодушия. Ему не хочется сознаться перед собою, что он может сердиться на «уездного аристократа», а между тем страстная натура берет свое; он часто запальчиво возражает на тирады Павла Петровича и не вдруг успевает овладеть собою и замкнуться в свою насмешливую холодность. Базаров не любит ни спорить, ни вообще высказываться, и только Павел Петрович отчасти обладает уменьем вызвать его на многозначительный разговор. Эти два сильные характера действуют друг на друга враждебно; видя этих двух людей лицом к лицу, можно себе представить борьбу, происходящую между двумя поколениями, непосредственно следующими одно за другим. Николай Петрович, конечно, не способен быть угнетателем, Аркадий Николаевич, конечно, не способен вступить в борьбу с семейным деспотизмом; но Павел Петрович и Базаров могли бы, при известных условиях, явиться яркими представителями:

первый — сковывающей, леденящей силы прошедшего, второй — разрушительной освобождающей силы настоящего.

На чьей же стороне лежат симпатии художника? Кому он сочувствует? На этот существенно важный вопрос можно отвечать положительно, что Тургенев не сочувствует вполне ни одному из своих действующих лиц; от его анализа не ускользает ни одна слабая или смешная черта; мы видим, как Базаров завирается в своем отрицании, как Аркадий наслаждается своей развитостью, как Николай Петрович робеет, как пятнадцатилетний юноша, и как Павел Петрович рисуется и злится, зачем на него не любуется Базаров, единственный человек, которого он уважает в самой ненависти своей.

Базаров завирается — это, к сожалению, справедливо. Он сплеча отрицает вещи, которых не знает или не понимает; поэзия, по его мнению, ерунда; читать Пушкина — потерянное время; заниматься музыкою — смешно; наслаждаться природою — нелепо. Очень может быть, что он, человек, затертый трудовою жизнью, потерял или не успел развить в себе способность наслаждаться приятным раздражением зрительных и слуховых нервов, но из этого никак не следует, чтобы он имел разумное основание отрицать или осмеивать эту способность в других. Выкраивать других людей на одну мерку с собою значит впадать в узкий умственный деспотизм. Отрицать совершенно произвольно ту или другую естественную и действительно существующую в человеке потребность или способность — значит удаляться от чистого эмпиризма.

Увлечение Базарова очень естественно; оно объясняется, во-первых, односторонностью развития, во-вторых, общим характером эпохи, в которую нам пришлось жить. Базаров основательно знает естественные и медицинские науки; при их содействии он выбил из своей головы всякие предрассудки; затем он остался человеком крайне необразованным; он слыхал кое-что о поэзии, кое-что об искусстве, не потрудился подумать и сплеча произнес приговор над незнакомыми ему предметами. Эта заносчивость свойственна нам вообще; она имеет свои хорошие стороны как умственная смелость, но зато, конечно, приводит порою к грубым ошибкам. Общий характер эпохи заключается в практическом направлении; мы все хотим жить и придерживаемся того правила, что соловья баснями не кормят. Люди очень энергические часто преувеличивают тенденции, господствующие в обществе; на этом основании слишком неразборчивое отрицание Базарова и самая односторонность его развития стоят в прямой связи с преобладающими стремлениями к осязательной пользе. Нам надоели фразы гегелистов, у нас закружилась голова от витания в заоблачных высях, и многие из нас, отрезвившись и спустившись на землю, ударились в крайность и, изгоняя мечтатель-

ность, вместе с нею стали преследовать простые чувства и даже чисто физические ощущения, вроде наслаждения музыкою. Большого вреда в этой крайности нет, но указать на нее не мешает, и назвать ее смешною вовсе не значит стать в ряды обскурантов и старенькиx романтиков. Многие из наших реалистов восстанут на Тургенева за то, что он не сочувствует Базарову и не скрывает от читателя промахов своего героя; многие изъявят желание, чтобы Базаров был выведен человеком образцовым, рыцарем мысли без страха и упрека, и чтобы таким образом было доказано перед лицом читающей публики несомненное превосходство реализма над другими направлениями мысли. Да, реализм, по-моему, вещь хорошая; но во имя этого же самого реализма не будем же идеализировать ни себя, ни нашего направления. Мы смотрим холодно и трезво на все, что нас окружает; посмотрим же точно так же холодно и трезво на самих себя; кругом чушь и глушь, да и у нас самих не бог знает как светло. Отрицаемое нелепо, да и отрицатели тоже делают порою капитальные глупости; они все-таки стоят неизмеримо выше отрицаемого, но тут еще честь больно невелика; стоять выше вопиющей нелепости не значит еще быть гениальным мыслителем. Но мы, пишущие и говорящие реалисты, теперь слишком увлечены умственною борьбою минуты, горячими схватками с отсталыми идеалистами, с которыми по-настоящему не стоило бы даже спорить; мы, говорю я, слишком увлечены, чтобы скептически отнестись к самим себе и проверить строгим анализом, не провираемся ли мы в пылу диалектических сражений, совершающихся в журнальных книжках и во вседневной жизни. К нам отнесутся скептически наши дети, или, может быть, мы сами узнаем себе со временем настоящую цену и посмотрим à vol d'oiseau[1] на теперешние любимые идеи. Тогда мы будем смотреть с высоты настоящего на прошедшее; Тургенев же теперь смотрит на настоящее с высоты прошедшего. Он не идет за нами; он спокойно смотрит нам вслед, описывает нашу походку, рассказывает нам, как мы ускоряем шаги, как прыгаем через рытвины, как порою спотыкаемся на неровных местах дороги.

В тоне его описания не слышно раздражения; он просто устал идти; развитие его личного миросозерцания окончилось, но способность наблюдать за движением чужой мысли, понимать и воспроизводить все ее изгибы осталась во всей своей свежести и полноте. Тургенев сам никогда не будет Базаровым, но он вдумался в этот тип и понял его так верно, как не поймет ни один из наших молодых реалистов. Апофеозы прошедшего нет в романе Тургенева. Автор «Рудина» и «Аси»,

[1] С птичьего полета *(франц.)*. — *Ред.*

разоблачивший слабости своего поколения и открывший в «Записках охотника» целый мир отечественных диковинок, делавшихся на глазах этого самого поколения, остался верен себе и не покривил душою в своем последнем произведении. Представители прошлого, «отцы», изображены с беспощадною верностью, они люди хорошие, но об этих хороших людях не пожалеет Россия; в них нет ни одного элемента, который действительно стоило бы спасать от могилы и от забвения, а между тем есть и такие минуты, когда этим отцам можно полнее сочувствовать, чем самому Базарову. Когда Николай Петрович любуется вечерним пейзажем, тогда он всякому непредубежденному читателю покажется человечнее Базарова, голословно отрицающего красоту природы.

«— И природа пустяки? — проговорил Аркадий, задумчиво глядя вдаль на пестрые поля, красиво и мягко освещенные уже невысоким солнцем.

— И природа пустяки в том значении, в каком ты ее теперь понимаешь. Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник».

В этих словах у Базарова отрицание превращается во что-то искусственное и даже перестает быть последовательным. Природа — мастерская, и человек в ней — работник, — с этою мыслью я готов согласиться; но, развивая эту мысль дальше, я никак не прихожу к тем результатам, к которым приходит Базаров. Работнику надо отдыхать, и отдых не может ограничиться одним тяжелым сном после утомительного труда. Человеку необходимо освежиться приятными впечатлениями, и жизнь без приятных впечатлений, даже при удовлетворении всем насущным потребностям, превращается в невыносимое страдание. Последовательные материалисты вроде Карла Фохта, Молешотта и Бюхнера не отказывают поденщику в чарке водки, а достаточным классам — в употреблении наркотических веществ. Они смотрят снисходительно даже на нарушения должной меры, хотя признают подобные нарушения вредными для здоровья. Если бы работник находил удовольствие в том, чтобы в свободные часы лежать на спине и глазеть на стены и потолок своей мастерской, то тем более всякий здравомыслящий человек сказал бы ему: глазей, любезный друг, глазей, сколько душе угодно; здоровью твоему это не повредит, а в рабочее время ты глазеть не будешь, чтобы не наделать промахов. Отчего же, допуская употребление водки и наркотических веществ вообще, не допустить наслаждения красотою природы, мягким воздухом, свежею зеленью, нежными переливами контуров и красок? Преследуя романтизм, Базаров с невероятною подозрительностью ищет его там, где его никогда и не бывало. Вооружась против идеализма и разбивая его воздушные замки, он порою сам де-

лается идеалистом, то есть начинает предписывать человеку законы, как и чем ему наслаждаться и к какой мерке пригонять свои личные ощущения. Сказать человеку: не наслаждайся природою — все равно, что сказать ему: умерщвляй свою плоть. Чем больше будет в жизни безвредных источников наслаждения, тем легче будет жить на свете, и вся задача нашего времени заключается именно в том, чтобы уменьшить сумму страданий и увеличить силу и количество наслаждений. Многие возразят на это, что мы живем в такое тяжелое время, в котором еще нечего думать о наслаждении; наше дело, скажут они, работать, искоренять зло, сеять добро, расчищать место для великого здания, в котором будут пировать наши отдаленные потомки. Хорошо, я согласен с тем, что мы поставлены в необходимость работать для будущего, потому что плоды всех наших начинаний могут созреть только в течение нескольких столетий; цель наша, положим, очень возвышенна, но эта возвышенность цели представляет очень слабое утешение в житейских передрягах. Человеку усталому и измученному вряд ли станет весело и приятно от той мысли, что его праправнук будет жить в свое удовольствие. В тяжелые минуты жизни утешаться возвышенностью цели — это, воля ваша, все равно, что пить неподслащенный чай, поглядывая на кусок сахара, привешенный к потолку. Людям, не обладающим чрезмерною пылкостью воображения, чай не покажется вкуснее от этих тоскливых взглядов кверху. Точно так же жизнь, состоящая из одних трудов, окажется не по вкусу и не по силам современному человеку. Поэтому, с какой точки зрения вы ни посмотрите на жизнь, а все-таки выйдет на поверку, что наслаждение решительно необходимо. Одни посмотрят на наслаждение как на конечную цель; другие принуждены будут признать в наслаждении важнейший источник сил, необходимых для работы. В этом будет заключаться вся разница между эпикурейцами и стоиками нашего времени.

Итак, Тургенев никому и ничему в своем романе не сочувствует вполне. Если бы сказать ему: «Иван Сергеевич, вам Базаров не нравится, чего же вам угодно?» — то он на этот вопрос не ответил бы ничего. Он никак не пожелал бы молодому поколению сойтись с отцами в понятиях и влечениях. Его не удовлетворяют ни отцы, ни дети, и в этом случае его отрицание глубже и серьезнее отрицания тех людей, которые, разрушая то, что было до них, воображают себе, что они — соль земли и чистейшее выражение полной человечности. В разрушении своем эти люди, может быть, правы, но в наивном самообожании или в обожании того типа, к которому они себя причисляют, заключается их ограниченность и односторонность. Таких форм, таких типов, на которых действительно

можно было бы успокоиться и остановиться, еще не выработала и, может быть, никогда не выработает жизнь. Те люди, которые, отдаваясь в полное распоряжение какой бы то ни было господствующей теории, отказываются от своей умственной самостоятельности и заменяют критику подобострастным поклонением, оказываются людьми узкими, бессильными и часто вредными. Поступить таким образом способен Аркадий, но это совершенно невозможно для Базарова, и именно в этом свойстве ума и характера заключается вся обаятельная сила тургеневского героя. Эту обаятельную силу понимает и признает автор, несмотря на то, что сам он ни по темпераменту, ни по условиям развития не сходится с своим нигилистом. Скажу больше: общие отношения Тургенева к тем явлениям жизни, которые составляют канву его романа, так спокойны и беспристрастны, так свободны от раболепного поклонения той или другой теории, что сам Базаров не нашел бы в этих отношениях ничего робкого или фальшивого. Тургенев не любит беспощадного отрицания, и между тем личность беспощадного отрицателя выходит личностью сильною и внушает каждому читателю невольное уважение. Тургенев склонен к идеализму, а между тем ни один из идеалистов, выведенных в его романе, не может сравниться с Базаровым ни по силе ума, ни по силе характера. Я уверен, что многие из наших журнальных критиков захотят во что бы то ни стало увидать в романе Тургенева затаенное стремление унизить молодое поколение и доказать, что дети хуже родителей, но я точно так же уверен в том, что непосредственное чувство читателей, не скованных обязательными отношениями к теории, оправдает Тургенева и увидит в его произведении не диссертацию на заданную тему, а верную, глубоко прочувствованную и без малейшей утайки нарисованную картину современной жизни. Если бы на тургеневскую тему напал какой-нибудь писатель, принадлежащий к нашему молодому поколению и глубоко сочувствующий базаровскому направлению, тогда, конечно, картина вышла бы не такая и краски были бы положены иначе. Базаров не был бы угловатым бурсаком, господствующим над окружающими людьми естественною силою своего здорового ума; он, может быть, превратился бы в воплощение тех идей, которые составляют сущность этого типа; он, может быть, представил бы нам в своей личности яркое выражение тенденций автора, но вряд ли он был бы равен Базарову в отношении к жизненной верности и рельефности. Предполагаемый мною молодой художник говорил бы своим произведением, обращаясь к сверстникам: «Вот, друзья мои, чем должен быть развитый человек! Вот конечная цель наших стремлений!». Что же касается до Тургенева, то он просто и спокойно говорит: «Вот какие бывают теперь молодые люди!», и при этом

не скрывает даже того обстоятельства, что ему такие молодые люди не совсем нравятся. — Как же это можно, закричат многие из наших современных критиков и публицистов, это обскурантизм! — Господа, можно было бы ответить им, да что вам за дело до личного ощущения Тургенева? Нравятся или не нравятся ему такие люди — это дело вкуса; вот если бы он, не сочувствуя типу, клеветал бы на него, тогда каждый честный человек имел бы право вывести его на свежую воду, но подобной клеветы вы не найдете в романе; даже угловатости Базарова, на которые я уже обращал внимание читателя, объясняются совершенно удовлетворительно обстоятельствами жизни и составляют если не существенно необходимое, то по крайней мере очень часто встречающееся свойство людей базаровского типа. Нам, молодым людям, было бы, конечно, гораздо приятнее, если бы Тургенев скрыл и скрасил неграциозные шероховатости; но я не думаю, чтобы, потворствуя таким образом нашим прихотливым желаниям, художник полнее охватил бы явления действительности. Со стороны виднее достоинства и недостатки, и потому строго-критический взгляд на Базарова со стороны в настоящую минуту оказывается гораздо плодотворнее, чем голословное восхищение или раболепное обожание. Взглянув на Базарова со стороны, взглянув так, как может смотреть только человек «отставной», не причастный к современному движению идей, рассмотрев его тем холодным, испытующим взглядом, который дается только долгим опытом жизни, Тургенев оправдал Базарова и оценил его по достоинству. Базаров вышел из испытания чистым и крепким. Против этого типа Тургенев не нашел ни одного существенного обвинения, и в этом случае его голос, как голос человека, находящегося по летам и по взгляду на жизнь в другом лагере, имеет особенно важное, решительное значение. Тургенев не полюбил Базарова, но признал его силу, признал его перевес над окружающими людьми и сам принес ему полную дань уважения.

Этого слишком достаточно для того, чтобы снять с романа Тургенева всякий могущий возникнуть упрек в отсталости направления; этого достаточно даже для того, чтобы признать его роман практически полезным для настоящего времени.

VI

Отношения Базарова к его товарищу бросают яркую полосу света на его характер; у Базарова нет друга, потому что он не встречал еще человека, «который бы не спасовал перед ним»; Базаров один, сам по себе, стоит на холодной высоте трезвой мысли, и ему не тяжело это одиночество, он

весь поглощен собою и работою; наблюдения и исследования над живою природою, наблюдения и исследования над живыми людьми наполняют для него пустоту жизни и застраховывают его против скуки. Он не чувствует потребности в каком-нибудь другом человеке отыскать себе сочувствие и понимание; когда ему приходит в голову какая-нибудь мысль, он просто высказывается, не обращая внимания на то, согласны ли с его мнением слушатели и приятно ли действуют на них его идеи. Чаще всего он даже не чувствует потребности высказаться; думает про себя и изредка роняет беглое замечание, которое обыкновенно с почтительною жадностью подхватывают прозелиты и птенцы, подобные Аркадию. Личность Базарова замыкается в самой себе, потому что вне ее и вокруг нее почти вовсе нет родственных ей элементов. Эта замкнутость Базарова тяжело действует на тех людей, которые желали бы от него нежности и сообщительности, но в этой замкнутости нет ничего искусственного и преднамеренного. Люди, окружающие Базарова, ничтожны в умственном отношении и никаким образом не могут расшевелить его, поэтому он и молчит, или говорит отрывочные афоризмы, или обрывает начатый спор, чувствуя его смешную бесполезность. Посадите взрослого человека в одну комнату с дюжиной ребят, и вы, вероятно, не найдете удивительным, если этот взрослый не станет говорить с своими товарищами по месту жительства о своих человеческих, гражданских и научных убеждениях. Базаров не важничает перед другими, не считает себя гениальным человеком, непонятным для своих современников или соотечественников; он просто принужден смотреть на своих знакомых сверху вниз, потому что эти знакомые приходятся ему по колено; что ж ему делать? Ведь не садиться же ему на пол для того, чтобы сравняться с ними в росте? Не прикидываться же ребенком для того, чтобы делить с ребятами их недозрелые мысленки? Он поневоле остается в уединении, и это уединение не тяжело для него потому, что он молод, крепок, занят кипучею работою собственной мысли. Процесс этой работы остается в тени; сомневаюсь, чтобы Тургенев был в состоянии передать нам описание этого процесса; чтобы изобразить его, надо самому пережить его в своей голове, надо самому быть Базаровым, а с Тургеневым этого не случалось, за это можно поручиться, потому что кто в жизни своей хотя один раз, хоть в продолжение нескольких минут смотрел на вещи глазами Базарова, тот остается нигилистом на весь свой век. У Тургенева мы видим только результаты, к которым пришел Базаров, мы видим внешнюю сторону явления, то есть слышим, что говорит Базаров, и узнаём, как он поступает в жизни, как обращается с разными людьми. Пси-

хологического анализа, связного перечня мыслей Базарова мы не находим; мы можем только отгадывать, что́ он думал и как формулировал перед самим собою свои убеждения. Не посвящая читателя в тайны умственной жизни Базарова, Тургенев может возбудить недоумение в той части публики, которая не привыкла трудом собственной мысли дополнять то, что не договорено или не дорисовано в произведении писателя. Невнимательный читатель может подумать, что у Базарова нет внутреннего содержания и что весь его нигилизм состоит из сплетения смелых фраз, выхваченных из воздуха и не выработанных самостоятельным мышлением. Можно сказать положительно, что сам Тургенев не так понимает своего героя, и только потому не следит за постепенным развитием и созреванием его идей, что не может и не находит удобным передавать мысли Базарова так, как они представляются его уму. Мысли Базарова выражаются в его поступках, в его обращении с людьми; они просвечивают, и их разглядеть не трудно, если только читать внимательно, группируя факты и отдавая себе отчет в их причинах.

Два эпизода окончательно дорисовывают эту замечательную личность: во-первых, отношения его к женщине, которая ему нравится; во-вторых — его смерть.

Я рассмотрю и то и другое, но сначала считаю не лишним обратить внимание на другие, второстепенные подробности.

Отношения Базарова к его родителям могут одних читателей предрасположить против героя, других — против автора. Первые, увлекаясь чувствительным настроением, упрекнут Базарова в черствости; вторые, увлекаясь привязанностью к базаровскому типу, упрекнут Тургенева в несправедливости к своему герою и в желании выставить его с невыгодной стороны. И те и другие, по моему мнению, будут совершенно неправы. Базаров действительно не доставляет своим родителям тех удовольствий, которых эти добрые старики ожидают от его пребывания с ними, но между ним и его родителями нет ни одной точки соприкосновения.

Отец его — старый уездный лекарь, совершенно опустившийся в бесцветной жизни бедного помещика; мать его — дворяночка старого покроя, верящая во все приметы и умеющая только отлично готовить кушанье. Ни с отцом, ни с матерью Базаров не может ни поговорить так, как он говорит с Аркадием, ни даже поспорить так, как он спорит с Павлом Петровичем. Ему с ними скучно, пусто, тяжело. Жить с ними под одною кровлею он может только с тем условием, чтобы они не мешали ему работать. Им это, конечно, тяжело; их он запугивает, как существо из другого мира, но ему-то что ж с этим делать? Ведь это было бы

безжалостно в отношении к самому себе, если бы Базаров захотел посвятить два-три месяца на то, чтобы потешить своих стариков; для этого ему надо было бы отложить в сторону всякие занятия и целыми днями просиживать с Василием Ивановичем и с Ариною Власьевною, которые на радостях болтали бы всякий вздор, приплетая каждый по-своему и уездные сплетни, и городские слухи, и замечания об урожае, и рассказы какой-нибудь юродивой, и латинские сентенции из старого медицинского трактата. Человек молодой, энергический, полный своею личною жизнью, не выдержал бы двух дней подобной идиллии и как угорелый вырвался бы из этого тихого уголка, где его так любят и где ему так страшно надоедают. Не знаю, хорошо ли бы себя почувствовали старики Базаровы, если бы после двухсуточного блаженства они услышали от своего ненаглядного сына, что непредвиденные обстоятельства принуждают его уехать. Не знаю вообще, каким образом Базаров мог бы вполне удовлетворить требованиям своих родителей, не отказываясь совершенно от своего личного существования. Если же, так или иначе, ему непременно пришлось бы оставить их неудовлетворенными, тогда не из чего было возбуждать в них такие надежды, которые не могли осуществиться. Когда два человека, любящие друг друга или связанные между собою какими-нибудь отношениями, расходятся между собою в образовании, в идеях, в наклонностях и привычках, тогда разлад и страдание той или другой стороны, а иногда обеих вместе, делаются до такой степени неизбежными, что становится даже бесполезным хлопотать об их устранении. Но родители Базарова страдают от этого разлада, а Базаров и в ус не дует; это обстоятельство естественно располагает сострадательного читателя в пользу стариков; иной скажет даже: зачем он их мучает? Ведь они его так любят! — А чем же, позвольте вас спросить, он их мучает? Тем, что ли, что он не верит в приметы или скучает от их болтовни? Да как же ему верить-то и как же не скучать? Если бы самый близкий мне человек сокрушался бы оттого, что во мне с лишком два с половиною, а не полтора аршина роста, то я, при всем моем желании, не мог бы его утешить; вероятно, даже я не стал бы утешать его, а просто пожал бы плечами и отошел в сторону. Предвижу, впрочем, одно довольно курьезное обстоятельство: если бы Базаров так же страдал от невозможности сойтись с своими родителями, то сострадательные читатели помирились бы с ним и посмотрели бы на него как на несчастную жертву исторического процесса развития. Но Базаров не страдает, и потому многие на него накинутся и с негодованием назовут его бесчувственным человеком. Эти многие очень дорожат красотою чувства, хотя эта красота

не имеет никакого практического значения. Страдание от разъединения с родителями кажется им чертою, необходимою для красоты чувства, и потому они требуют, чтобы Базаров страдал, не обращая внимания на то, что это нисколько не поправило бы дела и что Василию Ивановичу и Арине Власьевне от этого никак не было бы легче. Если же отношения Базарова к его родителям могут повредить ему только во мнении сострадательных читателей, то Тургенева нельзя упрекнуть в несправедливости или утрировке, потому что тем людям, у которых чувствительность берет решительный перевес над критикою ума, вообще не понравятся все существенные, основные черты базаровского типа. Им не понравится ни трезвость мысли, ни беспощадность критики, ни твердость характера, не понравились бы им эти свойства даже в том случае, когда бы автор романа написал этим свойствам восторженный панегирик; следовательно, тут, как и везде, не художественная обработка, а самый материал, самое явление действительности возбудило бы неприязненные чувства. Изображая отношения Базарова к старикам, Тургенев вовсе не превращается в обвинителя, умышленно подбирающего мрачные краски; он остается по-прежнему искренним художником и изображает явление как оно есть, не подслащая и не скрашивая его по своему произволу. Сам Тургенев, может быть, по своему характеру подходит к сострадательным людям, о которых я говорил выше; он порою увлекается сочувствием к наивной, почти не сознанной грусти старухи матери и к сдержанному, стыдливому чувству старика отца, увлекается до такой степени, что почти готов корить и обвинять Базарова; но в этом увлечении нельзя искать ничего преднамеренного и рассчитанного. В нем сказывается только любящая натура самого Тургенева, и в этом свойстве его характера трудно найти что-нибудь предосудительное. Тургенев не виноват в том, что жалеет бедных стариков и даже сочувствует их непоправимому горю. Тургеневу не резон скрывать свои симпатии в угоду той или другой психологической или социальной теории. Эти симпатии не заставляют его кривить душою и уродовать действительность, следовательно, они не вредят ни достоинству романа, ни личному характеру художника.

VII

Базаров с Аркадием отправляются в губернский город, по приглашению одного родственника Аркадия, и встречаются с двумя в высшей степени типичными личностями. Эти личности — юноша Ситников и молодая дама Кукшина —

представляют великолепно исполненную карикатуру безмозглого прогрессиста и по-русски эманципированной женщины. Ситниковых и Кукшиных у нас развелось в последнее время бесчисленное множество; нахвататься чужих фраз, исковеркать чужую мысль и нарядиться прогрессистом теперь так же легко и выгодно, как при Петре было легко и выгодно нарядиться европейцем. Истинных прогрессистов, то есть людей действительно умных, образованных и добросовестных, у нас очень немного, порядочных и развитых женщин — еще того меньше, но зато не перечтешь того несметного количества разнокалиберной сволочи, которая тешится прогрессивными фразами, как модною вещицею, или драпируется в них, чтобы закрыть свои пошленькие поползновения. У нас можно сказать, что всякий пустомеля смотрит прогрессистом, лезет в передовые люди, создает из чужих лоскутьев свою теорию и даже часто силится заявить о ней в литературе. «Русский вестник» смотрит на это обстоятельство с сердечным прискорбием, которое часто переходит в крикливое негодование. Это крикливое негодование вызывает себе отпор.

— Что вы делаете? — говорят многие «Русскому вестнику»: — Вы ругаете прогрессистов, вы вредите делу и идее прогресса. — «Русский вестник», вероятно, с особенным наслаждением принял на свои страницы те сцены романа Тургенева, в которых действуют Ситников и Кукшина: вот, думает он, все псевдопрогрессисты с ужасом и с отвращением оглянутся на самих себя! Многие из литературных противников «Русского вестника» с ожесточением накинутся на Тургенева за эти сцены. «Он осмеивает нашу святыню, — закричат они с неистовыми жестами, — он идет против направления века, против свободы женщины». Этот спор между сторонниками и противниками «Русского вестника», как вообще многие литературные и нелитературные споры, вовсе не касается того предмета, по поводу которого горячатся спорящие стороны. Как негодование «Русского вестника» против Ситниковых, так и негодование многих журналов против возгласов «Русского вестника» не имеют ни малейшего смысла. Негодование против глупости и подлости вообще понятно, хотя, впрочем, оно так же плодотворно, как негодование против осенней сырости или зимнего холода. Но негодование против той формы, в которой выражается глупость или подлость, делается уже совершенно нелепым. Ни правительственные распоряжения, ни литературные теории никогда не уничтожат глупых и мелких людей; эти глупые и мелкие люди надевают на себя тот или другой костюм, но никакой головной убор не может закрыть их

ослиные уши. Чем бы ни был Ситников — байронистом (вроде Грушницкого), гегелистом (вроде Шамилова) * или нигилистом (каков он и есть), он все-таки останется пошлым человеком. Следовательно, не все ли равно, как он себя величает — консерватором или прогрессистом? Всего лучше то положение, которое делает глупого человека по возможности безвредным, а надо сказать правду, что глупый прогрессист принадлежит к числу наиболее безвредных созданий. В былые годы Ситников был бы способен из удальства бить на почтовых станциях ямщиков; теперь он уже откажет себе в этом удовольствии, потому что это не принято и потому что — я-де прогрессист. Уж и это хорошо, и за то спасибо отечественному прогрессу. Против чего же тут негодовать и отчего же не позволить Ситникову величать себя прогрессистом и деятелем? Кому это вредит? Кому от этого больно? Но только, конечно, надо знать Ситниковым их настоящую цену, и не надо ожидать чудес гражданской и человеческой доблести от такого общества, в котором бóльшая половина сама не знает того, что она говорит и чего хочет. Поэтому художник, рисующий перед нашими глазами поразительно живую карикатуру, осмеивающий искажения великих и прекрасных идей, заслуживает нашей полной признательности. Многие идеи сделались ходячею монетою и, путешествуя из рук в руки, потемнели и потерлись, как старый полтинник; на идею валят то, что принадлежит исключительно ее уродливому проявлению, то, что пристало к ней случайно от прикосновения грязных рук; чтобы очистить идею, надо представить уродливое проявление во всей его уродливости и, таким образом, строго отделить основную сущность от произвольных примесей. Между Кукшиной и эманципациею женщины нет ничего общего, между Ситниковым и гуманными идеями XIX века нет ни малейшего сходства. Назвать Ситникова и Кукшину порождением времени было бы в высокой степени нелепо. Оба они заимствовали у своей эпохи только верхнюю драпировку, и эта драпировка все-таки лучше всего остального их умственного достояния. Стало быть, какой же смысл будет иметь негодование теоретиков ** против Тургенева за Кукшину и Ситникова? Что же, было бы лучше, если бы Тургенев представил русскую женщину, эманципированную в лучшем смысле этого слова, и молодого человека, проникнутого высокими чувствами гуманности? Да ведь это было бы приятное самообольщение! Это была бы сладкая ложь, и к тому же ложь в высшей степени неудачная. Спрашивается, откуда бы взял Тургенев красок для изображения таких явлений, которых нет в России и для которых в русской жизни нет ни

почвы, ни простора? И какое значение имела бы эта произвольная выдумка? Вероятно, возбудила бы в ваших мужчинах и женщинах добродетельное желание подражать столь высоким образцам нравственного совершенства!.. Нет, скажут противники Тургенева, пусть автор не выдумывает небывалых явлений! Пусть он только разрушает старое, гнилое и не трогает тех идей, от которых мы ожидаем обильных, благодетельных результатов. Ах! да, это понятно; это значит: наших не тронь! Да как же, господа, не трогать, если в числе наших много дряни, если фирмою многих идей пользуются те самые негодяи, которые, за несколько лет тому назад, были Чичиковыми, Ноздревыми, Молчалиными и Хлестаковыми? Неужели не трогать их в награду за то, что они перебежали на нашу сторону, неужели поощрять их за ренегатство подобно тому, как в Турции поощряют за принятие исламизма? Нет, это было бы слишком нелепо. Мне кажется, идеи нашего времени слишком сильны своим собственным внутренним значением, чтобы нуждаться в искусственной подпорке. Пусть принимает эти идеи только тот, кто действительно убежден в их верности, и пусть он не думает, что титул прогрессиста сам по себе, подобно индульгенции, покрывает грехи прошедшего, настоящего и будущего. Ситниковы и Кукшины всегда останутся смешными личностями; ни один благоразумный человек не порадуется тому, что он стоит с ними под одним знаменем, и в то же время не припишет их уродливости тому девизу, который написан на знамени. Посмотрите, как обращается Базаров с этими идиотами; он, по приглашению Ситникова, заходит к Кукшиной, с целью посмотреть людей, завтракает, пьет шампанское, не обращает никакого внимания на усилия Ситникова блеснуть смелостью мысли и на усилия Кукшиной вызвать его, Базарова, на умный разговор и, наконец, уходит, даже не простившись с хозяйкой.

«Ситников выскочил вслед за ними.

— Ну что, ну что? — спрашивал он, подобострастно забегая то справа, то слева, — ведь я говорил вам: замечательная личность! Вот каких бы нам женщин побольше! Она в своем роде высоко нравственное явление!

— А это заведение *твоего* отца — тоже нравственное явление? — промолвил Базаров, ткнув пальцем на кабак, мимо которого они в это мгновение проходили.

Ситников опять засмеялся с визгом. Он очень стыдился своего происхождения и не знал, чувствовать ли ему себя польщенным или обиженным от неожиданного тыканья Базарова».

VIII

В городе Аркадий знакомится на бале у губернатора с молодою вдовою, Анною Сергеевною Одинцовой; он танцует с нею мазурку, между прочим заговаривает с нею о своем друге Базарове и заинтересовывает ее восторженным описанием его смелого ума и решительного характера. Она приглашает его к себе и просит привести с собою Базарова. Базаров, заметивший ее, как только она появилась на бале, говорит о ней с Аркадием, невольно усиливая обыкновенный цинизм своего тона, отчасти для того, чтобы скрыть и от себя и от своего собеседника впечатление, произведенное на него этою женщиною. Он с удовольствием соглашается пойти к Одинцовой вместе с Аркадием и объясняет себе и ему это удовольствие надеждою завести приятную интригу. Аркадия, не преминувшего влюбиться в Одинцову, коробит от шутливого тона Базарова, а Базаров, конечно, не обращает на это ни малейшего внимания, продолжает толковать о красивых плечах Одинцовой, спрашивает у Аркадия, действительно ли эта барыня — ой, ой, ой! — говорит, что в тихом омуте черти водятся и что холодные женщины — все равно что мороженое. Подходя к квартире Одинцовой, Базаров чувствует некоторое волнение и, желая переломить себя, в начале визита ведет себя неестественно развязно и, по замечанию Тургенева, разваливается в кресле не хуже Ситникова. Одинцова замечает волнение Базарова, отчасти отгадывает его причину, успокоивает нашего героя ровною и тихою приветливостью обращения и часа три проводит с молодыми людьми в неторопливой, разнообразной и живой беседе. Базаров обращается с нею особенно почтительно; видно, что ему не все равно, как об нем подумают и какое он произведет впечатление; он, против обыкновения, говорит довольно много, старается занять свою собеседницу, не делает резких выходок и даже, осторожно держась вне круга общих убеждений и воззрений, толкует о ботанике, о медицине и других хорошо известных ему предметах. Прощаясь с молодыми людьми, Одинцова приглашает их к себе в деревню. Базаров в знак согласия молча кланяется и при этом краснеет. Аркадий все это замечает и всему этому удивляется. После этого первого свидания с Одинцовой Базаров пробует по-прежнему говорить об ней шутливым тоном, но в самом цинизме его выражений сказывается какое-то невольное, затаенное уважение. Видно, что он любуется этою женщиною и желает с нею сблизиться; шутит он на ее счет потому, что ему не хочется говорить серьезно с Аркадием ни об этой женщине, ни о тех новых ощущениях, которые он замечает в самом себе. Базаров не мог полюбить Одинцову

с первого взгляда или после первого свидания; так вообще влюблялись только очень пустые люди в очень плохих романах. Ему просто понравилось ее красивое, или, как он сам выражается, богатое тело; разговор с нею не нарушил общей гармонии впечатления, и этого на первый раз было достаточно, чтобы поддержать в нем желание узнать ее покороче. Базаров не составлял себе никаких теорий о любви. Его студенческие годы, о которых Тургенев не говорит ни слова, вероятно не обошлись без похождений по сердечной части; Базаров, как мы увидим впоследствии, оказывается опытным человеком, но, по всей вероятности, он имел дело с женщинами совершенно не развитыми, далеко не изящными и, следовательно, не способными сильно заинтересовать его ум или шевельнуть его нервы. Он и на женщин привык смотреть сверху вниз; встречаясь с Одинцовой, он видит, что может говорить с нею как равный с равною и предчувствует в ней долю того гибкого ума и твердого характера, который он сознает и любит в своей особе. Говоря между собою, Базаров и Одинцова, в умственном отношении, умеют как-то смотреть друг другу в глаза, через голову птенца Аркадия, и эти задатки взаимного понимания доставляют приятные ощущения обоим действующим лицам. Базаров видит изящную форму и невольно любуется ею; под этою изящною формою он отгадывает самородную силу и безотчетно начинает уважать эту силу. Как чистый эмпирик, он наслаждается приятным ощущением и постепенно втягивается в это наслаждение, и втягивается до такой степени, что когда приходит время оторваться, тогда оторваться уже становится тяжело и больно. У Базарова в любви нет анализа, потому что нет недоверия к самому себе. Он едет в деревню к Одинцовой с любопытством и без малейшей боязни, потому что хочется присмотреться к этой миловидной женщине, хочется быть с нею вместе, провести приятно несколько дней. В деревне незаметно проходит пятнадцать дней; Базаров много говорит с Анной Сергеевною, спорит с нею, высказывается, раздражается и, наконец, привязывается к ней какою-то злобною, мучительною страстью. Такую страсть всего чаще внушают энергическим людям женщины красивые, умные и холодные. Красота женщины волнует кровь ее обожателя; ум ее дает ей возможность понимать головою и обсуживать тонким психическим анализом такие чувства, которых она сама не разделяет и которым даже не сочувствует; холодность застраховывает ее против увлечения и, усиливая препятствия, вместе с тем усиливает в мужчине желание преодолеть их. Глядя на такую женщину, мужчина невольно думает: она так хороша, она так умно говорит о чувстве, порою так оживляется, высказывая свои

тонкие психологические замечания или выслушивая мои горячо прочувствованные речи. Отчего же в ней так упорно молчит чувственность? Как затронуть ее за живое? Неужели вся жизнь ее сосредоточена в головном мозгу? Неужели она только тешится впечатлениями и не способна ими увлечься? Время уходит в напряженных усилиях распутать живую загадку; голова работает вместе с чувственностью; являются тяжелые, мучительные ощущения; весь роман отношений между мужчиною и женщиною принимает какой-то странный характер борьбы. Знакомясь с Одинцовой, Базаров думал развлечься приятною интригою; узнавши ее покороче, он почувствовал к ней уважение и вместе с тем увидал, что надежды на успех очень мало; если бы он не успел привязаться к Одинцовой, тогда он просто махнул бы рукой и тотчас утешился бы практическим замечанием, что земля не клином сошлась и что на свете много таких женщин, с которыми легко справиться; он попробовал и тут поступить таким образом, но махнуть рукою на Одинцову у него не хватило сил. Практическое благоразумие советовало ему бросить все дело и уехать, чтобы не томить себя понапрасну, а жажда наслаждения говорила громче практического благоразумия, и Базаров оставался, и злился, и сознавал, что делает глупость, и все-таки продолжал ее делать, потому что желание пожить в свое удовольствие было сильнее желания быть последовательным. Эта способность делать сознательные глупости составляет завидное преимущество людей сильных и умных. Человек бесстрастный и сухой поступает всегда так, как велят поступать логические выкладки; человек робкий и слабый старается обмануть себя софизмами и уверить себя в правоте своих желаний или поступков; но Базаров не нуждается в подобных фокусах; он прямо говорит себе: это глупо, а поступаю я все-таки так, как мне хочется, и ломать себя не хочу. Когда явится необходимость, тогда успею и сумею повернуть самого себя как следует. Цельная, крепкая натура сказывается в этой способности сильно увлекаться; здоровый, неподкупный ум выражается в этом умении назвать глупостью то самое увлечение, которое в данную минуту охватывает весь организм.

Отношения Базарова с Одинцовою кончаются тем, что между ними происходит странная сцена. Она вызывает его на разговор о счастье и любви, она с любопытством, свойственным холодным и умным женщинам, выспрашивает у него, что в нем происходит, она вытягивает из него признание в любви, она с оттенком невольной нежности произносит его имя; потом, когда он, ошеломленный внезапным притоком ощущений и новых надежд, бросается к ней и прижимает ее к груди, она же отскакивает с испугом на другой конец

комнаты и уверяет его, что он ее не так понял, что он ошибся.

Базаров уходит из комнаты, и тем кончаются отношения. Он уезжает на другой день после этого происшествия, потом видится раза два с Анной Сергеевной, даже гостит у нее вместе с Аркадием, но для него и для нее прошедшие события оказываются действительно невоскресимым прошедшим, и они смотрят друг на друга спокойно и говорят между собою тоном рассудительных и солидных людей. А между тем Базарову грустно смотреть на отношения с Одинцовою как на пережитый эпизод; он любит ее и, не давая себе воли ныть, страдать и разыгрывать несчастного любовника, становится, однако, как-то неровен в своем образе жизни, то бросается на работу, то впадает в бездействие, то просто скучает и брюзжит на окружающих людей. Высказаться он ни перед кем не хочет, да он и сам перед собою не сознается в том, что чувствует что-то похожее на тоску и на утомление. Он как-то злится и окисляется от этой неудачи, ему досадно думать, что счастье поманило его и прошло мимо, и досадно чувствовать, что это событие производит на него впечатление. Все это скоро переработалось бы в его организме; он принялся бы за дело, выругал бы самым энергичным образом проклятый романтизм и неприступную барыню, водившую его за нос, и зажил бы по-прежнему, занимаясь резанием лягушек и ухаживая за менее непобедимыми красавицами. Но Тургенев не вывел Базарова из тяжелого настроения. Базаров внезапно умирает, конечно не от огорчения, и роман оканчивается, или, вернее, резко и неожиданно обрывается.

В то время как Базаров хандрит в деревне своего отца, Аркадий, влюбившийся также в Одинцову со времени губернаторского бала, но не успевший даже заинтересовать ее, сближается с ее сестрою, Катериною Сергеевною, 18-летнею девушкою, и, сам того не замечая, привязывается к ней, забывает свою прежнюю страсть и наконец делает ей предложение. Она соглашается, Аркадий женится на ней, и вот, когда он уже объявлен женихом, между ним и Базаровым, уезжающим к своему отцу, происходит следующий короткий, но выразительный разговор.

«Аркадий бросился на шею к своему бывшему наставнику и другу, и слезы так и брызнули у него из глаз.

— Что значит молодость! — произнес спокойно Базаров: — да я на Катерину Сергеевну надеюсь. Посмотри, как живо она тебя утешит.

— Прощай, брат! — сказал он Аркадию, уже взобравшись на телегу, и, указав на пару галок, сидевших рядышком на крыше конюшни, прибавил: — вот тебе, изучай!

— Это что значит? — спросил Аркадий.

— Как? разве ты так плох в естественной истории или забыл, что галка самая почтенная, семейная птица? Тебе пример!.. Прощайте, синьор!

Телега задребезжала и покатилась».

Да, Аркадий, по выражению Базарова, попал в галки и прямо из-под влияния своего друга перешел под мягкую власть своей юной супруги. Но как бы то ни было, Аркадий свил себе гнездо, нашел себе кой-какое счастье, а Базаров остался бездомным, не согретым скитальцем. И это не прихоть романиста! Это не случайное обстоятельство. Если вы, господа, сколько-нибудь понимаете характер Базарова, то вы принуждены будете согласиться, что такого человека пристроить очень мудрено и что он не может, не изменившись в основных чертах своей личности, сделаться добродетельным семьянином. Базаров может полюбить только женщину очень умную; полюбивши женщину, он не подчинит свою любовь никаким условиям; он не станет охлаждать и сдерживать себя и точно так же не станет искусственно подогревать своего чувства, когда оно остынет после полного удовлетворения. Он не способен поддерживать с женщиною обязательные отношения; его искренняя и цельная натура не подается на компромиссы и не делает уступок; он не покупает расположение женщины известными обязательствами; он берет его тогда, когда оно дается ему совершенно добровольно и безусловно. Но умные женщины у нас обыкновенно бывают осторожны и расчетливы. Их зависимое положение заставляет их бояться общественного мнения и не давать воли своим влечениям. Их страшит неизвестное будущее, им хочется застраховать его, и потому редкая умная женщина решится броситься на шею к любимому мужчине, не связав его предварительно крепким обещанием перед лицом общества и церкви. Имея дело с Базаровым, эта умная женщина поймет очень скоро, что никакое крепкое обещание не свяжет необузданной воли этого своенравного человека и что его нельзя обязать быть хорошим мужем и нежным отцом семейства. Она поймет, что Базаров или вовсе не даст никакого обещания, или, давши его в минуту полного увлечения, нарушит его тогда, когда это увлечение рассеется. Словом, она поймет, что чувство Базарова свободно и остается свободным, несмотря ни на какие клятвы и контракты. Чтобы не отшатнуться от неизвестной перспективы, эта женщина должна безраздельно подчиниться влечению чувства, броситься к любимому человеку очертя голову и не спрашивая о том, что будет завтра или через год. Но так способны увлекаться только очень молодые девушки, совершенно незнакомые с жизнью, совершенно нетронутые опытом, а такие девушки не обратят внимания на Базарова

или, испугавшись его резкого образа мыслей, откинутся к таким личностям, из которых со временем вырабатываются почтенные галки. У Аркадия гораздо больше шансов понравиться молодой девушке, несмотря на то, что Базаров несравненно умнее и замечательнее своего юного товарища. Женщина, способная ценить Базарова, не отдастся ему без предварительных условий, потому что такая женщина обыкновенно бывает себе на уме, знает жизнь и по расчету бережет свою репутацию. Женщина, способная увлекаться чувством, как существо наивное и мало размышлявшее, не поймет Базарова и не полюбит его. Словом, для Базарова нет женщин, способных вызвать в нем серьезное чувство и с своей стороны горячо ответить на это чувство. В настоящее время нет таких женщин, которые, умея мыслить, умели бы в то же время, без оглядки и без боязни, отдаваться влечению господствующего чувства. Как существо зависимое и страдательное, современная женщина из опыта жизни выносит ясное сознание своей зависимости и потому думает не столько о том, чтобы наслаждаться жизнью, сколько о том, чтобы не попасть в какую-нибудь неприятную переделку. Ровный комфорт, отсутствие грубых оскорблений, уверенность в завтрашнем дне для них дороги. Их за это нельзя осуждать, потому что человек, подверженный в жизни серьезным опасностям, поневоле становится осмотрительным, но вместе с тем трудно осуждать и тех мужчин, которые, не видя в современных женщинах энергии и решимости, навсегда отказываются от серьезных и прочных отношений с женщинами и пробавляются пустыми интригами и легкими победами. Если бы Базаров имел дело с Асею, или с Натальею (в «Рудине»), или с Верою (в «Фаусте»), то он бы, конечно, не отступил в решительную минуту, но дело в том, что женщины, подобные Асе, Наталье и Вере, увлекаются сладкоречивыми фразерами, а пред сильными людьми вроде Базарова чувствуют только робость, близкую к антипатии. Таких женщин надо приласкать, а Базаров никого ласкать не умеет. Повторяю, в настоящее время нет женщин, способных серьезно ответить на серьезное чувство Базарова, и пока женщина будет находиться в теперешнем зависимом положении, пока за каждым ее шагом будут наблюдать и она сама, и нежные родители, и заботливые родственники, и то, что называется общественным мнением, до тех пор Базаровы будут жить и умирать бобылями, до тех пор согревающая нежная любовь умной и развитой женщины будет им известна только по слухам да по романам. Базаров не дает женщине никаких гарантий; он доставляет ей только своею особою непосредственное наслаждение, в том случае, если его особа нравится; но в настоящее время женщина не может отдаваться непосредственному наслаждению, потому

что за этим наслаждением всегда выдвигается грозный вопрос: а что же потом? Любовь без гарантий и условий не употребительна, а любви с гарантиями и условиями Базаров не понимает. Любовь так любовь, думает он, торг так торг, «а смешивать эти два ремесла», по его мнению, неудобно и неприятно. *К сожалению,* я должен заметить, что *безнравственные* и *пагубные* убеждения Базарова находят себе во многих хороших людях сознательное сочувствие.

IX

Рассмотрю теперь три обстоятельства в романе Тургенева: 1) отношение Базарова к простому народу, 2) ухаживание Базарова за Фенечкою и 3) дуэль Базарова с Павлом Петровичем.

В отношениях Базарова к простому народу надо заметить прежде всего отсутствие всякой вычурности и всякой сладости. Народу это нравится, и потому Базарова любит прислуга, любят ребятишки, несмотря на то, что он с ними вовсе не миндальничает и не задаривает их ни деньгами, ни пряниками. Заметив в одном месте, что Базарова любят простые люди, Тургенев говорит в другом месте, что мужики смотрят на него как на шута горохового. Эти два показания нисколько не противоречат друг другу. Базаров держит себя с мужиками просто, не обнаруживает ни барства, ни приторного желания подделаться под их говор и поучить их уму-разуму, и потому мужики, говоря с ним, не робеют и не стесняются; но, с другой стороны, Базаров и по обращению, и по языку, и по понятиям совершенно расходится как с ними, так и с теми помещиками, которых мужики привыкли видеть и слушать. Они смотрят на него как на странное, исключительное явление, ни то ни се, и будут смотреть таким образом на господ, подобных Базарову, до тех пор, пока их не разведется больше и пока к ним не успеют приглядеться. У мужиков лежит сердце к Базарову, потому что они видят в нем простого и умного человека, но в то же время этот человек для них чужой, потому что он не знает их быта, их потребностей, их надежд и опасений, их понятий, верований и предрассудков.

После своего неудавшегося романа с Одинцовою Базаров снова приезжает в деревню к Кирсановым и начинает заигрывать с Фенечкою, любовницею Николая Петровича. Фенечка ему нравится как пухленькая молоденькая женщина; он ей нравится как добрый, простой и веселый человек. В одно прекрасное июльское утро он успевает напечатлеть на ее свежие губки полновесный поцелуй; она слабо сопротивляется, так что ему удается «возобновить и продлить свой

поцелуй». На этом месте его любовное похождение обрывается; ему, как видно, вообще не везло в то лето, так что ни одна интрига не доводилась до счастливого окончания, хотя все они начинались при самых благоприятных предзнаменованиях.

Вслед за тем Базаров уезжает из деревни Кирсановых, и Тургенев напутствует его следующими словами: «Ему и в голову не пришло, что он в этом доме нарушил все права гостеприимства».

Увидавши, что Базаров поцеловал Фенечку, Павел Петрович, давно уже питавший ненависть к «лекаришке» и нигилисту и, кроме того, неравнодушный к Фенечке, которая почему-то напоминает ему прежнюю любимую женщину, вызывает нашего героя на дуэль. Базаров стреляется с ним, ранит его в ногу, потом сам перевязывает эту рану и на другой день уезжает, видя, что ему после этой истории неудобно оставаться в доме Кирсановых. Дуэль, по понятиям Базарова, нелепость. Спрашивается, хорошо ли поступил Базаров, принявши вызов Павла Петровича? Этот вопрос сводится на другой, более общий вопрос: позволительно ли вообще в жизни отступать от своих теоретических убеждений? Насчет понятия *убеждение* господствуют различные мнения, которые можно свести к двум главным оттенкам. Идеалисты и фанатики готовы всё сломать перед своим убеждением — и чужую личность, и свои интересы, и часто даже непреложные факты и законы жизни. Они кричат об убеждениях, не анализируя этого понятия, и потому решительно не хотят и не умеют взять в толк, что человек всегда дороже мозгового вывода, в силу простой математической аксиомы, говорящей нам, что целое всегда больше части. Идеалисты и фанатики скажут таким образом, что отступать в жизни от теоретических убеждений — всегда позорно и преступно. Это не помешает многим идеалистам и фанатикам при случае струсить и попятиться, а потом упрекать себя в практической несостоятельности и заниматься угрызениями совести. Есть другие люди, которые не скрывают от себя того, что им иногда приходится делать нелепости, а даже вовсе не желают обратить свою жизнь в логическую выкладку. К числу таких людей принадлежит Базаров. Он говорит себе: «Я знаю, что дуэль — нелепость, но в данную минуту я вижу, что мне от нее отказаться решительно неудобно. По-моему, лучше сделать нелепость, чем, оставаясь благоразумным до последней степени, получить удар от руки или от трости Павла Петровича». Стоик Эпиктет, конечно, поступил бы иначе и даже решился бы с особенным удовольствием пострадать за свои убеждения, но Базаров слишком умен, чтобы быть идеалистом вообще и стоиком в особенности. Когда он размышляет,

тогда дает своему мозгу полную свободу и не старается прийти к заранее назначенным выводам; когда он хочет действовать, тогда он по своему благоусмотрению применяет или не применяет свой логический вывод, пускает его в ход или оставляет его под спудом. Дело в том, что мысль наша свободна, а действия наши происходят во времени и в пространстве; между верною мыслью и благоразумным поступком такая же разница, как между математическим и физическим маятником. Базаров знает это и потому в своих поступках руководствуется практическим смыслом, сметкою и навыком, а не теоретическими соображениями.

X

В конце романа Базаров умирает; его смерть — случайность; он умирает от хирургического отравления, то есть от небольшого пореза, сделанного во время рассечения трупа. Это событие не находится в связи с общею нитью романа; оно не вытекает из предыдущих событий, но оно необходимо для художника, чтобы дорисовать характер своего героя. Действие романа происходит летом 1859 года, в течение 1860 и 1861 года Базаров не мог бы сделать ничего такого, что бы показало нам приложение его миросозерцания в жизни; он бы по-прежнему резал лягушек, возился бы с микроскопом и, насмехаясь над различными проявлениями романтизма, пользовался бы благами жизни по мере сил и возможности. Все это были бы только задатки; судить о том, что разовьется из этих задатков, можно будет только тогда, когда Базарову и его сверстникам минет лет пятьдесят и когда им на смену выдвинется новое поколение, которое, в свою очередь, отнесется критически к своим предшественникам. Такие люди, как Базаров, не определяются вполне одним эпизодом, выхваченным из их жизни Такого рода эпизод дает нам только смутное понятие о том, что в этих людях таятся колоссальные силы. В чем выразятся эти силы? На этот вопрос может отвечать только биография этих людей или история их народа, а биография, как известно, пишется после смерти деятеля, точно так же, как история пишется тогда, когда событие уже совершилось. Из Базаровых, при известных обстоятельствах, вырабатываются великие исторические деятели; такие люди долго остаются молодыми, сильными и годными на всякую работу; они не вдаются в односторонность, не привязываются к теории, не прирастают к специальным занятиям; они всегда готовы променять одну сферу деятельности на другую, более широкую и более занимательную; они всегда готовы выйти из ученого кабинета и лаборатории; это не труженики; углубляясь в тщательные исследования специальных вопросов

науки, эти люди никогда не теряют из виду того великого мира, который вмещает в себя их лабораторию и их самих, со всею их наукою и со всеми их инструментами и аппаратами; когда жизнь серьезно шевельнет их мозговые нервы, тогда они бросят микроскоп и скальпель, тогда они оставят недописанным какое-нибудь ученейшее исследование о костях или перепонках. Базаров никогда не сделается фанатиком, жрецом науки, никогда не возведет ее в кумир, никогда не обречет своей жизни на ее служение; постоянно сохраняя скептическое отношение к самой науке, он не даст ей приобрести самостоятельное значение; он будет ею заниматься или для того, чтобы дать работу своему мозгу, или для того, чтобы выжать из нее непосредственную пользу для себя и для других. Медициною он будет заниматься отчасти для препровождения времени, отчасти как хлебным и полезным ремеслом. Если представится другое занятие, более интересное, более хлебное, более полезное, — он оставит медицину, точно так же как Вениамин Франклин оставил типографский станок. Базаров — человек жизни, человек дела, но возьмется он за дело только тогда, когда увидит возможность действовать не машинально. Его не подкупят обманчивые формы; внешние усовершенствования не победят его упорного скептицизма; он не примет случайной оттепели за наступление весны и проведет всю жизнь в своей лаборатории, если в сознании нашего общества не произойдет существенных изменений. Если же в сознании, а следовательно, и в жизни общества произойдут желаемые изменения, тогда люди, подобные Базарову, окажутся готовыми, потому что постоянный труд мысли не даст им залениться, залежаться и заржаветь, а постоянно бодрствующий скептицизм не позволит им сделаться фанатиками специальности или вялыми последователями односторонней доктрины. Кто решится отгадывать будущее и бросать на ветер гипотезы? Кто решится дорисовывать такой тип, который только что начинает складываться и обозначаться и который может быть дорисован только временем и событиями? Не имея возможности показать нам, как живет и действует Базаров, Тургенев показал нам, как он умирает. Этого на первый раз довольно, чтобы составить себе понятие о силах Базарова, о тех силах, которых полное развитие могло обозначиться только жизнью, борьбою, действиями и результатами. Что Базаров не фразер — это увидит всякий, вглядываясь в эту личность с первой минуты ее появления в романе. Что отрицание и скептицизм этого человека сознаны и прочувствованы, а не надеты для прихоти и для пущей важности, — в этом убеждает каждого беспристрастного читателя непосредственное ощущение. В Базарове есть сила, самостоятельность, энергия, которой не бывает у фра-

зеров и подражателей. Но если бы кто-нибудь захотел не заметить и не почувствовать в нем присутствия этой силы, если бы кто-нибудь захотел подвергнуть ее сомнению, то единственным фактом, торжественно и безапелляционно опровергающим это нелепое сомнение, была бы смерть Базарова. Влияние его на окружающих людей ничего не доказывает; ведь и Рудин имел влияние; на безрыбье и рак рыба; и на людей, подобных Аркадию, Николаю Петровичу, Василию Ивановичу и Арине Власьевне, больно нетрудно произвести сильное впечатление. Но смотреть в глаза смерти, предвидеть ее приближение, не стараясь себя обмануть, оставаться верным себе до последней минуты, не ослабеть и не трусить — это дело сильного характера. Умереть так, как умер Базаров, — все равно что сделать великий подвиг; этот подвиг остается без последствий, но та доза энергии, которая тратится на подвиг, на блестящее и полезное дело, истрачена здесь на простой и неизбежный физиологический процесс. Оттого, что Базаров умер твердо и спокойно, никто не почувствовал себе ни облегчения, ни пользы, но такой человек, который умеет умирать спокойно и твердо, не отступит перед препятствием и не струсит перед опасностью.

Описание смерти Базарова составляет лучшее место в романе Тургенева; я сомневаюсь даже, чтобы во всех произведениях нашего художника нашлось что-нибудь более замечательное. Выписывать какой-нибудь отрывок из этого великолепного эпизода я считаю невозможным; это значило бы уродовать цельность впечатления; по-настоящему следовало бы выписать целых десять страниц, но место не позволяет мне этого сделать; кроме того, я надеюсь, что все мои читатели прочли или прочтут роман Тургенева, и потому, не извлекая из него ни одной строки, я постараюсь только проследить и объяснить с начала до конца болезни психическое состояние Базарова. Обрезав себе палец при рассечении трупа и не имевши возможности тотчас прижечь ранку ляписом или железом, Базаров через четыре часа после этого события приходит к отцу и прижигает себе больное место, не скрывая ни от себя, ни от Василия Ивановича бесполезности этой меры в том случае, если гной разлагающегося трупа проник в ранку и смешался с кровью. Василий Иванович, как медик, знает, как велика опасность, но не решается взглянуть ей в глаза и старается обмануть самого себя. Проходит два дня. Базаров крепится, не ложится в постель, но чувствует жар и озноб, теряет аппетит и страдает сильною головною болью. Участие и расспросы отца раздражают его, потому что он знает, что все это не поможет и что старик только самого себя лелеет и тешит пустыми иллюзиями. Ему досадно видеть, что мужчина, и притом медик, не

смеет видеть дело в настоящем свете. Арину Власьевну Базаров бережет; он говорит ей, что простудился; на третий день ложится в постель и просит прислать ему липового чаю. На четвертый день он обращается к отцу, прямо и серьезно говорит ему, что скоро умрет, показывает ему красные пятна, выступившие на теле и служащие признаком заражения, называет ему медицинским термином свою болезнь и холодно опровергает робкие возражения растерявшегося старика. А между тем ему хочется жить, жаль прощаться с самосознанием, с своею мыслью, с своею сильною личностью, но эта боль расставания с молодою жизнью и с неизношенными силами выражается не в мягкой грусти, а в желчной, иронической досаде, в презрительном отношении к себе, как к бессильному существу, и к той грубой, нелепой случайности, которая смяла и задавила его. Нигилист остается верен себе до последней минуты.

Как медик, он видел, что люди зараженные всегда умирают, и он не сомневается в непреложности этого закона, несмотря на то, что этот закон осуждает его на смерть. Точно так же он в критическую минуту не меняет своего мрачного миросозерцания на другое, более отрадное; как медик и как человек, он не утешает себя миражами.

Образ единственного существа, возбудившего в Базарове сильное чувство и внушившего ему уважение, приходит ему на ум в то время, когда он собирается прощаться с жизнью. Этот образ, вероятно, и раньше носился перед его воображением, потому что насильственно сдавленное чувство еще не успело умереть, но тут, прощаясь с жизнью и чувствуя приближение бреда, он просит Василия Ивановича послать нарочного к Анне Сергеевне и объявить ей, что Базаров умирает и приказал ей кланяться. Надеялся ли он увидеть ее перед смертью или просто хотел ей дать весть о себе, — это невозможно решить; может быть, ему было приятно, произнося при другом человеке имя любимой женщины, живее представить себе ее красивое лицо, ее спокойные, умные глаза, ее молодое, роскошное тело. Он любит только одно существо в мире, и те нежные мотивы чувства, которые он давил в себе, как романтизм, теперь всплывают на поверхность; это не признак слабости, это естественное проявление чувства, высвободившегося из-под гнета рассудочности; Базаров не изменяет себе; приближение смерти не перерождает его; напротив, он становится естественнее, человечнее, непринужденнее, чем он был в полном здоровье. Молодая, красивая женщина часто бывает привлекательнее в простой утренней блузе, чем в богатом бальном платье. Так точно умирающий Базаров, распустивший свою натуру, давший себе полную волю, возбуждает больше сочувствия, чем тот

же Базаров, когда он холодным рассудком контролирует каждое свое движение и постоянно ловит себя на романтических поползновениях.

Если человек, ослабляя контроль над самим собою, становится лучше и человечнее, то это служит энергическим доказательством цельности, полноты и естественного богатства натуры. Рассудочность Базарова была в нем простительною и понятною крайностью; эта крайность, заставлявшая его мудрить над собою и ломать себя, исчезла бы от действия времени и жизни; она исчезла точно так же во время приближения смерти. Он сделался человеком, вместо того чтобы быть воплощением теории нигилизма, и, как человек, он выразил желание видеть любимую женщину.

Анна Сергеевна приезжает. Базаров говорит с нею ласково и спокойно, не скрывая легкого оттенка грусти, любуется ею, просит у нее последнего поцелуя, закрывает глаза и впадает в беспамятство.

К родителям своим он остается по-прежнему равнодушен и не дает себе труда притворяться. О матери он говорит: «Мать бедная! Кого-то она будет кормить теперь своим удивительным борщом?». Василию Ивановичу он предобродушно советует быть философом.

Следить за нитью романа после смерти Базарова я не намерен. Когда умер такой человек, как Базаров, и когда его геройскою смертью решена такая важная психологическая задача, произнесен приговор над целым направлением идей, тогда стоит ли следить за судьбою людей, подобных Аркадию, Николаю Петровичу, Ситникову et tutti quanti?.. [1] Постараюсь сказать несколько слов об отношениях Тургенева к новому, созданному им типу.

XI

Приступая к сооружению характера Инсарова, Тургенев во что бы то ни стало хотел представить его великим и вместо того сделал его смешным. Создавая Базарова, Тургенев хотел разбить его в прах и вместо того отдал ему полную дань справедливого уважения. Он хотел сказать: наше молодое поколение идет по ложной дороге, и сказал: в нашем молодом поколении вся наша надежда. Тургенев не диалектик, не софист, он не может доказывать своими образами предвзятую идею, как бы эта идея ни казалась ему отвлеченно верна или практически полезна. Он прежде всего художник, человек бессознательно, невольно искренний; его образы живут своею жизнью; он любит их, он увлекается

---

[1] И всяким прочим *(итал.)*. — *Ред.*

ими, он привязывается к ним во время процесса творчества, и ему становится невозможным помыкать ими по своей прихоти и превращать картину жизни в аллегорию с нравственною целью и с добродетельною развязкою. Честная, чистая натура художника берет свое, ломает теоретические загородки, торжествует над заблуждениями ума и своими инстинктами выкупает все — и неверность основной идеи, и односторонность развития, и устарелость понятий. Вглядываясь в своего Базарова, Тургенев как человек и как художник растет в своем романе, растет на наших глазах и дорастает до правильного понимания, до справедливой оценки созданного типа.

С недобрым чувством начал Тургенев свое последнее произведение. С первого разу он показал нам в Базарове угловатое обращение, педантическую самонадеянность, черствую рассудочность; с Аркадием он держит себя деспотически-небрежно, к Николаю Петровичу относится без нужды насмешливо, и все сочувствие художника лежит на стороне тех людей, которых обижают, тех безобидных стариков, которым велят глотать пилюлю, говоря о них, что они отставные люди. И вот художник начинает искать в нигилисте и беспощадном отрицателе слабого места; он ставит его в разные положения, вертит его на все стороны и находит против него только одно обвинение — обвинение в черствости и резкости. Всматривается он в это темное пятно; возникает в его голове вопрос: а кого же станет любить этот человек? В ком найдет удовлетворение своим потребностям? Кто его поймет насквозь и не испугается его корявой оболочки? Подводит он к своему герою умную женщину; женщина эта смотрит с любопытством на эту своеобразную личность; нигилист, с своей стороны, вглядывается в нее с возрастающим сочувствием и потом, увидав что-то похожее на нежность, на ласку, кидается к ней с нерассчитанною порывистостью молодого, горячего, любящего существа, готового отдаться вполне, без торгу, без утайки, без задней мысли. Так не кидаются люди холодные, так не любят черствые педанты. Беспощадный отрицатель оказывается моложе и свежее той молодой женщины, с которою он имеет дело; в нем накипела и вырвалась бешеная страсть в то время, когда в ней только что начинало бродить что-то вроде чувства; он бросился, перепугал ее, сбил ее с толку и вдруг отрезвил ее; она отшатнулась назад и сказала себе, что спокойствие все-таки лучше всего. С этой минуты все сочувствие автора переходит на сторону Базарова, и только кой-какие рассудочные замечания, которые не вяжутся с целым, напоминают прежнее недоброе чувство Тургенева.

Автор видит, что Базарову некого любить, потому что вокруг него все мелко, плоско и дрябло, а сам он свеж, умен

и крепок; автор видит это и в уме своем снимает с своего героя последний незаслуженный упрек. Изучив характер Базарова, вдумавшись в его элементы и в условия развития, Тургенев видит, что для него нет ни деятельности, ни счастья. Он живет бобылем и умрет бобылем, и притом бесполезным бобылем, умрет как богатырь, которому негде повернуться, нечем дышать, некуда девать исполинской силы, некого полюбить крепкою любовью. А незачем ему жить, так надо посмотреть, как он будет умирать. Весь интерес, весь смысл романа заключался в смерти Базарова. Если бы он струсил, если бы он изменил себе, — весь характер его осветился бы иначе: явился бы пустой хвастун, от которого нельзя ожидать в случае нужды ни стойкости, ни решимости; весь роман оказался бы клеветою на молодое поколение, незаслуженным укором; этим романом Тургенев сказал бы: вот посмотрите, молодые люди, вот случай: умнейший из вас — и тот никуда не годится! Но у Тургенева как у честного человека и искреннего художника язык не повернулся произнести теперь такую печальную ложь. Базаров не оплошал, и смысл романа вышел такой: теперешние молодые люди увлекаются и впадают в крайности, но в самых увлечениях сказываются свежая сила и неподкупный ум; эта сила и этот ум без всяких посторонних пособий и влияний выведут молодых людей на прямую дорогу и поддержат их в жизни.

Кто прочел в романе Тургенева эту прекрасную мысль, тот не может не изъявить ему глубокой и горячей признательности, как великому художнику и честному гражданину России.

А Базаровым все-таки плохо жить на свете, хоть они припевают и посвистывают *. Нет деятельности, нет любви, — стало быть, нет и наслаждения.

Страдать они не умеют, ныть не станут, а подчас чувствуют только, что пусто, скучно, бесцветно и бессмысленно.

А что же делать? Ведь не заражать же себя умышленно, чтобы иметь удовольствие умирать красиво и спокойно? Нет! Что делать? Жить, пока живется, есть сухой хлеб, когда нет ростбифу, быть с женщинами, когда нельзя любить женщину, и вообще не мечтать об апельсинных деревьях и пальмах, когда под ногами снеговые сугробы и холодные тундры.

1862 г. Март.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭСКИЗЫ

I

Когда мы рассматриваем какой-нибудь отдельный поступок, тогда мы обыкновенно, по человеческой слабости, вдаемся в лиризм и, смотря по свойствам данного поступка, чувствуем приливы негодования или благоговения, ужаса или восторга, огорчения или удовольствия. Все эти чувства в значительной степени ослабевают, когда мы начинаем принимать в соображение, кроме голого факта, ту ближайшую причину, из которой развился этот факт. Если от ближайших причин мы станем переходить к причинам более отдаленным, то лирические порывы наши постоянно будут остывать более и более, так что наконец взволновавший нас факт будет интересовать нас только как предмет изучения.

Человек *А* в известном случае поступил хорошо или дурно. Спрашивается, почему он поступил так, а не иначе? Потому, конечно, что ему иначе нельзя было поступить. Во-первых, случай был именно тот, а не другой, а во-вторых, действующим лицом был именно *А,* а не *В* и не *С.* Следовательно, чтобы объяснить себе поступок, надо рассмотреть, во-первых, обстоятельства данного случая, а во-вторых, характер действующего лица. Видя, что наши лирические излияния неуместны в отношении к отдельному поступку, мы обыкновенно переносим их на характер самого человека. Но и в этом случае мы действуем неосмотрительно. Если известный поступок есть неизвестный результат известного характера, поставленного в известное положение, то характер, в свою очередь, есть такой же неизвестный результат многих физиологических, климатических, исторических и разных других данных. Если бы мы могли проследить жизнь человека с минуты его рождения до того времени, когда характер оказался совершенно сформированным, то мы увидели бы перед собою непрерывную цепь причин и следствий. Спрашивается, на какое же звено этой цепи мы имеем разумное

основание изливать наш гнев или наше благоговение? Нам приходится или воздерживаться от лирических увлечений, или обращать их на первое звено цепи, то есть на новорожденного младенца. Но если даже мы способны дойти в своем лиризме до такой нелепости, то нам все-таки и здесь предстоит разочарование. Новорожденный ребенок совсем не первое звено; он, в свою очередь, следствие бесчисленного множества причин. Первого звена мы никогда не найдем. Метафизики были терпеливее нас, однако ничего не нашли и принуждены были кое-что выдумать. Следовательно, лиризму нашему окончательно приходится улетучиваться в пространство. В житейской практике не всегда удобно и часто бесполезно бывает прогонять лиризм серьезным размышлением и основательным изучением причин. Во-первых, на это занятие пришлось бы тратить очень много времени, а во-вторых, биографии окружающих нас людей очень редко представляют что-либо интересное. Но когда мы беремся за изучение исторических явлений, тогда всякий лиризм должен быть устранен с неумолимою строгостью. Присутствие лиризма всегда, как в практической жизни, так и в теоретическом размышлении, служит вернейшим признаком недостаточного знакомства с предметом. Когда мы понимаем вполне какое-нибудь явление, тогда мы не можем ни негодовать против него, ни благоговеть перед ним.

Для потребностей практической жизни нам достаточно знать окружающие предметы настолько, насколько эти предметы могут обусловливать собою наши поступки. Если я имею с г. *А* денежные дела, то мне необходимо знать, мошенник ли он или не мошенник; но мне нет никакой практической надобности размышлять о том, что именно сделало его мошенником или помогло ему остаться честным человеком.

Когда же я пускаюсь в теоретические размышления, тогда мне необходимо вести исследование так далеко, как только позволяют наличные материалы и мои собственные умственные силы. Кто в теоретических размышлениях останавливается на половине дороги, удовлетворяясь полузнанием и полупониманием, тому, собственно говоря, нет никакой надобности заниматься такими размышлениями. Кто в области мысли обрекает себя на ту узкость и поверхностность суждений, которая господствует в нашей вседневной жизни, тому незачем и забираться в область мысли. Кто разбирает исторические события с тем близоруким пристрастием, с которым он рассуждает о своих добрых знакомых, тому было бы лучше вовсе не заниматься историею. История обогащает нас новыми идеями и расширяет наш умственный горизонт только в том случае, когда мы изучаем какое-нибудь событие в его

естественной связи с его причинами и с его последствиями. Если мы вырвем из истории отдельный эпизод, то мы увидим перед собою борьбу партий, игру страстей, фигуры добродетельных и порочных людей; одним мы станем сочувствовать, против других будем негодовать; но сочувствие и негодование будут продолжаться только до тех пор, пока мы не поставим вырванного эпизода на его настоящее место, пока мы не поймем той простой истины, что весь этот эпизод во всех своих частях и подробностях совершенно логично и неизбежно вытекает из предшествующих обстоятельств.

Как ни проста эта истина, однако многие писатели, рассуждающие об истории, и многие историки, пользующиеся очень громкою известностью, совершенно теряют ее из виду в своих исторических сочинениях. Раскройте, например, Маколея, и вы увидите, что он на каждой странице кого-нибудь оправдывает или кого-нибудь обвиняет, кому-нибудь свидетельствует свое почтение или кому-нибудь делает строжайший выговор. Все эти оправдания или обвинения, почтения или выговоры служат только признаками неясного или неполного понимания событий. Моралист вытесняет историка, потому что у историка не хватает материалов или недостает проницательности. В приговорах Маколея заключается такой смысл: я, говорит он, умнее такого-то; * я понимаю политику лучше такого-то; я бы не сделал такой-то ошибки и т. д. На это читатель имеет полное право возразить, что ему нет дела до тех прекрасных свойств ума и сердца, которыми обладает Маколей; ему нет дела до того, как поступил бы историк, находясь в таком или в другом положении; ему любопытно было знать, как поступила действительная историческая личность, почему она поступила так, а не иначе, и почему ее поступки имели важное значение для ее современников. Дело историка — рассказать и объяснить; дело читателя — передумать и понять предлагаемое объяснение; когда историк и читатель, каждый с своей стороны, исполнят свое дело, тогда уже не останется места ни для оправдания, ни для обвинения. Мыслящий исследователь вглядывается в памятники прошедшего для того, чтобы найти в этом прошедшем материалы для изучения человека вообще, а не для того, чтобы погрозить кулаком покойнику Сидору или погладить по головке покойника Антона. История до сих пор не сделалась наукою, но между тем только в истории мы можем найти материалы для решения многих вопросов первостепенной важности. Только история знакомит нас с массами; только вековые опыты прошедшего дают нам возможность понять, как эти массы чувствуют и мыслят, как они изменяются, при каких условиях развиваются их умственные и экономические силы, в каких формах выражаются их страсти и до

каких пределов доходит их терпение. История должна быть осмысленным и правдивым рассказом о жизни массы; отдельные личности и частные события должны находить в ней место настолько, насколько они действуют на жизнь массы или служат к ее объяснению. Только такая история заслуживает внимания мыслящего человека, а в такой истории, очевидно, нет места ни для похвалы, ни для порицания, потому что хвалить или порицать массу все равно, что хвалить березу за белый цвет коры или полемизировать против дождливой погоды. Масса есть стихия, а стихию, конечно, нельзя ни любить, ни ненавидеть; ее можно только рассматривать и изучать. До сих пор масса была всегда затерта и забита в действительной жизни; точно так же затерта и забита она была и в истории. На первом плане стояла в истории биография и нравственная философия. Вся колоссальная знаменитость Маколея и все успехи его бесчисленных подражателей основаны на рисовании исторических портретов и на торжественном произнесении оправдательных и обвинительных приговоров. Эти портреты и приговоры мешают читателю додуматься до настоящего назначения истории и, следовательно, положительно вредят успехам разумного и плодотворного исторического изучения. Нравственная философия так же мало относится к истории, как, например, к органической химии или к сравнительной анатомии. Что же касается до биографии, то она должна занимать в истории очень скромное место. Частная жизнь только тогда интересна для историка, когда она выражает в себе особенности той коллективной жизни масс, которая составляет единственный предмет, вполне достойный исторического изучения.

Собираясь говорить с читателями о том перевороте, который в конце прошедшего столетия опрокинул во Франции все средневековые учреждения, я счел не лишним высказать сначала несколько общих мыслей об историческом изучении. Познакомившись с этими мыслями, читатель поймет заранее, как я намерен вести мой рассказ. Он увидит, что я не хочу произносить никаких приговоров, потому что всякий приговор над историческим событием я считаю вопиющею нелепостью; он увидит далее, что я вовсе не расположен впутываться в биографические подробности и разрывать груду тех придворных и городских скандалов, слухов и интриг, которыми так богата эта тревожная эпоха. Меня занимает исключительно общая, бытовая, всемирно-историческая сторона французского переворота. Я не буду ни ужасаться перед ним, ни оправдывать его, потому что я твердо убежден в том, что всякое отдельное событие, как бы оно ни было ужасно или величественно, есть только неизбежное и очень простое следствие таких же неизбежных и простых причин.

Рассматривая французский переворот как логически необходимый результат всей средневековой истории французского королевства, я не могу питать к этому перевороту ни греховной симпатии, ни добродетельного отвращения. Я могу только разбирать его причины, рассматривать его развитие и указывать на ту связь, в которой находится самая катастрофа со всем историческим прошедшим французской нации. Мое дело объяснять и рассказывать, а не усыпать страницы восклицательными знаками. Руководителем моим на трудном и скользском пути будет Генрих Зибель *, опытный и серьезный историк, у которого, однако, несмотря на всю его серьезность, прорываются изредка стремление к приговорам и желание заявить добродетельное отвращение. Я постараюсь быть серьезнее самого Зибеля и объективнее самого г. Гончарова **. Постараюсь, одним словом, приблизиться к величественному спокойствию гомеровского эпоса. Читатель понимает, что на трудном и скользском пути без гомеровского спокойствия нет спасения.

II

Все французские короли из династии Гуго Капета с бо́льшим или меньшим успехом стремились к тому, чтобы подчинить своей верховной власти крупных и мелких феодальных владетелей, господствовавших в отдельных провинциях и старавшихся, с своей стороны, отстоять и упрочить за собою полную самостоятельность. Писаное право было на стороне феодальных владетелей; материальная сила также склонялась часто на их сторону; но притязания центральной королевской власти пользовались полным сочувствием задавленных масс, которых жизнь ежеминутно отравлялась придирчивым и хищным деспотизмом бесчисленного множества герцогов, графов, маркизов, рыцарей и разных других доблестных и породистых грабителей. Массы видели в короле своего заступника и покровителя, и короли, понимавшие свою выгоду, действительно часто принимали сторону городских общин, возмущавшихся против феодальных владетелей. Политика королей обыкновенно сообразовалась с ближайшими требованиями обстоятельств; им хотелось приобрести как можно больше власти, а для этого надо было содержать на свой счет такое войско, которое не зависело бы от произвола феодалов; на содержание войска были необходимы деньги, и к деньгам стремились с незапамятных времен все помыслы французских королей. Им случалось иногда продавать за значительную сумму какому-нибудь городу льготную грамоту, предоставлявшую городской общине право самоуправления и независимость от феодального владетеля; вслед за тем вла-

детель с своей стороны вносил убедительную сумму, и тогда льготная грамота немедленно уничтожалась, к величайшему изумлению добродушных горожан. Филипп IV Красивый сжег тамплиеров * единственно для того, чтобы конфисковать их имения; тот же самый Филипп по нескольку раз в год перечеканивал монету, портил ее неумеренною примесью меди и извлекал из этих операций значительные выгоды для королевской казны. Продолжительные войны с Англиею, разорившие обе страны и подвергнувшие страшной опасности политическую самостоятельность Франции, содействовали укреплению королевской власти. Собрание государственных чинов ** предоставило Карлу VII право взимать ежегодно во всем королевстве определенную подать, предназначавшуюся для содержания постоянной и правильно организованной армии. Королевские чиновники получили таким образом возможность проникать в земли владетельных дворян и понемногу стали упрочивать в них свое влияние, клонившееся, впрочем, исключительно к обогащению королевской казны, а вовсе не к облегчению работающих и платящих сословий. К прямым налогам присоединились косвенные, из которых особенно замечателен был своею непопулярностью налог на соль.

Королевская власть стала укрепляться по мере того, как увеличивались и упрочивались источники ее доходов. Со времен Франциска I она успела приобрести уже неоспоримый перевес над всеми остальными общественными силами феодального государства. Дворяне оставили свои замки и стали искать себе придворных должностей. Все попытки феодальной аристократии возвратить себе прежнюю самостоятельность оканчивались полнейшими неудачами. Волнения Лиги *** и Фронды были последними проблесками средневековой строптивости. Твердые и крутые меры Генриха IV, Ришелье и Мазарини положили конец всем этим волнениям и приготовили собою эпоху Людовика XIV. В действительности Людовик XIV был деспотом в самом широком смысле этого слова; он в делах управления руководствовался только своими собственными соображениями или фантазиями; ему иногда приходили в голову такие мысли, которые, по выражению Зибеля, выходят из границ европейского понимания. Однажды он предложил своим советникам вопрос: не должен ли он, подобно магометанским властителям Востока, пользоваться правом собственности над пахотною землею своего королевства? В другой раз он запретил под страхом наказаний всякую частную благотворительность на том основании, что никто, кроме короля, не имеет права быть во Франции заступником и покровителем бедных людей. Несмотря на то Людовик XIV по праву оставался все-таки королем феодального государства, в котором, как известно, центральная власть на

каждом шагу встречала себе препятствия и противодействия со стороны разных сословных и корпоративных учреждений и привилегий. Вся средневековая путаница властей продолжала существовать при Людовике XIV и оставалась не отмененною до самой революции. Духовенство заведовало своими делами почти совершенно независимо от короля; колоссальные поместья, принадлежавшие церкви, не платили никакой подати, кроме так называемого don gratuit, назначавшегося в большем или меньшем размере, смотря по расположению духовенства к правительству. В руках духовенства находилось народное обучение, в которое вовсе не вмешивалась королевская власть. Дворянство имело свои провинциальные собрания, в которых оно обсуживало местные потребности края, занималось раскладкою податей и иногда выдвигало против королевских чиновников упорную оппозицию. В отправлении правосудия не было ни единства, ни целесообразности; в каждой провинции было свое обычное право (droit coutumier); каждый землевладелец и каждая городская община имели свой суд и расправу; апеллировать на их решения можно было в королевские президиальные суды *, но круг деятельности этих судов оставался до такой степени неопределенным, что у них на каждом шагу происходили столкновения с другими инстанциями. Высшая судебная власть сосредоточивалась в парламентах **, их было прежде девять, а потом пятнадцать, и все они в своем судебном округе были верховными судилищами; все они гордо опирались на вековые права и постоянно спорили за них между собою с низшими инстанциями, вырывавшимися из-под их контроля, и, наконец, с королевскими министрами, старавшимися ограничить их притязания. Парламенты, и особенно важнейший из них, парижский, утверждали постоянно, что никакое распоряжение короля не имеет законной силы, пока оно не внесено в парламентские реестры: иногда, находя королевские распоряжения несогласными с требованиями права или опасными для блага государства, парламенты отказывались вносить эти распоряжения в реестр. Иногда парламенты собственною властью отдавали приказания по важнейшим отраслям полицейского управления; иногда они призывали к суду королевских чиновников за превышение власти или за какое-нибудь другое нарушение закона. Правительство упорно сопротивлялось притязаниям парламентов. Отвергнутое распоряжение короля записывалось в реестр насильно; приказание парламента по полицейскому управлению в случае надобности отменялось; обвиненные чиновники освобождались от судебных преследований; в каждом отдельном случае парламенты принуждены были покоряться, но как только представлялся случай, так они тотчас начинали и

с невозмутимою стойкостью выдерживали до конца ту легальную борьбу, которая всегда кончалась торжеством вооруженной силы над вековым документальным правом.

Стойкость парламентов основывалась преимущественно на том обстоятельстве, что назначение парламентских советников не зависело от короля. Все места в парламентах передавались по наследству от отца к сыну. Нуждаясь постоянно в деньгах, короли продавали различные должности не только в пожизненное, но и в наследственное владение. Таким образом были проданы все места в парламентах. Таким же образом продавались места при дворе, в армии, в лесном управлении, в ведомстве податных сборов, в городских и цеховых управлениях. Многие должности создавались единственно для продажи; чтобы выручить за них более значительную сумму денег, правительство давало покупателям дворянское достоинство и, уже во всяком случае, освобождало их от многих тягостных повинностей. Королевская власть была, таким образом, окружена при Людовике XIV легионом несменяемых чиновников и целыми тысячами старинных прав, замкнутых корпораций, неприкосновенных привилегий и разных других, наполовину обессмысленных остатков и призраков отдаленного прошедшего. Людовик XIV не уничтожал этих реликвий; он чувствовал, что если тронуть этот старый порядок, то придется перестраивать заново все общественное здание. Такая титаническая работа была ему не по силам и не по вкусу; не отличаясь шириною общих взглядов и не чувствуя в себе призвания быть радикальным реформатором, он совершенно удовлетворялся тем обстоятельством, чтобы в каждом отдельном случае старое документальное право уступало напору его державной воли. Он в каждом отдельном случае изворачивался мелкими средствами; он делал все, что хотел, и, как человек практический, вовсе не заботился о том, почему исполняется его воля, — потому ли, что эта воля совпадает с принципом существующего закона, или потому, что она опирается на материальную силу. На тех людей, которые находились с ним в близких отношениях, он действовал непосредственным влиянием своей личности; он привлекал их своею неотразимою любезностью или внушал им почтение своею поразительною величавостью; для достижения своих целей он пускал в ход все чувствительные струны человеческой души. Он эксплуатировал в свою пользу тщеславие дворянства, властолюбие чиновничества, нетерпимость духовенства и, наконец, стремление к приобретению, в одинаковой степени свойственное аристократам, бюрократам и церковникам. На кого не действовали кроткие ласки, на того можно было навести спасительный страх, и, наконец, оставались еще в запасе насильственные меры. Если в какой-

нибудь провинции слышался ропот, то ропот этот умолкал при вступлении в провинцию военного отряда; если какой-нибудь городовой магистрат не вовремя вспоминал о своих неотмененных правах, то в городе ставились на постой войска, и магистрат убеждался в том, что права его составляют анахронизм; наконец, парламентские советники и чиновники, получившие свои должности по наследству, не могли быть замещены другими лицами, но зато для них и вообще для всякого человека, изъявлявшего притязание на самостоятельность, были всегда готовы в неограниченном количестве гостеприимные каморки Бастилии, Венсенского замка и разных других общеполезных учреждений.

Всеми этими и многими другими средствами Людовик XIV пользовался с замечательным искусством. Его положению завидовали и его примеру безуспешно подражали все современные ему государи Европы. В продолжение нескольких десятков лет он стоял на такой недосягаемой высоте, на которой слух его не мог быть возмущен ни тихою жалобою, ни робким противоречием. Все силы Франции были в его руке, и он расходовал эти силы по своему благоусмотрению, не отдавая никому отчета в своих распоряжениях. Одна война быстро следовала за другою; деньги и рабочие руки тратились на завоевательные попытки, имевшие чисто династический интерес, поднимавшие на Францию оружие почти всей остальной Европы и вследствие этого оканчивавшиеся обыкновенно неудачами и унизительными мирными трактатами. Королевская казна постоянно нуждалась в деньгах, а между тем народ постоянно платил так много, что самый изобретательный финансовый гений не находил возможности увеличивать массу налогов. Чтобы добывать деньги, приходилось выдумывать новые должности и продавать их частным лицам, приходилось отдавать на откуп все отрасли частной промышленности, приходилось вводить монополии и привилегии во все отправления народной жизни. Дошло до того, что ремесло перевозчиков, факельщиков и носильщиков было продано в исключительную собственность нескольким семействам. Само собою разумеется, что монополисты выручали затраченные капиталы, вытягивая их из народа; следовательно, в конце концов все войны Людовика XIV, все его версальские дворцы, фонтаны и праздники всею своею тяжестью лежали на плечах французских крестьян и французских работников, которым уже не на кого было сложить эту тяжесть. Голод и заразительные болезни опустошали целые провинции; сотни тысяч жителей питались желудями и древесною корою, причем, конечно, умственное и нравственное состояние их совершенно соответствовало высоте их материального довольства. В конце царствования Людовика XIV ему окончательно

изменила даже та военная слава, которая с незапамятных времен составляла для французов необходимое утешение во время неурожаев и тяжелых налогов. Когда исчезло это последнее утешение, тогда народ понял, что положение его действительно тяжело.

III

При таких обстоятельствах началось царствование Людовика XV и регентство Филиппа Орлеанского. Регент, как известно, был человек веселый и беззаботный, а король, когда вырос и возмужал, сделался еще веселее и беззаботнее регента. Двор и высшие сословия государства, подражая властелину, дышали веселостью и беззаботностью. Король был человек очень остроумный, и приближенные его были также, по большей части, люди неглупые и не лишенные образования; все они понимали или по крайней мере чувствовали, что государственная машина трещит и расклеивается, что старому обществу приходит конец и что в воздухе эпохи носятся идеи, радикально враждебные всем средневековым учреждениям и авторитетам. Все чувствовали непрочность своего положения, но так как положение само по себе, в данную минуту, было все-таки приятно, то они и спешили им наслаждаться, подражая мудрым эпикурейцам древности и с полным успехом прогоняя всякие назойливые мысли о завтрашнем дне или о будущем финансовом дефиците. В эту веселую эпоху практической мудрости возникла известная поговорка: «après moi le déluge»;[1] в эту же эпоху король говорил с лукавою улыбкою, что на его век хватит, а уж наследник пускай выпутывается, как сам знает.

Все это было очень остроумно, но все это нисколько не нравилось среднему сословию, которое постоянно посматривало то вверх, на аристократию, то вниз, на народ, и при этом все о чем-то размышляло и весьма неодобрительно покачивало головами. Это сословие, имевшее материальное обеспечение и свободное время для умственных занятий, было насквозь проникнуто идеями XVIII столетия, отвергавшими в основных принципах и во всех отдельных подробностях все миросозерцание средневековой эпохи. Средневековой человек за пределами церковного догмата не видел ничего, кроме мирской суеты, греховной лжи и дьявольского искушения; на землю он смотрел как на место изгнания и заточения; на всей природе он видел печать первобытного проклятия; себя самого он считал мерзким сосудом всякой нечистоты; к уму своему он чувствовал недоверие, смешанное с отвращением.

[1] «После меня — хоть потоп» *(франц.)* — *Ред.*

Все это продолжалось до тех пор, пока авторитет католицизма оставался на высоте, недоступной для критической мысли. Но когда стали появляться попытки свести его с этой высоты и когда эти попытки стали повторяться все чаще и чаще, когда, наконец, сумма нескольких счастливых попыток образовала собою Реформацию, тогда самые верующие католики принуждены были сознаться в том, что элемент греховной лжи проник даже в истолкование церковного догмата; тогда исчезла граница между областью истины и областью лжи, эту границу каждому отдельному человеку пришлось отыскивать силами собственного ума; и проклятому еретику и спасающемуся католику поневоле пришлось размышлять, сначала для того, чтобы поражать друг друга полемическими аргументами, а через несколько времени уже просто потому, что размышление вошло в привычку и сделалось потребностью. Люди начали открывать истины там, где их вовсе не предполагали. Земля завертелась под ногами таких людей, которые готовы были присягать и божиться, что она всегда стояла и до сих пор стоит на одном месте. Солнце, которое каждый день всходит и садится на наших глазах, вдруг остановилось или по крайней мере было объявлено неподвижным светилом. Каждый благомыслящий человек был уверен в том, что он стоит на земле книзу ногами и вверх головою, но вдруг обнаружилось, что земля есть шарообразное тело, по которому нам или нашим антиподам приходится ходить кверху ногами, так, как мухи ходят по потолку. Уже одних этих открытий было совершенно достаточно для того, чтобы поставить в тупик всякого порядочного человека. Если земля не стоит на одном месте, то что же после этого твердо и незыблемо? Если я сам не знаю, как я хожу по земле, кверху головою или кверху ногами, то что же я знаю? Где верх, где низ? Где голова, где ноги? Если меня обманывают зрение и осязание, то что же меня не обманывает? Существует ли вокруг меня что-нибудь? Существую ли я сам? И как, и зачем, и почему?

Все эти вопросы кажутся нам странными теперь, потому что мы уже привыкли к той мысли, что мы многого не знаем и что многое навсегда останется нам неизвестным. Мы теперь выучились терпеливо ждать ответа на наши вопросы со стороны опыта и выучились вместе с тем не задавать таких вопросов, которых не может разрешить никакой опыт. Но средневековые люди в продолжение многих столетий знали решительно все, и вдруг им пришлось убедиться в том, что они не знают решительно ничего; они решили все вопросы, и в один прекрасный день оказалось, что все их решения никуда не годятся. Сотрясение произошло, конечно, такое сильное, что мыслителям пришлось ощупывать самих себя и

вовсе не на шутку сомневаться в собственном существовании. И скептицизм Юма, и идеализм Берклея, и трансцендентальный идеализм Канта были неизбежным логическим следствием того общего движения мысли, которое разрушило и стерло в порошок все колоссальные построения средних веков. Проникая с неудержимою силою во все отрасли умственной деятельности, прокладывая себе новые пути по всем возможным направлениям, дух критики и исследования создавал или переделывал заново философию, естествознание и политику. Любовь к природе, уважение к человеческой личности и признание безусловной диктатуры человеческого ума сделались основными элементами и руководящими принципами нового умственного движения. Во имя этих принципов стало отвергаться с неумолимою строгостью все, что унижало и порабощало человеческую личность, и все, что оказывалось несостоятельным перед судом человеческого разума.

Когда государство Людовика XV в целом составе своем и в своих отдельных частях было подвергнуто такому анализу, который не щадил ни исторической давности, ни документальной законности, тогда все это государство перед лицом анализирующей мысли оказалось безвозвратно осужденным на неминуемое разрушение. Приговор теоретического мышления имел в этом случае неотразимую силу, потому что мыслители приводили только в научную систему или облекали в стройную литературную форму те разрозненные идеи отрицания, которые возбуждались в каждом отдельном члене общества ежедневными столкновениями с живою действительностью. Политическая тактика самого Людовика XV открывала этим идеям доступ во все сферы тогдашнего общества. Король не мог удерживать за собою постоянный перевес над всеми силами своего феодального государства; у него не было ни того искусства, ни той настойчивости, которые обнаруживал во все продолжение своего царствования его прадед, Людовик XIV; не обладая этими личными качествами, Людовик XV поочередно боролся и вступал в союз с различными общественными силами тогдашней Франции; сначала он соединился с иезуитами против парламентов, потом, при помощи парламентов, вступил в борьбу с влиянием духовенства, а потом опять сделался клерикалом для того, чтобы смирить парламенты. Когда одно из привилегированных сословий находилось, таким образом, в королевской милости, тогда другое было в опале и составляло оппозицию. Первое проникалось веселостью и беззаботностью, свойственною королю и его придворным, а второе в это время пропитывалось идеями отрицания и, чувствуя себя обиженным, старалось распространить неудовольствие в обществе. Когда первое делалось вторым, а второе — первым, тогда веселость

и беззаботность первого помрачались оппозиционными идеями отрицания, а идеи отрицания второго мгновенно прояснялись в лучах веселости и беззаботности. В результате оказывалось, что правительственные сословия в совершенстве выучились наслаждаться жизнью и в то же время потеряли всякое доверие к своей собственной деятельности. Великие слова: «après moi le déluge» сделались девизом всех людей, когда-либо приближавшихся к венценосной особе Людовика XV. Но те сословия, которым постоянно суждено было составлять молчаливую оппозицию, не поняли великого значения этих сакраментальных слов; им не нравилась ни веселость, ни беззаботность, ни политическая тактика короля, ни периодическая оппозиция привилегированных классов. Им особенно не нравилось то, что на стороне королевской власти была вся материальная сила, а на стороне феодальных сословий все документальное право. Они спрашивали себя, на чью сторону склоняется разум? — и отвечали себе на этот вопрос, что разум отвергает и то и другое и требует чего-нибудь совершенно непохожего на существующий порядок. Что же касается до массы простого народа, то он, конечно, не занимался теоретическими выкладками, но между тем не чувствовал также преобладающей наклонности к веселости и к беззаботному наслаждению. Ему казалось особенно обидным то обстоятельство, что с каждым годом приходится больше работать для того, чтобы сильнее голодать; его смущала также та простая мысль, что в будущем не предвидится ни уменьшения налогов, ни увеличения годовых заработков. Представлялся гамлетовский вопрос: быть иль не быть? А если «быть», то как сводить концы с концами? Этот вопрос был тем более знаменателен, что он представлялся людям, никогда не читавшим Шекспира и даже незнакомым с французскою азбукою. Можно было ожидать, что они когда-нибудь решат этот вопрос довольно круто и, во всяком случае, очень прямолинейно.

IV

Важнейшею отраслью народного хозяйства во Франции прошлого столетия было земледелие. Из 25 миллионов жителей им занимались 21 миллион; из 51 миллиона гектаров земли, составлявших всю площадь королевства, было распахано 35 миллионов. Две трети этого распаханного пространства принадлежали крупным собственникам, то есть церкви, дворянству и богатым финансистам и законоведам. Остальная треть составляла собственность крестьян и была раздроблена на такие мелкие кусочки, которые не могли прокормить своих владельцев и приносили им очень мало поль-

зы. В сельском быту встречались, таким образом, две крайности; рядом с обладателями сотен и тысяч гектаров стояли владельцы десяти или пяти квадратных сажен земли; между этими крайностями не существовало средины, не было совсем таких землевладельцев, которых существование было бы обеспечено продуктами земли и которые между тем находились бы в необходимости постоянно трудиться и собственноручно заниматься своим хозяйством. Для крупного собственника такие занятия были немыслимы, а счастливому обладателю пяти квадратных сажен надо было искать заработков на стороне, потому что в собственных поместьях ему не к чему было приложить свой труд. Богатые землевладельцы перестали жить в своих именьях с тех самых пор, как феодальное рыцарство превратилось в блестящую толпу придворных. Они переселились в столицу, сгруппировались вокруг особы короля и появлялись в своих замках только тогда, когда прожито было слишком много денег, и только затем, чтобы набить потуже кошелек, и снова ехать в Париж, и снова платить обычную дань прелестям цивилизованной жизни. Земли, из которых извлекалось содержание дворянских кошельков, были разделены на мелкие участки в 10 или в 15 гектаров и отдавались в аренду крестьянам, которые были обязаны выплачивать владельцу половину сырого земледельческого продукта. За это им давался от хозяина зерновой хлеб на первое обсеменение полей; кроме того, они получали также от хозяина рабочий скот и земледельческие орудия. Самому владельцу было, конечно, скучно возиться и рассчитываться с мужиками, и потому он обыкновенно отдавал гуртом свои доходы на откуп какому-нибудь адвокату или нотариусу, который, как человек практический, всегда умел с большим избытком выручить откупную сумму и собрать обильную дань и с земли, и с крестьян, и с самого хозяина. Крестьяне знали, что половина их хлеба неминуемо должна пойти к владельцу или к откупщику; им не было никакого расчета заботиться об улучшении земли, и они постоянно вели спустя рукава свое земледельческое хозяйство; когда надо было пахать, они нанимались в извоз, потому что из постороннего заработка им ничего не приходилось отдавать хозяину; они загоняли гусей в свои пшеничные поля, потому что пшеница была наполовину хозяйская, а гуси целиком принадлежали крестьянину[1]; наконец, они старались

[1] Этот факт, целиком заимствованный мною у Зибеля («Geschichte der Revolutionszeit», Band I, 21 [«История революционного времени», том I, стр. 21. — *Ред.*], доказывает неопровержимым образом, что гуси и пшеница составляли яблоко раздора между землевладельцами и крестьянами задолго до рождения гг. Фета и Семена *. При этом должно заметить, что гуси постоянно являются представителями демократических интересов.

оставлять как можно больше земли под паром, потому что на этой земле можно было кормить скотину, которая также составляла нераздельную собственность крестьянина.

Земледелие велось, таким образом, без усердия, без знания и совершенно без капитала. Хорошие урожаи были невозможны; пшеница рождалась сам-пят и сам-шест, а в Англии в то же самое время она давала сам-двенадцать. Это объясняется отчасти тем, что в то время самая высокая рента в Англии не превышала одной четвертой доли сырого продукта. Кроме того, английские землевладельцы из этой ренты платили церковную десятину и налог для бедных, а французские оптиматы *, отбирая в свою пользу половину продукта, оставляли в пользу бедных только общественные тягости и разнородные повинности, от которых высшие сословия были совершенно освобождены. Крестьяне должны были исправлять разные обязательные работы на господском дворе, известные под общим названием corvées; они должны были выплачивать церковную десятину, и они же без всякого вознаграждения должны были мостить и чинить большие и проселочные дороги. За вычетом всех денежных и натуральных повинностей оказывалось, что крестьянин, бравший на аренду 10 гектаров, только в счастливый год мог прокормить свою семью продуктом своего поля. О продаже хлеба и об удобствах жизни нечего было и думать. Крестьянин тупел от постоянной нужды, и хозяйство с каждым годом велось небрежнее. Большие полосы пахотной земли оставлялись заброшенными и порастали бурьяном; к 1750 году, по словам Кенэ, около четвертой доли пахотной земли было запущено и заброшено; пространство этих оставленных полей постоянно увеличивалось, так что в 1790 году больше 9 миллионов гектаров удобной земли было превращено в пустыню. Миллионы крестьянских хижин стояли без окон, в целых провинциях народ ходил босиком; во всяком случае, не было никакой обуви, кроме деревянных башмаков. Пища состояла из хлеба, из мучной похлебки и иногда из свиного сала; мясо и вино были почти неизвестны; не следует также обольщаться словом «хлеб»: то, что французский крестьянин называл хлебом, представляло мало сходства с тем, что принято называть хлебом в образованном обществе; крестьянский хлеб относился к цивилизованному хлебу так, как крестьянские patois[1] относились к языку Вольтера и Руссо; в этот так называемый хлеб входили и отруби, и мякина, и каштаны, и желуди, и, в случае надобности, древесная кора. Кто наби-

[1] Собирательное название местных народных диалектов во Франции в противоположность французскому литературному языку. — *Ред.*

вает себе желудок таким хлебом, у того нет ни охоты, ни материальной возможности думать об украшении ума. Грамотность не существовала во французских деревнях; книги или газеты были в них совершенно неизвестны. Проповедь приходского священника заменяла крестьянам все остальные источники просвещения. Но сельское духовенство было почти так же бедно и, вследствие этого, почти так же необразованно, как масса прихожан. Религиозные понятия крестьян представляли самую своеобразную мозаику, составленную из христианских представлений и из остатков друидизма. Пламенная и слепая ненависть крестьян к протестантам представляется главным и почти единственным результатом того влияния, которым сельское духовенство пользовалось в своих приходах. В южной Франции крестьяне благодаря своим пастырям видели в каждом протестанте опасного колдуна, которого следует бить и убивать из любви к богу и для спасения собственной души. О том, что делалось на белом свете, за пределами села или прихода, крестьяне не знали ничего. Поездка на базар в ближайший город считалась путешествием трудным и небезопасным, потому что дороги находились в первобытном состоянии и бродяжничество существовало в самых обширных размерах. Если кому-нибудь из крестьян случалось отправиться в дальний город на заработки или если ему приходилось пойти в солдаты, то он обыкновенно уже не возвращался на родину и не давал о себе никаких известий, так что земляки его нисколько не могли воспользоваться его житейскою опытностью.

При ограниченности своих понятий крестьянин видел в помещике и в его поверенном не только ближайшую, но даже единственную причину того голода и той неблагодарной работы, из которых состояла вся его жизнь. Крестьянин замечал, что помещик приезжает в свой замок только затем, чтобы собрать побольше денег; приезд владельца сопровождался обыкновенно усиленною строгостью в требовании запущенных недоимок. Ни сам владелец, ни его поверенный не отличались мягкостью и любезностью в обращении с простым народом. Экономические интересы обоих классов населения были диаметрально противоположны между собою; случаи мелких столкновений представлялись на каждом шагу; в понятиях, в потребностях и во вкусах не могло быть ничего общего; люди замка смотрели на хижины с презрением, а люди хижин смотрели на замок с ненавистью и со страхом. «Когда крестьянину,— говорит Зибель,— случалось взглянуть на башни господского дома, то любимою мечтою его было когда-нибудь сжечь этот замок, в котором был записан счет его недоимок»,

Провинция Анжу составляла счастливое исключение из общего правила: в этой провинции крестьяне не умирали с голоду, и дворяне не были предметом ненависти для простого народа. Анжуйское дворянство не увлеклось прелестями придворной жизни, не покинуло своих родовых поместий и, вследствие этого, удержало за собою уважение своих поселян. В этой провинции дворяне и крестьяне росли вместе и знали друг друга с детства; фермы переходили от отца к сыну, и помещик, крестивший всех детей у своих фермеров, никогда не решался за неаккуратность в платеже или в исполнении повинностей прогнать с своей земли крестьянина, выросшего на его глазах и не отличавшегося особенно дурным поведением. Помещик жил круглый год в своем замке, сам управлял имением, сам ходил в поле наблюдать за ходом работ, сам вникал в нужды своих фермеров, потому что разоренный фермер был бы плохим плательщиком, сам взыскивал с них за неисправности и сам подавал им пример деятельности. По праздничным дням он вместе с крестьянами ездил на базар и отстаивал своих вассалов, когда их теснили мелкие чиновники. Эта патриархальная простота неизбежно соединялась с патриархальною грубостью, но крестьяне ею не обижались и были очень довольны тем, что на них не наваливают тяжести, превышающей человеческие силы.

Северные провинции королевства (Фландрия, Артуа, Пикардия, Нормандия и Иль-де-Франс) во многих отношениях отличались от других частей Франции; в этих провинциях крестьяне брали земли на аренду по многолетним контрактам и вносили арендную плату не зерном, а деньгами, причем, конечно, сумма арендной платы оставалась не измененною на весь срок контракта. Земля обработывалась тщательно, с знанием дела и с приложением капитала. Урожаи были вдвое лучше, чем в остальных частях государства, и крестьяне, живя безбедно, стояли в умственном отношении гораздо выше своих прочих соотечественников, принадлежавших к тому же сословию. Но число этих сравнительно счастливых и просвещенных земледельцев совершенно исчезало в общей груде непроницаемого невежества и безвыходной нищеты.

V

В городах старой французской монархии господствовала замкнутая денежная аристократия. Городские должности, замещавшиеся во время средних веков посредством выборов, с XVII столетия стали в непосредственную зависимость от воли короля и, подобно многим другим государственным

должностям, были проданы разным богатым людям в потомственное владение. Семейства, в которые таким образом попало наследственное обладание важными должностями, стали во главе городской аристократии. К ним примкнули члены больших финансовых компаний, откупщики косвенных налогов, сборщики прямых податей, важнейшие банкиры и главные акционеры торговых обществ, пользовавшихся различными монополиями. Этот кружок, в который можно было попасть только по рождению или по особому разрешению правительства, с полным самовластием господствовал на биржах и управлял движением капиталов во всей стране. Центром биржевых спекуляций и ареною самого роскошного ажиотажа был Париж. Джон Ло, как известно, на вечные времена обессмертил свое имя тою акционерною горячкою, которую ему удалось возбудить в Париже, и чрез Париж в целой Франции, во время регентства веселого и беззаботного Филиппа Орлеанского. Тысячи колоссальных состояний возникали и исчезали в один день; бумаги переходили из рук в руки с невероятною быстротою; за приливами безграничного восторга следовали припадки панического страха, и хотя дело кончилось тем, что Ло принужден был бежать из Парижа, чтобы не сделаться жертвою разоренных акционеров, однако страсть к биржевой игре не унялась и продолжала по-прежнему отвлекать капиталы от производительного приложения и практические умы — от полезной деятельности. Прелесть игры понимали и король, и министры, и придворные дамы, и дворянство, и духовенство, и парламенты; вечный финансовый дефицит и постоянное возрастание государственного долга наполняли и переполняли биржу бумажными ценностями; членам правительства каждый день представлялась возможность эксплуатировать в свою пользу потребности государства и доверие частных лиц; и члены правительства, отличавшиеся в то время изумительною эластичностью нравственных убеждений, с замечательным искусством пользовались выгодами своего положения. Париж до революции не был фабричным городом, и оптовая торговля его была незначительна, так что все его промышленное движение было основано на мелкой ремесленной деятельности и на крупной биржевой игре.

Для характеристики того времени любопытно заметить, что тогдашние богачи с особенным удовольствием покупали пожизненные ренты, то есть они заранее отнимали у своих наследников капитал, и за то, в течение своей жизни, получали с этого капитала большие проценты. В этом обстоятельстве чувствуется еще раз влияние господствовавшего принципа «après moi le déluge». Тогдашние богачи, подобно

птицам небесным, не собирали в житницы и не заботились о завтрашнем дне, потому что завтрашний день казался им весьма ненадежным.

Торговля и ремесленная деятельность во всем королевстве была подчинена строжайшему цеховому устройству. Генрих III произнес то замечательное суждение, что только король дарует право труда, и эти слова сделались руководящим принципом французского правительства в отношении к ремесленному населению королевства. Заниматься ремеслом позволялось только тому, кто принадлежал к ремесленному цеху; каждый цех управлялся мастерами, которые одни имели право принимать в цех постороннее лицо, а постороннее лицо, поступавшее в цех, подвергалось испытанию со стороны мастеров и, кроме того, должно было платить за свое принятие и государству, и цеху, и мастерам. Выгода мастеров состояла в том, чтобы удерживать за собою и за своими семействами монополию своего ремесла, потому они старались не принимать в цех ни одного постороннего лица, что им и удавалось в большей части случаев. Часто самые статуты цеха ограждали их от всяких пришельцев, определяя положительно, что мастерами могут быть только сыновья мастеров или вторые мужья овдовевших мастериц. Таким образом, столяры, булочники или портные составляли такую же замкнутую аристократию, какую образовали из себя наследственные чиновники, парламентские советники или банкиры. Вся Франция была покрыта громадною сетью различных аристократий, и кому не удавалось родиться в том или другом из этих счастливых кружков, тому почти нечего было делать на земном шаре и почти нечем было отбиваться от голодной смерти. Ему надо было идти в услужение, наниматься в поденщики или отдаваться в безусловное распоряжение мастера, который знал его безвыходное положение и, следовательно, брал его в кабалу на произвольно назначаемых условиях. Мужик, голодавший в деревне, не находил себе облегчения и в городе.

Из всех аристократий, отравлявших жизнь французского пролетария, ремесленная аристократия была, по всей вероятности, самою тяжелою; ее существование связывало простого человека по рукам и по ногам и, кроме того, самым радикальным образом извращало глубочайшие основы народного характера. Пролетарию приходилось чувствовать зависть и ненависть не только к тому, кто был богат и знатен, но и к своему брату-бедняку, если только этот бедняк имел право заниматься такою работою, которая для простого пролетария составляла запрещенный плод. С богатым и знатным пролетарий встречался редко; богатого и знатного он видал издали; напротив того, привилегированного бедняка

он встречал на каждом шагу, и каждая такая встреча растравляла его раны и подогревала его враждебные чувства. Пока пролетарий стоял в тени, до тех пор никто не обращал внимания на его чувства и на весь склад его характера; злоба его была смешна, и страдания его возбуждали только презрение; но когда пролетарий под знаменательным именем *санкюлота,* в свою очередь, сделался важным лицом, тогда всплыли наверх все чувства, посеянные в его душе веками порабощения, тогда систематически искаженный характер его сделался двигателем мировых событий, и тогда историкам пришлось ужасаться перед теми результатами, которые выработала история в своем вековом течении. Пролетарий явился тем, чем сделал его весь средневековой порядок вещей. Превращенный историческими обстоятельствами в голодного волка, пролетарий не обнаружил голубиной кротости, и историки изумились и ужаснулись.

Ремесленная аристократия была, подобно чиновной аристократии, созданием королевского правительства; постоянно нуждаясь в деньгах, короли продавали цеховые привилегии точно так же, как они продавали общественные должности; французские правители в этом случае действовали как покупатели пожизненных рент или вообще как люди, проживающие капитал. Они брали с своего государства большие проценты в настоящем и чрез это готовили в будущем ему и кому-нибудь из своих наследников неизбежную катастрофу.

Различные аристократии, выработанные историческою жизнью или учрежденные волею королей, глубоко сознавали свою взаимную солидарность и ту роковую связь, в которой находились между собою различные камни старого общественного здания. Когда Тюрго в 1776 году уничтожил замкнутые цехи, тогда со всех сторон поднялись яростные вопли: парижский парламент, принцы, пэры, доктора прав объявили в один голос, что все французы, начиная от ступеней трона и кончая беднейшею мастерскою, составляют и всегда должны составлять непрерывную цепь твердо организованных корпораций, которых неприкосновенность совершенно необходима для существования государства и которых разрушение неминуемо повлечет за собою окончательную гибель всего общественного порядка. Против таких предвещаний не мог устоять Людовик XVI; опасный Тюрго потерял министерский портфель, и цехи были восстановлены в прежнем своем величии.

Фабричная промышленность со времен Кольбера пользовалась постоянным покровительством и находилась под постоянною опекою центральной власти. До Кольбера Франция не производила ни тонкого сукна, ни шелковых материй,

ни стеклянных изделий, ни мыла, ни дегтя; фабричное производство почти не существовало, так что Кольберу пришлось выписать мастеровых из Германии, из Швеции и из Италии. Чтобы эти иноземные семена принялись на французской почве, Кольбер взял на себя труд обеспечивать сбыт фабрикуемых товаров и защищать новорожденные фабрики от иностранной конкуренции; все товары должны были производиться по назначенным образцам; заграничные товары подвергались огромным пошлинам; отступление от назначенных образцов влекло за собою денежные штрафы, сожжение изготовленных товаров незаконной формы и часто позорные наказания провинившегося фабриканта. Технические усовершенствования сделались невозможными, потому что изобретательность считалась уголовным преступлением. При таких условиях все развитие мануфактурной промышленности приняло искусственное и чисто аристократическое направление. При Кольбере фабрикациею шерстяных тканей занимались 60 400 работников, а выделкою кружева — 17 300 человек. Таким образом, на 100 работников, приготовлявших необходимые вещи, приходится больше 20 человек, удовлетворявших требованиям роскоши. Через сто лет после Кольбера мы встречаем факт, гораздо более любопытный: оказывается, что фабрикация мыла приносила в год 18 миллионов дохода, а производство пудры доставляло до 24 миллионов. Если, как мы видим из этих цифр, французский пролетарий никогда в жизни не имел в руках куска мыла, то уже по одному этому факту можно составить себе понятие об общей высоте его эстетического развития. Обстоятельства принуждали его быть грязным циником, и этот грязный цинизм в свое время дал себя знать всему французскому обществу и всей феодальной Европе. Если бы французский пролетарий мог умываться, как следует порядочному человеку, то, наверное, не было бы ни террора 1793 года, ни завоевательных шалостей великого Наполеона.

Это может показаться парадоксом и неуместною шуткою, но стоит повнимательнее взглянуть на дело, чтобы убедиться в том, что тут парадоксальна только внешняя форма выражения. А шутки тут и в виду не имеется. Кто сколько-нибудь имеет понятие о смысле событий, совершающихся во всемирной истории, тот знает, что каждый голодный день пролетария, каждая прореха на его рубище, каждая болячка на его истомленном теле составляют общественные явления колоссальной важности и ведут за собою такие последствия, которых «ни в сказке сказать, ни пером написать». Покровительствуя фабричной промышленности, французское правительство стесняло развитие земледелия. Высокие таможенные пошлины возвышали цену на земледельческие орудия и, сле-

довательно, принуждали массу крестьян работать плохими и неудобными инструментами. Сверх того, правительство, желая искусственными средствами поддерживать в стране дешевые цены на хлеб для того, чтобы городские работники не терпели недостатка в продовольствии, запрещало вывоз земледельческого продукта за границу. Хлеб был действительно дешев вследствие этих распоряжений, но сельское хозяйство не имело возможности совершенствоваться, количество производимого хлеба не увеличивалось, и, следовательно, в общей массе народного богатства не замечалось никакого приращения. Хлеб был дешев, но труд был еще дешевле, так что рабочий человек все-таки продолжал нуждаться в насущном пропитании. За год до революции, в 1788 году, городской работник получал в день около 26 су, а работница — около 15-ти; в 1853 году городской работник получал не менее 42 су, а работница не менее 26-ти. В деревне рабочий день в 1788 году стоил 15 су, а в 1853 году он возвысился до 25 су. До революции было в году по крайней мере тридцатью праздничными днями больше, чем в настоящее время. Если мы примем в соображение это обстоятельство, то мы увидим, что фабричный работник старого времени получал в год около 350 ливров, между тем как теперь такой же работник добывает до 630 франков (1 франк = 1 ливру). Годовой заработок сельского поденщика составлял до революции около 160 ливров, а в наше время он доходит до 300 франков. Фунт печеного хлеба до 1789 года, при всех усилиях правительства понизить его цену искусственными средствами, стоил в самое дешевое время 3 су; такая цена держалась только в Париже благодаря особенным стараниям правительства и городских властей, а в провинциях хлеб обыкновенно стоил дороже; в нынешнем столетии, с 1820 по 1840 год, средняя цена печеного хлеба была 17 сантимов за фунт, что равняется 3 су; а в 1851 году фунт печеного хлеба стоил в Париже 14 сантимов, то есть 2 су. Печеный хлеб в наше время, таким образом, оказывается дешевле, чем в прошлом столетии, а между тем пшеница повысилась в цене. Около 1780 года гектолитр пшеницы стоил от 12 до 13 франков, а около 1840 года он стоил от 19 до 20 франков.

Понижение цены на печеный хлеб при возвышении цен зернового хлеба объясняется тем, что превращение зерна в муку и муки в хлеб испытало в новейшее время очень значительные усовершенствования; теперь определенное количество зернового хлеба дает почти в полтора раза больше печеного хлеба, чем сколько оно давало в прошлом столетии. То количество питательного вещества, которое тогда терялось вследствие несовершенства снарядов и неискусства рабочих рук, теперь сохраняется и приносит непосредственную

пользу. Можно сказать без преувеличения, что такого рода усовершенствование обогатило страну сильнее, чем могло бы обогатить ее открытие неисчерпаемой золотой руды; но такие усовершенствования возможны только тогда и там, где и когда личная изобретательность и промышленная деятельность развиваются в массах вместе с сознанием собственного достоинства. Полезные изобретения не возникают среди подавленного и притупленного народа, или если им даже случается возникнуть, то они не прививаются к обыденной жизни и не приносят существенной пользы.

Сопоставляя цифры заработной платы с цифрами хлебных цен, мы видим, что теперешний работник может купить почти вдвое больше хлеба, чем мог купить работник времен Людовика XVI. Точно такой же результат получился бы, если бы стали рассматривать цены других съестных припасов; в отношении к одежде перевес настоящего времени над прошедшим оказался бы еще значительнее, потому что в фабрикации тканей произведено в последнее полустолетие больше усовершенствований, чем в какой-либо другой отрасли промышленности. До революции Франция во всех отношениях была гораздо беднее, чем теперь, а правительство ее было гораздо расточительнее, чем все правительства, сменившие друг друга в этой стране в течение первой половины нынешнего столетия. В отношении к торговле Франция, по вывозу и ввозу товаров, была в прошлом столетии вдвое беднее, в отношении к сельскому хозяйству — втрое беднее, в отношении к фабричному и ремесленному производству — вчетверо беднее, чем в настоящее время. Соображая эти обстоятельства, Зибель выводит заключение, что бюджет в 500 миллионов составлял для страны в XVIII столетии такую тяжесть, какую теперь составил бы бюджет в 1400 миллионов. Финансовый дефицит должен измеряться таким же масштабом. Сто миллионов дефицита в старой монархии равняются 300 миллионов дефицита нашего времени. Встречаясь с таким ежегодным дефицитом, правительство поневоле должно было прийти в недоумение. Государственная машина отказывалась служить, и потому поневоле надо было приняться за пересмотр ее целого состава и всех отдельных частей.

VI

За четыре года до революции, в 1785 году, французское правительство собирало с своих подданных прямыми и косвенными налогами на текущие государственные расходы 558 миллионов ливров. Кроме того, на местные управления провинций собиралось 41 миллион; эта сумма расходовалась

на тех местах, на которых она взималась, и не поступала в государственное казначейство. Далее, церковь, содержавшая себя до революции совершенно независимо от общего бюджета, получала 133 миллиона десятинной подати и 16 миллионов разных других сборов. В пользу судебного сословия собиралось 29 миллионов; землевладельцы, имевшие право устроивать в своих землях заставы, собирали на этих заставах $2^{1}/_{2}$ миллиона; каждая торговая сделка, совершавшаяся в поместье, приносила землевладельцу определенную пошлину, и сумма всех этих пошлин, на всем пространстве королевства, доходила в течение года до 37 миллионов. Изобретательные рыцари и остроумное их потомство располагали еще множеством других замысловатых способов эксплуатации. Все эти способы были дозволены законом или по крайней мере освящены обычаем; каждый из них имел за себя неисчерпаемое количество юридических и исторических аргументов, из которых самым древним и, однако же, самым свежим по своей убедительности был факт, или было право,— называйте как хотите,— вооруженного насилия. Все эти способы с блестящим успехом прилагались к жизни французского народа до 1789 года. Вследствие этого в общем результате оказывалось, что, кроме 600 миллионов, поступавших в государственное казначейство и в различные провинциальные управления, французский народ платил в разные стороны, разным почтенным людям до 280 миллионов. Итого получается 880 миллионов, что, по масштабу, представленному в конце предыдущей главы, равняется, для настоящего времени, сумме в 2400 миллионов. При этом не мешает заметить, что правительство Людовика-Филиппа никогда не издерживало в год больше 1500 миллионов и что, несмотря на то, оппозиция в палате депутатов и самостоятельная политическая пресса постоянно твердили министерству, вплоть до февраля 1848 года, о необходимости убавить расходы и сложить с народа часть налогов.

Старый порядок в финансовом отношении был для народа с лишком в полтора раза тяжелее администрации Июльской монархии, не говоря уже о том, что этот старый порядок парализировал все производительные силы народа сетью привилегий, монополий и запрещений. Для народа вовсе не составляло облегчения то обстоятельство, что только две трети собираемых с него денег шли на издержки правительства; народу было бы легче платить правительству все 880 миллионов, и зато избавиться раз навсегда от всех внутренних застав, десятин, пошлин за продажу и покупку и от всех изобретений остроумного рыцарства. Народ понимал это, и потому неудовольствие его направлялось преимущественно не на центральное правительство, а на привилеги-

рованные сословия. Народ чувствовал, что его постоянно приносят в жертву привилегированным классам, как при распределении налогов, так и при расходовании государственных сумм. Во-первых, целая треть платимых повинностей (280 миллионов) прямым путем переходила из рук работающего пролетария в руки веселящегося аристократа. Во-вторых, аристократы платили сполна только косвенные налоги, падающие на предметы потребления; от остальных налогов их избавляло или сословное преимущество, или занимаемая должность, или какая-нибудь другая основательная причина, которую пролетарий никак не мог привести в свою пользу. В отношении к аристократу всякий сборщик податей мог быть только смиренным просителем, а в отношении к пролетарию та же особа была начальством, которое приходилось умилостивлять посильными и непосильными жертвоприношениями. Сборщик податей или откупщик косвенных налогов в старой Франции наживал себе обыкновенно значительное состояние, а так как все эти состояния получались все-таки из трудовых денег народа, то легко сообразить, что, кроме 880 миллионов, французский народ платил еще ежегодно разными негласными путями довольно значительные суммы, которых величину нельзя определить даже круглыми цифрами. Эти сборщики и откупщики обыкновенно давали правительству взаймы значительные суммы в счет доходов будущих лет; забирая таким образом свои доходы вперед, правительство платило за них большие проценты, так что сборщики и откупщики, служившие посредниками между народом и казначейством, тянули деньги и из народа и из казначейства, разоряли по мере сил обе стороны и доводили свое собственное благосостояние до самых почтенных размеров. Отношения между казначейством и сборщиками были до такой степени сложны, что, например, в бюджете 1785 года ставятся на счет долги за 1781 год и суммы, забранные вперед за 1787 год. По всем этим счетам подводится итог в 850 миллионов, а чистых денег оказывается в казначействе 327 миллионов. Я не берусь объяснить читателю, из каких именно элементов состоит общий итог в 850 миллионов; этого не объясняет и Зибель, и вообще вопрос этот имеет интерес очень специальный; привожу я эту цифру только для того, чтобы показать, как запутаны были расчеты между казначейством и его ближайшими агентами; вся эта запутанность, конечно, обращалась в пользу сборщиков, которых усилия постоянно направлялись к той общей цели, чтобы народ платил как можно больше, а казначейство получало как можно меньше.

Насколько хороша была система собирания доходов, настолько же сообразно с общественною пользою было расхо-

дование собранных денег. На содержание двора полагалось по бюджету 35 миллионов, но тратилось до сорока, и в эту сумму не входили расходы на королевские охоты и путешествия, на жалованье высших придворных чиновников и на ремонт королевских замков. Военное министерство по бюджету должно было получать 114 миллионов, а получало 131 миллион; из этих денег 39 миллионов расходовалось на административную часть, 44 миллиона — на содержание солдат и 46 миллионов — на жалованье офицерам. В совершенной независимости от соображений министра находились личные распоряжения короля, израсходовавшего в 1785 году 136 миллионов на «подарки придворным, министру финансов и парламентским советникам, на уплату посторонних займов, на проценты и учеты чиновникам казначейства, на отпущение разных личных повинностей и на непредвиденные издержки всякого рода». В этом же году на мосты и дороги истрачено 4 миллиона, на общественные здания меньше 2-х миллионов и на ученые и учебные заведения с небольшим 1 миллион. В тридцатых годах нынешнего столетия на эти предметы тратилось ежегодно по 59 миллионов, то есть с лишком в восемь раз больше, чем в 1785 году. Больницы и воспитательные дома получали в 1785 году 6 миллионов от государства, 6 миллионов от церкви и 24 миллиона собственных доходов; в современной Франции благотворительные заведения получают в год до 119 миллионов.

Из всего этого видно, что старая монархия сохраняла неизменную верность своему феодальному происхождению; каковы бы ни были внутренние противоречия между отдельными ее учреждениями, но все они с непобедимою силою стремились к тому, чтобы разорить массу и обогатить то меньшинство, для которого существовала вся государственная машина. Но когда эта цель была достигнута, когда масса была разорена до последней крайности, тогда стали с ужасающею быстротою исчезать самые источники доходов. Начались огромные недоимки; пришлось делать займы, платить большие проценты, увеличивать платежом процентов дефицит, а потом замазывать дефицит новым займом, требовавшим нового платежа процентов. Долг увеличивался вместе с дефицитом, а кредит уменьшался вместе с производительною силою страны. Министры предпринимали разные финансовые операции, но так как нет такой финансовой операции, которая из франка могла бы сделать луидор или взять что-нибудь с крестьянина, не имеющего ровно ничего, то все глубокомыслие министров оказывалось бессильным перед сокрушительными цифрами долгов и ежегодных дефицитов. Все царствование Людовика XVI состоит из длинного ряда разнообразных попыток выпутаться из отчаянного положения финансов.

Из всех советников Людовика XVI один Тюрго понял вполне, что финансовую болезнь нельзя лечить финансовыми мерами, что необходимо увеличить производительную деятельность народа и что причины, парализирующие эту деятельность, заключаются в самых основаниях феодального государства. Распоряжения Тюрго посыпались на все отрасли народной жизни. Он разрешил вывоз хлеба за границу и снял с крестьян дорожные повинности; он уничтожил цехи и основал кредитное учреждение, под названием учетной кассы; он изменил податную систему и стал подготовлять всех собственников государства к участию в политических правах; он хотел произвести сверху и постепенно те реформы, которые революционные собрания произвели снизу и мгновенно; но постепенность Тюрго показалась всем привилегированным классам бурною и сумасбродною заносчивостью. Брат короля, граф Карл Артуа, тот самый, по милости которого старшая линия Бурбонов в 1830 году была окончательно лишена французского престола, стал во главе недовольных, а недовольны распоряжениями Тюрго были и двор, и вся аристократия, и духовенство, и парламенты, и цеховые мастера, и все, кроме крестьян и пролетариев, которые в то время еще не имели своего суждения в государственных вопросах. Карл и придворные стали действовать на короля ежедневными воздыханиями о гибельных преобразованиях неосторожного министра, а другие недовольные аристократы в это время стали волновать народ, чтобы показать королю, насколько деятельность Тюрго противна желаниям нации и опасна для общественного спокойствия. Народ, по своей безграничной наивности, действительно стал шуметь на улицах Парижа в пользу тех самых привилегий, которые морили его голодом. Людовику надоела вся эта тревога, и министерство Тюрго продержалось всего полтора года; как только Тюрго вышел в отставку, так воцарилась старая система управления во всем своем блеске и во всей своей величественной неподвижности. Неккер стал поправлять финансы займами, Калонн стал поощрять своими советами придворную роскошь, говоря, что только роскошь поддерживает кредит, а что кредит необходим для существования государства. Неккер, во время своего первого министерства, занял в разных местах до 50 миллионов и наконец стал в тупик. Калонн убедился собственным опытом, что всякий кредит имеет границы. В 1787 году он увидел перед собою дефицит в 198 миллионов, что составляет, по масштабу нашего времени, почти 600 миллионов. Покрыть этот дефицит было необходимо, а покрыть было нечем; увеличить подати не было никакой возможности; кредит был истощен дочиста. Тогда Калонн вдруг переменил политику и пошел по следам Тюрго;

начался опять скрежет зубов; против короля и против министерства зашумели придворные, провинциальные дворяне, сборщики податей, суды, полицейские чиновники, общинные советы и цеховые мастера.

В ряды оппозиции попали, как мы видим, такие лица, которые во всяком благоустроенном государстве имеют значение только как послушные орудия центральной власти. Государство видимо разлагалось, потому что перестало удовлетворять существенным потребностям общества и во всех частях своих оказалось несостоятельным перед судом общественного мнения. Общественное мнение было в то время уже так сильно, что к нему, как к высшей апелляционной инстанции, обратились за разрешением своего спора, с одной стороны, министерство, поневоле ударившееся в прогресс, с другой стороны, аристократическая оппозиция, ухватившаяся за старину со всею страстью инстинктивного самосохранения и с полным сознанием своего векового права. Само министерство освободило прессу для того, чтобы она заклеймила в глазах целой нации упорных защитников привилегий и феодального быта. Парижский парламент, защищавший, подобно цеховым юристам всех веков и народов, формальную легальность аристократических притязаний, потребовал с своей стороны, в пику министерству, чтобы собраны были государственные чины (États généraux), которых Франция не видала в продолжение двух столетий. Собрание аристократических нотаблей *, попытавших произвести реформы, не осилило этого дела и повторило требование Парижского парламента. Между тем Калонна заменил уже Бриенн, а Бриенна — Неккер, но от этой перемены лиц не переменилось положение финансов, и Неккер, с удовольствием изображая собою либерального и просвещенного министра, ввел французское королевство в новую эпоху его существования: государственные чины были созваны к 27 апреля 1789 года.

VII

Приступая к изложению событий, совершившихся во Франции от 1789 до 1795 года, я заранее должен предупредить читателя, что он не найдет у меня описания тех сцен, величественных или ужасных, которые происходили в это тревожное время на площадях, на улицах или в залах национальных собраний. Чтобы изобразить эти сцены, надо, во-первых, обладать таким художественным талантом, которого я в себе не чувствую; а во-вторых, надо написать очень большую книгу, что совершенно неудобно по многим причинам. На этом основании я постараюсь, по возможности,

совершенно уклониться от рисования исторических картин, а в начале моей статьи я уже обещал читателю уклоняться от биографических подробностей и от судебных приговоров над личностями и событиями. Стало быть, мне остается только следить за главными фазами того общественного движения, о котором мы говорим; мне остается выводить одну фазу из другой, показывать, почему движение приняло одно направление, а не другое, рассматривать общие причины, скрывающиеся за личностями выступающих деятелей и придающие этим личностям всю их действительную силу; я желал бы представить читателю не ряд картин из рассматриваемой нами исторической эпохи, а ландкарту, по которой он мог бы познакомиться с местными условиями, вызвавшими переворот и сообщавшими ему импульс и направление. Такую ландкарту или такой анатомический рисунок можно было бы считать излишним, если бы читающая часть нашего общества обладала большим запасом продуманных и осмысленных исторических сведений; но так как, по правде сказать, подобных сведений у нас не имеется ни в большом, ни в малом количестве, то я позволяю себе думать, что моя статья не будет совершенно бесполезна, и постараюсь устроить так, чтобы эту ландкарту особого устройства можно было рассматривать, не проклиная составителя за сухость изложения. Теперь мы можем обратиться к собранию государственных чинов.

Собрание государственных чинов или сословий состояло в старой Франции из представителей дворянства, духовенства и третьего сословия (tiers-état), или городских общин. Это собрание созывалось королем в тех экстраординарных случаях, когда центральная власть нуждалась в поддержке общественного мнения и без этой поддержки не решалась требовать от нации каких-нибудь необыкновенных пожертвований или чрезвычайных усилий. При ближайших предшественниках Людовика XVI государственные чины не созывались ни разу, потому что Людовик XIV и Людовик XV хозяйничали в своем королевстве совершенно бесцеремонно и находили, что никакое пожертвование нации не может быть необыкновенным и никакое усилие не может быть чрезвычайным.

Когда государственные чины созывались в былое время, тогда они рассуждали о предлагавшихся вопросах в трех отдельных палатах; сообразно с духом всех средневековых учреждений, сословия оставались разъединенными даже тогда, когда обсуживали дела, относящиеся к интересам всего государства. В 1789 году сословия созывались затем, чтобы спасти государство от банкротства; спасти государство можно было только самыми обширными реформами, и именно таких реформ ожидала от собрания вся здоровая часть об-

щественного мнения; на собрание это смотрела вся Франция; от него целый народ, в буквальном смысле этого слова, ждал хлеба насущного, то есть избавления от тех феодальных учреждений, которые разоряли земледельца и ремесленника, парализируя их производительный труд. Желания правительства в этом случае не могли расходиться с желаниями народа; правительству были необходимы реформы, потому что без реформ нельзя было выпутаться из долгов; без реформ не на что было жить и невозможно было управлять. Реформы не нравились только духовенству, дворянству, парламентам, цеховым мастерам, то есть тем людям, которых питали и грели монополии и все средневековые порядки; только с их стороны можно было ожидать оппозиции; эта оппозиция могла производить много шума в зале Тюльерийского дворца или в аристократическом салоне, но в общем голосе народа она совершенно терялась и переходила в едва заметный ропот, которому нельзя было придавать никакого серьезного значения. Эта оппозиция только в том случае могла бы сделаться препятствием в деле преобразований, когда бы она получила в собрании свой отдельный орган. Если бы государственные чины, по старому обычаю, открыли свои заседания по сословиям, в трех отдельных палатах, тогда можно было бы предвидеть, что все предложения и решения третьего сословия будут задерживаться, искажаться или отвергаться духовенством и дворянством. Следовательно, на первом плане стоял вопрос: как будут заседать государственные чины? В одном ли общем национальном собрании или в трех отдельных палатах? Нельзя сказать, чтобы с этим вопросом была связана судьба ожидаемых преобразований; преобразования эти были уже неизбежны, потому что их необходимость сознавалась и чувствовалась всею нациею; их не могли уже ни отсрочить, ни исказить никакие дебаты и никакие отрицательные результаты в подаче голосов. Но оставалось узнать, как произойдут реформы? Путем ли мирных прений и легальных постановлений собрания или как-нибудь совсем иначе, без всякой легальности и без малейшего благообразия?

Можно было предвидеть, что система трех палат наделает народу и правительству много хлопот и что при этой системе мудрено будет удержаться на путях добродетели и легальности. Общественное мнение безусловно отвергало эту систему, но правительство, от которого зависело решение капитального вопроса, церемонилось с аристократиею и, созывая государственные чины, не сказало ничего о том, как будут происходить их совещания. Оно определило только, что третье сословие выставит вдвое больше представителей, чем выставляло два столетия тому назад. Это нововведение

могло быть чрезвычайно важно в случае общего собрания, потому что тогда оно упрочивало за третьим сословием решительный перевес в числе голосов; но, при системе трех палат, двойное число представителей не имело никакого значения, и третье сословие оставалось совершенно бессильным в борьбе с легальною оппозициею духовенства и дворянства.

5 мая 1789 года король открыл в Версале заседание государственных чинов; он произнес речь; после него заговорил хранитель большой печати Барантен и наконец министр финансов Неккер; во всех этих речах было много добродушия, много благих желаний и еще больше внушительных советов, но о важнейшем вопросе, о том, как заседать государственным чинам, не сказано ни слова. Неккер говорил три часа и отличился тем, что торжественно солгал перед представителями нации насчет положения финансов: он показал годовой дефицит в 56 миллионов, между тем как со времени собрания нотаблей общество постоянно слышало о дефиците в 120 или в 140 миллионов. Ложь Неккера дала ему возможность сказать, что король созвал государственные чины не потому, что он нуждается в их содействии, а потому, что он хочет оказать нации всякую милость. Ложь Неккера и молчание о существенном вопросе выходили из одного общего источника — из двусмысленного и нерешительного отношения правительства к нации вообще и к представителям ее в особенности. Правительство нуждалось в деньгах и, следовательно, в реформах, и, следовательно, в том собрании, при содействии которого возможно было произвести реформы; но если, с одной стороны, оно нуждалось в том собрании, то, с другой стороны, оно еще больше боялось его. Хорошо, если собрание придумает такие реформы, которые дадут много денег, и затем оставит все в должном порядке; а что, если оно заговорит о таких реформах, которые с должным порядком совсем не уживаются? Что тогда делать с этим собранием, на которое смотрит вся Франция? И где остановятся его реформаторские подвиги? И что оно считает должным порядком? И что, если его должный порядок совсем не похож на настоящий должный порядок? Все это были такие вопросы, которые не могли не прийти в голову советникам короны; и людям, находящимся в их положении, над этими вопросами очень стоило задуматься. Они действительно задумались, и в этой задумчивости захватил их день, назначенный для открытия заседаний. Они явились перед представителями нации, не решивши в уме своем, где заключается для них настоящая опасность — в финансовом дефиците или в ожидаемом всемогуществе созванного собрания. Когда Неккер сидел перед пустою кассою и перед печальными итогами предстоящих расходов, тогда он думал, что собрание лучше

дефицита; когда он увидел себя лицом к лицу с собранием в 1200 человек и когда он услышал, какими криками восторга встречает и провожает народ представителей третьего сословия, тогда он, наверное, подумал, что уж лучше жить с дефицитом, чем с собранием.— Думал или не думал Неккер таким образом, об этом история молчит, но достоверно известно то, что правительство Людовика XVI при самых первых сношениях своих с государственными чинами начало бояться могущества собрания, совершенно упуская из виду, что именно это могущество необходимо для короля и для его министров, как единственное средство произвести реформы и реформами поправить отчаянное положение финансов.

Выслушав назидательные речи и не найдя в них ожидаемого решения, сословия стали решать основной вопрос силами собственных умов; три недели продолжались между ними переговоры о том, как поверять выборы; переговоры эти ни к чему не повели. Неккер попробовал явиться посредником между высшими сословиями, настаивавшими на отдельной поверке выборов, и депутатами общин, не допускавшими ничего такого, что могло бы привести к утверждению трехпалатной системы. Но посредничество Неккера осталось безуспешным; дворянство объявило решительно, что оно само проверило свои выборы и уже образовало из себя отдельную палату. Увидев бесполезность переговоров, третье сословие, избегавшее до той минуты окончательного разрыва с бытовыми формами прошедшего, сделало с своей стороны смелый шаг вперед. К 14 июня оно окончило у себя проверку выборов, и в тот же день начались в его палате рассуждения о том, под каким именем оно приступит к своей деятельности. Назвать себя представителями третьего сословия было вполне легально, потому что так всегда делалось в старой Франции, но поступить таким образом значило бы отдать интересы народа в руки дворянства и духовенства; это значило бы подвергнуть всю Францию страшному разочарованию и поднять такую бурю народного гнева, против которой не устояло бы ни собрание государственных сословий, ни верховное правительство. Об этом нечего было и думать; большинство депутатов всеми силами души ненавидело старый порядок, а те немногие единицы, которые чувствовали робкое желание щадить остатки прошедшего, не имели в собрании никакого веса и боялись обнаруживать свои тайные влечения. Мирабо предложил, чтобы депутаты третьего сословия назвали себя представителями народа в Национальном собрании; эта формула давала чувствовать, что депутаты третьего сословия не составляют собою полного национального собрания, но, во всяком случае, служат представителями самой многочисленной и самой важной части нации. Сийес пошел

дальше: он предложил, чтобы третье сословие просто и прямо объявило себя Национальным собранием. 17-го числа это предложение было принято, и депутаты духовенства и дворянства, вследствие решения третьего сословия, оказались просто отсутствующими членами Национального собрания. Они могли отсутствовать, сколько им было угодно; никто не интересовался знать причины их отсутствия, и никто не считал этого отсутствия препятствием для начала работ.

Если мы примем в соображение, что Мирабо был неизмеримо красноречивее Сийеса и что французы всегда были способны подкупаться красноречием, то победа Сийеса должна показаться нам фактом очень выразительным. Сийес победил именно потому, что предложение его было смелее и крайнее всех остальных. По этому предложению третье сословие не только утверждало свое преобладание над остальными сословиями, но оно решительно поглощало их в себе и, в сознании своего полновластия, объявляло, что будет игнорировать все те элементы, которые осмелятся присвоивать себе отдельное существование. Не мешает при этом заметить, что это первое собрание, известное в истории под именем Учредительного[1] (assemblée constituante), было самым умеренным и консервативным из всех революционных собраний; кроме того, оно было созвано всего шесть недель тому назад; оно еще не знало, как велико его могущество и влияние на народ, члены его были мало знакомы между собою; обаяние королевской власти было еще сильно; Бастилия напоминала еще о необходимости быть осторожным, и, несмотря на все это, предложение Сийеса было принято с восторгом единственно потому, что оно соответствовало простым требованиям разума и противоречило старой легальности.

Если мы сообразим все эти обстоятельства, то из одного этого факта, встречающегося нам на самом пороге французской революции, будем в состоянии понять, какие неистощимые запасы пламенного, бесстрашного и беспощадного отрицания накопились в сознании и в чувстве всего французского народа во время долгих веков безгласности и страдания. Народ не оставался в бездействии в то время, когда сословия вели между собою переговоры; газеты, печатные объявления на стенах, речи под открытым небом, на улицах и в садах Пале-Рояля знакомили парижан с событиями дня и скрепляли связь их с представителями третьего сословия; 9-го и 10-го июня в залу заседаний являлись депутации от

[1] Его часто называют по-русски конституционным, но это название, во-первых, ничего не выражает, потому что всякий парламент есть конституционное собрание, а во-вторых, оно и неверно. *Конституционный* по-французски — *constitutionnel*, a *constituant* — тот, кто организует, учреждает, создает конституцию.

различных торговок и благодарили третье сословие за то, что оно поддерживает «les intérêts du peuple»[1]. А третье сословие соображало, что если безо всякой надобности являются десятки торговок, то, в случае надобности, могут явиться тысячи работников; конечно, такие соображения не оставались без влияния на ход совещаний и значительно ослабили заслуженный авторитет Бастилии.

Первый декрет Национального собрания, постановленный им в тот самый день, когда оно приняло предложение Сийеса, показывает ясно, какое понятие составляло себе третье сословие о пределах своей власти. Собрание объявило, что все взимавшиеся до сих пор подати незаконны, потому что их установило правительство без согласия нации; к этому решению была прибавлена оговорка, что собрание позволяет продолжать взимание прежних податей только до тех пор, пока представители нации будут заниматься пересмотром государственных учреждений; если же собрание, каким бы то ни было образом, будет распущено, то взимание податей прекратится. Этот декрет был разослан во все провинции, так что распущение собрания действием королевской власти могло отнять у правительства все денежные средства или, в случае собирания налогов вооруженною силою, могло повести за собою междоусобную войну и распадение королевства. Чем наступательнее действовало Национальное собрание, за которым правительство еще не признавало этого титула, тем громче и восторженнее аплодировали посторонние зрители и слушатели, наполнявшие густыми толпами галереи или трибуны в зале заседаний; а чем сильнее шумели галереи, тем смелее чувствовало себя собрание и тем несбыточнее казались всякие печальные размышления о Бастилии.

VIII

Невозможно было ожидать, чтобы храброе французское дворянство отступило без борьбы перед завоевательными тенденциями Национального собрания; негодование дворянства было очень значительно и особенно очень шумно; министры, с своей стороны, находили, что депутаты третьего сословия посягают на достоинство короны, но когда зашла речь о том, как поступать с нарушителями должного порядка, тогда в совете министров обнаружился раскол, и отщепенцем оказался тот самый Неккер, который при открытии собрания, 5-го мая, для соблюдения интересов короны отважно солгал перед депутатами насчет цифры годового дефицита. Теперь

[1] «Интересы народа» *(франц.)*. — *Ред.*

он заговорил иначе. Как министр финансов, удрученный безденежьем, как платонический обожатель английской конституции и, особенно, как большой любитель дешевой популярности, он решился превозмочь в себе антипатию к могуществу Национального собрания и подал королю совет освятить своим королевским словом совершившийся факт, то есть признать существование Национального собрания, и приказать дворянству и духовенству соединиться с депутатами третьего сословия. Неккер был уверен, что Национальное собрание во всяком случае даст правительству много денег и устроит для французской нации очаровательную конституцию с двумя палатами; имея в виду такую привлекательную перспективу, можно было помириться с тем, что на первый раз будет работать только одна палата и что, таким образом, не будет соблюдена та pondération des pouvoirs (уравновешение властей), которая до сих пор составляет для доктринеров всех наций задачу, подобную философскому камню и жизненному эликсиру. Кроме того, Неккер рассудил, что если собрание очень сильно, то с ним тем более не следует ссориться и тем более необходимо уступать ему с приветливою улыбкою такие вещи, которые оно, по своей грубости, способно взять насильно. Но остальные советники короны, официальные и неофициальные, в это время почувствовали особенно живо свое кровное родство со всеми умиравшими привилегиями; уступка третьему сословию казалась им государственною изменою, и король, в котором всегда легко было возбудить сознание долга, убедился в том, что он должен противодействовать распоряжениям новорожденного Национального собрания. Начались приготовления к королевскому заседанию, и 20 июня депутаты третьего сословия, собравшиеся для своих обыкновенных занятий, увидели, что зала их заперта, потому что в ней производились эти приготовления. Они знали по слухам, что королевское заседание будет направлено против их последних распоряжений, и решились заранее обязать себя к самому энергическому сопротивлению. От запертых дверей залы они длинною процессиею отправились по улицам Версаля к пустому дому, служившему для игры в мяч (jeu de paume), и там дали клятву и подписку «не расходиться и не допускать распущения собрания, а собираться там, где потребуют обстоятельства, пока будет составлена и утверждена на прочном основании новая конституция государства». 22 числа депутатов, по распоряжению графа Артуа, не пустили в jeu de paume; тогда они отправились заседать в церковь св. Людовика, и в этот день к ним присоединилось 148 представителей духовенства, так что духовные лица, противившиеся соединению, остались в меньшинстве. 23 числа произошло

королевское заседание. Король обещал самые либеральные реформы; заведование финансами предоставлялось сословиям; обременительные подати отменялись; в юстиции и в военном ведомстве предполагалось произвести преобразования; устроивались провинциальные собрания, уничтожались произвольные аресты и упразднялась цензура. Обсудить все эти вопросы и привести их к окончательному разрешению король предоставлял государственным сословиям. Рассуждения сословий должны были происходить в трех отдельных палатах.

Решительное слово королевской власти было, таким образом, произнесено; Национальному собранию приходилось существовать не только помимо королевской воли, но даже прямо наперекор этой воле. Действие королевской речи обнаружилось немедленно, как только Людовик XVI успел выйти из залы. Когда обер-церемониймейстер, исполняя приказание короля, пригласил депутатов третьего сословия разойтись, тогда Мирабо отвечал на это приглашение короткою, но очень непочтительною речью, которая кончалась так: «Идите, скажите вашему господину, что мы находимся здесь по воле народа и что нас можно сдвинуть отсюда только штыками». Эти слова нарушали и легальность, и этикет, и даже парламентские обычаи, потому что от лица собрания имел право отвечать только президент, а президентом был член трех академий Бальи, которому, конечно, в голову не пришло бы сказать важному придворному чиновнику грубость, целиком сохранившуюся в истории. Но на этом бесчинстве дело не остановилось. Собрание тотчас приняло свои меры для того, чтобы сдвигание штыками, рекомендованное графом Мирабо, сделалось совершенно невозможным или по крайней мере особенно затруднительным. Не выходя из залы, оно, по предложению Барнава, постановило решение, что «личность каждого из депутатов неприкосновенна» и что «всякое лицо, всякая корпорация, суд, административное место или комиссия», которые будут подвергать депутата аресту, следствию или суду за предложения, советы, мнения или речи в собрании государственных сословий, «должны признаваться за людей бесчестных, изменников нации и преступников». Это решение осталось бы мертвою буквою, если бы королевская власть располагала такою преданною военною силою, какая находилась в распоряжении генерала Бонапарте в день 18 брюмера; и это решение было не нужно в том случае, когда собрание было уверено в поддержке народа и даже в сочувствии солдат, которые в это время, по словам Камиля Демулена, все сделались философами. Но, как бы то ни было, это решение, как громогласное выражение собственной храбрости, значительно возвысило энергию всего собрания. Объявив себя неприкосновенным, оно в самом

деле подумало, что ему все поверят на слово и что до него никто не посмеет дотронуться.

Ход событий разбил в течение последующих лет много подобных иллюзий, но Учредительное собрание действительно не потерпело ни малейшей обиды, хотя защищал его, конечно, не декрет о неприкосновенности депутатов. Защищало его преимущественно глубокое расстройство королевской армии; каждый отдельный полк представлял миниатюрный портрет феодального общества; офицеры, назначавшиеся исключительно из дворян, играли роль привилегированных классов, а солдаты изображали бесправную массу народа; между офицерами и солдатами не было никакой связи, — на долю первых выпадали удовольствия жизни и лавры военной славы; вторым доставались только труды службы, палки от начальства, раны от неприятелей и под старость вынужденное нищенство и бродяжничество. Надежды на повышение по службе у солдата не было; привязанности к своему делу у него не могло быть, и ненависть к старому порядку, вследствие этих обстоятельств, была в нем по крайней мере так же сильна, как и во всех других непривилегированных гражданах французского государства. Кроме того, народные ораторы говорили так громко и таким простым языком, что солдат слушал и понимал их речи и приучался смотреть на приближающийся переворот как на единственное спасение от палок, от офицерского высокомерия и от безнадежно тяжелой службы. Чем ближе стоял полк к Парижу, тем менее могло на него положиться ближайшее начальство и королевское правительство. К этому можно прибавить, что даже многие из офицеров, несмотря на свое аристократическое происхождение, были увлечены идеями своего времени и считали вооруженное нападение на граждан совершенно непозволительным преступлением.

Соображая эти обстоятельства, читатель придет, вероятно, к тому заключению, что армия, составленная из подобных элементов, была гораздо опаснее для короля и для его министров, чем для непослушных членов Национального собрания. В Париже народ был неспокоен; его тревожила участь депутатов, и каждый день распространялись самые преувеличенные слухи о намерениях двора и аристократии разогнать представителей третьего сословия и задушить всякую попытку преобразований; считая архиепископа парижского одним из ожесточенных врагов Национального собрания, народ ворвался 25 июня в его дом, и отряд французской гвардии, призванный для усмирения мятежа, отказался действовать против народа. По случаю дороговизны хлеба голодный народ ежедневно производил беспорядки перед булочными, и солдаты постоянно оставались нейтральными, несмотря на приказания и угрозы своих начальников. Аристократическая

партия при дворе не отказывалась, однако, от надежды направить Национальное собрание на путь добродетели и легальности; она убедила короля сделать еще одну энергическую попытку. Решено было — призвать из провинций несколько свежих полков, не успевших еще превратиться в философские школы; назначить главнокомандующим старого маршала Брольи, которого подвиги во время Семилетней войны должны были наполнять сердца солдат похвальными чувствами, несовместными с философиею; уволить от службы Неккера за его любовь к популярности; составить министерство из элементов строго консервативных; и, наконец, поговорить тогда внушительным образом с версальским собранием и с парижскими демагогами.

Все это было приведено в исполнение, за исключением последней статьи: поговорить внушительным образом не удалось ни в Версале, ни в Париже, потому что как только парижане узнали 12 июля об отставке Неккера и трех других министров, так они тотчас сами начали разговор; в тот же день тысячи ремесленников разграбили несколько оружейных лавок и сожгли таможенные дома у городских застав; войска почти везде отказались сражаться против народа; начальники принуждены были выйти с ними из города и поставить их на Марсовом поле для того, чтобы они по крайней мере не перешли на сторону возмутившихся граждан.

13 июля весь Париж был во власти инсургентов, и, для обеспечения частной собственности, в этот же день была организована национальная гвардия, в которую, кроме горожан, поступили сотни солдат французской гвардии, решительно отложившихся от своих начальников и объявивших себя открыто друзьями народа и врагами старого порядка. Ратушу заняли избиратели третьего сословия, которые уже с первых чисел мая постоянно собирались для совещаний об общественных делах. Они сменили городовые власти, назначенные самим королем, и сами составили городовой совет и комитет безопасности, который тотчас деятельно занялся вооружением и организованием национальной гвардии. Между тем движение в городе продолжалось и усиливалось; 14 июля народ взял Инвалидный дом, нашел в нем 20 пушек и 28000 ружей и, усиливши этою находкою свое вооружение, пошел на Бастилию. Она была взята приступом, комендант и офицеры перебиты, а солдаты гарнизона спасены с большим трудом отрядом французской гвардии, действовавшей заодно с инсургентами. 15-го король явился в Национальное собрание, сказал, что войска отозваны из Парижа, обещал тотчас пригласить Неккера в министерство и просил представителей нации успокоить волнение в столице. 16-го депутация от Национального собрания отправилась

в Париж, была принята с восторгом и передала гражданам намерения короля; парижане так воодушевились, что тотчас, без всяких формальностей, в один голос назначили президента Национального собрания Бальи своим мэром, а генерала Лафайета — начальником национальной гвардии *. В ночь с 16-го на 17-е число цвет аристократической партии, под предводительством графа Артуа и принца Конде, отправился за границу, подавая, таким образом, первый сигнал к открытию длинного ряда эмиграций. 17 июля король причастился святых тайн, сделал свое завещание и поехал в Париж, под покровительством Бальи и других популярных депутатов. Поездка обошлась благополучно; между королем и парижанами состоялось полное примирение, но верховная власть оказалась для короля безвозвратно потерянною. Она перешла в руки Национального собрания, которое, однако, в значительной степени должно было разделить ее с городовым управлением Парижа и с национальною гвардиею.

Парижские события отозвались с изумительною быстротою и с неотразимою силою во всех концах французского королевства. В течение нескольких дней исчезло с лица земли все, что поддерживало старое государство. Во всех провинциях без исключения поднялись сословия, городовые магистраты, горожане, крестьяне, пролетарии, все, кто мог найти себе в революции средство воротить старое право, завоевать новое, или освободиться от обременительной повинности, или просто выместить зло на богатых и знатных баловнях разрушавшегося порядка вещей. В Бретани все города назначили себе новые муниципалитеты и из королевских арсеналов взяли оружие для национальной гвардии. В Кане народ взял приступом цитадель и разорил дом ведомства соляного налога. Королевские интенданты не показывались нигде; парламенты не подавали признака существования; о низших судилищах не было ни слуха, ни духа; все, что при старом порядке имело официальный сан и величественную походку, старалось теперь скрыться от глаз толпы и навсегда изгладить в ее уме воспоминание о своем недавнем могуществе. Старый суд, старая полиция, старое управление — все исчезло; во всех городах образовались, для ограждения личной и имущественной безопасности граждан, постоянные комитеты, которые, при помощи национальной гвардии, формировавшейся и вооружавшейся везде чрезвычайно быстро, старались и часто успевали предупреждать грабежи, убийства и разные другие быстрые проявления народной расправы. Национальная гвардия вооружалась всяким оружием, какое попадалось под руку; ружья, пики, кинжалы, сабли — все шло в дело; так как столкновение с войском было невозможно, потому что войско отказалось дей-

ствовать против граждан, то национальная гвардия своим солидным видом должна была только укрощать излишнюю пылкость пламенных патриотов, а для этой цели ее пестрое вооружение было совершенно достаточно. Конечно, деятельность комитетов и национальной гвардии не могла оградить вполне безопасность граждан; где народу попадался сборщик податей, таможенный чиновник, нелюбимый судья или офицер с аристократическими понятиями, там происходило насилие и убийство; во многих городах народ повесил несколько купцов, в полной уверенности, что они производят искусственную дороговизну хлеба. Все это было очень нелепо, несправедливо и безобразно; но благоразумия, справедливости или изящества мог ожидать или требовать от тогдашнего французского народа только тот, кто не имел понятия о средневековой истории Франции и о том внутреннем положении, в каком застала ее революция 1789 года. Если бы невежество, нищета и угнетение действовали на человека только в ту минуту, когда он их испытывает, тогда они приносили бы нашей породе только незначительную долю того зла, которое приносят на самом деле. В том-то и беда, что невежество, нищета и угнетение отравляют не только настоящее, но и далекое будущее. Они не только причиняют человеку страдание, но они этими страданиями уродуют его ум и характер: когда устранены обстоятельства, мешавшие развитию просвещения, когда уничтожены учреждения, стеснявшие труд и разорявшие работника, когда человеку даны человеческие права, тогда сделано великое и прекрасное дело, но все-таки было бы совершенно неблагоразумно ожидать, что тогда все родители с кроткою радостью пошлют детей своих в школы, что все лежебоки тотчас примутся за работу, что все пьяницы проникнутся отвращением к кабаку и любовью к отечеству и к аккуратности, что, наконец, все люди, не знавшие до той минуты никаких прав, в одно мгновение поймут, что у них есть свои права и что, следовательно, они должны уважать права своего соседа. Таких благодетельных превращений не производит никакая реформа, как бы она хорошо ни была задумана и с какою бы осторожною мудростью она ни вводилась в жизнь. Превращение произойдет, если реформа соответствует естественным потребностям людей, но произойдет оно не скоро; плоды благодетельной реформы всегда лежат впереди, и тем дальше отодвигаются вперед, чем важнее реформа и чем упорнее та борьба, которую ей приходится выдержать с укоренившимся злом. Можно заметить здесь мимоходом, что наша известная теория постепенности основана на простом недоразумении: введенная реформа приносит плоды постепенно — это правда, это говорит самая элементарная логика здравого смысла; но

наши публицисты и мыслители, не разобравши дела, увидели только, что слова *реформа* и *постепенно* стоят рядом; они и связали эти два слова по-своему и стали доказывать, что реформа должна вводиться в жизнь постепенно, то есть не в виде органического и осмысленного целого, а в виде отдельных кусочков, не имеющих ровно никакого самостоятельного смысла. Зерно превращается в растение не вдруг, а постепенно; из этого общеизвестного факта вывели то своеобразное заключение, что следует класть в землю не все зерно, а сначала один кусочек зерна, потом, немного погодя, другой, потом третий — до тех пор, пока из кусочков не составится целое зерно. Может быть, при такой методе сеяния, рекомендуемой нашими публицистами, вырастет действительно богатая жатва. Не знаю. Пусть решают этот вопрос компетентные специалисты.

IX

В деревнях, где бедствия феодального быта давали чувствовать себя всего сильнее, взятие Бастилии послужило знаком к самому разрушительному взрыву народных страстей. На севере Франции, там, где крестьяне платили за землю деньгами и жили в довольстве, отрицание старины выразилось в том, что тотчас прекратились все обязательные работы, все платежи десятин и всякое отправление повинностей; в некоторых имениях крестьяне отобрали в свою пользу ту землю, которую помещик обработывал для себя, но вообще жизнь местного дворянства осталась в безопасности, замки уцелели; переворот совершился, таким образом, на севере довольно благообразно. Напротив того, в центре и на юге королевства, где народ был разорен и голоден, разыгрались все трагические сцены, характеризующие собою крестьянские войны. Мужик тут еще не думал улучшать свой быт; ему хотелось прежде потешиться; у него пробудилась потребность мстить и разрушать. В Оверни и в Дофинэ крестьяне собрались сначала в горах и оттуда, вооруженные всяким дрекольем, толпами спустились в долины; замки горели, монастыри разрушались, дворяне истреблялись с утонченною жестокостью в тех местах, через которые проходила такая толпа. В Франш-Конте везульская национальная гвардия попробовала остановить действия местных поселян, но поселяне разбили гвардию, загнали ее в город Везуль и даже взяли приступом самый город. В провинции Маконне собралась толпа крестьян в 6000 человек; кто из мужиков не присоединялся к этой толпе, у того сжигали двор; в течение двух недель эти люди разграбили, разрушили и сожгли больше 70-ти дворянских замков и убили 230 крестьян, не

одобривших их движение. Кончилось тем, что собралась национальная гвардия из нескольких окрестных городов и рассеяла эту толпу, разбивши ее в настоящем сражении. Такие же случаи, только, быть может, не в таких крупных размерах, происходили с половины июля почти на всем пространстве французской территории; в одних местах лилась кровь, в других дело обходилось без кровопролития, но везде феодальный порядок исчез совершенно, а так как нового порядка еще не было, то общество, по выражению Зибеля, везде разложилось на свои естественные элементы.

Со времени взятия Бастилии начинается во всей Франции непосредственное господство народа. Национальное собрание издает законы, но его деятельность имеет значение только в той степени, в какой она выражает собою народную волю; законы, не пользующиеся сочувствием народа, остаются мертвою буквою; проводить в Национальном собрании идеи непопулярные или консервативные становится опасным; пощада старины начинает считаться изменою перед нациею; всем ходом событий в течение последующих годов революции управляют движения народа, но ответить на вопрос: что такое народ? — становится довольно трудным. Если бы в половине 1789 года мы могли спросить у каждого взрослого француза отдельно — чего он хочет? — и если бы было возможно расположить общественные дела сообразно с тем ответом, который дало бы на наш вопрос большинство французских граждан, то, наверное, получились бы результаты, совершенно не похожие на то, что произошло в действительности. Наверное, большинство не захотело бы ни смерти короля, ни террора, ни республики, ни императорских войн. Наверное также, большинство захотело бы быть сытым, здоровым и свободным, то есть не принужденным делать то, что ему не нравится. Но эти желания всякому политику, обращающемуся к народу посредством *suffrage universel*[1], показались бы наивными до нелепости и для большинства совершенно неосуществимыми, хотя каждый человек отдельно, лично для себя считает подобные желания в высшей степени скромными. Все практические люди вообще, а политики, обращающиеся к *suffrage universel*, в особенности, знают твердо, что облагодетельствовать можно только избранное меньшинство, и притом не иначе, как на счет кроткого большинства. Большинство также знает это; оно не может доказать неизбежность этого факта экономическими выкладками и историческими примерами; но оно привыкло к тому, что всегда так бывает; привычка терпеть лишения не заглушила в нем потребностей, вложенных природою в каждый живой организм, но довела большинство до того,

[1] Всеобщее избирательное право (*франц.*). — *Ред.*

что оно плохо верит в возможность когда-нибудь удовлетворять этим потребностям вполне. Бывают минуты, когда это привычное недоверие к будущему уступает место страстному взрыву надежды; но надежда не осуществляется, потому что для осуществления ее необходим не минутный взрыв, а долговременная, напряженная и строго последовательная деятельность. До сих пор еще не было на свете такого народа, в котором большинство было бы способно к сознательной коллективной деятельности. За минутою надежды всегда следовало горькое разочарование, а потом прежнее апатическое недоверие. Но кроме кроткого большинства, проникнутого непроизвольным скептицизмом, в каждом народе существует обыкновенно энергическое и беспокойное меньшинство, которое ни под каким видом не хочет и даже, по складу своего ума, не может помириться с приговором житейской мудрости, утверждающим, что «так всегда было, стало быть, так и быть должно». Почему должно? — говорит это неугомонное меньшинство; совсем не должно! Пустяки! Что люди сделали, то люди могут переделать!

Когда большинство народа относится к своему будущему с холодною беззаботностью привычного отчаяния, тогда люди меньшинства не имеют влияния ни на массу своих соотечественников, ни на общий ход событий; тогда события определяются в своем развитии такими случайными и мелкими причинами, которые не имеют ничего общего с потребностями и стремлениями, с хорошими свойствами или с дурными страстями миллионов. В это время люди меньшинства много говорят и пишут, но на них обращают внимание только для того, чтобы преследовать их насмешками, или из этих людей вырабатываются в такие времена неисправимые мечтатели, а в низших слоях общества люди такого типа легко превращаются в энергических преступников, потому что неудовольствие их против несовершенств жизни выражается не в виде отвлеченных рассуждений, а в виде конкретных поступков. Когда вековая апатия большинства сменяется минутным пробуждением лихорадочной энергии и исступленной надежды, тогда люди меньшинства тотчас выдвигаются вперед на всех ступенях общественной лестницы; на несколько недель или на несколько дней они становятся оракулами и идолами толпы.

X

В ночном заседании Национального собрания с 4 на 5 августа дворянство, соединившееся с духовенством и с третьим сословием после взятия Бастилии, великодушно отказалось от своих феодальных прав, которые в то время опасно было предъявлять и которыми, во всяком случае, невозможно было

пользоваться. Декреты, изданные Национальным собранием после этого ночного заседания, отменили множество денежных и натуральных повинностей, которые фактически уже не существовали; законодательная власть записала только на бумаге то, что было совершено на французской территории общим движением народа в конце июля. Отменив феодальные права, собрание стало рассматривать Объявление о правах человека *, представленное Лафайетом 11-го июля и составившее введение к новой конституции. Идея о таком объявлении была заимствована у американцев. Собрание долго обсуживало проект Лафайета, разбирало каждый параграф отдельно, взвешивало каждое выражение и наконец 27 августа утвердило окончательную редакцию, в которой основная мысль автора осталась не измененною.

Зибель — в «Истории революционного времени» и Шлоссер — в «Истории XVIII столетия» ** говорят оба, что Объявление о правах человека было со стороны собрания делом очень неблагоразумным и что действие этого объявления оказалось впоследствии в высшей степени разрушительным. Читатель, без сомнения, расположен скорее согласиться с приговором двух замечательных историков, чем с моим личным мнением, не имеющим за себя никакого авторитета. Несмотря на это расположение читателя, которое я, с своей стороны, вполне понимаю и одобряю, я отважусь в этом случае не согласиться ни с Зибелем, ни с Шлоссером. Мне кажется, что оба они придают слишком много значения бумажным декретам Национального собрания. То настроение умов, которое побуждало общество требовать Объявления о правах и которое заставило это общество с восторгом принять произведение Лафайета и Национального собрания, может, конечно, быть названо разрушительным. Но самое издание Объявления ничего не прибавило и не могло прибавить к возбуждению умов. Оно не сказало решительно ничего нового тем французам, которые в Париже штурмовали Бастилию, а в провинциях разрушали феодальные замки и средневековые учреждения. Было бы странно думать, что печатная фраза, какая бы она ни была задорная, может развратить невинные умы тех людей, которые привыкли слушать на улицах таких ораторов, как Дантон и Камиль Демулен, и которые, кроме того, привыкли исполнять немедленно то, о чем рассуждали с ними эти господа. Политическая теория, проведенная в Объявлении о правах, была давно уже приложена к делу, и Национальное собрание в этом случае, как в отменении феодальных учреждений, изложило только на бумаге то, что каждый уличный мальчишка в Париже знал из практической жизни. Объявление о правах было следствием и симптомом народного настроения; пока продолжалось это народное настроение, сначала во всей массе

населения, а потом в энергическом меньшинстве, до тех пор принципы лафайетовской декларации воплощались в ежедневных явлениях жизни; когда горячий пароксизм прошел, тогда декларация со всеми ядовитыми семенами, которые усматривают в ней Зибель и Шлоссер, оказалась таким же старым лоскутком бумаги, как большая часть из 2500 законов, изданных Учредительным собранием, и как множество французских конституций, возникавших и погибавших одна за другою. Декларация прав была издана в 1789 году, а спустя пятнадцать лет благополучно царствовал уже император Наполеон I, который всякие декларации называл идеологиею и который действительно имел полное основание презирать идеологию, потому что она не мешала французам жертвовать за его фантазии состоянием и жизнью.

Где же после этого разрушительное действие этой декларации? Наконец, стоит только сличить Декларацию прав с любым номером газет, читавшихся в то время в Париже, чтобы убедиться в том, что декларация, даже как кусок печатной бумаги, по содержанию и по форме выражения, гораздо скромнее и невиннее тех произведений, которые составляли ежедневную умственную пищу французской публики. Но каждый рассудительный человек понимает, что и газеты того времени только удовлетворяли существующим потребностям, а не создавали их своим появлением. Бриссо, Карра, Горса, Лустало̂, Демулен, Фрерон, Марат были очень яркими значками своей эпохи, но не они создали эпоху, а, напротив того, эпоха произвела на свет их литературное и политическое направление.

В общем результате можно сказать, что Объявление о правах человека было такою же вывескою революции, как и знаменитая трехцветная кокарда, которою Франция обязана тому же генералу Лафайету. Французы по складу своего ума и по особенностям своего национального характера чрезвычайно любят всякие «вещественные знаки» *, и потому они ухватились обеими руками и за декларацию и за кокарду и придали тому и другому какое-то мистическое значение; старые наполеоновские солдаты, как известно, плакали и ругались, когда им приходилось снимать с киверов трехцветную кокарду и прикреплять белую; они продолжали дорожить вывескою, когда идея давно уже улетучилась. Я думаю, мне нет надобности уверять читателя в том, что ни пестрота кокарды, ни изящные периоды декларации не имели никакого влияния на развитие революции. Агитаторы могли порою ссылаться на тот или другой параграф декларации, но если бы декларация вовсе не существовала, тогда бы эти агитаторы стали бы только подробно развивать в своих речах или статьях те принципы, на которые они, при существовании декларации, могли просто указывать. Да и наконец, надо помнить, что эти принципы были уже тогда

общим умственным достоянием масс. Декларация повторила еще раз то, что уже было всем известно и затвержено наизусть. Народ желал только, чтобы собрание произнесло ту мысль, которая нравится ему, народу, точно так же как он желал потом, чтобы собрание принимало участие в той или другой патриотической процессии. Это пристрастие к знаменательным штучкам составляет очень любопытную черту французского национального характера, и историк, без сомнения, должен ее отметить и принять в соображение. Но это пристрастие действует, разумеется, только на декоративную сторону событий, а не на общее их направление, которое всегда зависит от общих и великих причин.

Окончив обсуждение декларации, Национальное собрание стало рассматривать основные положения будущей конституции. На очереди стояли следующие вопросы: будет ли законодательная власть принадлежать одной палате или нескольким? будут ли промежутки между заседаниями законодательного корпуса? будет ли король иметь участие в законодательной власти? зависит ли от короля утвердить или отвергнуть статьи той конституции, которая вырабатывается теперешним Национальным собранием? Все эти вопросы, после более или менее продолжительных и упорных прений, были решены в таком смысле, что надежды Неккера пересадить на французскую землю английскую конституцию оказались совершенно несбыточными мечтами. Законодательная власть была предоставлена одному собранию выборных депутатов. Промежутков между его заседаниями не допускалось. Король должен был безусловно принять составленную конституцию. Вопрос об участии короля в законодательной власти последующих собраний был решен посредством компромисса между требованиями левой стороны и желаниями монархистов. Положили, что король может отсрочивать предлагаемый закон, но что он обязан утвердить его, если два следующие собрания также признают отсроченный закон необходимым.

Пока Национальное собрание рассуждало в Версале о высших вопросах философской политики и государственного права, простой народ в Париже был одержим двумя такими заботами, которых, конечно, не могла устранить в данную минуту никакая конституционная система. Во-первых, народу мерещились везде заговоры аристократов; во-вторых, хлеб был дорог, и народ был уверен, что дороговизну производят купцы, которых следует перевешать. Каждый день разыгрывались на эти две неистощимые темы самые разнообразные трагикомедии; общие основы этих эпизодов тогдашней уличной жизни проникнуты глубоким трагизмом: гнетущая бедность народа и непобедимое недоверие его ко всему, что держит в руках общественную власть, лежат в основании

ежедневных парижских событий; развязка этих событий была обыкновенно ужасна, но тот отдельный повод, который в одну минуту поднимал целую бурю, та народная логика, которая обнаруживалась в рассуждениях и действиях толпы, были обыкновенно нелепы до крайних пределов смешного. Не было того слуха, не было той басни, которые не подхватывались бы массою и не облетали бы в одну минуту целые кварталы, если только этот слух и эта басня попадали в тон господствующему настроению, то есть если они говорили о коварстве двора и корыстолюбии барышников или об ошибках городского управления. Городское управление с половины июля находилось в руках избирателей, то есть имущих граждан столицы; они назначили посредством выборов большой контролирующий совет из трехсот членов; а этот совет выбрал из среды себя городской совет в шестьдесят членов, который, под председательством выборного мэра, стал заниматься текущими делами управления. Мэром был сделан, как я уже говорил, президент Национального собрания Бальи, человек, пользовавшийся популярностью и уважением. Избиратели и члены городского управления действовали заодно с народом при штурме Бастилии и вообще при борьбе с старым правительством; но когда третье сословие одержало решительную победу в собрании, в столице и во всем государстве, когда предводители вооруженной уличной оппозиции, в свою очередь, сделались начальством, тогда между новым начальством и народом тотчас начались неудовольствия. Начальство, как начальство, старалось водворить порядок, но так как порядок, при разгоряченном состоянии умов, при застое всех работ и при всеобщей нищете, был решительно невозможен, то популярность нового начальства утратилась в первые же дни его господства, среди бесплодных попыток укротить народную тревогу. Пролетарий увидел с наивным изумлением и с комическим или, вернее, опять-таки трагикомическим гневом, что победа третьего сословия к нему, пролетарию, совсем не относится и что всякие политические права существуют и имеют значение только для людей состоятельных, то есть для тех людей, которым при всяком порядке вещей живется не совсем плохо. Пролетарий, несмотря на свою неразвитость, или, как говорят другие писатели, по причине своей неразвитости, смекнул в одну минуту, что, кроме родовой аристократии, есть еще аристократия денежная и что этой последней аристократии он, пролетарий, доставил над первой полную победу, от которой ему, пролетарию, не досталось ничего, кроме горячих подзатыльников. Избиратели третьего сословия, одержавшие победу и овладевшие городскою властью, находили, что это превосходно, — и Бальи говорил: «превосходно», и Лафайет с национальною гвардиею

говорил — «превосходно», — но пролетарий, опять-таки по своей неразвитости, совсем не мог взять в толк, что тут превосходного. Но так как начальству толковать с пролетарием было некогда и так как, кроме того, не было надежды, чтобы они до чего-нибудь могли дотолковаться, то городские власти и национальная гвардия, состоявшая из имущих горожан, в августе и в сентябре стали действовать против демократической прессы и против уличных ораторов, которым они весьма горячо сочувствовали в июне и в июле, то есть тогда, когда они еще не были городскими властями и национальными гвардейцами. Начальственные распоряжения городских властей повели только к тому результату, что простой народ, проклинавший до того времени аристократов и барышников, стал проклинать еще и буржуазию, и стал ненавидеть последнюю тем сильнее, что до того времени он считал ее своею естественною союзницею и будущею спасительницею. Одним предметом ненависти у пролетария стало больше, и это обстоятельство не содействовало ни к просвещению его ума, ни к смягчению его характера.

Положение буржуазии вообще, и городских властей в особенности, было затруднительно и тяжело до последней степени. Буржуазия могла ежеминутно ожидать, что народ обратится против собственности с тою же разрушительною энергиею, с какою буржуазия обратилась против аристократических привилегий породы. Городским властям приходилось еще круче: им надо было во что бы то ни стало добывать для Парижа достаточное количество продовольствия; год был неурожайный; провинции и города удерживали свои запасы хлеба для самих себя; надо было покупать большие партии хлеба за границею, по дорогой цене, потом давать беднякам деньги, чтобы им было на что купить себе хлеба. Последняя часть программы была необходима, потому что при начале волнений бо́льшая часть ремесленных заведений Парижа закрылась; капиталы попрятались; роскошь сделалась опасною, а так как промышленность Парижа была основана преимущественно на удовлетворении требованиям аристократической роскоши, то огромное число работников осталось на улице, без хлеба и без занятий. Городские власти придумали открыть общественные мастерские; тысячи пролетариев стали стекаться в них в тот день, когда раздавалась недельная плата, и только сотни приходили работать. Слухи о легких заработках разнеслись по окрестностям, и Париж стал наполняться тысячами пришлого населения, так что чем больше городские власти старались об устранении голода, тем труднее становилась их задача. Средства городской казны были совершенно недостаточны для того, чтобы кормить все бедное население Парижа; но Бальи объявил

Неккеру, что если в Париже хлеб поднимется в цене, то из этого получится новая революция; стало быть, пусть Неккер берет денег откуда хочет и пусть прокармливает этими деньгами Париж. Делать было нечего, Неккер доставал денег, и один миллион за другим исчезал в парижских желудках. Новой революции не произошло, но спокойствие не восстановлялось; пролетарии хотели, чтобы им было хорошо, а им все-таки было дурно, хотя город и государство разорялись на покупку хлеба для их продовольствия; надежда на лучшее была пробуждена, и нужно было много передряг для того, чтобы надежда эта опять заглохла, и все-таки она может заглохнуть только на время, и периодические пробуждения ее всегда будут сопровождаться страшными потрясениями до тех пор, пока люди не захотят и не сумеют осуществить ее тем или другим способом.

В начале октября народ вообразил себе, что дороговизна прекратится и что все его дела пойдут превосходно, если он убедит или заставит короля и Национальное собрание переехать из Версаля в Париж; какими соображениями руководствовался тут сам народ, этого отгадать невозможно, потому что у него была своя собственная логика; но те люди, которые натолкнули народ на эту идею, имели свои причины желать присутствия короля в Париже. Городское управление с наслаждением думало о королевских суммах (liste civile), которые король, после приезда в Париж, поневоле должен будет отдавать на продовольствие города, для поддержания спокойствия. Лафайет понимал, что начальник парижской национальной гвардии будет господствовать над королем и над собранием. Герцог Орлеанский, которого клиенты интриговали во всех слоях парижского населения, хотел посредством популярности добыть себе регентство, а со временем, может быть, и корону; ему не хотелось, чтобы король приехал в Париж, но он желал, чтобы народ, отправившись за королем в Версаль, заставил его бежать оттуда куда-нибудь подальше; его бы не огорчило также то обстоятельство, если бы король и дофин погибли в мятеже. Словом, с разных сторон и по разным причинам обнаруживалось в различных коноводах желание натравить народ на Версаль, а народ, по своему обыкновению, разыграл роль увесистого орудия. 5 октября совершилось нашествие народа на королевскую резиденцию, а 6-го короля и его семейство привезли в Париж. Я говорю, что его привезли, потому что тут о свободном акте воли его не могло быть и речи. С минуты своего отъезда из Версаля до самой своей смерти Людовик XVI постоянно находился в плену и в опасности. 19 октября Национальное собрание также переехало в Париж.

XI

Ни победа третьего сословия в Национальном собрании, ни волнения пролетариев в Париже, ни восстания крестьян во всех провинциях государства не могли содействовать поправлению финансов. Бедность французского народа и, вследствие этого, бедность государства, прямым или косвенным образом составляет основу всех трагических событий французской революции. Непосредственная нужда в денежных средствах, нужда, не терпящая отлагательства, постоянно вовлекала все различные министерства и законодательные собрания революционной эпохи в такие финансовые и политические меры, которые немедленно вели за собою бесчисленные затруднения и компликации.[1] Уничтожение феодальных повинностей и эмансипация всех различных отраслей труда непременно должны были со временем удвоить и утроить массу народного богатства, но последствия этих преобразований могли обозначиться не раньше, как через десять или пятнадцать лет, а между тем пролетарию хотелось есть сегодня, а правительству необходимы были деньги на текущие расходы; надо было действовать так или иначе, чтобы выпутываться из ежедневных затруднений.

10 октября епископ отенский, знаменитый Талейран, предложил в Национальном собрании воспользоваться церковными имуществами для потребностей государства. 12 октября Мирабо предложил объявить церковные имущества собственностью нации. 2 ноября Национальное собрание приняло предложение Мирабо. Отбирая в свою пользу имения духовенства, государство вместе с тем принимало на себя обязанность оплачивать расходы богослужения и выдавать жалованье священникам. Вся эта операция казалась чрезвычайно выгодною по следующему расчету: имения духовенства приносили ему до 70 миллионов годового дохода, а доход с поземельной собственности в то время равнялся обыкновенно во Франции одной тридцать третьей части продажной цены; следовательно, помножая 70 на 33, мы получаем цифру 2310, и таким образом оказывается, что продажею церковных имуществ можно выручить сумму в 2310 миллионов. Эту сумму следует употребить на выкуп шестипроцентных и семипроцентных государственных бумаг; когда этот выкуп будет произведен, тогда государство освободится от 150 миллионов ежегодных процентов; если из этих, остающихся в экономии, 150 миллионов государство будет употреблять на содержание церкви даже 100 миллионов, то все-таки

---

[1] *Компликации* — осложнения (*франц.* complications). — *Ред.*

государство будет иметь каждый год 50 миллионов чистого барыша.

Цифры были заманчивы, но расчет был неверен в основании. Во-первых, в общую сумму доходов, равнявшуюся 70 миллионам, входили доходы с имений мальтийского ордена и с имуществ, принадлежавших школам и госпиталям; за исключением этих имений и имуществ, которые, по мнению всего собрания, должны были оставаться неприкосновенными, церковные имущества давали не 70, а 50 миллионов дохода. Во-вторых, не все церковные имущества состояли в поземельных владениях; у духовенства было много городских домов, государственных бумаг и частных долговых обязательств; все эти предметы не могли принести при продаже сумму, равнявшуюся тридцати трем годовым доходам. Кроме того, продажа огромных поземельных владений неизбежно должна была понизить цену на земли, потому что предложение непременно оказалось бы сильнее запроса. Стало быть, даже для *земель* духовенства нельзя было рассчитывать на ту продажную цену, которая в то время давалась во Франции при нормальных условиях продажи. На основании этих соображений надо было вместо цифры 33 поставить цифру 25, а так как и другой множитель — 70 — понизился до 50, то и произведение окажется не 2310, а всего только 1250. Получивши, таким образом, от продажи церковных имуществ 1250 миллионов, можно было освободить государство только от 80 миллионов ежегодных процентов; стало быть, чтобы получить от всей этой колоссальной операции барыш, надо было устроить так, чтобы содержание церкви стоило в год меньше 80 миллионов. Но устроить это, не изменяя внутренних учреждений церковного управления, было невозможно. Крайняя левая сторона собрания и радикалы в обществе и в народе радовались этой необходимости внести волю нации в церковные учреждения. Но легко можно было предвидеть, что столкновение законодательной власти с древними статутами католической церкви приведет в волнение все клерикальные инстинкты страны. Инстинкты эти не были достаточно сильны для того, чтобы одержать перевес над революционным движением, но, при крайней необразованности сельского населения, они легко могли выразиться в противореволюционных восстаниях, могли положить основание междоусобной войне и послужить со временем исходною точкою для будущей католической реакции.

Над подобною перспективою государственные люди Учредительного собрания могли бы задуматься, если бы вообще они имели возможность сделать свободный выбор; но именно свободного-то выбора у них и не было; оставить государство без денег было невозможно; стало быть, надо было прода-

вать церковные имущества и утешать себя тем, что утро вечера мудренее и что когда представится затруднение, тогда можно будет придумать какую-нибудь спасительную меру.

Поддерживая 12 октября свое предложение о церковных имуществах, Мирабо действовал под влиянием своих особенных расчетов, которыми он до поры до времени не считал нужным делиться с остальными членами Учредительного собрания. Он в это время находился в сношениях с двором, получал от него деньги, старался усилить правительство и имел в виду стать во главе министерства или по крайней мере сделаться его руководителем. Много и часто было говорено о том, что Мирабо продал свои убеждения и изменил народному делу; если негодующие против него историки имеют в виду его личный характер, то я, конечно, не стану его оправдывать и даже не возьму на себя труда объяснять его поступки, потому что мне в этой статье до отдельных личностей нет никакого дела. Принимая деньги от двора, Мирабо поступал, во всяком случае, как взяточник, причем, конечно, величина взятки соответствовала силе его ораторского таланта и могуществу его популярности. Но о продаже убеждений и об измене народному делу здесь не может быть и речи. Мирабо с начала до конца своей деятельности оставался верен себе; он никогда не поворачивал назад, а он просто, дойдя до известной точки, сказал, что дальше идти не следует; сказал не потому, что был подкуплен, а потому, что всегда считал эту известную точку тем пределом, на котором должно остановиться.

Этот факт важен и любопытен для нас потому, что Мирабо является самым даровитым представителем и самым крупным воплощением тех идей и стремлений, которые, выдвинувшись вперед в самом начале революции, скоро должны были уступить место другим, более ярким и резко обозначенным направлениям. Политическая программа Мирабо осталась невыполненною не потому, что его личность перестала пользоваться доверием честных граждан, а потому, что требования партий и масс, еще не утомленных революционною борьбою, были в то время беспредельно широки; их не могла ни примирить, ни удовлетворить никакая отдельная система. В переписке своей с графом Ламарком, доверенным лицом королевы, Мирабо развивает свои политические убеждения, стараясь доказать королю и его приближенным, что, только действуя сообразно с этими убеждениями, можно спасти государство от окончательной катастрофы. В этих письмах, посредством которых Мирабо вел свои переговоры с двором, очевидно, должно было бы выразиться с полною рельефностью отступничество Мирабо от интересов народа, если бы только это отступничество вообще ког-

да нибудь существовало. Но Мирабо рассуждает здесь о государственных делах так, как рассуждал о них всегда и везде. Он конституционную монархию считает лучшею из всех известных политических систем, причем он, однако, придает особенную важность не внешним формам управления, а тем основным началам, которых держится правительство в своих отношениях к народной жизни; он хочет, чтобы не было частных привилегий, чтобы труд оставался свободным от помещичьего и цехового гнета, чтобы капитал был освобожден от монополии столичной биржи, чтобы судопроизводство не находилось в зависимости от землевладельцев и от парламентских фамилий, чтобы государственные финансы не расстроивались придворными прихотями, чтобы национальное единство не ослаблялось внутренними таможнями и провинциальными привилегиями. Словом, он хочет, чтобы правительство было сильно и популярно, то есть чтобы оно пользовалось своею силою только для народного блага; для этого он находит необходимым, чтобы король был независим от фантазий парижского пролетариата, но чтобы он действовал постоянно и добросовестно, заодно с Национальным собранием, и чтобы он был связан с этим собранием самым неразрывным союзом. Фактическую возможность такого союза Мирабо видит в том, что советниками короны должны быть постоянно самые влиятельные предводители парламентского большинства. Так как Мирабо никогда не стремился к республике и так как он всегда пользовался волнениями пролетариата только как орудием против феодальной оппозиции, то в письмах своих к графу Ламарку он остается совершенно верен политическим идеям всей жизни.

Чтобы привести эти идеи к осуществлению, ему действительно необходимо было быть министром. Задача, которую он себе ставил, в то время была неисполнима даже для него, но уже всякому другому человеку за нее нечего было и браться. Чтобы заранее избавить свое будущее министерство от гнетущего безденежья, Мирабо пустил в ход предложение о церковных имуществах. Как только предложение это было принято, так Мирабо тотчас двинул вперед ряд новых проектов. Он предложил обеспечить спокойствие Парижа закупкою больших запасов хлеба, поручить заведование государственным долгом особому ведомству, независимому от министерства финансов, дозволить этому ведомству пустить в обращение кредитные билеты, обеспеченные церковными имуществами, и, наконец, предоставить министрам короля совещательный голос в Национальном собрании. Последнее предложение, которое Мирабо делал уже один раз в конце сентября, прямо клонилось к министерской кандидатуре самого оратора. Но в собрании господствовало такое настрое-

ние отдельных партий, при котором составление сильного министерства было совершенно невозможно. Может быть, такое министерство было бы чрезвычайно благодетельно для Франции, если бы оно составилось и начало действовать, но вся беда заключалась в том, что оно не могло, при тогдашних обстоятельствах, ни составиться, ни удержаться. Оппозиция против правительства была бесконечно сильна и в Национальном собрании, и на улицах, и в провинциях; в оппозиции собрания соединялись самые разнородные элементы, которые только в оппозиции и могли соединиться между собою, потому что все были недовольны настоящим и между тем все хотели совершенно различных вещей в будущем. Республиканцы крайней левой стороны и аристократы крайней правой стороны сходились между собою на том пункте, что Мирабо не должен быть министром; и те и другие хотели, чтобы правительство было слабо, потому что и те и другие хотели произвести переворот в свою пользу, а между тем в то время еще ни те, ни другие не были в силах образовать правительство из самих себя. Что же касается до умеренных членов собрания, то между ними господствовало личное влияние Неккера и Лафайета, которые видели в Мирабо опасного соперника, способного отнять у них могущество и затмить их популярность.

Из всех этих немногочисленных партий и кружков составлялось в общей сложности огромное большинство, и собрание отвечало на предложение Мирабо таким объявлением, которое попало не в бровь, а в глаз; оно объявило 7 ноября, что ни один депутат не может быть членом министерства. Весь политический план Мирабо разрушился окончательно; остались только предложения его насчет церковных имуществ и насчет покупки хлеба для Парижа; и то и другое было необходимо во всяком случае и не зависело ни от каких политических комбинаций. В течение всей зимы с 1789 на 1790 год различные комитеты Учредительного собрания изучали во всех подробностях вопрос о продаже церковных имуществ. 19 декабря собрание решило, что следует на первый раз продать из них на сумму 400 миллионов. 6 февраля, выслушав доклад своего комитета, собрание решило, что прежде всего должно упразднить монастыри и продать их земли. По этому случаю было произнесено насчет монашества много непочтительных речей, в которых присутствовавшие аббаты и епископы с ужасом и сердечным сокрушением усмотрели дух Дидро и Вольтера. Епископ нансийский заблагорассудил даже спросить, продолжает ли католическое вероисповедание считаться государственною религиею Франции. Собрание оставило этот язвительный вопрос без ответа и настояло на упразднении монастырей. Впрочем, нельзя сказать, чтобы все епископы и аббаты, сидевшие в собрании, были подвер-

жены приливам ужаса и сердечного сокрушения. В числе епископов был Талейран, которого ничто не сокрушало и не ужасало и которому принадлежала даже инициатива в деле церковных имуществ; а в числе аббатов сидели Сийес, сделавший первый решительный шаг в борьбе третьего сословия с привилегированными классами, и Грегуар, не уступавший в радикализме своему другу Робеспьеру.

Тлетворный дух времени проникал, таким образом, даже в ряды того сословия, которое было связано с средневековым прошедшим всеми своими воспоминаниями и всеми интересами своего могущества. Стонали католические пастыри, сохранившие чистоту сердца, содрогались великие тени Григория VII, Иннокентия III и Игнатия Лойолы, а монастырские поместья все-таки пошли в продажу, и пошли тем скорее, что в дело вмешался парижский городской совет, которому забота о насущном хлебе, по очень понятным причинам, не оставляла ни минуты покоя. Бальи постоянно убеждал Неккера одним и тем же рассуждением, которое от повторения не становилось избитым и не теряло своей силы. «—Если, — говорил он, — пролетариям нечего будет есть, они всё поставят вверх дном; не хотите революции, так давайте денег». — В первые два зимние месяца у Неккера забрали на покупку хлеба 17 миллионов, да, кроме того, на общественные мастерские уходило по 360 000 ливров в месяц. Для Парижа не было ничего заветного; со времени приезда короля на продовольствие столицы тратились и королевские суммы, и все это поедалось с восхитительною быстротою.

Когда в Национальном собрании покончилось дело о монастырях, тогда городской совет решился отломить для своих питомцев кусок предстоящей добычи. 10 марта Бальи явился к решетке Национального собрания, изобразил бедственное состояние государственного кредита, выразил необходимость поскорее продать церковные поместья и объявил собранию, что парижская коммуна * готова взять на себя продажу своих монастырских имуществ, оцененных в 150 миллионов, с тем, чтобы ей за хлопоты уступили четвертую часть тех денег, которые будут выручены. А за это, прибавил Бальи, город выстроит собранию прекрасный дворец [1]. Как ни оригинально было то обстоятельство, что одно общественное учреждение публично предлагает другому такому же учреждению магарыч, и как ни соблазнительна была для собрания, заседавшего в манеже, перспектива иметь собственный «прекрасный дворец», однако представители нации устояли против искушений лукавого Бальи и нашли, что заплатить за комиссию

[1] Sybel, Geschichte der Revolutionszeit, Band I, S. 140. [Зибель, История революционного времени, т. I, стр. 140. — *Ред.*]

почти 40 миллионов будет чересчур роскошно. Бальи смягчился, просил 16 миллионов. Собрание согласилось.

Этот эпизод изображает очень картинно то безвыходное отчаяние, в которое постоянное безденежье погружало все общественные ведомства. Понятно, что наивные слова Бальи о прекрасном дворце были просто судорожным усилием утопающего схватиться за соломинку. Несчастного старика затормошили с тех пор, как он был мэром. Городской совет делал ему замечания, большой контролирующий совет присылал ему выговоры; в каждом парижском квартале был свой совет, который о действиях мэра отзывался неодобрительно; и все требовали денег, и всем деньги были действительно необходимы, а Бальи, узнав это, сообщал свое знание Неккеру, и обоим им приходилось отчаиваться. Тут поневоле договоришься до прекрасного дворца.

17 марта собрание положило поручить продажу монастырских имений городским общинам королевства и предоставить последним определенную долю чистой выручки. Затем определено было выпустить 400 миллионов ассигнаций, присвоить им внутри государства курс наравне с звонкою монетою и потом принять их обратно в казну как уплату от покупщиков монастырских имуществ. В это самое время комитет церковных дел представил собранию доклад, который окончательно озадачил все благочестивое духовенство. По проекту комитета, духовенство устранялось от управления церковными имуществами, и управление передавалось светским ведомствам. Нация принимала на себя долги духовенства, доходившие до 149 миллионов, и обязывалась выдавать на содержание церкви 133 миллиона, вместо прежних 170, составлявшихся из десятинной подати и из доходов. Но так как и эта сумма, по мнению нечестивого комитета, была слишком велика, то предлагалось дать церкви на будущее время совершенно новое устройство, при котором она ежегодно обходилась бы государству в 65 миллионов. С 170 миллионов перейти на 65 для всех благочестивых людей было чрезвычайно обидно, и потому нам совершенно понятны те крики негодования, которыми истинные столпы католичества встретили мысль о таком радикальном преобразовании. Но собрание не обратило внимания на жалобы изнывающих пастырей и очень серьезно стало рассматривать и обсуживать проект комитета.

XII

В ту самую зиму, в которую Национальное собрание завоевало в пользу нации церковные имущества, оно также положило основание новому административному разделению и устройству французской территории. Старое историческое

разделение на провинции было отменено, и вся Франция распалась на 83 департамента, которые подразделялись на 574 округа и 4730 кантонов. На всем пространстве французского королевства существовало в то время около 44 000 городских и сельских общин, которые все получили новое устройство по одному общему образцу. Каждая община должна была управляться выборным советом, и все должности в общине должны были замещаться по непосредственным выборам граждан, безо всякого вмешательства или влияния сверху. Округом управлял совет из 12 лиц, а департаментом совет из 36 лиц. Члены того и другого совета выбирались на два года коллегиями избирателей, составлявшимися по непосредственным выборам граждан каждого отдельного кантона. Департаментский совет раскладывал подати по округам и общинам, наблюдал за исправностью сбора и препровождал собранные суммы в государственную казну. Он заведовал местными путями сообщения и заботился о полицейском благочинии. В его распоряжении находились департаментские суммы; ему доверен был надзор за общеполезными учреждениями, и ему принадлежало также начальство над местным отрядом жандармов. Окружной совет подчинялся департаментскому и заведовал теми местными подробностями администрации, в которые неудобно было вникать департаментскому начальству. Впрочем, окружные советы с самого своего происхождения на свет считались совершенно излишнею инстанциею, которая только замедляла течение дел, не принося взамен этого неудобства никакой осязательной пользы. Все должностные лица в департаменте, в округе и в общине только по приговору суда могли быть отрешены от должности до истечения того срока, на который они были выбраны. Они были обязаны исполнять законные приказания короля, но король собственною властью не мог ни награждать, ни наказывать их. Если какое-нибудь из этих местных ведомств совершало противозаконный поступок или обнаруживало небрежность в исполнении своих обязанностей, то вопрос о том, следует ли распустить это ведомство и предать его членов суду, разрешался в Национальном собрании. Королю представлялось, впрочем, право приостановить деятельность провинившегося ведомства на то время, пока Национальное собрание будет рассматривать вопрос о его виновности. Вся система была, как мы видим, основана на всеобщем приложении выборного начала. В выборах участвовали от 4 до 9 миллионов граждан, называвшихся полноправными, или активными; они должны были быть совершеннолетними, должны были прожить по крайней мере один год в том округе, в котором они подавали голос, и, наконец, должны были вносить сумму подати, равную поденной плате трех дней. Эти

активные граждане не выбирали прямо депутатов Национального собрания, а назначали посредством выборов коллегии избирателей, которые выбирали как депутатов, так и членов департаментских окружных советов. Чтобы быть избирателем, требовалось иметь в собственности или в пользовании землю, которая бы равнялась в богатых провинциях цене четырехсот, в средних — двухсот, а в бедных — ста пятидесяти рабочих дней. Депутатом мог быть человек, не имеющий никакой собственности.

Мнение мое о том, что «Декларация прав человека и гражданина» не имела в себе той разрушительной силы, которую приписывают ей Зибель и Шлоссер, находит себе довольно сильное подтверждение в этом беглом очерке выборной системы, установленной Национальным собранием. То самое собрание, которое с величайшим воодушевлением пустило в свет декларацию, отклонилось от основных принципов этой декларации на первом же шагу своей законодательной деятельности. Декларация, составляющая введение в конституции, говорит, что все граждане равны, а первые страницы конституции противоречат введению и говорят, что есть граждане активные и граждане пассивные и что различие между теми и другими основывается на различии имущества. Потом оказывается, что есть избиратели и не-избиратели, которые опять-таки различаются между собою по имуществу. Если сами творцы декларации так развязно уклоняются в сторону от своего политического исповедания веры, то, очевидно, это исповедание не имеет в себе такой чудодейственной силы, которая сама по себе могла бы покорять себе умы и направлять их к разрушению красивых политических систем.

Низшие классы, несмотря на декларацию, увидели себя в числе пассивных граждан; тогда они нашли себе предводителей и обнаружили вскоре очень значительную степень активности. Печать оставалась совершенно свободною; — национальная гвардия срывала иногда со стен плакарды[1], а парижский городской совет требовал иногда, чтобы каждый печатный листок выставлял имя ответственного издателя, но подобные распоряжения были совершенно случайны и произвольны, всегда вызывали против себя сильный отпор и никогда не достигали своей общей цели, то есть не могли ни запугать радикальных писателей, ни ослабить их влияния на массу пролетариата. Право ассоциации также не было ограничено никаким законом, и пассивные граждане, которым отказано было в голосе на выборах, приобрели себе благодаря праву ассоциации и указаниям радикальной прессы такую

[1] *Плакарды* (*франц.* placards) — плакаты, прокламации. — *Ред.*

организацию, которая в скором времени сделалась сильнее всех официальных властей государства.

При самом начале заседаний Национального собрания несколько депутатов левой стороны образовали клуб, называвшийся Бретанским и собиравшийся в Пуасси. Сначала в этот клуб принимались только депутаты, а потом, когда собрание, вслед за королем, переехало в Париж, в клуб стали допускать всех людей подходящего образа мыслей. Заседания клуба стали происходить в Якобинском монастыре, и с тех пор члены этого общества стали называться якобинцами. Число их разрослось очень быстро, весною 1791 года их было уже 1800 человек в одном Париже; во всех провинциях сформировались якобинские клубы, находившиеся в постоянной переписке между собою и с центральным парижским обществом. В конце 1790 года всех якобинских клубов во Франции было до двухсот, и некоторые из них считали в себе более 1000 членов; конечно, очень многие из этих членов не были ни фанатиками, ни демагогами; многие записывались в клуб из подражания другим, а впоследствии для того, чтобы оградить себя от подозрений в недостатке патриотизма, но ядро каждого клуба состояло из горячих демократов, следивщих с самым напряженным вниманием за парижскими событиями и готовых по первому сигналу со стороны вождей центрального общества произвести народное движение в своем городе или в своей провинции. Эти ревностные якобинцы находились в тесных и постоянных сношениях с массами пассивных и вообще беднейших граждан, которые вполне верили этим вождям и легко поднимались на ноги при первом востребовании.

Когда на всю Францию раскинулась таким образом сеть демократических обществ, проповедовавших с неукротимым жаром истребительную войну против королевской власти, против аристократов, против духовенства, против капиталистов, словом, против всего, что стояло выше пролетария, когда в каждой провинции голодная масса нашла себе коноводов, неразрывно связанных с нею и между собою единством надежд и стремлений, тогда пассивные граждане сделались неизмеримо сильнее активных.

Но здесь я опять должен повторить ту мысль, которая не раз находила себе приложение в предыдущих главах моей статьи. Не отдельные единицы и не частные явления создают общие положения, а наоборот, общие положения сообщают единицам и явлениям всю их силу и весь их смысл. Не клубы, не речи ораторов, не газеты Демулена и Марата производили в низших слоях французского общества неумолимое озлобление, а напротив, существовавшее озлобление порождало и поддерживало и клубы, и яростные речи, и неисто-

вые газеты. Вожди и агитаторы давали существующей силе организацию и единство общего направления, но эта сила существовала совершенно независимо от них и часто толкала их вперед тогда, когда они считали удобным приостановиться. Ораторы и журналисты могли разработывать в отдельных приложениях общие мотивы народного настроения. но чуть только они пробовали уклониться от этих мотивов,— тотчас масса кричала им, что они изменники и что их немедленно потащат к фонарному столбу. История революции переполнена трагическими эпизодами, в которых вчерашний любимец массы погибает сегодня от рук этой массы в ту самую минуту, когда он, полагаясь на свою популярность, пробует внести в движение свои личные взгляды, несовместные с общими стремлениями его недавних восторженных обожателей. Так погибли жирондисты, но, чтобы не забегать вперед, я приведу в пример Мирабо, который в 1789 году казался французскому народу воплощением революции и которого жизнь была, однако, в опасности в продолжение нескольких дней, после того как он советовал в Национальном собрании предоставить королю право безусловно отвергать проекты законов. Самая история парижского якобинского клуба показывает, что не клуб распалял страсти народа, а наоборот, распаленное состояние народных страстей находило себе в клубе одно из своих проявлений. В начале существования якобинского клуба в нем господствовали своим красноречием жирондисты, поэты и романтики революции, мечтавшие об античных республиканских добродетелях, чувствовавшие глубокое отвращение к тем коммунистическим стремлениям, которые шевелились в голодной толпе людей без панталон (sans culottes). Если бы можно было предположить, что раздражение масс производится речами ораторов и статьями журналистов, то надо было бы ожидать, что жирондисты, как люди, превосходно владевшие словом и пером, навсегда сохранят за собою господство в клубе, в столице и во Франции; надо было бы ожидать, что они обратят пролетария к добру и к красоте и наложат на всю общественную жизнь печать своего эстетического влияния. На поверку же оказывается, напротив того, что реальный элемент беспанталонности выгнал в очень короткое время поэзию античной добродетели из клуба, из столицы и из Франции. Стало быть, мы видим, что окружающие элементы переделали на свой образец якобинский клуб; следовательно, действующая сила лежала и лежит всегда и везде не в единицах, не в кружках, не в литературных произведениях, а в общих, и преимущественно в экономических, условиях существования народных масс.

Покончив с пассивными и активными гражданами, я могу сказать несколько слов о судебных учреждениях, созданных для Франции Национальным собранием в течение зимы 1789 года.

Господские суды, королевские трибуналы, парламенты, вообще все судебные учреждения старой монархии были уничтожены; после июльских дней 1789 года и после ночного заседания с 4 на 5 августа эти учреждения, тесно связанные с общим строем феодального государства, потеряли всю свою силу, но так как Национальное собрание успело создать новую систему судоустройства и судопроизводства только в октябре 1790 года, то Франция больше года оставалась фактически без судов, и это обстоятельство, конечно, не могло содействовать водворению спокойствия и законности. Уничтожение парламентов и введение новых судов обременили государство новыми значительными расходами и увеличили сумму государственного долга. Так как места в парламентах были проданы старою монархиею в вечное и потомственное владение, то, уничтожая парламенты, надо было выкупить эти места, и сумма, которую приходилось уплатить по расчету парламентским советникам и владельцам наследственных мест в других судах, доходила до 350 миллионов. Кроме того, новые суды по самой умеренной смете должны были стоить дороже старых; парламентский советник удовлетворялся очень незначительным жалованьем, потому что он имел в виду, во-первых, наследственность своей должности, во-вторых, ее политическое влияние и, в-третьих, те значительные суммы денег, которые по средневековым обычаям и законам взимались в пользу судей с тяжущихся сторон. Новый судья не должен был пользоваться ни одною из этих трех выгод; следовательно, за все эти выгоды его надо было вознаградить жалованьем; поэтому уничтожение старых судов и устройство новых прибавляло по крайней мере 20 миллионов к сумме ежегодных государственных расходов.

Необходимость правосудия для развития народного благосостояния так очевидна и так значительна, что за полезную реформу в судебных учреждениях можно, не колеблясь, платить ежегодно более 20 миллионов; эти деньги не пропадают, и соблюдать экономию в ущерб правосудию было бы, во всяком случае, непозволительно и нерасчетливо. Но любопытно заметить, что в тогдашней Франции все отрасли общественной жизни требовали радикальных реформ, а все реформы требовали затраты денег, и чем радикальнее и полезнее были реформы, чем больше они могли обогатить государство в будущем, тем дороже они обходились в настоящем. И все они скопились к одному времени, так что не законодатели управляли ходом преобразований, а напротив,

общее положение дел увлекало за собою и постоянно насиловало волю законодателей. Старина падала от своей собственной ветхости, и падала разом повсеместно, не дожидаясь того, чтобы ее отменили декретом, и не спрашивая о том, есть ли чем заменить ее. Но, так или иначе, заменять чем-нибудь разрушившееся учреждение было необходимо, а на это требовались деньги, а средства государства были забраны вперед и истрачены правительствами прежних столетий, теми правительствами, которые продавали общественные должности и оставили потомству в знак памяти бессильную администрацию, слепую аристократию, развращенный суд, неоплатный государственный долг и озлобление масс, заглушающее в них всякое понимание своих собственных выгод. Те представительные собрания, которым доброе старое время завещало такое роковое наследство, находились в самом трагическом положении. Дорога легальности и осторожной последовательности в пересмотре и в обновлении отдельных частей государственного механизма была им отрезана. Легальность была невозможна отчасти потому, что оппозиция привилегированных классов уступала только действию силы, отчасти потому, что долги государства превышали его средства, по крайней мере в ту минуту, когда действовали революционные собрания. Осторожная последовательность была невозможна потому, что вся старина обрушивалась разом, так что надо было все отменять и все создавать заново. Между тем каждое нарушение легальности заключало в себе зародыш будущей борьбы и необходимых насилий; каждое отступление от осторожности и последовательности вело к ошибкам и запутывало еще более страшно запутанное положение дел.

«Какое управление, — говорил однажды Мирабо, — какая эпоха! Всего надо опасаться и на все надо отваживаться. Создается возмущение теми средствами, которые употребляются для его предупреждения. Постоянно необходима умеренность, и всякий раз умеренность кажется медлительностью и малодушием. Постоянно необходима сила, и каждое приложение силы кажется тираниею. Со всех сторон сыпятся советы, а доверять приходится только самому себе. Приходится бояться людей благомыслящих, потому что их беспокойство и увлечение опаснее всяких заговоров. Из благоразумия приходится уступать; становиться во главе волнения, чтобы умерять его; и при всех страшнейших затруднениях надо еще сохранять на лице веселое выражение».

Мирабо был достаточно умен и достаточно знаком с положением дел и умов, чтобы предчувствовать в будущем неизбежность государственного банкротства, произвольных конфискаций и длинного ряда насильственных действий. Но сам

Мирабо, умерший весною 1791 года, и Учредительное собрание, отошедшее от дел правления осенью того же года, были все-таки гораздо счастливее* Национального конвента. Учредительному собранию досталось на долю провозгласить принципы революции, а Конвенту пришлось вбивать эти принципы в жизнь, бороться с той реакциею, которую раздразнило первое собрание, расплачиваться по тем счетам, которые оставила старая монархия, покрывать те издержки, которых требовали новые учреждения, и, наконец, принимать на себя ответственность за все те неизбежные насилия, до которых Учредительному собранию удалось не дожить. Весь блеск гражданских доблестей, все благозвучие либеральных слов остались собственностью Учредительного собрания, а вся злокачественная грязь черной исполнительной работы, без которой все либеральные слова остались бы словами, великодушно предоставлена Национальному конвенту. Поэтому французские либералы до сих пор с пафосом превозносят «les grands principes de 1789»[1] и вслед за тем казнят своим негодованием «les excès de 1793»[2].

Так как роль Учредительного собрания состояла преимущественно в том, чтобы провозглашать принципы революции, то и на судебную реформу его следует смотреть с точки зрения принципа, тем более что отдельные подробности должны были измениться и действительно изменились со временем, сообразно с указаниями опыта. Главные основания нового судоустройства заключались в том, что все судьи выбирались активными гражданами из числа образованных юристов; суд присяжных прилагался к уголовным делам; гражданские процессы решались без участия присяжных несмотря на то, что демократы Национального собрания сильно настаивали на введении присяжных во все отрасли судопроизводства. (Здесь можно заметить, что в Америке присяжные решают как уголовные, так и гражданские процессы; Токвиль, которого еще ни один человек в мире не обвинял в яростном демократизме, находит, что участие присяжных в решении гражданских процессов очень сильно содействует развитию юридического смысла в американском народе.) — Судьи выбирались гражданами на шесть лет; для гражданского процесса устраивался в каждом округе трибунал первой инстанции, и один из этих трибуналов должен был служить другому апелляционною инстанциею. Третью и последнюю инстанцию составлял высший апелляционный суд, который должен был заседать в Париже. Для уголовных дел учреждалось в каждом департаменте судебное место, а в Париже

---

[1] «Великие принципы 1789 года» *(франц.)*. — *Ред.*

[2] «Эксцессы 1793 года» *(франц.)*. — *Ред.*

кассационный суд, из которого по жребию должны были назначаться члены национального суда, чтобы судить преступления нации (crimes de lèse-nation). Когда в Национальном собрании рассматривался вопрос об учреждении этого национального суда, Казалес, один из депутатов правой стороны, потребовал, чтобы были точно определены те преступления, которые оскорбляют нацию и подлежат ведению исключительного трибунала. На это отвечал депутат крайней левой стороны, адвокат Робеспьер из Арраса; он сказал, что национальный суд должен поражать знатных вельмож, враждебных народу и искажающих его нравственное развитие; главное дело, по его мнению, состояло в том, чтобы в этом суде заседали искренние друзья революции.

В этих словах ясно заключался тот смысл, что революция для своего самосохранения и для своих дальнейших побед над старым обществом нуждается в послушном орудии и что правосудие должно подчиниться политике. Несмотря на то что Робеспьер не пользовался сильным влиянием в Учредительном собрании, его мнение было принято; предложение Казалеса оставлено без внимания, и собрание решило, что члены национального суда будут назначаться не по жребию, как предполагалось прежде, а по выбору активных граждан всех департаментов.

Чтобы покончить с судебными реформами, достаточно будет упомянуть, что судопроизводство сделалось гласным, подсудимые получили защитников, пытка и произвольные аресты отменены; наконец, учреждены мирные судьи, коммерческие трибуналы и семейные суды.

XIII

Разговоры опечаленного духовенства о мученических венцах и хищных посягательствах Национального собрания стали обнаруживать свое влияние. Народ, остававшийся единодушным в то время, когда шло дело о борьбе против феодализма, разделился на партии, когда идеи XVIII столетия коснулись церковной иерархии и вопиющие потребности государства принудили Национальное собрание наложить руку на церковные имущества. Католицизм, не имевший уже для жителей Парижа ни малейшей прелести, оказался сильным и живучим в городах и селах отдаленных провинций. В некоторых местах агитация в пользу католического духовенства находила себе пищу не столько в религиозных чувствах народа, сколько в его экономических интересах; дело в том, что духовенство содержало свои имения в большом порядке и не страдало теми спазматическими припадками безденежья, которые часто удручали храброе дворянство. Вследствие этого

духовенство не отдавало своих доходов на откуп разным аферистам, не притесняло своих фермеров неумеренными требованиями и вообще вело свои денежные дела ровно, спокойно и правильно, так что крестьяне, находившиеся с ним в сношениях, благословляли свою судьбу и очень дорожили своими арендами.

Когда разнесся слух о предстоящей продаже церковных имуществ, тогда все арендаторы этих поместий, не бывшие в состоянии купить себе ту ферму, которую они нанимали, пришли в смятение, боясь, что будущий владелец окажется притеснителем или сгонит их прочь с своей земли. В Эльзасе составилось за неприкосновенность католической религии прошение, и в три недели набралось 21 000 подписей; с одинаковым усердием подписывали католики, протестанты и евреи, потому что все они были арендаторами церковных имений и, следовательно, все связаны между собою единством интересов; в Бретани начались противореволюционные движения, во главе которых появились католические священники. На юге королевства дело дошло до кровопролитных схваток между патриотами и клерикалами. В Ниме национальная гвардия и пролетарии, принадлежавшие к католической партии, поколотили армейский полк, пылавший патриотизмом. Вслед за тем в том же городе составилось католическое общество из 4000 человек, которые немедленно пригласили соседние департаменты соединиться с ними в братский союз за христианскую религию. Эта мысль нашла себе отголосок, и в религиозное братство вступили немедленно города Перпиньян, Тарн и Тулуза. В городе Але народ прогнал за городские ворота войска, державшиеся революционных принципов; в Монтобане национальная гвардия сразилась с католическим пролетариатом, который победил и разогнал нечестивых друзей прогресса. Из всех этих фактов Учредительное собрание усматривало, что *le peuple souverain* (властительный народ) часто противоречит самому себе и что его, в большей части случаев, мудрено урезонить. Во всей Франции не было той деревни, в которой народ согласился бы платить десятину после июльских событий 1789 года, а между тем, когда отсутствие десятинной подати вело за собою необходимость преобразовать внутреннее устройство церкви, тогда *peuple souverain* во многих местах переполнялся католическим восторгом и не хотел слышать о преобразованиях; я, говорит *peuple souverain,* платить не желаю, а в церкви пускай остается все по-старому; а откуда взять денег — это дело правительства; на то оно правительство. Так как не было возможности пригласить народ к рассмотрению финансовых отчетов и убедить его цифрами и фактами в неисполнимости его требований, то Национальное собрание ре-

шилось поскорее окончить церковные преобразования и утвердить их силою в тех местностях, в которых зашевелится католическая реакция. Приступая к такому образу действий, Национальное собрание, очевидно, вступало в борьбу с проявлением народной воли, но так как эта воля оказывалась раздвоенною, то законодателям поневоле надо было примкнуть решительно к одной из двух партий и объявить другую партию толпою мятежников, хотя, разумеется, странно было ругать людей мятежниками в такой стране, в которой вся нация считала июльские мятежи славнейшими подвигами своей истории.

Впрочем, в революциях дело обыкновенно идет не о том, чтобы убедить противника, а о том, чтобы победить и уничтожить его; здесь, как и вообще в практической деятельности, последовательность часто становится невозможною и отступает далеко на задний план перед неотразимою необходимостью. Собираясь действовать энергическими мерами против католических реакций, Национальное собрание не нарушало, однако, принципа религиозной свободы; собрание видело в ожесточенных аббатах и в их восторженных последователях только политических врагов революции, и все позднейшие распоряжения его по этому предмету вытекали исключительно из этого основного взгляда.

29 мая 1790 года комитет церковных дел представил Учредительному собранию проект нового устройства церкви. По этому проекту избиратели каждого округа назначают себе приходских священников, а избиратели департамента — местного епископа. Каждый избранный дает присягу в верности нации, королю и конституции. Капитулы и духовное судопроизводство уничтожаются, потому что преступления против религии становятся невозможными с той минуты, когда официально признан принцип религиозной свободы со всеми своими последствиями. Папа теряет, по проекту комитета, право давать диспенсации[1] и утверждать духовных сановников в их звании. При этом должно заметить, что папа уже давно имел основание гневаться на свою галликанскую паству, потому что уже знаменитая ночь 4 августа, уничтожая десятинную подать, отменила декретом ежегодное препровождение денег в Рим.

Легко можно вообразить себе, что весь проект комитета должен был казаться истинным католикам непрерывным рядом святотатств; граждане, которые согласились бы войти в эту перестроенную церковь, должны были бы считаться еретиками, а духовные лица, которые дали бы требуемую

---

[1] *Диспенсации* (*лат.* dispensatio) — отпущение грехов; в церковном праве — также изменение силы закона в каждом отдельном случае. — *Ред.*

присягу, — богохульниками, безбожниками и, хуже того, ересиархами.

Чем должны были бы считаться члены собрания и комитета — я и выразить не умею, но, во всяком случае, так как папа, очевидно, не мог утвердить нововведения, то религиозная война против нечестивых соотечественников становилась для всех верующих католиков во Франции первейшею из священных обязанностей. Видно было, что духовенство смотрит на дело именно с этой точки зрения: когда в собрании происходили прения о церковных преобразованиях, тогда верующие епископы и аббаты не говорили ни слова; отвергая весь проект от начала до конца, они не хотели рассматривать его в подробностях и были намерены, во всяком случае, решительно отказаться от требуемой присяги. Спор поддерживался центром собрания и левою стороною; он относился к частностям; шла речь о величине жалованья, о капитулах, о том, кому выбирать епископов — народу или духовенству. Политики собрания были равнодушны к этому спору, в котором горячились и торжествовали одни янсенисты,* видевшие, наконец, осуществление своей задушевной мысли о самостоятельности галликанской церкви и о победе над ультрамонтанскими тенденциями.** Робеспьер попробовал провести мысль об уничтожении безбрачия духовенства, но собранию показалось, что это уж чересчур смело, и попытка эта осталась безуспешною.

15 июня, когда тянулись эти прения, в Национальное собрание был представлен от нимского католического союза адрес, требовавший повелительным тоном благоговения перед церковью и полного восстановления королевской власти. Католичество шло, таким образом, об руку с роялизмом, и Учредительное собрание, враждовавшее с последним, решилось разорвать всякие дружелюбные отношения и с первым. Адрес Нима был признан преступным действием мятежа. В это время на юге ежеминутно можно было ожидать сильного столкновения между целыми городами. Бордо выставил отряд патриотов против Монтобана, в котором господствовали католики, и обе партии долго стояли лагерем друг против друга, но на этот раз усилия министерства и Национального собрания отклонили или, вернее, отсрочили кровопролитие.

Рассуждения о церковных преобразованиях продолжались в Национальном собрании до 12 июля и окончились тем, что проект комитета был утвержден с теми частными изменениями или дополнениями, которые были внесены в него во время прений. Духовенство как отдельная корпорация перестало существовать. Около того же времени прекратилось существование дворянства. 19 июня прусский барон Клоотс, большой любитель либеральных эффектов, ввел в залу На-

ционального собрания толпу людей, наряженных в костюмы разных народов, и от имени всего человечества произнес речь, в которой благодарил собрание за его подвиги, и умолял Францию подать знак к освобождению всего земного шара. Президент отвечал на эту общечеловеческую речь серьезно и торжественно, а члены собрания воспользовались присутствием человечества, чтобы уничтожить последние остатки аристократизма. Об этом особенно усердно хлопотали либералы из дворян Ламет, Лафайет, Эгильон, Сен-Фаржо, которые не шутя воображали себе, что, отрекаясь от своих титулов, они совершают подвиг самопожертвования и оказывают любезному отечеству бессмертную услугу. Правая сторона поспорила и пошумела, но, по обыкновению, на ее оппозицию никто не обратил внимания, и в тот же день составлен был декрет об уничтожении всех дворянских титулов и всех орденов.

Любопытно заметить, что эта законодательная мера, не заключавшая в себе ничего осязательного и существенного, причинила храброму дворянству гораздо больше огорчения, чем те декреты, которые, после ночного заседания 4 августа, уничтожили феодальные привилегии и отняли у дворянства все связанные с ними доходы. Потерю денег можно было перенести из любви к отечеству, но потеря дворянской чести была слишком чувствительна, так что эмиграция стала значительно усиливаться после декрета об уничтожении титулов. Если Лафайет, Ламет и другие либералы того же сорта видели в этом декрете великий подвиг законодательной мудрости, то дворяне старого закала видели в нем великое поругание родовой святыни. Либералы и консерваторы из дворян сходились между собою на том, что те и другие придавали этой законодательной мере мировое значение, а Мирабо от души смеялся над обеими сторонами, которые, конечно, стоили друг друга.

Долго ли еще придется Франции в самые серьезные и торжественные минуты своей истории украшать себя сусальным золотом ложноклассических сцен и театрально-героических движений, это такой вопрос, на который может ответить только будущее; что же касается до первой революции, то в ее отдельных эпизодах, рядом с потрясающею наготою действительности, встречается много мишуры, и народ восхищается этою мишурою, добродушно упуская из виду, что все его бедствия ведут свое начало от мишурного блеска Людовиков, Генрихов, Карлов, Францисков, Филиппов и многих других светил меньших размеров.

Потешивши себя остроумною интермедиею барона Клоотса, и насладившись самоотвержением либеральных дворян, собрание обратило свое внимание на предметы серьезные. Надо

было заняться преобразованием армии, в которой, с самого начала революции, офицеры и солдаты открыто враждовали между собою и постоянно тянули в разные стороны. Чем полнее и шире развертывалась реформаторская деятельность Учредительного собрания, тем сильнее становилось неудовольствие офицеров и тем страстнее выражалась привязанность солдат к делу революции. Многие из офицеров эмигрировали, а солдаты устроили себе во всех полках клубы и требовали, чтобы им увеличили жалованье, облегчили производство в офицерские чины, предоставили контроль над полковыми суммами и отменили телесные наказания. Полковые клубы отправляли свои депутации к полковникам, а иногда и прямо к военному министру или к Национальному собранию. Депутации эти объявляли часто, что солдаты не желают повиноваться аристократам и врагам свободы. Во многих провинциях армейские полки соединялись с национальною гвардиею и праздновали вместе союзы братства, давая клятву защищать общими силами нацию, короля и конституцию. Национальное собрание постоянно ободряло составление этих союзов, называвшихся федерациями, но так как большинство офицеров вовсе не было расположено служить нации и защищать конституцию, то союзы эти увеличивали вражду между начальниками и подчиненными, вследствие чего необходимость преобразований по армии с каждым днем становилась более настоятельною.

Прежде всего Национальное собрание определило, что на будущее время все вопросы, относящиеся к величине и к устройству армии, к порядку ее пополнения, к употреблению ее в государстве, к жалованью всех чинов, к принятию на службу иностранных солдат и к военным уголовным и дисциплинарным законам, — подлежат решению законодательных собраний. Потом следовали самые преобразования: жалованье рядовых увеличено, доступ к офицерским чинам открыт всем способным людям, солдату предоставлены в мирное время все права гражданина. Но здесь, как и во всех других отраслях тогдашней государственной жизни, старина развалилась сама собою, прежде чем можно было обновить, заменить или уничтожить ее мерами законодательства. Во всех полках происходили уже частные волнения, тем более что декрет, уничтоживший дворянские титулы, превратил офицеров в решительных врагов революции и довел до крайних пределов недоверие солдат к их ближайшему начальству.

В начале августа Мирабо предложил собранию распустить всю армию и сформировать ее заново, но Марат, питавший к солдатам большую нежность за их радикальный образ мыслей, вслед за тем посоветовал в своей газете парижанам поставить восемьсот виселиц и на первую из них повесить

подлого изменника Мирабо, а на остальные — всех тех, кто подаст голос за его предложение. Марат, как известно, никогда не подавал других советов, и, что всего удивительнее, эти однообразные советы всегда приводили пролетариев в восторг, хотя, разумеется, они почти никогда не исполнялись. В настоящем случае Национальное собрание побоялось раздражить людей крайней партии, и предложение Мирабо было отвергнуто.

В последних числах августа произошла наконец серьезная тревога. В Нанси взбунтовались три полка, овладели городом и соединились с вооруженными пролетариями; к чему клонилось восстание нансийских солдат — неизвестно, потому что это восстание очень скоро было задавлено; генерал Булье собрал небольшой отряд надежного войска, пошел на Нанси и произвел такое кровопролитие, что в одном из возмутившихся полков осталось всего 40 человек. Национальное собрание, серьезно перепуганное нансийским бунтом, публично выразило генералу Булье свою признательность. Робеспьер возражал против этого решения, но его не послушали. В Париже нансийские события отозвались сильным раздражением умов против министров, которых народ считал первыми виновниками кровопролития. В сентябре собрание определило для армии порядок производства в чины. Королю предоставлялось назначать только маршалов и отрядных генералов; офицеры должны были производиться по старшинству службы; в унтер-офицеры должны были производиться способнейшие солдаты, по представлению старых унтер-офицеров роты. Наконец, к военному судопроизводству был применен институт присяжных.

XIV

Католические волнения, дворянская эмиграция, солдатские мятежи — все это, конечно, тревожило и огорчало Национальное собрание, но все эти тревоги и огорчения были незначительны в сравнении с гнетущею и неотвратимою заботою о финансах. Уходили дни и недели; пришла и прошла годовщина взятия Бастилии; отпраздновали в этот день на Марсовом поле торжество федерации для всей Франции; все это было красиво и трогательно; но, вместе с днями и неделями, быстро, незаметно и неудержимо уходили из государственного казначейства недавно отпечатанные ассигнации. К концу августа из 400 миллионов, выпущенных в апреле, не оставалось уже ничего. В конце сентября, когда министерство Неккера упало и когда на его место стало другое министерство, такое же неспособное, Мирабо предложил в собрании — выпустить еще 800 миллионов ассигнаций и употребить их на погашение государственного долга, с тем чтобы в обращении никогда не

было более 1200 миллионов бумажных денег. За мнение Мирабо стояли якобинцы; население Парижа также желало нового выпуска ассигнаций, потому что обилие денежных знаков облегчало процесс обмена и на первое время оживляло промышленность. Но так как законодатели не могли смотреть на вопросы государственного хозяйства с тою добродушною беззаботностью, которую обнаруживали в этом случае парижане, то члены Национального собрания преимущественно утешали себя тем соображением, что с 1 января 1791 года начнется для финансов новый период существования. Поэтому решено было — должное количество ассигнаций выпустить, но вместе с тем немедленно приняться за основательный пересмотр государственного бюджета и за преобразование податной системы.

Устанавливая цифры бюджета, члены собрания усердно вели дело к тому, чтобы доказать экономическую благодетельность революции; если бы они имели в виду только то обстоятельство, что декреты 4 августа 1789 года значительно увеличили народную производительность, то мнение их было бы безошибочно; но они думали, что народ этого расчета не поймет и что, на этом основании, необходимо показать ему как непосредственный результат революции прямое уменьшение в общей сумме податей. Чтобы прийти к этому результату, члены собрания были принуждены прибегать ко многим смелым гипотезам, которые своею утешительностью могли произвести приятное впечатление на публику, но вместе с тем должны были надолго упрочить путаницу в финансах. Во всех статьях расхода были произведены значительные сокращения, но можно было опасаться того, что эти сокращения по необходимости останутся только на бумаге. Так, например, на расходы по сбору податей положено 8 миллионов, между тем как, по умеренному расчету, надо было бы положить на это дело около 30 миллионов. Церкви, стоившей 170 миллионов, отведено 67. Армия с 99 посажена на 89. На пенсии вместо 29 назначено 12 миллионов. Хорошо, если этого достанет; но достанет ли?

При всех этих правдоподобных и неправдоподобных сокращениях получился общий итог обыкновенных расходов в 580 миллионов для государства и в 60 миллионов для местных потребностей департаментов. Кроме того, предвиделось в 1791 году экстраординарных расходов на 76 миллионов. Эту последнюю статью бюджета оставили совсем в стороне. Теперь надо было ухитриться, чтобы как-нибудь разложить эти 640 миллионов (580 и 60) на народ. Как их собрать? Какие преобразования ввести в податную систему? При определении расходов депутаты были расположены предполагать их неестественно скромными, а при вычислении доходов они, по

тому же самому побуждению, старались выводить цифры невероятно крупные. Они рассчитывали, например, что национальные имущества (бывшие церковные) дадут 60 миллионов дохода; некоторые пессимисты возражали им, что эти имущества управляются городскими общинами дурно и что они, по приблизительному расчету, дадут не больше 40 миллионов. Пессимистов не слушали, и расчет продолжался в том же идиллическом направлении. Таким образом нашли, что государство может получить 148 миллионов дохода, помимо податей, — тут считались доходы с национальных имуществ, с государственных лесов, с соляных источников и т. д. Стало быть, народ должен был уплатить 492 миллиона, то есть с лишком на 100 миллионов меньше, чем он платил в последний год старого порядка, не считая десятин и феодальных повинностей. Стало быть, главная цель Национального собрания была достигнута; приятное впечатление было произведено, и дело революции еще раз было зарекомендовано народу с самой привлекательной стороны. Но все-таки надо было разложить эти 492 миллиона, и тут опять пошли затруднения.

Народонаселение Парижа, имевшее ближайшее и сильнейшее влияние на все распоряжения собрания, сурово отрицало бóльшую часть косвенных налогов. Замечено вообще, что косвенные налоги бывают особенно значительны в тех странах и в те эпохи, где и когда преобладает аристократический элемент. По мере того как низшие и беднейшие классы народа, живущие трудом, приобретают себе значение в общественном организме, косвенные налоги заменяются прямыми; наконец, когда демократический элемент становится преобладающим, тогда прямые налоги делаются прогрессивными, то есть богатые граждане не только платят абсолютно бóльшую сумму денег, но они даже платят бóльший процент с своего большого дохода, чем бедные — с своего малого дохода. Почему усиление демократии ведет за собою систему прогрессивных налогов — это понятно без объяснений; заменение косвенных налогов прямыми основано на той же общей причине. Прямой налог падает преимущественно на тот капитал, который легко определить; ему подвергаются землевладельцы, чиновники, получающие определенное жалованье, капиталисты, живущие процентами с государственных бумаг; люди, живущие собственным трудом, могут в этом случае платить только подушную подать, да еще пошлину за какой-нибудь патент или билет; определить величину их годового заработка и брать с них известный процент этого заработка нет никакой возможности. Следовательно, прямой налог падает больше на капитал, чем на труд. Косвенные налоги, напротив того, падают с одинаковою силою на всех людей, нуждающихся в тех предметах, которые обложены пошлиною. А так как средневековые

правительства с особенною изобретательностью умели облагать пошлинами предметы первой необходимости, то косвенные налоги падали всею своею тяжестью на все население страны, не разбирая ни бедных, ни богатых. Для бедных они, разумеется, были тяжелее, чем для богатых. Человек, получающий в год сто тысяч рублей годового дохода, никак не съест в тысячу раз больше соли, чем работник, добывающий себе в год сто рублей; первый не съест даже вдвое больше последнего; оба они съедят одинаковое количество соли и заплатят за нее одинаковую сумму налога, из чего прямо следует заключение, что работник относительно платит в тысячу раз больше, чем миллионер. Если же работник не съест в год того количества соли, которое необходимо для организма, то он расстроит свое здоровье. Поэтому ненависть народа против косвенных налогов вообще и против соляного налога в особенности объясняется очень удовлетворительно.

После июльских дней 1789 года о взимании соляного налога нечего было и думать. В августе того же года Национальное собрание обещало уничтожить этот налог, но выразило ту мысль, что его необходимо взимать до тех пор, пока не будет введена на его место другая подать. В ответ на это мнение провинция Анжу объявила, что она против сборщиков соляного налога выставит в поле 60 000 вооруженных людей; другие провинции обнаружили такие же воинственные наклонности, и соляной налог исчез без следа. Из государственных доходов выбыло, таким образом, 60 миллионов. Табачная регалия в 27 миллионов и питейный акциз в 50 миллионов отправились вслед за соляным налогом. Налоги на пудру, кожу и железо, всего на 9 миллионов, пошли по тому же пути.

В старой Франции, на городских заставах, собирались, под названием *octrois,* пошлины за ввоз различных припасов; эти пошлины, падавшие преимущественно на вино и мясо, давали в год 70 миллионов, из которых 46 поступали в государственное казначейство, а 24 шли в пользу городов и местных больниц. В одном Париже *octrois* приносили в год государству 24, а городу 13 миллионов. В течение 1789 и 1790 годов эту пошлину продолжали собирать по-прежнему, преимущественно потому, что парижский городской совет, постоянно нуждавшийся в деньгах, не мог обойтись без этой статьи дохода; а Национальное собрание всегда старалось поддержать хорошие отношения с городским советом и вовсе не желало посягать на его финансовые средства, тем более что всякое денежное затруднение в городской кассе всею своею тяжестью обрушивалось на государственное казначейство, которое, под страхом революции, должно было выдавать деньги и кормить пролетариев. Но весною 1791 года *octrois* должны были уничтожиться; народ давно сообразил, что от этого

octroi вино становится дороже, и требования его по этому случаю сделались до такой степени настоятельными, что городской совет и Национальное собрание принуждены были уступить; *octrois* были отменены во всей Франции, и вследствие этого пришлось прибавить еще 46 миллионов к той массе налогов, которая лежала на поземельной собственности; кроме того, государство стало платить городской кассе Парижа по 3 миллиона в год, чтобы хоть отчасти вознаградить город за потерю этой важной статьи дохода; эти 3 миллиона, конечно, упали также на сельское хозяйство. Из косвенных налогов удержались только те, которые не отягощали рабочего населения; остались, таким образом, в прежней силе почтовые доходы, дававшие до 12 миллионов; пошлины за внесение процентов в реестры были увеличены с 40 миллионов на 51 миллион; введена новая пошлина в 22 миллиона за гербовую бумагу; удержаны таможенные доходы в 22 миллиона, хотя внутренние таможни были уничтожены, а тариф заграничной торговли переделан по новому плану; осталась в прежней силе государственная лотерея, приносившая 10 миллионов; законодатели понимали, что это учреждение вовсе не полезно для общественной нравственности, но Париж, любивший дешевое вино и требовавший вследствие этого отменения *octrois*, любил также сильные ощущения азартной игры и желал, на этом основании, удержать лотерею.

Когда в продолжение многих веков прикладывались всевозможные старания к тому, чтобы развратить народ до мозга костей, тогда все Солоны и Конфуции прошедших и настоящих времен, при всей добросовестности своих усилий, не сумеют в два-три года исправить народную нравственность, точно так же как никакие философы не сумеют вдруг рассеять густые-густые туманы народных предрассудков. Что портилось веками, то поправляется по меньшей мере десятилетиями. Поэтому, если благосклонному читателю не понравится что-нибудь в дальнейшем ходе революционных событий, он твердо должен помнить, — и я сто раз готов повторять ему, — что за все надо говорить спасибо старой французской монархии. Члены Конвента опустили только тот топор, который повесил над государством старый порядок и два последние Людовика в особенности. Если виноват палач, то еще более виноват судья, хотя вообще искать в истории виноватых — занятие столько же наивное, сколько и бесплодное.

Все уцелевшие косвенные налоги давали в общей сложности 110 миллионов; оставалось набрать еще 382 миллиона; для этого было определено, чтобы каждый ремесленник брал себе ежегодно патент; эта мера дала 22 миллиона; потом наложена подушная подать, и выручено 60 миллионов; затем, остальные 300 миллионов упали на поземельную собствен-

ность. — Расчеты по бюджету были окончены; на бумаге все обстояло красиво и благополучно; но в действительности предвиделось мало отрадного. — 76 миллионов экстраординарных расходов можно было игнорировать при расчете, но они от этого не теряли своей силы; смета обыкновенных расходов была по крайней мере на 50 миллионов ниже действительных потребностей государства. Опытные и знающие люди говорили, что при собирании прямых налогов окажется не менее 100 миллионов недоимки. 50+76+100=226; таким образом, при бюджете в 716 миллионов (640 обыкновенных и 76 экстраординарных расходов) оказывается дефицит в 226 миллионов — почти одна треть. — Только очень упорные оптимисты могли думать серьезно, что с 1 января 1791 года начинается для государственных финансов период благоденствия и порядка.

XV

Государственный долг, переданный Национальному собранию старою монархиею, оставался непогашенным; революция была поставлена в необходимость увеличить этот долг значительною суммою; реформируя все отрасли управления, надо было везде уничтожать наследственные должности, а владельцам этих должностей надо было выдавать денежное вознаграждение, потому что должности были, как нам уже известно, куплены у прежних правительств на чистые деньги. Весь капитал, который следовало израсходовать на это исправление старых шалостей, доходил до 1430 миллионов и, следовательно, равнялся сумме всех государственных расходов за два года. Уплатить такой *капитал* было совершенно невозможно; оставалось только причислить его к утвержденному государственному долгу и платить за него вечные *проценты;* так и сделали: к сумме ежегодно платимых процентов прибавилось, вследствие этого, еще 70 миллионов.

Ассигнации, которые предположено было употребить на погашение государственного долга, составляли единственную поддержку казначейства и по горькой необходимости тратились на текущие расходы; в июне 1791 года были издержаны все 1200 миллионов первых двух выпусков; из них на уплату долгового капитала употреблено 108 миллионов, на уплату запущенных процентов и забранных вперед доходов — 416 миллионов; на текущие расходы — 676 миллионов. Эти 676 миллионов были обеспечены национальными имуществами; но продать эти имущества можно было только один раз, стало быть, издерживая цену этих имуществ на текущие расходы, государство съедало свой капитал, а всякому известно, что тратить на житье капитал, вместо того чтобы

жить процентами с капитала, значит быстрыми шагами идти к разорению. В сентябре 1790 года Национальное собрание определило декретом, что в обращении никогда не должно быть более 1200 миллионов ассигнаций; в июне 1791 года тому же самому собранию пришлось нарушить свое собственное приказание и выпустить еще 600 миллионов. Тут уже и не пробовали определить заранее ту цифру бумажных миллионов, на которой следует остановиться; все знали в Национальном собрании и все предчувствовали в обществе, что остановиться невозможно и что, за неимением настоящих миллионов, государство будет постоянно создавать бумажные. А что будет дальше, того никто не мог решить определенно. После нового выпуска ассигнации потеряли в своем курсе от 8 до 10 процентов. Чтобы облегчить мелкие операции обмена, правительство выпустило 100 миллионов пятиливровыми билетами (1 руб. 25 коп. с <еребром>), между тем как в первых двух выпусках не было билетов мельче 50 ливров. Ассигнации проникли, таким образом, в беднейшие классы народа и вовлекли в ажиотаж работников и крестьян. Принимая какой-нибудь заказ, ремесленник должен был рассчитывать на предстоящее понижение курса; продавая воз хлеба, крестьянин мог ожидать, что в ближайшей лавке у него примут вырученные деньги не иначе, как с значительным учетом.

Можно себе представить, сколько тревоги вносили подобные обстоятельства во все крупные и мелкие сделки; не трудно также понять, какого рода влияние эта промышленная тревога должна была оказывать на общее настроение умов в народных массах. Где богатый человек рисковал частью своего капитала, там поденщик поневоле рисковал куском своего обеда; когда богач разорялся, тогда бедняк страдал от голода; а между тем новые выпуски ассигнаций были неизбежны и действительно быстро следовали один за другим; с каждым новым выпуском увеличивалось колебание в курсе; вместе с колебанием в курсе возрастало беспокойство и неудовольствие масс; отвращение к правильному и постоянному труду увеличивалось, потому что правильный и постоянный труд возможен только тогда, когда он может рассчитывать на правильное и постоянное вознаграждение.

Беспокойство, неудовольствие, шаткость ежедневных расчетов, отсутствие правильных заработков, отвращение к труду — все эти моменты составляли ту общую канву, на которой революционное движение могло рассыпать щедрою рукою самые роскошные и причудливые узоры. Все действовало заодно с революциею, и все предвещало ей в будущем много фаз тревожного и неудержимо-стремительного развития. Усилия правительства и Национального собрания остановить революцию не могли иметь ни малейшего успеха, по-

тому что и правительство и собрание, стараясь одною рукою обезоружить народные страсти, другою рукою, сами того не замечая, увеличивали раздражение умов и заготовляли материалы для нового взрыва. И новая революция действительно приближалась с неумолимою быстротою, приближалась независимо от единичных желаний или опасений, приближалась как громадное и неизбежное явление природы, вытекающее из данных условий, по слепым и безжалостным законам необходимости. Средневековое ярмо было разбито и сброшено; несмотря на это в сельском и городском населении Франции лежали еще неистощимые запасы материалов для самых всеобъемлющих переворотов.

Посмотрим, что делалось в деревнях. В июле и в августе 1789 года крестьяне почти во всех провинциях королевства принудили бывших феодалов спасаться бегством; вместе с феодалами бежали и укрылись в городах или за границею капиталы; это обстоятельство могло бы принести сельскому хозяйству много вреда, если бы капиталы в прежнее время были прилагаемы к улучшению почвы и земледельческих приемов; но так как этого в большей части случаев не бывало, то отсутствие господ и их капиталов выразилось для крестьян только в том, что они, крестьяне, избавились от многих неприятных столкновений. Закон отменил десятинные подати. Тогда крестьянин вспомнил, что многие пашни были превращены у него в луга собственно потому, что луг был обложен менее значительною десятинною податью; вспомнив это, он тотчас распахал и засеял луг, чтобы выручить хороший денежный куш за пшеницу, бывшую в то время в цене.— Отменили питейную подать. Французский крестьянин, любящий вообще заниматься виноделием, насадил тогда виноградных лоз во многие такие земли, которые были не совсем удобны для такого рода обработки. Превращение лугов в пашни должно было ослабить скотоводство; превращение пахотных земель в виноградники должно было ослабить земледелие; в том и в другом случае прочное благосостояние хозяйства приносилось в жертву более прибыльному, но более рискованному промыслу. После некоторых колебаний, после двух-трех неудачных опытов, в которых неудача происходит от непривычки пользоваться свободою в сфере своего труда, крестьянин, не стесняемый внешними препятствиями, сумеет скоро освободиться от своих убыточных предрассудков и поведет свое хозяйство расчетливо и благоразумно; колебания и неудачи не пропадут даром; но так как эти первые попытки совпадают с началом революции и так как они вносят тревогу и волнение почти в каждую крестьянскую хижину, то мы видим, что и здесь существуют задатки, из которых может развиться симпатия

к дальнейшему общественному движению. Французское крестьянство укрепилось и разбогатело, несмотря на всю тягость общественного кризиса; многие из беспорядков тревожной эпохи послужили ему в пользу; государство беднело, потому что не было в состоянии собрать необходимое количество податей, но так как подати эти оставались в доме крестьянина, то хозяйство его могло совершенствоваться и развиваться. В первые времена революции в руках крестьян оставалось ежегодно около 170 миллионов податей, и это обстоятельство в значительной степени содействовало успехам французского земледелия. Немногие крестьяне во Франции владели землею, и то, что я говорил до сих пор, относится только к этим немногим. Для того большинства, которое пробавлялось фермерством и, по недостатку средств, нанимало себе крошечные кусочки земли, отдавая за наем половину сырого продукта, — для этого большинства, составляющего сельский пролетариат, устранение феодальных повинностей оказалось незначительным облегчением. С этих неимущих людей нельзя было ничего взять, кроме повинности трудом; когда обязательный труд был уничтожен, тогда у этих людей остался досуг, но с этим досугом нечего было делать; при низком состоянии тогдашнего земледелия, при бедности крестьян-собственников, при отсутствии всякой сельской промышленности крестьяне-пролетарии редко могли пристроить себя к какому-нибудь производительному занятию; конечно, свобода труда не может на вечные времена остаться мертвым капиталом; но не может она также в одно мгновение устранить ту глубокую нищету и ту вынужденную праздность, которые обыкновенно тяготеют над рабами, только что выпущенными на волю.

Крестьяне-пролетарии были друзьями того общественного движения, которое уничтожило барщину, но они, по своей простоте, воображали себе, что настоящее движение еще впереди; они видели, что их соседи, крестьяне-собственники, извлекли из движения такие выгоды, которые им, крестьянам-пролетариям, остались недоступными; тогда они, опять-таки по своей простоте, стали воображать, что и им надо же когда-нибудь попользоваться этими выгодами и что к этому пользованию должно привести неизбежно дальнейшее развитие революции. Каждый просвещенный либерал мог бы поразить этих глупых крестьян бесчисленным множеством аргументов, взятых изо всех областей права, истории, нравственной философии и политической экономии. Он мог бы сказать им в общем результате: «Глупые друзья мои! Как вы этого не понимаете? Они — собственники, а вы — не собственники. У вас нет совсем ничего, и потому вы никак не

можете получить от революции те удовольствия, которые приобрели от нее люди, имеющие что-нибудь. Революция может изменить законы и учреждения, но если она посягнет на священную собственность, тогда это будет уже не революция, а одно безобразие».

Национальное собрание подумало, что продажа церковных имуществ может принести французской нации двойную пользу: во-первых, даст казначейству золотые горы, а во-вторых, превратит глупых пролетариев в счастливых собственников и, следовательно, в просвещенных либералов, против которых не нужно будет употреблять никаких героических лекарств. Поэтому, когда в половине июня 1790 года решено было пустить в продажу всю массу церковных имуществ, тогда Национальное собрание приказало продавать их мелкими кусками. Мера была превосходная, но на земле не бывает полного совершенства. И не может его быть, прибавляет солидный читатель[1]. У глупого пролетария совсем ничего не было, так что если бы землю продавали не десятинами, а цветочными горшками, то и тут он мог бы только украсть себе такой горшок земли, а никак не купить его. Если бы государство захотело подарить землю своему убогому детищу, то и тогда этот блудный сын мог бы пахать эту землю только собственными ногтями, потому что у него не было даже своей лопаты; я говорил уже в одной из предыдущих глав, что бо́льшая часть фермеров работали хозяйскими орудиями и хозяйским рабочим скотом; стало быть, сделавшись собственником, такой фермер все еще не превращался в просвещенного либерала и все еще искал себе в революции недозволенных удовольствий.

— Ну, — однако, — спрашивает наконец раздосадованный читатель, — что же вы с ним прикажете делать? И как же его наконец пристроить так, чтобы он не кричал и не лез на стены? И чем же тут виновато Национальное собрание?

Ах вы, мой читатель! Ах вы, мой гневный читатель! Неужели вы не знаете, что в жизни бывают такие положения, в которых решительно ничем нельзя помочь и решительно ничего нельзя сделать путного? Куда ни кинь, все клин. В подобных случаях частной жизни русский человек утешается пословицею: «Перемелется, мука будет». Перемелется-то оно точно, и мука будет непременно; но уж зато не взыщите: что попадет под жернов и из чего выделается мука — этого никто не знает заранее. Вот в таком-то положении и находились дела во Франции в конце прошлого столетия. И если бы они находились не в таком положении,

[1] И даже совсем не должно быть, прибавляю я, и оказываюсь, таким образом, солиднее всякого читателя.

тогда во Франции не было бы революции, а совершилось бы полюбовное размежевание заинтересованных сторон. Но ни одна попытка подобного размежевания в тогдашней Франции не удалась, и между заинтересованными сторонами не оказалось ни малейшей полюбовности; обнаружилось, что все интересы противоречат друг другу и все перепутаны между собою до последней крайности. Со всех сторон заговорили страсти, и каждая из этих страстей сама по себе была вполне естественна, а между тем каждая из них для своего удовлетворения должна была теснить и истреблять другие страсти. Люди разгневались друг против друга и сначала стали шуметь, а потом передрались. И больно передрались. И долго продолжалась их драка. И все это вовсе не хорошо. И вовсе не нравится ни мне, ни моему читателю. Но мало ли что нам не нравится. Многое, друг Горацио*, очень многое делается в этом мире совсем не так, как мы с тобою того желаем. Этим печальным размышлением, изумительным по своей новизне, я заканчиваю эту, XV главу, которая, по какому-то необъяснимому капризу судьбы, пропиталась небывалым легкомыслием изложения. В оправдание этого легкомыслия я могу, впрочем, поставить на вид читателю, что я все-таки тем или другим тоном выразил все то и только то, что я хотел выразить, а это, во всяком случае, заслуга немаловажная, за которую многое может мне быть прощено.

XVI

В стране, населенной полудикими пролетариями, каждый неурожай производит такие страдания, о которых не имеют понятия жители богатых и промышленных земель. Каждый неурожай во Франции XVIII столетия приводил за собою голод и общественные волнения, потому что большинство сельского населения не имело никогда никаких запасов и, живя со дня на день, тотчас встречалось лицом к лицу с голодною смертью, как только погода в каком-нибудь отношении переставала благоприятствовать успешному созреванию жатвы. В исторических сочинениях упоминается часто о таких естественных бедствиях, которые, совпадая с общественною нескладицею, увеличивают тревожное настроение умов и усиливают разнообразные беспорядки. Говоря о таких естественных бедствиях, историки обыкновенно смотрят на них как на явление совершенно самостоятельное и не имеющее ни малейшей связи с общественным положением той страны, над которою они разражаются. Мне кажется, что в этом случае, как и во многих других, историки обнаруживают трогательное отсутствие обобщающего понимания.

Объяснить и доказать это вовсе не трудно. Представьте себе, что вас застигает в дороге наша отечественная метель, украшенная двадцатиградусным морозом; вы, как человек, одаренный енотовою шубою, остаетесь здравы и невредимы, а ямщик ваш благодаря своему зипуну [1] отмороживает себе руки и ноги, приобретает антонов огонь [2] и умирает. Метель для вас обоих была одна и та же, и мороз один и тот же, но оборонительное оружие против того и другого было у вас различное, а потому и результаты получились совершенно несходные.

Размеры моей притчи о метели и ее последствиях могут быть увеличены в миллионы раз, и притча не потеряет от этого своей верности. Мы увидим тогда, что богатый, промышленный и образованный народ, счастливый по условиям своего гражданского быта [3], переносит естественные бедствия совсем не так, как переносит его народ бедный, производящий мало земледельческих продуктов и фабричных изделий, погруженный в невежество и доведенный своими историческими несчастиями до неизбежной и подавляющей апатии.

Во-первых, многие, если не все, естественные бедствия поражают бедный и невежественный народ гораздо чаще, чем богатый и образованный. Понятно также, что это обстоятельство находится в прямой зависимости от большего или меньшего совершенства предохранительных мер, а количество и качество этих мер, очевидно, обусловливается общим положением народа. Голод также посещает всего чаще те места, в которых искусство человека слабо и в которых хлебные зерна совершенно предоставляются на волю естественных сил земли и атмосферы; чем безобразнее земледельческие орудия, чем допотопнее системы хозяйства, тем хуже родится хлеб и тем чаще происходят неурожаи. Моровая язва и разные другие повальные болезни идут обыкновенно вслед за голодом и разражаются с особенною силою в военных лагерях или в городах *, в которых чистый воздух составляет роскошь, доступную только для самого ограниченного меньшинства. Известно, что холера, лихорадки, тифы появляются сначала в самых бедных и грязных кварталах, а потом из лачуг переходят в роскошные отели, напоминая обитателям последних, что в лачугах прозябают и дышат животные совершенно одинаковой с ними организации и что

---

[1] «Зипун одежда честная» и т. д. (Объявление об издании «Времени» в 1863 году.)

[2] Его должно утешить, что благодаря тому же зипуну он, кроме антонова огня, приобрел себе еще сочувствие либеральных журналистов.

[3] Не мешает заметить, что все эти привлекательные эпитеты имеют только относительное значение. Англичане счастливы и т. д. в сравнении с индусами, но абсолютно счастливых народов до сих пор еще не бывало.

когда забыта всякая солидарность между различными частями большой человеческой семьи, тогда общие болезни образуют между ними единственную и в то же время неразрывно-крепкую связь. Известно, что голод и язва постоянно работают на Востоке, где массы подавлены нищетою и рабством; известно, что англичане своим управлением производят в Ост-Индии голод и повальные болезни, которые не были известны тамошним жителям до тех пор, пока Ост-Индская компания не приняла на себя человеколюбивый труд обирать индуса до последней нитки и называть это обирание распространением европейской цивилизации между грубыми варварами. Все это — во-первых. А *во-вторых,* надо взять в расчет, что если над богатым и образованным народом стрясется такая беда, которую нельзя отвратить никакими предосторожностями, то богатство, образованность и вытекающая из них неутомимая деятельность дают народу возможность перенести это бедствие без больших потерь и потом с изумительною быстротою исправить понесенные убытки. Случилось, положим, землетрясение или наводнение; тотчас появляются со всех сторон вспомоществования и пожертвования; но они даже и не нужны, потому что все погибшие здания были застрахованы; кто из жителей разорился, тот может найти себе работу, и находит ее в промышленной стране несравненно легче, чем мог бы сделать это в таком месте, где царствует невозмутимый застой.

Все это отступление от главного предмета клонилось к тому, чтобы показать, что отношения человека к явлениям природы подчинены тем отношениям, которые установились в течение веков между человеком и человеком. Можно сказать без преувеличения, что счастье человека зависит *исключительно* от особенностей его общественной жизни. Когда каждый человек будет относиться к каждому другому человеку совершенно разумно, тогда из этих разумных отношений выработается такая сила, которая победит навсегда всякие враждебные влияния природы. В подтверждение этой мысли достаточно будет привести один крупный пример. Сравните южные части Европы с северными, и вы увидите, на какой стороне находится перевес в деле народного благосостояния. Народ счастливее на Скандинавском полуострове, чем на Пиренейском; счастливее в Дании, чем в Италии; в Англии, чем в Турции; и именно во столько раз счастливее в первых странах, чем во вторых, во сколько раз климатические условия благоприятнее во вторых, чем в первых.

Окончательный вывод наш, парадоксальный по своей форме, будет тот, что не природа, а история производит неурожаи, пожары и повальные болезни. Этот вывод уже прямо относится к нашему главному предмету. Во Франции

в 1788 году был неурожай, и последствия этого неурожая во многих отношениях содействовали усилению революции. Для нас вовсе не интересно то обстоятельство, что солнечные и дождливые дни следовали в этом году одни за другими в том или в другом порядке; но для нас уже интересно и важно то, что неблагоприятная погода испортила жатву на значительном пространстве французской территории. Для нас еще важнее и еще интереснее то, что одна испорченная жатва произвела во Франции сильные народные страдания и такие волнения, которые заняли свое место в истории. Конечно, все прежние правители Франции своими совокупными усилиями не могли навлечь на свою родину градовую тучу или отклонить от ее засыхающих полей благотворное дождевое облако; однако не подлежит сомнению, что самый климат страны может быть испорчен, например, нерасчетливым вырубанием лесов, — или улучшен, например, осушкою болот. Если прежние правители Франции, по незнанию или по небрежности, упускали из виду леса и болота, то даже в деле погоды эти прежние правители являются виновниками позднейших бедствий.

Если мы перейдем к вопросу о том, почему люди подействовали разрушительно на жатву, то тут участие прежних правительств в бедствиях настоящей эпохи сделается еще ощутительнее; если бы поля были вспаханы глубже, если бы они были орошены каналами, если бы между нивами были рассажены расчетливым образом деревья, то влияние засухи было бы ослаблено в значительной степени. А почему земля была дурно вспахана, почему не было каналов, почему не было аллей? Да потому, что у крестьян не было ни хороших орудий, ни рациональных познаний; а этого не было потому, что народ вообще был беден до последней степени и задавлен самым глубоким невежеством. А почему одна испорченная жатва производила в тогдашней Франции голод, опасный для самой жизни целых миллионов людей? Очевидно, потому, что народ жил почти так, как живут теперь остяки, не оставляя ничего про запас, съедая в один год все, что не отнято из их рук сборщиками податей и господских повинностей, и находясь, таким образом, постоянно в безусловной зависимости от ежегодных щедрот земли и благоприятной погоды. А если земля ничего не дает и если погода окажется неблагоприятною, тогда делать нечего — хоть с голоду умирай.

Таким образом, миллионы французского народа до минуты собирания жатвы находились каждый год в положении игрока, поставившего на карту свою жизнь и жизнь своего семейства и обязавшегося в случае проигрыша уморить голодною смертью себя и своих домашних. В случае же вы-

игрыша счастливому игроку дается отсрочка, и ему позволяется быть уверенным, что он не умрет с голода раньше будущего года. Этою годовою отсрочкою исчерпываются все счастливые шансы, которые мог извлечь французский крестьянин-пролетарий из блистательнейшего выигрыша. И каждый год возобновляется та же игра, с теми же приятными шансами. Хочешь не хочешь, а играй, пока тебя таскают ноги и пока действуют у тебя руки.

Я говорил в одной из предыдущих глав об ажиотаже, проникнувшем в народные массы вследствие выпуска мелких ассигнаций, постоянно колебавшихся в своем курсе. Я выставлял вредные последствия этого ажиотажа, но спрашивается, какой же ажиотаж, по своему потрясающему действию на человеческие нервы и по своему вредному влиянию на общественную нравственность, может сравниться, хотя в самой отдаленной степени, с этою колоссальною и вечною игрою, составлявшею собою всю жизнь огромного большинства французских крестьян? Эта колоссальная и вечная игра выдумана и привита к жизни французского народа старою монархиею. В эту игру входят самые разнообразные ингредиенты: тут занимает первое место громкая слава французского оружия; тут бросается в глаза блеск французского двора; тут сияют великолепные любезности (galanteries) Франциска I, Людовика XIV и Людовика XV; тут ласкают зрение парки, дворцы и фонтаны разных королевских резиденций; тут мы с глубоким уважением преклоняемся перед картинными галереями и мраморными статуями, свидетельствующими о просвещенном вкусе и о весьма понятной щедрости прежних правителей; тут придворные поэты, придворные костюмы, придворные лакеи, придворные шуты и придворные животные; тут рябит в глазах от золота и пестроты; тут, одним словом, собрано все, что довело государственные финансы Франции до неотразимой катастрофы; тут все, что в продолжение тысячелетия увлекало в свой широкий и глубокий поток трудовые копейки всякой негодной и оборванной сволочи; и это все — этот блеск, этот поток, эта причина финансовой катастрофы, — лишив земледельца всякой собственности, уничтожило наконец самую возможность труда и засушило, таким образом, последний источник, из которого простой человек мог извлекать себе средства к существованию.

Я говорю, что уничтожена была самая возможность труда, и говорю это потому, что труд и азартная игра — две вещи совершенно различные. Трудом может называться только тот процесс, в котором известному напряжению мускулов и нервов соответствуют известные, то есть точно определенные, результаты. Чем более это соответствие между напряжением и результатами подвержено колеба-

ниям, тем сильнее самая сущность труда отравляется элементом риска. Мы видели, как силен был элемент риска в жизни и ежедневной деятельности французского крестьянина прошлого столетия; поэтому нас не должно изумлять то выражение, что хозяйство старой монархии уничтожило для огромной массы французских граждан самую возможность труда. Крестьянин работает один год и сыт; работает другой год точно так же усердно и умирает с голода. На что же это похоже? Ведь это вот что значит: я ставлю одну карту — мне ее дают, я ставлю другую — ее бьют; а для того, чтобы не умереть с голода, мне необходимо, чтобы мне дали подряд пятьдесят или шестьдесят карт; сколько лет я проживу, столько карт; каждый год по карте. Спрашивается, труд ли это или игра? Спрашивается, кроме того: что составляет, при подобных условиях, нормальный уровень моего благосостояния? Для того чтобы я был постоянно сыт, мне необходим невозможный ряд постоянных удач. По теории вероятностей я могу только ожидать, что количество счастливых карт будет равняться количеству несчастных. Стало быть, один год я сыт, а другой год умираю с голода, потом опять сыт и опять голодаю; в среднем выводе оказывается, что я постоянно нахожусь впроголодь, потому что занимаюсь не трудом, а игрою.

Мы встречаем в числе многих других элементов, вошедших в состав французского революционного движения, дороговизну хлеба, произведенную неурожаем 1788 года. Встречаясь с этим фактом, мы сначала можем подумать, что революция произведена отчасти средневековым прошедшим, а отчасти неодушевленными силами природы. Мы можем отнести голод и дороговизну к такому порядку фактов, который не имеет ничего общего с действиями и ошибками людей. Но все это мы сделаем только сначала. Вглядевшись внимательно в причинную связь событий, мы тотчас сообразим, что рабская зависимость сильного и даровитого народа от перемен погоды составляет, быть может, самое замечательное проявление той беспомощности и искусственной хилости, до которой этот народ был доведен блестящими подвигами своих предводителей. «Quand un français a la colique, il dit que c'est la faute du gouvernement (Когда у француза болит живот, он говорит, что в этом виновато правительство)» — этими словами сами французы превосходно характеризуют свою привычку сваливать на правительство всякую заботу и упрекать правительство за все несовершенства жизни. Эта привычка сама по себе вовсе неполезна, но она недаром укоренилась во французском народе; она составляет неизбежный вывод из бесконечно-длинного ряда пережитых опытов; правительство старой монар-

хии особенно сильно содействовало развитию этой привычки; мешая всякой инициативе, путаясь во все, извлекая деньги из всех возможных и невозможных источников, не делая на эти деньги ничего полезного для общества, правительство старых королей должно было нести ужасную ответственность за все зло, которое совершалось на французской территории, и за все препятствия, которые, сознательно или бессознательно, подавляли возникновение и развитие всякого добра. Когда у французского мужика в прошлом столетии болел живот от древесной коры и от разных других изящных веществ, исправляющих должность муки, тогда этот француз имел полное основание сказать, что «в этом виновато правительство». *Ancien régime*[1], державшийся по милости этих правительств в продолжение многих столетий, испортил во Франции все, начиная от народной логики и кончая народными желудками, начиная от государственных финансов и кончая погодою, начиная от междучеловеческих отношений и кончая формою костюмов. Все было перековеркано историею, и все результаты этого хронического коверкания обрушились на людей старой монархии тогда, когда им пришлось сводить счеты за себя и за своих великолепных предшественников. Природа тут ни при чем. Неурожай, голод, волнение — все это произведено не природою, а историею. Везде и на всем лежала во Франции мертвящая рука старой монархии; нет того климата, которого бы она не испортила, нет той почвы, которой бы она не истощила.

XVII

Неурожай 1788 года произвел дороговизну хлеба во время 1789 года; различные провинциальные и городские управления, заботясь о продовольствии своих жителей, перебивали друг у друга существующие запасы и своим соперничеством еще более поднимали цены, которые и без того были очень высоки. Эти торговые операции городских и провинциальных управлений были вызваны необходимостью и, конечно, не заключали в себе ни малейшего лукавого умысла; но народ страдал; его тревожили разные зловещие слухи, ему было неудобно и невозможно рассуждать благоразумно и спокойно о причинах дороговизны; он знал, что ему в прошедшем делали много зла аристократы и купцы; понятие об этих двух классах людей, присвоивавших себе силою или хитростью продукты его труда, тесно связывалось в его уме с ощущением боли; народу было больно; значит, — рассуждал

---

[1] Старый порядок *(франц.)*. — *Ред.*

народ,— тут действуют купцы и аристократы; не трудно было найти, как они действуют. Аристократы, — думал народ, — скупают хлеб из злости, чтобы отомстить мужикам за низвержение феодализма, а купцы делают то же самое из корыстолюбия, чтобы набить себе карманы, пользуясь народным бедствием. А правительство слабо, правительство этого не знает, правительство обмануто врагами народа.

Ряд подобных рассуждений, вытекающих прямо и непосредственно из чувства страдания, должен был неизбежно привести к тому практическому выводу, что народу следует самому взяться за свое дело, самому расправиться с своими обидчиками, самому прекратить гнетущую дороговизну. Примеры народной расправы встречаются в это время везде, где только встревоженному народу попадается подозрительное лицо, а кого именно народ считал подозрительным, это было так же трудно определить, как и то, кого именно он считал неподозрительным. Народ действовал по вдохновению, и порывы этого вдохновения были всегда довольно разрушительны и часто попадали туда, куда им совсем не резон было попадать. Случалось нередко, что какой-нибудь несчастный агент городского или провинциального ведомства, отправленный своим начальством для закупки хлеба, попадался в руки вдохновенной толпы патриотов, которые, не выслушивая никаких оправданий, вешали усердного чиновника как злонамеренного барышника, производящего искусственную дороговизну хлеба. Всякий хлебный торговец находился в постоянной опасности, всякий булочник мог ежеминутно ожидать, что лавка его будет разграблена голодным народом; в городах местное начальство принимало свои меры для того, чтобы хлеб постоянно оставался доступным по своей цене беднейшему классу жителей; но в деревнях дороговизна была так обременительна, что толпы крестьян с оружием в руках предпринимали нашествие на соседние города, грабили амбары и булочные, сталкивались с отрядами национальной гвардии и нередко побеждали блюстителей порядка и защитников собственности.

Летом 1790 года эти крестьянские волнения стали принимать очень серьезные размеры. Те провинции, которые в прошлом, 1789 году отличались особенною яростью в восстании против дворянских прав, отпраздновали годовщину этого первого восстания новым движением, направленным сначала против дороговизны хлеба, а потом против привилегий богатства вообще. Центральные провинции королевства: Бурбонне, Берри, Ниверне, Шароле покрылись вооруженными толпами сельских пролетариев, которых требования стали делаться обширнее и настоятельнее по мере того, как они сами стали чувствовать свою силу и свою многочислен-

ность. Сначала поднявшиеся крестьяне требовали от правительства, чтобы оно установило таксу на хлеб и прекратило действием своей власти преступные проделки аристократов и барышников, скупающих хлеб и производящих искусственный голод; это требование было совершенно неисполнимо, потому что преступные проделки существовали только в воображении народа; но на этом дело не остановилось. Крестьяне взяли приступом город Десиз и потребовали себе общего понижения арендной платы; вслед за тем явилась идея, что арендную плату можно совершенно отменить; пролетарии захотели сделаться собственниками, и по волнующимся провинциям пробежала с изумительною быстротою мысль об поземельном законе, то есть о таком разделе полей, при котором уничтожились бы как сельский пролетариат, так и колоссальная поземельная собственность.

Аграрный закон составляет краеугольный камень всякой коммунистической системы; это любимый конек всех коммунистов со времен Ликурга, а пожалуй, и раньше. Каждый раз, когда в течение веков произносились серьезно эти два слова: «аграрный закон», — они делались сигналом самой неумолимой борьбы между достаточными гражданами и оборванною сволочью, между правами собственности и посягательствами коммунизма, между практикою и заразительною утопиею. До сих пор победа постоянно оставалась на стороне исторического права; так точно случилось и в 1790 году. В Национальном собрании партия коммунистов почти не существовала: напротив того, собственники пользовались в нем всесильным влиянием; поэтому тенденции сельских пролетариев произвели в собрании величайший ужас и возбудили против себя сильнейшее отвращение. Решено было всякие подобные тенденции подавлять вооруженною силою и всякую мысль об аграрном законе считать возмутительным преступлением. Национальная гвардия с удвоенною энергиею стала действовать против самородных коммунистов, и к зиме 1790 года движение пролетариев против собственности совершенно утратило свой грозный характер и опять раздробилось на разъединенные и отрывочные акты народной расправы с амбарами, булочными и так называемыми барышниками. Но всякий раз как собрание начинало рассуждать о необходимости строгих мер, — адвокат Робеспьер из Арраса вставал с своего места, отправлялся на трибуну и начинал говорить; красноречие этого оратора не поражало слушателей; тема его речей в подобных случаях была постоянно одна и та же; но именно это однообразие составляло силу этого человека и постепенно, неизгладимыми чертами, врезывало его образ и весь строй его идей в ум тех слушателей, которые толпились на галереях. Робеспьер постоянно говорил

о страданиях народа, постоянно выводил из этих страданий все беспорядки и постоянно, всеми силами, сопротивлялся приложению строгих мер. Ему редко удавалось доставить своему мнению победу в собрании, но народ твердо помнил имя, наружность и идеи своего неутомимого защитника. В собрании Робеспьер оставался дюжинным оратором, но в Париже и во Франции он был уже сильным человеком. В характере своих речей Робеспьер применялся к требованиям обстоятельств и к понятиям своих товарищей-депутатов, на которых он старался действовать; ни республиканских, ни коммунистических идей не встречалось в его рассуждениях; единственным основным мотивом, из которого выводились все вариации, было для Робеспьера уважение к народу, сочувствие к его страданиям, стремление возвысить его благосостояние кроткими и гуманными распоряжениями. Такие тенденции не могли никого озадачить в Национальном собрании, а между тем, когда другие депутаты говорили о необузданном своеволии крестьян, о их жестокой дикости и необходимости действовать против них штыками национальной гвардии, тогда практическое различие между речами Робеспьера и произведениями других ораторов обозначалось очень явственно, и народ в Париже и в департаментах, вероятно по известной уже нам простоте своей, находил, что один Робеспьер говорит настоящее дело.

Другой любимец французского пролетариата, Марат, не умел или не хотел держаться осторожной и выжидательной политики Робеспьера; пренебрегая всякими приличиями, отбрасывая в сторону всякую дипломатическую мягкость выражений, Марат неутомимо проповедовал в своей газете «Ami du peuple»[1] истребительную войну неимущих граждан против аристократов, против купцов, против богачей, против собственников, против национальной гвардии, против Учредительного собрания, против всех и против всего, кто и что отделяло пролетариев от верховной власти в государстве и от полного наслаждения благами жизни. Марат не смущался даже тою мыслью, что пролетарии, быть может, не останутся победителями в этой борьбе со всеми властями и высшими классами общества; Марат не хотел и не мог сообразить, что на стороне высших классов находится в данную минуту несомненный перевес вооружения и организации; он не хотел понять, что собственник будет сражаться за свою собственность с мужеством отчаяния.

Был ли Марат в полном уме или страдал он расстройством мозга, это такой вопрос, который может быть очень ин-

[1] «Друг народа» *(франц.)*. — *Ред.*

тересен для специалиста по части душевных болезней; я замечу только, что его пламенный протест неотразимо увлекал толпу. Масса пошла за людьми, подобными Марату и Робеспьеру; прежние кумиры: Бальи, Лафайет, Мирабо, стали казаться массе изменниками и врагами; те классы общества, которые группировались вокруг этих бывших кумиров, стали также считаться притеснителями народа и прямыми преемниками уничтоженных аристократов. Между буржуазиею и низшими слоями народа произошел окончательный разрыв, который продолжается до сих пор и которого последствия еще не исчерпаны событиями нашей эпохи. Этот разрыв обнаружился в самом Париже тотчас после победы третьего сословия, после взятия Бастилии и после сформирования национальной гвардии. Буржуазия хотела водворить порядок, а народ хотел продолжать беспорядки; буржуазия хотела охранять собственность, а народ, которому нечего более охранять, хотел завоевать собственность; на стороне буржуазии находились все кроткие добродетели человека и гражданина; на стороне народа — все буйные пороки голодной собаки и отверженного каторжника. Все это прекрасно! Честь и слава буржуазии, штыки и позор народу! Но именно потому, что буржуазия сияла красотою и честностью, а народ поражал зрение безобразием и гнусностью,— и именно потому, между народом и буржуазиею не могло быть ни союза, ни примирения. Борьба между ними была так же неизбежна, как борьба между светом и тьмою, между Ормуздом и Ариманом*. Парижане давно поняли это, но провинциалы, которым всегда суждено получать и носить парижские моды годом позднее, сообразили это обстоятельство только во время крестьянских волнений 1790 года.

Тут действительно мудрено было не сообразить. Единственная вооруженная сила, которую встречали сельские пролетарии, называлась национальною гвардиею и состояла из горожан, обязавшихся защищать конституцию и охранять тишину и спокойствие. При каждой встрече национальной гвардии с крестьянами штык национального гвардейца попадал крестьянину либо в живот, либо в грудь, и так как эти опыты в течение лета 1790 года производились во многих местностях Франции чуть ли не каждый день, то самая упорная вера в единодушие французской нации должна была наконец поколебаться, совершенно независимо от декламации демократических ораторов и от газетных статей демократических журналов. Каждая старуха и каждый ребенок увидели и поняли наконец, что люди, хорошо одетые и хорошо вооруженные, враждуют с оборванною сволочью, вооруженною разным дрекольем; и враждуют эти две партии не в одном месте и не при каком-нибудь отдельном случае,

а враждуют везде и при каждой встрече; стало быть, одни хотят так, а другие совсем иначе; чтобы дойти до такого заключения, надо было только видеть и слышать то, что делалось в каждом городке и в каждом селении тогдашней Франции; можно было не слыхать ни одной речи Робеспьера и не читать ни одной статьи Марата, и все-таки понимать, что буржуазия и пролетариат не ладят между собою и что примирение между ними совершенно не в порядке вещей. Проявление этого решительного разлада между приличными гражданами, с одной, и людьми без панталон, с другой стороны, составляет самый важный и, может быть, единственный важный результат крестьянских волнений 1790 года. Аграрный закон, конечно, остался неосуществленною мечтою сельских пролетариев, но зато ненависть к буржуазии, таившаяся до сих пор в парижских предместьях, разлилась по всем департаментам и просочилась в самый темный и грубый класс пассивных граждан. Эта ненависть положила широкое основание будущему господству санкюлотизма.

XVIII

Продажа церковных имуществ, которая, по соображениям добродушных законодателей, должна была уничтожить пролетариат и осчастливить бывших пролетариев, начала обнаруживать свое влияние в конце 1790 и в начале 1791 года. Продажею заведовали местные муниципалитеты, которым предоставлена была за хлопоты шестнадцатая доля выручки; продавать велено было мелкими кусками; формальная сторона делопроизводства была упрощена до последней возможности; задатки были назначены самые умеренные, остальная часть суммы рассрочивалась на долгие сроки; уплата принималась не только звонкою монетою и ассигнациями, но и разными другими государственными бумагами. Словом, были приняты все меры для того, чтобы привлечь покупателей и сделать приобретение земель доступным для простых и бедных людей. Покупателей действительно явилось очень много, так что, в конце сентября 1791 года, ценность проданных имуществ доходила уже до 964 миллионов. Общий результат был утешителен, и подробности отличались также самою приятною наружностью, потому что покупателями являлись большею частью крестьяне, которые, приобретая себе недвижимую собственность, навсегда должны были расстаться с гибельными тенденциями, свойственными пролетарию и самородному коммунисту. Так по крайней мере можно было думать. Но здесь случилось то, что случается почти везде и почти всегда. Вся выгода операции досталась не государству и

не трудящемуся классу граждан, а разным крупным и мелким аферистам и спекулянторам. Спекулировать в тогдашней Франции было, конечно, все равно, что курить сигару, сидя на раскрытой бочке пороха; взрыв народных страстей мог ежеминутно разнести вдребезги всякую спекуляцию и стереть в порошок самого спекулятора; каждая спекуляция могла показаться подозрительною какой-нибудь группе патриотов, и тогда никто не мог бы поручиться за безопасность предприимчивого гражданина; но так как неразборчивый гнев патриотов поражал одинаково часто и одинаково сильно и честных людей и бессовестных мошенников, то для человека, любящего пускаться в рискованные и не совсем чистые предприятия, не было побудительных причин обуздывать свои размашистые наклонности. А если оставить в стороне опасность, которая, впрочем, была одинаково сильна для спекуляторов и для неспекуляторов, то, конечно, придется сознаться, что тогдашняя Франция представляла необъятно широкий простор для самых разнообразных проявлений финансовой гениальности со стороны отдельных граждан. Политическое и социальное брожение, колеблющийся курс ассигнаций, продажа огромной массы имуществ, неопытность огромного количества крестьян, стремившихся к быстрому обогащению, бессилие судебной власти, равнодушие общественного мнения к гражданским и коммерческим процессам и вообще ко всему, что не входило в сферу животрепещущих политических вопросов, — все это, вместе со многими другими местными и временными условиями, создавало в тогдашней Франции такой океан мутной воды, в котором каждый опытный и смелый рыбак мог наловить себе пропасть крупной и мелкой рыбы. Продажа церковных имуществ подала повод к устройству очень простого рыболовного снаряда, который, несмотря на свою простоту, действовал в этих департаментах с самым блистательным успехом.

Рыбак, или, иначе, спекулятор, давал подставному лицу из крестьян небольшую сумму денег; подставное лицо это являлось на торги, покупало на свое имя участок земли и отдавало врученную ему сумму в задаток; тогда спекулятор в купленном имении начинал хозяйничать по-своему; лес вырубался, строения продавались на слом, и вообще из имения выжималось на скорую руку возможно большее количество денег; данный задаток, конечно, возвращался в карман спекулятора с тройною или четверною прибылью; затем никто не думал о том, чтобы вносить в положенные сроки остальные доли покупной суммы; когда все сроки были таким образом пропущены, тогда муниципалитеты, конечно, объявляли продажу недействительною и отбирали имения у несостоятельных покупателей, но в это время дело уже было

сделано, и пойманная рыба находилась в полной сохранности. Государство получало обратно только то, что спекулятор не мог унести в своем бумажнике; прежнее число гектаров оставалось на месте, но в каком положении были эти гектары, об этом уже лучше было и не спрашивать; имение было превращено в пустыню и едва стоило половины прежней своей цены; ответственным лицом за произведенное опустошение оказывался безграмотный и нищий крестьянин, с которого нечего было взять, а настоящий рыболов со всею собранною добычею был в это время уже далеко и прилагал свои капиталы и свое искусство к какому-нибудь другому общеполезному предприятию.

Кроме таких подвигов чистого мошенничества, во время продажи церковных имуществ совершались многие другие спекуляции, гораздо более невинные, возникавшие единственно потому, что финансовая предприимчивость носилась в воздухе эпохи. Обильный повод к разнообразнейшим биржевым фокусам и проделкам подавали ассигнации, которые правительство обязалось принимать в уплату за продаваемые имущества, наравне с звонкою монетою. Тогдашние ассигнации, как известно, не имели обязательного курса; их принимало по нарицательной цене только правительство, связанное своими обещаниями; при всех сделках между частными людьми ассигнации всегда стояли ниже звонкой монеты, и курс их колебался, сообразно с биржевыми известиями и смотря по общей физиономии политических обстоятельств. При каждом новом выпуске ассигнации падали в цене; такое же понижение происходило при каждом слухе о войне, о реакции, о грозных замыслах эмигрантов и вообще при каждом верном или выдуманном известии о таком событии, которое, угрожая всему делу революции, могло превратить все ассигнации революционного правительства в негодные и бессмысленные лоскутки бумаги. Каждое чувствительное понижение в курсе ассигнаций было жестоким и разорительным ударом для государственного казначейства; при каждом таком положении оно теряло миллионы; вознаградить эту потерю можно было только новым выпуском ассигнаций, а новый выпуск неизбежно вел за собою новое понижение, новую потерю, опять новый выпуск, и т. д. до бесконечности, вроде того, как в периодической дроби первая цифра периода неизбежно ведет за собою все остальные.

Искренним друзьям революции следовало желать, чтобы ассигнации возвышались в цене и сравнялись бы наконец с звонкою монетою, потому что только при этом условии могли поправиться государственные финансы, составляющие важнейшую опору возникшего общественного здания. Но после продажи церковных имуществ оказалось, что у многих

искренних друзей революции частный экономический интерес совершенно расходится с общим политическим и что, при этом разладе между интересами, близорукое стремление к личной выгоде одерживает решительный перевес над дальновидною политическою тенденциею. Покупатели церковных имуществ, из чувства личного самосохранения, должны были всеми силами защищать дело революции, потому что всякая реакция непременно восстановила бы старое устройство церкви, отобрала бы назад все проданные поместья и, быть может, уничтожая совершившуюся продажу, не возвратила бы даже покупателям заплаченных денег на том основании, что покупать церковные земли свойственно только нечестивым негодяям, которые должны быть наказаны за свою революционную безнравственность. Это вероятие не было упущено из вида покупателями, которые вообще ожидали от всякой реакции еще гораздо больше ужасов и нелепостей, чем сколько она могла натворить в действительности. Таким образом, не только все симпатии покупателей были на стороне революции, но даже и правильное понимание собственных выгод обязывало их поддерживать горячо и добросовестно общее дело всего французского народа. Они были искренними друзьями революции, но, подобно многим искренним друзьям, они при случае, по простоте или по практической сметливости, были вовсе не прочь попользоваться на счет возлюбленного друга и с большим удовольствием наносили громадные убытки государственным финансам, чтобы увеличить свое частное благосостояние копеечною поживою. Так как правительство принимало в уплату ассигнации по нарицательной цене, то покупателю имуществ было очень выгодно, чтобы ассигнации понижались; при понижении курса покупатель имуществ мог приобрести ассигнации дешево, отдать их правительству не по своей цене, а по нарицательной, получить, таким образом, приличный барыш и оставить за собой имение за половинную цену. Но покупателей было очень много; желания их все клонились к тому, чтобы понизить курс ассигнаций; в числе покупателей были такие ловкие люди, которые, не ограничиваясь одними желаниями, умели и старались действовать в этом направлении; усилия одних и желания других оказывали чувствительное давление на общественное мнение, и ассигнации падали, и казначейство теряло миллионы, и тревога распространялась в обществе, и биржевая игра окончательно сбивала с толку все население французского королевства, начиная от банкира, властвующего на бирже, и кончая сельским пролетарием, для которого удачная спекуляция воплощалась в лишней луковице, прибавленной к обеду.

При таком положении дел продажа церковных имуществ не могла принести чувствительной пользы классу безземельных крестьян. Эти люди, привыкшие смотреть на поземельную собственность как на магический талисман, открывающий доступ ко всем благам и наслаждениям жизни, стали напрягать все усилия, чтобы приобрести себе при продаже уголок земли. Уступая их пламенным желаниям, муниципалитеты крошили поместья на мельчайшие участки и делали это тем охотнее, что такая мелочная продажа давала в общей сумме самые значительные выгоды, далеко превышающие тот результат, которого можно было бы ожидать от продажи гуртом. Крестьяне были также в восторге и, стремясь к великому званию собственников, обирали себя до последней нитки, чтобы внести требуемый задаток. А потом? Потом крестьянин оказывался сам-друг с землею, без орудий, без рабочего скота, без денег и даже иногда без хозяйственных построек, потому что муниципалитеты крошили участки без милосердия и в одни руки продавали усадьбу с огородом, а в другие — кусок полевой земли. Могло ли из всего этого произойти в ближайшем будущем какое-нибудь действительное улучшение в материальном благосостоянии французских поселян? Не обладая особою дальновидностью, можно было предвидеть и предсказать заранее, что пролетарии, ухлопавшие свою последнюю копейку на уплату задатка, не получат от своей возлюбленной собственности никакого удовольствия и ни за что не приобретут в ближайшем будущем тех утонченных инстинктов консерватизма, которыми кроткий собственник отличается от буйного коммуниста.

Надежды Национального собрания на продажу церковных имуществ как на средство поправить финансы и умиротворить безземельных крестьян не осуществились; желание остановить революционное движение оказалось неисполнимым; стремление успокоить народ и утвердить на прочных основаниях господство буржуазного либерализма находилось в явном противоречии с материальным положением и с умственным настроением народных масс. Единственную силу буржуазной политики составляли штыки национальной гвардии и речи ораторов, говоривших в Национальном собрании. Речи были убедительны, а штыки были еще убедительнее; но, с одной стороны, у эмигрантов и у католиков, а с другой стороны, у якобинцев и у пролетариев не было тоже недостатка ни в речах, ни в оружии. Если мы вспомним, что перевес числа и отчаянной энергии был на стороне пролетариата, то нам не трудно будет сообразить, кому из трех партий принадлежало ближайшее будущее.

XIX

Со времени взятия Бастилии городское управление Парижа находилось в руках революционных властей, установившихся в день восстания; положительный закон о городском управлении состоялся летом 1790 года, и обсуждение этого закона в Национальном собрании подало повод к горячим столкновениям между двумя главными лагерями политиков. Либералы из буржуазии хотели, чтобы исполнительная власть принадлежала мэру и его комитету, а законодательные распоряжения и контроль были разделены между большим и малым советом *. Чистым демократам это не понравилось: они хотели, чтобы собрания секций заседали постоянно, чтобы эти собрания обсуждали каждый день текущие вопросы и чтобы мэр приводил в исполнение приказания, отданные в секциях большинством голосов.

Не трудно понять, какие последствия должны были выйти из такого устройства: в постоянных собраниях секций могли бы участвовать только те граждане, которые делали из текущей политики занятие всей своей жизни; кто имел хозяйство, свои торговые дела, свою промышленность, тот не мог просиживать в секциях целые дни и повторять эти заседания каждый день. Таким образом, предводителями и главными членами секционных собраний должны были сделаться самые заклятые агитаторы, для которых революция только что начиналась и которые считали изменником каждого гражданина, способного утомиться тревогами общественной деятельности. План чистых демократов не мог послужить основанием для прочного и постоянного устройства городского управления; было бы нелепо устроивать управление так, чтобы в нем не могли принимать участия полезные и трудящиеся граждане, которые по всем вопросам городского благосостояния были заинтересованы гораздо сильнее и были гораздо более компетентными судьями, чем политические ораторы всевозможных цветов и оттенков. Демократы понимали это не хуже своих противников, и именно потому-то они и настаивали на применении своего плана, что видели его непрочность. Самое существенное различие между умеренными либералами и чистыми демократами заключалось в то время именно в том, что первые хотели *уже* строить и утверждать прочный порядок, а вторые хотели *еще* разрушать и покуда увеличивать беспорядок.

Смешно было бы предположить в чистых демократах беспричинную любовь к беспорядку ради самого беспорядка; они тоже хотели в будущем и спокойствия, и тишины, и личной безопасности, и порядка, но они думали, что все эти прекрасные вещи будут действительно прекрасны для всех французских

граждан только тогда, когда не только государство, но и общество будет сначала разобрано по кусочкам, до самого основания, а потом опять сложено по совершенно новому рисунку. Трудно сказать, чтобы для кого-нибудь из тогдашних демократов этот новый рисунок был ясен во всех своих подробностях; они не знали хорошенько, к чему именно они придут, но они безгранично верили в народ и надеялись, что его живые силы выработают что-нибудь превосходное, если только силы эти будут взволнованы во всей своей глубине и если брожение, необходимое для этого народного творчества, будет постоянно поддерживаться в полном своем могуществе. Но если народ обнаруживал какие-нибудь консервативные наклонности или реставрационные стремления, тогда демократы смело противодействовали народу, говорили с полным убеждением, что он сбивается с дороги, и объясняли себе это заблуждение народа именно тем, что силы его еще не довольно глубоко взволнованы и что брожение начинает ослабевать вследствие преступных происков двора, аристократии, собрания, буржуазии, клерикалов или каких-нибудь других изменников и оскорбителей народной святыни. Значит, демократам в тогдашнее время надо было во всяком случае усиливать брожение и особенно всеми мерами противодействовать всякой попытке прочной организации.

Добиваясь постоянных собраний в парижских секциях, демократы, конечно, заботились не о том, чтобы произвести какие-нибудь улучшения в городском хозяйстве; им до городского хозяйства не было решительно никакого дела; они хотели только иметь в секционных собраниях надежное орудие, которым, в случае надобности, можно было в несколько часов взволновать весь Париж и, следовательно, произвести переворот в целой Франции. Предводители буржуазии хорошо понимали, к чему клонилось дело, и, разумеется, употребили все усилия, чтобы не дать демократам этого орудия и чтобы сделать всякий дальнейший переворот совершенно невозможным. За постоянные заседания секций стоял в Национальном собрании Робеспьер; в городе агитировал в том же направлении Дантон, пользовавшийся уже сильным влиянием в клубе кордельеров *, в котором заседали самые крайние якобинцы. Марат, по своему обыкновению, рассыпал по этому поводу в своей газете проклятия и угрозы. Но и между демократами начали обнаруживаться несогласия. Бриссо, бывший в то время членом общинного совета и сделавшийся впоследствии одним из предводителей Жиронды, стал говорить и писать против постоянных заседаний секций. Это перессорило его с чистыми демократами, и с тех пор демократы решительно перестали считать его своим союзником. На этот раз буржуазия одержала полную победу, потому что в Национальном

собрании демократическая партия была очень слаба, а в городе агитаторы еще не успели придать своим многочисленным последователям единство организации, необходимое для успеха насильственного переворота. Городское управление было расположено по плану либералов[1], и постоянные заседания в секциях были устранены. Выборы городских властей также доставили полное торжество либералам: Бальи был снова выбран мэром, а Лафайет — начальником национальной гвардии; но популярность того и другого клонилась к упадку по мере того, как низшие классы столичного населения отделялись от буржуазии и начинали смотреть с недоверием и ненавистью на красивые мундиры и блестящие штыки национальных гвардейцев.

В Париже движение народных умов против богатства и собственности было чрезвычайно сильно, так что окончательный разрыв между национальною гвардиею и пролетариатом был неизбежен и недалек. На это было много местных причин. При старой монархии Париж, как местопребывание богатого и расточительного двора, кормил свое промышленное население почти исключительно тою работою, которую задавало ему удовлетворение разнообразнейших капризов и фантазий аристократической роскоши. Париж был переполнен такими ремесленниками, которые работали и могли работать только для богатых господ, потому что среднему сословию, и тем более простому народу, чудеса их технического искусства были, во-первых, недоступны по цене, а во-вторых, совершенно бесполезны. Когда аристократы потянулись за границу и когда капиталисты, напуганные уличным шумом, стали съеживаться, прятать деньги в иностранные банки и, во избежание греха, умерять свою обыденную роскошь, тогда тысячи рафинированных ремесленников остались без работы и тогда послышался в Париже плач и скрежет зубов, который не остался без влияния на дальнейший ход событий.

По здравой экономической теории следует, конечно, считать благодетельною такую перемену, которая насильно перебрасывает тысячи людей из бесполезных отраслей производства в полезные, но при этом надо помнить, что в действительной жизни никакие благодетельные перемены не обходятся даром и не совершаются в одно мгновение ока, без ломки, без борьбы и без индивидуальных страданий. Франция, несомненно, осталась бы в барышах, если бы все парикмахеры, украшавшие в течение многих десятков лет очаровательные головы графов и графинь, маркизов и маркиз, во все это время

---

[1] Слово либерал в конце прошлого столетия не было употребительно, но я позволю себе называть таким образом политиков буржуазии, чтобы отличать их от якобинцев, кордельеров и других предводителей пролетариата, которых я буду называть демократами.

пахали бы землю или вырывали бы каналы для осушения болот или для орошения полей; но когда сотни парикмахеров остались без работы, тогда их довольно мудрено было повернуть к земледелию; прошу покорно приучить к сохе, и к заступу, и к тогдашней деревенской жизни такого артиста en cheveux[1], у которого были совершенно дворянские руки, совершенно утонченные манеры и совершенно эпикурейские привычки. Всякая аристократия, родовая или денежная, всегда создает вокруг себя и под собою очень многочисленный класс паразитов. К числу таких паразитов надо причислить не только приживальцев и нахлебников, не только лакеев, но и тех ремесленников, которые живут по милости барских прихотей, — и тех художников, которых произведения сбываются в барские гостиные и галереи, — и тех сочинителей стихов и прозы, которых читают, хвалят и кормят богатые и вельможные меценаты. Все эти люди, ценою самых незначительных усилий, добывают себе такие удобства жизни, которые навсегда остаются недоступными крестьянину и фабричному работнику. Все эти люди питаются подачками аристократов и в то же время обыкновенно ненавидят аристократию.

Старая французская аристократия в отношении к паразитам вела себя вполне исправно: во-первых, размножила их целые легионы, а во-вторых, всем им внушила к себе чувство глубочайшей ненависти. Вышло то, что паразиты с величайшим усердием и с невыразимым наслаждением стали рубить тот сук, на котором сами сидели; с самого начала революции паразиты постоянно составляли главную силу уличной армии, следовавшей за агитаторами; парикмахеры участвовали во всех волнениях; да и, наконец, нам незачем называть отдельные профессии, потому что большая часть тогдашних парижских ремесленников в большей или меньшей степени могут быть отнесены к разряду паразитов. Когда сук, над которым трудились паразиты, упал под их ударами, тогда и сами паразиты, падая вместе с этим суком, потерпели при своем падении более или менее значительные ушибы.

Оставляя в стороне метафоры, я могу сказать, что бо́льшая часть парижских ремесленников, после падения аристократии и после исчезновения прежней роскоши, осталась без работы, то есть без крова и без хлеба. В Париже вдруг оказались десятки тысяч нищих, о которых в прежнее время никто не имел понятия, потому что прежде революции они и не были нищими. Они питались грехами старой монархии; когда грехи эти исчезли, тогда для них прекратились источники продовольствия, и революции здесь, как и везде, пришлось расплачиваться за старые шалости, в которых она, революция, была

[1] Буквально: артиста по части волос, то есть парикмахера.— *Ред.*

совершенно неповинна. Начало революции оставило этих людей без хлеба: теперь им хотелось и им было необходимо продолжать революцию, чтобы так или иначе добыть себе и хлеба, и денег, и власти, и всяких других удовольствий, которых жаждет натура всякого человека вообще и впечатлительного француза в особенности. Отказаться от продолжения революции эти обнищавшие паразиты не хотели и не могли ни под каким видом; но так как каждый намек о продолжении революции для властвующей и богатой буржуазии был личным оскорблением и прямою угрозою, то городские власти и Национальное собрание истощили все свое административное и законодательное искусство, чтобы сделать это неприятное продолжение невозможным и бесполезным.

В числе предохранительных мер, принимавшихся собранием и городскими властями, занимает особенно видное место кормление пролетариев, производившееся в самых обширных размерах. В общественных мастерских, заведенных единственно для того, чтобы под приличным предлогом давать пролетариям деньги на покупку хлеба, государство платило ежедневно каждому работнику по 20 су за какие-то земляные работы, в которых никто не нуждался. Число работников, посещавших эти мастерские, постоянно доходило до 12 000, и понизить эту цифру не было никакой надежды, тем более что надзор за работами был чисто формальный и что пролетарию представлялась, таким образом, привлекательная возможность получать за совершенное бездействие высшую поденную плату тогдашнего французского работника. Хорошо еще, если бы бездействие пролетария было действительно прочно и надежно; за это бездействие правительство с удовольствием соглашалось платить ежедневно по 20 су на человека; но лукавый пролетарий на эту штуку не поддавался; сегодня он смиренно получал свою плату в общественной мастерской, а на другой день он, по условленному сигналу, выходил на улицу и кричал, и махал пикою, и делал всякое безобразие, и готов был чувствительнейшим образом огорчить то самое правительство, которое, на свою беду, кормило его даровым хлебом во время антрактов между отдельными сценами длинной революционной трагедии.

Пролетарий очень хорошо понимал, почему его так заботливо лелеет правительство; о благодарности с его стороны не было и речи; он принимал даровой хлеб за неимением лучшего и пользовался им только в ожидании тех будущих благ, которые должно было принести ему неизбежное продолжение начавшейся революции. А правительство между тем, кроме расходов на мастерские, тратило еще миллионы на огромные закупки зернового хлеба, который потом в виде муки продавался булочникам за половинную цену, для того чтобы

парижане не гневались на дороговизну продовольствия. К концу 1790 года оказалось, что на закупки хлеба для Парижа истрачено 75 миллионов, а если вычислить все суммы, которые израсходовало государство для поддержания спокойствия в столице в первые двадцать месяцев революции, то получится в итоге более 100 миллионов. Эти 100 миллионов были съедены, и взамен их не было произведено ничего, и даже спокойствие не было упрочено.

Громадность и бесполезность этих издержек объясняется преимущественно тем, что Париж был битком набит отставными паразитами, негодными ни на какую производительную работу. Верность этого объяснения сделается совершенно несомненною, как только мы взглянем на общее состояние французской промышленности в первые годы революции. Промышленность не только не находилась в застое, но она, напротив того, была приведена в состояние лихорадочного возбуждения. Это состояние не могло быть продолжительным и должно было повести за собою промышленный кризис, но пока оно продолжалось, до тех пор могли жаловаться на недостаток работы только парикмахеры и другие подобные им артисты, созданные барскими прихотями и неспособные к настоящему труду. Фабрики работали во всю силу на всей французской территории и едва успевали удовлетворять бесчисленным требованиям заказчиков; промышленные предприятия возникали сотнями, с изумительною быстротою; строения, машины, товары изготовлялись вновь и переходили из рук в руки; промышленная горячка находилась в полном развитии, и существование этой горячки объясняется тремя главными причинами.

Во-первых, благодаря выпускам ассигнаций рынок был переполнен денежными знаками, и притом такими знаками, к которым никто не чувствовал безусловного доверия. У кого было в руках много бумажных денег, тот старался как можно скорее спустить их с рук на какое-нибудь предприятие, чтобы не потерпеть убытка при понижении курса. Расчет был простой и верный. Дом, фабрика, партия товаров всегда сохраняют какую-нибудь ценность, а ассигнации сегодня могут быть денежными знаками, а завтра — простыми лоскутками бумаги. При таких условиях очень осторожные люди могли пускаться в довольно рискованные предприятия, от которых они, наверное, воздержались бы в обыкновенное время. Риск был по крайней мере одинаково велик в обоих случаях: если опасно было пустить капитал в предприятие, то оставить его в шкатулке было также опасно; кроме того, самое рискованное предприятие все-таки в случае успеха давало барыш, а уж ассигнации в самом счастливом случае не могли дать ничего, кроме медленного понижения.

Во-вторых, при торговых сношениях с чужими краями вексельный курс вследствие многих обстоятельств был в то время неблагоприятен для Франции. Если, например, француз был должен англичанину 30 фунтов стерлингов, то при переводе денег на Лондон французу приходилось платить в Париже не 740 франков, а 880. И наоборот, когда англичанину надо было заплатить своему парижскому кредитору 880 франков, то англичанин в Лондоне вынимал из своего бумажника 30 фунтов стерлингов, а не 34, как следовало бы по нарицательной цене, при равновесии вексельного курса. Вследствие этого иностранным купцам выгодно было делать французским фабрикам большие заказы, за которые им приходилось платить дешевле, чем сколько они заплатили бы у себя дома. И заказов действительно делалось чрезвычайно много, так что фабриканты едва управлялись с ними, но, разумеется, такой прилив работы мог продолжаться только до тех пор, пока не будет восстановлено равновесие вексельного курса.

В-третьих, ночное заседание 4 августа 1789 года уничтожило цехи и освободило, таким образом, ремесленный труд. С этого дня каждый француз занимался, чем ему было угодно, не выпрашивая себе никакого позволения у замкнутых корпораций и не руководствуясь в процессе своей работы ничем, кроме своего личного вкуса и требований своих покупателей. Эта радикальная реформа в области ремесленного производства особенно сильно содействовала оживлению промышленности, и эта третья причина отличалась от двух первых в том отношении, что только от этой третьей причины можно было ожидать в будущем прочных и действительно благодетельных результатов. В марте 1791 года Национальное собрание закрепило дело 4 августа положительным законом, по которому каждому французу предоставлялось право заниматься любым ремеслом с тем единственным условием, чтобы он ежегодно платил государству определенную подать за патент.

По поводу этого закона Марат с горькою укоризною заметил в своей газете, что свободная конкуренция поведет за собою промышленную анархию, систематическое плутовство и всеобщее разорение. Предсказания эти не сбылись во всем своем объеме, потому что уничтожение цехов было, во всяком случае, значительным шагом вперед, но темные стороны свободной конкуренции были действительно подмечены верно, и над устранением этих темных сторон до нашего времени безуспешно хлопочут многие передовые мыслители, которых идеи долго еще будут стоять выше казенного уровня общественного понимания. Свободная конкуренция вела за собою деспотическое господство капитала над трудом; это положение дел можно было назвать прогрессом, если сравнивать его с

прежним господством привилегий и монополий, но участь работников все-таки осталась очень тяжелою. Началась бесконечная борьба между хозяевами и мастеровыми по вопросам о числе рабочих часов и о задельной плате. Работники скоро поняли, что, действуя врассыпную, они всегда будут терпеть поражения от капиталистов и никогда не выбьются из своей новой крепостной зависимости. Необходимость научила работников составлять общества и товарищества для улучшения своей участи. Прежде других составилось в Париже общество плотников, принявшее название Общества обязанностей. Важнейшею из обязанностей, лежавших на этом обществе, была обязанность воздерживаться по взаимному согласию от работы, для того чтобы прекращением работ склонять хозяина или подрядчика к возвышению задельной платы. Таким образом, парижские плотники подчинили правильной организации те случайные и разрозненные явления, которые называются обыкновенно стачками рабочих и часто сопровождаются во всех промышленных государствах Европы сценами административного произвола и военного насилия. Примеру плотников последовали наборщики и печатники; число обществ увеличилось; из Парижа они распространились по департаментам и завели между собою правильную переписку для того, чтобы в случае надобности поддержать друг друга и действовать с полным единодушием. Главная цель этих рабочих ассоциаций оставалась, однако, недостигнутою, потому что хозяева и подрядчики находили себе работников на стороне, из людей, не признававших обязанностей и соглашавшихся продавать свой труд за такую цену, которую общества решили не принимать. Тогда ассоциации попробовали действовать на этих индепендентов сначала увещаниями, а потом угрозами; вероятно, дело дошло бы и до насилий, потому что членам ассоциаций было, разумеется, очень обидно видеть, как все их старания пропадают даром и как отдельные работники, изменяя интересам всего своего сословия, доставляют победу капиталистам. Но тут вступилось Национальное собрание, которое никак не могло допустить, чтобы безнравственные работники прижимали бедных капиталистов; как только послышались со стороны рабочих ассоциаций первые угрозы против посторонних работников, ладивших с хозяевами, так законодатели тотчас воспользовались этими угрозами как превосходным оружием против самого принципа рабочих ассоциаций. 14 июня 1791 года Национальное собрание законом запретило всем работникам одного ремесла составлять между собою общества, заводить списки членов, устроивать кассы и вообще предпринимать какие бы то ни было попытки организации. Все это запрещалось на том основании, что подобные

попытки клонятся к восстановлению уничтоженных цехов и к стеснению промышленной деятельности.

Здесь я еще раз попрошу читателя вспомнить то, что я говорил о «Декларации прав человека и гражданина». Большинство почтенных членов знаменитого Учредительного собрания, провозгласившего на всю Францию «les grands principes de 1789» [1], было самым надежным образом застраховано против того разрушительного действия, которое добродушные немецкие историки стараются увидать в параграфах декларации. Великие законодатели Франции были прежде всего представителями дворянства, духовенства, и особенно, особенно — буржуазии. Обожая священные кошельки и бумажники этого последнего, кроткого и почтенного сословия, члены собрания готовы были совершать и действительно совершали во имя своих кумиров высокие и удивительные подвиги гражданской доблести и законодательного героизма. Они отдавали своих соотечественников в кабалу капиталистам и с полным жаром убеждения говорили об истинной свободе и о благоденствии великой французской нации. Виданное ли дело, чтобы такие титаны законодательной мудрости и ораторской диалектики когда-нибудь стали в тупик над каким-нибудь параграфом своего политического исповедания веры? Разве есть на белом свете хоть один такой параграф, через который титан не сможет перешагнуть, — которого диалектик не ухитрится обойти, — о котором разогорченный патриот не сумеет искусно забыть в минуту своего горестного волнения? К тому же параграфы декларации были написаны так давно, почти два года тому назад, и помещены во введении к той конституции, которая уже приближалась к своему окончанию.

Поставьте себя, мой читатель, на место французских законодателей. Неужели вы, дочитывая какую-нибудь книгу, помните от слова до слова первую страницу? Когда вы пишете длинную статью, вы, наверно, забываете под конец те обороты и даже те отдельные мысли, которые вы поместили в самом начале. Отчего же и Национальному собранию было не забыть той первой страницы, которая возбудила во французском народе столько надежд и столько восторга? Национальное собрание забыло, и этот факт забвения послужил французскому народу полезным и необходимым уроком житейской мудрости. Такие уроки сильно подвигают вперед политическое воспитание неопытных наций. Французы в 1789 году вообразили себе, по своей политической незрелости, что они уже в самом деле *люди* и *граждане* и что у них в самом деле есть какие-то естественные и неотъемлемые права. Теперь им и показали, что неотъемлемым называется только та-

---

[1] «Великие принципы 1789 года» *(франц.)*. — *Ред.*

кое право, которого нельзя отнять, а естественным считается только то, чего нельзя запретить законом. Французы, как народ незрелый, но догадливый рассудили тогда по-своему. Значит, подумали они, надо устроить так, чтобы нельзя было отнимать и запрещать. А если отнимает и запрещает Национальное собрание, то оно делается врагом нации, перестает существовать. Действительно, этот процесс мысли с каждым днем глубже и глужбе проникал в массы и обрывал последние нити, связывающие Национальное собрание и его возлюбленную буржуазию с огромным большинством французской нации. Законом 14 июня представители навлекли на себя ненависть всех производительных работников. Через два дня собрание приказало к 1 июля закрыть в Париже все общественные мастерские. Этим распоряжением оно привело в отчаяние всех бывших паразитов и всех вообще бесприютных пролетариев. Все эти меры превосходнейшим образом выполняли самые задушевные желания чистых демократов. Все, что инстинктивно или сознательно негодовало против политики буржуазного либерализма, все, что было раздражено и озлоблено законодательными подвигами собрания, сдвигалось в тесные и решительные группы, для которых бешеные выходки Марата казались простым и очень естественным выражением патриотических чувств, обязательных для каждого порядочного гражданина. Буржуазия довершала, таким образом, дело народного воспитания, начатое феодальными властями. Старый порядок вместе с аристократиею разорил и развратил французского пролетария. Буржуазия употребляла теперь все усилия, чтобы довести его до последней степени озлобления. Усилия буржуазии увенчались, в свою очередь, таким же блестящим успехом, какого достигли в свое время старания аристократии и феодальной власти. Пролетарий воспользовался всеми уроками и развернул все свои благоприобретенные качества и способности. Воспитатели его до сих пор не могут понять, что все это их собственная работа. Понять не трудно, но иногда бывает расчетливо и выгодно не понимать и сваливать вину на людей посторонних. Виновные разысканы, историк удовлетворен, и читатель погружается в размышления о суете мирской премудрости.

XX

В апреле 1791 года умер Мирабо. Одним великим оратором на свете стало меньше. Блеск и красота заседаний Национального собрания поубавились. С эстетической точки зрения потеря была незаменима, и французы, всегда расположенные к эстетическим взглядам на вещи, вообразили себе, что они действительно осиротели. Но мировые события раз-

виваются всегда из таких общих и великих причин, перед которыми совершенно стушевываются и исчезают не только отдельные личности, но даже эстетические взгляды целого народа. На дальнейшее развитие революции не подействовали ни смерть Мирабо, ни даже то обстоятельство, что тогдашние французы преувеличивали политическое значение этой крупной и эффектной личности. Смерть Мирабо, о котором горевала вся Франция, была утратою только для королевского семейства и произвела влияние только на расположение партий в Национальном собрании. Мирабо в последний год своей жизни играл трудную и неблагодарную роль: с одной стороны, он постоянно из расчета поддерживал свою популярность громовыми речами против различных остатков старины; с другой — он келейно употреблял все усилия, чтобы из этих самых остатков склеить прочную плотину, которая остановила бы дальнейшие завоевания революции. Он господствовал в Национальном собрании силою своего красноречия, но ему плохо доверяли те самые люди, которые с восторгом слушали его речи; король и придворная партия также не вполне верили ему, потому что их пугали эти самые речи, служившие в это время ширмою для его настоящих намерений. Мирабо думал, что он сумеет совершенно приковать к своей личности любовь народа и что потом, когда он, Мирабо, прямо вступит в борьбу с чистою демократиею, — народ пойдет за ним против демократов. Смерть отняла у него возможность произвести этот опыт и избавила его, таким образом, от тяжелого разочарования. Впрочем, так как Мирабо не был ни фантазером, ни оптимистом, так как он умел смотреть на вещи трезвыми и непредубежденными глазами и так как, наконец, он вовсе не был способен действовать в важных и серьезных делах очертя голову, — то, по всей вероятности, он обнаруживал бы свои настоящие намерения только в том случае, когда можно было бы рассчитывать на успех. В ожидании этих благоприятных шансов и симптомов он, без сомнения, продолжал бы вести рядом две политики, одну — напоказ народу, для поддержания популярности, составлявшей в то время во Франции единственную силу государственного человека; другую — в тайных совещаниях с приближенными короля, для спасения королевской власти и для утверждения такой конституции, в которой либеральная буржуазия видела и философский камень, и жизненный эликсир, и, пожалуй, даже perpetuum mobile[1]. Эта двойственная политика для революции была бы безвредна, а королю могла бы принести много пользы; она, во всяком случае, не возвратила бы королю ни одного из потерянных прав, но она по крайней мере могла бы предохра-

[1] Вечное движение (*лат.*). — *Ред.*

нить короля от всех бесплодных попыток, возбуждавших в народе подозрения и ненависть; она могла бы устранить множество политических ошибок и осторожно, шаг за шагом, свести Людовика XVI с того престола, с которого так грубо и безжалостно сбросило его совокупное действие революционных страстей и антиреволюционных интриг.

Мирабо мог бы быть очень полезным советником для Людовика XVI не потому, что он, Мирабо, успел бы осуществить свои намерения, а потому, что он умел бы всегда отличать возможное от невозможного и, следовательно, не впутывал бы короля в такие предприятия, которые компрометировали его, не представляя ни малейшей надежды на успех. Но все это было бы возможно только в том случае, если бы Людовик был способен, во-первых, оценить умственное превосходство Мирабо и, во-вторых, подчинившись этому превосходству, держаться неуклонно той политической программы, которую предписывал ему великий оратор. К сожалению, у Людовика не было ни сильного ума, ни твердой воли; у него было только очень искреннее желание исполнить свои обязанности и уклониться от греховных поступков. Но люди в течение своей исторической жизни так отуманили себя искусственными понятиями и довели свою логику до такой изумительной гибкости, что в распознавании обязанности и грехов могут сбиться с толку и запутаться в противоречиях даже умы довольно сильные и самостоятельные. Людовик XVI, поставленный судьбою в самое исключительное положение и живший в такое время, в котором все трудности этого исключительного положения сделались неизмеримыми, — Людовик XVI, окруженный множеством советников, вечно блуждал в бесконечном хаосе неизвестных величин, по поводу которых одни голоса громко выговаривали слово «обязанность», между тем как другие голоса то отчаянным криком, то повелительным шепотом произносили слово «грех». Людовик XVI постоянно находился в трагическом положении гоголевского почтмейстера; если один голос говорил: «не распечатывай», то другой непременно твердил: «распечатай», и притом ни один из этих двух голосов не был для Людовика голосом личного искушения, а оба выдавали себя за чистейшее выражение нравственного закона. И Людовик обыкновенно устраивал так, что обе стороны оставались им недовольны и укоряли его то за небрежное исполнение обязанности, то за совершение какого-нибудь греха. И Людовик недоумевал, и мучился, и еще более сбивался с толку. Он выслушивал всех своих советников и с каждым из них от души соглашался, но так как для действия надо было выбрать только какой-нибудь один план, то и выбирался обыкновенно самый последний по вре-

мени, то есть тот, который был всего свежее в уме короля.

Именно таким процессом мысли и воли объясняются поступки Людовика XVI в отношении к собранию государственных сословий, те поступки, которые повели за собою штурм Бастилии и которые могут быть названы первым шагом короля с престола к гильотине. Если бы так поступили Карл I Стюарт или Карл X французский, то тут не было бы ничего удивительного; оба они были одарены широкими натурами, неспособными ужиться с какими бы то ни было уступками. Но Людовик всегда с удовольствием подчинялся влиянию своих министров, всегда рад был оставлять им всю славу и всю ответственность управления и всегда самым добросовестным образом желал, чтобы подданные его устроили себе такое счастье, какого они сами желают или могут достигнуть. И вдруг такой честный, мягкий и добродушный человек ни с того ни с сего затевает ссору с тем самым собранием, которое он созвал и которое именно ему самому совершенно необходимо. Этот человек вдруг начинает поступать совершенно противно собственным выгодам, собственному характеру и собственным желаниям. И все это происходит оттого, что его в эту минуту окружает со всех сторон аристократическая партия; ему жужжат, и кричат, и шепчут в уши, что следует «распечатать», он и сам знает, что ему не следует этого делать, и ему самому не хочется так распоряжаться и он даже не чувствует особенной привязанности к тем аристократическим личностям, которые суетятся в его дворце; а между тем сознание его начинает колебаться от шума фраз и аргументов, воля слабеет, и решительный шаг делается медленно, с неохотою, но все-таки делается, и все последствия, связанные с этим решительным шагом, развиваются из него так же неизбежно и в таком же полном комплекте, как будто бы этот шаг был сделан с величайшим желанием и с самым лукавым умыслом. Даже хуже. При желании и при умысле человек обыкновенно принимает уже все меры и все предосторожности, которые могут обеспечить успех предприятия или, в случае неудачи, прикрыть отступление. Когда же человек поступает против своего желания, повинуясь постороннему внушению, тогда он действует спустя рукава, не надеясь на успех и не заботясь о последствиях; он производит опыт, и сам относится к своему делу равнодушно и недоверчиво. Кроме того, поступки такого человека всегда непоследовательны; но так как наш ум настойчиво ищет в человеческих поступках последовательности и руководящей идеи, то мы, глядя со стороны на вереницу этих бессвязных поступков, бываем часто расположены видеть в них скрытую связь и затаенную тенденцию. Человек колеблется, а нам кажется, что он хитрит;

человек вчера говорил так, а сегодня поступает иначе просто потому, что у него в голове плохо вяжутся мысли, но мы думаем, что он действует неспроста, что он и вчера и сегодня руководствовался обдуманным планом и что он играет свою роль с искусством замечательного актера. Мы начинаем бояться и ненавидеть такого человека, которого даже не за что презирать.

Такие недоразумения встречаются на каждом шагу, даже при сношениях между частными лицами, которые могут видеть друг друга вблизи, во всякое время и при самых разнообразных обстоятельствах. В отношении к лицу малодоступному и облеченному в ослепительный блеск официальности такое недоразумение становится совершенно неизбежным. Для историка характер Людовика XVI совершенно понятен; историк не увидит в этом характере ни глубокого коварства, ни затаенных стремлений к деспотизму; историк сумеет распутать ту сложную сеть разнородных влияний, которая тяготела над всеми намерениями и поступками этого человека; историк оценит честность его побуждений и слабость воли; таким образом, человеческая личность Людовика XVI получит в истории свои настоящие размеры и свой действительный колорит. Но то, что возможно для историка, то было совершенно невозможно для подданных и современников Людовика XVI, если бы даже эти подданные и современники имели твердое намерение и искреннее желание отложить в сторону всякое личное увлечение и всякое политическое пристрастие. Подданные и современники Людовика XVI видели только внешнюю и официальную сторону его деятельности; они не имели возможности доискиваться до тех составных элементов, из которых складывалось решение короля; они не имели возможности пускаться в психологический анализ, потому что, во-первых. для этого анализа не было достаточных материалов; а во-вторых, каждое решение Людовика могло быть опасным для таких вещей, которые тогдашним французам были очень дороги и совершенно необходимы; стало быть, тут некогда было думать о психологических анализах. Каждое колебание в политике Людовика XVI казалось тогдашним французам рассчитанною изменою; каждое внутреннее противоречие в этой политике объяснялось глубоким коварством короля или его советников. Когда король утверждал такое предложение Национального собрания, которое пользовалось сочувствием народа, тогда народ был расположен думать, что король хитрит и старается выиграть время; когда король отказывал какому-нибудь популярному декрету в своем утверждении, тогда народ был уверен, что король сбрасывает маску и что начинается выполнение обширного заговора, составленного против фран-

цузской свободы двором, эмигрантами и иностранными правительствами; тогда народ готовился к борьбе на жизнь и на смерть, и хотя борьбы не оказывалось в действительности, однако все горькие чувства, возбужденные постоянным ожиданием решительной катастрофы, естественным образом направлялись против короля, и направлялись против него за то, что он не мог и не умел внушить народу доверие к честности своих намерений и к твердости своего личного характера.

Историк может считать Людовика XVI за очень честного человека, но суд историка не имеет никакого влияния на жизнь исторической личности; Людовик действительно был очень честен и добродушен, но он не казался таким человеком; современники не могли считать его честным и не могли чувствовать к нему доверие; но так как Людовик действовал в истории революции только тем крайне невыгодным впечатлением, которое его личность производила на умы его народа, то для истории, в обширном и настоящем смысле этого слова, личные добродетели Людовика имеют так же мало значения, как, например, его замечательное искусство в деле слесарной работы. Людовик был честным человеком и хорошим слесарем, но современники его не оценили ни того, ни другого. Для них существовала только одна черта в характере Людовика, именно его нерешительность, выражавшаяся в непоследовательности поступков и постоянно принимавшаяся современниками за проявление глубокого коварства. Когда Мирабо стал хлопотать о том, чтобы помирить короля с народом, то все старания знаменитого оратора направились к тому, чтобы внести в политику Людовика твердость и последовательность; но личный характер короля и разнокалиберность его обстановки делали эту задачу неисполнимою; Людовик слушал и Мирабо и королеву, и Бретейля и Буле, и императора Леопольда, и своего духовника, и всякого, кто только имел возможность и охоту рассуждать в Тюльерийском дворце или писать из прекрасного далека о вопросах текущей политики; при таких условиях влияние Мирабо было совершенно парализовано; Мирабо, как единственный советник, был почти бесполезен, потому что его советы имели свою цену только в общей связи, только тогда, когда они исполнялись все вместе и когда они, таким образом, составляли руководящую политическую программу. Но все-таки смерть Мирабо была утратою для королевского семейства, потому что Мирабо знал свою эпоху, не смотрел на нее глазами придворного, умел выпутываться из затруднений и, следовательно, в минуту опасности мог бы подать Людовику такой совет, до которого никогда бы не додумались остальные советники короны.

XXI

Смерть Мирабо подействовала на расположение партий в Национальном собрании. Некоторые из предводителей левой стороны — Барнав, Ламет, Дюпор — подумали, что теперь настало их время, что они должны сделаться руководителями исполнительной власти и что министерские места должны быть заняты их приверженцами и друзьями; они стали сближаться с правительством, и с ними произошло то, что до сих пор происходило везде с каждою оппозиционною партиею, овладевающею господством. Всякая оппозиция говорит очень много о существующих злоупотреблениях и о настоятельной необходимости преобразований; когда эта оппозиция становится правительством, тогда обыкновенно лиры настраиваются на другой тон: те же самые ораторы начинают доказывать, что все идет к лучшему в этом лучшем из миров, что злоупотребления по большей части составляют просто оптический обман, что в стремлении к преобразованиям есть много опасных и разрушительных элементов и что осторожная медленность должна быть первою обязанностью государственного человека.

В тогдашней Франции, конечно, нельзя было говорить о злоупотреблениях и преобразованиях, потому что все было преобразовано и потому что злоупотребления не могли еще завестись в новых учреждениях, созданных такою конституциею, которая еще не была даже закончена. Но во Франции оппозиция говорила о свободе, а правительственная партия — о порядке, и этот именно переход от защищения свободы к отстаиванию порядка совершили после смерти Мирабо предводители левой стороны — Барнав, Ламет, Дюпор и их ближайшие друзья. Это сделалось после смерти Мирабо потому, что при жизни этого оратора никто из членов Национального собрания не мог перевесить его влияния на дела правления. Смерть крупной личности очистила место, на которое тотчас нашлись претенденты. Приближаясь к правительственным сферам, вожди левой стороны произвели раскол в своей собственной партии и через это потеряли значительную долю своего прежнего влияния; от них совершенно отделилась крайняя левая сторона, к которой принадлежали, между прочими, Петион и Робеспьер и которая ни под каким видом, ни на каких условиях не соглашалась переменить наступательное положение оппозиции на оборонительную роль правительственной партии. Вместе с крайнею левою стороною отделился от Барнава и компании якобинский клуб, который был основан именно Дюпором и Ламетом, но в скором времени далеко обогнал своих основателей на пути к радикализму и к демократии. Когда якобинцы стали в скептические отношения

к бывшим вождям левой стороны, тогда и массы народа охладели к ним и перенесли все свое доверие и всю свою любовь на ораторов крайней левой, и в особенности на Робеспьера. Это обстоятельство произвело полный разлад между Национальным собранием и общественным мнением страны. В Национальном собрании партия Робеспьера была очень слаба по числу своих членов и ничтожна по своему влиянию; в столице, в клубах и, чрез посредство клубов, во всей Франции одна только крайняя сторона, партия Робеспьера, партия непреклонной оппозиции, пользовалась силою и влиянием. Движение зашло так далеко и развивалось так быстро, что Национальное собрание уже не поспевало за ним и служило ему тормозом в то время, когда нация желала иметь в собрании орган для выражения своих потребностей. Ясно было, что те люди, которые были достойными представителями третьего сословия в 1789 году, уже не могли быть представителями французского народа в 1791 году. Сам народ понял это вполне, и Робеспьер, выражая это общее мнение, предложил в половине мая 1791 года, чтобы ни один из членов Учредительного собрания не мог баллотироваться в депутаты на следующих выборах.

На первый взгляд может показаться, что это предложение не представляло особенной важности и что оно должно было иметь влияние только на личный состав следующего собрания, а не на расположение и сравнительную силу политических партий в этом следующем собрании. Если нельзя будет выбрать Барнава, Ламета, Дюпора, Робеспьера, Лафайета, Ланжюине, Бюзо, Грегуара, то выберут кого-нибудь из друзей и приверженцев этих господ, выберут таких людей, которые держатся одинаковых с ними политических мнений, и новое собрание представит, следовательно, ту же группировку и ту же сравнительную силу партий, которую можно было видеть в старом собрании. Если же политические мнения той или другой стороны Учредительного собрания не пользуются сочувствием избирателей, тогда все равно не выберут вновь членов этой стороны, хотя бы они и имели право баллотироваться.

Против такого рассуждения в области чистой теории нельзя представить никакого уважительного возражения. Но Робеспьер знал, что выборы будут происходить не в области чистой теории, а на почве практической деятельности, где вопросы ставятся и решаются совсем не так просто. Применяясь к особенностям этой практической деятельности, Робеспьер понимал, что его предложение изменит радикально не только личный состав, но и политический цвет Национального собрания. К этой именно цели он и стремился. Дело в том, что многие из членов Учредительного собрания в течение своей двухлет-

ней деятельности составили себе очень громкую известность, которая, во всяком случае, была для них сильною рекомендациею перед каждою коллегиею избирателей. Только для членов крайней правой стороны громкая известность могла быть помехою, потому что известность эта была приобретена ими в бесплодной борьбе с желаниями нации; что же касается до представителей буржуазного либерализма, содействовавших победе третьего сословия и опрокинувших феодальные учреждения, то их известность составляла в то время гордость французской нации и открывала им широкую дорогу к депутатскому месту в будущем Национальном собрании. Но эта известность открывала дорогу им самим, а вовсе не их приверженцам и не их идеям. Если бы перед коллегиею избирателей явился, с одной стороны, знаменитый оратор, подобный Дюпору или Барнаву, а с другой стороны, неизвестный юноша, отличающийся самым пылким радикализмом, то первый, по всей вероятности, победил бы последнего. Когда же все знаменитые ораторы будут устранены от выборов, тогда избиратели, имея дело с простыми смертными, обратят все свое внимание на убеждения кандидатов и выберут тех людей, которые, не успевши прославиться на всю Францию, выразили, однако, в кругу своих ближайших соотечественников, искреннюю и горячую привязанность к свободе и к революции. Почти в каждом городе существовали якобинские клубы; а в каждом клубе было несколько личностей, пользовавшихся в целом околотке репутациею отличных патриотов и дельных людей; эти провинциальные светила гражданской доблести и политической мудрости непременно должны были восторжествовать на выборах после устранения парижских и общефранцузских знаменитостей. Но все провинциальные якобинцы питали глубочайшее благоговение к парижскому клубу, а в этом парижском клубе уже господствовал в это время Робеспьер; стало быть, Робеспьер мог рассчитывать, что он с трибуны якобинского клуба будет управлять действиями нового собрания; имея в виду такую заманчивую диктатуру, он с удовольствием мог отказаться за себя и за своих ближайших друзей от всяких притязаний на место депутата; эта ожидаемая диктатура должна была сделаться особенно обширною вследствие того обстоятельства, что в новом собрании будут заседать совершенно новые люди, не знакомые ни с положением государственных дел, ни с закулисными тайнами различных партий, ни с внешнею стороною парламентской процедуры. Если бы в это новое и неопытное собрание могли проникнуть несколько старых депутатов, то эти депутаты сразу приобрели бы себе авторитет, сделались бы центрами и предводителями кружков и захватили бы в свои руки управление делами. Но предложение Робеспьера исключало всех старых депутатов; как

только эти старые депутаты переставали быть членами официального собрания, так они тотчас теряли всякое значение и всякую возможность управлять общественным мнением; только люди крайней левой стороны, и больше всех других сам Робеспьер, имели вес сами по себе, независимо от своей официальной должности; только эти люди, опираясь на якобинский клуб и на парижское население, могли сохранять и увеличивать свою силу после выхода своего из Учредительного собрания.

Новое собрание должно было подчиниться центральному светилу якобинского клуба, во-первых, потому, что оно должно было составиться преимущественно из провинциальных якобинцев, а во-вторых, потому, что оно непременно должно было на первых порах отличаться неопытностью, искать совета старших и не встречать вокруг себя никого из старших, кроме Робеспьера и его партии. Была еще третья причина. Можно было предполагать, что Франция выслала в Учредительное собрание всю свою науку, весь свой ум, все свои таланты; когда этот верхний слой знания, ума и таланта будет снят и отложен в сторону, тогда окажутся на поверхности второстепенные умы и посредственные дарования; новое собрание составится, таким образом, из людей среднего разбора, и это отсутствие сильных талантов положит самое прочное основание предполагаемой диктатуре. К этому последнему соображению Робеспьер, как человек очень самолюбивый и чрезвычайно тщеславный, не мог быть равнодушен, тем более что в первые полтора года своей деятельности, он был совершенно задавлен ораторскими талантами Учредительного собрания; его долго не слушали и над ним перестали смеяться только тогда, когда начали его бояться; теперь он с удовольствием мог сказать себе, что таких оскорбительных сцен для него, по всей вероятности, уже не будет.

Однако надежды на бесцветность будущего собрания не оправдались. В собрании явилась горячая молодежь, составившая партию Жиронды; талантливые ораторы этой партии — Верньо, Инар, Гюаде стали бороться с Робеспьером в самом центре его могущества, в собрании якобинского клуба. Впрочем, эта борьба не входит уже в пределы теперешней моей статьи. Вполне ли сбылись расчеты Робеспьера или осталась часть этих расчетов не осуществленною, во всяком случае Робеспьеру выгодно было представить собранию свое предложение, выгодно было уже потому, что он, таким образом, являлся еще раз в очень важном вопросе проводником народных желаний. Но если Робеспьеру выгодно было представить это предложение, то всем значительным членам собрания не очень выгодно было принять его и совершить, таким образом, над собою политическое самоубийство. Барнав, Дюпор, братья

Ламеты стали горячо возражать, и ничего не успели сделать своими возражениями, потому что предложение Робеспьера пришлось по душе не только народу, но и большинству депутатов. В Учредительном собрании, как и вообще во всех собраниях, большинство состояло из людей безгласных и бесцветных; этим людям мудрено было рассчитывать на вторичный выбор, потому что помолчать, как выражается Фамусов, невелика услуга *, и на избирателей такая услуга не могла подействовать; следовательно, этой массе сомнительных кандидатов приятно было отказаться красиво и великодушно от такой чести, которую у них и без того бы отняли. Это обстоятельство тогда же было подмечено Камилем Демуленом, который, с свойственною ему веселостью и откровенностью, тотчас тиснул по этому поводу статью в своей газете. Кроме того, предложение Робеспьера очень понравилось аристократам и реакционерам правой стороны; эти господа особенно сильно боялись и ненавидели людей умеренных партий; они думали, что умеренные партии могут основать прочный порядок, который навсегда положит конец господству привилегий; а на крайних якобинцев аристократы смотрели как на невозможных людей, которые пошумят, покричат, подурачатся и потом будут оставлены народом, так что их с полным удобством можно будет в урочное время перевешать и переколесовать по всем правилам старой уголовной техники. Руководствуясь этими привлекательными соображениями, правая сторона всегда готова была поддерживать чистых демократов против либералов, всегда радовалась каждой ссоре между теми и другими и горячо сочувствовала каждой победе первых над последними. Это настроение усилилось еще тем обстоятельством, что у абсолютистов и аристократов были личные враги между либералами, а между крайними якобинцами у них не было и не могло быть врагов, потому что эти два класса людей слишком далеко отстояли друг от друга по своему общественному положению.

Все эти причины привели к тому результату, что Дюпор, Ламеты и Барнав оказались почти единственными противниками Робеспьера. Предложение его было принято огромным большинством голосов. Его защищали даже некоторые знаменитости собрания; видно было, что все утомлены напряженною деятельностью, все тяготятся своими натянутыми отношениями к народу и все, кроме немногих неугомонных честолюбцев, хотят отдохнуть и сложить на другие плеча ответственность за дальнейшие события. Таким образом, за четыре месяца до закрытия своих заседаний Учредительное собрание признало себя устарелым и решилось передать новым людям судьбы Франции, конституции и всех революционных приобретений, оторванных народом от королевской власти и от аристократи-

ческих привилегий. — Но последние недели Учредительного собрания были ознаменованы еще двумя чрезвычайно важными событиями; первым из них было неудавшееся бегство короля, вторым — кровопролитное столкновение народа с национальною гвардиею.

XXII

Между Франциею и всею монархическою Европою не могло быть искреннего и прочного мира с той самой минуты, как парижский народ взял штурмом Бастилию и передал верховную власть в руки своих представителей. Не могло быть мира по многим причинам. Во-первых, все европейские государи и все европейские аристократии чувствовали свою солидарность с Людовиком XVI, с французским дворянством; во-вторых, революция, с своей стороны, вовсе не заботилась о том, чтобы успокоить и смягчить своих взволнованных врагов; она вовсе не хотела замыкаться в пределы своего отечества; ее ораторы, при каждом удобном и неудобном случае, говорили о мировой задаче революции, о ее космополитическом значении, об освобождении всех народов, о естественном братстве всех людей и о разных других вещах, которые всякий благоразумный человек мог бы теперь назвать нелепостями, потому что со времени французской революции прошло с лишком семьдесят лет, а между тем все эти либеральные шалости так и остались ораторскими фиоритурами, и притом фиоритурами не только для Европы, но и для самой Франции. Но тогда в эти либеральные шалости крепко верили сами шалуны. Революционеры угрожали, консерваторы хмурились; ясно было, что рано или поздно дойдет до драки и что перевес будет на той стороне, которая лучше выберет время для того, чтобы нанести первый удар.

Это воинственное расположение, господствовавшее естественным образом в обоих политических лагерях Европы, усиливалось в аристократическом лагере криками и жалобами французских эмигрантов, передававших всем европейским дворам такие подробности о революции, от которых волосы становились дыбом; сообщая эти подробности, французские эмигранты обнаруживали щедрость, достойную их высокого звания; они, не запинаясь ни на одном слове, пересыпали чистую правду поэтическими украшениями и чистейшею ложью. И им верили, во-первых, потому, что приятно и полезно было верить; а во-вторых, потому, что неистощимые импровизаторы были несчастными мучениками, пострадавшими за правду, испытавшими на себе тяжесть людской неблагодарности и, следовательно, достойными всякого сочувствия, уважения и, разумеется, доверия. Благодаря своим

изобретательным мученикам, далеко превосходившим Павла Ивановича Чичикова в любви к добру и к истине, Франция превратилась в страну легенд, в родину мифических чудовищ, способных в одну минуту разнести свое заразительное безобразие по всем городам и селам Европы и солидного земного шара. Надо было прежде всего посадить Францию в карантин, оцепить ее санитарным кордоном, отрезать ей всякое сообщение с незараженною частью человечества. Потом надо было употребить в дело увещания, потом пустить в ход угрозы и, наконец, обуздать неукротимое безумие мерами кротости.

Все это в порядке вещей, и все это, без сомнения, превосходно, но любопытно было бы спросить, каково действовали подобные демонстрации на судьбу Людовика XVI и его семейства, желавшего сохранить феодальную власть как зеницу ока. Положение короля было в высшей степени оригинально; во всей всемирной истории вряд ли найдется другое такое положение. Людовик был в плену в той самой фантастической стране чудовищ, о которой трубили эмигранты. Но это еще ничего, что он был в плену. Своеобразность положения заключалась в том, что он не мог признать себя пленником: ему надо было прикидываться патриотическим вождем пылкого народа и заклятым врагом тех элементов и тех людей, к которым он чувствовал полнейшую симпатию и в которых он видел своих будущих избавителей; как только французский народ замечал, что король тяготится своею неестественною ролью, так показывались немедленно все признаки приближающейся бури, и, во избежание дальнейших неприятностей, Людовик XVI поневоле должен был поспешно прижимать к своему лицу ту ненавистную маску, которая мешала ему дышать, но в то же время представляла единственную возможность отсрочивать неизбежную катастрофу. Катастрофа была неизбежна и политический маскарад, в сущности, был бесполезен, во-первых, потому, что в некоторых вопросах король не мог выдержать его до конца, а во-вторых, потому, что мифические чудовища, населявшие Францию, нисколько не были расположены к доверчивости и очень хорошо знали, что такое лицо и что такое — маска.

Король старался выиграть время, надеясь на реакцию внутри государства и на помощь со стороны Европы; народ, с своей стороны, смутно чувствовал неискренность короля и постоянно тревожился неопределенными слухами об австрийском комитете, который будто бы работает в Тюльерийском дворце под председательством королевы Марии-Антуанетты и замышляет предать Францию в руки иностранцев и эмигрантов. Война между Франциею и Европою казалась неизбежною; и точно так же неизбежным казался решительный и окончательный разрыв между идеями революции и принци-

пом королевской власти. Сам Людовик увидел и понял наконец неизбежность этого разрыва тогда, когда Национальное собрание принялось за преобразования в устройстве церкви. Разрушение Бастилии, уничтожение дворянства, ограничение монархической власти, учреждение национальной гвардии, свобода печати — все это было грустно и тягостно, но скрепя сердце можно было еще кое-как перенести все эти страдания; когда же зашла речь о духовенстве, о монастырях, о церковных поместьях, о назначении священников по выбору прихожан, тогда истощилось дипломатическое терпение пленного короля. Людовик был прежде всего католик; над ним господствовали его духовники, и с той минуты, как революция коснулась церковной иерархии, Людовик XVI с мужеством отчаяния решился во что бы то ни стало сбросить маску и бежать в тот лагерь, в котором были все его друзья.

Я оставляю в стороне фактические подробности: как было задумано бегство, как изменялся план этого бегства, какие сношения поддерживала по этому поводу королева Мария-Антуанетта с своим братом, Леопольдом Австрийским, как королевское семейство тронулось в путь, как происходило это опасное путешествие — все это имеет анекдотический и биографический процесс, и все это совсем не относится к историческому развитию революции. Достаточно заметить, что король с своим семейством бежал из Парижа в ночь на 21 июня, а в тот же день, поздно вечером, его задержали в провинциальном городке Варенне. Тамошние городские власти тотчас дали знать об этом Национальному собранию. Национальное собрание прислало в Варенн своих комиссаров, и короля с семейством привезли обратно в Париж. Эта неудавшаяся поездка короля нанесла последний удар монархическому принципу во Франции. Его убили не нападения его врагов, а ошибки представителей и защитников.

Первая причина революции заключалась, как мы видели, в экономическом истощении народа и государства; это истощение, разумеется, было произведено не философами XVIII века, а администраторами, любившими старый порядок вещей всеми силами своего организма. Первый повод к вооруженному восстанию был подан, как мы также видели, попыткою короля парализировать с самого начала деятельность Национального собрания; эта попытка, очевидно, была сделана друзьями старого порядка, а не агитаторами народа и не фанатиками революции. Теперь мы опять встречаемся с таким же фактом. В течение 1789 и 1790 года республиканских стремлений нельзя было заметить ни в народе, ни в образованном обществе, ни в Национальном собрании, ни в якобинском клубе. Народ хотел только прочного уничтожения феодальных повинностей, а к вопросам высшей политики оставался

совершенно равнодушным, полагаясь в этом отношении на своих возлюбленных представителей и законодателей. Образованное общество и Национальное собрание состояли из чистых роялистов, обожавших старый порядок, и из конституционалистов, разыгрывавших разные вариации, более или менее смелые, на одну основную тему английского самоуправления. Якобинцы сами называли свой клуб Обществом друзей конституции и не терпели на своей трибуне ни одного слова против монархического начала. Необходимость королевской власти для всех серьезных общественных деятелей того времени составляла неприкосновенный догмат политического вероисповедания. Та мысль, что республиканское правление годится только для отдельных городов и мелких областей, находилась тогда в общем ходу и считалась неопровержимою истиною, не требующею доказательств. Ввести республиканское правление во Францию значило бы превратить ее в федерацию, состоящую из множества отдельных, мелких республик; о федерации такого рода никто не хотел слышать, потому что привилегии отдельных провинций только что были уничтожены, внутренние заставы и таможни были сняты и отменены, единство было основано, и все, что могло мешать укреплению этого единства и водворению сильной централизации, казалось всем тогдашним публицистам тяжелым преступлением против нации и отечества. Ни Робеспьер, ни Дантон, ни Марат, никто из тех людей, которых считают обыкновенно опаснейшими демократами и злейшими революционерами, не заикались о республике в течение 1789 и 1790 года. Один только Демулен написал в то время политический памфлет с республиканскими тенденциями *, но Демулен в начале революции так часто кидался из стороны в сторону, от Лафайета к Робеспьеру, от Мирабо к Дантону, что все партии считали его талантливым и остроумным повесою, которого с удовольствием можно читать и слушать, но на которого не стоит обращать внимания в серьезном деле. Республиканский памфлет Демулена остался без влияния, и то же самое произошло бы даже в том случае, если бы вместо Демулена заговорил в то время о республике какой-нибудь сильный предводитель политической партии. Республиканцы, конечно, существовали и тогда; но одни молчали, другие притворялись приверженцами конституции; все считали себя мечтателями, далеко опередившими свой век; все были уверены в неспособности французского народа к самоуправлению, и все любили восхищаться античными доблестями греков и римлян, которые были известны тогдашнему обществу по трагедиям Корнеля и Расина, да еще по жизнеописаниям Плутарха и Корнелия Непота, переведенным на французский язык.

Все эти безвредные занятия тогдашних республиканцев могли бы продолжаться в течение неопределимо-долгого времени и могли бы кончиться ничем, могли бы не дойти до сведения французского народа, если бы только представитель и защитники старого порядка имели возможность удержаться от дальнейших ошибок. Но обстоятельства были расположены таким образом, что каждое действие Людовика XVI превращалось в ошибку и, подрывая монархию, закладывало основания будущей республики. Когда по городам и селам королевства разнесся слух, что король попробовал убежать за границу, тогда по всей Франции произошел такой единодушный взрыв народного негодования, что после этого взрыва всякое примирение между королем и народом сделалось невозможным. Король действует заодно с иностранцами! Король действует заодно с эмигрантами! Эти две мысли были бессильны и безвредны, пока они встречались только на столбцах демократических газет и в декламациях яростных ораторов; но когда каждый горожанин, каждый мужик и каждый поденщик сам додумался до этих двух мыслей, сам разобрал их значение, сам взволновался их возможными последствиями и, наконец, сам громко произнес их с полным убеждением, тогда эти две мысли разорвали всякую связь между королем и народом и с неудержимою силою бросили всю массу народа в руки крайней демократической и республиканской партии, которая тотчас ободрилась, отложила в сторону Плутарха и Корнелия Непота и с восхищением принялась хозяйничать в делах современной действительности.

Король действует заодно с иностранцами, — думал народ, услышав о поездке в Варенн, — стало быть, он продает иностранцам честь и благосостояние Франции; он хочет привести во Францию немецкие армии, он хочет выжечь города и села, вытоптать поля, обломать виноградники, опустошить целые провинции голодом и моровою язвою. Король действует заодно с эмигрантами, — рассуждали все классы народа, воспользовавшиеся различными выгодами революции. В течение своей двухлетней деятельности революция пустила в народную жизнь такие глубокие корни, произвела такие радикальные и разнообразные изменения во всех междучеловеческих отношениях и заинтересовала в свою пользу такое неизмеримое большинство французских граждан, что при первом намеке на возможность реакции вся Франция снизу и доверху, от одной границы до другой, встрепенулась от ужаса и негодования. В это время революция была уже непобедимо сильна именно потому, что она успела уже дать всем классам народа осязательные доказательства своего существования и своей деятельности. Пока революция была чистою идеею,

отвлеченным приговором мыслителей над существующими бытовыми формами, до тех пор ее можно было задержать, отсрочить или поворотить назад; но когда она проложила себе дорогу в мир материальных интересов, когда она переделала по-своему весь строй экономических отношений, тогда возвращение старого порядка вещей сделалось совершенно невозможным. Тогда дело революции стали защищать не одни мыслители, писатели, ораторы и утописты; вместе с идеологами поднялись за общее дело и городские собственники, и крестьяне, и солдаты, и ремесленники. Все неопределенные декламации об австрийском комитете, о вероломстве двора, о кровожадных замыслах аристократов, о враждебных тенденциях самого короля, все журнальные утки и ораторские импровизации превратились перед глазами испуганного народа в самую осязательную, неопровержимую и сокрушительную истину. Творцы уток и импровизаций сделались мудрецами и пророками; от них народ стал ожидать спасения; за ними он готов был идти всюду, куда они захотят повести его; от них зависело произнести слово «республика», и если бы это слово не тотчас перешло в дело, то по крайней мере после вареннского путешествия никто не подумал бы назвать адвокатов республики мечтателями и утопистами. Словом, до поездки короля в Варенн народ подозревал короля в неискренности и чувствовал неопределенное беспокойство; после этой поездки не осталось никаких подозрений, и неопределенное беспокойство сменилось твердою уверенностью. Весь народ пережил в несколько часов целые десятилетия исторической опытности; он увидел, что надо выбирать одно из двух: или революцию, или старый порядок. Рубикон был перейден, и Людовик XVI, привезенный из Варенна в Париж, сделался во всех отношениях пленником своих политических противников.

XXIII

Короля привезли в Париж 25 июня 1791 года, а королевская власть была уничтожена во Франции 10 августа 1792 года. Между этими двумя событиями прошло больше года, и королем считался в этот промежуток времени тот же Людовик XVI, который уже однажды попробовал убежать с своего престола. На первый взгляд, иному недогадливому читателю могут показаться непонятными две вещи: почему Людовик XVI сам не отказался в это время от своего престола, на котором он с минуты своего бегства мог ожидать только неприятностей и оскорблений? И далее, почему Национальное собрание не объявило престола вакантным и не созвало Национального конвента, то есть почему оно, после вареннской

истории, не поступило так, как поступило Законодательное собрание после возмущения 10 августа 1792 ⟨года⟩?

Ответа на эти два вопроса надо искать в характере Людовика XVI и в характере коллективной личности, называвшейся Национальным учредительным собранием. Во-первых, Людовик по своему темпераменту не был способен на энергические поступки; он мог с христианским терпением переносить оскорбительные неприятности своего положения, но выйти из этого положения решительным и необычным шагом он был не в состоянии. Только уступая влиянию королевы, он попробовал бежать за границу, и эта попытка, удавшаяся так плохо, надолго истощила в нем запас деятельной энергии; он подумал, что всего лучше с полным смирением ожидать, что будет. Во-вторых, Людовик XVI был воспитан своими наставниками и своею вседневною версальскою жизнью так, что он не знал о существовании и не понимал значения тех живых сил, которые копошились под его престолом: что такое народ, чего он хочет, сыт ли он, голоден ли и что такое значит быть голодным, — все это и многое другое в том же роде были такие вопросы, которых даже не могли задавать себе обитатели версальского дворца. О правильном решении подобных вопросов смешно было бы и думать. Всей версальской публике революция казалась интригою каких-нибудь мошенников, которые сегодня в моде, а завтра будут заброшены и забыты вместе с своими задорными фразами. Революцию делает герцог Орлеанский, или Мирабо, или Лафайет, или Барнав, или Дантон, или все они вместе, или каждый из них порознь, по своему особенному расчету, но непременно кто-нибудь да делает революцию: не может же быть, чтобы революция сама себя делала [1].

Никто из роялистов не мог рассуждать иначе, а рассуждая таким образом, Людовик XVI, который, конечно, был сам роялистом, не мог отказаться от престола. Он так мало считал свое положение отчаянным, что даже после вареннской истории продолжал бояться успеха эмигрантов больше, чем успеха демократов. Он боялся, что его братья, граф Прованский и граф Артуа, задавят революцию, возьмут его, Людовика, под свою опеку, а королеву подвергнут скандальному процессу и заточению. Людовику в голову не приходило бояться за свою жизнь, и он до последней минуты своего царствования был уверен, что Франция не может и никогда не захочет быть республикою. Стало быть, отказываться от престола значило бы открывать дорогу принцам-эмигрантам.

---

[1] Это только унтер-офицерская жена сама себя высекла; да и то показание Сквозника-Дмухановского в этом случае может удовлетворить только Хлестакова.

Вообще, можно сказать одно: если бы Людовик XVI был способен отказаться от престола, то есть если бы он понимал глубину и обширность революционного движения, если бы он предвидел, как она разыграется, если бы он, понимая и предвидя все это, мог поступать твердо и решительно, то он, еще гораздо раньше 1789 года отыскал и поддержал бы людей, подобных Тюрго, и повел бы необходимые реформы мирным путем, осторожно, последовательно, но без уклончивости, без уступок старине и без боязни перед новыми идеями. Реформа была необходима и неизбежна, но сам Людовик, смотря по особенностям своего характера и умственного развития, мог примкнуть к той или другой стороне; если бы он примкнул к партии будущего, вместо того чтобы присоединиться к партии прошедшего, тогда его личная судьба во многом бы изменилась, и внешние формы французской революции также испытали бы многие изменения, но прочные результаты всего движения оказались бы совершенно такими же, какими мы их видим теперь. Читатель, вероятно, знает уже, что прочными результатами я называю в этом случае экономические и социальные преобразования.

Национальное собрание, по своим отношениям к массе народа, было заранее осуждено на бездействие. С одной стороны, оно не могло принять решительную инициативу и объявить престол вакантным; с другой стороны, если бы оно захотело защитить и прикрыть Людовика XVI своим авторитетом, защита эта оказалась бы очень недостаточною, потому что авторитет собрания был уже в значительной степени подорван. При начале своих заседаний Национальное собрание было составлено наполовину из депутатов от дворянства и от духовенства. Эти депутаты, которых народ не хотел и не мог считать своими представителями, составили правую сторону собрания, и почти все держали себя, во все время заседаний, как явные враги революции и как безусловные приверженцы старого порядка. Многие из этих депутатов уехали за границу, когда эмиграция стала усиливаться и вошла в моду. Когда дворянство и духовенство были уничтожены как отдельные сословия, тогда депутаты от этих несуществующих сословий, очевидно, потеряли всякий смысл и превратились в ходячий анахронизм. Несмотря на это, анахронизм продолжал заседать в собрании, произносить речи и подавать голоса. В половине 1791 года правая сторона собрания состояла еще из трехсот человек, которые, производя много шума, заявляя торжественные протесты и беспристрастнейшим образом балансируя между различными оттенками центральной партии и левой стороны, развлекали силы собрания и отнимали у него возможность действовать решительно. Впрочем, центр и левая сторона сами по себе находились в постоянном колеба-

нии. Если они боялись эмигрантов и чистых роялистов, которые до того времени были их постоянными врагами, то еще сильнее боялись они чистых демократов и революционеров, которые до того времени были их постоянными союзниками. Чтобы сдержать в границах благопристойности этих опасных союзников, они готовы были пойти на мировую сделку с своими врагами, но враги ни на какую сделку не подавались, имея в виду соблазнительную надежду, что революция погибнет в ближайшем будущем от собственных своих ошибок и увлечений.

Конституционная партия, сжатая таким образом между слишком известными людьми прошедшего и страшными по своей неизвестности силами будущего, чувствовала шаткость своего положения, но вместе с тем сохраняла за собою численный перевес в Национальном собрании. От нее зависело решить вопрос: как выпутать короля и собрание из неприятных последствий варенской истории? При решении этого вопроса она, конечно, постаралась сохранить золотую середину и устроила дело так, что не удовлетворила ни роялистов, ни революционеров. Роялисты смотрели на варенское дело как на законный протест угнетенного короля против посягательств зазнавшихся подданных; в этом деле для них не могло быть и речи о преследовании и наказании виновных; виновными они считали только тех людей, которых неслыханная дерзость понудила короля искать себе безопасности вне Парижа и, может быть, вне Франции; для роялистов эмиграция принцев и дворянства была делом совершенно законным, а так как король, по их мнению, был первым принцем и первым дворянином во Франции, то он также мог эмигрировать, если находил это удобным для сохранения своего достоинства и необходимым для своей личной безопасности. Но где король, там и отечество, говорили далее роялисты; поэтому все честные французы, не желающие оставить свое отечество, должны следовать за королем на край света; следовательно, генерал Буйе, приготовивший бегство короля, и офицеры, отправившиеся в путь вместе с королем, оказываются лучшими патриотами во всей Франции и достойны полного уважения со стороны всех благомыслящих граждан.

Так думали роялисты, хотя, конечно, на трибуне Национального собрания они уже не могли высказываться вполне откровенно; общество XVIII века было уже слишком развращено для того, чтобы понимать идеи и ценить чувства времен Людовика XIV, Генриха IV или Франциска I. На трибуне эти тенденции выражались осторожно и уклончиво, с различными применениями к языку и понятиям испорченной эпохи. Но, во всяком случае, у роялистов был свой взгляд на вещи,

очень определенный и вполне последовательный, то есть вполне верный основной идее.

У революционеров был также свой взгляд, не менее определенный и не менее последовательный. Они думали и говорили, что король и все соучастники вареннской экспедиции виновны в измене против нации; короля следует объявить лишенным престола, а всех остальных предать суду и наказать по всей строгости законов. Конституционалисты попались в тиски между этими двумя противоположными взглядами; они стали лавировать из стороны в сторону, изобретать несуществующие факты и соглашать несогласимые понятия. Уезжая из Парижа, король оставил письменный протест против всех узаконений, выработанных Национальным собранием и получивших уже королевское утверждение; в этом протесте король очень подробно излагает свои жалобы против французов вообще и парижан в особенности; он объясняет очень обстоятельно причины своего бегства; Национальное собрание получило эту бумагу в тот самый день, в который оно узнало о бегстве короля. Но, несмотря на положительные уверения самого Людовика XVI, собрание, следуя внушению конституционной партии, выдумало, что король не бежал, а сделался жертвою насильственного или коварного похищения. Эта выдумка отодвигала самого короля в сторону, а всю ответственность обрушивала на его коварных и злоумышленных похитителей.

Такое замысловатое решение не могло удовлетворить ни роялистов, ни демократов; кроме того, оно оскорбляло здравый смысл и нравственное чувство всех честных людей, без различия политических партий. Никто не мог обмануться выдумкою Национального собрания; все знали, что бегство короля было вполне добровольно и преднамеренно. Если это бегство составляет преступление, то все участники этого предприятия преступны; если же не существует преступления, то не за что губить тех людей, которые были простыми исполнителями и верными слугами. Так говорил здравый смысл, но конституционная теория, сплетенная из множества политических и юридических фикций, находилась на таком неизмеримом расстоянии от простого и скромного здравого смысла, что не могла обращать на его советы ни малейшего внимания. Впрочем, конституционная партия не ограничилась тем, что взяла себе исходною точкою произвольную импровизацию; она, кроме того, сумела поставить себя в противоречие с этою самою импровизациею; предполагая, что король был похищен, она, однако, ухитрилась наложить на него исправительную эпитимию; собрание решило, что верховная исполнительная власть отнимается у короля и сосредоточивается в Национальном собрании до тех пор, пока конституция не будет окончена

и пока король не примет и не утвердит ее своею торжественною клятвою.

Все это здание выдумок и противоречий было воздвигнуто трудами Дюпора, Барнава, Ламетов и многих других сотрудников их в течение трех недель. К 16 июля прения о вареннской истории окончились в собрании, но те решения, которыми удовлетворялись представители, вовсе не понравились народу. Клуб кордельеров весь объявил себя против королевской власти; Марат в своей газете советовал народу выбрать себе диктатора или военного трибуна. Бриссо стал издавать газету «Le Républicain» *; Кондорсе написал республиканский памфлет **; Робеспьер в клубе якобинцев говорил об осторожности и уважении к конституции; но в Национальном собрании настаивал на том, что короля следует судить. Якобинцы старались соблюдать конституционное благоразумие, но когда Бриссо заговорил в их клубе против неприкосновенности королевской особы, тогда раздались крики неистового и чисто республиканского восторга. Бывшие хозяева якобинского клуба — Ламеты, Дюпор и Барнав — увидели по многим признакам, что творение их рук уходит окончательно из-под их влияния. Они решились сделать отчаянную попытку; 16 июля они перешли вместе с своими друзьями из монастыря якобинцев в монастырь фельянов ***, за ними последовали почти все депутаты, бывшие членами якобинского клуба; этот новый клуб фельянов объявил всем провинциальным якобинцам, что с этого дня он будет составлять настоящее общество друзей конституции; но большая часть провинциальных клубов не признали этого настоящего «общества» и по-прежнему продолжали переписываться с якобинцами, оставшимися в Якобинском монастыре. Ни Робеспьер, ни Петион, ни Бриссо не пошли в новое помещение клуба. У фельянов стали собираться депутаты и конституционный beau monde [1], но это изысканное общество, существовавшее всего один год, постоянно оставалось совершенно бессильным.

Руководители Национального собрания принуждены были наконец убедиться в том, что их время прошло и что выдвигаются вперед новые стремления, которых они не понимают, и новые люди, в отношении к которым они становятся уже людьми прошедшего. Антироялистское движение в клубах и в газетах служило верным отголоском господствующего настроения народных масс. В Национальное собрание приходили из разных городов и департаментов адресы, совершенно враждебные Людовику XVI, и нескромное направление этих адресов ставило иногда почтенных законодателей в очень неловкое и затруднительное положение.

---

[1] Высший свет *(франц.)*. — *Ред.*

Но затруднения сделались еще гораздо существеннее и значительнее, когда решение собрания по делу короля возбудило сильное неудовольствие в самом Париже. Пока продолжались еще прения о вареннской истории, происходили разные частные демонстрации; когда прения закончились, тогда составился план подать собранию петицию, подписанную многими тысячами имен и выражающую желание парижского народа, чтобы король был низложен с престола. Утром 17 июля несколько граждан, принадлежащих к клубу кордельеров, собрались на Марсовом поле и положили свою петицию на алтарь отечества, построенный в 1790 году для праздника федерации. Кто проходил мимо, тот читал и подписывал. Слух о прошении распространился очень быстро; люди, желающие прочитать и подписать петицию, стали стекаться на Марсово поле со всех сторон; толпа привлекала толпу, и часам к четырем пополудни вокруг алтаря отечества собрались десятки тысяч народа; устроилось что-то вроде общественного гулянья; тут были женщины и дети, люди всякого звания и всякого образа мыслей; были и сумасброды, советовавшие публике взять штурмом собрание и разогнать недостойных представителей великого французского народа; но публика, разумеется, смотрела на этих бесноватых проповедников как на забавный аксессуар летней прогулки; между тем на петиции набралось уже очень много подписей, и Национальное собрание, знавшее неприятное направление этой бумаги, пожелало уничтожить ее и задавить все движение мерами спасительной строгости. Собрание приказало парижскому мэру разогнать толпу бунтовщиков и злодеев, собравшихся вокруг алтаря отечества; Бальи и Лафайет объявили военный закон против возмущения, выставили в окне ратуши красное знамя и пошли на Марсово поле с пехотою, кавалериею и артиллериею национальной гвардии; пехота дала залп, храбрая кавалерия бросилась в атаку, и только артиллерии не удалось принять участия в поражении врагов. Бунтовщики и злодеи обращены в позорное бегство; на ступенях алтаря отечества осталось больше сотни убитых и раненых, в том числе много женщин, детей и стариков. Собрание изъявило свою благодарность городским властям за их энергию и распорядительность. Затем дела пошли прежним порядком.

Собрание было так великодушно, что не воспользовалось своею победою над злоумышленниками. Некоторые депутаты советовали закрыть клубы и пугнуть журналистов, но собрание на это не согласилось. Якобинцы, смущенные воинственным шумом, скоро оправились и совершенно пересилили фельянов, в пользу которых была одержана такая блистательная победа. Робеспьер, Марат, Дантон, Бриссо, Демулен, Фрерон

продолжали господствовать над умами народа речами, брошюрами и газетами. Популярность Лафайета и Бальи осталась убитою на Марсовом поле. 13 сентября король принял конституцию; 30 сентября Учредительное собрание окончило свою деятельность и разошлось. Из 1800 миллионов ассигнаций было издержано 1323. Финансы остались в прежнем положении.

РЕАЛИСТЫ

(Посвящается моему лучшему другу — моей матери В. Д Писаревой)

I

Мне кажется, что в русском обществе начинает вырабатываться в настоящее время совершенно самостоятельное направление мысли. Я не думаю, чтобы это направление было совершенно ново и вполне оригинально: оно непременно обусловливается тем, что было до него, и тем, что его окружает; оно непременно заимствует с различных сторон то, что соответствует его потребностям; в этом отношении оно, разумеется, подходит вполне под тот общий естественный закон, что в природе ничто не возникает из ничего. Но самостоятельность этого возникающего направления заключается в том, что оно находится в самой неразрывной связи с действительными потребностями нашего общества. Это направление создано этими потребностями и только благодаря им существует и понемногу развивается. Когда наши дедушки забавлялись мартинизмом *, масонством или вольтерьянством, когда наши папеньки утешались романтизмом, байронизмом или гегелизмом, тогда они были похожи на очень юных гимназистов, которые во что бы то ни стало стараются себя уверить, что чувствуют неодолимую потребность затянуться после обеда крепкою папироскою. У юных гимназистов существует на самом деле потребность казаться взрослыми людьми, и эта потребность вполне естественна и законна, но все-таки самый процесс курения не имеет ни малейшей связи с действительными требованиями их организма. Так было и с нашими ближайшими предками. Им было очень скучно, и у них существовала действительная потребность занять мозги какими-нибудь размышлениями, но почему выписывали из-за границы мартинизм, или байронизм, или гегелизм — на этот вопрос не ищите ответа в органических потребностях русских людей. Все эти *-измы* выписывались единственно потому, что они были в ходу у европейцев, и все они не имели ни малейшего отношения к тому, что происходило в нашем обществе. Теперь,

по-видимому, дело пошло иначе. Мы теперь выписываем больше, чем когда бы то ни было; мы переводим столько книг, сколько не переводили никогда; но мы теперь знаем, что делаем, и можем дать себе отчет, почему мы берем именно это, а не другое.

После окончания Крымской войны родилась и быстро выросла наша обличительная литература. Она была очень слаба и ничтожна, и даже очень близорука, но ее рождение было явлением совершенно естественным и вполне органическим. Удар вызвал ощущение боли, и вслед за тем явилось желание отделаться от этой боли. Обличение направилось, конечно, на те стороны нашей жизни, которые всем мозолили глаза, и, между прочим, наше негодование обрушилось на мелкое чиновничество; но такие обличительные подвиги, конечно, не могли нас удовлетворить, и мы скоро поняли, что они, во-первых, бесплодны, а во-вторых, несправедливы и даже бессмысленны. Прежде всего явилось в отпор обличительному бешенству то простое соображение, что мелкому чиновнику хочется есть и что за это естественное желание не совсем основательно считать его извергом рода человеческого. — Это точно. Пускай едят мелкие чиновники. Значит, надо увеличить оклады жалованья,— заговорили те мыслители, которые любят находить в одну минуту универсальное лекарство для всяких неудобств частной и общественной жизни. — Это само собою, — отвечали другие; — но этого мало. Когда чиновник будет обеспечен, тогда он потянется за роскошью. Надо сделать так, чтобы он не тянулся.— Ну да, конечно,— заговорили опять любители универсальных лекарств.— Дать чиновнику твердые нравственные убеждения. Дать ему солидное образование. Пускай кандидаты университета идут в квартальные и в становые. — И это хорошо, — заметили другие. — Образование—дело превосходное, но у каждого чиновника есть семейство или кружок близких знакомых. Каждый чиновник, получивший солидное образование, прямо с университетской скамейки входит в один из таких кружков и проводит всю свою жизнь в одном кружке или в нескольких кружках, которые, впрочем, все похожи друг на друга. Предания университетской скамейки говорят ему одно, а влияние жены, сестер, матери, отца и тот бесконечный гул и говор, который все-таки, как ни вертись, составляет общественное мнение, — говорят совершенно другое. Предания и воспоминания всегда бывают слабее живых впечатлений, повторяющихся каждый день, и выходит из этого тот результат, что чиновник начинает тянуться за роскошью, хотя и знает, что тянуться за нею дозволенными средствами невозможно, а недозволенными не годится. Значит, как же?—Ах, черт побери,— думают любители

универсальных лекарств, подобные гг. Каткову, Павлову, Громеке и К⁰. — В самом деле: как же? Шутка сказать. Ведь это надо реформировать среду.— Впрочем, раздумье этих мыслителей продолжается недолго, и они непременно что-нибудь придумывают или по крайней мере о чем-нибудь начинают говорить: ну да, реформировать! ну да, обновить! Ну да, распространить грамотность, устроить сельские школы, завести женские гимназии, проложить железные дороги, открыть земские банки и т. д. — Но мы видели и до сих пор видим перед собою два громадные факта, из которых вытекают все наши отдельные неприятности и огорчения. Во-первых, мы бедны, а во-вторых, глупы *. Эти слова нуждаются, конечно, в дальнейших пояснениях. *Мы бедны* — это значит, что у нас, сравнительно с общим числом жителей, мало хлеба, мало мяса, мало сукна, мало полотна, мало платья, обуви, белья, человеческих жилищ, удобной мебели, хороших земледельческих и ремесленных орудий, словом, всех продуктов труда, необходимых для поддержания жизни и для продолжения производительной деятельности. *Мы глупы* — это значит, что огромное большинство наших мозгов находится почти в полном бездействии и что, может быть, одна десятитысячная часть наличных мозгов работает кое-как и вырабатывает в двадцать раз меньше дельных мыслей, чем сколько она могла бы выработать при нормальной и нисколько не изнурительной деятельности. Обижаться тут, конечно, нечем; когда человек спит, он не может работать умом; когда Иван Сидорович ремизит Степана Парамоновича за зеленым сукном, он не может работать умом. Словом, только те и не работают, кто, по своему теперешнему положению, не в состоянии работать. Кто может, тот работает, но кое-как, потому что потребность на эту работу слаба, и потому самый страстный актер будет холоден и вял, когда ему придется играть перед пустым партером. Само собою разумеется, что наша умственная бедность не составляет неизлечимой болезни. Мы не идиоты и не обезьяны по телосложению, но мы люди кавказской расы, сидевшие сиднем, подобно нашему милому Илье Муромцу, и наконец ослабившие свой мозг этим продолжительным и вредным бездействием. Надо его зашевелить, и он очень быстро войдет в свою настоящую силу. Оно, конечно, надо, но ведь вот в чем беда: мы бедны, потому что глупы, и мы глупы, потому что бедны. Змея кусает свой хвост и изображает собою эмблему вечности, из которой нет выхода. Шарль Фурье говорит совершенно справедливо, что главная сила всех бедствий современной цивилизации заключается в этом проклятом cercle vicieux [1]. Чтобы разбогатеть, надо хоть не-

[1] Заколдованный круг *(франц.)*. — *Ред.*

много улучшить допотопные способы нашего земледельческого, фабричного и ремесленного производства, то есть надо поумнеть; а поумнеть некогда, потому что окружающая бедность не дает вздохнуть. Вот тут и вертись как знаешь. Есть, однако, возможность пробить этот заколдованный круг в двух местах. *Во-первых,* известно, что значительная часть продуктов труда переходит из рук рабочего населения в руки непроизводящих потребителей. Увеличить количество продуктов, остающихся в руках производителя, — значит уменьшить его нищету и дать ему средства к дальнейшему развитию. К этой цели были направлены законодательные распоряжения правительства по крестьянскому вопросу. В этом месте заколдованный круг может быть пробит только действием законодательной власти и поэтому мы об этой стороне дела распространяться не будем. — *Во-вторых*, можно действовать на непроизводящих потребителей, но, конечно, надо действовать на них не моральною болтовней, а живыми идеями, и поэтому надо обращаться только к тем потребителям, которые желают взяться за полезный и увлекательный труд, но не знают, как приступить к делу и к чему приспособить свои силы. Те люди, которые, по своему положению, могут и, по своему личному характеру, желают работать умом, должны расходовать свои силы с крайнею осмотрительностию и расчетливостию; то есть они должны браться только за те работы, которые могут принести обществу действительную пользу. Такая экономия умственных сил необходима везде и всегда, потому что человечество еще нигде и никогда не было настолько богато деятельными умственными силами, чтобы позволять себе в расходовании этих сил малейшую расточительность. Между тем расточительность всегда и везде была страшная, и оттого результаты до сих пор получались самые жалкие. У нас расточительность также очень велика, хотя и расточать-то нам нечего. У нас до сих пор всего какой-нибудь двугривенный умственного капитала, но мы, по нашему известному молодечеству, и этот несчастный двугривенный ставим ребром и расходуем безобразно. Нам строгая экономия еще необходимее, чем другим, действительно образованным народам, потому что мы, в сравнении с ними, нищие. Но чтобы соблюдать такую экономию, надо прежде всего уяснить себе до последней степени ясности, что полезно обществу и что бесполезно. Вот тут-то, над этим уяснением и должна работать литература. Мне кажется, что мы начинаем чувствовать необходимость умственной экономии и стремимся уяснить себе понятие настоящей выгоды или пользы. В этом и заключается то самостоятельное направление мысли, которое, по моему мнению, вырабатывается в современном русском обществе. Если

это направление разовьется, то заколдованный круг будет пробит. Экономия умственных сил увеличит наш умственный капитал, а этот увеличенный капитал, приложенный к полезному производству, увеличит количество хлеба, мяса, одежды, обуви, орудий и всех остальных вещественных продуктов труда. Обязанность развивать это направление и пробивать с этой стороны заколдованный круг лежит целиком на нашей литературе, потому что в этой сфере литература может действовать самостоятельно.

II

Экономия умственных сил есть не что иное, как строгий и последовательный реализм. «Природа — не храм, а мастерская, — говорит Базаров, — и человек в ней работник». Рахметов * видится только с теми людьми, с которыми ему «нужно» видеться, он читает только те книги, которые ему «нужно» прочесть, он даже ест только ту пищу, которую ему «нужно» есть для того, чтобы поддерживать в себе физическую силу; а поддерживает он эту силу также потому, что это кажется ему «нужным», то есть потому, что это находится в связи с общею целью его жизни. Особенность Рахметова состоит исключительно в том, что он менее других честных и умных людей нуждается в отдыхе; можно сказать, что он отдыхает только тогда, когда спит. Вся остальная часть его жизни проходит за работой, и вся эта работа клонится только к одной цели: уменьшить массу человеческих страданий и увеличить массу человеческих наслаждений. К этой цели клонились всегда, сознательно и бессознательно, прямо или косвенно, все усилия всех умных и честных людей, всех мыслителей и изобретателей. Чем сознательнее и прямее деятельность человека направлялась к этой цели, тем значительнее была масса принесенной им пользы; но, к сожалению, нервная система человека так устроена, что она не может долго сосредоточивать свои силы на одной точке. Если мы захотим долго держать руку или ногу в одном и том же положении, то мы почувствуем в этой ноге или руке утомление и, наконец, настоящую боль. Если мы будем долго смотреть на один предмет, то у нас зарябит в глазах. Если мы будем долго вдумываться в одну и ту же мысль, то ум наш на несколько времени откажется работать. Если мы будем проводить эту мысль во все наши поступки, то, наконец, эта мысль начнет нас тяготить, и мы почувствуем непреодолимую потребность отложить ее на время в сторону и пожить хоть несколько часов бесцельною жизнью. У Рахметова эта потребность возникает очень редко, и поэтому он стоит выше обыкновенных людей, то есть может в течение своей жизни сделать больше работы;

а всякий согласится, что мы можем мерить умственные силы людей только количеством сделанной ими полезной работы. Рахметов может обходиться без того, что называется личным счастьем; ему нет надобности освежать свои силы любовью женщины, или хорошею музыкою, или смотрением шекспировской драмы, или просто веселым обедом с добрыми друзьями. У него есть только одна слабость: хорошая сигара, без которой он не может вполне успешно размышлять. Но и это наслаждение служит ему только средством: он курит не потому, что это доставляет ему удовольствие, а потому, что курение возбуждает его мозговую деятельность. Если бы он не замечал в этом курении осязательной пользы, он бы от него отказался, не ради идеального совершенства, а ради того, что не следует ничем отвлекаться от настоящей цели. Ставить такого титана в пример читателю совершенно бесполезно. Это все равно, что советовать читателю связать железную кочергу в узел или открыть какой-нибудь мировой закон, вроде ньютоновского тяготения или дарвиновской теории естественного выбора. Мы — люди обыкновенные, и если бы мы захотели выбросить из нашей жизни отдых и чисто личное наслаждение, то мы сделали бы себя мучениками и, кроме того, повредили бы даже общему делу; мы бы надорвались, мы бы отняли у себя возможность принести ту малую долю пользы, которая соответствует размерам наших сил; поэтому нам не следует надуваться, потому что до вола мы все-таки не дорастем, а если лопнем, то вместо экономии окажется чистый убыток. Когда вы отдыхаете и наслаждаетесь, тогда никто не имеет права посылать вас на работу; общее дело человечества подвигается вперед не барщинною работою, и сгонять на этот труд ленивых или утомленных людей — значит изображать суетливую муху, помогавшую лошадям вытаскивать в гору тяжелый рыдван *. Но когда вы, отдохнувши и насладившись вдоволь, сами, по собственной охоте, принимаетесь за работу, тогда общество, в лице каждого из своих членов, тотчас получает над вами право контроля и критики; оно произносит свой приговор над вашею деятельностью, и оно имеет полное право выражать свое желание, чтобы те силы, которые добровольно отдаются на общеполезное дело, действительно тратились там, где они необходимы. Когда вы отдыхаете, вы принадлежите самому себе; когда вы работаете, вы принадлежите обществу. Если же вы никогда не хотите принадлежать обществу, если ваша работа не имеет никакого значения для него, тогда вы можете быть вполне уверены, что вы совсем никогда не работаете и что вы проводите всю вашу жизнь подобно мотыльку, порхающему с цветка на цветок. Мартышкин труд не есть работа.

Если такой мартышкин труд производится вполне сознательно, то есть если трудящаяся личность сама понимает свою бесполезность и сама говорит себе и другим: я трутень и хочу быть трутнем, потому что это мне приятно, тогда, разумеется, не о чем и толковать, потому что неизлечимые больные не нуждаются ни в дружеских советах, ни в медицинской помощи. Но можно сказать наверное, что большая часть мартышкина труда производится в каждом человеческом обществе по чистому недоразумению. Трудящаяся личность, в большей части случаев, добросовестно и искренно убеждена в том, что она трудится для человечества и для общества; это обаятельное убеждение придает ей бодрость и вдохновляет ее во время труда; если вы поколеблете в ней это убеждение, у нее опустятся руки, и для нее настанет очень тяжелая минута разочарования и уныния; но за этою минутою явится сильное стремление к настоящей пользе и крутой поворот к какой-нибудь другой деятельности, достойной мыслящего человека и добросовестного гражданина. В результате получится, таким образом, экономия умственных сил, и эта экономия будет гораздо более значительна, чем это может показаться читателю с первого взгляда. Каждая личность действует более или менее на все, что ее окружает; поворот к реализму, происшедший в одной личности, дает себя чувствовать многим другим, и та же самая особа, которая до своего обращения могла своим примером и своими советами сбить с толку двух или трех молодых людей, будет после своего обращения действовать на этих же молодых людей самым благотворным образом, как покаявшийся грешник может действовать на человека, порывающегося согрешить и, главное, убежденного г похвальности греха. Поэтому я думаю, что наша литература могла бы принести очень много пользы, если бы она тщательно подметила и основательно разоблачила различные проявления мартышкина труда, свирепствующего в нашем обществе и отравляющего нашу умственную жизнь. Кое-что в этом направлении уже сделано; но вся задача, во всей своей целости, чрезвычайно обширна, многие ее стороны совсем не затронуты, и, вероятно, пройдет еще много лет и потратится много усиленного труда, прежде чем общество начнет ясно сознавать свою собственную пользу. Пока не наступит это блаженное время русского благоразумия, литература должна постоянно держать ухо востро и выводить на свежую воду мартышкин труд, надевающий на себя самые разнообразные личины и ежедневно сбивающий с толку самых добросовестных людей, очень неглупых и вполне способных горячо полюбить полезную работу.

III

Наших реалистов упрекают давно, и часто и сильно, в том, что они не понимают и не уважают искусства. Упрек в непонимании несправедлив; а что они не уважают искусства — это верно. Наши реалисты, как люди молодые и не вполне установившиеся, до сих пор еще не определили с достаточною ясностью свои отношения к искусству. Реальное направление нашей литературы вообще находится теперь в переходной поре: оно перестало быть смутным инстинктом, но не сделалось еще строгим и отчетливо сознательным убеждением. Многие упреки противной стороны застают наших реалистов врасплох. Когда противники представляют им крайние выводы, составляющие естественный и логический результат их собственных положений, тогда наши реалисты часто конфузятся, делают шаг назад и стараются оправдаться. Само собою разумеется, что такие колебания вредят реальному направлению литературы, ободряют его противников и дают им повод говорить поучительным и покровительственным тоном разные «жалкие слова» на ту печальную тему, что «молодо-зелено» и что все нападки мальчишек* на искусство и на науку происходят только от нежелания учиться и от ребяческой наклонности ко всякому озорству. Все уступки реалистов обращаются таким образом не только против их общего дела, но даже против их отдельных личностей. Эти уступки и колебания безусловно вредны; но они в то же время могут служить нам превосходным доказательством той истины, что наш теперешний литературный реализм не выписан из-за границы в готовом виде, а формируется у нас дома. У нас нет готовой системы, из которой мы могли бы брать для нашей защиты сильные аргументы, придуманные каким-нибудь заграничным учителем; мы в этом отношении не похожи на гегелистов прошлого поколения; нам приходится приготовлять каждый аргумент своими домашними средствами; оттого дело идет у нас не очень прытко, оттого мы иногда пятимся и провираемся, но это еще ничего не значит. Но конфузиться все-таки не годится, а уже сделанные ошибки в подобном роде следует исправлять для того, чтобы на будущее время обнаруживать при столкновениях с литературными противниками больше достоинства, стойкости и сознательности. Года два тому назад наши литературные реалисты сильно опростоволосились, и этот случай так интересен и поучителен, что о нем стоит поговорить подробно, для того чтобы определить разумные отношения настоящего литературного реализма к вопросу об искусстве.

Действие происходит в 1862 году. В февральской книжке «Русского вестника» появляется роман Тургенева «Отцы и

дети». Роман этот, очевидно, составляет вопрос и вызов, обращенный к молодому поколению старшею частью общества. Один из лучших людей старшего поколения, Тургенев, писатель честный, написавший и напечатавший «Записки охотника» задолго до уничтожения крепостного права, Тургенев, говорю я, обращается к молодому поколению и громко предлагает ему вопрос: «Что вы за люди? Я вас не понимаю, я вам не могу и не умею сочувствовать. Вот что я успел подметить. Объясните мне это явление». Таков настоящий смысл романа. Этот откровенный и честный вопрос пришелся как нельзя более вовремя. Его предлагала вместе с Тургеневым вся старшая половина читающей России. Этот вызов на объяснение невозможно было отвергнуть. Отвечать на него литературе было необходимо.—Это было бы превосходно, если бы каждая идея, проводимая мыслящими людьми, проникала в общество, перерабатывалась в нем и потом возвращалась бы назад к литераторам в отраженном виде для поверки и поправки. Тогда умственная работа закипела бы очень быстро, и всякие недоразумения между литературою и обществом оканчивались бы вполне удовлетворительными объяснениями. Дурна или хороша была тенденция тургеневского романа — это все равно; для литературных реалистов этот роман был во всяком случае драгоценным известием о судьбе их идеи и еще более драгоценным поводом к обстоятельному объяснению с читающею публикою. Но надо было именно говорить со всем русским обществом, а не с личностью Тургенева и, уж во всяком случае, не с литературною партиею «Русского вестника». *Надо* было совершенно отодвинуть в сторону оценку романа и сосредоточиться на разборе базаровских идей даже в том случае, если бы сам Базаров был карикатурою. Но «Современник» поступил как раз наоборот. Совершенно изменяя добролюбовским преданиям, он дал своим читателям чисто эстетическую рецензию *. Г Антонович употребил все силы своей диалектики на то, чтобы доказать, что роман Тургенева плох, хотя публике не было никакого дела ни до Тургенева, ни до его романа. Она хотела знать, что такое Базаров, и этот вопрос имел для нее самое жизненное значение, потому что большая часть матерей, отцов и сестер видели в своих детях и братьях частицы или зародыши тех типических особенностей, которые сосредоточились и воплотились с полною силою в фигуре тургеневского нигилиста. «Если Базаров — карикатура, — рассуждала публика, — то объясните и представьте нам в настоящем свете то явление жизни, которое вызвало эту карикатуру, и покажите нам еще раз ту идею, которая породила это явление. Если Базаров — живой человек, то растолкуйте нам его, мы не понимаем, он нас пугает, и пугает именно потому, что мы видим что-то непо-

нятное и базаровское в чертах характера многих из тех людей, которых мы любим, от которых нам больно отрываться и с которыми мы не умеем свыкнуться». Но этот животрепещущий вопрос, поставленный жизнью, не дошел до слуха критика, углубившегося в проведение остроумной параллели между г. Тургеневым и Виктором Ипатьевичем Аскоченским. Критик «Современника» не захотел объяснить публике и даже самому молодому поколению, какой смысл заключается для него в Базарове, из какой общей идеи выходят тенденции его. Задача действительно была очень обширная, и для удовлетворительного ее разрешения требовалось очень много осторожности, хладнокровия и технической ловкости; надо было отказаться от всяких стремлений к пафосу и к полемической декламации. Надо было уяснить себе свою собственную мысль во всех ее мельчайших подробностях и затем изложить ее в полной ясности самыми холодными, бесстрастными и, пожалуй, даже бесцветными словами. Но критик написал статью чрезвычайно резкую, напал на Тургенева с неслыханным ожесточением, уличил его в таких мыслях и стремлениях, о которых Тургенев никогда и не думал, выдержал самую упорную борьбу с несуществующими заблуждениями автора и затем, наполнив этим воинственным шумом пятьдесят страниц, оставил существенный вопрос совершенно нетронутым. С Тургеневым критик расправляется очень бойко, но при встрече с теми людьми, которые считают Базарова уродом и злодеем, он совершенно умолкает. Эти люди говорят, что Базаров действительно существует и что он — лютое животное, подобное тем эгоистам, для которых г. Станицкий рекомендует железные кольца, продетые в ноздри *. А критик Тургенева говорит, что Базаров — карикатура, что Базаров не существует, но что если бы он существовал, то, конечно, его надо было бы признать лютым животным. Это значит, что дама просто приятная говорит о лапках да о глазках: «ах, пестро!», а дама приятная во всех отношениях возражает: «ах, не пестро!», но, в сущности, обе дамы вполне согласны между собою в том, что пестрое платье унижает достоинство благовоспитанной губернской аристократки. Они спорят о факте, и только об одном факте, и при этом критик тщательно скрывает то обстоятельство, что он совершенно расходится с гг. Дудышкиным, Зариным и Катковым в самом принципе, на основании которого произносится суждение о достоинстве факта. И он даже не останавливается на одном молчании; он робко и неясно произносит такие слова, которые совершенно не вяжутся с основными идеями «Современника»; словом, он конфузится, теряется и доходит в своей скромности или в тонкости своей литературной дипломатии до очевидного молчалинства, но все это благополучно сходит с рук по милости воинственного экстаза, который составляет

декорацию и направляется против личности Тургенева как мыслителя, художника и гражданина. Базарова критик выдает головой, и при этом он даже не осмеливается отстаивать то живое явление, по поводу которого был создан Базаров. Причина, которою он оправдывает свою робость, в высшей степени любопытна: «Пожалуй,— говорит он,— обличат в пристрастии к молодому поколению, а что еще хуже — станут укорять в недостатке самообличения. Поэтому пускай кто хочет защищает молодое поколение, только не мы» (стр. 93). Вот это очаровательно! Ведь защищать молодое поколение — значит, по-настоящему, защищать те идеи, которые составляют содержание его умственной жизни и которые управляют его поступками. Одно из двух: или критик сам проникнут этими идеями, или он их отрицает. В первом случае защищать молодое поколение — значит защищать свои собственные убеждения. Во втором случае защищать его невозможно, потому что человек не может поддерживать ту идею, которую он отрицает. Но критик, видите ли, и рад бы защитить, да боится, что «его обличат в пристрастии». — К чему? — К собственным убеждениям. Удивительное обличение! Умен должен быть тот господин, который выступит с подобным обличением, да и тот тоже не дурен, кто боится таких обличителей. И зачем приводить такие неестественные резоны? Просто не хватило уменья, и ничего тут нет постыдного в этом недостатке наличных сил. Мы люди молодые: поживем, поучимся, подумаем и через несколько лет решим те вопросы, которые теперь, быть может, заставляют нас становиться в тупик. Но валить с больной головы на здоровую все-таки не годится: Тургенев и Базаров, во всяком случае, не виноваты в том, что критик не умеет защищать молодое поколение и что роль первого критика в «Современнике» не соответствует теперешним размерам его сил. А между тем за все, про все отдуваются именно Тургенев да Базаров. Чтобы доказать, что Базаров — гнусная карикатура и что Тургенев написал презренный пасквиль, критик «Современника» рассуждает так неестественно и пускает в ход такие удивительные натяжки, что читателю, знакомому с романом «Отцы и дети», приходится на каждом шагу обвинять и уличать критика или в непонятливости, или в нежелании понимать. Как объяснить себе, например, такой пассаж: «Главный герой романа с гордостью и заносчивостью говорит о своем искусстве в картежной игре» (стр. 68). Это Базаров-то! С гордостью и заносчивостью! О преферансе и ералаше! Мне даже совестно становится за критика. «Потом г. Тургенев старается выставить главного героя обжорой, который только и думает о том, как бы поесть и попить» (стр. 69). Подумаешь, право, что этот г. Тургенев есть нечто вроде г. Бориса Федорова, пищущего для каких-то воображаемых детей

поучительные рассказы о жадном Васеньке и о воздержной Параше. «Даже смотреть глупо», как говорит г. Щедрин в своем рассказе «Развеселое житье». Но еще глупее смотреть на то, как критик «Современника», умышленно или нечаянно, уродует сцену, происходящую перед смертью Базарова. Вот это изумительное место: «Герой как медик очень хорошо знает, что ему остается до смерти несколько часов; он призывает к себе женщину, к которой он питал не любовь, а что-то другое, непохожее на настоящую возвышенную любовь. Она пришла, герой и говорит ей: «Старая штука смерть, а каждому внове. До сих пор не трушу... а там придет беспамятство, и фюить! Ну, что ж мне сказать вам... Что я любил вас? Это и прежде не имело никакого смысла, а теперь и подавно. Любовь — форма, а моя собственная форма уже разлагается. Скажу я лучше, что какая вы славная! И теперь вот вы стоите, такая красивая»... (Читатель дальше яснее увидит, какой гадкий смысл заключается в этих словах.) Она подошла к нему поближе, и он опять заговорил: «Ах, как близко, и какая молодая, свежая, чистая... в этой гадкой комнате!»... (стр. 657). От этого резкого и дикого диссонанса теряет всякое поэтическое значение эффектно написанная картина смерти героя». Читатель, конечно, недоумевает и начинает думать, что критик «Современника» — прекраснейший критик, но только «уж очень строг насчет манер», подобно Матрене Марковне, супруге Егора Капитоныча из повести Тургенева — «Затишье». Читатель никак не может понять, где же тут «гадкий смысл» и в чем именно чуткое ухо эстетика уловило «резкий и дикий диссонанс»? Оказывается дальше, что критик оскорблен не как эстетик, а как моралист. «И у автора,— восклицает он на стр. 73,— поворачивается язык говорить о всепримиряющей любви, о бесконечной жизни после того, как его самого эта любовь и мысль о бесконечной жизни не могли удержать от бесчеловечного обращения с своим умирающим героем, который, лежа на смертном одре, призывает свою возлюбленную для того, чтобы видом ее прелестей в последний раз пощекотать свою потухающую страсть. Очень мило!» Да, уж так мило, что милее этого места не выдумал бы ни г. Зарин, ни г. Щеглов. Всякий обыкновенный читатель видит ясно, что Базаров хочет в последний раз взглянуть на любимую женщину и в последний раз сказать ей какое-нибудь ласковое слово. Может быть, со стороны Базарова очень не похвально занимать свои мысли перед самою смертью такими суетными привязанностями. Что ж, думает он, пускай посмотрит. Пусть она ему улыбнется, пусть он увидит в этой улыбке тень тихой грусти, пусть он выскажет ей словами или взглядами хоть что-нибудь из той горячей любви, которою переполнена была его молодая душа.

Так подумает самый обыкновенный и самый бесхитростный читатель, тот самый читатель, который, быть может, на здорового Базарова смотрел как на злобного и опасного разрушителя. Так подумали, наверное, даже многие из мудреных русских писателей, подобных гг. Каткову, Павлову, Скарятину и другим блюстителям литературного благочиния. Но критик «Современника» так переполнен воинственным жаром, что он ни на одну минуту не желает сделаться обыкновенным и бесхитростным читателем. Он надевает на себя неестественную маску; он старается быть неумолимо строгим. Он проникает в мысли Базарова и усматривает в них греховную нечистоту. Прежде всего он впускает в свой рассказ некоторые неверности, которые я, из вежливости, назову ошибками. Во-первых, Базаров не призывает Одинцову, а только посылает ей сказать, что он умирает. Одинцова приезжает к нему без всякого зова. Базаров не ожидал ее; он едва мог надеяться на то, что она приедет, и вследствие этого он, увидя ее перед собою, чувствует такой избыток радости и благодарности, что не находит даже, как и о чем говорить с нею. Сверх того, он уже так плох, что в присутствии Одинцовой начинает бредить и вообще с трудом может связывать мысли. Он, как больной ребенок, смотрит на нее и видит, что она хорошая, и бормочет: «славная, красивая, молодая, свежая, чистая, в гадкой комнате». При этом он только с мучительною ясностью чувствует поразительный контраст между ее цветущею жизнью и своим собственным разложением. И тут, при всей его слабости, в нем не видно ни зависти, ни боязни. Как только Одинцова переступает через порог его комнаты, он говорит ей: «Не подходите; моя болезнь может быть заразительна»; но Одинцова тотчас, по естественному движению нежности и неустрашимости, подходит к самой его постели. Тогда он и говорит: «Ах, как близко!». Этими словами он хочет сказать: я кусок гнилого мяса. Мне больно за вас. Зачем вы, молодая, свежая, чистая, дышите зараженным воздухом этой гадкой комнаты. И в то же время ему, конечно, в высшей степени приятно, что она его не боится, что она смотрит на него ласково и без отвращения, что она не бежит вон из гадкой комнаты, а особенно приятно для него то, что она в самом деле хорошая и милая женщина, а не только «вдова души возвышенной, благородной и аристократической», как называет ее критик. Базаров мучительно счастлив ее присутствием и с грустным удовольствием наслаждается ее простою и естественною гуманностью, потому что в нем шевелятся до самой последней минуты высокочеловечные и строго-разумные мысли. И по поводу этого-то человека критик говорит о каком-то щекотании. Я даже не понимаю хорошенько, что именно он называет этим карательным термином. Во всяком случае, я нахожу, что мне давно пора прекра-

тить разговор об этом предмете. Да, опростоволосились наши реалисты, опростоволосились до такой степени, что сочли нужным поддерживать свое дело крючкотворною аргументациею.

IV

Наши умственные силы расходуются нерасчетливо — это не подлежит сомнению, и в признании этого факта сходятся между собою все наши литературные органы самых разнообразных оттенков. Где причина нерасчетливости? Когда приходится отвечать на этот вопрос, тогда все органы бросаются врассыпную и друг друга побивают величием своей ерунды. Все это очевидно доказывает, что ясных и неопровержимых аргументов не представляет никто, что в корень дела не заглядывает ни один писатель и что настоящая причина нашей умственной суеты остается неизвестною всем ее искателям и обличителям. Если бы кто-нибудь растолковал публике, как дважды два — четыре, в чем состоят важные интересы ее умственной жизни, то противники этого «кто-нибудь» были бы радикально побеждены, потому что публика себе не враг и, стало быть, не будет обольщаться тем, что она раз навсегда признала для себя вредным и невыгодным. Поэтому указать на эти интересы и доказать, что они действительно существенные, — это, разумеется, самая важная задача современной литературы. Пока эта задача не будет решена вполне, до тех пор и писателям придется работать ощупью и публике выбирать кусочки из груды произведений — также ощупью. Ни один писатель не решится сказать, что он работает для нанесения вреда читающему обществу; ни один не решится также сказать, что он своею работою не приносит обществу ни малейшей пользы; стало быть, все стремятся принести своим читателям пользу; между тем одни из них действуют прямо наперекор другим. Если бы читатели «одних» были моллюсками, а читатели «других» тараканами, то, разумеется, можно было бы думать, что и «одни» и «другие» говорят дело, потому что организация таракана не похожа на организацию моллюска, и, следовательно, умственные интересы этих двух пород могут быть диаметрально противоположными. Но, к сожалению, и одних и других читают все-таки несчастные люди, стало быть, очевидно, или одни, или другие врут и вредят, а легко может быть и то, что врут и вредят как одни, так и другие, потому что способы вранья неисчислимы, между тем как истина двоиться не может. Стало быть, есть писатели, приносящие чистый вред или по медвежьей услужливости, или по узкой корыстности; [1]

[1] В конце концов и то и другое сводится к тупоумию.

первые ошибаются, вторые лицемерят. Первых надо урезонить, вторых надо разоблачить для того, чтобы они сделались безвредными и неопасными. Чтобы произвести эти две операции, то есть чтобы радикально вычистить литературу, надо именно указать существенную пользу. Вполне последовательное стремление к пользе называется реализмом и непременно обусловливает собою строгую экономию умственных сил, то есть постоянное отрицание всех умственных занятий, не приносящих никому пользы. Реалист постоянно стремится к пользе и постоянно отрицает в себе и других такую деятельность, которая не дает полезных результатов. Стало быть, строгий реалист соблюдает в самом себе и уважает в других людях строгую экономию умственных сил. Стало быть, разъяснить вполне значение реализма в литературе — значит решить самую важную задачу современной идеи и радикально очистить эту идею от ненужного сора и от бесплодных полемических волнений.— Но различные недоразумения могут укрыться в самом слове *«польза»*, и поэтому прежде всего необходимо разъяснить эти недоразумения.— Человек одарен чувством самосохранения. Он невольно и бессознательно любит свою жизнь и старается сохранить ее в себе как можно дольше. Такие крайности, как мотовство и скряжничество, одинаково нерасчетливы, потому что при обоих способах действия жизнь дает меньше наслаждений, чем сколько она могла бы дать при рациональном использовании. Дети так радикально предпочитают приятное полезному, то есть непосредственное наслаждение отсроченному, что если посыпать сахаром их молочную кашу и не размешать ее начальственною рукою, они непременно истребят сначала элемент *приятного,* то есть чистый сахар, а потом уже, по необходимости и с тяжелым вздохом, примутся за голую *пользу,* то есть за кашу, которая, однако, была бы гораздо вкуснее в соединении с *приятностью.* Взрослые называют этих юных эпикурейцев глупыми ребятами и сами делают глупости гораздо более крупные. Например, далеко не всякий чиновник умеет так распорядиться с своим третным жалованьем, чтобы в начале трети не задавать неестественного форсу и в конце трети не созерцать свои зубы, положенные на полку. Это значит — сначала облизал весь сахар, а потом лишил себя даже молочной каши. У кого хватает предусмотрительности на четыре месяца, у того может не хватить ее на два года. Сколько бывало примеров, что на литературное поприще выступает вдруг блестящее молодое дарование; два-три успеха быстро следуют один за другим; опытные люди смотрят на него и радуются, но в то же время советуют ему потихоньку: почитайте книжку; поучитесь, голубчик. Ей-богу, лучше будет. — Еще успею, говорит он, еще успею.— Успею да успею, как вдруг неожиданное фиаско

постигает юное дарование, которое, как падающая звезда, мгновенно скатывается с неба и скрывается на заднем дворе какого-нибудь «Сына отечества» или «Развлечения», куда, впрочем, настоящие падающие звезды, сколько мне известно, не заглядывают...

V

Базаров с первой минуты своего появления приковал к себе все мои симпатии, и он продолжает быть моим любимцем даже теперь. Я долго не мог себе объяснить причину этой исключительной привязанности, но теперь я ее вполне понимаю. Ни один из подобных ему героев не находится в таком трагическом положении, в каком мы видим Базарова. Трагизм базаровского положения заключается в его полном уединении среди всех живых людей, которые его окружают. Он везде производит своею особою резкий диссонанс, он всех заставляет страдать своим присутствием и существованием, он сам это видит и понимает; и понимает, кроме того, с мучительною ясностью роковые причины и абсолютную неизбежность этих страданий. Люди, окружающие Базарова, страдают не оттого, что он поступает с ними дурно, и не оттого, что они сами дурные люди; напротив того, он не делает в отношении к ним ни одного дурного поступка, и они, с своей стороны, также очень добродушные и честные люди. И тем хуже, тем мучительнее и безвыходнее их положение. Нет причин для разрыва, и нет возможности сблизиться. Нет возможности потому, что нет ни одного общего интереса, ни одного такого предмета, который с одинаковою силою затронул бы умственные способности Базарова и его собеседников. Ему приходится слушать их, как пятилетних детей, рассказывающих, что вот они гулять ходили и вдруг видят большую такую корову, и вдруг эта корова подошла туда, знаете, к реке, и вдруг начала пить.— Ну, так что же? спрашиваете вы.— Ну, вот напилась и пошла.— А потом? — Потом мы домой вернулись.— Вот вам и весь анекдот. И, выслушивая его, вы из чувства естественной гуманности должны тщательно наблюдать за вашею физиономиею, чтобы на ней не выразилось изумление, чтобы ваши губы не сложились невольно в улыбку сострадательного недоумения и чтобы, кроме того, черты вашего лица изображали хоть малейшее участие к тому, что вам рассказывается с чисто детским увлечением. Чуть только какой-нибудь мускул вашей физиономии утомился от этого неестественного напряжения и подернулся не в такт этой усыпительной музыке, и вся гармония нарушена, и весь плод ваших долговременных усилий пропал безвозвратно, и рассказчик, человек добрый и честный, искренно желающий вас утешить и развлечь, оказы-

вается глубоко и смиренно опечаленным своею немощностью и своею неспособностью дать вам то, чего бы вы желали. Если бы он вас обругал в эту минуту, вы бы этому обрадовались; но он тихо опечалится и замолчит; в его душе будет только грусть, без малейшей горечи, но эту грусть вы в нем видите совершенно ясно и совершенно независимо от его воли, и его усилия скрыть от вас эту грусть, то есть не огорчить вас, человека, огорчившего его,— эти усилия, говорю я, делают его еще более трогательным в ваших глазах; и вам больно было, и ему больно, и обоим грустно, что разверередили друг друга, и все-таки ничем, да ведь решительно ничем, нельзя этому делу помочь. Вот оно, дьявольское-то положение; вот что может душу вытянуть из каждого человека, способного мыслить и чувствовать. Я советую читателям, получавшим «Русское слово», 1863 год, перечитать в нем повесть «Женитьба от скуки» *. Там именно такой разлад между мужем и женою приводит к сумасшествию и к самоубийству. Результат вовсе не преувеличен, и развитие трагической дисгармонии прослежено там очень удовлетворительно. Но молодой муж и молодая жена по крайней мере имеют хоть какую-нибудь возможность разойтись; конечно, этот образ действий тягостен и сопряжен со многими неудобствами; конечно, трудно предположить, чтобы обоим разошедшимся супругам удалось устроить себе новое счастье; но все-таки есть выход, и, во всяком случае, лучше одинокое и бесцветное существование, чем мучительное сожитие. Но когда между родственниками и детьми появился такой разлад, какой мы видим между старыми Базаровыми и их сыном, тогда и выхода-то никакого нельзя придумать. Евгений Базаров, разумеется, может отшатнуться от своих родителей, и его жизнь все-таки будет полна, потому что ее наполняет умственный труд; но их жизнь? И какой же настоящий Базаров, какой мыслящий человек решится оттолкнуть от себя своих стариков, которые только им живут и дышат и которые сделали все, что могли, для его образования. Эти старики буквально подсадили его на своих плечах, чтобы он мог ухватиться своими отроческими руками за нижнюю ветку древа познания; он ухватился и полез, и залез высоко, и ходу нет назад, и спуститься невозможно, а им также невозможно подняться кверху, потому что они слабы и дряхлы, и приходится им аукаться издали, и приходится им страдать оттого, что нет возможности расслышать и понять друг друга; а между тем старики и тому рады, что слышат по крайней мере неясные звуки родного голоса. Скажите, бога ради, кто же решится, находясь в положении Базарова, замолчать совершенно и не отвечать ни одним звуком на кроткие и ласковые речи, поднимающиеся к нему из-под дерева? И Базаров откликается.— И странно и мучительно волнуются и бо-

рются в широкой груди Базарова ненависть и любовь, беспощадный, стальной и холодный, судорожно улыбающийся, демонический скептицизм и горячее, тоскливое, порою радостное и ликующее романтическое стремление вдаль, вдаль, но не прочь от земли, а вперед, в манящую, ласкающую, глубокую синеву необозримого лучезарного будущего. Почитайте Гейне, и вы поймете, вы увидите в образах эту ужасную смесь мучительных ощущений, которыми наградило всех мыслящих людей Европы наше общее историческое прошедшее. А покуда прочтите этот небольшой разговор Базарова с Аркадием.

— Нет, — говорил он на следующий день Аркадию, — уеду отсюда завтра. Скучно, работать хочется, а здесь нельзя. Отправляюсь опять к вам в деревню; я же там все свои препараты оставил. У вас по крайней мере запереться можно. А здесь отец мне все твердит: «Мой кабинет к твоим услугам, никто тебе мешать не будет», а сам от меня ни на шаг. Да и совестно как-то от него запираться. Ну, и мать тоже. Я слышу, как она вздыхает за стеной, а выйдешь к ней — и сказать ей нечего.

— Очень она огорчится, — промолвил Аркадий, — да и он тоже.

— Я к ним еще вернусь.

— Когда?

— Да вот как в Петербург поеду.

— Мне твою мать особенно жалко.

— Что так? Ягодами, что ли, она тебе угодила?

Аркадий опустил глаза.

Так тебе и надо поступать, Аркашенька. Больше ты, друг мой разлюбезный, ничего и делать не умеешь, как только глазки опускать. Заговорил было с тобою Базаров сначала как с путным человеком, а ты только, как старушка божия, охами да вздохами отвечать ухитрился. В самом деле, вглядитесь в этот разговор. Базарову тяжело и душно; он видит, что и работать нельзя, да и для стариков-то удовольствия мало, потому что «выйдешь к ней — и сказать ей нечего». Так ему приходится скверно, что он чувствует потребность высказаться хоть кому-нибудь, хоть младенчествующему кандидату Аркадию. И начинает он высказываться отрывочными предложениями, так, как всегда высказываются люди сильные и сильно измученные. «Совестно как-то», «ну, и мать тоже», «вздыхает за стеной», «сказать ей нечего». Кажется, не хитро понять из этих слов, что не гаерствует он над своими стариками, что не весело ему смотреть на них сверху вниз и что сам он видит с поразительною ясностью, как мало дает им его присутствие и как мучительна будет для них необходимая разлука. Я думаю, умный человек, будучи на месте Аркадия, понял бы, что Базаров особенно заслуживает в эту минуту сочувствия, потому что быть мучителем, и мучителем роковым, для каждого разумного существа гораздо тяжелее, чем быть жертвою. Умный человек хоть одним добрым словом дал бы заметить огорченному другу,

что он понимает его положение, и что в самом деле ничем нельзя помочь беде, и что, стало быть, действительно следует залить тяжелое впечатление свежими волнами живительного труда. А Аркадий? Он ничего не нашел лучшего, как ухватить Базарова за самое больное место: «Очень она огорчится». Точно будто Базаров этого не знает. И точно будто эта мысль дает какое-нибудь средство поправить дело. На это старушечье размышление Базаров мог отвечать сокрушительным вопросом: — Ну, а что же мне делать, чтобы она не огорчалась? И тут Аркадий, как настоящая старуха, повторил бы опять ту же минорную гамму с легкою перестановкою нот: «Она очень огорчится». И так как из трех слов можно сделать шесть перестановок, то юный мудрец, повторив ту же фразу шесть раз, замолчал бы, находя, что он подал своему другу шесть практических советов, или шесть целительных бальзамов. К счастью, Базарову было не до диспутов с этим пискливым цыпленком. Он тотчас спохватился, вспомнил, что юный друг его не создан для понимания трагических положений, и стал продолжать разговор без всяких излияний, в самом лаконическом тоне. Но это плоское животное, Аркадий, не утерпел и произвел новое визжание и опять, еще грубее ухватил Базарова за больное место. «Мне твою мать особенно жалко». В сущности, это изречение есть не что иное, как одна из шести возможных перестановок. Но так как Аркадий взялся за перестановки очень хитро, то есть стал выражать ту же мысль *другими* словами, то надо было опасаться, что перестановок будет не шесть, а даже гораздо больше. Базарову предстояло утонуть в волнах целительного бальзама, и, очевидно, было необходимо сразу заморозить потоки кандидатского сердоболия. Ну, а Базаров на эти дела мастер. Как сказал об ягодах, так и закрылись хляби сердечные. Аркадий опустил глаза, что ему необходимо было сделать в самом начале разговора.— А наша критика?! А наша глубокая и проницательная критика?! — Она сумела только за этот разговор укорить Базарова в жестокости характера и в непочтительности к родителям. — Ах ты Коробочка доброжелательная! Ах ты обличительница копеечная! Ах ты лукошко российского глубокомыслия! *

VI

Взгляд Базарова на отца Аркадия, Николая Петровича, доказывает самым неопровержимым образом, что Базаров желает и старается сблизиться с теми людьми старшего поколения, которые еще способны подвинуться вперед. Но как сблизиться? Так ли, чтобы Базаров сделал несколько шагов

в их сторону, или так, чтобы люди старшего поколения сами подошли к Базарову и к его идеям? То есть, другими словами, готов ли Базаров сделать ряд уступок, или, напротив того, он желает переубедить других? Я думаю, достаточно поставить этот вопрос, для того чтобы считать его решенным. Человек, действительно имеющий какие-нибудь убеждения, только оттого и держится этих убеждений, что считает их истинными. Он, быть может, ошибается; быть может, он заметит со временем свою ошибку и тогда, разумеется, тотчас переменит в своих убеждениях то, что окажется несогласным с истиною; но покуда он не увидит ясно несостоятельности своих мнений, пока эти мнения не разбиты ни фактами действительной жизни, ни очевидными доказательствами противников, до тех пор он думает по-своему, считает свои идеи верными, держится за них твердо и, из чистой любви к своим ближним, чувствует желание избавить их от того, что он, справедливо или несправедливо, считает заблуждением. Когда сходятся между собою два человека различных убеждений, оба искренно преданные своим идеям, оба добросовестно стремящиеся к истине и оба настолько просвещенные, чтобы понимать возмутительную пошлость нетерпимости, тогда каждый из них, видя в своем собеседнике честного человека и не имея причины ненавидеть его, желает открыть своему ближнему ту истину, которою он сам обладает. Одна из этих истин непременно оказывается заблуждением; но тот, кто обладал этим заблуждением, старался доставить ему победу, потому что видел в нем несомненную истину. Может быть — мало ли что бывает на свете? — может быть, говорю я, Базарову и пришлось бы в чем-нибудь сделать искреннюю уступку идеям старшего поколения, но все-таки Базаров не мог подходить к старшему поколению с желанием сделать ему эту уступку и с тою мыслью, что такая уступка возможна. Подобная мысль и подобное желание составляют уже действительную уступку и могут возникнуть в человеке искренно убежденном только вследствие фактических доказательств, а никак не вследствие мягкости характера. Когда у человека есть действительно какие-нибудь убеждения, тогда ни сострадание, ни уважение, ни дружба, ни любовь, ничто, кроме осязательных доказательств, не может поколебать или изменить в этих убеждениях ни одной мельчайшей подробности.

VII

Если бы отцом Базарова был Николай Петрович, крепкий и довольно образованный сорокачетырехлетний мужчина, то Базаров, может быть, увлек бы своего отца в область реали-

стического труда, и представители двух поколений с любовью и с взаимным доверием стали бы поддерживать и ободрять друг друга. Молодой работал бы больше пожилого, но пожилой понимал бы его вполне и совершенно сознательно радовался бы каждому отдельному успеху своего младшего товарища, на которого это сочувствие действовало бы самым живительным образом. О разладе не могло бы быть и речи, потому что, вполне понимая друг друга, эти люди видели бы, что между их интересами нет и не может быть ни малейшей противоположности. Один ищет истины, и другой также ищет истины, и эта истина для обоих одна и та же, и эта истина не такое благо, которое, доставшись одному, не могло бы в то же время принадлежать и другому. Стало быть, и дуться друг на друга незачем, и надо только договориться до взаимного понимания. Базаров очень хорошо знает, что в некоторых случаях всякая попытка договориться до какого-нибудь удовлетворительного результата совершенно бесплодна. Он никогда не пробует серьезно разговаривать с Ситниковым или с Кукшиною, потому что эти господа, очевидно, изображают своими особами бездонную бочку Данаид. Сколько в них ни вали дельных мыслей, хоть весь Британский музеум опрокинь в их головы, все будет пусто, и все будет проходить насквозь с величайшею легкостью. Базаров не пробует также вступать в серьезные разговоры с своими родителями, хотя эти родители вовсе не глупы от природы. Но договориться и с ними невозможно: отец Базарова — славный и добрый старик, еще бодрящийся, но уже начинающий впадать в детство; а мать его даже никогда не переставала быть ребенком, хотя и была постоянно примерною супругою, отличною хозяйкою и до самозабвения нежною матерью. Такие личности, обладающие здоровым и нормальным мозгом, но живущие и умирающие без пособия этого органа, встречаются у нас на каждом шагу и доказывают своим существованием ту несомненную истину, что время полного господства головного мозга над явлениями человеческой жизни наступит еще очень не скоро. Такие личности живут так называемым чувством, то есть каждое впечатление, не задерживаясь и не перерабатываясь в их мозгу ни одной минуты, немедленно переходит в какой-нибудь поступок, в котором эта поступающая личность никогда не спрашивает у себя и никогда не может дать себе ни малейшего отчета. Такие личности приходятся по душе нашему обществу и нашим художникам, которые действительно имеют с ними довольно много точек соприкосновения; но я сильно сомневаюсь в том, чтобы такие личности могли иметь особенно живительное влияние на медленное, страшно медленное движение человечества к светлому будущему. Личности, подобные старушке Базаровой,—это ходячие

пуховики, часто очень привлекательные и всегда приглашающие своей симпатичностью полезных работников опочить до конца жизни от несоделанных подвигов и разумного труда. С этим милым, добродушным, трогательно любящим и уже состарившимся пуховиком Базаров, конечно, ни о чем не рассуждает, потому что «и сказать ей нечего». Таким образом, Базаров разговаривает только с Аркадием, с Николаем и Павлом Петровичами и с Одинцовою. Самое серьезное значение для Базарова и самый серьезный результат во всех отношениях могли иметь разговоры с Одинцовою; они могли доставить Базарову счастье взаимной любви, и они же могли дать обществу мыслящую женщину. Наслаждаясь разумным счастием, Базаров удесятерил бы свои рабочие силы, и это приращение пошло бы целиком на пользу общему умственному капиталу всего человечества. Одинцова, с своей стороны, развернула бы все силы своего здорового ума. Но такие счастливые результаты получаются очень редко. Почти всегда какая-нибудь ничтожная оплошность нарушает процесс развития в самом его начале, подобно тому как самое легкое движение воздуха расстраивает все расчеты химика и искажает весь процесс медленной и нормальной кристаллизации. Так случилось и в истории Одинцовой. Ее испугала страстность Базарова, но если бы та же страстность проявилась с такою же силою двумя или тремя месяцами позднее, то Одинцова увлеклась бы ею сама до полнейшего самозабвения. Впрочем, об отношениях реалистов к женщинам я буду говорить впоследствии очень подробно.

Аркадий, мне кажется, во всех отношениях похож на кусок очень чистого и очень мягкого воска. Вы можете сделать из него все, что хотите, но зато после вас всякий другой точно так же может сделать с ним все, что этому другому будет угодно. Вы можете натереть им мебель и паркетный пол: Аркадий исполнит это назначение в совершенстве! Вы можете превратить его в свечку: Аркадий будет таять и уничтожаться в порывах самопожертвования, и может уничтожиться без остатка, если никто не догадается дунуть на светильню; но этот процесс самоистребления будет постоянно совершаться только в непосредственной близости самого огня, и во время этого процесса вся свеча будет совершенно холодна и равнодушна. Как только погаснет светильня, не имеющая по своему составу ничего общего с воском, так в ту же минуту прекратится всякое таяние и изнывание. Если вы искусный скульптор, вы можете сделать из этого воскового Аркадия изящнейшую статуэтку и даже можете вложить в складки его чела выражение глубокой задумчивости и мировой печали; но эту художественную безделку вы непременно должны держать под стеклянным колпаком,

чтобы ее не засидели мухи, кроме того, вы должны тщательно наблюдать, чтобы она не подвергалась влияниям изменчивой температуры; попробуйте оставить ее на полчаса под лучами летнего солнца, и она расплывется так удивительно, что ее творец, искусный скульптор, не будет в состоянии узнать свое любимое произведение. Не только глубокая задумчивость, не только мировая печаль изгладятся без следа, но даже обыкновенные черты человеческого образа стушуются до полного безличия. Но это ничего не значит. Если скульптор терпелив, он может немедленно взять свою отекшую креатуру в свои искусные руки и снова может восстановить утраченное достоинство ее выражения. Впрочем, надо сказать правду, что такой терпеливый скульптор окажется чистым художником, то есть человеком, работающим из любви к искусству, без малейшего стремления к практической пользе, потому что такая восковая статуэтка может быть только очень бесполезным и очень непрочным украшением дамского будуара. В конце концов мухи засидят ее непременно до полного помрачения, и воск утратит всю свою первобытную чистоту, так что статуэтку все-таки придется отдать в распоряжение полотеров для украшения паркета. Говоря проще, под старость Аркадий все-таки сделается бесполезнейшим, а может быть, и дряннейшим тунеядцем. А старость, то есть житье в брюхо, для этих восковых господ начинается ровно через год после выхода из университета. Базаров разговаривает с Аркадием именно в то время, когда последний находится в переходном состоянии из отрочества в старость. Базаров видит своего так называемого друга насквозь и нисколько его не уважает. Но иногда, как мыслящий человек и как страстный скульптор, он увлекается тем разумным выражением, которое его же собственное влияние накладывает порою на мягкие черты его воскового друга. Если бы вы спросили у Базарова: «Выйдет ли что-нибудь путное из вашего друга?» — Базаров отвечал бы вам с полным убеждением: «Ничего путного не выйдет; будет рафинированным Маниловым, и больше ничего». Но на практике Базаров не всегда последовательно выдерживает эту идею; он иногда обращается к Аркадию так, как будто бы он видел в нем какие-нибудь задатки сильного ума и твердого характера.

Это понятно и извинительно. Базаров так одинок, все окружающие его люди смотрят на него такими изумленными глазами, что поневоле одолевает его иногда потребность хоть кому-нибудь сказать человеческое слово, хоть кому-нибудь помочь добрым советом. Николай Петрович положительно умнее своего сына, и с ним Базаров мог бы сблизиться, если бы была какая-нибудь возможность завязать это сближение, то есть сделать первый шаг. Но ведь неловко же, неудобно

подойти к постороннему человеку пожилых лет и, без малейшего вызова с его стороны, подарить ему несколько непрошеных советов касательно направления его умственной деятельности. Аркадий мог бы явиться посредником между отцом и Базаровым, но Аркадий не умеет сделать ни одного активного шага, а, как неоперившийся птенец, производит ежеминутно разные плоскости и бестактности. Брат Николая Петровича, Павел, положительно мешает всякому сближению, постоянно вызывает Базарова на бесплоднейшие диалектические поединки, жестоко надоедает ему и, наконец, завершает все свои подвиги глупейшею дуэлью, уже не на словах, а на пистолетах.

Павел Петрович — человек очень неглупый, и его фигура чрезвычайно любопытна и поучительна, как отживающая тень печоринского типа. Эта тень не хочет и не может признать себя тенью, и, встречаясь с тем типом, который живет в настоящем, она, эта представительница прошедшего, отрицает его всеми силами своего ума и ненавидит его так, как скупой рыцарь ненавидит своих наследников. Печоринский и базаровский типы ненавидят и отталкивают друг друга. Печорины и Базаровы решительно не могут существовать вместе в одном обществе, потому что и Печорины и Базаровы выделываются из одного материала: стало быть, чем больше Печориных, тем меньше Базаровых, и наоборот. Вторая четверть XIX столетия особенно благоприятствовала производству Печориных; новых Печориных жизнь уже не отчеканивает, а старые, потускнелые и поблекшие, никак не желают понять, что их время прошло. Прошло ли оно невозвратно, этого никто не решится сказать, но что Печорины в настоящую минуту не стоят на первом плане — это несомненно. Печорины и Базаровы совершенно не похожи друг на друга по характеру своей деятельности; но они совершенно сходны между собою по типическим особенностям натуры: и те и другие — очень умные и вполне последовательные эгоисты; и те и другие выбирают себе из жизни все, что в данную минуту можно выбрать самого лучшего, и, набравши себе столько наслаждений, сколько возможно добыть и сколько способен вместить человеческий организм, оба остаются неудовлетворенными, потому что жадность их непомерна, а также и потому, что современная жизнь вообще не очень богата наслаждениями.

Очень умный человек может наслаждаться мыслью только тогда, когда деятельность мысли клонится к какой-нибудь великой и немечтательной цели. Великие цели бывают бесконечно разнообразны в своих внешних проявлениях; но все они, в сущности, могут заключаться только в том, чтобы улучшить так или иначе положение той или другой группы

человеческих существ. Переберите все сферы человеческой деятельности, и вы увидите, что все они порождены и поддерживаются исключительно стремлением людей к нравственному или материальному благосостоянию. Не все эти сферы, далеко не все, удовлетворяют своему назначению; многие, очень многие из них бесполезны для людей и, следовательно, вредят уже тем, что поглощают силы; многие вредят даже положительно, не только отвлекая силы, но и парализируя или извращая другие полезные проявления человеческой деятельности; но все-таки все эти сферы существуют для блага человечества. Таким образом, можно сказать решительно, что для человеческой мысли главная цель есть стремление к человеческому благополучию. Но в истории бывают такие эпохи, когда враждебные обстоятельства мешают людям стремиться к благополучию и решать задачи, вытекающие из этого стремления *.

Мысль, работающая для блага человечества, действует обыкновенно по одному из двух главных путей: или она прилагает к современной жизни людей те результаты, которые уже добыты передовыми деятелями посредством теоретических исследований и научных наблюдений, или же она добывает для будущего времени новые результаты, то есть производит исследования, наблюдения и опыты. Те науки, которые, подобно истории и политической экономии, живут только беспристрастным анализом междучеловеческих отношений, в эпохи застоя теряют значительную долю своей занимательности. Этим наукам предаются в такое время люди двух сортов: одни пишут казенные учебники, другие честно и добросовестно убеждены в том, что людям следует вечно спать, но спать облагороженным сном, то есть видеть во сне великие идеи. Они восхищают своих слушателей одушевленными беседами, от которых, однако, никогда, ни при каких условиях, ничего, кроме испаряющегося восхищения, не может произойти.

В эту категорию я включаю всех честных и умных людей, подобных Грановскому и Кудрявцеву. Эти имена пользуются у нас уважением, и я называю их для того, чтобы не оставить в моей мысли ни малейшей неясности. Эти два профессора жили и умерли вполне честными людьми, но надо сказать правду, что им в этом отношении сильно посчастливилось: их выручила своевременная смерть, которую их почитатели совершенно неосновательно называют преждевременною. Между таким историком, как Грановский, и таким, как г. Костомаров, лежит дистанция огромного размера; а известно, что даже г. Костомарова застают иногда врасплох и ставят в тупик запросы пробуждающейся жизни **. Любопытно заметить, как тонко и верно Тургенев выразил свое мнение о деятельности Грановского. Пусть читатели припо-

мнят личность Берсенева в романе «Накануне» и пусть подумают, мог ли Грановский сформировать что-нибудь выше и лучше Берсенева. Если бы семя всех сеятелей всегда падало на такую добрую почву, как душа Берсенева, то и желать ничего более не оставалось бы. Берсенев в высокой степени честен и настолько умен, чтобы быть очень полезным работником. Если же общий результат берсеневской деятельности оказывается совершенно ничтожным, то виновато исключительно плохое качество того семени, которое было принято и взлелеяно этим честным и искренним человеком с полнейшим благоговением и с бескорыстнейшею любовью. А, кажется, Тургеневу в этом отношении можно поверить, во-первых, потому, что он знал вполне все задушевные стремления московских кружков, а во-вторых, потому, что его можно заподозрить скорее в пристрастии к симпатичному Грановскому, чем в преувеличенной нежности к угловатым реалистам нашего времени.

Мне возразят, что на поприще Грановского никто бы не мог действовать лучше и плодотворнее *. Я знаю, что не мог. Но это доказывает только, что не надо ему было становиться на такое поприще. На это скажут, что лучше что-нибудь, чем совсем ничего. С этим я опять-таки совершенно согласен, но только надо условиться в понимании термина — «что-нибудь». Если мне очень хочется есть, то я прошу: дайте мне, ради бога, хоть что-нибудь! То есть дайте мне хоть сухую корку хлеба. Но если мне дадут палисандровую дощечку или атласный лоскуток, то я никак не скажу, что это — «что-нибудь», а скажу, что это — совсем ничего. При совершенно рациональном преподавании история есть «что-нибудь» и может служить обществу очень питательною пищею. Но при художественной манере преподавания история превращается в галерею рембрандтовских портретов. И хорошо, и весело, и глаза разбегаются, а в результате выходит все-таки совсем ничего. Ведь как хотите толкуйте: Грановскому до Маколея очень далеко, а между тем я бы покорнейше попросил кого-нибудь из многочисленных обожателей великого Маколея доказать мне ясно и вразумительно, что вся деятельность этого великого человека принесла Англии или человечеству хоть одну крупинку действительной пользы. А что деятельность всех ученых и писателей, подобных Маколею, принесла чрезвычайно много вреда, это вовсе нетрудно доказать. Все эти господа, сознательно или бессознательно, постоянно морочили грациозностью.

Молодые люди, подобные Берсеневу, входят в храм науки и прежде всего попадают в преддверие, из которого расходятся в две противоположные стороны — в два коридора. Пойдешь налево — тебе покажут тысячи палисандровых до-

щечек и атласных лоскутков, которые тебе придется жевать для утоления умственного голода. А пойдешь направо — тебя накормят, оденут, обуют, обмоют и покажут, кроме того, как кормить, одевать, обувать и обмывать других людей. В левом, атласно-палисандровом отделении храма наук господствуют: историография Маколея и его бесчисленных даровитых и бездарных последователей, политическая экономия не менее бесчисленных учеников Мальтуса и Рикардо и, сверх того, пестрейшая толпа различных «прав»: римское, гражданское, государственное, уголовное и множество других. И все атласно-палисандровые подобия наук тщательно приведены, посредством усечений и пришиваний, в строгую гармонию как между собою, так в особенности и с общими современными требованиями. В правом отделении, напротив того, помещается изучение природы.

Если бы молодым людям, вступающим в храм науки, ставили вопрос о двух коридорах так откровенно, как он поставлен здесь, то, разумеется, кому же была бы охота идти налево и жевать атлас? Но, к несчастью, к большому несчастью для молодых людей и для всего человечества, — все левое отделение битком набито сладкогласными сиренами вроде Маколея и Грановского, которые только тем и занимаются, что очаровывают и завлекают своим мелодическим пением неопытных посетителей великого храма. В правом отделении совсем нет сирен: во-первых, потому, что там вообще до сих пор мало обитателей, а во-вторых, и потому, что наличным обитателям решительно некогда заниматься песнопениями: один добывает какую-нибудь кислоту, другой анатомирует пузырчатую глисту, третий исследует химические свойства гуано, четвертый возится с коренным зубом какого-нибудь Elephas meridionalis[1], пятый прилаживает отрезанную лапку лягушки к гальванической батарее, шестой анализирует мочу помешанных людей, и так далее, и так далее, всё в том же прозаическом направлении. Ну, скажите, бога ради, такие ли это занятия, чтобы можно было запеть по поводу их мелодическую серенаду, способную очаровать и привлечь молодых посетителей, только что поступивших в храм науки и не умеющих ясно отличать область чистой фантазии от области строгого знания?

Неудивительно, что почти вся масса свежих умственных сил, не находивших себе никакого приложения к жизни, тратилась прежде или на строго научное ведение правильных атак против женских сердец, или на писание и чтение сочинений и статей в маколеевском роде, только гораздо пожи-

[1] Латинское наименование одного из видов ископаемого слона, обитавшего в Европе. — *Ред.*

же. Грановские и их ученики Берсеневы почти совершенно удовлетворялись этою последнею деятельностью и были глубоко убеждены в том, что они делают дело и что Россия только по своей крайней неразвитости не считает их великими гражданами; но люди более умные, люди, подобные Лермонтову и его герою Печорину, решительно отвертывались от русского маколейства и искали себе наслаждений в любви, страдали исключительно от любовных неудач, порхали с цветка на цветок, довели русское донжуанство до замечательной виртуозности и все-таки скучали, как ни были разнообразны и очаровательны отдельные эпизоды этой многотрудной деятельности.

Выбрать себе донжуанство, когда общество живет или начинает жить полною жизнью, значит, во-первых, обнаружить замечательное скудоумие, а во-вторых, обнять мечту вместо действительности, потому что в живущем или пробуждающемся обществе субъект, не имеющий за собою никаких достоинств, кроме стремления к любви, одержит весьма слабое количество очень неблестящих побед. В таком обществе женщины всегда требуют от своих поклонников хоть каких-нибудь внешних признаков дельности и умственной энергии; тут уж невозможно колотить себя в грудь и божиться, что в этой груди заключены исполинские силы, которые тщетно стремятся найти себе исход; тут самая простодушная женщина скажет этому колотителю: «Что ж вы не проявляете ваших сил? Ведь вот М и N проявляют. И вы проявите». — И останется на это сказать только: «Слушаюсь, сударыня; завтра же проявлять начну». Но в цветущее время печоринства постоянная праздность, хроническое скучание и полный разгул страстей действительно составляют неизбежную и естественную принадлежность самых умных людей. Конечно, маску вечной скуки надевали на себя такие люди, которые просто были глупы, которые во всякое время были бы праздными и которые старались только прострелить женское сердце разочарованными взорами. Грушницкие носили тогда обноски Печориных так точно, как теперь Ситниковы носят обноски Базаровых. Конечно, и настоящие Печорины часто интересничали своим скучанием, когда это интересничание могло остаться незамеченным, сойти за чистую монету и ускорить желанную развязку любовной интриги. Но, несмотря на то, скука настоящих Печориных вовсе не была маскою; она их действительно тяготила, и если бы какой-нибудь благодетельный гений предложил им снять с них эту проклятую обузу, то они с большим удовольствием дали бы клятвенное обязательство никогда не надевать на себя личину этой скуки «для пущего трагизма», как выражается г. Зайцев *. Печорины были во всех отношениях умнее Бер-

сеневых, и поэтому-то именно им и не оставалось никакого выхода из скуки и из мира любовных похождений. Конечно, их силы могли бы найти себе удовлетворение в глубоком изучении природы, но ведь надо же помнить, что в нашем любезном отечестве только что на этих днях сделано то великое открытие, что естественные науки действительно существуют *, что они способны принести людям некоторую пользу и что не мешало бы, вместо «роз Феокрита», возрастить на российских снегах ** нечто вроде химии, физиологии и анатомии. Для Печориных естествознание было тем, чем будет, вероятно, во всякое время интегральное исчисление для огромного большинства людей. Стало быть, Печориным не было никакого выбора, и постояннная их праздность нисколько не может служить доказательством их умственной хилости. Даже напротив того.

VIII

Германия, классическая страна «здорового растительного сна», настоящая родина чистейшего филистерства, совершенно недоступного в своей полной чистоте для всех остальных частей нашей планеты, — Германия, говорю я, сумела, однако, устроить так, что ее многолетний сон не пропал даром ни для нее самой, ни для человечества. Первые шестьдесят четыре года XIX столетия останутся навсегда незабвенною эпохою, как колыбель новейшего естествознания. Либих, Леман, Мульдер, Молешотт, Дюбуа-Реймон, Пфлюгер, Фирхов, Фирордт, Фалентин, Гельмгольц, братья Веберы, Карл Фохт, Гиртль, Бронн, Келликер, Фульрот, Шахт, Александр Гумбольдт, Шванн, Функе, Эренберг, Зибольд и другие более или менее замечательные натуралисты сделали из этой эпохи незыблемый фундамент для будущего развития естествознания. «Химические письма» Либиха, «Круговорот жизни» Молешотта, «Исследования о животном электричестве» Дюбуа-Реймона, «Целлюлярная патология» Фирхова, «Анатомия» Гиртля, «Гистология» Келликера, «Дерево» Шахта, «Космос» Гумбольдта навсегда останутся драгоценнейшим достоянием всех веков и всех народов. Эти труды не только кладут фундамент будущего благосостояния, но, кроме того, даже в настоящем увеличивают богатство масс; подобные люди счастливы, глубоко и бесконечно счастливы в двух отношениях: во-первых, они прежде других созерцают те великие тайны природы, с которых они срывают завесу; и, во-вторых, они видят счастье тех людей, которые им одним обязаны своим благосостоянием. Конечно, многие тайны остаются для них недоступными; но я и не говорю, что истинные ученые естествоиспытатели наслаждаются безоблачным бла-

женством. Они часто и страдают и волнуются, но они не отдадут этих великих минут страдания и волнения за миллионы невозмутимых филистерских благополучий. Вы любите женщину, вас волнует и терзает и ее присутствие, и ее отсутствие, и ее слова, и ее взгляды, и ее холодность, и ее страстность; в самые счастливые минуты вы не знаете сами, весело ли вам или больно; а между тем все эти мучительные ощущения бесконечно дороги для вас, и дороги даже тогда, когда весь ваш роман целиком ушел в прошедшее и когда у вас не осталось для настоящего ровно ничего, кроме грустно-радужных воспоминаний; как только прошедшее выступает ярко перед вашею памятью, так вам становится положительно больно, и никакого из этой боли не может выйти толку; а между тем вы любите даже эти томительные минуты, и вы ни за что не согласились бы взять себе забвение *, если бы даже оно было возможно.

Если вы когда-нибудь любили, то вы найдете эти замечания верными, и вы получите тогда легкое понятие о том, каким образом знающие естествоиспытатели относятся ко всем трудам, неприятностям и страданиям той деятельности, которая наполняет всю их жизнь. Когда тип скучающих Печориных процветал в нашем отечестве, тогда все-таки никакие обстоятельства не мешали и не хотели мешать развитию физических, химических и физиологических исследований. Конечно, идеи Фейербаха и Бюхнера считались и тогда очень предосудительными. Но совсем не в этих идеях и заключается сила современного естествознания. Если до сих пор мы относимся к этим идеям с особенною нежностью и накидываемся на них с особенною жадностью, то это доказывает только, что мы стоим еще на самом пороге настоящей науки и что мы до сих пор никак не можем отказаться от ребяческой замашки строить системы мира из двух десятков собранных кирпичей. Кроме того запрещенный плод всегда привлекателен. Но настоящие натуралисты, те, которым нет причины нежничать с запрещенными плодами, и те, которые находят скучным полемизировать с подобными созданиями человеческой глупости, те, говорю я, относятся с глубочайшим равнодушием к таким системам, начиная с необузданного идеализма Платона и кончая простым материализмом Бюхнера. Они даже перестали удивляться тому, что люди спорят о таких предметах. Мы желаем работать, говорят естествоиспытатели, а не фантазировать. Работа же наша состоит в изучении тех сторон природы, которые можно видеть, измерять и вычислять. Так рассуждают величайшие из современных натуралистов, и простота и разумность таких рассуждений так очевидны, так неотразимо действуют на все человеческие умы, даже на самые неразвитые, что перед

трудами натуралиста преклоняются с невольным уважением люди всех политических партий.

На основании всех предыдущих соображений я решаюсь высказать ту мысль, что наши Печорины могли проникнуть в область труда, недоступную атмосферическим влияниям *, и проникли бы в нее непременно, если бы они только имели ясное понятие о ее существовании. Мне кажется, что им всего более мешали открыть эту область три вещи: во-первых, наше общее невежество, во-вторых — поэзия и эстетика, и в-третьих — ученое фразерство наших добродетельных и недобродетельных Маколеев. Последние две причины мешали преимущественно тем, что возбуждали в сильных и естественно-скептических умах наших Печориных презрение к умственной деятельности вообще. Они думали, по своей необразованности, что видят перед собою образчики всей человеческой науки, и, замечая тотчас дряблость и практическое убожество тех занятий, которым с коленопреклонениями и с священным ужасом предавались наши Берсеневы, они, Печорины, решали сразу, что все это чепуха и что надо жить, пока живется, и что скука составляет неизбежную неприятность в жизни каждого умного человека. Я уверен, что, читая даже статьи Белинского, многие Печорины рассуждали про себя: «Да. Славно пишет. И умно и честно. Но к чему все это?». И если они рассуждали таким образом, то нельзя сказать, чтобы они были совершенно неправы. Если бы Белинский и Добролюбов поговорили между собою с глазу на глаз, с полною откровенностью, то они разошлись бы между собою на очень многих пунктах. А если бы мы поговорили таким же образом с Добролюбовым, то мы не сошлись бы с ним почти ни на одном пункте. Читатели «Русского слова» знают уже, как радикально мы разошлись с Добролюбовым во взгляде на Катерину **, то есть — в таком основном вопросе, как оценка светлых явлений в нашей народной жизни. Следовательно, самые идеи Белинского уже не годятся для нашего времени. В свое время они были очень полезны, но неосновательно было бы утверждать, что в его время невозможны были такие другие идеи, которые принесли бы вдесятеро больше пользы.

Мне кажется, что такие идеи были возможны даже тогда. Белинский, усвоивший себе полулитературное, полуфилософское образование, не мог сделаться проводником этих других идей; но тот же Белинский, получивший математическое и строго реальное образование, тот же Белинский, с тем же сильным умом, с тем же блестящим талантом, с теми же честными убеждениями, но только Белинский натуралист, а не эстетик и не гегельянец, принес бы в десять раз больше пользы, и после деятельности такого атлета мне, конечно, не

было бы ни надобности, ни даже возможности писать в 1864 году настоящие строки. Но немногие уцелевшие и состарившиеся Печорины никак не хотят и не могут поверить тому, что они, при всем своем уме, были круглыми невеждами и в течение всей своей жизни скучали не по возвышенности своей натуры, а только потому, что не знали, как взяться за дело. Потому при встрече с молодыми Печориными они стараются их разразить аргументами, как разражали в былые годы гегелистов и Маколеев российской фабрикации. Но тут коса находит на камень, и старые Печорины замечают в молодых ту же холодную ясность взгляда, ту же умственную требовательность, ту же беспощадность иронии, словом, все те же свойства, которыми они сами наводили трепет на Максима Максимовича и благоговейную любовь на княжну Мери. И ко всему этому присоединяется знание, которого у пятигорского демона не было. Да еще вдобавок не скучают, канальи, и даже отрицают скуку, то есть ухитряются, таким образом, перещеголять демона даже в отрицании, которое, как известно, составляет его нарочитую специальность. Разумеется, все это неимоверно бесит поседевших Печориных, и им, чтобы не видеть молодых чертенят, которые оказываются шустрее старых, — остается только взять пример с Павла Петровича Кирсанова, то есть уехать в Дрезден и показывать себя публике на Брюлевской террасе.

IX

Базаров говорит Аркадию: «Твой отец добрый малый; но он человек отставной, его песенка спета. Он читает Пушкина. Растолкуй ему, что это никуда не годится. Ведь он не мальчик: пора бросить эту ерунду. Дай ему что-нибудь дельное, хоть Бюхнерово «Stoff und Kraft» [1] на первый случай».

Выписав эти слова, г. Антонович прибавляет от себя замечание: «Сын вполне согласился с словами друга и почувствовал к отцу сожаление и презрение».

Но, во-первых, это неправда; ни сожаления, ни презрения Аркадий не чувствовал к своему отцу ни *до* этого разговора, ни *после*. А во-вторых, если бы даже глупость Аркадия дошла до таких колоссальных размеров, то, разумеется, *сожаление и презрение* родилось бы в нем не оттого, что он *согласился с словами друга,* а оттого, что он понял эти слова совсем навыворот. Базаров нисколько не желает разъединять сына с отцом; напротив того, Базаров своим советом

---

[1] Точное название книги Л. Бюхнера — «Kraft und Stoff» («Сила и материя») — *Ред.*

указывает на тот единственный путь, по которому Аркадий может приблизиться к Николаю Петровичу, не изменяя идеям своего поколения. Но прежде всего необходимо правильно понимать Базарова; он выражается всегда очень сильно и довольно небрежно; поэтому, если мы захотим придираться к отдельным словам, нам будет вовсе не трудно извратить их смысл, обвинить Базарова в различных намерениях и даже отыскать в каждой его фразе по нескольку противоречий. Например, он говорит, что Николай Петрович — человек отставной, и в то же время советует дать ему что-нибудь дельное. Явное противоречие! Если отставной, так и пускай читает Пушкина; незачем его и отрывать от этого безвредного занятия. Далее: против чтения Пушкина приводится тот аргумент, что «ведь он (то есть Николай Петрович) не мальчик». Это опять похоже на бессмыслицу. Значит, если бы Базаров увидал сочинения Пушкина в руках семнадцатилетнего мальчика, то он этого мальчика похвалил бы за прилежание и нашел бы, что этому мальчику действительно следует тратить время на чтение «Кавказского пленника» и «Бахчисарайского фонтана». Уличивши, таким образом, Базарова в противоречиях, доказавши ему, что он сам не понимает своих собственных слов, мы, конечно, без малейшего труда придем к тому заключению, что Базарову, как самолюбивому мальчишке, хочется только поумничать над почтенным отцом семейства и что вся тирада против Пушкина должна быть приписана этому мелкому предосудительному побуждению. Это заключение чрезвычайно печально, потому что оно доказывает нам удивительную непрочность той гармонии, которая господствует в самых лучших и просвещенных русских семействах.

Когда Базаров говорит с Аркадием о Николае Петровиче, то слова могут подать повод к ложным истолкованиям: в этих словах можно отыскать бессвязность и нелепость; но стоит только взглянуть на эти слова без предубеждения, чтобы увидать и понять немедленно честные, чистые и вполне сознательные стремления Базарова. — Зачем он говорит Аркадию, что его отец — человек отставной? — Очень понятно зачем. — Аркадий — юноша впечатлительный. Приехав в деревню, он подчиняется влиянию разнеживающей обстановки и увлекается симпатичною личностью своего доброго отца. Любить отца очень похвально, но всякий читатель, вероятно, согласится со мною в том, что двадцатилетнему юноше не следует относиться к требованиям современной действительности так, как относится к ним сорокачетырехлетний мужчина. Если пожилой человек отдыхает и благодушествует, если он занимается полезным трудом от нечего делать, если этот труд составляет для него не цель и

смысл всего существования, а только приятное развлечение, вроде прогулки для моциона, если, говорю я, все это делается пожилым человеком, то мы от всей души говорим ему спасибо за то, что он не мешает работе других людей, и еще за то, что он способен находить удовольствие в таких занятиях, которые не могут быть названы совершенно бесполезными. Мы всегда должны помнить, что человек зрелых лет провел всю свою молодость в печоринском периоде и что вынужденная неподвижность действует на человеческие силы гораздо разрушительнее, чем самый тяжелый и изнурительный труд. Поэтому реалисты никогда не потребуют от Николая Петровича, чтобы он с юношескою энергиею и с горячим усердием принялся за работу нашего времени. Но по этой же самой причине реалисты отнесутся с полным и совершенно справедливым презрением к тому двадцатилетнему празднолюбцу, который вздумает отдыхать, благодушествовать и дилетантствовать, подобно Николаю Петровичу. Или работай серьезно, или совсем не принимайся за работу,— они скажут каждому из своих сверстников, потому что от них, от наших сверстников, мы имеем полное право настоятельно требовать непреклонной энергии, железного терпения и неутомимого трудолюбия. У кого нет этих свойств и кто, будучи двадцатилетним здоровым парнем, не в состоянии выработать в себе эти свойства, тот не может пользоваться уважением нашим, того ошикают и осмеют, если он осмелится пуститься в добродетельные фразы о своем пламенном сочувствии общему делу отечественного прогресса. Нам нужна полезная работа, и нет никакого дела до пламенных сочувствий. Сочувствие же мы с полною признательностью принимаем только от тех людей, которые уже не в силах быть деятельными работниками.

Теперь понятно, что значат слова Базарова: «твой отец — человек отставной». Это значит: помни, о друг мой, Аркадий Николаевич, что с твоей стороны будет совершенно неприлично вести тот образ жизни, который делает твоему пожилому отцу большую честь. Он поступает хорошо, потому что он отставной, но тебе рано выходить в отставку. Смотри же, держи ухо востро, если не желаешь к двадцати пяти годам сделаться Афанасием Ивановичем. Когда Аркадий женился на Катерине Сергеевне, он действительно превратился в Афанасия Ивановича, и можно было сказать заранее, что все предостережения Базарова пропадут даром, потому что воск ни при каких условиях не перестанет быть воском и не сделается ни сталью, ни алмазом. Но ведь Базаров не виноват в том, что его разумные слова попадали в ослиное ухо. Слова все-таки разумны, намерение все-таки честно, а если успех невелик, так что же с этим делать? Нам пришлось бы

наложить на себя пифагорейский обет молчания *, если бы мы стали высказывать наши мысли только в тех случаях, когда они наверное должны попасть в цель и произвести осязательный практический результат.

Это напоминает мне, что фельетонист «Современника» называет Базарова болтуном **. О господи! Уж не нашим бы литераторам высказывать этот упрек. Нам, пишущим людям, приходится болтать десятки лет, прежде чем наша болтовня дойдет по назначению. Или, может быть, г. Щедрин думает, что каждое его слово творит чудеса и извлекает из камня нашей закоснелости живую воду плодотворных идей и высоких стремлений? Ну, и пускай думает! «Блажен, кто верует, тепло тому на свете!» — Но Базаров даже и говорит-то совсем немного и выражает свои мысли так коротко и отрывисто, что почти каждое его слово требует дополнительных и пояснительных комментариев. Так не говорят болтуны, то есть люди, наслаждающиеся звуком собственных речей. Так говорят только деловые люди, чувствующие непримиримую ненависть ко всякому риторству. Сказавши Аркадию, что его отец — отставной человек, Базаров на этом не останавливается. Он не хочет махнуть рукой на отставного человека и отвернуться от него. Он говорит Аркадию: «Растолкуй ему, что это никуда не годится»... «Дай ему что-нибудь дельное». — Зачем он это говорит? Конечно, не затем, чтобы сделать Николая Петровича великим естествоиспытателем. И, конечно, не затем, чтобы покуражиться над этим добродушным и смирным человеком. Если бы он хотел куражиться, то он сам полез бы с советами к Николаю Петровичу, вместо того чтобы разговаривать с его сыном. Базаров просто желает поделиться тем, что он считает высшими человеческими наслаждениями, со всяким, кто только способен воспринять и почувствовать эти наслаждения. Если вы любите есть устрицы, то очень естественно, что вы при случае будете угощать устрицами каждого из ваших знакомых; и вы даже с особенным удовольствием будете вовлекать в любовь к устрицам тех людей, которые никогда не брали их в рот и смотрят на них с непозволительным ужасом. Ваше удовольствие будет совершенно бескорыстно, и оно будет вытекать из самого чистого источника. Вам хочется, чтобы вместе с вами наслаждались и другие. На этом желании основано убийственное хлебосольство гоголевского Петуха, и хлебосольство это, проявляющееся в самых скотских размерах, все-таки остается очень симпатичным именно потому, что в нем нет ни малейшего тщеславия, а только одно добродушие: пользуйся, мол, всякая душа человеческая! — Петух кормит своих гостей на убой, а Базаров хочет усадить Николая Петровича за книгу, которую он считает дельною;

оба действуют по одинаковому побуждению. «Мне хорошо; хочу, чтоб и другому было хорошо», — это размышление так просто, так естественно, так неистребимо в каждом здоровом человеческом организме, что и Петух способен размышлять таким образом. А между тем все величайшие подвиги чистейшего человеческого героизма совершались и будут совершаться всегда именно на основании этого простого размышления. — А критика наша, по обыкновению, смотрит в книгу и видит фигу и на основании этой фиги изобличает Базарова в непочтительности, в жестокости и во всяком озорстве. Долго придется г. Антоновичу раскаиваться в его статье об «Асмодее нашего времени». Много вреда наделала эта статья. Сильно перепутала она понятия нашего общества о молодом поколении. Так напакостить мог только один «Современник».

А что же значат слова Базарова: «Ведь он не мальчик»? — Это значит: «Когда твой отец был мальчиком, тогда позволительно было читать Пушкина, потому что лучше наслаждаться четырехстопными ямбами, чем «ромом и араком» или вороными рысаками. Теперь он не мальчик, и теперь настали другие времена, и теперь люди выучились создавать себе более прочные, более разумные и более сильные наслаждения. Пусть твой отец отведает этих наслаждений, и он, как человек неглупый, наверное полюбит их и бросит ямбы и хореи. Помоги твоему отцу; тебе самому будет чрезвычайно приятно сознавать, что ты принес ему пользу и что ты открыл ему доступ к великим наслаждениям мысли. И еще приятнее будет для тебя то обстоятельство, что отец сделается твоим другом и помощником во всех твоих дальнейших работах». Вот мысль Базарова, развитая во всех подробностях. Если смотреть на его слова без предвзятой идеи, без недоброжелательного предубеждения, то невозможно даже предположить, чтобы эти слова были произнесены вследствие какого-нибудь другого процесса мысли.

Я обращаюсь теперь к каждому беспристрастному читателю с вопросом: есть ли малейшая возможность заподозрить Базарова в желании поглумиться над Николаем Петровичем и унизить в его лице лучшую часть старшего поколения? Я убежден в том, что каждый беспристрастный читатель, вглядевшись в мои доводы, совершенно очистит Базарова от тех нелепых обвинений, которые взведены на него близорукою критикою. Слова Базарова вместо большой пользы принесли крошечный вред, то есть огорчили на несколько дней Николая Петровича и поселили между отцом и сыном легкое неудовольствие, которое, однако, скоро исчезло. Случилось же это, во-первых, потому, что Николай Петрович нечаянно подслушал эти слова, которых ему вовсе не следовало слы-

шать; а во-вторых, потому, что Аркадий оказался набитым дураком и превзошел в этом отношении все ожидания или опасения Базарова. Однажды, когда Николай Петрович читал Пушкина (а читал он его, по-видимому, часто и усердно), Аркадий подошел к нему, с ласковою улыбкою взял у него из рук книгу и вместо Пушкина положил перед ним «Kraft und Stoff». Ну, и оправдалась пословица: услужливый дурак и т. д. Базаров сказал: «дай ему на первый случай хоть Бюхнерово «Kraft und Stoff» — Аркадий буквально исполнил этот совет. Но Базаров сказал, кроме того: *«растолкуй* ему, что это (то есть Пушкин) никуда не годится», а сообразительный Аркадий пропустил эти слова мимо ушей и не понял, что в них заключается весь смысл дела. Само собою разумеется, что школьническая, нелепая и дерзкая выходка Аркадия, смягченная и украшенная ласковою улыбкою, не могла разъяснить Николаю Петровичу значение естествознания для исторической жизни масс и для миросозерцания отдельного человека. Читатель имеет полное право назвать Аркадия самонадеянным пошляком, и Николаю Петровичу остается только вздохнуть, пожать плечами и пожалеть о том, что сын его так плох в умственном отношении. Но зачем же валить с больной головы на здоровую? В чем тут виноват Базаров? И что общего имеет глупость Аркадия с идеями, которыми проникнуты наши реалисты? Шекспир — очень замечательный писатель, но и шекспировскую драму можно так искусно перевести и так восхитительно разыграть на сцене, что она покажется гораздо хуже драмы Нестора Кукольника или Николая Полевого. Если бы Аркадий был действительно проникнут сознательною любовью к науке, если бы он разумно и убедительно заговорил с своим отцом об умственных интересах естествоиспытателей нашего времени, если бы он возбудил и направил любознательность Николая Петровича, если бы он, таким образом, доставил ему много чистых наслаждений и если бы он посредством этих наслаждений сблизился с своим отцом теснее, чем когда-либо, — то, наверное, никому из читателей не пришло бы в голову обвинять Аркадия в непочтительности к родителям или в недостатке сыновней любви. А поступая таким образом, Аркадий исполнил бы с самою добросовестною точностью дружеский совет Базарова, тот самый совет, который он, по своей глупости, совершенно изуродовал. — Из всего, что было говорено выше, я вывожу то заключение, что взаимному пониманию этих двух поколений, старшего и молодого, мешают, с одной стороны, старые Печорины, подобные Павлу Петровичу, а с другой стороны, глупые юноши, подобные Ситникову и Аркадию. То есть, другими словами, мешают непонимание и тупоумие.

X

«Базаров — циник; взгляд Базарова на женщину проникнут самым грубым цинизмом». Такое суждение вы услышите от каждого русского человека, прочитавшего роман Тургенева и умеющего произнести слова «циник» и «цинизм». В устах русского человека эти слова имеют, конечно, ругательное значение; так как мы сами до сих пор не были причастны ни к одной философской школе, то мы ухитрились все дошедшие до нас философские термины осмыслить по-своему, сообразно с уровнем наших умственных отправлений. Вследствие этого получились самые неожиданные результаты: — кто ел, пил и спал за четырех, тот был произведен в материалисты; а набитые дураки, не умеющие приняться ни за одно практическое дело, получили титул романтиков или идеалистов. В этом всеобщем маскараде, в котором наши пошлости прикрылись иностранными словами, циническая хламида старика Диогена досталась тем людям, которые в дамском обществе произносят непечатные слова и украшают свою вседневную жизнь разными неприличными поступками. Таких людей у нас немало; понятия о том, что прилично и что неприлично, очень изменчивы и растяжимы; вследствие этого и слово «цинизм» стало прикладываться, без дальнейшего разбора, к таким вещам, которые сами по себе очень хороши, и к таким, которые во всех отношениях отвратительны. Циником называют у нас, с одной стороны, человека прямодушного и откровенного, презирающего всякое фразерство и беспощадно разоблачающего гадости, которые мы любим облекать в грациозные формы и смягчать благозвучными словами. С другой стороны, я напомню читателю Иону-циника, выведенного в последнем романе Писемского *. Кто говорит резкую правду, тот, по-нашему, циник; и кто оскорбляет или тиранит беззащитного человека, тот, по-нашему, также циник. Понятно, что последние черты цинического образа бросают грязную тень на первые, и получается в общей сумме неопределенное представление о чем-то диком, неумолимом и звероподобном. Если какой-нибудь ловелас стремится насильно поцеловать женщину, путешествующую с ним в мальпосте, мы называем его любезности циническими; если какой-нибудь тупоумный господин глумится и куражится над своею женою, мы называем его обращение циническим. И то же самое, загрязненное слово мы прикладываем не только к характеру людей совершенно другого закала, но даже к умственной деятельности тех великих мыслителей, которые спокойно и рассудительно анализируют с физиологической точки зрения чувство чистой, девственной любви, и процесс поэтического творчества, и порывы возвышенного героизма.

Все это, по нашей терминологии, — циники, и все их рассуждения вытекают из гнусного желания унизить человеческую личность и измять грубыми руками нежные чувства и розовые надежды доверчивого читателя.

Принимая слово «цинизм» в таком широком и разнохарактерном значении, я, пожалуй, готов допустить, что Базаров действительно циник; но, в таком случае, я надеюсь доказать моим читателям, что в базаровском цинизме нет решительно ничего дурного, то есть ничего оскорбительного для человеческого достоинства и несовместного с разумным уважением к женщине. Я намерен разобрать довольно подробно все отношения Базарова к Одинцовой, и я имею причины думать, что этот этюд в настоящее время будет не совсем бесполезен; он до некоторой степени облегчит нам понимание того сфинкса, который называется молодым поколением и который, под этим названием, наводит недоумение и ужас на очень многих добрых людей обоего пола.

Увидавши Одинцову на бале у губернатора, Базаров прежде всего обращает внимание на ее наружность. «Кто бы она ни была, — говорит он Аркадию, — просто ли губернская львица или «эманципе» вроде Кукшиной, только у ней такие плечи, каких я не видывал давно. — Аркадия покоробило от цинизма Базарова» («Отцы и дети», стр. 122) *. Вот и чудесно! Слово «цинизм» сразу вырвалось у самого Тургенева. Это дает самый удобный случай проанализировать, какого рода штука этот цинизм. Что молодой человек неравнодушен к красоте молодой женщины, — в этом, кажется, самый строгий моралист и самый восторженный поэт, каждый с своей точки зрения, не найдут ровно ничего предосудительного. Уж на том свет стоит, что молодые люди нравятся друг другу и что любовь начинается преимущественно с того приятного впечатления, которое производит привлекательная наружность. Когда человек почувствовал это приятное впечатление, то почему же его и не высказать третьему лицу, которому это сообщение нисколько не может быть оскорбительно? — Да, конечно, — скажет мой изящный читатель, — но *как* высказать? — О, я знаю; в этом *как* и заключается настоящая загвоздка. Молодому человеку позволяется говорить о красоте женщины, даже о ее бюсте, даже о ее роскошных формах, но при этом он, во-первых, должен выражаться отборными словами, специально обточенными для подобных живописаний, а во-вторых, он должен во время такого разговора млеть и благоговеть, прищуривать глаза и изображать на своих губах блаженную улыбку небесного созерцания. Тогда никому в голову не придет произнести слово «цинизм»; тогда скажут, напротив того, что молодой человек — художник, способный увлекаться высшими идеалами, и что он в конечной

форме усматривает бесконечную идею прекрасного.— Но так как Базаров говорит спокойно и называет плечи — плечами, а не формами и о бесконечной идее прекрасного не заикается, то сейчас является на сцену «цинизм» и начинает коробить благонравного Аркадия, который, однако, способен, подобно большей части юных птенцов, выслушивать с величайшим наслаждением самые нескромные описания, если только эти описания производятся по всем правилам эстетики. Куда ни кинь, везде на эстетику натыкаешься.

Любопытно заметить, что сам Добролюбов с этой стороны заплатил дань эстетике. Защищая какой-то характер, кажется характер Катерины, он говорит, что его могут извратить и опошлить в своем понимании только те грязные люди, которые всё марают своим прикосновением, которые даже на какую-нибудь Венеру Милосскую смотрят с приапическою улыбкою и с низкими чувственными помышлениями *. Я совершенно согласен с Добролюбовым, что скалить зубы перед мраморною статуею — занятие очень глупое, бесплодное и неблагодарное; но, наперекор всем художникам и эстетикам в мире, я осмелюсь утверждать, что все экстазы самых просвещенных и рафинированных поклонников древней скульптуры, в сущности, ничем не отличаются от приапических улыбок и чувственных поползновений. Последние только проще, непосредственнее и откровеннее, вследствие чего и нелепость последних обрисовывается гораздо резче. Именно эта очевидная нелепость делает их менее вредными, сравнительно с утонченными восторгами. Человек нехитрый взглянет на статую, осклабится своею неизящною улыбкою, постоит минуты две-три перед чудом искусства, да и пройдет мимо. А люди, посвященные в таинства экстазов, поступают совершенно иначе: они часто все свои силы и всю свою жизнь ухлопывают на то, чтобы доставлять эти экстазы себе и другим; два класса людей, эстетики и художники, только этим и занимаются, и при этом они находят, что делают дело. Такую трату свежих умственных сил и драгоценного времени следует назвать по меньшей мере непроизводительною и убыточною. Смотреть с приапическою улыбкою на живую женщину не только глупо, но даже дерзко и совершенно непозволительно по той простой причине, что такая улыбка может оскорбить или по крайней мере привести в замешательство ту личность, к которой она адресуется. Но Базаров говорит с посторонним лицом, так что об оскорблении тут не может быть и речи. Стало быть, остается только разрешить вопрос, каким языком лучше говорить о красоте женщины: высоким и восторженным или простым и естественным. Можно было бы сказать, что уж это дело личного вкуса, но я намерен пойти далее и осмелюсь выразить то мнение, что

говорить в этих случаях простым, базаровским языком гораздо благоразумнее и достойнее мыслящего человека.

В другом месте того же романа Базаров умоляет своего друга Аркадия Николаевича «не говорить красиво», но, по своему обыкновению, Базаров не пускается в дальнейшие диалектические тонкости и не объясняет причины, почему красивые речи возбуждают в нем непобедимое отвращение. Между тем такая причина действительно существует, и ее никак нельзя назвать неосновательною. Люди, пробудившие в себе способность размышлять, ежедневно и ежечасно играют сами с собою в очень странную и смешную игру. Придет ли ему в голову какая-нибудь мысль, шевельнется ли в его нервной системе какое-нибудь ощущение, человек тотчас ухватывается за это душевное движение и начинает его осматривать с различных сторон: что, мол, это за штука? И как ее сформулировать? И под какую категорию подвести? И из каких основных свойств моей личности она вытекает? Конечно, процесс анализа почти никогда не поднимается до настоящих физиологических причин данного явления; останавливаясь на половине или, еще чаще, в самом начале пути, этот процесс обыкновенно заканчивается тем, что данная мысль или данное ощущение получает себе то или другое название. Если нашему аналитику удастся подобрать название красивое, то он немедленно почувствует удовольствие и даже проникнется некоторым уважением к своей особе: — однако, подумает, я молодец. Вот какие тонкие мысли и высокие ощущения я способен в себе вынашивать. Но ведь приискивать красивые названия и пригонять к этим названиям психические анализы — дело совсем немудреное; если только приобрести в этом занятии некоторый навык, то можно действовать без промаха и в каждой плоской выдумке своего *я,* в каждом естественном отправлении своего организма усматривать бездну грации, изящества, мягкости, великодушия и всяких других благоухающих атрибутов. Тут, конечно, удовольствию и самоуважению не будет конца. Когда человек покупает себе самоуважение дорогою ценою полезного и неустрашимого труда, когда он поддерживает в себе это чувство ежедневными усилиями ума и воли, направленных к великим, общечеловеческим целям, тогда самоуважение облагороживает его, то есть постоянно укрепляет его на новые подвиги труда и борьбы. Но когда человек платит себе за самоуважение фальшивою монетою красивых выражений и плоских софизмов, когда он, таким образом, бессознательно выучивается шулерничать с самим собою, тогда он быстро пошлеет и опускается, продолжая по-прежнему воскуривать себе свой затхлый фимиам. Чем мельче становятся мысли и чувства, тем вычурнее и красивее подбираются для них на-

звания потому что навык с каждым днем усиливается в этом ремесле, как и во всех остальных. Таким-то именно путем и вырабатываются отъявленные тунеядцы, считающие себя русскими лириками. Таким же точно путем многие великие умы парализировали и оскопили свою деятельность. Гете, а вместе с ним и добряк Шиллер совершенно чистосердечно убедили сами себя и друг друга, что им стоит только потоньше ощущать, да повозвышеннее мыслить, да помудренее выражаться, и что они тогда окажут всему человечеству неизмеримые благодеяния. Утвердившись на этой позиции, великие светила немецкой поэзии вскоре сделали открытие, что ощущения их достаточно тонки, мысли достаточно возвышенны и выражения достаточно замысловаты. Тогда осталось только любоваться своими совершенствами и продовольствовать простое человечество не грубыми плодами полезного умственного труда, а тонким изяществом просветленных личностей. Восхищайтесь, мол, нами и благодарите бога за то, что мы живем среди вас и что вы можете созерцать такую невиданную красоту души и ума. А уверив себя в этом, Гете сам себя считал великим. Как мог он, при своем громадном уме, предпочитать узкий мир своих личных ощущений широкому миру волнующейся жизни человечества? Как мог он ставить субъективную мечту, отправление единичного организма, выше той действительной драмы, которая ежеминутно, на каждом шагу, с учреждения первых человеческих обществ, разыгрывается перед глазами каждого мыслящего наблюдателя? Филистерская трусость Гете не разъяснит нам этой загадки. Если бы тут была одна трусость, Гете не мог бы так чистосердечно уважать и обожать себя. Нет; мир личных ощущений был для него не убежищем, а храмом, в котором он поселился с полным убеждением, что прекраснее и священнее этого места нет ничего на свете. Чтобы увидать в самом себе светлый храм, а в окружающей жизни грязную базарную площадь, чтобы забыть, таким образом, естественную солидарность своего *я* с окружающими глупостями и страданиями остальных людей, надо было систематически подкупить и усыпить свой критический смысл красотою отборных выражений. Мелкие мысли и мелкие чувства надо было возвести в перл создания; Гете выполнил этот фокус, и подобные фокусы считаются до сих пор величайшим торжеством искусства; но производятся такие штуки не только в сфере искусства, а также и во всех остальных сферах человеческой жизни.

Маленький, но поучительный пример такого фокуса представляется нам в романе Тургенева, в лице Павла Петровича. «Я очень хорошо знаю, например,— говорит этот perfect gent-

leman[1],— что вы изволите находить смешными мои привычки, мой туалет, мою опрятность, наконец, но это все проистекает из чувства самоуважения, из чувства долга, да-с, да-с, долга. Я живу в деревне, в глуши, но я не роняю себя, я уважаю в себе человека» (стр. 74).

Я сомневаюсь в том, чтобы магическая сила красивых слов могла обрисоваться когда-нибудь и где-нибудь ярче и нагляднее, чем она обрисована в этом месте. Циник, подобный Базарову, скажет: я умываю лицо и руки, стригу ногти, причесываю волосы, хожу в баню, меняю белье — и только. И эти простые слова не возбудят в говорящей личности никакого приятного чувства удовлетворенной гордости. А эстетик, подобный Павлу Петровичу, скажет: — я повинуюсь чувству долга и поддерживаю свое достоинство, я уважаю в себе человека,— значит, я развитая личность, значит, я себя по голове поглажу, значит, я дело делаю, значит, я могу с спокойною совестью почивать на лаврах. И мужик ходит в баню, но он ходит по грубой животной потребности, а я хожу с размышлением, я одухотворяю процесс физического омовения высшим процессом мыслительной деятельности. Таким образом будет постоянно возрастать дешевое самоуважение, и с каждым днем неизлечимее и безнадежнее будут становиться пустота, пошлость и праздность фразерствующей личности. Если человек не сумасшедший может ставить себе в заслугу то, что он умывается душистым мылом и носит туго накрахмаленные воротнички, и если даже эта незамысловатая вещь может уложиться в опрятную и красивую фразу, то понятно, какой неистощимый материал самовосхваления могут доставить такому человеку самые простые отношения к женщине. Полюбоваться красотою женщины, кажется, не велика мудрость и не важный подвиг; но эстетик сам себе представит свои ощущения в таком эфирно облагороженном виде, что, при сем удобном случае, непременно умилится над нежностью, мягкостью, чуткостью, восприимчивостью и утонченною страстностью своей натуры. Результат известен: циники, подобные Базарову, уважают себя только за то, что крепко трудятся; а эстетики уважают себя за то, что красиво едят, красиво пьют, красиво умываются и красиво глядят на красивых женщин. Вследствие этого реалисты, чтобы сохранить себе свое собственное уважение, продолжают крепко трудиться; а эстетики для достижения той же самой цели продолжают красиво есть, красиво пить, красиво умываться и красиво глядеть на красивых женщин. Что лучше и что общеполезнее — об этом я предоставляю судить благосклонному читателю.— Кажется мне только, что плечи следует

[1] Безупречный джентльмен *(англ.)*. — *Ред.*

называть плечами и что, любуясь красотою живой женщины или мраморной Венеры, мы не оказываем особенно великого одолжения ни отечеству, ни человечеству. Ощущение очень обыкновенное; стало быть, и выражение должно быть просто и положительно. Энтузиазм не мешает приберегать на другие случаи, более торжественные, о которых травоядные эстетики не имеют понятия.

XI

В жизни Базарова труд стоит на первом плане, но Базаров совсем не ригорист и вовсе не прочь от того, чтобы доставлять своей особе удовольствия. Одинцова понравилась ему с первого взгляда, и ему пришло в голову приволокнуться за нею. Мысль безнравственная, но как вы убережетесь от подобных мыслей при настоящих условиях воспитания, жизни и общественных отношений?

Уверять женщину в любви, когда любви этой в самом деле не имеется,— значит лгать, а лгать во всяком случае скверно, тем более тогда, когда ложь так близко затрогивает личные интересы того человека, с которым мы имеем дело. Если бы Базаров разыграл с Одинцовой систематическую и хладнокровно рассчитанную комедию любви, то поступок этот был бы очень предосудителен, и вся личность Базарова явилась бы перед нами в сомнительном свете. Но мне кажется, что Базаров ни в каком случае не стал бы актерствовать; если бы даже он принялся за это утомительное занятие, то у него не хватило бы терпения дотянуть дело до развязки, и он, после первых двух-трех приступов, убедился бы в том, что игра не стоит свечей. С молодыми людьми случается часто, что они строят в уме своем какой-нибудь отчаянно-макиавеллевский план; все так хорошо обдумано, и ложь и притворство поставлены на свое место, расчет произведен блистательно, и теоретическая сторона дела оказывается безукоризненною; это значит, что мысль работает исправно и отличается надлежащею смелостью полета; но так, на одном смелом полете мысли, дело и останавливается, потому что, при первой встрече с практическою стороною задуманной дьявольщины, юный макиавеллист оказывается добродушным и чистосердечным человеком, который немедленно махнет рукой и скажет про себя: — а ну их к черту! С какой стати я их надувать буду! — Так могло случиться, и до некоторой степени так случилось и с самим Базаровым. Он оказался гораздо моложе и нежнее, чем он воображает себя. С кабинетными работниками, у которых теоретический ум далеко обгоняет опыт жизни, сплошь и рядом случаются такие иллюзии. Справляясь с идеями, мы думаем,

что нам так же легко справляться и с живыми явлениями, а вдруг оказывается, что живое явление затрогивает нас с такой стороны, которую мы и не подозревали в своей особе, когда производили наши теоретические комбинации.

Я думаю однако, что Базаров даже в чистой теории не задавал себе задачи актерствовать и лицемерить пред красивою обладательницею «богатого тела». Он просто думал, что Одинцова — нечто вроде Евдокии Кукшиной, а в таком случае комедия была бы излишнею роскошью. Стоило только сказать несколько красивых любезностей насчет наружности да наговорить побольше вздору о Либихе и Жорж Занде, о Мишле и Прудоне, о Бунзене и о женском вопросе — и дело было бы улажено к обоюдному удовольствию. Тут дело с самого начала велось бы начистоту, без всяких хитростей, и женщина даже не требовала бы от мужчины серьезного чувства, потому что не была бы даже способна насладиться таким чувством и отплатить за него тою же монетою. Тут не было бы ничего, кроме болтовни и объятий, и, разумеется, Базарову очень скоро приелось бы такое препровождение времени. Но Базаров, с первого разговора своего с Одинцовою, заметил, что эта женщина умеет уважать свое достоинство и смотрит на жизнь серьезными глазами мыслящего человека. Шутить с такою женщиною было невозможно; обманывать ее было трудно и опасно; можно было попасть впросак и поставить самого себя в самое глупое и безвыходно-позорное положение; наконец, если бы, паче чаяния, обман удался, то он оказался бы капитальною подлостью, потому что возбудить в такой женщине чувство и потом, рано или поздно, — обнаружить свою полную неискренность — значило бы оскорбить и огорчить эту женщину самым жестоким, незаслуженным и мошенническим образом. Все это Базаров сообразил или, вернее, почувствовал почти мгновенно, и все его поведение с Одинцовою проникнуто с начала до конца самою глубокою, искреннею и серьезною почтительностью. «Какой я смирненький стал», — думал он про себя в первые минуты своего пребывания в деревне Одинцовой (стр. 122), и потом он сделался еще более «смирненьким», потому что он *полюбил* Одинцову; а когда такой «циник» любит женщину, тогда он ее уважает действительно, то есть тогда ему становится невозможно схитрить перед нею словом, взглядом или движением. Искренность Базарова доходит до крайних пределов, и мне кажется, что именно эта искренность, эта полнейшая честность, неподдельность приводят за собою его неудачу и разрыв только что зарождавшихся отношений. Эта неподдельность показалась некрасивою, а женщины наши, по-видимому, очень крепко держатся за эстетику и в смысл психических явлений не заглядывают почти никогда.

XII

Самые искренние люди бывают часто самыми сдержанными людьми, и самые сильные чувства этих людей никогда не выражаются ими, а вырываются из них только тогда, когда уже не хватает сил их задерживать. В строгом смысле, только такие вырвавшиеся чувства и могут быть названы совершенно неподкрашенными. Когда же человек сознательно выпускает из себя чувство, то есть говорит о нем и описывает его, то мы уже тут имеем дело не с сырым материалом, а с умственным трудом, построенным на основании этого материала. Чем изящнее и грациознее эта постройка, тем больше на нее положено искусства, то есть, другими словами, тем спокойнее и сознательнее произведена обработка первобытного материала. Чем красивее выражение, тем слабее чувство, а так как женщины дорожат преимущественно красотою, в чем бы она ни проявлялась, то и оказывается в результате, что они обыкновенно отвертываются от искренних людей и бросаются на шею фразерам или красивым куклам. Чем сильнее человек любит, тем невыгоднее его положение и тем вернее он может рассчитывать на полную неудачу.

Истину этого неутешительного изречения в совершенстве испытал на себе Базаров. Он полюбил Одинцову очень скоро; серьезная любовь началась в нем, вероятно, после первой ботанической экскурсии, которую они предприняли вдвоем после завтрака и которая продолжалась до обеда. Это было на другой день после приезда молодых людей в деревню Одинцовой. Что любовь возникла так быстро, этому удивляться нечего. Физическая красота бросается в глаза с первого взгляда; ум обнаруживается в первом же разговоре; а когда, таким образом, вся фигура женщины и каждое слово производят на человека стройное и приятное впечатление, то чего же вам больше? И кровь волнуется, и мозг раздражается, и все это так обаятельно — ну вот, и любовь готова. Чем больше таких приятных впечатлений ляжет без перерыва одно на другое, тем сильнее будет становиться любовь; но фундамент, незаметный зародыш этого чувства, заложен уже самым первым впечатлением.

Полюбивши Одинцову, Базаров проводит вместе с нею, под одною кровлею и в постоянных дружеских разговорах, больше двух недель. Во все это время он говорит с нею, как с умным мужчиною, о предметах, имеющих действительный интерес: о химии, о ботанике, о новейших открытиях натуралистов, о различных взглядах передовых умов на жизнь природы, на личность человека и на потребности общества. Если уважать женщину — значит обращаться с нею как с мысля-

щим существом, то с этой стороны поведение «циника» Базарова надо признать совершенно безукоризненным: он старался удовлетворять умственным требованиям своей собеседницы и не проронил ни одного слова о том, что мучило и волновало его самого. Ни слова не было сказано о том, что могло возвысить в глазах любимой женщины личность самого Базарова; ни о своем прошедшем, ни о своих стремлениях и планах в будущем Базаров не заикнулся; а между тем в его прошедшем было много упорного труда и непобедимого терпения, а в его взгляде на будущее широко и обаятельно развертывались светлое могущество его мысли и неудержимая страстность его сознательной любви к людям. И он все-таки молчал об этом, потому что ему было отвратительно подумать, что он способен рисоваться, интересничать и говорить красивые слова перед любимою женщиною. Это честное и глубокое отвращение к ложной эффектности постоянно обливало его холодною водою, когда он начинал увлекаться и когда в этом увлечении начинали проблескивать высшие и симпатичные стороны его ума, его характера и его деятельности. Он не хотел становиться на ходули и поэтому оставался постоянно ниже своего настоящего роста. Что делать? Человек почти всегда пересаливает в ту или в другую сторону; но кто пересолит подобно Базарову, тот по крайней мере не продаст гнилого товара за свежий и не залезет обманом ни в кошелек, ни в душу своих собеседников. — Дельные разговоры Базарова занимают Одинцову как женщину умную и любознательную; но именно как умная женщина она понимает, что, говоря обо всем, Базаров не высказывает безделицы — самого себя; а как женщина любознательная и даже любопытная, она желает вырвать у Базарова эту тайну, она хочет объяснить себе настоящий смысл этой сильной и замечательной личности. Она старается перевести разговор с общего поля великих умственных интересов на более интимный тон личных признаний и излияний. Базарову, как влюбленному человеку, такой поворот разговора был бы чрезвычайно выгоден, а между тем Базаров упирается и выдерживает свое упорство до самого конца. Одинцова все к чему-то подходит; ей, по-видимому, хотелось бы, чтобы оба они понемногу разнежились и чтобы слово любви было произнесено как-то незаметно для обоих, во время нежного и мечтательного разговора; она бы желала увлечься нечувствительно, без страстных порывов и без резких ощущений. Базарову все эти тонкости непонятны. Как это, думает он, подготовлять и настраивать себя к любви? Когда человек действительно любит, разве он может грациозничать и думать о мелочах внешнего изящества? Разве настоящая любовь колеблется? Разве она нуждается в ка-

ких-нибудь внешних пособиях места, времени и минутного расположения, вызванного разговором? Базаров меряет на свой аршин психические отправления других людей, и поэтому он относится сурово и враждебно ко всем попыткам Одинцовой придать их отношениям ласкающий и нежный колорит. Ему все эти попытки кажутся искусственными маневрами кокетки или по меньшей мере невольными капризами избалованной аристократки. Если бы она меня любила, думает он, она бы давно поняла, как сильно я ее люблю, и тогда все между нами было бы ясно, просто и разумно, и тогда к чему все ухищрения? Но ведь она меня не любит, и, в таком случае, как же она смеет забавляться со мною задушевными разговорами? Дикарь этот Базаров! Первобытный человек! Он упускает из виду то обстоятельство, что ее любовь может явиться как результат многих мелких причин, многих внешних, случайных и неважных впечатлений. Он совсем не заботится о том, чтобы доставить ей эти впечатления и потом эксплуатировать их в свою пользу. Он хочет, чтобы ее любовь была сильна, естественна и самородна, чтоб эта любовь свалилась на нее как снег на голову, так, как его любовь обрушилась на него, Базарова. А любовь высиженная, вымученная, тепличная, воспитанная нежными словами, эффектными взглядами, пустотою деревенской жизни, тишиною и полумраком летнего вечера, — такая любовь очень понравилась бы Базарову, если бы он хотел завести интригу с красивою барынею, но притворною и отвратительною показалась бы она ему тогда, когда он сам полюбил серьезно. Дикарь этот Базаров! Его уважение к женщине выражается в том, что он ничем не хочет и, по натуре своей, ничем не способен насиловать чувство этой женщины. Выше этого уважения ничего нельзя себе представить, но для наших дрессированных, обессиленных и обесцвеченных женщин такое уважение оказывается совершенно неуместным и непонятным. Женщина сама, всем направлением своих поступков и речей, упрашивает, чтобы ее *заставили* полюбить, чтобы ее «увлекли», чтобы ей «вскружили» голову, то есть, короче, чтобы ее лишили воли и сознания и чтобы тогда делали с нею что хотят. Тогда, думает она, пожалуй, я полюблю и потом спасибо скажу тому доброму человеку, который отнял у меня способность и печальную необходимость обдумывать мои поступки. А иначе как же? Как же бы я сама? как бы я, находясь в здравом уме, сама распорядилась своею особою? Никогда и ни за что бы я сама не распорядилась. Я бы постоянно стремилась и постоянно робела бы. На то я и женщина! А дикарь стоит себе, сложа руки, и говорит: решайся сама. Думай за себя. Люби самостоятельно. Ни увлекать, ни убеждать, ни умолять тебя я не намерен,

да и не умею. Я равный тебе человек. Я не опекун тебе. И хоть бы у меня аневризм сделался и хоть бы у меня сердце лопнуло от любовного волнения, все-таки я не сумею и не захочу кружить тебе голову и опаивать тебя дурманом грациозных нежностей и эффектной жестикуляции. Я говорю с тобою как с разумным существом и не умею говорить иначе ни с кем из тех людей, которые раз навсегда заслужили мое уважение. Если бы я не уважал тебя, то я бы тебя и не любил; а так как я тебя люблю, то я и не могу, абсолютно не могу, посягать словами или поступками на твою умственную самостоятельность. — Какой дикарь; но какой хороший дикарь! Жаль только, что не в коня корм.

XIII

Читателю может показаться, что я сам сочинил себе Базарова и Одинцову, вовсе непохожих на героев тургеневского романа, — до такой степени мои размышления и заключения резко противоречат тому понятию, которое, по милости нашей образцовой тупости, установилось в читающем обществе насчет базаровского типа и преимущественно насчет его *цинических* отношений к женщинам. Мне теперь надо доказать, что я не сочиняю и что каждое мое слово основывается исключительно на правильном понимании тех материалов, которые дает Тургенев и которые, мне кажется, сам Тургенев не всегда рассматривает с надлежащей точки зрения, хотя фактические подробности всегда поразительно верны.

Я приведу длинный ряд доказательств из двух решительных сцен Базарова с Одинцовою («Отцы и дети», стр. 141—276). Базаров сказал, что он скоро уезжает к своему отцу; это было сказано без всякого дипломатического умысла, и Тургенев при этом замечает, что Базаров «никогда не сочинял» (стр. 139). Одинцова, по поводу этого близкого отъезда, находится в полугрустном, полунежном настроении. Сидят они вдвоем, поздно вечером, в комнате Одинцовой.— Одинцова два раза подряд говорит ему: «Мне будет скучно».— На первый раз он отвечает: «Аркадий останется», а на второй: «Во всяком случае долго вы скучать не будете».— Вслед за тем он говорит ей, что она непогрешительно-правильно устроила свою жизнь, так что в ней не может быть места никаким тяжелым чувствам. «Через несколько минут,— прибавляет он,— пробьет десять часов, и я уже наперед знаю, что вы меня прогоните».— «Нет, не прогоню, Евгений Васильевич,— отвечает она, — вы можете остаться». — Он остается. — «Расскажите мне что-нибудь о самом себе,— говорит она,— вы никогда о себе не говорите».— «*Я стараюсь беседовать с вами*

о предметах полезных, Анна Сергеевна».— Она настаивает с особенною ласковостью.— Базаров думает про себя: «Зачем она говорит такие слова?» (стр. 143) и отвечает ей: *«Мы люди темные»*.— «А я, по-вашему, аристократка?» — *«Да*,— промолвил он *преувеличенно резко»*.— Одинцова защищается: «Я,— говорит она,— вам когда-нибудь расскажу свою жизнь... но вы мне прежде расскажите свою».— Базаров это третье приглашение пропускает мимо ушей и переводит разговор на личность Одинцовой. «Зачем, вы, с вашим умом, с вашею красотою, живете в деревне?» — «Как! Как вы это сказали? — с живостью подхватила Одинцова.— С моей... красотой?» — Бедная женщина! Как она обрадовалась! Должно быть, Базаров не избаловал ее комплиментами. А Базаров-то! О дикарь! О бурлак! Вот он затушевывает свою нечаянную любезность: *«Базаров нахмурился. — Это все равно,* — пробормотал он. — Я хотел сказать, что не понимаю хорошенько, зачем вы поселились в деревне». — Его, очевидно, покоробило и смутило то, что он сказал. Говорить с любимою и уважаемою женщиною о ее красоте кажется ему плоскостью и, следовательно, дерзостью. И это тот самый Базаров, который говорил с Аркадием о плечах и о богатом теле этой самой Одинцовой? И тут нет никакого противоречия. Тогда он ее не знал, и, стало быть, для него существовали только линии и краски ее фигуры; по этим известным ему данным он и высказывал о ней свое суждение. Кроме того, он говорил с третьим лицом, и тогда эти слова имели свой смысл, как всякое другое суждение о каком-нибудь предмете, остановившем на себе внимание человека. Но говорить самой женщине, что она хороша собой, — это бессмыслица, годная только на то, чтобы наскучить ей, если она умна, или польстить ей, если она глупа. К сожалению, надо заметить, что очень многим женщинам такие разговоры не надоедают, и — увы! — кажется, даже Одинцова не прочь послушать такие речи изредка. Что делать? Сильна наша глупость, и бесчисленны ее убежища; и у самых умных людей еще отведены для нее уютные уголки, и нет, быть может, того мыслителя, который подчас не оказывался бы простофилею. Но Базаров, по своей дикой суровости, не хочет принимать в соображение слабости своей собеседницы. Потворствовать этим слабостям и пользоваться ими он, очевидно, считает не только пошлым, но и бесчестным делом.— Через несколько минут Базаров встает. «Куда вы?» — медленно проговорила она.— Он ничего не отвечал и опустился на стул».— Разговор, несмотря на бесконечную свирепость Базарова, становится конфиденциальным и почти нежным. «Кажется,— говорит она,— если б я могла сильно привязаться к чему-нибудь...» — «Вам хочется полюбить,— перебил ее Базаров,— а полюбить вы не можете: вот в чем

ваше несчастие». — «Разве я не могу полюбить?» — «Едва ли! Только я напрасно назвал это несчастием. Напротив, тот скорее достоин сожаления, с кем эта штука случается».— «Случается, что́?» — «Полюбить».— «А вы почем это знаете?» — *«Понаслышке»,— сердито* отвечал Базаров.— *«Ты кокетничаешь,*— подумал он,— *ты скучаешь и дразнишь меня от нечего делать, а мне...»*. Сердце у него действительно так и рвалось» (стр. 147). «По-моему,— продолжает Одинцова,— или все, или ничего. Жизнь за жизнь. Взял мою, отдай свою, и тогда уже без сожаления и без возврата. А то лучше и не надо». — *«Что ж,* — заметил Базаров, — *это условие справедливое, и я удивляюсь, как вы до сих пор... не нашли, чего желали»* (стр. 147).— «Но вы бы сумели отдаться?» — спрашивает она. *«Не знаю, хвастаться не хочу»* (стр. 148). Базаров опять встает; она еще раз его удерживает. «Погодите, куда же вы спешите... мне нужно сказать вам одно слово».— «Какое?» — «Погодите»,— шепнула Одинцова.— Ее глаза остановились на Базарове; казалось, она внимательно его рассматривала.— Он прошел по комнате, потом вдруг приблизился к ней и торопливо сказал: «прощайте», стиснул ей руку так, что она чуть не вскрикнула, и вышел вон» (стр. 148).

На другой день Одинцова сама зовет его к себе в кабинет и, пришедши туда, прямо говорит ему, что хочет возобновить вчерашний разговор. Опять начинаются с ее стороны вызовы на откровенность, а со стороны Базарова упорное отнекиванье. Он говорит: *«между вами и мною такое расстояние»*. Она говорит на это: «Какое расстояние? Полноте, Евгений Васильевич; *я вам, кажется, доказала»*. «Или, может быть,— продолжает она,— вы меня, как женщину, не считаете достойною вашего доверия? *Ведь вы нас всех презираете?»* — *«Вас я не презираю, Анна Сергеевна, и вы это знаете».* — *«Нет, я ничего не знаю»,*— отвечает она и затем требует, чтобы Базаров сказал ей, что в нем происходит и какая причина его сдержанности и напряженности. Что же остается делать этому несчастному Базарову? Ведь, наконец, всякие человеческие силы должны истощиться и всякое ослиное терпение должно лопнуть, когда любимая женщина два дня подряд умоляет об одном и том же, когда она вас упрекает в том, что вы ее презираете, и когда все ее просьбы, все ее ласковые слова клонятся исключительно к той цели, к которой вы сами стремитесь всеми силами своего существа. Поневоле надо было высказать самую глубокую тайну, и Базаров ее высказал, только совершенно по-базаровски. «Так знайте же,— говорит он,— что я вас люблю глупо, безумно... *Вот чего вы добились».*— И эти сердитые слова он произносит, не глядя на Одинцову, отошедши от нее к окну и стоя к ней спиною. «Он задыхался; все тело его видимо трепетало. Но

это было не трепетание юношеской робости, не сладкий ужас первого признания овладел им: это страсть в нем билась, сильная и тяжелая,— *страсть, похожая на злобу, и, быть может, сродни ей... Одинцовой стало и страшно и жалко его...* «Евгений Васильевич,— проговорила она, и *невольная нежность зазвенела в ее голосе*» (стр. 154—155).

Ну, тут, разумеется, он бросился к ней и обнял ее. Еще бы он не бросился! Еще бы он не обнял! Эта *невольная нежность в голосе* была для него последним и решительным ударом, перед которым уже не могла устоять никакая сдержанность, никакая напряженность, никакая искусственная суровость. Он ее обнял, — где же тут дерзость, где оскорбление? Разве, обнимая *любящую* женщину, любящий мужчина наносит ей оскорбление? И разве Базаров мог и разве он смел сомневаться в том, что Одинцова его любит? Все было высказано, высказано просто, грубо и угрюмо, высказано с глубоким, тяжело выстраданным упреком: *«вот чего вы добились»,* и после этого *«нежность в голосе»!* Какое же тут может быть сомнение? И выразить подобное сомнение, колебаться после этой проклятой *«нежности»* еще одну секунду — ведь это значило бы глубоко огорчить и оскорбить любящую женщину, значило бы требовать от нее, чтобы она вымаливала вашу любовь подобно тому, как она уже вымолила ваше признание. И вдруг она от него отскакивает, и вдруг она говорит ему: «Вы меня не поняли!» А что же делает Базаров? Ничего. Он закусывает губы и выходит из комнаты. А потом, вечером, он извиняется перед Одинцовой: «Я должен извиниться перед вами, Анна Сергеевна. Вы не можете не гневаться на меня».— А она ему отвечает: «Нет, я на вас не сержусь, Евгений Васильевич, но я огорчена».

О, Анна Сергеевна, замечу я от себя, как вы безмерно великодушны! Неужели вы можете не сердиться на этого ужасного преступника, которого неслыханное преступление состоит в том, что вы поджаривали его на медленном огне в продолжение двух дней? Преклоняюсь перед вашею женственною кротостью и говорю вам без всякой иронии, что вы в этом отношении стоите выше многих очаровательных, умных и безукоризненных женщин. Те также терзают людей, мажут их по губам, разбивают их счастье, говорят им: «вы меня не поняли» — и, сверх всего этого, ненавидят их самою упорною и холодною ненавистью. Бывают, конечно, и мужчины в таком же роде, потому что, когда дело зайдет о глупостях, тогда ни один пол не уступит другому. Но история Базарова поучительна; он измучен, он же извиняется, он же получает великодушное полупрощение, он сам, во все время своего знакомства с Одинцовою, не говорит ей ни одного неприятного или непочтительного слова, он обходится с нею как

с святынею, и при всем том его же вся читающая публика обвиняет в нахальстве, в дерзости, в цинизме, в неуважении к достоинству женщины и черт знает еще в каких неправдоподобных гадостях.

Но вот о чем не мешает подумать нашей добрейшей и почтеннейшей публике: — дали ей в руки печатную книгу; в этой книге была написана ясным русским языком история Базарова и Одинцовой; прочитали эту историю и опытные критики и простые, непредубежденные читатели; и из всего этого прилежного чтения, из всех критических рассуждений произошло, по неисповедимым законам судеб, самое удивительное понимание навыворот, или, еще вернее, совершенное непонимание. Я спрашиваю у каждого беспристрастного читателя моей статьи, есть ли какая-нибудь возможность понять и объяснить факты, собранные мною в этой главе, по какому-нибудь другому способу, несходному с моим объяснением? Я уверен, что каждый читатель скажет: «нет, невозможно», и даже назовет мое объяснение ненужною болтовнею, потому что факты ясны, как день, и сами за себя говорят. Ну да, ясны, как день, а ведь, однако, ухитрились же люди их не понять и исказить, и для многих легковерных господ судьба Базарова, как литературного типа, решена безапелляционно. Их теперь и не вытащить из заколдованного круга их затверженных суждений.

И это случилось с печатною книгою, которую стоит только раскрыть и прочитать внимательно для того, чтобы уничтожить всякое заблуждение и восстановить настоящее значение рассказанных событий. Поставьте же теперь на место книги живое явление, которое никогда не бывает так ясно и так удобно для изучения, как литературное произведение. Подумайте, какая тут произойдет катавасия! Если наша публика ни с того, ни с сего совершенно несправедливо оплевала тургеневского Базарова, то каково же поступает она с живыми Базаровыми, которых понять гораздо труднее и которым, однако, больно и досадно, когда на них сыпятся незаслуженные оскорбления от отцов, матерей, сестер и особенно от любимых женщин? Подумайте, сударыня-публика, не пора ли вам заподозрить непогрешимость ваших рассуждений о таких явлениях, которых вы не сумели понять даже по печатной книге? Я нарочно выбрал для примера «любовную» историю Базарова, потому что это именно такой предмет, в котором каждый человек считает себя компетентным судьею. Ну и что же, компетентные судьи, много вы рассудили?

Нравоучение из этого извлекается только то, что обругать человека недолго, но что и пользы из этого выходит немного.

XIV

Вам, может быть, угодно знать теперь, почему Одинцова не полюбила Базарова или, точнее, почему ее зарождавшаяся любовь к этому человеку не повела за собою никаких счастливых последствий. А по тому же самому, почему король Лир оттолкнул от себя ту единственную дочь, которая действительно была к нему привязана; потому что чувство Базарова, подобно чувству Корделии, выразилось некрасиво, то есть несогласно с эстетическими требованиями того лица, к которому это чувство адресовалось. Я говорю это без всяких предположений, основываясь на словах самого Тургенева. «Она задумывалась и краснела, *вспоминая почти зверское лицо* Базарова, когда он бросился к ней» (стр. 155). Она даже не решила хорошенько, как ей поступить, то есть отдаться ли Базарову или разойтись с ним. «*Или?* — произнесла она вдруг, и остановилась, и тряхнула кудрями» (стр. 156).

Неподражаемым комментарием к этому забубенному *или* может служить следующая цитата из того же романа: «Ямщик ему попался лихой, он останавливался перед каждым кабаком, приговаривая: «чкнуть?» или: «аль чкнуть?», но зато, *чкнувши,* не жалел лошадей» (стр. 211). К сожалению, Одинцова в деле лихости далеко уступала ямщику, и на первый раз она решила, что лучше не надо *«или»*. Но это решение никак нельзя считать окончательным; нельзя по той простой причине, что она его несколько раз подтверждала впоследствии, а это значит, что перед каждым подтверждением в ее уме шевелился более или менее явственно обозначенный вопрос: «аль чкнуть?». И подтверждение являлось постоянно по случаю неэстетичности. «Одинцова раза два — прямо, не украдкой — посмотрела на его лицо, строгое и желчное, с опущенными глазами, с отпечатком презрительной решимости в каждой черте, и подумала: «нет... нет... нет» (стр. 157).— «Ведь вы, извините мою откровенность,— говорит ей Базаров вечером того же дня,— не любите меня и не полюбите никогда?» — Глаза Базарова сверкнули на мгновенье из-под темных его бровей. Анна Сергеевна не отвечала ему; «я боюсь этого человека»,— мелькнуло у ней в голове» (стр. 158).

Одинцова приезжает к умирающему Базарову, и вот первое ее ощущение при взгляде на больного: «Она просто испугалась каким-то холодным и томительным испугом; мысль, что она не то бы почувствовала, если бы точно его любила, мгновенно сверкнула у ней в голове» (стр. 294). Вот видите: до самой последней минуты вопросы: «любила ли она его»

и «точно ли любила» оставались для нее вопросами. А полюбила ли бы она его, если бы он не умер, и могла ли она вообще полюбить его — это такие вопросы, которые навсегда остались для нее неразрешимыми. Базаров поставил вопрос слишком ясно: или отдаться, или разойтись. Одинцовой еще не хотелось решиться ни в ту, ни в другую сторону; ей хотелось еще поговорить, и она не раз выражала это желание, и у нее были на то очень законные причины. Для того, чтобы стать в уровень с Базаровым, чтобы понять его и взглянуть на его личность светлым взглядом мыслящего человека, сбросившего с своего ума оковы эстетической рутины, для этого Одинцовой действительно необходимо было поумнеть, а она, как даровитая женщина, умнела довольно быстро под живительным влиянием дельных разговоров с Базаровым. Но Базаров, при всей своей «сатанинской» гордости, не сознавал, что он в умственном отношении стоит выше ее; он не замечал, что его влияние производит в ней перемену; поэтому он и думал, что если она не любит его теперь, то и не полюбит никогда. Значит, он уважал ее слишком много, и было бы гораздо — о, гораздо — лучше, если бы он уважал ее поменьше. Но замечательно, что ведь Базарова-то принято упрекать как раз в противоположной погрешности. Желание Одинцовой «еще поговорить» выражается в двух случаях самым очевидным образом. Во-первых, тотчас после неудавшегося поцелуя Базаров присылает ей записку следующего содержания: «Должен ли я сегодня уехать — или могу остаться до завтра?» Она ему отвечает: «Зачем уезжать? Я вас не понимала — вы меня не поняли».— Вывод ясен: «Поговорим еще и, может быть, договоримся до взаимного понимания». Во-вторых, когда Базаров, спустя несколько недель, заезжает в последний раз на короткое время в деревню Одинцовой, она упрашивает его остаться и еще наивнее выражает свое желание «поговорить».— «Разве,— говорит она,— вы уезжаете? Отчего же вам теперь не остаться? Останьтесь... с вами говорить весело... точно по краю пропасти ходишь. Сперва робеешь, а потом откуда смелость возьмется. Останьтесь» (стр. 271). Тут опять ясно сквозит такая мысль: «Дайте мне понабраться смелости, и тогда я, чего доброго, брошусь в самую пропасть, которая перестанет меня пугать»... Но Базаров не видит этой сквозящей мысли, или же у него не хватает сил дожидаться, пока Одинцова поумнеет и перестанет робеть. «Спасибо за предложение, Анна Сергеевна, — отвечает он ей, — и за лестное мнение о моих разговорных талантах. Но я нахожу, что я и так слишком долго вращался в чужой для меня сфере».

Нелюбезно и почти дерзко отвечает он на ее приглашение, но ее этот ответ не оскорбляет. Взглянувши на его бледное

лицо, подернутое горькою усмешкою, она подумала: «этот меня любит!» и с участием протянула ему руку. Но он не взял эту руку и оттолкнул прочь ее непрошенное участие, потому что люди, подобные Базарову, берут себе любовь женщины или ровно ничего не берут. «Нет, — сказал он и отступил на шаг назад.— Человек я бедный, но милостыни до сих пор не принимал. Прощайте-*с* и будьте здоровы».— Она опять рванулась к нему.— «Я убеждена, что мы не в последний раз видимся»,— произнесла Анна Сергеевна *с невольным движением*». (Это опять то же самое, что «невольная нежность в голосе» и знаменательный вопрос «*или?*».) Но Базаров неприступен и опять осаживает ее назад.— «Чего на свете не бывает!» — отвечал Базаров, поклонился и вышел» (стр. 271). Женщина сама всего лучше может судить о том, оскорблена ли она или нет; а Одинцова, тотчас после базаровского объятия, не чувствовала себя оскорбленною: «Она скорее чувствовала себя виноватою» (стр. 156). Она никогда, ни прежде, ни после решительной сцены, не смотрела на Базарова как на нахального циника. Ей, в самый день поцелуя, «хотелось сказать ему какое-нибудь доброе слово; но она не знала, как заговорить с ним» (стр. 158).— «Вы знаете,— говорит она ему во время их предпоследнего свидания,— что я вас боюсь... и в то же время я вам доверяю, потому что в сущности вы очень добры» (стр. 268).

Что за удивительная смесь различных чувств! И боязнь, и доверие, и уважение, и желание дружбы, и неудовлетворенное любопытство. Боязнь тут не что иное, как неполное понимание, потому что мы всегда боимся того, что кажется нам странным, незнакомым или необъяснимым. Но отчего же из всей этой смеси чувств не составляется та своеобразная кристаллизация, которая называется любовью? Все составные элементы любви даны, и даже нет того *физического* отвращения, которое иногда бывает в таком деле необходимым препятствием; отчего же не образуется любовь? Оттого, что эстетика мешает; оттого, что в чувстве Базарова нет той внешней миловидности, joli à voir [1], которые Одинцова совершенно бессознательно считает необходимыми атрибутами всякого любовного пафоса. Читатель подумает вероятно, что эстетика — мой кошмар, и читатель в этом случае не ошибается. Эстетика и реализм действительно находятся в непримиримой вражде между собою, и реализм должен радикально истребить эстетику, которая в настоящее время отравляет и обессмысливает все отрасли нашей научной деятельности, начиная от высших сфер научного труда и кончая самыми

---

[1] Красивого, миловидного (*франц.*). — *Ред.*

обыкновенными отношениями между мужчиною и женщиною. Я немедленно постараюсь доказать читателю, что эстетика есть самый прочный элемент умственного застоя и самый надежный враг разумного прогресса.

XV

В том-то и состоит пошлость всяких эстетических приговоров, что они произносятся не вследствие размышления, а по вдохновению, по внушению того, что называется голосом инстинкта или чувства. Взглянул, понравилось — ну, значит, хорошо, прекрасно, изящно. Взглянул, не понравилось — кончено дело: скверно, отвратительно, безобразно. А почему понравилось или не понравилось — этого вам не объяснит ни один эстетик. Все объяснение ограничится только ссылкою на внутренний голос непосредственного чувства. Эстетик выставит вам, конечно, целую систему второстепенных правил, но чтобы поставить весь этот затейливый эшафодаж[1] на какой-нибудь фундамент, он все-таки сошлется под конец на непосредственное чувство. Но эти ссылки непременно должны иметь определенный физиологический смысл, или же, в противном случае, они не имеют ровно никакого смысла. Например, некоторые люди не могут есть никакой рыбы и занемогают, как только в их пищеварительный канал попадет малейший кусочек этого нестерпимого для них вещества, которое у большей части людей считается, однако, лакомою и здоровою пищею. В этом случае отвращение совершенно законно. Значит, в устройстве желудка или кишечного канала есть какая-нибудь индивидуальная особенность, отрицающая рыбу. Всякий дельный физиолог скажет, подобно Льюису, что надо повиноваться голосу желудка, потому что урезонить его невозможно, апеллировать на него некуда, а бороться с ним значит только вызывать тошноту и разные другие болезненные явления. Другой пример: резкий свист локомотива абсолютно неприятен, или, выражаясь другими словами, неизящен, отвратителен, безобразен, потому что от этого пронзительного звука страдает слуховой нерв. Физиологическая причина существует, и, стало быть, дело опять-таки решается окончательно. Третий пример: женщина *А* чувствует непобедимое физическое отвращение к мужчине *Б*. Ей противно прикоснуться к его руке, а поцеловать этого человека было бы для нее настоящею пыткою. Такие явления действительно существуют в природе и, разумеется, имеют какое-нибудь

[1] Эшафодаж (*франц.* échafaudage) — леса (строительные); в переносном смысле: «набор доводов». — *Ред.*

физиологическое основание, хотя, может быть, современная наука и не в состоянии в точности определить их причину. И в этом случае не следует насиловать природу. И госпожа *А* поступит очень неблагоразумно, если, вопреки этому физическому отвращению, рассудочными доводами заставит себя выйти замуж за господина *Б*.

Наш организм имеет свои бесспорные права и предъявляет их, и не терпит их нарушения. Но скажите, пожалуйста, какие права своего организма заявляла, например, французская публика времен Вольтера, когда она систематически освистывала всякую трагедию, в которой не было un amoureux et une amoureuse?[1] Или какие права организма выражались в том, что нашим уездным барышням тридцатых и сороковых годов нравились почти исключительно блестящие мундиры и разочарованные герои? Согласитесь, что тут не может быть допущено даже легкое предположение об особенном устройстве каких-нибудь зрительных, слуховых, желудочных или других нервов. И барышни и французская публика очень горячо ссылались на голос непосредственного чувства и были готовы божиться в том, что уж так устроила их природа, что они иначе не могут чувствовать и рассуждать, что у них есть врожденное стремление к одним предметам и такое же врожденное отвращение к другим. Странное дело! Уездные барышни считаются тысячами, и во французские театры ходили, при Вольтере, также тысячи людей. Эти тысячи отдельных организмов представляли самое пестрое индивидуальное разнообразие; тут были умные и глупые, полнокровные и худосочные, раздражительные и апатичные, и так далее, до бесконечности. И у всех этих различных организмов оказывается вдруг одна общая черта, самая тонкая и неуловимая,— та, вследствие которой французам нравились только любовные трагедии, а барышням — только разочарованные воины. Воля ваша, такое предположение еще более неправдоподобно, чем если бы мы предположили, что все наши барышни родились с крошечным темным пятном над левым глазом. Само по себе такое пятно вовсе неудивительно, и оно так же удобно может поместиться над левым глазом, как и во всяком другом месте, но чтобы оно появилось разом у всех новорожденных девочек целой обширной местности — это невозможно. Чтобы такое *врожденное* свойство держалось постоянно в течение двух десятилетий и потом исчезло бы без следа, заменяясь для следующих поколений другим *врожденным* свойством,— это уже ни с чем не сообразно.

Ясно, стало быть, что природа тут ни при чем и что внутренний голос непосредственного чувства повторяет только,

---

[1] Возлюбленного и возлюбленной *(франц.)*. — *Ред.*

как попугай, то, что нажужжали нам в уши с самой ранней молодости. Француз XVIII века видел постоянно трагедии с любовным пламенем и слышал постоянно, что такие трагедии считаются превосходными,— он и требует себе таких трагедий и действительно чувствует к ним особенную симпатию. Барышня с трех лет до пятнадцати видит постоянно, что старшие родственницы ее любезничают с офицерами печоринского типа, и слышит постоянно, что взрослые девицы находят таких офицеров очаровательными; очень естественно, что, надевши длинное платье, эта барышня сама стремится любезничать с такими же офицерами и в самом деле чувствует какое-то особенное замирание сердца при одном взгляде на восхитительный мундир. Пассивная привычка — считать какой-нибудь предмет хорошим и желательным — становится до такой степени сильною, что превращается, наконец, в действительное чувство и в активное желание.

Такие превращения происходят в нашем внутреннем мире на каждом шагу. В этом последнем случае, конечно, привычка — дело очень хорошее, но не потому, что она — привычка, а потому, что она ведет за собою общеполезные последствия, необходимые для благосостояния человечества. Допуская и поощряя результаты привычки, когда они приносят нам пользу, мы не имеем в то же время никакого основания преклоняться перед нашими привычками вообще и считать их неприкосновенными даже в том случае, когда они вредны, безрассудны, стеснительны или неудобны. Поэтому, когда внутренний голос непосредственного чувства начинает нам что-нибудь докладывать, мы можем его выслушать, но вовсе не обязаны принимать его советы на веру, без дальнейших критических исследований. Верить этому чревовещанию на слово — значит обрекать себя на вечную умственную неподвижность.

Наши инстинкты, наши бессознательные влечения, наши беспричинные симпатии и антипатии, словом, все движения нашего внутреннего мира, в которых мы не можем дать себе ясного и строгого отчета и которые мы не можем свести к нашим потребностям или к понятиям вреда и пользы,— все эти движения, говорю я, захвачены нами из прошедшего, из той почвы, которая нас выкормила, из понятий того общества, среди которого мы развились и жили. Это наследство и составляет силу и основание всех наших эстетических понятий. Что нравится нам безотчетно, то нравится нам только потому, что мы к нему привыкли. Если эта безотчетная симпатия не оправдывается суждением нашей критической мысли, то, очевидно, эта симпатия тормозит наше умственное развитие. Если в этом столкновении победит трезвый ум,— мы подвинемся вперед, к более здравому, то есть к более общеполез-

ному взгляду на вещи. Если победит эстетическое чувство,— мы сделаем шаг назад, к царству рутины, умственного бессилия, вреда и мрака.

Эстетика, безотчетность, рутина, привычка — это все совершенно равносильные понятия. Реализм, сознательность, анализ, критика и умственный прогресс — это также равносильные понятия, диаметрально противоположные первым. Чем больше мы даем простора нашим безотчетным влечениям, чем сильнее разыгрывается наше эстетическое чувство, тем пассивнее становятся наши отношения к окружающим условиям жизни, тем окончательнее и безвозвратнее наша умственная самостоятельность поглощается и порабощается бессмысленными влияниями нашей обстановки. Люди, обожающие красоту и эстетику, рассуждают обыкновенно так: мне это нравится, следовательно, это хорошо. Утвердившись на той позиции, что *это* хорошо, они начинают подбирать второстепенные условия, при которых может и должна развиться полная красота данного предмета, и этим подбиранием ограничивается то скромное шевеление мозгов, которое называется эстетическим анализом. Мысль при этом вертится в пределах того крошечного кружка, который очерчен вокруг нее заранее. Повертится, передвинет с места на место коекакие пылинки, да на том и успокоится. Современники Вольтера убедили себя раз навсегда в том, что прекрасная трагедия непременно должна заключать в себе любовную интригу. Такая трагедия прекрасна, потому что она нам нравится,— это была их основная аксиома. От этой аксиомы отправлялся их анализ и клонился к тому, чтобы разъяснить, при каких условиях *такая* трагедия может быть особенно прекрасна. Этот робкий и жалкий анализ, разумеется, оканчивался шлифованием мельчайших подробностей, составлявших бесполезный, хотя и логический вывод из совершенно пустой и ложной основной идеи. Вольтер осмеивает рутинную узкость этих ходячих эстетических теорий, и при этом сам также вертится в совершенно замкнутом кругу, который только чуть-чуть пошире первого. Вольтер приходит в эстетический ужас, когда один из его современников, Ламот-Удар (La Motte-Houdart), начинает доказывать, что трагедии могут быть прекрасны даже в том случае, если в них не соблюдены три единства (времени, места и действия) и если даже они написаны прозою. Вольтер допускает, что трагедия может быть прекрасна без любви, но ереси Ламота он допустить не может, и драматические произведения Шекспира все-таки ужасают его своими варварскими неправильностями. Но и Ламот-Удар, при всей своей смелости, пришел бы в ужас, если бы Белинский стал ему доказывать, что трагедии Корнеля и Расина никуда не годятся и что их даже смешно сравнивать

с Шекспиром. Но и Белинский, при всей своей гениальности, пришел бы в ужас, если бы Базаров сказал ему, что «Рафаэль гроша медного не стоит» и что, следовательно, люди очень удобно могут жить на свете даже совсем без трагедии.

И французы, обожавшие любовную трагедию, и Вольтер, и Ламот, и Белинский, при всем различии своих взглядов, были все-таки эстетиками, и это обстоятельство проводит ясную и неизгладимую границу между этими людьми и представителями чистого реализма. Существенная разница заключается не в том, что одни признают, а другие отрицают искусство; это только второстепенные выводы. Можно быть эстетиком, не выходя из сферы чисто практических интересов; и можно быть реалистом, с любовью изучая Шекспира и Гейне, как гениальных и великих людей. Существенная разница лежит гораздо глубже; эстетики всегда останавливаются на аргументе: *«потому что это мне нравится»*, и чаще всего даже не доходят до этого последнего аргумента. Реалисты, напротив того, и этот последний аргумент подвергают анализу. «Это мне нравится,— думает реалист.— Хорошо. Но, чтобы узнать цену моих симпатий, не мешает сначала узнать, что за штука это *я*, так отважно произносящее свои решительные приговоры. Между *моими* сверстниками было много дураков и негодяев; *мои* наставники пороли *меня* по вдохновению и заставляли *меня* лгать и подличать; *мои* родственники жили и живут безгрешными доходами; * *мои* родственницы смешивают Гоголя с Поль де Коком и говорят, что писателя, как вредного сплетника, опасно пустить на порог порядочного дома. Посреди всех этих и многих других подобных влияний слагалась и развивалась *моя* личность. Были, конечно, и другие впечатления, совсем другого сорта, впечатления, по милости которых мне удалось бросить критический взгляд на разнообразный сор моей родной избы. Были разговоры немногих умных людей и чтение многих умных книг. Не дерзко ли и не глупо ли было бы принять за непреложную истину, что благотворное влияние этих людей и книг совершенно очистило мою личность от всяких грязных ингредиентов, вошедших в нее из почвы?» Ясно теперь, что именно существование этой высшей руководящей идеи у последовательного реалиста и отсутствие такой идеи у эстетика составляет основное различие между этими двумя группами людей. Какая же это идея? Это — идея общей пользы или общечеловеческой солидарности. Как все люди, и даже все животные вообще, эстетик и реалист — оба вполне эгоисты. Но эгоизм эстетика похож на бессмысленный эгоизм ребенка, готового ежеминутно облопаться скверпейшими леденцами и коврижками. А эгоизм реалиста есть сознательный и глубоко-расчетливый эгоизм зрелого человека, заготовляющего

себе на целую жизнь неистощимые запасы свежего наслаждения.

Идея общечеловеческой солидарности известна очень многим эстетикам, но они относятся к ней как, например, к какому-нибудь мексиканскому вопросу.* — Да, мол, хорошая идея, и интересные вещи об ней пишутся. Отчего не почитать насчет этой идеи? Отчего даже, при удобном случае, не заявить печатно, что homo sum et nihil humani...[1] Словом, отчего же нам, эстетикам, не побаловать себя и этою идеею, как мы балуем себя всеми цветочками этого лучшего из возможных миров? Таким образом эстетики, нисколько не содействуя выяснению и практическому торжеству этой идеи, овладевают ею, утешаются ею, по своему обыкновению, весьма миловидно, искусно и тонко вводят ее в замкнутый кружок своих неподвижных симпатий и безусловно подчиняют ее своему высшему, хотя и затаенному принципу, великому аргументу: *потому что мне нравится.* При такой обстановке великая идея, господствовавшая деспотически над умами мировых гениев, становится милою безделкою, которую приятно поставить на письменный стол, в виде легкого presse-papier, для того чтобы она напоминала пишущему барину, что и он тоже работает для человечества. Да и как же не для человечества? Какую бы глупость он ни написал, все-таки его будут читать не лошади, а люди.

Все мои насмешки могут относиться вполне только к эстетикам *нашего* времени. У эстетиков *прежних* времен, у людей, подобных Вольтеру или Белинскому, идея общечеловеческой солидарности медленно созревала под эстетическою скорлупкою. Теперь эта идея созрела и проявляется в самых разнообразных формах, по всем отраслям человеческой деятельности. Стало быть, кто теперь отворачивается от этой идеи и самодовольно возится с ее разбитою скорлупою, тот или слеп, или умышленно зажмуривает глаза. А смеяться над умственною слепотою людей, считающих себя квинтэссенциею человечности, это не только позволительно, но даже необходимо для выяснения и очищения великой идеи, превращенной в будуарное украшение.

XVI

Для реалиста идея общечеловеческой солидарности есть просто один из основных законов человеческой природы, один из тех законов, которые ежеминутно нарушаются нашим неведением и которые своим нарушением порождают

[1] Часть латинского изречения (из комедии Теренция): «я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». — *Ред.*

почти все хронические страдания нашей породы. Человеческий организм, рассуждает реалист, устроен так, что он может развиваться по-человечески и удовлетворять всем своим потребностям только в том случае, если он находится в постоянных и разнообразных сношениях с другими подобными себе организмами. Выражаясь короче и проще, человеку для его собственного благосостояния необходимо общество других людей. На земном шаре существует множество отдельных человеческих обществ; между этими обществами могут существовать или дружеские, или враждебные отношения. Первые несравненно выгоднее последних. Чем больше дружеских отношений и чем меньше вражды, тем лучше для каждого из отдельных обществ; а чем успешнее развивается общество, тем приятнее живется каждому из его членов, то есть каждому отдельному человеческому организму. Таким образом и выходит, что участь одного зависит от участи всех. И наоборот, когда отдельная личность вполне расчетливо пользуется своими естественными способностями, тогда она неизбежно, сама того не сознавая, увеличивает сумму общечеловеческого благосостояния. Если бы эта личность сознавала значение своей деятельности для общего блага, то ей все-таки не было бы надобности изменять в своей деятельности какую бы то ни было мелочную подробность. Вполне расчетливый эгоизм совершенно совпадает с результатами самого сознательного человеколюбия. Но, сознавая важное и высокое значение своего личного труда, видя в этом труде свою неразрывную связь с миллионами других мыслящих существ, трудящаяся личность еще сильнее привязывается к своей деятельности, еще смелее развертывает свои способности и, ясно понимая законность своих стремлений, становится более счастливою, то есть более независимою от тех тяжелых ощущений, которые порождаются мелкими неудачами. Я не ошибаюсь в общем направлении моей жизни, думает такая личность; я повинуюсь основному закону природы. Если мне приходится пережить кое-какие неприятности, то я все-таки знаю, что я из многих зол выбираю меньшее. Если я пойду вразрез с естественным законом, если я уклонюсь от него в сторону, то, в общем результате, жизнь моя пойдет еще хуже.

Эстетики вообще восторгаются, умиляются и человеколюбствуют гораздо чаще и шумнее, чем реалисты, которые обыкновенно обнаруживают упорную антипатию ко всякому порывистому энтузиазму. Но эстетики считают совершенно невозможным делом провести идею деятельной любви во все мельчайшие поступки собственной жизни. Для них эта идея — блестящий мундир, который можно и даже следует надевать по табельным дням, но который, при всей своей

красоте, превратится в орудие пытки, если вы станете таскать его каждый день, с раннего утра до поздней ночи. Когда им говорят, что это даже не мундир, а очень просторное домашнее пальто, то они этому решительно не верят и людей, высказывающих подобные мысли, называют или фантазерами, или лицемерами. Помилуйте, вопиют эстетики, эти сухие, черствые люди, эти угловатые фигуры, толкующие постоянно о выгоде и убытке, хотят уверить нас, что им удалось решить такую задачу общечеловеческой любви, которая оказалась не по силам даже нам, людям мягким, нежным и высоко развитым в деле понимания самых изящных сторон природы и человеческой души. Не есть ли это с их стороны дерзкая и возмутительная ложь?

Конечно, если бы реалисты к каждому своему шагу приплетали высокие рассуждения о человеколюбии и глубокие вздохи о человеческих страданиях, то это было бы и глупо, и скучно, и, наконец, сделалось бы невыносимым как для самого реалиста, так и для всех его знакомых. Но идея любви проводится в жизнь гораздо проще и гораздо действительнее. К этой высшей идее реалист обращается чрезвычайно редко. Обыкновенно он имеет дело только с ее практическими выводами и частными приложениями. Доживши до тех лет, когда приходится выбирать себе определенный род занятий, молодой человек, не испорченный богатством и барственною ленью, начинает всматриваться в свои способности и делает попытки по разным направлениям до тех пор, пока не отыщет себе такой труд, который ему приятен и который притом может его прокормить. Рассматривая различные сферы занятий, молодой человек, сколько-нибудь способный размышлять, непременно ставит себе некоторые вопросы, на которые ему необходимо получить от себя ответы. Не бесчестно ли это занятие, то есть не вредит ли оно естественным интересам большинства? Не подействует ли оно подавляющим образом на мои умственные способности? Обеспечит ли оно мою нравственную самостоятельность, то есть буду ли я моим трудом удовлетворять действительным потребностям общества? Чтобы поставить и решить в ту или в другую сторону несколько подобных вопросов, не надо быть ни гениальным мыслителем, ни героем или фанатиком человеколюбия. Надо просто быть неглупым человеком и получить в каком-нибудь университете довольно ясное понятие о том, что́ такое общество и что́ такое умственный труд.

Конечно, выбирая то или другое поприще, надо взглянуть на дело широко и серьезно, надо обратиться к высшей руководящей идее и ей надо безусловно подчинить разные второстепенные соображения, которые обыкновенно называются практическими, а на самом деле всегда оказываются лож-

ными и близорукими. Если, например, лет пять тому назад молодому человеку, вышедшему из университета, предложили бы *выгодное* место по откупам, то, разумеется, он, во имя идеи, обязан был безусловно отказаться от этого места, несмотря ни на какие выгоды. Идея требует от него этой жерты; но нам стоит только взглянуть внимательно на дело, чтобы немедленно убедиться в том, что тут жертва чисто внешняя и что требования высшей идеи здесь, как и везде, совпадают вполне с внушениями эгоистического расчета. Молодой человек стоит на распутье: направо — дорога в откуп, налево — грошовые уроки и неизвестное будущее. Если бы какой-нибудь волшебник мог показать ему его самого, каким он будет лет через пятнадцать, пошедши направо, и потом опять-таки его самого, пошедшего налево и пережившего такой же промежуток времени, то, конечно, молодому человеку захотелось бы выбрать тот путь, который приводит к наиболее благообразному результату. Я не думаю, чтобы молодому человеку понравилась та личность, которую он увидел бы в первом случае. Жизнь в брюхо, грязные друзья и сослуживцы, равнодушие ко всяким высшим интересам, извращение умственных способностей, тупая и боязливая ненависть ко всему, что может нарушить выгодное спокойствие мутного болота, резкий разрыв с честными университетскими товарищами, словом, все признаки безнадежного падения — результат непривлекательный! — К этому результату *приходят* тем или другим путем многие пламенные юноши, но *идут* они не к этому результату, и если бы они могли видеть его заранее, то из этих многих почти все повернули бы куда-нибудь в другую сторону. Значит, тут происходит ошибка в расчете, и от таких ошибок, неизбежных при нашей юношеской неопытности и самонадеянности, нас всего лучше может предохранить та кажущаяся жертва, которую мы приносим требованиям высшей идеи.

Очень многие отрасли труда находятся в полном согласии с самыми строгими требованиями идеи. Которую же из этих отраслей должен выбрать себе молодой человек? И здесь интересы общества сходятся с интересами личности. Пусть молодой человек выбирает себе то, что ему всего приятнее. Тогда, и именно только тогда, он, наслаждаясь процессом своего труда, принесет обществу такое количество пользы, которое вполне соответствует размерам его личных способностей.

Положим теперь, что требования идеи соблюдены, деятельность молодого человека вошла в свою ровную колею и, удовлетворяя его умственным потребностям, с каждым годом становится более драгоценною и необходимою частью его существования. Каждый неглупый человек может найти себе

такую деятельность; а как только жизнь наполнена осмысленным трудом, так задача может считаться решенною: идея общечеловеческой любви проведена во все поступки жизни. Ваш труд полезен, вы его любите, вы посвящаете ему все ваши силы, вы ни за что не согласитесь делать его кое-как, вы готовы бороться с затруднениями и переносить неприятности, чтобы довести его до возможной степени совершенства, вы понимаете и стараетесь расширить практическое значение вашей работы — кажется, этого довольно, и, кажется, вы, поступая таким образом, ни на одну минуту не забываете вашей солидарности с остальными людьми и ни одним вашим движением не уклоняетесь в сторону от самых неумолимых требований высшей идеи.

Итоги всех этих рассуждений можно подвести так: эстетик — великодушный барин, способный в минуту героического порыва бросить бедному человечеству даже трехрублевую бумажку, которая немного позднее, вместе со всеми остальными деньгами и симпатиями этого барина, непременно полетела бы в руки поющей цыганки; а реалист — расчетливый акционер, пустивший в оборот все свое состояние и всеми силами служащий делу компании, для увеличения собственного дивиденда. Иной акционер, ради собственной поживы, вздумает, пожалуй, обокрасть компанию, но ведь это расчет не столько верный, сколько отважный. На таких изобретательных акционеров есть уголовный суд, а на мошенников в общем деле человечества — презрение честных людей, над которым не во всякое время можно смеяться безнаказанно. Поверхностному наблюдателю эстетик может показаться симпатичнее реалиста, потому что реалист понятен только тому, кто разглядит общее направление его поступков и разгадает высшее значение идеи, составляющей внутренний смысл его существования. А эстетик весь как на ладони, и внутреннего смысла в его жизни вы не найдете.

XVII

Реалист — мыслящий работник, с любовью занимающийся трудом. Из этого определения читатель видит ясно, что реалистами могут быть в настоящее время только представители умственного труда. Конечно, труд тех людей, которые кормят и одевают нас, в высшей степени полезен, но эти люди совсем не реалисты. При теперешнем устройстве материального труда, при теперешнем положении чернорабочего класса во всем образованном мире, эти люди не что иное, как машины, отличающиеся от деревянных и железных машин невыгодными способностями чувствовать утомление, голод и боль.

В настоящее время эти люди совершенно справедливо ненавидят свой труд и совсем не занимаются размышлениями. Они составляют пассивный материал, над которым друзьям человечества приходится много работать, но который сам помогает им очень мало и не принимает до сих пор никакой определенной формы. Это — туманное пятно, из которого выработаются новые миры, но о котором до сих пор решительно нечего говорить. Заниматься с любовью материальным трудом — это в настоящее время почти немыслимо, а в России, при наших допотопных приемах и орудиях работы, еще более немыслимо, чем во всяком другом цивилизованном обществе. Таким образом, самый реальный труд, приносящий самую осязательную и неоспоримую пользу, остается вне области реализма, вне области практического разума, в тех подвалах общественного здания, куда не проникает ни один луч общечеловеческой мысли. Что ж нам делать с этими подвалами? Покуда приходится оставить их в покое и обратиться к явлениям умственного труда, который только в том случае может считаться позволительным и полезным, когда, прямо или косвенно, клонится к созиданию новых миров из первобытного тумана, наполняющего грязные подвалы.

Из всех реалистов только одни естествоиспытатели, раздвигающие пределы науки новыми открытиями, работают для человечества *вообще,* без отношения к отдельным национальностям и к различным условиям места и времени. Остальные реалисты работают также для человечества, но задачи и приемы их деятельности должны изменяться сообразно с обстоятельствами и приспособляться к потребностям отдельных человеческих обществ. Местные и временные условия нашей русской жизни заявляют свои определенные требования, и русский реалист не может оставлять их без внимания. Этим требованиям он непременно должен подчинить свою деятельность, если только он не посвятил себя исключительно изучению природы.

Мне кажется, влияние наших местных обстоятельств выражается преимущественно в том, что отдельные направления реалистического труда до сих пор не выяснились и не определились. Наша мысль только что пробуждается в немногих головах; в деле умственного труда одному и тому же человеку приходится сплошь и рядом и землю пахать, и сапоги шить, и пироги печь, и дрова колоть. Рациональное разделение труда до сих пор еще невозможно; взяться основательно за специальную задачу — значит уйти далеко вперед от понимания общества, сузить, без малейшей пользы, сферу своего влияния и не встретить в соотечественниках ничего, кроме равнодушия и недоумения. За какое бы общеполезное

предприятие вы ни взялись, вам во всяком случае придется вить веревку из песку, то есть собирать и склеивать искусственными средствами такие рассыпающиеся частицы, которые не имеют, не хотят и не могут иметь ни малейшей связи ни между собою, ни с вашею идеею. Каждого соотечественника придется уговаривать поодиночке и каждого придется, при этом удобном случае, обучать тем элементарным истинам, которые человек непременно должен знать для того, чтобы иметь какое-нибудь мнение о вашем предприятии. Это значит, вам нужен строевой лес, а под руками у вас мера желудей; конечно, если положить эти желуди в землю, то лес вырастет, но, рассчитывая на этот лес, подряжать плотников — это было бы с вашей стороны опрометчиво. А кстати подряжать-то некого, потому что плотники, подобно строевому лесу, также находятся в зачаточном состоянии. Как же тут прикажете поступить мыслящему реалисту? Если он придет в уныние и опустит руки, то он очень скоро сделается жирным филистером, и его уныние перейдет в хроническую улыбку тупого самодовольства. Если он будет суетиться и метаться из угла в угол, не требуя от своих усилий осязательного результата и не задавая себе даже вопроса о том, возможен ли такой результат, то он окажется Репетиловым или трудящеюся мартышкою. В том и в другом случае он перестанет быть реалистом; горизонт его мысли быстро сузится, и вся личность его завянет и сморщится, потому что и бездействие и бессмысленная суетня действуют на человека самым опошляющим образом.

Чтобы подкреплять и возвышать человеческую личность, умственный труд непременно должен быть полезным, то есть он не только должен быть направлен к известной разумной цели, но он, кроме того, должен достигать этой цели. Реалист не может успокоить себя тою отговоркою, что я, мол, исполнил свой долг, старался, говорил, убеждал, а если не послушали, так, стало быть, и нечего делать. Такие отговорки полезны только для эстетика, для дилетанта умственной работы, для человека, которому надо во что бы то ни стало получить от самого себя квитанцию в исправном платеже какого-то невещественного долга. А в глазах реалиста такая квитанция не имеет никакого смысла; для него труд есть необходимое орудие самосохранения, необходимое лекарство против заразительной пошлости; он ищет себе полезного труда с тем неутомимым упорством, с каким голодное животное ищет себе добычи; он ищет и находит, потому что нет таких условий жизни, при которых полезный умственный труд был бы решительно невозможным. Реалист убеждается в том, что нам прежде всего необходимы знания. Это — великая истина, превратившаяся даже в избитую фразу благодаря

тем мудрецам, которые, произнося всевозможные слова, не поняли во всю свою жизнь ни одной мысли. Но реалист не останавливается на голой фразе и немедленно выводит из основной идеи все ее практические последствия. Общество нуждается в знаниях, но оно само почти совсем не сознает и не чувствует, до какой степени оно бедно в умственном отношении и до какой степени эта умственная бедность мучительно отзывается во всех подробностях его вседневной жизни. Завалите такое общество превосходнейшими учебниками, переведите для него все лучшие научные сочинения величайших европейских мыслителей — и все это принесет ему очень мало пользы. Обставьте больного всевозможными микстурами и декоктами — и он все-таки не выздоровеет, если не будет принимать ваших лекарств и не захочет исполнять ваши гигиенические предписания. Когда больной считает себя здоровым, тогда ему прежде всего необходимо доказать, что он жестоко ошибается. Именно таким образом следует поступить и с нашим обществом. Оно не только мало размышляет, но оно даже не имеет никакого понятия о том, что такое деятельность мысли. Лексикон мудреных слов, целые сборники готовых изречений, целые библиотеки игрушечных произведений праздной фантазии — вот весь умственный капитал, обращающийся в нашем обществе, и обладание такими сокровищами во всех отношениях должно считаться более тягостным бедствием, чем самая голая умственная нищета. Мы из каждой дельной мысли выхватываем только ее формальное выражение и к обширному сборнику наших затверженных изречений прибавляем, таким образом, еще новую фразу, из которой улетучивается весь ее жизненный смысл.

Имеем ли мы какое-нибудь понятие о животных и растениях, о физических и химических законах, о свойствах воды, воздуха, металлов и различных составных частей почвы? — Ровно никакого.— Знаем ли мы что-нибудь о жизни европейских обществ? — Совсем ничего. — Понимаем ли мы их историю? — Нисколько.— Известно ли нам положение России? — Решительно неизвестно.— И в то же время, при этом круглом невежестве, мы всё знаем, мы знаем ужасно много, мы всё читаем и обо всем пишем.— Мы знаем, что есть телескоп, микроскоп, химический анализ, жирафа, Александр Гумбольдт, хлебное дерево, анатомия, кокосовые орехи, эмбриология, коралловые рифы и многие другие естественные произведения, интересные с той или с другой стороны для исследователей природы. Познания наши по части европейской политики еще более обширны и разнообразны. Мы знаем, что в английском парламенте сидит мистер Геннеси;* что Гарибальди сначала подстрелили при Аспромонте, а потом вылечили и простили; ** что Виктор Гюго живет в Брюсселе и написал новый роман

«Les Misérables»;[1] что черногорцы — наши братья и дерутся с турками; что фабриканты, машинисты и работники совокупными силами создали чудеса новейшей промышленности, но что, к сожалению, тут поднялся антагонизм сословий, породился пауперизм, а потом явились коммунисты и социалисты, которые еще более перепутали дело; всего же основательнее мы знаем, по рассказам наших путешествовавших соотечественников, что поезды и дебаркадеры железных дорог устроены удобно, что лоретки — женщины пикантные и рулетка — препровождение времени очаровательное, но во многих отношениях изнурительное.

Мы, как видите, знаем чрезвычайно много; всякие собственные имена, всякие специальные слова и технические выражения, все это нам доподлинно известно. Не знаем мы только безделицы, — не знаем тех живых явлений, которые обозначаются этими словами, и не знаем, кроме того, каким образом эти неизвестные нам явления связываются одно с другим. Мы скажем вам, например, что пауперизм — значит бедность, но каковы размеры этого явления, в каких формах оно выражается, откуда оно произошло, почему оно в одной стороне развилось сильнее, чем в другой, — этого мы не знаем, и мы бы даже очень удивились, если бы кто-нибудь заподозрил нас в способности когда-нибудь задать себе такие вопросы и узнать такие запутанные истории. — Что такое Литва? — спрашивает один из обывателей города Калинова в драме «Гроза». — А эта Литва к нам с неба свалилась, — отвечает другой, и любознательность первого гражданина немедленно удовлетворяется этим ответом. — Литва — это народ такой, — ответит себе образованный человек, и также удовлетворится. А ведь, в сущности, узнать, что неизвестный мне народ называется Литвою, а не Капустою и не Самоваром, это значит только прибавить к своему лексикону новое двусложное слово.

И точно такое же значение имеет каждый голый факт, вырванный из общей картины жизни и поднесенный невзыскательному читателю затейливым составителем журнального или газетного обозрения. А так как наша публика, кроме таких голых реляций, не получает от своих обыкновенных просветителей решительно ничего и так как она даже не знает, чего бы она могла от них потребовать, так как она читает от нечего делать и даже не обращает внимания на свою полную умственную пассивность, то реалист, пристально вглядевшись в эти специально-российские отношения между писателями и читателями, говорит решительно и просто, что общество не знает ровно ничего и не умеет даже отличить

---

[1] «Отверженные» *(франц.)*. — *Ред.*

живую деятельность мысли от бессознательной игры слов и оборотов. Но реалист должен не только высказать такое суждение, а еще, кроме того, доказать его строгую верность и сделать так, чтобы общество увидело и почувствовало справедливость его слов.

На чем же спят наши соотечественники, или, выражаясь яснее, что их утешает и успокоивает, что маскирует пустоту их жизни и избавляет их от необходимости умирать со скуки или заниматься полезною работою? Водка, табак, карты, рысаки, донжуанство, гончие собаки — все это предметы, играющие самые почетные роли в жизни нашего общества, и против них, конечно, современный реализм бессилен. Эти тюфяки будут отодвинуты в сторону только тогда, когда реализм войдет в действительную жизнь, то есть когда реалистов будет уже очень много и когда общество, вследствие их влияния, начнет в самом деле проникаться тем сознанием, что трудиться гораздо полезнее и приятнее, чем искать сильных ощущений в игре, в пьянстве или в псовой охоте. Эти времена лежат еще далеко впереди, и поэтому реалист не должен в настоящее время тратить свою энергию на бесплодные проповеди. Реалист должен думать только о тех людях, которые могут проснуться и превратиться в реалистов. Такие люди в нашем обществе существуют. Чтение составляет для них действительную потребность, и они читают много, и, несмотря на то, все-таки спят. Эти любители умеют читать даже серьезные статьи и понимают в них каждое слово (например, пауперизм — бедность, ботаника — наука о растениях, Либих — немецкий химик). Но так как настоящие задушевные симпатии этих людей влекут к беллетристике и к поэзии, то они и серьезные статьи и книги читают как повести и как поэмы. Они говорят для собственного назидания, что серьезные вещи читать полезно, и они даже всякий раз, одолевши что-нибудь серьезное, утешают себя тем приятным размышлением, что они исполнили священный долг и что теперь, успокоив свою требовательную совесть, можно побаловать свою грешную душу романчиком или стишками. Но при всем том, даже исполняя священный долг, они ищут во всяком серьезном чтении все той же, любезной им, беллетристической занимательности. Когда же они этого сладкого ингредиента не находят, тогда они стараются только как можно скорее прожевать и проглотить сухую материю, для того чтобы умиротворить свою совесть. Надо отдать им справедливость, что совесть их очень требовательна; она все шепчет им самым озлобленным шепотом: «Следи же за веком! Читай же дельные книги! Будь же мыслящим существом!»

И, повинуясь этому повелительному голосу, спящие читатели совершают действительно чудеса храбрости. Читать

серьезные сочинения без общего плана, узнавать отдельные подробности, не видя в них общего смысла, проводить через свою голову чужие мысли, не имея понятия о живых явлениях, породивших эти идеи, напрягать свое внимание, не отыскивая никакого ответа на вопросы и сомнения своей собственной жизни и мысли, — это занятие умственно-скучное. Это все равно, что читать лексикон или приходо-расходную книгу совершенно неизвестного вам человека. И что выходит из этого чтения? Запоминаются слова и факты, но в тех мыслях, которые управляют жизнью самого читателя, не происходит ни малейшего передвижения. Наши русские читатели даже твердо убеждены в том, что между книгою и жизнью не может быть никакого взаимного действия. И все это оттого, что они выучились читать и полюбили чтение исключительно по романам и поэмам. У них установился взгляд на чтение как на препровождение времени, то есть как на средство *убить время,* потому что время, это драгоценнейшее достояние мыслящего человека, есть смертный враг наших соотечественников, враг, которого следует гнать и истреблять всеми возможными орудиями, начиная от желудочной водки и кончая статьями «Русского вестника».

Чтение наших соотечественников не имеет цели; русский человек ничего не ищет в книге, ни о чем не спрашивает, ни к чему не желает прийти. Он просто хочет, чтобы писатель повеселил его душу. Если писатель веселит его утонченными ощущениями и если увеселяемый читатель понимает все утонченности, то он считает себя развитым человеком и, любуясь на свою развитость, называет тонкого увеселителя великим гением, и, вменяя себе в заслугу то, что он их понимает, русский читатель вносит и во всякое дельное чтение те приемы мышления, которые он приобрел в обществе тонких увеселителей. Хоть русский читатель и уверяет себя, что он читает серьезную книгу *для пользы,* но ведь это только так говорится. О настоящей пользе он и понятия не имеет. Слово *польза* не вызывает в его уме никакого определенного представления, и в общем результате всякое чтение все-таки приводит за собою только истребление времени; а запоминается из прочитанной книги и нравится в ней исключительно то, что повеселило душу.

Если бы безобразие и пошлость такого занятия выступили перед пониманием читателя во всей своей отвратительной наготе, то ему сделалось бы очень совестно. Он встревожился бы и стал бы искать чего-нибудь менее нелепого. Он именно попал бы с постели на пол и открыл бы свои отяжелевшие очи. К этой цели и направляются усилия наших реалистов; сделать так, чтобы русский человек, собирающийся вздремнуть или помечтать, постоянно слышал в ушах своих звуки

резкого смеха, сделать так, чтобы русский человек сам принужден был смеяться над своими возвеличенными пигмеями, — это одна из самых важных задач современного реализма. — Вам нравится Пушкин? — Извольте, полюбуйтесь на вашего Пушкина. — Вы восхищаетесь «Демоном» Лермонтова? — Посмотрите, что это за бессмыслица. — Вы благоговеете перед Гегелем? — Попробуйте сначала понять его изречения. — Вам хочется уснуть под сенью «общих авторитетов поэзии и философии»? — Докажите сначала, что эти авторитеты существуют и на что-нибудь годятся. — Вот как надо поступать с русским человеком. Не давайте ему уснуть, как бы он ни закутывал себе голову теплыми иллюзиями и темными фразами.

Реалисты наши так и делают: они смеются, и их звонкий смех прорезывает такие туманы, которые не поддаются серьезной аргументации. Русские писатели смеются уже давно, но смех сатириков наших, от Капниста до г. Щедрина, тратился постоянно на такие явления, которые на сатиру не обращают никакого внимания. Искоренять сатирою взяточничество — что может быть невиннее и бесплоднее этого занятия? Реалисты, конечно, неспособны тратить свой смех на такие упражнения. Они очень хорошо понимают, что взятка никогда не будет казаться смешною тому человеку, которого она кормит и одевает. Если идеи и чувства лириков, эстетиков, романтиков, педантов, фразеров сделаются смешными для общества, то общество перестанет ими увлекаться и направит свои симпатии в другую сторону. Результат получится осязательный, и я смею думать, что таким образом решится очень серьезная задача, потому что в настоящее время всего необходимее превращать чувствительных тунеядцев в мыслящих работников.

XVIII

Начал я с общечеловеческой солидарности, а кончил тем практическим заключением, что нам, русским реалистам, можно только осмеивать потихоньку наши мелкие глупости и медленно учиться, вместе с нашею ленивою публикою, самым элементарным истинам строгой науки. Какое торжественное начало и какой мизерный конец! Гора мышь родила, подумает читатель, и я никак не осмелюсь ему противоречить. Я уже говорил в первой части этой статьи, что мы бедны и глупы; теперь нам пришлось убедиться в том, что наша бедность и наша глупость доходят действительно до самых почтенных размеров, — до таких размеров, что глупость мешает нам понимать пользу необходимого лекарства, а бедность мешает нам приобрести себе зараз достаточную дозу этого

лекарства. Вследствие этого и приходится употреблять это лекарство самым поверхностным образом и в самых микроскопических приемах. Великая и плодотворная идея должна пристроиться к самому мелкому практическому применению, и только при этом условии она может, с грехом пополам, проникнуть в сознание лучшего меньшинства нашей читающей публики.

В этом печальном обстоятельстве не виноваты, разумеется, ни основные особенности реалистической идеи, ни личные свойства наших реалистов. Представьте себе, что вы превосходно изучили рациональную агрономию и что вам приходится прикладывать ваши знания к обыкновенному мужицкому хозяйству, и всего оборотного капитала у вас рублей сорок или пятьдесят. Если вы не пустой фантазер, то вы, разумеется, оставите покуда в стороне всякие помыслы о паровых плугах, о молотилках, об искусственном травосеянии и о химическом анализе почвы. Вы ограничитесь тем, что на первый год купите, например, железную борону и для удобрения корову. Значит, и здесь гора мышь родила, но ведь это обстоятельство нисколько не доказывает, что приложение химии к земледелию — чепуха или что вы сами ничему не выучились. Ничуть не бывало. Если вы одарены ясным практическим умом и твердым характером, если вы способны ровным шагом идти к далекой цели, не спуская с нее глаз ни на одну минуту и постоянно соразмеряя ваши собственные силы с тем расстоянием, которое вы должны пройти, то вы непременно докажете на деле вашим деревенским соседям, что рациональная агрономия — не пустяки и что вы сами недаром потратили время на ее изучение. За бороною и коровою будут следовать ежегодно новые улучшения, которые, постоянно увеличивая ваш доход, постоянно будут расширять круг вашей преобразовательной деятельности. Каждое новое улучшение будет вытекать из прошлогоднего, и, таким образом, корова и борона сделаются фундаментом всего вашего последующего благосостояния. Если бы корова и борона и остались без дальнейших последствий, тогда, конечно, можно было бы сказать, что гора родила мышь; но ведь тут дело идет, как говорят французы, de fil en aiguille;[1] стало быть, гора родит целую цепь явлений, которые могут вылезти из горы не иначе, как одно за другим.

Я хотел говорить о русском реализме, и свел разговор на отрицательное направление в русской литературе. Читатель может подумать, что я делал это по цеховому самолюбию, по пристрастию к моему муравейнику и к моим собственным муравьиным занятиям. В этом случае читатель решительно

[1] Одно за другим; по порядку *(франц.)*. — *Ред.*

ошибется. Я с самым напряженным вниманием отыскивал в общественных явлениях нашей вседневной жизни каких-нибудь признаков здорового реализма, и не нашел в них ничего похожего не только на реализм, но даже на какое-нибудь сознательное движение мысли. Ведь в самом деле, только в одной литературе и проявлялось до сих пор хоть что-нибудь самостоятельное и деятельное. Гоголь, Белинский, Добролюбов — вот вам в трех именах полный отчет о всей нашей умственной жизни за целое тридцатилетие; к этим именам можно было бы прибавить еще два-три имени, но и эти последние также принадлежат к литературе и, по направлению своей деятельности, примыкают или к Белинскому, или к Добролюбову.

А где же наши исследователи, где наши практические работники? Были, есть и будут и те и другие. Г. Соловьев, г. Срезневский, г. Бодянский, г. Буслаев — вот какие громкие имена мы можем выдвинуть в параллель немецким именам: Либих, Дюбуа-Реймон, Фохт, Гельмгольц, или французским: Клод Бернар, Декандоль, Эли де Бомон, Мильн-Эдвардс, или английским: Дарвин, Ляйель, Форбес, Бокль. Что же касается до практических работников, то их незачем и пересчитывать.

Некоторые *настоящие* исследователи, приносящие *действительную* пользу общечеловеческой науке, живут, правда, в русских городах и даже иногда носят русские фамилии, но их труды остаются для нашего общества мертвым и даже неизвестным капиталом. Наш академик Карл-Эрнст фон Бэр считается во всей Европе одним из величайших эмбриологов нашего времени. Дарвин, Карл Фохт, Гексли всегда цитируют его мнения с особенным уважением. Льюис в своей «Физиологии обыденной жизни» ссылается на исследование Овсянникова о спинном мозге и Якубовича — о нервных клеточках. Французский ученый Беклар упоминает в своей физиологии о некоторых экспериментальных работах Боткина и Сеченова. Ну, а мы? Мы, я чай, и понятия не имеем о том, что у нас могут существовать такие люди, которые в самом деле не шутя занимаются эмбриологиею, нервными клеточками и физиологическими опытами. Мы узнаем об этих людях из иностранных книг и чувствуем себя польщенными, точно будто мы сами не спим, а занимаемся делом. И вдруг, узнавши таким случайным образом о подвигах русских людей, какой-нибудь мыслитель из «Сына отечества» или из «Северной пчелы» вламывается в амбицию и заявляет жалобным голосом свою патриотическую претензию: «На что же, мол, это похоже? В России есть умные люди, а я, русский мыслитель и образованный человек, об этом ничего не знаю. Как же вам не грех так поступать, родимые специа-

листы? Зачем же вы пишете по-латыни или по-немецки? Вы должны писать по-русски, тогда бы я вас знал и мне было бы приятно, а русское общество получило бы от вас назидание и пользу. Смотрите же, родимые специалисты, непременно пишите по-русски».

Такие жалобы и такие увещания слышатся очень часто, и читатель им обыкновенно сочувствует тем дряблым и ни на что не годным сочувствием, которым мы вообще чрезвычайно богаты и которое никогда не может повести нас дальше каких-нибудь обедов по подписке или спектаклей с благотворительными предлогами. Но эти жалобы и увещания так же пусты и праздны, как и бо́льшая часть тех мыслей, с которыми сочувственно соглашаются русские читатели. Какая бы в самом деле вышла польза, если бы Овсянников написал свое исследование по-русски? Пользы никакой, а вред очевидный; ведь Льюис не стал бы учиться русскому языку ради одной диссертации о спинном мозге; ну, стало быть, у Льюиса одним полезным пособием было бы меньше, а мыслитель «Сына отечества» или «Северной пчелы» все-таки не прочел бы диссертации родимого специалиста; а если бы и прочел, то ничего бы из нее не понял и не извлек, потому что выучиться немецкому или латинскому языку гораздо легче, чем понять специально ученый труд, написанный даже по-русски. Если бы мыслитель был способен заниматься серьезным делом, то немецкий или латинский язык не составил бы для него непреодолимого препятствия. А если он, от лица публики, жалуется на трудность иностранного языка, то он еще пуще того будет жаловаться на непонятность научного изложения. Ему что надо? Ему надо, чтобы Бэр явился перед русскою публикою и сказал ей с подобающею любезностью: «Честь имею рекомендоваться: я — Карл-Эрнст фон Бэр. Я занимаюсь эмбриологиею. Эмбриология есть наука о развитии живых существ. Эта наука составляет часть естествознания, а естествознание — вещь очень полезная, вот почему и вот почему. Я сделал несколько новых открытий и объясню вам значение этих открытий, применяясь к вашему убогому пониманию и стараясь растолковать вам самые элементарные истины, известные каждому немецкому школьнику, но совершенно новые для мыслителей наших газет и журналов».

Ах, как бы это было хорошо и благоразумно! На это галантерейное расшаркивание Бэра перед русскою публикою ушло бы очень много времени, а время Бэра очень дорого, потому что великий натуралист мог бы употребить его на новые исследования. Бэр — превосходный специалист, раздвигающий пределы науки, а мы, по нашей глупости, хотим, кроме того, чтобы он сделался для нас школьным учителем; и если бы наше глупое желание исполнилось, то одним

великим исследователем сделалось бы меньше и одним плохим писателем больше.

И такие же требования вместе с такими же нелепыми упреками сыпятся на наших остальных дельных специалистов. Эти требования и упреки очень поучительны, потому что в них выражается, самым наивным образом, изумительная пассивность наших умственных привычек. Чуть только появится у нас какой-нибудь дельный человек, мы сейчас норовим пристроиться к нему под крылышко. Мы уже ждем от него какой-то манны небесной, и нам даже в голову не приходит та мысль, что нам следует быть деятельными помощниками, а не убогими приживалками этого полезного человека. Мы говорим дельному человеку: благодетель, отец родной! Просвети нас, научи нас, наставь на путь истины. Мы тебя будем слушать и век за тебя будем бога молить.

Написано, например, дельное научное сочинение, открывающее какие-нибудь новые истины. Значит, нашелся в обществе мыслящий человек, который сделал свое дело как следует. Если общество живет полною и здоровою жизнью, то этот утешительный факт никак не останется одиноким и случайным явлением; немедленно найдется другой дельный человек, который объяснит открытие первого; потом какой-нибудь третий человек придумает для этих открытий практическое применение, — словом, дело исследователя будет проведено в сознание и в жизнь общества разными популяризаторами и техниками. А у нас, напротив того, десятки людей будут жаловаться на то, что исследователь пишет неясно, и ни один из этих ноющих десятков не потрудится разъяснить и переработать собственными силами то, что он находит неудовлетворительным. Да он и не находит ничего неудовлетворительным; он просто хочет сидеть на одном месте, сибаритствовать, заниматься приятным чтением и, отдавшись безусловно в руки специалиста, приобретать от него знания без малейшего напряжения мысли.

При такой полной пассивности нашего общества русские специалисты поставлены в необходимость писать свои исследования на иностранных языках. Это даже выгодно для нашего общества, не говоря уже об интересах общечеловеческой науки. Положим, например, что доктор Боткин произвел какие-нибудь новые исследования над лечением нервных болезней. Напечатай он эти исследования на русском языке, они точно в воду канут. Но как только они попадутся в руки европейских ученых, так тотчас сотни деятельных умов дополнят и переработают их своими собственными наблюдениями, и открытие нашего доктора вернется к нам в Россию в усовершенствованном виде, и больные наши испытают на собственном теле благодетельные последствия того факта, что русский

ученый написал свое исследование на немецком языке. Если бы умственная жизнь нашего общества отличалась силою и энергиею, тогда специалисты наши писали бы по-русски, тогда у нас было бы много специалистов и тогда европейские ученые находили бы для себя полезным учиться русскому языку, подобно тому как они в настоящее время учатся английскому, французскому и немецкому. Специалиста с непобедимою силою притягивает та сфера, в которой его специальный труд будет всего лучше понят и оценен и в которой он, следовательно, произведет самое плодотворное и живительное впечатление. И специалист поступает совершенно благоразумно и добросовестно, подчиняясь безусловно действию этой притягательной силы.

Мы даже не имеем никакого права говорить, что русские ученые не думают о потребностях русского общества. Какие русские ученые? Русские ученые не существуют. Разве же те ученые, которых мы называем русскими, порождены умственным движением и умственными потребностями нашего общества? Ничуть не бывало. Мы даже до сих пор не имеем понятия о том, что такое умственное движение или умственная потребность. Все это я говорю не для того, чтобы обидеть таких специалистов, как Бэр, Овсянников, Якубович и другие, а только для того, чтобы доказать, что специалисты, перевезенные из Европы в Россию или, точнее, порожденные общеевропейским движением мысли, всегда будут и должны тянуться к своей умственной родине. Они в нашем обществе так же одиноки, как если бы они находились в аравийской пустыне. Они не могут создать в обществе умственное движение. Не специалисты создают то или другое общественное настроение, а, наоборот, общество, настроившись так или иначе действием общих причин, испытывает те или другие потребности и выдвигает, для удовлетворения этим потребностям, теоретических исследователей или практических деятелей. Общество должно само работать над своим образованием, и только оно одно, совокупными усилиями всех своих членов, может выполнить над собою это дело умственного перерождения. А пока оно будет сидеть сложа руки и ждать себе манны небесной от отдельных личностей, до тех пор манна к нему не сойдет, хотя бы эти личности и были европейскими знаменитостями, подобными Бэру.

Что европейская наука насаждена и поддерживается у нас искусственными средствами, это очень хорошо, потому что без искусственных средств она бы не поддержалась; но если общество думает, что оно имеет какое-нибудь право контроля над такою наукою, которая возникла и держится помимо его содействия, то общество сильно ошибается. Пусть оно сначала поработает, пусть выделит из себя научных деятелей, и

тогда ему не на что будет жаловаться: эти новые деятели, обязанные ему своим происхождением, будут безусловно преданы его умственным интересам. До сих пор наше общество создало своими собственными силами только одну журналистику, которая действительно возникла, развилась и держится независимо от всяких посторонних влияний. И в самом деле, журналистика, в лице своих даровитейших представителей, всегда служила самым добросовестным образом умственным потребностям общества. Такая предварительная деятельность совершенно необходима. Базаров замечает совершенно справедливо, что все наши акционерные компании лопаются от недостатка честных и дельных людей. Стало быть, надо сначала сформировать честных и дельных людей, а потом уже приниматься за составление акционерных компаний или за какие-нибудь другие столь же общественные предприятия. К этой цели и направляются наши реалисты, отчасти осмеивая мешающие глупости, отчасти распространяя научные сведения. — Деятельность очень скромная, но мы за блеском и не гонимся. Нам нужна польза для себя и для всех.

XIX

Труд современных реалистов так же доступен самой слабой женщине, как и самому сильному мужчине. В этом труде нет ничего грубого, резкого и воинственного. Надо только понимать и любить общую пользу, надо распространять правильные понятия об этой пользе, надо уничтожать смешные и вредные заблуждения и вообще надо вести всю свою жизнь так, чтобы личное благосостояние не было устроено в ущерб естественным интересам большинства. Надо смотреть на жизнь серьезно; надо внимательно вглядываться в физиономию окружающих явлений, надо читать и размышлять не для того, чтобы убить время, а для того, чтобы выработать себе ясный взгляд на свои отношения к другим людям и на ту неразрывную связь, которая существует между судьбою каждой отдельной личности и общим уровнем человеческого благосостояния. Словом: *надо думать*.

В этих двух словах выражается самая насущная, самая неотразимая потребность нашего времени и нашего общества. Эти слова могут показаться фразою, но что же с этим делать? Нет того слова, которое мы не сумели бы обессмыслить и превратить в пустой звук теми бесцельными и бессознательными повторениями, которые наводняют нашу литературу. А между тем действительно нам надо думать, и нет другого слова, которое яснее и проще выражало бы то, в чем мы нуждаемся в настоящую минуту. Есть такие люди, есть такие

книги, которые выучивают нас думать. Надо, чтоб таких людей и книг у нас было как можно больше; тогда всякая пробуждающаяся мысль будет находить себе поддержку и здоровую пищу. Надо думать и надо размножать те предметы, которые пробуждают человеческую мысль и содействуют успеху ее работы.

Женщина может думать и может делиться своими мыслями с другими людьми; поэтому я и говорю, что труд современных реалистов совершенно доступен женщине. В *природе* женщины нет ничего такого, что отстраняло бы женщину от деятельного участия в решении насущных задач нашего времени; но в воспитании женщины, в ее общественном положении, словом, в тех условиях, которые составляют *искусственную* сторону ее теперешней жизни, в этих условиях, говорю я, есть очень много препятствий, которые в настоящее время преодолеваются только самыми умными женщинами, при содействии исключительно счастливых обстоятельств. Под именем «счастливых обстоятельств» я, разумеется, понимаю не то, что понимает большинство нашего общества. Счастливою называют у нас обыкновенно ту женщину, которая богата, хороша собою, выходит замуж по любви, веселится и блестит в свете, потом пристроивает благополучно своих детей и, наконец, умирает, окруженная внучатами, приживалками и домашними животными. По моему мнению, такая счастливая жизнь, проведенная в полном спокойствии, то есть в полном подчинении господствующей рутине, оставляет мысль женщины совершенно непробужденною. Может быть, такая умственная дремота чрезвычайно приятна, но я знаю наверное, что ни один человек, пробудившийся от подобого усыпления, не захочет ни за какие блага в мире возвратиться к этому состоянию первобытной невинности. Поэтому я называю счастливыми те обстоятельства, которые, даже причиняя женщине тяжелые страдания, насильно заставляют ее браться за ум и задумываться над теми нелепостями, которые она видит и слышит вокруг себя. За размышлением следует отвращение, а так как природа не терпит пустоты, то женщина старается заменить в своем уме выброшенные нелепости каким-нибудь живым и осмысленным содержанием. Если женщина в эту критическую минуту своей жизни встретит умного человека или умную книгу, тогда она устроит у себя в голове порядок и чистоту, и тогда она будет совершенно застрахована против тех бесплодных восторгов, которыми увлеклась, например, госпожа Свечина *. Именно такие обстоятельства я и называю вполне счастливыми; какой-нибудь резкий толчок должен пробудить мысль, а встреча с умным руководителем должна направить эту мысль туда, где она может найти себе удовлетворение, то есть реальные знания и полезный труд.

Так случилось с Верою Павловною Лопуховою, но так случается редко, и огромное большинство наших и даже европейских женщин проводят свою жизнь без размышления, без знаний и без труда. Они живут вне общих интересов человечества. Они задавлены мелочами кухни, спальни и модного магазина, подобно тому как масса чернорабочих задавлена физическим утомлением и голодною нищетою. Им некогда думать; жизнь ежеминутно задает им множество мельчайших вопросов, которые волнуют и раздражают их, но которые все могут быть разрешены без помощи размышления; у них нет ни спокойствия, ни деятельности, а есть только бесконечная суета, которая утомляет человека и мешает его мысли сосредоточиться на каком-нибудь отдельном и важном вопросе жизни. Это суетливое движение начинается у наших женщин с самого раннего детства.

— Ты, друг мой, должна быть образованною девицею, — говорят опытные воспитательницы маленькому существу, одетому в короткое платье, и маленькое существо по их команде суетливо кидается от географии к фортепьяно, от фортепьяно к Пуническим войнам, от подвигов Аннибала и Сципиона к шассе вправо, шассе назад, потом к «Естественной истории» Горизонтова, потом к рисованию цветов и носов, и разные лохмотья знаний, разные упражнения по части приятных искусств проходят, как китайские тени, через несчастный мозг ошеломленного маленького существа. И чуть только в девочке шевельнется любознательность, чуть только она пожелает посмотреть повнимательнее на одну из промелькнувших теней, ее тотчас останавливают, потому что такое неестественное желание нарушает заведенный порядок систематической суеты. В день надо непременно проделать семь или восемь различных штук по части наук и искусств, стало быть, если одна штука разрастется в ущерб остальным, то из этого произойдет беспорядок, который в благоустроенном педагогическом хозяйстве не может быть допущен. Кроме того, известно всем и каждому, что девушка прежде всего должна быть приятною в обществе, а приятность эта заключается, между прочим, в разнообразии ее талантов и знаний; поэтому любознательность может быть терпима в девочке настолько, насколько она содействует исправному изучению обязательных уроков; когда же любознательность стремится выйти из этих естественных границ, тогда она может повредить будущей приятности; следовательно, она идет тогда наперекор основным тенденциям воспитания, и ее необходимо подавлять и искоренять мерами кротости и, в случае упорства, мерами строгости.

Впрочем, любознательность девочки очень редко вызывает против себя отпор со стороны воспитательниц. Вся система преподавания, все объяснения учителей и весь комплект учеб-

ников тщательно подобраны таким образом, что любознательность решительно не может возникнуть, и мысли девочки постоянно стремятся вон из классной комнаты, прочь от книг и уроков, к миру действительной жизни, то есть к балу, к театру, к модному магазину и к другим очаровательным предметам, в которых каждая благовоспитанная девочка видит весь смысл и весь интерес жизни и действительности. За суетою уроков в жизни девушки следует суета светских удовольствий, которая, в большей части случаев, усложняется кислою суетою домашней бедности. Поехать на бал необходимо, но и пообедать тоже не мешает; нанять карету необходимо, но и купить сажень дров следует; надо заказать новое платье — и надо в то же время заплатить долг в овощную лавку; нельзя же быть одетою хуже какой-нибудь Сидоровой или Антоновой, — но как же распорядиться, когда папенька бранится за излишние расходы «на тряпки»? Не поехать на бал, — но на бале будет *он*. При таких непримиримых требованиях действительной жизни драма следует за драмою; каждая грошовая ленточка смачивается горькими слезами; каждое пошлое слово дурака или негодяя, встреченного на бале и поставившего себе задачею жизни ухаживать за всеми красивыми барышнями,— вызывает живые надежды, за которыми следуют быстро и непременно мучительные разочарования.

Все это — бури в стакане воды, все это смешно и глупо, но ведь тут льются человеческие слезы, тут проводятся бессонные ночи, и то существо, которое мечется по постеле и обливает слезами свою подушку, это существо, говорю я, страдает действительно, страдает так, как будто бы причина страдания была велика и серьезна. И это же самое существо, с тем же телосложением, с тем же темпераментом и устройством черепа, могло бы, при других условиях развития и жизни, стать на ту нормальную высоту человеческого понимания, на которую никогда не забираются грязные и мучительные волнения о новом платье Сидоровой или о пятой кадрили, протанцованной вероломным Ивановым с легкомысленною Антоновою. Для большинства наших теперешних женщин эта нормальная высота недостижима, и препятствия, отрезывающие им путь к человеческому благоразумию, вытекают естественным образом из того основного принципа, которому подчинены воспитание и вся жизнь женщины.

XX

Реалисты, построившие всю жизнь на идее общей пользы и разумного труда, относятся презрительно и враждебно ко всему, что разъединяет человеческие интересы, и ко всему, что отвлекает человека от общеполезной деятельности. По-

этому они строго осуждают ту мелкость понятий и узкость симпатий, которые прививаются к женщинам всем направлением их воспитания. Это враждебное отношение реалистов к искусственной ограниченности женщин послужило поводом к бессмысленной клевете. Добрые люди пустили слух, что реалисты отрицают семейство, осмеивают брак и стараются поставить разврат на степень общественной добродетели.

Эта выдумка столько же остроумна, сколько доброжелательна. Она могла показаться правдоподобною только нашему невинному обществу, совершенно не привыкшему контролировать распускаемые слухи самостоятельным наблюдением действительных фактов. Общество знает наших реалистов по роману «Отцы и дети». Какие же факты сообщаются в этом романе? — А вот какие. Базаров разговаривает с Одинцовою. Она говорит ему: «По-моему, или все, или ничего. Жизнь за жизнь. Взяв мою, отдай свою, и тогда уже без сожаления и без возврата. А то лучше и не надо». — Он отвечает ей: «Что ж? это условие справедливое, и я удивляюсь, как вы до сих пор не нашли, чего желали». — Эти слова нельзя принять иначе, как за самое искреннее выражение его взгляда на отношения между мужчиною и женщиною. Базарова нельзя заподозрить в желании соблазнить Одинцову этим косвенным обещанием верности, потому что, когда она вслед за тем спрашивает у него прямо: «Но вы бы сумели отдаться?» — тогда он отвечает ей: «Не знаю, хвастаться не хочу». Заметьте слово «хвастаться». В этом слове Базаров опять невольно проговаривается: значит, он считает способность отдаться на всю жизнь великим достоинством. И он понимает в то же время, что не всякий обладает этою способностью, и не всякому представляется в жизни счастливый случай приложить эту способность к делу, и не всякий умеет воспользоваться счастливым случаем, когда он ему представляется.

Где же, в ком же из настоящих реалистов добрые люди подметили наклонность к разврату? Каждый настоящий реалист прежде всего — работник. Хороша ли, дурна ли его работа, об этом он сам знает, и об этом он не будет давать отчета тем добрым людям, которые изобретают и распускают ложные слухи. Хороша ли, дурна ли его работа, но во всяком случае он трудится как вол, а кто не трудится, тот и не может называться реалистом, как бы красноречиво он ни рассуждал о человечестве и об общей пользе. Кто не трудится, а только рассуждает, тот или пустой болтун, или вредный шарлатан, но уж ни в каком случае не реалист. Стало быть, настоящим реалистам нет никакой надобности ратовать против целомудрия и против супружеской верности. У реалиста труд стоит на первом плане. Что помогает успеху его труда, то он

любит. Что мешает его труду, то он ненавидит. Когда женщина является мыслящим существом, способным помогать его работе и ободрять его своим сочувствием, тогда он любит и уважает женщину. Когда женщина является капризным ребенком, требующим себе не участия в полезной работе, а пестрых игрушек, тогда он отворачивается от нее, чтобы она не мешала ему трудиться и не надоедала ему бессмысленною болтовнею. Такой брак, который увеличивает силу и энергию работников, называется, на языке реалиста, полезным, благоразумным и счастливым. Такой брак, который уменьшает или извращает рабочую силу, называется вредным, безрассудным и несчастным. Для прочной связи между мужчиною и женщиною необходим, по мнению реалиста, общий труд. Мужчина должен трудиться, и женщина также должна трудиться. Если они трудятся в одинаковом направлении, если они оба любят свою работу, если оба способны понять ее цель, то они начинают чувствовать друг к другу симпатию и уважение, и, наконец, мужчина и женщина объявляют свое решение перед обществом и призывают на свой союз благословение любви.

Все это, по мнению реалиста, очень естественно и благоразумно. Если брак заключен при таких условиях, то, по мнению реалиста, счастие обоих супругов с каждым годом должно увеличиваться, и вместе с их счастием должна постоянно увеличиваться их взаимная привязанность. Реалист улыбнется самою презрительною улыбкою, если вы попробуете сказать ему, что за обладанием должно следовать охлаждение.

— Да, — ответит он вам на это, — так всегда бывает с теми людьми, которые, от нечего делать, раздражают свою чувственность и горячат свое воображение в то время, когда они начинают сближаться с красивою женщиною, и обладание представляется их праздному уму высшею целью жизни. Когда эта цель достигнута, является разочарование, является чувство внутренней пустоты; а чтобы наполнить эту пустоту, они ставят себе новую цель в таком же роде, то есть они направляют все усилия к тому, чтобы соблазнить другую женщину. И потом опять пустота, и опять стремление к новым победам. Все это в порядке вещей, но у меня, — продолжает реалист, — такие переходы от безумной любви к безумному разочарованию совершенно невозможны. Цель моя в жизни была всегда одна и та же, и эта цель поставлена так далеко и так высоко, что сотни поколений будут к ней стремиться, и сотни поколений умрут прежде, чем она будет достигнута, несмотря на то, что каждое новое поколение будет стоять к ней ближе всех предыдущих. С этою настоящею целью моей жизни обладание любимою женщиною никогда не имело ничего общего. Я всегда видел в счастливой любви очень большое наслаждение, помогающее нам переносить трудности и непри-

ятности утомительной работы и упорной борьбы с человеческими глупостями. Я всегда смотрел на любовь не как на самостоятельную цель, а как на превосходное и незаменимое вспомогательное средство. Поэтому я никогда не составлял себе преувеличенного понятия о наслаждениях любви, и, следовательно, я был совершенно застрахован против всяких разочарований и охлаждений. Мне нравится наружность моей жены, но я бы никогда не решился сделаться ее мужем, если б я не был вполне убежден в том, что она во всех отношениях способна быть для меня самым лучшим другом. Я знал всю ее жизнь и все ее наклонности, прежде чем я решился сделать ей предложение. Она знала всю мою жизнь и все мои наклонности, прежде чем она решилась принять мое предложение. С тех пор как мы сошлись, мы ведем труд наш общими силами. Она понимает, чего я хочу, и я тоже понимаю, чего она хочет, потому что мы оба хотим одного и того же, хотим того, чего хотят и будут хотеть все честные люди на свете. Она знает, каким образом моя работа связывается с общею целью; она знает, зачем я читаю ту или другую книгу, зачем я пишу ту или другую статью, зачем я принимаю одно занятие и отказываюсь от другого; и она тоже читает, пишет, занимается теми или другими работами; и я также знаю, как нельзя лучше, почему она поступает так, а не иначе. Мы часто читаем вместе, часто читаем врозь, часто спорим об отдельных подробностях и часто изменяем эти подробности, когда спор кончается торжеством противоположных аргументов. Все силы ее ума и ее начитанности постоянно находятся в моем распоряжении, когда я нуждаюсь в ее содействии; все силы моего ума и моей начитанности постоянно подоспевают к ней на помощь, когда она чем-нибудь затрудняется. Этот ежеминутный обмен услуг превращает самую сухую работу в живое наслаждение и оставляет за собою неизгладимый ряд самых обаятельных воспоминаний. Чем больше таких воспоминаний, чем больше взаимных услуг, чем больше работ, улаженных общими силами, тем теснее наша дружба, тем полнее наше взаимное доверие, тем непоколебимее наше взаимное уважение. А тут еще присоединяется ощущение любви, в тесном смысле этого слова, тут еще дети, как новая живая связь между мною и ею; а тут еще ее неизбежные страдания, которые делают женщину священною в глазах каждого мыслящего человека. Я этих страданий не могу разделить с нею, поневоле же я должен вознаградить ее за них удвоенною нежностью и безграничным уважением; а тут еще воспитание детей, как новый вид общей работы, которую мы оба сумеем вести сообразно с далекою и высокою целью всего нашего существования. Одна и та же личность является, таким образом, для меня товарищем по работе, другом, женою, страдали-

цею, матерью и воспитательницею моих детей, — и вдруг выдумывают, что я не способен любить эту личность. И вдруг произносят тут слова: охлаждение, разочарование, супружеская ревность или супружеская неверность. Черт знает, что за чепуха! Охладеть к другу потому, что он десять лет был другом. Разочароваться в этом друге потому, что мы вместе с ним постарели на десять лет. Подозревать этого друга в том, что он будет со мною лицемерить. Искать себе новой привязанности, когда старый друг живет со мною в одном доме. Скажите, пожалуйста, есть ли человеческий смысл в подобных предположениях? А ведь для эстетиков и романтиков эти самые предположения оказываются непреложными истинами. Почему? Очень просто. Потому что жена никогда не бывает для них другом. И мужчины и женщины, одержимые эстетическими стремлениями, постоянно, в течение всей своей жизни, играют в игрушки. У них и муж — игрушка и жена — игрушка. Пока игрушка блестит, пока она имеет прелесть новизны, до тех пор ею потешаются. А чуть только блеск и новизна пропали, является горькое сожаление о том, что игрушку нельзя бросить в помойную яму.

Соотечественники! Кто сложил поговорку: жена не башмак, с ноги не сбросишь? Кажется мне, что эта поговорка была в полном ходу в то время, когда еще прадеды современных реалистов не рождались на белый свет. И кто или что мешает вам сбросить жену, как башмак, не заботясь о том, куда она упадет? Неужели вам мешает ваша собственная добросовестность? Нет, друзья мои, вам мешает только закон, а то бы тысячи утонченных эстетиков, повторяющих наивную поговорку с тяжелым вздохом, пустили бы на все четыре стороны своих жен, вместе с малолетними детьми и без копейки денег. И эти же самые резвые ребятишки, обожающие всякие новые игрушки, смеют распускать бессмысленные слухи о развратных стремлениях таких людей, которые всю свою жизнь проводят в рабочих кабинетах, за книгами или за письменным столом! Только наша русская бестолковость и способна переваривать такие вопиющие нелепости.

XXI

Во всех двадцати главах, которые я до сих пор написал о наших реалистах, я старался доказать, что наше общество не поняло и оклеветало этих людей с чужого голоса. Чтобы сделать доказательства мои как можно более убедительными, я взял за представителя нашего реализма Базарова, того самого Базарова, которого одна часть нашей критики считала карикатурою, а другая — правдивым, но строжайшим обли-

чением, направленным против тенденций молодого поколения. Вы находите, господа, сказал я, что это — карикатура или обличение. Положим, что это действительно так. Карикатура или обличение, как вам угодно. Во всяком случае вы согласитесь, что этот образ написан без малейшего желания польстить нашим реалистам. Этот образ написан человеком правдивым, но уже вовсе не способным увлекаться юношескими стремлениями к новым идеям и к новым людям. Хорошо. Я беру именно этот образ, именно то, что вы считаете карикатурою или обличением. Я анализирую каждую черту этого образа, я принимаю каждое слово Тургенева за наличную монету, я выслушиваю, таким образом, сильнейшего и умнейшнего врага современного реализма, такого врага, который «все-таки неспособен лгать», и из всех показаний этого врага я не могу извлечь ни одной черты, которая действительно превращала бы реалистов в людей глупых, бесчестных, безнравственных и вредных для общества и для благосостояния отдельных личностей.

Говорят, что реалисты непочтительны к своим родителям, — неправда! Они только разрознены с ними роковым влиянием общих исторических причин. Реалисты восстановляют детей против родителей — неправда! Они стараются сблизить старшее поколение с младшим. Реалисты не уважают женщин — неправда! Они уважают их гораздо сильнее, чем их уважали поэты и эстетики. Реалисты отрицают брак — и это неправда! Они хотят только, чтобы благосостояние отдельных семейств было в строгом согласии с великими интересами общества.

Откуда же вы, милые русские журналисты, взяли все ваши обвинения против реалистов? Из романа Тургенева? Нет, врете, там нет этих обвинений. Там даются голые факты, которые надо только понять. А если вы извратили эти факты, сообразно с вашими закулисными выгодами, то вы напрасно прикрываетесь именем честного, хотя и отсталого русского писателя. Имя Тургенева наделало, быть может, много путаницы, но Тургенев не виноват в том, что его именем пользуются хлестаковы и держиморды нашей журналистики. И все идеи Базарова остаются верными и честными идеями, несмотря на тот толстый слой грязи, которым завалили их. Конечно, Тургенев мог бы быть менее пассивным в то время, когда его имя марали гг. Катковы и Скарятины *, но ведь известное дело, старость не радость, и шум журнальной полемики ему уже не по летам. Отношения реалистов к живым людям, таким образом, очерчены, хотя и не вполне выяснены. Теперь мне остается поговорить об отношениях их к искусству и к науке.

XXII

Лет двадцать тому назад известный мыслитель и фантазер, Пьер Леру, написал одну очень странную книгу «О человечестве» («De l'humanité»). В этой странной книге имеется достаточное количество самой вопиющей галиматьи; до того человек завирается, что горячо и серьезно доказывает и объясняет, каким манером человеческие души переселяются из одного тела в другое. По его метафизическим выкладкам выходит, что у нас нет предков и что у нас не будет потомков, а что мы со времен Адама всегда жили и всегда будем жить постоянно обновляющеюся жизнью в том громадном организме, который называется на языке Леру «человек-человечество» («l'homme-humanité»). Читаете вы эту книгу и только плечами пожимаете. «Ах, как врет! — думаете вы. — Боже мой, как неистово врет!» А между тем — странное дело! — вы все-таки дочитываете сумасбродную книгу до конца; и потом, дочитавши ее, вы сохраняете об ее авторе очень светлое воспоминание; вы невольно относитесь к Пьеру Леру с любовью и даже с уважением. У Пьера Леру были последователи и горячие поклонники. Жорж Занд подчинялась чарующему влиянию его фантазий и написала два превосходные романа: «Consuelo» и «La Comtesse de Rudolstadt»[1], под господством обаятельно-мистической идеи о переселении человеческих душ.

И все это очень понятно. Пьер Леру принадлежит к числу тех страстно-честных людей, которые много возлюбили и которым за это многое прощается, даже вся неисчерпаемая бессмыслица их беспредельного вранья. Тем это вранье и обаятельно, что все в нем совершенно искренно; нет в нем ни малейшей декламации. Леру страстно влюблен в человечество, страстно верит в его бесконечное совершенствование, страстно стремится к далекому будущему, и всех этих страстностей оказывается чересчур достаточно, чтобы совершенно заглушить в его уме голос простого здравого смысла, который потихоньку нашептывает ему очень печальные истины. — Ты, брат Леру, — говорит ему здравый смысл, — не очень восхищайся. Ты все-таки умрешь лет через тридцать или через сорок, и обо всяких грядущих великолепиях человеческого прогресса ты не получишь никогда ни малейшего понятия. — Вздор! — отвечает Леру в порыве прогрессивного восторга. — Я люблю человечество, я живу с ним одною жизнью и буду вечно жить, любить и мыслить на той самой земле, на которой совершается беспредельное историческое развитие громадного организма homme-humanité.

Любовь к людям и к жизни доходит, очевидно, до галлюцинации; мы ясно видим все признаки бреда, но мы понимаем

[1] «Консуэло» и «Графиня Рудольштадт» *(франц.)*. — *Ред.*

также причины этого явления и никогда не решимся оскорбить насмешкою или презрением такую личность, у которой любовь к человечеству развилась до пожирающей страсти, до фанатизма и, наконец, до сумасшествия. Эта любовь, доводящая все умственные силы Леру до неестественного и, следовательно, болезненного напряжения, все-таки облагороживает, очищает его личность и возводит ее на такую высоту, с которой он окидывает широким и проницательным взглядом всю историю человеческой мысли. Он понимает и эпикуреизм, и стоицизм, и Платона, и Аристотеля, и мистиков, и рационалистов, и скептиков, и аскетов. Отдавая всем им должную справедливость, отмечая яркими и верными чертами их историческое значение, он понимает и глубоко чувствует, что человечество вырастает из своих пеленок и что в его сильном коллективном уме медленно созревает что-то новое и громадное, что-то такое, в чем совместятся все истины отживших и отживающих философских систем. Когда Леру слезает с своего любимого конька, то есть когда он перестает городить чепуху о переселении душ, тогда у него почти на каждой странице сыпятся, как крупные искры, светлые и превосходные мысли, выраженные тем ярким и могучим языком, которым владеют Гюго, Кине, Мишле, Прудон, Жорж Занд. Одна из подобных мыслей особенно сильно пришлась мне по душе, так что я решился положить ее в основание моих реалистических размышлений о науке и искусстве. Чтобы эта мысль сделалась вполне понятною моим читателям и чтобы она осветилась для них со всех сторон, я счел не лишним сказать несколько слов о том источнике, из которого она заимствована. «A un point de vue élevé, — говорит Леру, — les poètes sont ceux, qui, d'époque en époque, signalent les maux de l'humanité, de même que les philosophes sont ceux, qui s'occupent de sa guérison et de son salut» [1].

Мне кажется, тому человеку, который так высоко и так просто понимает и определяет призвание истинного поэта и истинного мыслителя, тому человеку, говорю я, можно простить даже печальную наклонность к переселению человеческих душ.

XXIII

Люди издавна стремились создать вокруг себя искусственную атмосферу тепла, аромата и роскоши. Они удовлетворяли всем естественным потребностям своего организма, но этого

[1] «С высшей точки зрения поэтами можно назвать тех людей, которые из эпохи в эпоху раскрывают перед нами страдания человечества, а мыслителями — тех людей, которые отыскивают средства облегчить и исцелить эти болезни».

было мало; они придумывали себе новые потребности, создавали себе новые, чисто искусственные страсти, нежили, лелеяли, воспитывали и доводили их до высокой степени чуткости, впечатлительности и утонченности. Человек развивал в своей личности чувства и страсти для того, чтобы извлекать себе из жизни как можно больше разнообразного и безмятежного наслаждения. Но расчет оказался не совсем верен. Те самые страсти и чувства, которые должны были служить приправою утонченного обеда или очаровательного любовного свидания, сделались, напротив того, злейшими врагами этой тепличной жизни. Постоянно есть, постоянно пить, постоянно любезничать, проводить жизнь между столом и постелью — это показалось невыносимым наказанием именно для тех тонко развитых и страстных эпикурейцев, которые лучше всех других людей умели разнообразить свои наслаждения. Никакие соусы из соловьиных язычков, никакие неестественные проявления сластолюбия не могли заглушить в них неукротимого стремления действовать, мыслить, пожалуй даже страдать, но только, во что бы то ни стало, вырваться из одуряющего воздуха теплицы в суровую, холодную, но естественную среду действительной жизни. Действовать? — Каким образом? — Мыслить? — О чем и зачем? — Страдать и бороться? — С чем и за что? — Каким образом действовать? Ну конечно, прежде всего воевать. Эта отрасль деятельности первая бросается в глаза страстному эпикурейцу, воспитанному в тепличной атмосфере и утомленному бесконечными оргиями. Так и решается вопрос в действительности. Алкивиад бросается с войском в Сицилию, Цезарь — в Галлию, Александр — в Персию. А потом? Потом и война надоедает. Сильный ум ищет себе новой пищи. Начинаются серьезные размышления о сделанных завоеваниях. Отставной завоеватель становится рачительным хозяином.

Не все, далеко не все блестящие деятели всемирной истории прошли через указанные мною фазы развития. Очень многие споткнулись и погибли в начале или на половине пути, но, несмотря на то, можно сказать наверное, что каждый действительно замечательный ум утомляется рано или поздно теми наслаждениями, которые достаются ему на долю без труда и без борьбы; утомившись и пресытившись, он тревожно начинает искать выхода своим силам и наконец или погибает во время безуспешных поисков, или успокаивается на такой деятельности, которая самым тесным образом связана с интересами страждущего большинства. А между тем ведь и у частных людей бывают и сильные страсти, и тонкие чувства, и светлые умы. Им-то чем же забавляться? Каким образом они-то могут вырваться из теплицы?

Одни из этих страстных и даровитых тунеядцев начинают искать вокруг себя сильных ощущений; другие задумываются над различными явлениями из жизни природы, ставят себе на каждом шагу мудреные вопросы и ломают себе голову над сотнями и тысячами вечных загадок. Первые делаются поэтами или художниками; вторые — учеными или мыслителями. Но где же поэт или художник, человек действительно восприимчивый, умный и страстный до гениальности, где же, спрашиваю я, он найдет себе те сильные ощущения, которые удовлетворят вполне его ищущую, жаждущую и томящуюся природу? — Каким образом он ухитрится во время своих поисков миновать тот громадный мир неподдельного человеческого страдания, который со всех сторон окружает нас сплошною, темною стеною? — Разве есть возможность не заметить того, что на каждом шагу режет глаз самому невнимательному наблюдателю? Можно, конечно, приглядеться к этим будничным картинам, можно притупить в себе ум и чувство, можно довести себя совершенно незаметным образом до самого невозмутимого равнодушия к чужому голоду и холоду. С этим я согласен, и мы встречаемся в жизни ежеминутно с великолепнейшими экземплярами такой философской невозмутимости. Но вы не забывайте, что ведь мы ведем здесь речь о поэте, о художнике, о человеке, в высшей степени впечатлительном, страстном и отзывчивом. Какой же истинный поэт может довести себя до чурбанного равнодушия? Если человеческие страдания не производят на него впечатления, то где же его впечатлительность? Если он, отворачиваясь с самодовольным презрением от картин грязной нищеты и невольного порока, отзывается певучими нотами на трепетание влюбленного соловья, и на благоухание расцветающей розы, и на каждый грошовый вздох смазливой барышни, то ведь эта отзывчивость так же приторна и отвратительна, как нежная привязанность старой девки к кошкам, попугаям и моськам. В таком человеке нет ни ума, ни впечатлительности, ни страсти, ни отзывчивости. Что это за художник? Это просто мышиный жеребчик, одержимый самым мельчайшим тщеславием, самым копеечным желанием порисоваться перед почтеннейшею публикою и заработать себе от разных глупых тунеядцев несколько лестных комплиментов и несколько еще более лестных рублей.

Мне возразят, быть может, что художник может увлечься поклонением чистой красоте и что в таком случае он посвятит все свои силы на воплощение своего идеала в художественном создании, в статуе, в картине, в романе или в какой-нибудь другой форме творчества. Скульптура целиком основана на этом поклонении физической красоте. Знаю. Но это возражение устраняется само собою. Я предположил выше,

что самым умным и даровитым людям становится непременно душно в искусственной атмосфере эпикурейской теплицы. Мне кажется, что предположение верно в психологическом отношении и может быть доказано сотнями примеров из всех эпох всемирной истории. Кому сделалось душно в теплице, тот, разумеется, выходит на открытый воздух, то есть, так или иначе, вмешивается в жизнь большинства. Кому приелись разные сладости, вино и поцелуи, тот ищет себе труда и борьбы, тот лечится от пресыщения суровыми столкновениями с неподкрашенною действительностью. Гейне превосходно выразил это настроение в своей песне о Тангейзере *. Венера угощает Тангейзера сладким вином, хочет надеть ему на голову венок из свежих роз, наконец зовет его к себе в спальню; но Тангейзер даже смотреть на нее не хочет; его уже просто тошнит от всех этих миндальностей; ему хочется труда, горечи тернового венка; он говорит ласковой любовнице своей крупные дерзости и уходит от нее черт знает куда и черт знает зачем. Понятно, что человек, находящийся в настроении свирепого Тангейзера, решительно неспособен заниматься поклонением чистой или идеальной красоте. Не за тем же, в самом деле, он так сурово отвернулся от живой красавицы, чтобы писать к ней пламенные сонеты или падать на колени перед ее изображением, вырезанным из белого мрамора или написанным масляными красками на холсте. Пигмалион молил богов, чтобы они превратили его мраморную Галатею в живую женщину, и это понятно; но променять живую, любящую женщину на кусок полотна или мрамора — это такая нелепость, на которую не покушался до сих пор ни один из самых необузданных идеалистов. Очень многие пламенные любовники пробавляются чистым платонизмом, но они всегда делают это только вследствие печальной необходимости; когда же они имеют возможность сделать выбор, тогда они с нарочитым удовольствием променивают свои отвлеченные восторги на более существенные и менее невинные наслаждения.

Что же из всего этого следует? Да, очевидно, то, что поклонники чистой красоты никогда не испытывали мучений Тангейзера; напротив того, они чрезвычайно довольны тепличною жизнью и в наивности души принимают свой крошечный теплый уголок за великий, богатый и разнообразный мир, в котором все высшие человеческие потребности находят и должны находить себе полное и всестороннее удовлетворение. Эти пигмеи, занимающиеся скульптурою, живописью, эротическим стиходеланием или томными руладами, эти пигмеи, говорю я, или не знают великих вопросов широкой, действительной мировой жизни, или же не хотят их знать, прикидываются глухими и слепыми, чтобы оправдывать в своем собственном мнении свою канареечную жизнь и деятельность.

В первом случае — если не знают — мы имеем несомненное право заподозрить их в тупоумии или в полной неразвитости. Во втором случае — если напускают на себя поддельную глухоту и слепоту — мы имеем право назвать их бесчестными и трусливыми людьми, которые стараются обмануть даже собственную совесть. — В том и в другом случае было бы странно и нелепо требовать от нас, чтобы мы признали в этих мелких сибаритах передовых представителей человечества; деятельность таких людей не дает нам ровно ничего, и, следовательно, встречаясь с их произведениями, нам остается только посмеяться над доверчивостью того общества, которое видит в них лучшее свое украшение.

XXIV

Последовательный реализм безусловно презирает все, что не приносит существенной пользы; но слово «польза» мы принимаем совсем не в том узком смысле, в каком его навязывают нам наши литературные антагонисты. Мы вовсе не говорим поэту: «шей сапоги», или историку: «пеки кулебяки», но мы требуем непременно, чтобы поэт, как поэт, и историк, как историк, приносили, каждый в своей специальности, *действительную* пользу. Мы хотим, чтобы создания поэта ясно и ярко рисовали перед нами те стороны человеческой жизни, которые нам необходимо знать для того, чтобы основательно размышлять и действовать. Мы хотим, чтобы исследование историка раскрывало нам настоящие причины процветания и упадка отживших цивилизаций. Мы читаем книги единственно для того, чтобы посредством чтения расширить пределы нашего личного опыта. Если книга в этом отношении не дает нам ровно ничего, ни одного нового факта, ни одного оригинального взгляда, ни одной самостоятельной идеи, если она ничем не шевелит и не оживляет нашей мысли, то мы называем такую книгу пустою и дрянною книгою, не обращая внимания на то, писана ли она прозою или стихами; и автору такой книги мы всегда с искренним доброжелательством готовы посоветовать, чтобы он принялся шить сапоги или печь кулебяки.

Постараемся же теперь обсудить вопрос: каким образом поэт, не переставая быть поэтом, может принести обществу и человечеству действительную и несомненную пользу? Само собою разумеется, что название «поэт» прилагается здесь не к одним стихотворцам, а вообще ко всем художникам, создающим образы посредством слова. Прежде всего, скажу откровенно, я решительно не признаю так называемого бессознательного и бесцельного творчества. Я подозреваю, что это —

просто миф, созданный эстетическою критикою для пущей таинственности. В древности, когда поэт был певцом и импровизатором, тогда, пожалуй, еще можно было допустить, что его осеняло вдохновение и что он сам не отдавал себе ясного отчета в том, как и зачем слагалась его песня. Но теперь, когда поэт носит не хламиду и лавровый венок, а сюртук и круглую шляпу, теперь, когда он не поет, а пишет и печатает, теперь, говорю я, уже поздно видеть в поэте близкого родственника исступленной дельфийской пифии. Поэт прежде всего такой же член гражданского общества, как и каждый из нас. Встречаясь с поэтом в гостиной, мы имеем полное право требовать от него, чтобы он не клал ноги на стол и не плевал в потолок; вступая с поэтом в разговор, мы имеем полное право требовать, чтобы он рассуждал дельно и логично; если он не исполнит этого требования, мы заметим про себя, что он несет чепуху, быть может и вдохновенную, но все-таки невыносимую. Чтобы пользоваться любовью и уважением своих знакомых, поэт непременно должен обладать теми же самыми качествами, которые упрочивают любовь и уважение окружающих людей за каждым из простых смертных. Для этого необходима известная доза ума, добродушия, честности и т. д. Такса, по которой покупаются в обществе любовь и уважение, повышается и понижается вместе с общим уровнем умственного и нравственного развития. Кто в Англии считается дураком, тот в Турции мог бы прослыть за очень порядочного человека. Когда общество доходит до известной высоты развития, тогда оно начинает требовать от своих членов, чтобы у них были определенные и сознательные убеждения и чтобы они держались за свои убеждения. Кроме обыкновенной честности, является тогда еще высшая честность, честность политическая. Воспитавши в самом себе великое чувство политической честности, общество начинает вменять его в обязанность каждому из своих членов, и тем более таким людям, которые, опираясь на свои умственные дарования, присвоивают себе право действовать словом или пером на развитие общественных убеждений. Но эта спасительная зрелость и строгость требований даются обществу не вдруг. Нравственная чуткость вырабатывается туго и медленно. Байрон прямо называет Роберта Соути ренегатом, а Роберт Соути в свое время считался знаменитым поэтом, и англичане даже до сих пор читают и издают его произведения. Но настоящие поэты не могут быть продажными мазуриками; сам Байрон, заклеймивший Роберта Соути, ни разу не покривил душою именно потому, что его ум и талант стояли неизмеримо выше всяких искушений. Такие умы и таланты творят чудеса, но творческая сила тотчас изменяет им, как только они осмеливаются пустить ее в продажу.

Но одной голой честности и великого самородного таланта еще недостаточно, чтобы быть мировым поэтом. Самородки, подобные Бёрнсу или Кольцову, остаются навсегда блестящими, но бесплодными явлениями. Истинный, «полезный» поэт должен знать и понимать все, что в данную минуту интересует самых лучших, самых умных и самых просвещенных представителей его века и его народа. Понимая вполне глубокий смысл каждой пульсации общественной жизни, поэт, как человек страстный и впечатлительный, непременно должен всеми силами своего существа любить то, что кажется ему добрым, истинным и прекрасным, и ненавидеть святою и великою ненавистью ту огромную массу мелких и дрянных глупостей, которая мешает идеям истины, добра и красоты облечься в плоть и кровь и превратиться в живую действительность. Эта любовь, неразрывно связанная с этою ненавистью, составляет и непременно должна составлять для истинного поэта душу его души, единственный и священнейший смысл всего его существования и всей его деятельности. «Я пишу не чернилами, как другие, — говорит Берне, — я пишу кровью моего сердца и соком моих нервов». Так, и только так, должен писать каждый писатель. Кто пишет иначе, тому следует шить сапоги и печь кулебяки.

Поэт, самый страстный и впечатлительный из всех писателей, конечно, не может составлять исключение из этого правила. А чтобы действительно писать кровью сердца и соком нервов, необходимо беспредельно и глубоко-сознательно любить и ненавидеть. А чтобы любить и ненавидеть и чтобы эта любовь и эта ненависть были чисты от всяких примесей личной корысти и мелкого тщеславия, необходимо много передумать и многое узнать. А когда все это сделано, когда поэт охватил своим сильным умом весь великий смысл человеческой жизни, человеческой борьбы и человеческого горя, когда он вдумался в причины, когда он уловил крепкую связь между отдельными явлениями, когда он понял, что́ надо и что́ можно сделать, в каком направлении и какими пружинами следует действовать на умы читающих людей, тогда бессознательное и бесцельное творчество делается для него безусловно невозможным. Общая цель его жизни и деятельности не дает ему ни минуты покоя; эта цель манит и тянет его к себе; он счастлив, когда видит ее перед собою яснее и как будто ближе; он приходит в восхищение, когда видит, что другие люди понимают его пожирающую страсть и сами, с трепетом томительной надежды, смотрят вдаль, на ту же великую цель; он страдает и злится, когда цель исчезает в тумане человеческих глупостей и когда окружающие его люди бродят ощупью, сбивая друг друга с прямого пути.

И вы, господа эстетики, хотите, чтобы такой человек, принимаясь за перо, превращался в болтливого младенца, который сам не ведает что и зачем лепечут его розовые губы! Вы хотите, чтобы он бесцельно тешился пестрыми картинками своей фантазии именно в те великие и священные минуты, когда его могучий ум, развертываясь в процессе творчества, льет в умы простых и темных людей целые потоки света и теплоты! Никогда этого не бывает и быть не может. Человек, прикоснувшийся рукою к древу познания добра и зла, никогда не сумеет и, что всего важнее, никогда не захочет возвратиться в растительное состояние первобытной невинности. Кто понял и прочувствовал до самой глубины взволнованной души различие между истиною и заблуждением, тот, волею и неволею, в каждое из своих созданий будет вкладывать идеи, чувства и стремления вечной борьбы за правду.

Итак, по моему мнению, истинный поэт, принимаясь за перо, отдает себе строгий и ясный отчет в том, к какой общей цели будет направлено его новое создание, какое впечатление оно должно будет произвести на умы читателей, какую святую истину оно докажет им своими яркими картинами, какое вредное заблуждение оно подроет под самый корень. Поэт — или великий боец мысли, бесстрашный и безукоризненный «рыцарь духа», как говорит Генрих Гейне, или же ничтожный паразит, потешающий других ничтожных паразитов мелкими фокусами бесплодного фиглярства. Середины нет. Поэт — или титан, потрясающий горы векового зла, или же козявка, копающаяся в цветочной пыли. И это не фраза. Это строгая психологическая истина. Действительно, каждый эстетик, конечно, согласится со мною, что искренность есть необходимейшее качество поэта. Драма, роман, поэма, лирическое стихотворение, в которых хоть сколько-нибудь проглядывают натянутые и обязательные отношения автора к его предмету,— ни под каким видом не могут быть названы поэтическими произведениями. Это риторические упражнения на заданные темы, а ритор и поэт, разумеется, не имеют между собою ничего общего. Припомните, например, оды Ломоносова, «Парашу-Сибирячку» Полевого, роман г. Клюшникова «Марево» и тому подобные прелести.

Искренность необходима; но поэт может быть искренним или в полном величии разумного миросозерцания, или в полной ограниченности мыслей, знаний, чувств и стремлений. В первом случае он — Шекспир, Дант, Байрон, Гете, Гейне. Во втором случае он — г. Фет.— В первом случае он носит в себе думы и печали всего современного мира. Во втором — он поет тоненькою фистулою о душистых локонах и еще более трогательным голосом жалуется печатно на работника Семена.— Вы не думайте, господа, что свистящая журналистика

ухватилась так крепко за работника Семена по ребяческому пристрастию к бесплодному зубоскальству. Работник Семен — лицо замечательное. Он непременно войдет в историю русской литературы, потому что ему назначено было провидением показать нам обратную сторону медали в самом яром представителе томной лирики. Благодаря работнику Семену мы увидели в нежном поэте, порхающем с цветка на цветок, расчетливого хозяина, солидного bourgeois[1] и мелкого человека. Тогда мы задумались над этим фактом и быстро убедились в том, что тут нет ничего случайного. Такова должна быть непременно изнанка каждого поэта, воспевающего «шепот, робкое дыханье, трели соловья» *.

Кто способен вполне удовлетворяться микроскопическими пылинками мысли и чувства, кто умеет составить себе громкую известность собиранием этих пылинок, тот должен быть мелок насквозь в каждой отдельной черте своей частной и общественной жизни. Заглядывать в область частной жизни мы не имеем никакого права и никакой возможности; но если самому поэту угодно было прогуляться перед публикою в домашнем халате, то мы должны сказать за это большое спасибо, во-первых, разыгравшемуся поэту, а во-вторых, великому Семену, ухитрившемуся привести своего хозяина в такой пафос лирического негодования. Мы всматриваемся в интересный халат и выводим то плодотворное заключение, что подобные халаты носят и должны носить все поэты, не имеющие понятия о великих, истинных и серьезных сторонах общечеловеческой жизни. Как были они детьми, так и останутся навсегда детьми, мелочными, капризными и сварливыми существами, утратившими только детскую грацию и лишившимися уже всякой надежды сделаться со временем сильными, здоровыми, добродушными и мыслящими людьми. Отвернемся от этих явлений плюгавой старости и посмотрим в другую сторону, на вечно юных титанов умственного мира.

XXV

В числе титанов я назвал Гете и Гейне. Легко может случиться, что наши литературные противники ухватятся за эти два имени и докажут мне, как дважды два — четыре, что Гете в течение всей своей жизни был самым неискренним человеком и что Гейне очень часто является в своих произведениях пустейшим балагуром или беспечнейшим певцом луны, девы, любви и вздохов. — Вот видите, скажут они мне, значит, вам надо или вычеркнуть имена Гете и Гейне из списка мировых

[1] Буржуа, собственника *(франц.)*. — *Ред.*

поэтов, или же радикально изменить ваш взгляд на поэзию и вообще на искусство.

А вот посмотрим на дело поближе. Что Гете обладал в высшей степени способностью извиваться и блюдолизничать, это, конечно, не может подлежать сомнению. Что он стряпал разные стихотворные миндальности и салонные оперетки, это также составляет неопровержимую истину. Ну, а как вы думаете, стали бы мы теперь рассуждать с вами о Гете, если бы полное собрание его сочинений состояло целиком из сотни чистеньких опереток и из нескольких тысяч миндально-лакейственных мадригалов? И как вы думаете, посвятил ли бы такому Гете гордый и безукоризненный Байрон своего «Сарданапала»? Да еще как посвятил-то! С трепетом робости и благоговения. Вот подлинные слова этого посвящения: «Знаменитому Гете иностранец осмеливается предложить дань литературного вассала своему сюзерену, первому из существующих писателей, создавшему литературу своей родины и прославившему литературу Европы. Недостойное произведение, которое автор дерзает посвятить ему, носит заглавие: „Сарданапал“».

Ясное дело, что в глазах Байрона умственное величие Гете с избытком заглаживает или выкупает те низкие слабости его характера, которые, конечно, были хорошо известны Байрону, как современнику Гете, и которым Байрон, как человек в высшей степени независимый, разумеется, не мог сочувствовать. Но когда Гете спускался в мир живых людей, в мир золоченого немецкого мещанства, когда он превращал свой талант в дойную корову и начинал гоняться за благосклонными взглядами и покровительственными улыбками, тогда он сразу делался мельче всякой козявки, ниже, гаже и бессильнее самого ничтожного из наших современных лириков, потому что эти поют от избытка своей ограниченности, а тот должен был насильно ежиться и прикидываться невинною канарейкою.

Пример Гете доказывает как нельзя очевиднее, что всякая умственная деятельность велика и плодотворна только до тех пор, пока она остается неразлучною с искренностью и твердостью глубокого убеждения. Гете велик именно только в той сфере, в которой он действовал с полным и естественным воодушевлением, не стесняясь никакими житейскими расчетами, и этот Гете, великий Гете, совершенно подходит под мое определение поэта и с полною справедливостью может быть назван «полезным» поэтом, хотя, конечно, не в том смысле, в каком могут быть названы полезными поэтами Барбье, Беранже, Леопарди, Джусти, Шелли, Томас Гуд и другие двигатели общественного сознания. Эти люди были поэтами текущей минуты; они будили в людях ощущение и сознание настоятельных потребностей современной гражданской жизни;

они любили живых людей и возились постоянно с их действительными глупостями и страданиями. А Гете никого не любил, кроме самого себя и своих собственных идей; он нисколько не заботился об интересах человеческих обществ, и, несмотря на то, он все-таки принес и еще долго будет приносить своими произведениями много пользы тем самым человеческим обществам, к которым он был совершенно равнодушен. Только пустые и мелкие люди могут оставаться бесполезными, а великие умственные силы непременно приносят пользу, даже своими ошибками. Гете никогда не был и не будет любимым поэтом читающих масс; вследствие этого он никогда не будет действовать прямо и непосредственно на умственную жизнь массы, потому что на эту жизнь действует только тот, кто любит массу. Но эти наставники и руководители масс, люди различные между собою по своим дарованиям, но тесно связанные друг с другом единством святой любви и честных стремлений, эти люди, питающие других своими идеями, часто нуждаются сами в умственном подкреплении и обновлении. Эти люди — мыслящие и просвещенные работники, но совсем не мировые гении. Они, по своему уму и развитию, способны понимать Гете, но у них, разумеется, недостало бы сил произвести то, что он произвел. Для них-то его сочинения составляют огромную гальваническую батарею, которая постоянно снабжает их утомляющиеся мозги новыми электрическими силами. Они читают Гете и глубоко задумываются над его страницами, и ум их растет и крепнет в этой живительной работе. А приобретенный таким образом запас свежей энергии и новых умственных сил отправляется все-таки вниз по течению, в то живое море, которое называется массою и в которое тем или другим путем, рано или поздно вливаются, подобно скромным ручьям, или бурным потокам, или величественным рекам, все наши мысли, все наши труды и стремления. И холодный тайный советник и кавалер фон Гете действует таким образом, и сильно действует, на пользу бедных и простых ближних посредством тех идей и ощущений, которые он возбуждает своими произведениями в тесном кругу своих избранных и высокоразвитых читателей.

Приведу один очень любопытный и оригинальный пример. Берне ненавидит Гете, отчасти за дело, по своему горячему демократическому чувству, отчасти несправедливо. Эту ненависть Берне высказывает не раз в своих «Парижских письмах» и в некоторых критических статьях. Высказывает он ее всегда с необыкновенным воодушевлением, и из-под его пера выливаются по этому поводу превосходнейшие страницы, сверкающие изумительным остроумием и пылающие самым чистым огнем любви к людям и уважения к человеческому достоинству. И эти страницы прочтет с увлечением, поймет и

запомнит чуть не наизусть решительно каждый человек, стоящий по своему развитию немного выше чичиковского Петрушки. Эти страницы, писанные с лишком тридцать лет тому назад, до сих пор так свежи и горячи, как будто они только сегодня вышли из-под типографского станка. А кому же мы обязаны этими страницами, как не тому самому Гете, который на них осыпается справедливыми насмешками и громовыми проклятиями критика? Чтобы возбудить в таком умном человеке, как Берне, такую пылкую и упорную ненависть, чтобы взволновать всю его желчь, когда он только вспомнит ненавистное имя или взглянет на проклятые строки, и, наконец, чтобы каждый раз заставлять своего разъяренного антагониста облекаться во всеоружие саркастического ума и страстной диалектики, для всего этого, говорю я, необходимо быть таким титаном умственного мира, каким и был на самом деле тайный советник и кавалер фон Гете. Да и сам Берне всегда признает его титаном и за то именно бесится на него, что этот титан с таким удовольствием зарывал свой талант в землю. С этой стороны Берне, разумеется, прав: если бы у Гете, кроме колоссальных сил, было еще стремление прилагать эти силы как следует, то, без сомнения, он сделал бы в своей жизни неизмеримо больше прочного и существенного добра. Но дело теперь не в том. Важно и любопытно для всего хода моей аргументации то обстоятельство, что Гете электризует своею деятельностью даже такого человека, который, по своему чисто фанатическому складу ума, решительно неспособен отнестись с любовью к тому, что действительно превосходно в произведениях «великого язычника». Это и значит, что великое явление никогда не может остаться бесплодным; оно освежает и обновляет жизнь и тем, что в нем хорошо, и тем, что в нем дурно. Оно приносит людям пользу и тою любовью и тою ненавистью, которую оно в них возбуждает. Скверно только бессилие, губительна только апатия; а столкновение и борьба враждебных сил в области мысли всегда приводят за собою со временем плодотворное примирение в высшей сфере более широкого синтеза. Поэтому давай нам бог побольше великих умов, и пусть они куролесят в области мысли, как душе их будет угодно. Мы, простые люди, вследствие этого во всяком случае останемся в чистых барышах. По геометрии выходит, конечно, что прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками. Но многовековой опыт действительной жизни доказывает неопровержимо, что люди в исторической практике не признают этой математической истины и умеют подвигаться вперед не иначе, как зигзагами, то есть кидаясь из одной крайности в другую. *Ндраву* всего человечества препятствовать невозможно, и поэтому

приходится махнуть рукою на неизбежные зигзаги и только радоваться тому, когда крайности начинают быстро и порывисто сменяться одна другою. Значит, пульс хорош, и человеческая мысль не порастает плесенью.

XXVI

А теперь потолкуем о Гейне. Мне кажется, этого писателя каждый истинный сын XIX века должен любить совсем особенною, нежною, исключительною, почти болезненною любовью. Мне кажется, все умственное развитие человека можно сразу измерить и обсудить, смотря по тому, как и насколько он понимает поэтическую деятельность Генриха Гейне. Этот писатель — самый новейший из мировых поэтов; он всех ближе к нам по времени и по всему складу своих чувств и понятий. Он целиком принадлежит нашему веку; он воплотил в себе даже все его слабости и смешные стороны; даже расстроенные и разбитые нервы Гейне указывают ясно на его кровное родство с тем великим и просвещенным веком, в котором средневековые костры и плахи сменились пенсильванскими общеполезными учреждениями * для производства умалишенных и в котором феодальные права уступили место мануфактурному пауперизму. Гейне — поэт капризного, раздражительного, нетерпеливого и непоследовательного века. Он сам — весь состоит из противоречий и сам себя дразнит этими противоречиями, и даже не пробует помирить их между собою, и сам то плачет, то смеется над своими ощущениями, то вдруг кидается в борьбу жизни и, с полною силою юношеской горячности и мужественного убеждения, объясняет людям различие между остатками прошедшего и живыми проблесками будущего. И этою последнею, живительною стороною своей деятельности Гейне также целиком принадлежит к нашему веку, который все-таки лучше всех прошедших веков и в котором все-таки, несмотря ни на какие глупости и подлости, химия и физиология подняли человеческий ум на беспримерную и, для наших предшественников, непостижимую высоту самостоятельного знания.

Вот и соображайте, какого рода результат должен получиться, когда человеку приходится жить при ежеминутном столкновении таких несовместимых крайностей. Разумеется, должно получиться нечто вроде горячего льда и сухой воды; и в человеческом характере действительно встречаются ежеминутно такие вопиющие внутренние противоречия, которые сильно смахивают на сухую воду и горячий лед. Нам эти противоречия, порожденные всем складом европейской жизни, должны быть особенно дороги и интересны; нам необходимо

внимательно изучать эту патологию нашего ума и характера, потому что только внимательное изучение болезни дает нам возможность отыскать лекарство. Вот тут-то именно никто не может заменить обществу великого поэта. Никакое научное исследование не определит вам душевную болезнь целой эпохи с такою ясностью, с какою нарисует ее великий художник. Тут вполне оправдывается глубокая мысль Пьера Леру о том, что поэты из века в век возвещают человечеству его страдания. Потом, когда поэт собрал в один фокус, в одну ярко освещенную картину все разрозненные симптомы господствующей болезни века, — тогда начинается работа мыслителей, которые анализируют вопрос во всех его отдельных подробностях и выводят явления настоящей минуты из отдаленных и глубоко затаившихся исторических, бытовых и экономических причин. Лирика Гейне есть не что иное, как неподражаемо полная и правдивая картина тех чувств и мыслей, тех тревог и огорчений, тех чередующихся припадков энергии и апатии, среди которых тратят свою жизнь лучшие люди XIX века. Гейне не захотел или не мог наблюдать и изображать своих современников со стороны; с естественною самонадеянностью истинного гения он понял, что носит в самом себе все заветные чувства и мысли своей эпохи; он принял самого себя за чистейший тип современного человека и посвятил всю свою жизнь на то, чтобы высказаться со всех сторон, со всею искренностью и непосредственностью, какая только доступна человеку XIX столетия. Поэтому все двадцать томов сочинений Гейне составляют одно неразрывное целое. И проза, и стихи, и любовь, и политика, и дурачества, и серьезные рассуждения — все это только в общей связи получает свой полный смысл и свое настоящее значение. Если вы развинтите Гейне на части и будете рассматривать каждый кусочек отдельно, то, разумеется, вы получите много великолепных алмазов и большую кучу негоднейших черепков, перемешанных с глиною и с грязью. Тогда вы скажете, что алмазы надо сохранить и оправить в золото, а всю кучу примеси спустить в помойную яму. И таким приговором вы докажете несомненно, что, читая Гейне, вы смотрели в книгу и видели фигу. Гейне именно тем и неоценим, что он дает мыслителям нашего времени целые рудники материалов для самых глубоких психологических наблюдений и исследований. Читая Гейне, вдумывайтесь именно в то, каким образом грязь перемешана в человеке с алмазами, старайтесь понять, почему один и тот же гениальный ум волновался высшими сомнениями, порывами и страстями, доступными человеческой личности, и в то же время тратился на то, чтобы воспевать с искренним воодушевлением голубые или черные глазенки вертлявых парижских лореток. Посмотрите, например, письма

Гейне с Гельголанда, помещенные в его книге о Берне и написанные после июльских событий 1830 г., и потом вдруг прочтите в его же книге «Neue Gedichte»[1] стихотворения под рубриками: «Анжелика», «Серафима», «Катарина». На Гейне очень часто находит блажь; он вдруг воображает себе, что он может забыть все, что мешает мыслящему человеку предаваться телячьим восторгам; начинается бегание и прыгание на одной ножке; — ах, боже мой, какое благополучие! воздух тепел, птички поют, роза цветет, барышня улыбается; давайте бегать, давайте любезничать, давайте делать венки и букеты из васильков и ландышей. — Да вдруг ему самому сделается уже чересчур смешно, глядя на собственную пryткость и веселость; а потом досадно; а потом опять смешно; а потом и смешно и досадно в одно и то же время. Оплюет он вдруг и барышню, и цветы, и природу. Все скверно, все никуда не годится. И желать нечего и плакать не о чем, потому что все это пустяки и ни на что не следует обращать внимания. К выделыванию таких рулад неизбежно должен прийти гениальный ум, не имеющий возможности найти себе такое дело, которое соответствовало бы его силам. А что люди, одаренные силами Гейне, остаются вне практической деятельности, — это, конечно, составляет одну из самых крупных болячек нашего времени и одно из самых капитальных препятствий к выздоровлению. Рисовать картину страданий — это, без сомнения, тоже деятельность, и даже, при данных условиях места и времени, деятельность очень полезная. Но, вероятно, самый заклятый эстетик согласится со мною, что было бы не в пример лучше, если бы такая деятельность была совершенно не нужна и даже невозможна. Если бы Гейне был вполне удовлетворен жизнью, если бы он чувствовал себя счастливым, то, по всей вероятности, он не сделался бы поэтом, потому что его поэзия была бы странною аномалиею в такой среде, в которой люди, подобные ему, могли бы устраивать свою жизнь сообразно с требованиями своего чувства и своего рассудка. Разве может возникнуть и развиться патология там, где не бывает болезней? А вернейшим симптомом такого отсутствия болезней было бы то обстоятельство, что умные люди, подобные Гейне, не состояли бы в разряде людей лишних, непрактичных, беспокойных и вредных.

Если, таким образом, мы примем всю литературную деятельность Гейне за цельное выражение того невольного и неизбежного разлада полутрагического, полукомического, который существует между нашими заветными желаниями и нашими вседневными поступками, если мы взглянем на Генриха Гейне как на гениального человека, который в течение всей

[1] «Новые стихотворения» *(нем.)*. — *Ред.*

своей жизни стучится головою в толстую стену человеческих глупостей и, наконец, по временам сам глупеет от этого невыносимого занятия, — то, разумеется, все балагурства Гейне, все его фривольности и тривиальности примут в наших глазах значение драгоценнейших фактов из психологической истории современного человека. Да, подумаем мы, вот как круто приходится иногда умным людям. Вот какими минутами пошлости и пустоты общая бессмысленность исторической жизни награждает иногда первоклассных гениев! Подобные размышления никак нельзя назвать бесплодными, и мы должны будем сказать большое спасибо Генриху Гейне за то, что он не утаил от нас тех печально-комических минут своей жизни, когда он, отчаиваясь в торжестве разума, пробовал сделаться шаловливым ребенком и начинал то изнывать у ног какой-нибудь Анжелики, то, с простодушием пансионерки, умиляться над зеленою травою и над голубыми фиалками.

Гейне вызвал целые легионы подражателей, и этот факт служит еще новым подтверждением той ужасно старой и печальной истины, что глупых людей очень много. Гейне можно и должно изучать, но подражать ему нет, во-первых, никакой надобности, а во-вторых, никакой возможности. Когда очень замечательный человек рассказывает нам откровенно о своих заблуждениях, о глупостях и проступках своей жизни, о позорных минутах уныния, праздности, апатии и беспечности, тогда мы слушаем этот рассказ с жадным вниманием и с глубоким уважением. Ошибки и страдания великого ума всегда поучительны, потому что в них всегда чувствуется влияние общих причин, повертывающих в ту или в другую сторону жизнь целой исторической эпохи. На этом основании мы читаем и признаем полезными книгами и лирику Гейне и «Confessions» [1] Жан-Жака Руссо. Но когда какой-нибудь Лягушкин или Козявкин начинает повествовать нам стихами или прозою о том, как он кутил и опять желает кутить, как он любил и как ему рога наставили, как он проигрался в карты и желает получить реваншик, а подлец Михрюшкин забастовал не вовремя, — тогда мы говорим ему: уймись, любезный! помажь свои душевные нарывы деревянным маслом и прикрой их тряпочкой! у нас этого добра и без тебя достаточно.

Любопытно заметить, до какого полного извращения естественных понятий дошла эстетика, то есть та критика, которая предпочитает форму содержанию. Эстетик скажет вам не задумываясь, что у такого-то поэта хватает сил на лирическое стихотворение, но что он непременно опростоволосит-

[1] «Исповедь» *(франц.)*. — *Ред.*

ся, если примется писать роман или драму. Вы, мой читатель, наверное так привыкли к таким суждениям, что в недоумении спросите у меня: «А что же в этом мнении эстетика есть такого уродливого и бессмысленного? Это чистая правда. Вот, например, г. Полонский. Кропает он лирические стишки — и ничего: концы с концами сводит. А попробовал написать роман «Свежее предание» — вышло убийственно. Сунулся сорудить драму «Разлад» * — вышло еще того хуже, так что Нестор Васильевич Кукольник может сказать, потирая руки: «Нашего полку прибыло!» — Справедливо изволите рассуждать, господин читатель. Но вы подумайте все-таки, что такое лирика? Ведь это просто публичная исповедь человека? Прекрасно. А на что же нам нужна публичная исповедь такого человека, который решительно ничем, кроме своего желания исповедоваться, не может привлечь к себе наше внимание? Чем его огорчения или радости интереснее моих или ваших? Тем, что он умеет укладывать их в рифмованные ямбы и хореи? Кажется мне, что эта причина неудовлетворительна. Лирика, по самой сущности своей, гораздо искреннее и непосредственнее эпической и драматической поэзии. Драму или роман надо долго обдумывать; при этом надо изучать жизнь; плоды этого изучения могут быть интересны и поучительны даже в том случае, если автору не удастся придать характерам ту яркость, которая создается только силою таланта. Лирический поэт, напротив того, только ловит и фиксирует мимолетные настроения своей собственной особы, и достоинство лирического произведения заключается именно в том, чтоб оно было как можно безыскусственнее, чтобы чувство или мысль поэта были схвачены и показаны читателю во всей своей непосредственности и неподкрашенности. Но ведь показываться в такой первобытной наготе имеет право только то, что замечательно само по себе и что вследствие этого пробудит в других людях деятельность чувства и мысли. Поэтому ясно, что лирика есть самое высокое и самое трудное проявление искусства. Лириками имеют право быть только первоклассные гении, потому что только колоссальная личность может приносить обществу пользу, обращая его внимание на свою собственную частную и психическую жизнь.

Отчего же у нас лирики плодятся, как дождевые грибы? Да просто оттого, что журналисты привыкли наполнять стишками те белые страницы, или, выражаясь типографским языком, белые полосы, которые случайно остаются между отдельными статьями. И до сих пор не могут сообразить почтенные журналисты, что белая полоса гораздо лучше лирического стихотворения, во-первых, потому, что читатель не тратит на белую полосу ни одной минуты времени, во-вторых, потому, что редакция за белую полосу не платит ни копейки денег, в-треть-

их, потому, что существование белых полос не поощряет ни одной отрасли предосудительного тунеядства. К крайнему моему огорчению, даже «Русское слово» не возвысилось еще до понимания этих высоких и мудрых истин.

XXVII

Литературные противники нашего реализма простодушно убеждены в том, что мы затвердили несколько филантропических фраз и во имя этих афоризмов отрицаем сплошь все то, из чего нельзя изготовить обед, сшить платье или выстроить жилище голодным и прозябшим людям. Понимая нас таким образом, они, конечно, должны были ожидать, что мои размышления о науке и искусстве будут заключать в себе бесконечные упреки Шекспиру, Гете, Гейне и другим подобным негодяям за трату драгоценного времени на непроизводительные занятия. Они ожидали, вероятно, что я так и пойду косить без разбору: Шекспир — не Шекспир, Гете — не Гете, черт мне не брат, все дураки, и знать никого не хочу. Такому направлению моих умозрений они были бы несказанно рады, потому что, разумеется, подобная премудрость не поколебала бы в умах читателей ни одной буквы их старого эстетического кодекса. Теперь, когда они увидят, что я взялся за дело совсем не таким косолапым манером,— им сделается очень досадно, и они начнут звонить в своих журналах, что реалисты доврались до чертиков и теперь поневоле поворачивают оглобли назад.

И все это будет с их стороны голая выдумка. Все мысли, высказанные мною в этой статье, совершенно последовательно вытекают из того, что я говорил во всех моих предыдущих статьях. Ни малейшего поворота назад не случилось, и мне не приходится раскаиваться ни в одном слове, сказанном мною прежде. Я советовал г. Щедрину заняться компиляциями по естественным наукам и говорил по этому поводу, что меня радует увядание нашей беллетристики, как симптом возрастающей зрелости нашего ума. Я и теперь повторяю то же самое, и из этого суждения о наших домашних делах все-таки никак не вытекает для меня обязанность ругать Шекспира, Гете, Гейне и других подобных негодяев. Эти негодяи были прежде всего чрезвычайно умные люди, а я и теперь, и прежде, и всегда был глубоко убежден в том, что мысль, и только мысль, может переделать и обновить весь строй человеческой жизни. Все то безусловно полезно, что заставляет нас задумываться и что помогает нам мыслить. Конечная цель всего нашего мышления и всей деятельности каждого честного человека все-таки состоит в том, чтобы разрешить

навсегда неизбежный вопрос о голодных и раздетых людях; вне этого вопроса нет решительно ничего, о чем бы стоило заботиться, размышлять и хлопотать; но вопрос этот и сам по себе так громаден и так сложен, что на его разрешение требуется вся наличная сила и зрелость человеческой мысли, все напряжение человеческой энергии и любви и весь запас собранных человеческих знаний; излишку оказаться не может, а, напротив, оказывается до сих пор громадный недочет, который поневоле будут пополнять рабочие силы следующих столетий.

Стало быть, мы вовсе не расположены откидывать годный материал из любви к процессу откидывания. Это был бы с нашей стороны нелепейший ригоризм и формализм, если бы мы вздумали браковать гениальную мысль на том основании, что она проведена в поэме или в романе, а не в теоретическом рассуждении. Если бы мы рассуждали таким образом, то нам пришлось бы поставить критические статьи г. Эдельсона выше романа «Отцы и дети». Но мы рассуждаем совершенно иначе. Мы твердо убеждены в том, что каждому человеку, желающему сделаться полезным работником мысли, необходимо широкое и всестороннее образование, в котором Гейне, Гете, Шекспир должны занять свое место наряду с Либихом, Дарвином и Ляйелем.— Ничто так сильно не расширяет весь горизонт наших понятий о природе и о человеческой жизни, как близкое знакомство с величайшими умами человечества, к какой бы отдельной области знания или творчества ни относилась деятельность этих первоклассных представителей нашей породы. Но, во-первых, знакомясь с этими титанами, надо непременно сохранять в отношении к ним полную самостоятельность своей собственной мысли, а иначе придется принимать за чистое золото даже то, что составляет грязное пятно в произведении титана. Во-вторых, и это главное, надо знакомиться только с настоящими титанами и преспокойно проходить, не кивая головою, мимо многих и премногих кумиров, выставляемых на поклонение толпы усердными историками различных литератур. Посоветуйтесь, например, с каким-нибудь записным гуманистом: он вам будет доказывать, что не прочитать Горация, Овидия, Виргилия, Цицерона — значит остаться круглым невеждою. Заговорите с французом: он вам поклянется честью, что вам совершенно необходимо прочитать все трагедии Корнеля, все трагедии Расина, все сатиры Буало, все сладости Фенелона и все проповеди Боссюэта, которого французы до сих пор считают великим гением и даже глубоким, хотя и односторонним, историком. Обратитесь к г. Лонгинову, и он вам, как русскому человеку, поставит в непременную обязанность прочитать целиком Ломоносова, Державина, Карамзина и Жуковского. Счастлив

ваш бог, если он еще позволит вам не читать Кантемира, Тредьяковского, Сумарокова, Аблесимова, Хераскова, Озерова и князя Шаликова. Да нет. Вряд ли он окажет вам эту великую милость. Нельзя, скажет. Эти писатели имеют историческое значение. А что же вы, в самом деле, будете за человек, если не будете знать истории нашей великой и прекрасной литературы?

Если вы одарены от природы чувством благоразумного самосохранения, то вы, разумеется, не послушаете ни г. Лонгинова, ни гуманиста, ни француза. Вы прочитаете Шекспира, Байрона, Гете, Шиллера, Гейне, Мольера и очень немногих других поэтов, замечательных не тем, что они когда-то жили и что-то написали, а тем, что они действительно высказали людям несколько дельных и умных мыслей. Из наших же писателей вы возьмете Грибоедова, Крылова, Пушкина, Гоголя, отнесетесь к ним с самою строгою критикою и увидите тогда, что ваше чисто литературное образование совершенно окончено. Я не говорю о новейших писателях, например о Жорж Занде, Викторе Гюго, Диккенсе, Теккерее и о лучших представителях нашей собственной беллетристики. Этих писателей вы уже непременно прочтете, даже не для литературного образования, а просто для того, чтобы следить за современным развитием европейской мысли. Тут, разумеется, вам придется прочитать много пустяков, например: «Фанни» Фейдо, «Саламбо» Флобера и такие повести Тургенева, как «Первая любовь» и «Призраки» *. Против этого не поможет уж никакой последовательный реализм. Чтобы приносить людям пользу, надо знать, чтó их интересует и о чем они в данную минуту толкуют, а для этого приходится очень часто просматривать ничтожнейшие романы, пробегать пустейшие номера журналов и газет и выслушивать от разных добродушных личностей еще более пустые рассуждения. Кто хочет заниматься психиатриею, тот поневоле должен выслушивать рассказы всяких Поприщиных о шишке алжирского дея **. Но и психиатру нет особенной надобности читать в пыльных архивах и библиотеках умозрения всех тех Поприщиных, которые жили раньше нас и которых бредни, на беду нашу, не затерялись.

Из всего, что я говорил с самого начала этой статьи, читатель видит ясно, что я отношусь с глубоким и совершенно искренним уважением к первоклассным поэтам всех веков и народов. Задача реалистической критики в отношении ко всей массе литературных памятников, оставленных нам отжившими поколениями, состоит именно в том, чтобы выбрать из этой массы то, что может содействовать нашему умственному развитию, и объяснить, каким образом мы должны распоряжаться с этим отборным материалом. Такая обширная задача не по силам одному человеку, но я, с своей стороны, поста-

раюсь все-таки со временем подвинуть это дело вперед, представляя моим читателям ряд критических статей о тех писателях, которых чтение я считаю необходимым для общего литературного образования каждого мыслящего человека.

В этой статье я, разумеется, могу только указать на эту задачу и ограничиться неопределенным обещанием. — Но у реалистической критики есть и другая задача, может быть еще более серьезная. Делая строгую оценку литературным трудам прошедшего, она должна еще внимательнее и строже следить за развитием литературы в настоящем. Здесь на ней лежит обязанность быть несравненно более разборчивою и требовательною. Когда мы говорим, например, о Шекспире, мы просто берем у него то, что находим в наличности. Что есть — за то спасибо; чего нет — не взыщите; на нет и суда нет. Наряжать над Шекспиром следствие по тому вопросу, был ли он прогрессистом или ретроградом, — смешно, нелепо и несправедливо по той простой причине, что люди XVI века еще не имели понятия о таком прогрессе, который охватывает все отправления общественной жизни и все отрасли человеческого мышления. Но если бы в наше время появился поэт с громадным талантом и если бы он, подобно Шекспиру, посвятил лучшие силы своего таланта на создавание исторических драм, то реалистическая критика имела бы полное право отнестись очень сурово к тому обстоятельству, что колоссальный талант отвертывается от интересов живой действительности и уходит в область «беспечального созерцания», изобретенного «Отечественными записками» или «Петербургскими ведомостями».

Я твердо убежден в том, что настоящий поэт, родившийся в XIX веке и получивший здоровое человеческое образование, не может быть ни ретроградом, ни индифферентистом. Стало быть, если в произведениях даровитого человека будут проглядывать допотопные тенденции или холодное равнодушие к живым потребностям современности, — реалистическая критика обязана внимательно разобрать причины такого ненормального и вредного явления. При ближайшем рассмотрении дела непременно окажется или полное невежество данного субъекта, или односторонность развития, или слабоумие, или молчалинство, или вообще что-нибудь способное испортить и сбить с пути самые лучшие задатки литературного дарования. Эти результаты ближайшего исследования реалистическая критика должна выставить напоказ в самых ярких красках, для того чтобы публика перестала обольщаться таким оракулом, который говорит ей вредную галиматью или по крайней мере отвлекает ее внимание от полезного дела. В наше время можно быть реалистом и, следовательно, полезным работником, не будучи поэтом; но быть поэтом и в то же время не

быть глубоким и сознательным реалистом — это совершенно невозможно. Кто не реалист, тот не поэт, а просто даровитый неуч, или ловкий шарлатан, или мелкая, но самолюбивая козявка. От всей этой назойливой твари реалистическая критика должна тщательно оберегать умы и карманы читающей публики.

XXVIII

Если вы предложите мне вопрос: есть ли у нас в России замечательные поэты? — то я вам отвечу без всяких обиняков, что у нас их нет, никогда не было, никогда не могло быть — и, по всей вероятности, очень долго еще не будет. У нас были или зародыши поэтов, или пародии на поэта. Зародышами можно назвать Лермонтова, Гоголя, Полежаева, Крылова, Грибоедова; а к числу пародий я отношу Пушкина и Жуковского. Первые остались на всю жизнь в положении зародышей, потому что им нечем было питаться и некуда было развиться. Силы-то у них были, но не было ни впечатлений, ни простора. Поэтому ничего и не вышло, кроме односторонних попыток и недодуманных зачатков разумного миросозерцания.

В самом деле, что такое «Мертвые души»? Изображал человек «бедность, да бедность, да несовершенства нашей жизни» *, и все шло хорошо и умно; а потом вдруг, в самом конце, пустил бессмысленнейшее воззвание к России, которая будто бы куда-то мчится, как бешеная тройка, да так шибко мчится, что остальные народы только рот разевают и диву даются. И кто тянул из него эту дифирамбическую тираду? Решительно никто. Так, сама собою вылилась, от полноты невежества и от непривычки к широкому обобщению фактов. И вышла чепуха: с одной стороны — «бедность», а с другой — такая быстрота развития, что любо-дорого. Ничего цельного и не оказалось. И уже в этом лирическом порыве сидят зачатки второй части «Мертвых душ» и знаменитой «Переписки с друзьями».

А что такое басни Крылова? Робкие намеки на сильный ум, который никогда не может и не осмелится развернуться во всю свою ширину.

Но эти зародыши все-таки заслуживают наше уважение, заслуживают именно тем, что не могли развернуться. Значит, при благоприятных обстоятельствах из этих элементов могло выработаться что-нибудь порядочное. Но о людях второй категории, о пародиях на поэта, нам приходится высказать совершенно противоположное мнение. Эти люди процветали «яко крин» **, щебетали, как птицы певчие, и совершили «в пределе земном все земное» ***, то есть все, что они были

способны совершить. В произведениях этих людей нет никаких признаков болезненности или изуродованности. Им было весело, легко и хорошо жить на свете, и это обстоятельство, конечно, останется вечным пятном на их прославленных именах. Впрочем, нет, — не *вечным*. Так как эти господа уже теперь ничем не связаны с современным развитием нашей умственной жизни, то мы можем надеяться, что их прославленные имена скоро забудутся или по крайней мере превратятся для русских людей в такие же пустые звуки, в какие уже давно превратились имена Ломоносова, Сумарокова, Державина и всяких других бардов прошлого столетия. С именем Жуковского уже совершилось это превращение, но Пушкина мы все еще не решаемся забыть, или, вернее, мы боимся признаться самим себе, что мы его почти совсем забыли. О Пушкине до сих пор бродят в обществе разные нелепые слухи, пущенные в ход эстетическими критиками; общество не сличает этих слухов с существующими фактами, но повторяет их с чужого голоса и, по старой привычке к этим слухам, считает их за непреложную истину, не требующую никаких доказательств. Говорят, например, что Пушкин — великий поэт, и все этому верят. А на поверку выходит, что Пушкин просто великий стилист — и больше ничего. Говорят далее, что Пушкин основал нашу новейшую литературу, и этому тоже верят. И это тоже вздор. Новейшую литературу основал не Пушкин, а Гоголь. Пушкину мы обязаны только нашими милыми лириками, а под влиянием Гоголя сформировались Тургенев, Писемский, Некрасов, Островский, Достоевский; да, кроме того, произведения Гоголя дали решительный толчок нашей реальной критике.

Многим читателям мои размышления о Пушкине покажутся возмутительно-дерзкими. Я сам, с своей стороны, признаю за читателем полное право требовать от меня серьезных и подробных фактических доказательств, но теперь, в этой статье, я все-таки не буду распространяться о литературной деятельности великого Пушкина. Об этом мы поговорим впоследствии. Тогда я представлю моим читателям ряд статей под заглавием «Пушкин и Белинский» *. В этих будущих статьях я разберу деятельность прославленного поэта и постараюсь, с точки зрения последовательного реализма, перерешить те вопросы, которые Белинский решал на основании эстетических догматов, потерявших для нас всю свою обязательную силу.

В настоящее время у нас также нет поэтов; наше общество все еще слишком неподвижно, чтобы содействовать развитию тех высших сил ума и чувства, которыми должен обладать гениальный поэт. Но между нашими литераторами есть несколько умных и добросовестных работников, помещаю-

щих в различных журналах романы, повести и драматические произведения. Деятельность этих людей никак нельзя назвать бесплодною. Они заставляют своих читателей задумываться над различными вопросами вседневной жизни; они дают реальной критике удобный случай разъяснить эти вопросы. Публика прислушивается к этим разъяснениям, и мысль понемногу начинает шевелиться, медленно просачиваясь в такие темные углы, которые спокон веку были совершенно незнакомы с подобною роскошью.

При самом беглом взгляде на современные литературы всех цивилизованных народов вы тотчас заметите тот общий факт, что над всеми отраслями поэтического творчества далеко преобладает так называемый *гражданский эпос,* или, проще, романы, повести и рассказы. Роман втянул в себя всю область поэзии, а для лирики и для драмы остались только кое-какие крошечные уголки. Если, например, в год будет напечатано *сто* листов драматических произведений и лирических стихов, то можно сказать наверное, что в тот же промежуток времени появится по крайней мере *тысяча* листов романов, повестей и рассказов. А если бы мы могли сравнить цифры читателей, то перевес *гражданского эпоса,* без сомнения, оказался бы еще поразительнее. Далее, не мешает заметить, что романы в стихах или эпические поэмы в наше время сделались невозможными и что эту невозможность признали, наконец, сами эстетики.

Это решительное преобладание романа, и притом романа в прозе, показывает очевидно, что в отношениях читающего общества к поэзии совершился глубокий и радикальный переворот. В былое время на первом плане стояла *форма;* читатели восхищались совершенством внешней техники и вследствие этого безусловно предпочитали стихи прозе. Еще во второй половине прошлого столетия Вольтер, превознося Фенелонова «Телемака», говорит в то же время, что все-таки «Телемака» невозможно сравнивать с эпическими поэмами, потому что самая посредственная поэма, написанная стихами, стоит неизмеримо выше превосходнейшего романа в прозе. Теперь, напротив того, внимание читателей безраздельно направляется на *содержание,* то есть на мысль. От *формы* требуют только, чтобы она не мешала содержанию, то есть чтобы тяжелые и запутанные обороты речи не затрудняли собою развитие мысли. По нашим теперешним понятиям, красота языка заключается единственно в его ясности и выразительности, то есть исключительно в тех качествах, которые ускоряют и облегчают переход мысли из головы писателя в голову читателя. Достоинство телеграфа заключается в том, чтобы он передавал известия быстро и верно, а никак не в том, чтобы телеграфная проволока изображала собою

разные извилины и арабески. Эту простую истину наш практический век понемногу, сам того не замечая, приложил к области поэтического творчества. Язык сделался тем, чем он должен быть, именно средством для передачи мысли. Форма подчинилась содержанию, и с этого времени укладывание мысли в размеренные и рифмованные строчки стало казаться всем здравомыслящим людям ребяческою забавою и напрасною тратою времени. По привычке к старине, мы еще не решаемся громко сознаться в том, что мы действительно так смотрим на это дело, но живые факты сами говорят за себя. Общее число писателей и читателей увеличивается, и в то же время число стихотворцев и стихолюбителей уменьшается. Стихотворцы отходят на второй план. Кто, например, стоит во главе современной английской литературы? Уж, конечно, не Теннисон, а Диккенс, Теккерей, Троллоп, Элиот, Бульвер, то есть всё прозаики и всё романисты. Какие сочинения Виктора Гюго известны всей читающей Европе? Не лирика и не трагедии, а «Notre Dame de Paris» и «Les Misérables» [1] — два романа, написанные прозою.

Роман настолько же удобнее всех остальных видов поэтического творчества, насколько современный сюртук и прическа удобнее костюмов и париков, бывших в моде при Людовике XIV. Романист распоряжается своим материалом как ему угодно; описания, размышления, психологические анализы, исторические, бытовые и экономические подробности — все это с величайшим удобством входит в роман, и все это почти совсем не может войти в драму. О лирике уж и говорить нечего. Кроме того, роман оказывается самою *полезною* формою поэтического творчества. Когда писатель хочет предложить на обсуждение общества какую-нибудь психологическую задачу, тогда роман оказывается необходимым и незаменимым средством. В обществе и в семействе ежеминутно случаются между различными типами и характерами более или менее резкие и болезненные столкновения. При подобных столкновениях обе стороны очень часто считают себя правыми. Когда дело идет о денежном интересе, тогда начинается разорительный судебный процесс. Когда же затронут вопрос, входящий в область чувства или мысли, тогда свод законов, разумеется, молчит и дело может быть решено только приговором или, вернее, влиянием общественного мнения. Но в неразвитом обществе общественное мнение чрезвычайно слабо; это мнение слагается из толков соседей и знакомых, которые произносят свои суждения ощупью, на авось, под влиянием своих мельчайших симпатий и антипатий. При каждом огласившемся столкновении между отцом и сыном,

[1] «Собор Парижской богоматери» и «Отверженные» *(франц.)*. — *Ред.*

братом и сестрою, мужем и женою обе воюющие стороны непременно находят себе между соседями и знакомыми усердных утешителей и красноречивых защитников. Эти господа своим участием всегда растравляют ссору и увеличивают упорство враждующих личностей. Иной добродушный человек, обдумавши на досуге свой поступок, мог бы почувствовать, что он в самом деле ошибся и обидел ни за грош своего ближнего, но когда этот человек встречает в своих знакомых полное сочувствие, когда посторонние люди совершенно искренно доказывают ему, что он-то сам и есть угнетенная невинность, тогда, очевидно, беспристрастное обсуждение собственных ошибок становится чрезвычайно затруднительным, и глупейшая ссора отравляет вследствие этого две человеческие жизни, которые могли бы протекать рядом в вожделенном согласии. Множество неприятностей и мелких страданий, истощающих человеческие силы и опошляющих человеческую личность, происходит таким образом от слепоты или неразвитости общественного мнения, от поголовного неумения определять те границы, внутри которых отдельная личность может развертывать свои силы, не посягая на свободу и на человеческое достоинство других личностей.

Самым могущественным средством для правильного развития общественного мнения является, конечно, общественная жизнь. Когда общество заботится о собственных интересах, тогда оно быстро выучивается контролировать поступки и убеждения своих отдельных членов. Но так как развитие общественной жизни зависит не от литературы, а от исторических обстоятельств, то мне незачем и распространяться об этом щекотливом предмете.

Вторым средством, гораздо менее могущественным, но все-таки не совсем ничтожным, является влияние литературы. Задавать обществу психологические задачи, показывать ему столкновения между различными страстями, характерами и положениями, наводить его на размышления о причинах этих столкновений и о средствах устранить подобные неприятности, заставлять его сочувствовать в книге тому лицу или поступку, против которого оно (общество) вооружилось бы в действительной жизни вследствие своих закоренелых предубеждений,— все это значит — формировать общественное мнение, значит — говорить обществу: вглядывайся, вдумывайся в свою собственную жизнь, выметай из нее, хоть понемногу, тот мусор ложных понятий, на котором живые люди, твои же собственные члены, спотыкаются и ломают себе ноги!

В решении чисто психологических вопросов роман незаменим; напротив того, в решении чисто социальных вопросов

роман должен уступить первое место серьезному исследованию. Но так как чисто социальный интерес почти всегда сплетается с интересом чисто психологическим, то роман может принести очень много пользы даже для разъяснения социального вопроса. Представьте себе, например, что вас поразили вседневные явления вопиющей человеческой бедности. Если вы, с своей стороны, хотите сделать вашим умственным трудом что-нибудь для облегчения этого зла, то вы, разумеется, должны изучить причины и видоизменения бедности, собрать как можно больше сырых фактов и достоверных статистических цифр, привести все эти материалы в порядок и вывести ваши посильные практические заключения. Труд ваш окажется, таким образом, серьезным исследованием и деловым проектом. Его прочитают и обдумают те люди, которые имеют возможность и желание осуществлять в действительной жизни общеполезные идеи кабинетных мыслителей. Так, например, в 1860 году Эмиль Лоран издал очень дельную книгу о французском пауперизме и об обществах взаимного вспомоществования. Эту книгу прочитали, наверное, все президенты подобных обществ, и некоторыми из советов Лорана воспользовались, быть может, те префекты и мэры, которых мысли не сосредоточены исключительно на приискивании средств для получения ордена Почетного легиона. Для таких читателей, разумеется, необходимы факты и цифры, а не картины трудовой жизни и душевной борьбы. — Но бедность порождает разврат и преступление, а общество обрушивается всею тяжестью своего гнева и презрения на тех людей, которые споткнулись на трудном пути и которые могли бы снова подняться на ноги, если бы их не давило в грязь все, что их окружает, и все, что благодаря более благоприятным случайностям успело сохранить наружный вид чистоты и безукоризненности.

Если вас поразила эта чисто психологическая сторона бедности, то вы напишете роман, и созданные вами картины заставят многих из ваших читателей задуматься над тою кровавою несправедливостью или, проще, над тою поразительною тупостью, которую мы, люди добродетельные, обнаруживаем ежедневно в наших отношениях к умственным и нравственным болезням голодного и раздетого человека. Романы Диккенса и Виктора Гюго направляются вовсе не к тому, чтобы разжалобить толстых филистеров и выпросить у них копеечку на пропитание вдов и сирот; эти романы доказывают нам, с разных сторон, полную логическую несостоятельность всех наших обиходных понятий о пороке и преступлении. Капля долбит камень non vi, sed saepe cadendo (не силою, но часто повторяющимся падением), и романы

незаметно произведут в нравах общества и в убеждениях каждого отдельного лица такой радикальный переворот, какого не произвели бы без их содействия никакие философские трактаты и никакие ученые исследования. — Поэтому каждый последовательный реалист видит в Диккенсе, Теккерее, Троллопе, Жорж Занде, Гюго — замечательных поэтов и чрезвычайно полезных работников нашего века. Эти писатели составляют своими произведениями живую связь между передовыми мыслителями и полуобразованною толпою всякого пола, возраста и состояния. Они — популяризаторы разумных идей по части психологии и физиологии общества, а в настоящую минуту добросовестные и даровитые популяризаторы по крайней мере так же необходимы, как оригинальные мыслители и самостоятельные исследователи.

Мы вовсе не требуем от романистов, чтобы все они непременно описывали страдания бедняков или показывали нам человека в преступнике. По нашему мнению, каждый романист, разрешающий какую-нибудь психологическую задачу, поставленную естественным течением действительной жизни, приносит обществу существенную пользу и, по мере сил своих, исполняет обязанность честного гражданина и развитого человека. Частная жизнь и семейный быт, наравне с экономическими и общественными условиями нашей жизни, должны обращать на себя постоянное внимание мыслящих людей и даровитых писателей. Чтобы упрочить за собою глубочайшее уважение реалистов, романист или поэт должен только постоянно, так или иначе, служить живому делу действительной, современной жизни. Он не должен только превращать свою деятельность в бесцельную забаву праздной фантазии. Я надеюсь, что даже эстетики не станут заступаться за Дюма, за Феваля, за Поль де Кока. Но очень правдоподобно, что они уважают Вальтер Скотта и Купера. А мы их нисколько не уважаем и вообще считаем исторический роман за одно из самых бесполезных проявлений поэтического творчества. Вальтер Скотт и Купер — усыпители человечества. Что они люди очень даровитые — против этого я не спорю. Но тем хуже. Тем-то они и вредны, что их произведения читаются с удовольствием и создают целые школы подражателей. А что выносит читатель из этих романов? Ничего, ни одной новой идеи. Ряд картин и арабесков. То же самое, что ребенок выносит из волшебной сказки. В наше время, когда надо смотреть в оба глаза и работать обеими руками, стыдно и предосудительно уходить мыслью в мертвое прошедшее, с которым всем порядочным людям давно пора разорвать всякие связи.

XXIX

С самого начала этой статьи я все говорил только о поэзии. Обо всех других искусствах, пластических, тонических и мимических, я выскажусь очень коротко и совершенно ясно. Я чувствую к ним глубочайшее равнодушие. Я решительно не верю тому, чтобы эти искусства каким бы то ни было образом содействовали умственному или нравственному совершенствованию человечества. Вкусы человеческие бесконечно разнообразны: одному желательно выпить перед обедом рюмку очищенной водки; другому — выкурить после обеда трубку махорки; третьему — побаловаться вечером на скрипке или на флейте; четвертому — прийти в восторг и в ужас от взвизгиваний Ольриджа в роли Отелло. Ну, и бесподобно. Пускай утешаются. Все это я понимаю. Понимаю я также, что двум любителям очищенной водки, или Ольриджа, или виолончели приятно побеседовать между собою о совершенствах любимого предмета и о тех средствах, которые следует употребить для того, чтобы придать любимому предмету еще более высокие совершенства. Из таких специальных бесед могут образоваться специальные общества. Например, «общество любителей водки», «общ⟨ество⟩ люб⟨ителей⟩ псовой охоты», «общество театралов», «общ⟨ество⟩ люб⟨ителей⟩ слоеных пирожков», «общ⟨ество⟩ люб⟨ителей⟩ музыки» и так далее, впредь до бесконечности. У таких обществ могут быть свои уставы, свои выборы, свои парламентские дебаты, свои убеждения, свои журналы. Такие общества могут раздавать патенты на гениальность. Вследствие этого могут появиться на свете великие люди самых различных сортов: великий Бетховен, великий Рафаэль, великий Канова, великий шахматный игрок Морфи, великий повар Дюссо, великий маркер Тюря. Мы можем только радоваться этому обилию человеческой гениальности и осторожно проходить мимо всех этих «обществ любителей», тщательно скрывая улыбку, которая невольно напрашивается на наши губы и которая может раздразнить очень многих гусей. Впрочем, отрицать совершенно практическую пользу живописи мы, конечно, не решимся. Черчение планов необходимо для архитектуры. Почти во всех сочинениях по естественным наукам требуются рисунки. В настоящую минуту передо мною лежит великолепная книга Брема «Illustrirtes Tierleben» («Иллюстрированная жизнь животных»), и эта книга показывает мне самым наглядным образом, до какой степени даровитый и образованный художник может своим карандашом помогать натуралисту в распространении полезных знаний. Но ведь ни Рембрандт, ни Тициан не стали бы рисовать картинки для популярного сочинения по зоологии или по ботанике. А уж

каким образом Моцарт и Фанни Эльслер, Тальма и Рубини ухитрились бы пристроить свои великие дарования к какому-нибудь разумному делу, этого я даже и представить себе не умею. Пусть помогут мне в этом затруднительном обстоятельстве эстетики «Эпохи» и «Библиотеки для чтения».

Любители всяческих искусств не должны гневаться на меня за легкомысленный тон этой главы. Свобода и терпимость прежде всего! Им нравится дуть в флейту, или изображать своею особою Гамлета, принца датского, или пестрить полотно масляными красками, а мне нравится доказывать насмешливым тоном, что они никому не приносят пользы и что их не за что ставить на пьедесталы. А забавам их никто мешать не намерен. За шиворот их никто не тянет на полезную работу. Весело вам — ну, и веселитесь, милые дети!

XXX

Припомните вместе со мною, мой читатель, каким образом вас воспитывали и учили. Предположим на первый случай, что вы — сын богатого помещика и живете вместе с вашими родителями в какой-нибудь тамбовской или рязанской деревне. Вам лет десять, вы безжалостно рвете и пачкаете ваши рубашечки, курточки и панталоны; вы лазаете по горам и по деревьям и сокрушаете каждый день вашу мамашу новыми синяками и царапинами, которые она постоянно усматривает на вашем лице и на ваших руках. Наконец мамаша говорит папаше, что мальчик шибко балуется и что давно пора выписать для него строгого гувернера, который серьезно присадил бы его за умные книжки. Папаша отвечает: хорошо! Вот продам обоз пшеницы, съезжу недели на три в Москву и отыщу там подходящего немца или француза. Как сказано, так и сделано. Получаются деньги за пшеницу, и часть этих денег употребляется на приобретение того неизвестного господина, которым уже давно стращала вас ваша мамаша. Неизвестный господин объявляет папаше, что надо выписать такую-то арифметику, такую-то грамматику, такую-то географию и так далее.

Папаша отпирает ту шкатулку, в которой у него ссыпана пшеница, превращенная в кредитные билеты, и выдает рублей 20 или 30 на покупку учебных книг. Каждый год продаются обозы пшеницы, и каждый год часть вырученных денег вручается вашему ментору, а другая часть превращается в книги, глобусы, ландкарты, аспидные доски, писчую бумагу, стальные перья. Все это вы, как ненасытная пучина, поглощаете с тою же быстротою, с какою вы в былое время истребляли

штаны и куртки. Положим, что все это идет вам впрок. Ваша любознательность пробуждается; ваш ум растет и укрепляется; вы всею душою привязываетесь к вашему воспитателю; он рассказывает вам о своем студенчестве; и вас самих начинает тянуть в университет, в обетованную землю труда и знания. Родители ваши с удовольствием уступают вашему желанию; несмотря на вашу юношескую робость, вы превосходно выдерживаете вступительный экзамен и с замиранием сердца входите в обетованную землю. С этой минуты часть пшеницы, превращенная в деньги, поступает в ваше собственное распоряжение; вы сами заботитесь о своем костюме, сами покупаете себе книги, сами дозволяете себе удовольствия. Допустим, что все это вы делаете вполне благоразумно; в одежде нет роскоши, в чтении вашем господствует строгая последовательность, удовольствия выбираются такие, которые действительно освежают ваши силы для нового труда; все это превосходно; но ведь все это до сих пор было только поглощением пшеницы, превращенной в сукно, в голландское полотно, в дельные книги, в театральные и концертные билеты, в профессорские лекции, в умные мысли и в высокие стремления. Всякий человек, собирающийся работать, должен непременно поглотить сначала известное количество продукта, уже выработанного другими людьми; он может поглотить его глупо, то есть расстроить себе желудок этим поглощением; может поглотить умно, то есть действительно подкрепить свои силы; но за то, что человек подкрепил свои силы, мы еще ничуть не обязаны говорить ему спасибо; надо посмотреть, что будет дальше. Дальше вы оказываетесь кандидатом, и перед вами раскрывается жизнь. У вас есть все, что нужно человеку для счастья: здоровая молодость, развитой ум, приличная наружность, обеспеченное состояние; вам хочется жить, любить, мыслить и действовать. Чем захочу, думаете вы, тем и займусь; куда захочу, туда и поеду; что захочу, то и сделаю. Я сам себе барин и никому не намерен отдавать отчет в своем образе жизни. Мое образование изощрило во мне способность наслаждаться всем, что затрогивает мысль и ласкает чувство; поэтому я намерен извлекать себе наслаждения из любви, из науки, из искусства, из живой природы; все мое, а сам я не принадлежу решительно никому.

Такой взрыв юношеской самостоятельности составляет очень обыкновенное, быть может даже неизбежное явление в жизни каждой мыслящей и развивающейся личности. Но первый трезвый взгляд на экономическую прозу жизни кладет конец этому взрыву. Вы начинаете соображать, что вы поглотили целые сотни четвертей видоизмененной пшеницы и что каждая четверть соответствует известному количеству рабо-

чих дней, конных и пеших, мужских и женских. А я-то, думаете вы, так радовался обилию моих знаний; а я-то так гордился силою моего ума и тонкостью моего эстетического вкуса! Ведь смешно даже подумать, к чему приводится эта радость и эта гордость! Какой я в самом деле молодец! Какую гору пшеницы я съел и переварил! А что же я теперь собираюсь делать? Наслаждаться прелестями молодой жизни, то есть опять есть и опять переваривать? Ведь надо же и честь знать. А если не честь, то надо же знать по крайней мере простые правила арифметики. Если постоянно вычитать из общественного капитала, то, наконец, весь капитал уничтожится и общество придет к банкротству. Я взял взаймы чужой труд; теперь надо же уплачивать этот долг. А чем его уплачивать? Деньгами, что ли? Очевидная нелепость. Это значит занимать у Ивана, чтобы отдавать Петру. За труд можно платить только трудом. Сначала другие люди работали для меня, а теперь я должен работать для других людей. Я весь принадлежу тому обществу, которое меня сформировало; все силы моего ума составляют результат чужого труда, и если я буду разбрасывать эти силы на разные приятные глупости, то я окажусь несостоятельным должником и злостным банкротом, хотя может быть, никто не назовет меня этим позорным именем и даже не заметит, что я поступаю бесчестно, то есть становлюсь врагом того самого общества, которому я обязан решительно всем.

Когда вы придете к таким серьезным заключениям, тогда бесцельное наслаждение жизнью, наукою, искусством окажется для вас невозможным. Останется только одно наслаждение, то, которое выходит из ясного сознания, что вы приносите людям действительную пользу, что вы уплачиваете понемногу накопившуюся массу ваших долгов и что вы твердыми шагами, не сворачивая ни вправо, ни влево, идете вперед, к общей цели всей вашей жизни. Да, жизнь есть постоянный труд, и только тот понимает ее вполне по-человечески, кто смотрит на нее с этой точки зрения. И любовь к женщине, и искусство, и наука — все это или вспомогательные средства в общем механизме жизненного труда, или минуты отдыха в антрактах между оконченною работою и началом нового дела. О любви к женщине и об искусстве я уже говорил выше. Теперь будем говорить о науке. Но сначала надо сделать еще несколько общих замечаний.

Для большей простоты анализа я предположил в первых строках этой главы, что вы, мой читатель,— сын богатого помещика и что вы воспитывались на деньги ваших родителей. При этом условии отношения вашего воспитания к пшенице и к рабочим дням обрисовываются так ясно, что о них больше

незачем и распространяться. Но если бы я предположил, что вы — плебей и пролетарий и что вы сами тяжелым трудом завоевали себе каждую отдельную частицу вашего широкого образования, то, даже и в этом случае, настоящая сущность дела осталась бы неизменною. Все-таки окажется при внимательном рассмотрении, что вы всем обязаны обществу и что все силы вашего развитого и укрепленного ума должны быть употреблены на постоянное служение действительным интересам этого общества. Природа дала вам живой ум и сильную любознательность. Но самые превосходные дары природы остаются мертвым капиталом, если вы живете в таком обществе, в котором еще не зародилась умственная деятельность. Те вопросы, которые на каждом шагу задает себе ваш пытливый ум, остаются без ответа; энергия ваша истрачивается на множество мелких и бесплодных попыток проникнуть в затворенную область знания; вы понемногу слабеете, тупеете, мельчаете, и, наконец, миритесь с вашим невежеством, как с неизбежным злом, которое, наконец, перестает даже тяготить вас. В нашем обширном отечестве было очень много гениальных самородков, проживших жизнь без труда и без знания по той простой причине, что негде, не у кого и некогда было выучиться уму-разуму. Вероятно, такие печальные случаи повторяются довольно часто и в наше время, потому что Россия велика, а светильников в ней немного. Стало быть, если вы — пролетарий и если вам посчастливилось наткнуться или удалось отыскать такой светильник, который уяснил вам смысл и цель человеческого существования, то вы должны задать себе вопрос: какими средствами зажжен этот спасительный светильник? и какими материалами поддерживается его горение? — Каков бы ни был этот светильник — университет, академия, образованный человек, хороший журнал, умная книга, — все равно; во всяком случае он стоит денег, а мы уже знаем, что деньги — не что иное, как пшеница, рожь, овес, лен, пенька, или, еще проще, рабочие дни, конные и пешие, мужские и женские. Все богатство общества без исключения заключается в его труде. Часть этого труда, теми или другими средствами, отделяется на то, чтобы создавать в обществе умственный капитал. Ясное дело, что этот умственный капитал должен приносить обществу хорошие проценты, иначе общество будет постоянно терпеть убытки и постоянно приближаться к окончательному разорению. Примеры таких разорений уже бывали в истории. Такое разорение называется падением цивилизации, и каждый ученик уездного училища должен знать, что уже несколько цивилизаций, по-видимому сильных и цветущих, упало и уничтожилось без остатка.

XXXI

Человеческий труд весь целиком основан на науке. Мужик *знает*, когда надо сеять хлеб, когда жать или косить, на какой земле может родиться хлеб и какого снадобья надо подбавить в землю, чтобы урожай был обильнее. Все это он знает очень смутно и в самых общих чертах, но тем не менее это—зародыши науки, первые попытки человека уловить тайны живой природы. В свое время эти простые наблюдения человека над особенностями земли, воздуха и растений были великими и чрезвычайно важными открытиями; именно по своей важности они сделались общим достоянием трудящейся массы; они навсегда слились с жизнью, и в этом отношении они оставили далеко за собою все последующие открытия, более замысловатые и до сих пор еще не успевшие пробить себе дорогу в трудовую жизнь простого и бедного человека. В настоящее время физический труд и наука, на всем пространстве земного шара, находятся между собою в полном разрыве. Физический труд пробавляется до сих пор теми жалкими начатками науки, которые выработаны человеческим умом в доисторические времена; а наука в это время накопляет груды великих истин, которые остаются почти бесплодными, потому что масса не умеет ни понимать их, ни пользоваться ими.

Читатель мой, вероятно, привык читать и слышать, что девятнадцатый век есть век промышленных чудес; вследствие этого читателю покажутся странными мои слова о разрыве между физическим трудом и наукою. Да, точно. Люди понемногу начинают браться за ум, но они берутся за него так вяло и так плохо, что мои слова о разрыве никак не могут считаться анахронизмом. Промышленными чудесами решительно не следует обольщаться. Паровоз, пароход, телеграф— все это штуки очень хорошие и очень полезные, но существование этих штук доказывает только, что есть на свете правительства и акционерные компании, которые понимают пользу и важное значение подобных открытий. Русский мужик едет по железной дороге; купец телеграфирует другому купцу о какой-нибудь перемене цен. Мужик размышляет, что славная эта штука чугунка; купец тоже философствует, что оченно хитро устроена эта проволока. Но скажите на милость: пробуждают ли эти промышленные чудеса самодеятельность мысли в головах мужика и купца? Проехал мужик по чугунке, воротился в свою курную избу и по-прежнему ведет дружбу с тараканами, по-прежнему лечится нашептываниями знахарки и по-прежнему обрабатывает допотопными орудиями свою землю, которая по-прежнему остается разделенною на три клина — озимый, яровой и пар. А купец, отправив теле-

графическую депешу, по-прежнему отбирает силою у своих детей всякие книги и по-прежнему твердо убежден в том, что торговать без обмана — значит быть сумасшедшим человеком и стремиться к неизбежному разорению. Паровоз и телеграф пришиты снаружи к жизни мужика и купца, но они нисколько не срослись с их полудикою жизнью.

Когда простой человек, оставаясь простым и темным человеком, входит в близкие и ежедневные сношения с промышленными чудесами, тогда его положение становится уже из рук вон плохо. Посмотрите, в каких отношениях находятся между собою фабричная машина и фабричный работник. Чем сложнее и великолепнее машина, тем тупее и беднее работник. На фабрике являются два совершенно различные вида человеческой породы: один вид господствует над природою и силою своего ума подчиняет себе стихии; другой вид находится в услужении у машины, не умеет понять ее сложное устройство и даже не задает себе никаких вопросов о ее пользе, о ее цели, о ее влиянии на экономическую жизнь общества. До вопросов ли тут, когда надо подкладывать уголь под котел или ежеминутно открывать и закрывать какой-нибудь клапан? И таким образом машина, изобретенная знающим человеком, подавляет незнающего человека, подавляет потому, что между наукою, с одной стороны, и трудящеюся массою, с другой стороны, лежит широкая бездна, которую долго еще не ухитрятся завалить самые великие и самые человеколюбивые мыслители. Если работник так мало развит, что у него нет сознательного чувства самосохранения, то машина закабалит этого работника в самое безвыходное рабство, в то рабство, которое основано на умственной и вещественной бедности порабощаемой личности. Машины должны составлять для человечества источник довольства и счастья, а на поверку выходит совсем другая история: машины родят пауперизм, то есть хроническую и неизлечимую бедность. А почему это происходит? Потому что машины, как снег на голову, сваливаются из высших сфер умственного труда в такую темную и жалкую среду, которая решительно ничем не приготовлена к их принятию. Простой работник слишком необразован, чтобы сделаться сознательным повелителем машины; поэтому он немедленно становится ее рабом. Видите таким образом, что промышленные чудеса превосходно уживаются с тем печальным и страшным разрывом, который существует между наукою и физическим трудом.

Век машин требует непременно добровольных ассоциаций между работниками, а такие разумные ассоциации возможны только тогда, когда работники находятся уже на довольно высокой степени умственного развития. Если же работники, сталкиваясь с машинами, продолжают действовать врассып-

ную, то в рабочем населении развиваются немедленно, с изумительною силою и быстротою, бедность, тупость и деморализация. Представьте себе, что в каком-нибудь округе пятьсот семейств добывают себе насущный хлеб производством полотен. Заработки их не очень богаты, но все они по крайней мере сыты, одеты и даже откладывают кое-какие гроши про черный день. Вдруг какой-нибудь механик придумывает превосходный ткацкий станок, который приводится в движение силою пара и производит в один день столько полотна, сколько простой работник сделает в месяц. Дай бог здоровья механику за его превосходное изобретение, но для наших пятисот семейств новый ткацкий станок равняется страшному неурожаю, громадному пожару, наводнению или вообще какому-нибудь жестокому естественному бедствию. Новая машина так дорога, что ни одно семейство не в силах купить ее на свои собственные сбереженные деньги, а работать по-старому уже невозможно, потому что изобретение механика произвело очень сильное понижение цен на полотно, и ручной труд уже не окупается. Если бы двадцать или тридцать семейств сложили вместе свои крошечные капиталы, то они могли бы купить машину, устроить небольшую фабрику и потом делить между собою барыши соразмерно с внесенными суммами. Но можно сказать наверное, что они этого не сделают; во-первых, никому из них эта простая мысль не придет в голову, во-вторых, если бы даже она пришла в голову одному из этих работников, то она не нашла бы себе сочувствия в других работниках; сейчас явилось бы на сцену то тупое и беспричинное недоверие, которым обыкновенно страдают люди, не привыкшие думать, и которое так превосходно воплощено Гоголем в личности помещицы Коробочки; в-третьих, если бы даже компания действительно составилась, то она через два-три месяца расползлась бы врозь, потому что акционеры, непривычные к коллективной деятельности, перессорились бы между собою, завели бы кляузы и процессы или погубили бы свое общее дело небрежностью. На основании всех этих и многих других причин компания не составляется, и ткачи, задавленные превосходством новой машины, прекращают свое производство, отправляются на соседнюю фабрику и поступают туда в поденщики. Таким образом кладется краеугольный камень того прочного здания, которое называется пауперизмом. Как вам это нравится? Практическое приложение научного открытия увеличивает массу человеческих страданий!

И такие трагические недоразумения между наукою и жизнью будут повторяться до тех пор, пока не прекратится гибельный разрыв между трудом мозга и трудом мускулов. Пока наука не перестанет быть барскою роскошью, пока она не

сделается насущным хлебом каждого здорового человека, пока она не проникнет в голову ремесленника, фабричного работника и простого мужика, до тех пор бедность и безнравственность трудящейся массы будут постоянно усиливаться, несмотря ни на проповеди моралистов, ни на подаяния филантропов, ни на выкладки экономистов, ни на теории социалистов. Есть в человечестве только одно зло — невежество; против этого зла есть только одно лекарство — наука; но это лекарство надо принимать не гомеопатическими дозами, а ведрами и сороковыми бочками. Слабый прием этого лекарства увеличивает страдания больного организма. Сильный прием ведет за собою радикальное исцеление. Но трусость человеческая так велика, что спасительное лекарство считается ядовитым.

XXXII

Надо распространять знания — это ясно и несомненно. Но *как* распространять? — вот вопрос, который, заключая в себе всю сущность дела, никак не может считаться окончательно решенным. Взять в руку азбуку и пойти учить грамоте мещан и мужиков — это, конечно, дело доброе; но не думаю я, чтобы эта филантропическая деятельность могла привести за собою то слияние науки с жизнью, которое может и должно спасти людей от бедности, от предрассудков и от пороков. Во-первых, все труды частных лиц по делу народного образования до сих пор носят на себе или чисто филантропический, или нагло-спекулятивный характер. Во-вторых, всякая школа, а народная тем более, имеет замечательную способность превращать самую живую науку в самый мертвый учебник или в самую приторную хрестоматию. Чистая филантропия проявлялась у нас в тех школах, в которых преподаватели занимались своим делом бесплатно. Наглая спекуляция свирепствует до сих пор в тех книжках для народа, которые продаются по пятачку и по три копейки. Об этом последнем явлении распространяться не стоит, потому что каждая из подобных книжек собственною наружностью кричит достаточно громко о своей непозволительной гнусности. Но о филантропии поговорить не мешает, потому что филантропическая деятельность притягивает к себе силы очень хороших людей, которые могли бы принести общему делу гораздо больше пользы, если бы принимались за работу иначе.

Нет того доброго дела, за которое, в разных местах и в разные времена, не ухватывалась бы филантропия; и нет того предприятия, в котором филантропия не потерпела бы самого полного поражения. Характеристический признак филантропии заключается в том, что, встречаясь с каким-нибудь видом

страдания, она старается поскорей укротить боль, вместо того чтобы действовать против причины болезни. Мать слышит, например, плач своего ребенка, у которого болит живот. — На, батюшка, на, говорит она ему, пососи конфетку. — Приятное ощущение во рту действительно перевешивает на минуту боль в желудке, которая еще не успела развиться до слишком больших размеров. Ребенок затихает, но болезнь, не остановленная вовремя, усиливается, и тогда уже не помогает никакое сосание конфеток. Такая любящая, но недальновидная мать представляет собою чистейший тип искреннего филантропа. Что филантропия русского купечества плодит нищих, которых содержание лежит тяжелым бременем на трудящейся массе, это всем известно. А что бросить грош нищему гораздо легче, чем задумываться над причинами нищенства, это тоже не подлежит сомнению.

Люди, посвящавшие свои силы и свое время преподаванию в народных школах, по чистоте стремлений и по высоте умственного развития стояли, конечно, неизмеримо выше нищелюбивых купцов. Но, надо сказать правду, они были так же недальновидны, как и все остальные филантропы. Они видели зло — невежество. Не вглядываясь в глубокие причины этого зла, они сейчас, при первой возможности, схватились за лекарство. Народ ничего не знает; ну, значит, надо учить народ. Рассуждение, по-видимому, так верно и так просто, что оно должно прийти в голову всякому ребенку и что с ним должен согласиться всякий мыслитель. А между тем рассуждение это поверхностно и ошибочно. Почему народ ничего не знает? Во-первых, потому, что ему неудобно было учиться: мешало крепостное право. Допустим, что в настоящее время обстоятельства изменились; явилась *возможность* учиться. Но одной возможности еще недостаточно. Учение есть все-таки труд, а человек никогда не принимается за труд без внешней или внутренней побудительной причины. Если нет побудительной причины, то и филантропическое преподавание останется бесплодным; а если есть побудительная причина, то народ сам выучится всему, что ему действительно необходимо знать, то есть всему, что может доставить ему в жизни какие-нибудь осязательные выгоды. Он выучится урывками, самоучкою, помимо школ, и такое знание, взлелеянное каждым отдельным учеником с страстною и сознательною любовью, будет, разумеется, неизмеримо прочнее, живучее и способнее к дальнейшему развитию, чем то знание, которое методически и систематически вливается учителем в пассивные головы равнодушных школьников. Как вы думаете: кто богаче, тот ли человек, который сам выработал тысячу рублей, или тот, которому вы подарили две тысячи? Что касается до меня, то я, в обиду

всем правилам арифметики, скажу смело, что первый гораздо богаче второго. — Стало быть, чтобы дать простым людям те выгоды, которые доставляются образованием, надо создать ту побудительную причину, о которой я говорил выше. То есть надо сделать так, чтобы во всей русской жизни усилился запрос на умственную деятельность. Другими словами, надо увеличить число мыслящих людей в тех классах общества, которые называются образованными. В этом вся задача. В этом альфа и омега общественного прогресса. Если вы хотите образовать народ, возвышайте уровень образования в цивилизованном обществе.

Итак, повторяю вопрос, поставленный в начале этой главы: каким же образом надо распространять знания? А вот ответ на этот вопрос: пусть каждый человек, способный мыслить и желающий служить обществу, действует собственным примером и своим непосредственным влиянием в том самом кружке, в котором он живет постоянно, и на тех самых людей, с которыми он находится в ежедневных сношениях. Учитесь сами и вовлекайте в сферу ваших умственных занятий ваших братьев, сестер, родственников, товарищей, всех тех людей, которых вы знаете лично и которые питают к вашей особе доверие, сочувствие и уважение. Если умеете писать — пишите о предмете ваших занятий; если не чувствуете расположения к литературной деятельности, говорите о нем с теми людьми, у которых уже пробудилась любознательность и на которых вы можете иметь прочное влияние. Эта деятельность внутри собственного кружка многим нетерпеливым людям покажется чрезвычайно скромною и даже мизерною; я согласен с тем, что в такой деятельности нет ничего эффектного и блестящего. Но именно поэтому-то она и хороша. Всякий рассудительный читатель, вдумавшись в настоящую сущность дела, придет к тому заключению, что только деятельность, лишенная всякого блеска и эффекта может повести за собою прочные результаты. Такая деятельность, по своей наружной мизерности, не возбуждает против себя филистерских стенаний, а под конец и окажется, что младшие братья и дети самых заклятых филистеров сделались реалистами и прогрессистами.

Весь ход исторических событий всегда и везде определялся до сих пор количеством и качеством умственных сил, заключающихся в тех классах общества, которые не задавлены нищетою и физическим трудом. Когда общественное мнение пробудилось, тогда уже очень крупные эксцентричности в исторической жизни становятся крайне неудобными и даже невозможными, хотя бы общественное мнение и не имело еще никакого определенного органа для заявления своих требований.

Общественное мнение, если оно действительно сильно и разумно, просачивается даже в те закрытые лаборатории, в которых приготовляются исторические события. Искусные химики, работающие в этих лабораториях, сами живут все-таки в обществе и незаметно для самих себя пропитываются теми идеями, которые носятся в воздухе. Нет той личности и той замкнутой корпорации, которые могли бы считать себя вполне застрахованными против незаметного и нечувствительного влияния общественного мнения. Иногда общественное мнение действует на историю открыто, механическим путем. Но, кроме того, оно действует еще химическим образом, давая незаметно то или другое направление мыслям самих руководителей. Таким образом, даже исторические события подчиняются до некоторой степени общественному мнению. А внутренняя сторона истории, то есть экономическая деятельность, почти вся целиком находится в руках общества. Оживить народный труд, дать ему здоровое и разумное направление, внести в него необходимое разнообразие, увеличить его производительность применением дознанных научных истин — все это дело образованных и достаточных классов общества, и никто, кроме этих классов, не может ни взяться за это дело, ни привести его в исполнение. К какой бы экономической или социальной доктрине ни примыкал тот или другой писатель, во всяком случае осязательные исторические и бытовые факты для всех писателей остаются неизменными. И что же говорят нам эти факты? То, что до сих пор, всегда и везде, в той или другой форме, физический труд был управляем капиталом. А накопление капитала всегда основано на физическом или умственном превосходстве того лица, которое накопляет. Кто сильнее или умнее других, тот и богаче. Впоследствии, разумеется, капитал сам получает притягательную силу: деньга деньгу родит, как говорит русская поговорка. Но первое начало этой «деньги» заключается в физическом или умственном неравенстве между людьми. А это неравенство, как явление живой природы, не подлежит, конечно, реформирующему влиянию человека.

Переворотов в истории было очень много; падали и политические и религиозные формы; но господство капитала над трудом вышло из всех переворотов в полнейшей неприкосновенности. Исторический опыт и простая логика говорят нам с одинаковою убедительностью, что умные и сильные люди всегда будут одерживать перевес над слабыми и тупыми или притупленными. Поэтому возмущаться против того факта, что образованные и достаточные классы преобладают над трудящеюся массою, значило бы стучаться головою в несокрушимую и непоколебимую стену естественного закона. Один класс может сменяться другим классом, как, например, во

Франции родовая аристократия сменилась богатою буржуазиею, но закон остается ненарушимым. Значит, при встрече с таким неотразимым проявлением естественного закона надо не возмущаться против него, а, напротив того, действовать так, чтобы этот неизбежный факт обратился на пользу самого народа. У капиталиста есть ум и богатство. Эти два преимущества упрочивают за ним господство над трудом. Но господство это, смотря по обстоятельствам, может быть вредно или полезно для народа. Если вы дадите этому капиталисту кое-какое смутное полуобразование, — он сделается пиявкою. А дайте ему полное, прочное, чисто человеческое образование — и тот же самый капиталист сделается — не благодетельным филантропом, а мыслящим и расчетливым руководителем народного труда, то есть таким человеком, который во сто раз полезнее всякого филантропа. Откройте умному человеку доступ к тем сильнейшим наслаждениям, которые мы находим в умственном труде и в полезной деятельности, и этот человек, кто бы он ни был, миллионер или пролетарий, непременно пристрастится к этим наслаждениям и непременно поймет, что быть превосходным общественным деятелем приятнее, чем извлекать из своего капитала какие бы то ни было жидовские проценты. Разбудить общественное мнение и сформировать мыслящих руководителей народного труда — значит открыть трудящемуся большинству дорогу к широкому и плодотворному умственному развитию. А чтобы выполнить эти две задачи, от разрешения которых зависит вся будущность народа, надо действовать исключительно на образованные классы общества. Судьба народа решается не в народных школах, а в университетах. Распространение грамотности, конечно, ничему не мешает, но жаль, если на этот труд употребляются такие силы, которые могли бы действовать в высших сферах мысли и в более обширном кругу. — У нас таких сил еще очень немного, и люди, одаренные ими, должны, из любви к делу своей жизни, расходовать их с величайшею осмотрительностью. Филантропическими вспышками увлекаться не следует. Надо делать то, что целесообразно, а не то, что красиво, трогательно и похвально, с точки зрения сердечной мягкости.

Вот меня опять обвинят в пристрастии к парадоксам за мое откровенное мнение о распространении грамотности. Но я долго и упорно размышлял об этом предмете и старался высказать свою мысль как можно проще, серьезнее и скромнее. Поэтому я бы желал, чтобы мне возражали на эту мысль основательными доводами, а не восклицаниями о моем неисправимом чудачестве. Мне кажется, оно и для дела было бы полезнее.

XXXIII

В науке, и только в ней одной, заключается та сила, которая, независимо от исторических событий, может разбудить общественное мнение и сформировать мыслящих руководителей народного труда. Если наука, в лице своих лучших представителей, примется за решение этих двух задач и сосредоточит на них все свои силы, то губительный разрыв между наукою и физическим трудом прекратится очень скоро, и наука в течение каких-нибудь десяти или пятнадцати лет подчинит все отрасли физического труда своему прочному, разумному и благодетельному влиянию. Но я уже заметил в предыдущей главе, что всякая школа обыкновенно превращает живую науку в мертвый учебник. Ученик является в школе пассивным лицом. Научные истины лежат в его голове без движения, в том самом виде, в котором они положены туда преподавателем или руководством. Если в голове ученика состоялось до начала учения какое-нибудь ошибочное понятие, то это понятие очень часто продолжает жить самым дружелюбным образом рядом с такою научною истиною, которая находится с ним в очевидном и непримиримом противоречии. Урок сам по себе, а жизнь сама по себе. Может быть, это происходит от молодости лет, а может быть, и от общепринятой манеры преподавания. Последнее предположение кажется мне более правдоподобным. У детей нет недостатка в живости и логичности мышления, но у них нет той умственной настойчивости, которая необходима для того, чтобы процесс мышления дошел до какого-нибудь окончательного результата. Дети по поводу своих уроков часто предлагают учителю очень меткие и остроумные вопросы; иногда эти вопросы приводят учителя в немалое смущение своим неожиданным и непозволительным радикализмом; но учитель — человек ловкий и политичный; он быстро производит искусную диверсию, принимает на себя внушительную осанку или произносит с важным видом глубокомысленную чепуху, и умственная самодеятельность, только что зашевелившаяся в живой голове ученика, опять усыпляется надолго, а может быть и навсегда.

Был у меня в университете один товарищ, человек неглупый, студент работящий и дельный. Он ухитрился дойти до третьего курса безо всякого серьезного миросозерцания. Даже вопросов и сомнений никаких не являлось. Но однажды ему пришлось переводить по заказу какую-то астрономическую статью Бабине, или Араго, или какого-то другого французского ученого. Эта статья поставила в его голове все вверх дном, и началась та умственная перестройка, которую непременно приходится переживать каждому человеку, прикоснувшемуся к живому знанию. В этом простом случае любопытно следую-

щее обстоятельство: статья французского астронома не заключала в себе никаких полемических тенденций; она излагала ясным и живым языком те самые старые научные истины, которые мой товарищ уже два раза усвоивал себе в гимназии, во-первых, по введению в географию Ободовского, а во-вторых — по математической географии Талызина. Но таковы уже специальные достоинства учебников и школьного преподавания: книга, не тронутая школьным педантизмом, вызывает живую деятельность мысли и прохватывает насквозь все убеждения читателя теми самыми истинами, которые, красуясь на страницах учебника, не возбуждают в мальчике или в юноше ничего, кроме истерической зевоты и ленивого отвращения.

Кто дорожит жизнью мысли, тот знает очень хорошо, что настоящее образование есть только самообразование и что оно начинается только с той минуты, когда человек, распростившись навсегда со всеми школами, делается полным хозяином своего времени и своих занятий. Университет только в том отношении и лучше других школ, что он предоставляет учащемуся гораздо больше самостоятельности. Но если вы, окончивши курс в университете, отложите всякое попечение о вашем дальнейшем образовании, то вы по гроб жизни останетесь очень необразованным человеком. Кто раз полюбил науку, тот любит ее на всю жизнь и никогда не расстается с нею добровольно. А кто знает науку так мало, что еще не успел привязаться к ней всеми силами своего существа, тот не имеет ни малейшей причины считать себя образованным человеком. Надо учиться в школе, но еще гораздо больше надо учиться по выходе из школы, и это второе учение, по своим последствиям, по своему влиянию на человека и на общество, неизмеримо важнее первого. Стало быть, кто хочет содействовать успехам образования, тот должен прежде всего обращать внимание на то учение, которое производится после школы, вне школы и помимо школы. Что читает общество и как оно относится к своему чтению, то есть видит ли оно в нем препровождение времени или живое и серьезное дело,— вот вопросы, которые прежде всего должен себе поставить человек, желающий внести науку в жизнь. Господствующий вкус общества и его взгляд на чтение зависят отчасти от общих исторических причин; но отчасти, и притом в очень значительной степени, они зависят также от личных свойств тех людей, которые пишут для общества. Слабые, дряхлые, бесцветные и бездарные писатели подчиняют свою деятельность прихотям общественного вкуса и капризам умственной моды. Но писатели, сильные талантом, знанием и любовью к идее, идут своею дорогою, не обращая никакого внимания на мимолетные фантазии общества. Умственная

энергия таких писателей сама по себе делается иногда таким событием, которое обращает на себя внимание общества и даже создает новую моду. Яркость таланта и сила убеждения могут сделать то, что в обществе, всегда смотревшем на книгу как на некоторую игру облагороженного вкуса, зародится серьезный взгляд на чтение и возникнет законная потребность прикидывать мерку чистой и светлой идеи к сделкам и проделкам действительной жизни. Общество начнет понемногу понимать, что умные мысли кладутся на бумагу не для того, чтобы оставаться в хороших книжках.— Умиляешься, друг любезный, над хорошею книжкою, так не слишком пакости же и в жизни!

Благодаря Гоголю, Белинскому, Некрасову, Тургеневу, Достоевскому, Добролюбову и немногим другим, очень замечательным и добросовестным писателям наше общество уже додумалось до этого умозаключения. Стена между книжною мыслью и действительною жизнью пробита навсегда. Мысль писателя смотрит на действительную жизнь, а жизнь понемногу всасывает в себя питательные элементы теоретической мысли. То, что сделано на этом пути нашими предшественниками, значительно облегчает собою задачу современных писателей. Дайте обществу, что хотите, — научный трактат, газетный очерк каких-нибудь новейших событий, критическую статью по литературе, роман, стихотворение, — все равно: вам уж не будет надобности пробивать ледяную кору равнодушия, невнимания и непонимания; если есть в вашем труде что-нибудь полезное, общество посмотрит, и поймет, и подумает; и мысль ваша западет в ту глубину, в которой вырабатываются и созревают общественные убеждения. При таких условиях и жить стоит и работать можно. Есть уже точка опоры, с которой можно начать дело сближения между теоретическим знанием и вседневною жизнью. Общество уже не прочь от того, чтобы видеть в чтении путь к самообразованию, а в самообразовании — путь к практическому благоразумию и совершеннолетию. Давайте обществу материалы — оно их возьмет, и воспользуется ими, и скажет вам спасибо; но *давайте* непременно. Само собою, без содействия литературных посредников, общество не в силах пойти за материалами, разрыть их громаду, выбрать и усвоить себе именно то, что ему необходимо. Общество уже любит и уважает науку; но эту науку все-таки надобно *популяризировать*, и популяризировать с очень большим уменьем. Можно сказать без малейшего преувеличения, что популяризирование науки составляет самую важную, всемирную задачу нашего века. Хороший популяризатор, особенно у нас в России, может принести обществу гораздо больше пользы, чем даровитый исследователь. Исследований и открытий в европейской науке

набралось уже очень много. В высших сферах умственной аристократии лежит огромная масса идей; надо теперь все эти идеи сдвинуть с места, надо разменять их на мелкую монету и пустить их в общее обращение. Тогда только и можно будет оценить в полном объеме, с одной стороны, глубину, красоту и практическую силу научных идей, а с другой стороны, гибкость и плодовитость человеческого ума, который тогда впервые отдаст себе отчет в своих собственных подвигах. Это сближение мыслителей с обществом непременно поведет за собою сближение общества с народом, то сближение, которое при всяком другом образе действия, конечно, останется навсегда маниловскою фантазиею «Эпохи» и «Дня».

Необходимость популяризировать науку до такой степени очевидна, что, кажется, и распространяться об этом не следует. Не значит ли это унижать великую истину риторическими декламациями? Нет, совсем не значит. У нас и великие истины еще требуют доказательств. — У нас один писатель, и притом из молодых и притом бывший студент естественного факультета, доказывал недавно очень горячо и даже с некоторым озлоблением, что науку незачем популяризировать и что таким делом могут заниматься только шарлатаны и верхогляды. Этого писателя зовут г. Аверкиев, а горячится он в «Эпохе», во второй части своей статьи «Университетские отцы и дети» *. Этот г. Аверкиев, пламенный поклонник и неудавшийся подражатель покойного Аполлона Григорьева, очень сердится за что-то на Карла Фохта, по-видимому за то, что Фохт не похож на Григорьева. Рассердившись на Фохта, собственно, с этой специальной стороны, г. Аверкиев утверждает, что популярные сочинения этого ученого по естественным наукам никуда не годятся; а вслед за тем, разгуливаясь все шире да шире, г. Аверкиев возвещает нам, что популяризировать науку даже очень глупо. А доказательства предлагаются вот какие: во-первых, всякая научная истина сама по себе совершенно ясна, потому что она истина; во-вторых, философские сочинения Канта гораздо удобопонятнее, чем популярные статьи о философии г. Лаврова **. В-третьих, Льюис написал свою «Физиологию вседневной жизни безо всяких претензий на популярность, и книга эта оказалась гораздо лучше популярных «Физиологических писем» Карла Фохта. — Ах, какие бесподобные доказательства! Во-первых, всякая научная истина ясна только тогда, когда она изложена ясно. Что ясно для ученого, то может быть совершенно неясно для образованного человека в общепринятом разговорном значении этого слова. И всякую научную истину можно изложить так, что у вас от этой истины затрещит голова и потемнеет в глазах. Сотруднику эстетиче-

ского журнала не мешало бы, кажется, понимать, что внутреннее достоинство идеи и внешняя форма изложения — две вещи совершенно различные. Во-вторых, пример о Канте и о г. Лаврове замечателен по своей неудачности. Что Кант писал ясно, это — личное открытие или, вернее, изобретение г. Аверкиева. Впрочем, по его мнению, чего доброго, и г. Григорьев, которому он старается подражать, пишет ясно. Немцы, народ совершенно привычный к варварской туманности изложения, все-таки жалуются на Канта, что он писал самое капитальное из своих сочинений, «Критику чистого разума», самым тяжелым, деревянным, непонятным и даже схоластическим языком. Лучшее доказательство кантовской неясности заключается в том, что немцы раскусили «Критику чистого разума» через восемь лет * после ее выхода в свет. А своим обширным господством над умами всех образованных людей тогдашней Германии философия Канта обязана преимущественно философским статьям Шиллера, сочинениям Рейнгольда и усердным трудам многих других, более мелких популяризаторов. Если бы ясно было, так и незачем было бы так много разъяснять. Что Кант яснее г. Лаврова, об этом я не спорю. Но это доказывает только, что г. Лавров — прекрасный математик и очень ученый человек, но очень плохой популяризатор. Плохих популяризаторов на свете очень много, но выводить из этого простого факта заключение против популяризирования вообще способен только сотрудник «Эпохи». В-третьих, что Льюис писал свою «Физиологию» без стремления к популярности, это опять произвольная выдумка г. Аверкиева. А что «Физиология» Льюиса написана гораздо понятнее и занимательнее, чем «Физиологические письма» Фохта, это чистая правда. Но опять-таки что же из этого следует? То, что Льюис популяризирует лучше Фохта. Это несомненно. И Бюхнер также как популяризатор стоит выше Фохта. Я подразумеваю здесь «Физиологические картины», которые, по ясности и увлекательности изложения, далеко оставляют за собою «Физиологические письма». Я видел собственными глазами, что двадцатилетняя девушка, не имевшая никакого понятия о физиологии, с величайшим увлечением, почти не отрываясь от книги, прочитала три большие статьи из «Физиологических картин» Бюхнера. Эти три статьи были: «Сердце и кровь», «Воздух и легкие» и «Жизнь и теплота». Кто читал эту книгу Бюхнера, тот знает очень хорошо, что в ней нет и намека на те скандалезные пряности, которыми занимают своих читателей французские негодяи, подобные Дебе и Жуванселю **. Стало быть, девушка, незнакомая с физиологиею, была завлечена исключительно интересом предмета и мастерством изложения. Мне кажется, этот опыт говорит громче всяких умозрений, и писатель, достигающий

таких блестящих результатов, имеет полное право считаться образцовым популяризатором. Таким популяризатором может сделаться далеко не всякий желающий. При всем своем уме, при своем блестящем литературном таланте, при своих обширных занятиях Карл Фохт в этом отношении все-таки стоит ниже Бюхнера, которого он превосходит во всех других отношениях. Оно и понятно. По своему образованию Фохт — дельный натуралист. Но, по всему складу ума и характера, он — политический деятель. Его настоящее место не на профессорской кафедре, а на парламентской трибуне. Но когда надо просто рассказывать, излагать факты, тогда Фохт ясен, спокоен, точен и часто сух. Нет у него той ровной пластичности изложения, которая составляет одно из главных достоинств первоклассного популяризатора.

Популяризатор непременно должен быть художником слова, и высшая, прекраснейшая, самая человеческая задача искусства состоит именно в том, чтобы слиться с наукою и, посредством этого слияния, дать науке такое практическое могущество, которого она не могла бы приобрести исключительно своими собственными средствами. Наука дает материал художественному произведению, в котором все — правда и все — красота; самая смелая фантазия не может ничего придумать. Такие художественные произведения человек создаст еще впоследствии, когда он много поумнеет и еще очень многому выучится; но робкие попытки, превосходные для нашего времени, существуют в этом роде и теперь. Я могу указать на огромную книгу Брема «Иллюстрированная жизнь животных», о которой мы, впрочем, будем говорить с читателями нашего журнала довольно подробно в течение будущего года. Эта книга задумана в громадных размерах, написана самым простым и увлекательным языком, с удивительным знанием дела, с удивительным пониманием характера и ума различных животных и с самою здоровою, неподкрашенною любовью к природе и к жизни во всех ее проявлениях. Весь рассказ проникнут ровным, спокойно-веселым и постоянно-естественным юмором. Читаешь, и оторваться не хочется. Так читал я только в детстве романы Купера и «Трех мушкетеров». И к этому-то изложению, представьте себе, почти на каждой странице картины, рисованные с натуры превосходными художниками, сделавшими кругосветное путешествие, посетившими несколько зоологических садов в Европе и пользовавшимися советами первоклассных натуралистов. Читаешь характеристику какого-нибудь четвероногого чудака, посмотришь на его портрет и действительно видишь, и по роже, и по глазам, и по всей его фигуре, что он способен на все те штуки, которые приписывает ему Брем. Когда я приобрел себе эту книгу, которая, впрочем, далеко еще не доведена до конца, то я в те-

чение нескольких дней ни о чем не мог думать, кроме Брема. Просто ошалел от радости. И эту великую, именно великую книгу переводят на русский язык. И картины в ней будут совершенно такие же, как в немецком издании. Но — горе переводчикам, если они хоть сколько-нибудь обесцветят рассказ Брема. Это будет одно из тех литературных преступлений, которых не должно прощать общество. Если издатели догадаются после богатого издания с картинами выпустить другое, дешевое, на серой бумаге, без картин, то Брем проникнет в каждое грамотное семейство. Такая книга есть историческое событие в полном и буквальном смысле этого слова. Если Брем успеет описать все классы животного царства так, как он теперь описывает млекопитающих, то его книга останется на вечные времена не только в истории науки и литературы (это уже само собою разумеется), но и в истории общеевропейской народной жизни. Невозможно представить себе, какое море живой мысли и свежего чувства хлынет вместе с этою книгою в умы всего читающего человечества.

Если неразвитость общества требует, чтобы наука являлась перед ним в арлекинском костюме, с погремушками и с бубенчиками, — это не беда. Такой маскарад нисколько не унижает науку. Дельная и верная мысль все-таки остается дельною и верною. А если этой мысли, чтобы проникнуть в сознание общества, надо украситься прибаутками и подернуться щедринскою игривостью, пускай украшается и подергивается. Главное дело — проникнуть, а через какую дверь и какою походкою — это решительно все равно. Арлекинствовать можно и должно, если только арлекинство ведет к цели.

Иные читатели скажут, что все это вздор, что русская публика может читать серьезные книги и статьи без малейшей приправы арлекинства. Но я отвечу на это: господа, говорите за себя! Есть люди, стоящие ниже вас по развитию, и эти люди читают только то, что их забавляет, и они составляют в читающей массе большинство. Это видно, например, по тому, что публика выписывает журналы чисто ощупью. Лучший журнал, когда-либо существовавший в России, добролюбовский «Современник», имел блестящий успех; прекрасно! Но вслед за тем один из самых плоских русских журналов, «Время», имел также блестящий успех. Что за притча! Да и притчи никакой нет. Увидало дитя малое червонец: давай его сюда! цаца! — Увидало золоченый орех: и к ореху потянулось. Тоже цаца! — Ну, вот и надо, чтобы научные идеи всегда были размалеваны, как цацы. Пускай дитя малое играет этими цацами. Они помогут ему расти; а вырастет, так и увидит, что эта цаца — штука самая отменная. Но само собою разумеется, что арлекинствовать надо с большим, с очень большим уменьем. Играй и кувыркайся, как хочешь,

в своем изложении, но держи ухо востро, ни на одну секунду не теряй равновесия и ни под каким видом не допускай ни малейшего посягательства на то, что составляет жизнь и смысл твоей идеи. Шути, но так, чтобы каждая твоя шутка была строго рассчитана и чтобы совокупность твоих шуток выражала всю научную идею, которую ты хочешь провести в сознание твоих читателей, всю, как есть, без искажений и утаек. Если ты соблюдаешь постоянно это условие, — ты честный и полезный популяризатор. В противном случае ты поступаешь в категорию тех господ, которые, пуская в свет «Физиологию брака», «Тайные явления природы» и разные другие гнусности, прикрывают себя тем благовидным предлогом, что мы, дескать, просвещаем общество.

При недостатке осмотрительности, уменья и серьезности во взгляде на великую цель всей деятельности популяризатор очень легко может превратиться в литературного промышленника и унизить науку до проституции. Но эта проституция заключается не в смехе, не в игривости, не в юморе, а в бесцельности, в бестактности и в неразборчивости этого смеха, этой игривости и этого юмора. Когда смех, игривость и юмор служат средством, тогда все обстоит благополучно. Когда они делаются целью — тогда начинается умственное распутство. Для художника, для ученого, для публициста, для фельетониста, для кого угодно, для всех существует одно великое и общее правило: *идея прежде всего!* Кто забывает это правило, тот немедленно теряет способность приносить людям пользу и превращается в презренного паразита. Стоит только сравнить «Свисток» Добролюбова с полемическими статьями теперешнего «Современника», чтобы тотчас понять на живом примере, что значит *«идея прежде всего»* и что значит *«все прежде идеи»*. Конечно, шутливый тон в популярно-научных сочинениях составляет только временное явление. Когда все читающее общество сделается серьезнее в своем взгляде на чтение, тогда и тон изменится; но не следует изменять его слишком рано. Если две-три шутки на странице могут дать вашей статье двух-трех лишних читателей, то было бы очень негуманно и неблагоразумно с вашей стороны отталкивать от себя этих читателей серьезностью изложения, ради того, чтобы соблюсти в неприкосновенности какое-то отвлеченное и совершенно фантастическое понятие о величии и достоинстве науки. Величие и достоинство науки состоит исключительно в той пользе, которую она приносит людям, увеличивая производительность их труда и укрепляя природные силы их умов. Значение науки может только возвыситься, если о ней получат некоторое понятие даже те неразвитые два-три читателя, которые будут привлечены к вашей статье содержащимися в ней шутками. Но, кроме художественности,

кроме шутливого тона, популярное изложение должно отличаться еще и другими свойствами, которые останутся необходимыми даже и тогда, когда смех, игривость и юмор потеряют для общества свою теперешнюю обаятельность.

Я укажу здесь на две главные особенности, которыми популярное изложение всегда должно отличаться от строго-научного.

Во-первых, популярное изложение не допускает в течении мыслей той быстроты, которая совершенно уместна в чисто научном труде. Записные ученые, привыкшие ко всем приемам строгого мышления, ко всевозможным упражнениям умственных сил, могут следить без малейшего напряжения за мыслью исследователя, когда она, как белка, прыгает с одного предмета на другой, бросая читателям только легкие намеки на то, зачем и почему производятся эти быстрые переходы. Следя за этими эволюциями, ученый видит и понимает, что все это одна длинная цепь доказательств, связанная единством общей идеи и общей цели; он видит, что одна мысль логично развивается из другой; но простой читатель этого не увидит и станет в тупик. Писатель высказал одно положение, вывел из него другое, на этих двух построил третье и пошел шагать, а простой читатель только недоумевает: каким же образом второе вытекает из первого и почему возможен переход к третьему? Второе действительно не вытекает *непосредственно* из первого; эти два положения связываются между собою двумя или тремя промежуточными умозаключениями; но ученый писатель, уверенный в сообразительности своих товарищей по науке, выкидывает вон эти мостики мысли, которые действительно не прибавляют к ученому труду ничего нового и существенного. Но для читателя, не выучившегося прыгать, такое отсутствие мостиков составляет непреодолимое препятствие. На первой же странице он спотыкается, а уж на какой-нибудь пятой или шестой он решительно не знает, о чем это тут идет речь и зачем это все написано. При таких условиях серьезное чтение ведет за собою только головную боль и одурение. Популяризатор, разумеется, обязан избавить мысль своего читателя от всяких подобных прыжков. В популярном сочинении каждая отдельная мысль должна быть развита подробно, так, чтобы ум читателя успел прочно утвердиться на ней, прежде чем он пустится в дальнейший путь, к логическим следствиям, вытекающим из этой мысли. Если вы будете утомлять ум вашего читателя слишком быстрыми переходами, то получится тот же результат, который произвело бы отсутствие мостиков: читатель ошалеет и совершенно потеряет из виду общую связь ваших мыслей.

Во-вторых, популярное изложение должно тщательно избегать всякой отвлеченности. Каждое общее положение должно быть подтверждено осязательными фактами и пояснено частными примерами. Вот и я, повинуясь этому правилу, покажу на отдельном примере, каким образом популярное изложение должно смягчать быстроту и отвлеченность строго-научного языка. Представьте себе, что в научном сочинении находится следующая фраза: «Так как все математические суждения отличаются совершенно аналитическим характером, то, *разумеется,* чистая математика меньше всех остальных наук опирается на свидетельство опыта». И затем автор начинает уже выводить дальнейшие заключения из той мысли, что «математика меньше всех остальных наук опирается на свидетельство опыта». Но простой читатель стал в тупик. Черта с два тут *«разумеется»*! Почему же *аналитический характер* позволяет чистой математике *опираться на свидетельство опыта меньше всех остальных наук?* Ясное дело, что в нашей фразе заключаются два положения, связанные между собою союзами *так как* и *то.* Между этими двумя положениями должен существовать мостик, но мостик этот, для большей быстроты движения, выброшен вон, а вместо него вставлено проклятое слово *«разумеется»*, означающее собою смелый и ловкий прыжок возмужалой мысли. Популяризатор должен здесь прежде всего напомнить читателю, что такое *анализ* и в чем состоит его существенное отличие от *синтеза.* Потом он должен взять два или три математические суждения — чем проще, тем лучше — и показать на этих примерах, в чем состоит типическая особенность всякого математического суждения и чем эти суждения отличаются, например, от истин химии или физиологии. Таким образом выяснится *аналитический характер* математических суждений. Вместе с тем выяснится и отношение математики к опыту. Читатель поймет, что при *анализе* только исходная точка берется из опыта, а при *синтезе*, напротив того, весь процесс мысли постоянно опирается на опыт. Ясно, стало быть, что чем исключительнее преобладает в какой-нибудь науке элемент анализа, тем незначительнее становится в ней участие опыта.

Популяризатор должен постоянно предвидеть все вопросы, сомнения и возражения своего читателя; он сам должен ставить и разрешать их; такая тактика имеет двоякую выгоду: во-первых, предмет освещается со всех сторон; во-вторых, вопросы и возражения прерывают собою монотонное течение речи, поддерживают и напрягают постоянно внимание читателя, который, в противном случае, легко может вдаться в полумашинальное чтение, то есть пропускать через свою голову отдельные мысли, не вдумываясь в их отношение к целому. Не только группировка мыслей и общий тон изложения, но

даже самый язык, выбор слов и оборотов имеют очень значительное влияние на успех или неуспех популярно-научного сочинения. Удачное выражение, меткий эпитет, картинное сравнение чрезвычайно много прибавляют к тому удовольствию, которое доставляется читателю самим содержанием книги или статьи. А так как просвещать читателя помимо его собственной воли нет ни малейшей возможности, то и не следует ни под каким видом пренебрегать теми техническими средствами языка, которые могут увеличить удовольствие читателя, не вредя основной идее вашего труда. Бентам доказывает очень подробно и чрезвычайно убедительно, что законы должны быть написаны не только совершенно ясным и простым, но еще, кроме того, изящным языком. С этим мнением трудно не согласиться. В самом деле, в настоящее время нет на свете ни одной страны, в которой большинство грамотных людей имело бы совершенно ясное понятие о законах своего отечества. От этих законов зависит жизнь, честь, собственность, гражданское положение и семейное спокойствие, словом, все земное благополучие каждой отдельной личности, а между тем их все-таки почти никто не знает, кроме судей и адвокатов. Можно себе представить, сколько невольных преступлений, сколько бестолковых процессов, какая трата времени, сил, денег происходят от этого незнания. А чем же объясняется самый факт этого удивительного незнания? Да просто тем, что свод законов совершенно справедливо считается у всех народов земного шара, имеющих какой-нибудь свод, самою скучною книгою, какую только можно выдумать и написать. А происходит ли эта невыносимая скучность свода законов от самого содержания этой книги? Составляет ли она необходимую принадлежность самого предмета? Ничуть не бывало. Закон определяет отношения между людьми, устанавливает их права и обязанности. Трудно даже придумать что-нибудь интереснее этого предмета. Но этот предмет превращен в сухой скелет педантизмом средневековых юристов и остался в своем засушенном положении по милости современных законоведов, робеющих до сих пор перед призраками старых авторитетов. Бентам доказал теоретически и, что еще гораздо важнее, показал на практике, своим собственным примером, что можно писать живо и увлекательно не только исследования по философии права, но даже текст кодекса, статьи свода законов. По мнению Бентама, самый текст закона должен быть написан коротко и ясно; закон приказывает или запрещает, но не рассуждает. Но, вслед за этою каноническою частью каждой отдельной статьи, должен следовать комментарий, в котором объясняется значение, необходимость, целесообразность и причина данного закона. Совокупность этих комментариев составит, по мнению Бентама,

полный и чрезвычайно интересный кодекс нравственной философии. И книга, вмещающая в себе такой кодекс, сделается настольною книгою в каждом грамотном семействе; по этой книге отец сам будет объяснять своим детям законы той страны, в которой им суждено жить и действовать; благодаря таким комментариям закон ляжет в основание самого обыкновенного воспитания. Вследствие этого бо́льшая часть непроизводительных юристов принуждена будет заняться полезным трудом. Но все это возможно только в том случае, если законы будут изложены легким, простым и изящным языком. Иначе никакая философская глубина комментариев не принудит общество читать и изучать свод законов. В общей массе люди чрезвычайно легкомысленны; они всегда делают то, что им приятно, и очень редко делают то, что им полезно. Все понимают как нельзя лучше, что знание законов необходимо; все знают, что незнанием законов никто отговариваться не может; и, однако, почти никому в голову не приходит почитать в часы досуга и отдохновения свод законов. После этого есть ли хоть малейшая возможность ожидать, что люди примутся читать популярно-научные сочинения, если эти сочинения не будут доставлять им приятного препровождения времени? Ведь как ни велика польза научных знаний, а все-таки эта польза далеко не так очевидна, как польза законоведения. Против науки вы услышите много голосов, даже в печати, а уж против изучения законов не возразят ни слова ни купчиха Кабанова, ни Виктор Ипатьевич *, ни даже г. Катков. — Ясно, стало быть, что внешняя форма популярного изложения имеет громадную важность.

XXXIV

После всего, что я говорил о популяризировании науки, у читателя, по всей вероятности, зародился в уме естественный вопрос: какие же именно науки необходимо популяризировать? В общих чертах читатель, разумеется, уже знает мой образ мыслей; он знает, что я не укажу ни на санскритскую грамматику, ни на египетскую археологию, ни на теорию музыки, ни на историю живописи. Но если читатель полагает, что я буду рекомендовать ему преимущественно технологию, практическую механику, геогнозию или медицину, то он ошибается. Наука, слившаяся уже с ремеслом, наука прикладная, конечно, приносит обществу громадную и неоспоримую пользу, но популяризировать ее нет ни надобности, ни возможности. Технологи, геогносты, механики необходимы для общества, но люди, имеющие общие понятия о технологии, геогнозии и механике, никому и ни на что не нужны. Словом, при-

кладные науки должен изучать совершенно основательно каждый человек, желающий обратить их в свое хлебное ремесло. Кто изучает науку основательно, тот, конечно, обращается к самим источникам науки, а не к популярным сочинениям. Стало быть, нуждаются в популярной обработке только те отрасли знаний, которые, не слившись с специальным ремеслом, дают каждому человеку вообще, без отношения к его частным занятиям, верный, разумный и широкий взгляд на природу, на человека и на общество. Разумеется, здесь, как и везде, на первом плане стоят те науки, которые занимаются изучением всех видимых явлений: астрономия, физика, химия, физиология, ботаника, зоология, география и геология.

Превосходство естественных наук над всеми остальными накоплениями знаний, присвоивающими себе также титул науки, до такой степени очевидно, и мы уже так часто и с таким горячим убеждением говорили о значении этих наук, что теперь мне незачем о них распространяться. Замечу только, что под именем *географии* я понимаю, разумеется, не перечисление государств, а общую картину земного шара и определение той связи, которая существует между землею и ее обитателями.— Но естественные науки, при всем своем великом значении, не исчерпывают собою всего круга предметов, о которых человеку необходимо составить себе понятие. Человек должен знать человека и общество. Физиология показывает нам различные отправления человеческого организма; сравнительная анатомия показывает нам различия между человеческими расами; но обе эти науки не дают нам никакого понятия о том, как человек устраивает свою жизнь и как он постепенно подчиняет себе силы природы силою своего ума. Оба эти вопроса имеют для нас капитальную важность; но те отрасли знания, от которых мы должны ожидать себе на них ответа,— история и статистика,— до сих пор еще не достигли научной твердости и определенности. История до сих пор не что иное, как огромный арсенал, из которого каждая литературная партия выбирает себе годные аргументы для поражения своих противников. Превратится ли история когда-нибудь в настоящую науку, — это неизвестно и даже сомнительно. Научная история была бы возможна только в том случае, если бы сохранились все материалы для составления подробных статистических таблиц за все прошедшие столетия. Но о таком богатстве материалов нечего и думать. Поэтому для изучения человека в обществе остается только внимательно вглядываться в современную жизнь и обмениваться с другими людьми запасом собранных опытов и наблюдений. Статистика уже дала нам множество драгоценных фактов; она подрывает веру в пригодность пенитенциарной системы;

она цифрами доказывает связь между бедностью и преступлением; но статистика только что начинает развиваться, и мы имеем полное основание ожидать от нее в ближайшем будущем в тысячу раз больше самых важных практических услуг, чем сколько она оказала их нам до сих пор.

Статья моя кончена. Читатель видит из нее, что все стремления наших реалистов, все их радости и надежды, весь смысл и все содержание их жизни пока исчерпываются тремя словами: *«любовь, знание и труд»*. После всего, что я говорил выше, эти слова не нуждаются в комментариях.

РАЗРУШЕНИЕ ЭСТЕТИКИ

I

Когда какая-нибудь новая мысль только что начинает прокладывать себе дорогу в умы людей, тогда неизбежная борьба старых и новых понятий начинается обыкновенно с того, что представители новой мысли подводят итоги всему запасу убеждений, выработанных прежними деятелями, превратившихся в общее достояние и господствующих над умами образованной массы. Это подведение итогов необходимо для того, чтобы строгий приговор, долженствующий поразить всю отжившую систему понятий, не показался обществу голословным и бездоказательным набором смелых парадоксов. Подводя итоги, представитель новой идеи принужден становиться на точку зрения своих противников, хотя он знает очень хорошо, что эта точка зрения никуда не годится. Он принужден поражать своих противников их собственным оружием, хотя он знает очень хорошо, что тотчас после своей победы он изломает и бросит навсегда это старое и заржавленное оружие. Если бы представитель новой идеи поступил иначе, если бы он, не обращая внимания на старые нелепости, прямо начал проповедовать свою теорию, то защитники нелепости заговорили бы громко и смело, что он ничего не знает и не понимает. Этот говор был бы очень неоснователен, но так как численный перевес был бы на стороне защитников нелепости, то общество поверило бы неосновательному говору, и успех новой мысли был бы в значительной степени ослаблен или замедлен этим обстоятельством. Значит, на первых порах надо говорить с филистерами на филистерском языке и надо подходить к ним с некоторыми предосторожностями, потому что филистеры — народ пугливый и всегда готовый поднять бестолковый и оглушительный гвалт, очень вредный для общества и для всяких новых идей. Но когда филистеры поражены и доведены до молчания, когда новая идея уже пустила

корень в обществе и начала развиваться, тогда все предварительные работы, произведенные для посрамления филистеров, уходят в тихую область истории, вместе с тою старою системою, которую эти работы подкопали и разрушили. Случается иногда, что на эти предварительные и неизбежно эфемерные работы уходит целая жизнь очень замечательных деятелей. Книга «Эстетические отношения искусства к действительности», написанная десять лет тому назад, совершенно устарела не потому, что ее автор был в то время не способен написать что-нибудь более долговечное, а именно потому, что автору надо было вначале опровергать филистеров доводами, заимствованными из филистерских арсеналов. Автор видел, что эстетика, порожденная умственною неподвижностью нашего общества, в свою очередь поддерживала эту неподвижность. Чтобы двинуться с места, чтобы сказать обществу разумное слово, чтобы пробудить в расслабленной литературе сознание ее высоких и серьезных гражданских обязанностей, надо было совершенно уничтожить эстетику, надо было отправить ее туда, куда отправлены алхимия и астрология. Но чтобы действительно опрокинуть вредную систему старых заблуждений, надо приниматься за дело осторожно и расчетливо. Если сказать обществу прямо: «Бросьте вы эти глупости; у вас есть дела гораздо поважнее и поинтереснее», — то общество изумится, испугается вашей дерзости, не поверит вам и примет ваш разумный совет за гаерскую выходку. Поэтому надо говорить с обществом в том тоне, к которому оно привыкло. Надо говорить так: «Вы, господа, уважаете эстетику. Ах, и я тоже уважаю эстетику. Займемтесь же вместе с вами эстетическими исследованиями». Привлекши к себе таким образом сердце доверчивого читателя, лукавый последователь новой идеи, конечно, займется своими эстетическими исследованиями так успешно, что разобьет всю эстетику на мелкие кусочки, потом все эти мелкие кусочки превратит поодиночке в мельчайший порошок и, наконец, развеет этот порошок на все четыре стороны. «Куда ж ты, озорник, девал мою эстетику, которую ты уважаешь?» — спросит огорченный читатель, наказанный за свою доверчивость. «Улетела твоя эстетика, — ответит писатель, — и давно пора тебе забыть о ней, потому что не мало у тебя всяких других забот». — И вздохнет читатель и поневоле примется за социальную экономию, потому что эстетика действительно разлетелась на все четыре стороны благодаря эстетическим исследованиям коварного писателя. Когда читатель будет таким образом обуздан и посажен за работу, тогда, разумеется, эстетические исследования, погубившие эстетику, потеряют всякий современный интерес и останутся только любопытным историческим памятником авторского коварства.

II

Автор «Эстетических отношений» уже на III странице своего введения показывает издали догадливому читателю тот результат, к которому он желает прийти. «Уважение к действительной жизни, — говорит он, — недоверчивость к априорическим, хотя бы и приятным для фантазии, гипотезам — вот характер направления, господствующего ныне в науке. Автору кажется, что необходимо привести к этому знаменателю и наши эстетические убеждения, если еще стоит говорить об эстетике». *Если еще стоит говорить об эстетике* — оговорка очень замечательная! Всякий немедленно поймет из этой оговорки, что вопрос об эстетике был уже давно решен в уме этого писателя, когда он принимался за свою магистерскую диссертацию. Автор давно понимает, что говорить об эстетике стоит только для того, чтобы радикально уничтожить ее и навсегда отрезвить тех людей, которых морочит философствующее и тунеядствующее филистерство. Поэтому автор, разумеется, имел в виду не основание новой, а только истребление старой и вообще всякой эстетической теории.

Эстетика, или наука о прекрасном, имеет разумное право существовать только в том случае, если *прекрасное* имеет какое-нибудь самостоятельное значение, независимое от бесконечного разнообразия личных вкусов. Если же прекрасно только то, что нравится нам, и если вследствие этого все разнообразнейшие понятия о красоте оказываются одинаково законными, тогда эстетика рассыпается в прах. У каждого отдельного человека образуется своя собственная эстетика, и следовательно, общая эстетика, приводящая личные вкусы к обязательному единству, становится невозможною. Автор «Эстетических отношений» ведет своих читателей именно к этому выводу, хотя и не высказывает его совершенно открыто. «Здоровый человек, — говорит автор, — встречает в действительности очень много таких предметов и явлений, смотря на которые не приходит ему в голову желать, чтобы они были не так, как есть, или были лучше. Мнение, будто человеку непременно нужно «совершенство», — мнение фантастическое, если под «совершенством» понимать такой вид предмета, который бы совмещал всевозможные достоинства и был чужд всех недостатков, какие от нечего делать может отыскать в предмете фантазия человека с холодным или пресыщенным сердцем. «Совершенство» для меня то, что для меня вполне удовлетворительно в своем роде» (стр. 52). Таким образом, «совершенство» для меня одно, для вас — другое, для Ивана — третье, для Марьи — четвертое и так далее, до бесконечности, потому что каждая отдельная личность является единственным и верховным судьею в вопросе о том, что для нее

удовлетворительно. Развивать свой вкус для того, чтоб сделать себя взыскательным и разборчивым, — автор считает делом совершенно излишним. Он называет «здоровым» того человека, который удовлетворяется легко; в прихотливой строгости требований он видит только вредные последствия праздности, холодности и пресыщенности.

Само собою разумеется, что все эти мнения автора относятся к области прекрасного, к той области, в которой недовольство действительностью не может повести за собою ничего, кроме бесплодного страдания. В самом деле, представьте себе, что созерцание рафаэлевских картин и древних статуй до такой степени воспламенило ваше воображение, что все живые женщины, с которыми вы встречаетесь, кажутся вам некрасивыми. Какая же польза получится из вашего недовольства для вас самих или для других людей? Русские женщины действительно не так красивы, как те итальянки, которых видел Рафаэль, или как те гречанки, которых знали древние скульпторы; но как бы ни было велико ваше недовольство, русские женщины от него нисколько не похорошеют, и вы, со всем вашим недовольством, все-таки до скончания века не придумаете ничего такого, что могло бы увеличить их красоту. Значит, вы же сами останетесь в чистом проигрыше, потому что будете совершенно бесполезно хмуриться и тосковать там, где другие будут любоваться, влюбляться и наслаждаться. Недовольство действительностью, совершенно бесплодное и нелепое, когда оно обращено на красоту, становится, напротив того, очень полезным и уважительным чувством, когда оно направлено против житейских неудобств, устроенных руками и умами людей. Тут недовольство ведет за собою преобразовательную деятельность и, следовательно, приносит очень реальные и осязательные результаты. Всякая эстетика, старая, или новая, или новейшая, строится непременно на том основном предположении, что люди должны усиливать, очищать и совершенствовать в себе свое врожденное стремление к красоте. Кто отвергает это основное предположение, тот отвергает не какие-нибудь частные ошибки той или другой эстетики, а самый принцип, самый фундамент всякой эстетики вообще. Автор «Эстетических отношений» поступает именно таким образом. Видя, что здоровый человек удовлетворяется такими предметами и явлениями, в которых можно заметить и неправильности очертаний, и недостаточное богатство красок, и разные другие шероховатости, автор становится безусловно на сторону этого здорового человека и вовсе не требует, чтобы этот здоровый человек отвернулся, во имя высшей красоты, от того, что доставляет ему безвредное и освежительное наслаждение. Этот здоровый человек доволен тем, что он видит перед собою; и прекрасно, больше

ничего не нужно; незачем мудрить над этим человеком; незачем отравлять ему его естественное и законное наслаждение; чем скромнее его требования, тем лучше для него и для всех, потому что тем больше у него будет шансов наслаждаться часто, не причиняя никому ни хлопот, ни неприятностей.

Вот процесс мысли, скрытый в тех словах автора, которые я выписал выше; так как, по естественному развитию этих мыслей, каждый здоровый человек признается высшим авторитетом в деле эстетики, то, очевидно, эстетика, как наука, становится такою же нелепостью, какою была бы, например, наука о любви. Каждый любит по-своему, не справляясь ни с какими учеными книжками. И каждый наслаждается всеми впечатлениями жизни также по-своему, также не справляясь ни с какими учеными книжками. Следовательно, наука о том, как и чем должно наслаждаться, превращается в бессмыслицу.

III

«Прекрасное, — говорит автор, — есть жизнь; прекрасно то существо, в котором видим мы жизнь такою, какова должна быть она по нашим понятиям; прекрасен тот предмет, который выказывает в себе жизнь или напоминает нам о жизни» (стр. 7).

Это определение до такой степени широко, что в нем совершенно тонет и исчезает то, что называется красотою в обыкновенном разговорном языке. Это определение показывает ясно, что автор, как мыслящий человек, относится совершенно равнодушно к прекрасному в узком и общепринятом смысле этого слова. По этому определению, всякий вполне здоровый и нормально развившийся человек прекрасен; все, что не изуродовано в большей или в меньшей степени, то прекрасно. Это может показаться парадоксом, а между тем это совершенно верно. Когда дело идет, например, о человеческой физиономии, то, разумеется, вопросы о том, велик или мал рот, толст или тонок нос, густы или жидки волосы, словом, все вопросы, касающиеся, собственно, до так называемой писаной красоты, могут быть интересны только для гоголевской Агафьи Тихоновны и для людей обоего пола, стоящих на одном уровне развития с этою прекрасною девицею. С тех пор как солнце светит и весь мир стоит, ни толстый нос, ни большой рот, ни жидкие или рыжие волосы не помешали никому сделаться полезным и великим человеком; кроме того, они даже никому не помешали пользоваться всеми наслаждениями взаимной любви. Чем дольше человечество живет на свете и чем умнее оно становится, тем равнодушнее оно отно-

сится к чистой красоте и тем сильнее оно дорожит теми атрибутами человеческой личности, которые сами по себе составляют деятельную силу и реальное благо. Цветущее здоровье и сильный ум кладут свою печать на человеческую физиономию, жизнь мысли, чувства и страстей оставляет на ней свои следы; эта печать и эти следы заставляют каждого умного человека совершенно забыть о том, велик ли рот, толст ли нос и жидки ли волосы. Но здоровье и ум существуют не для того, чтобы класть свою печать на физиономию; человек живет, мыслит, чувствует и волнуется также не для того, чтобы приобретать себе то или другое выражение лица, печать здоровья и ума, и следы пережитых впечатлений ложатся на лицо без нашего ведома и помимо нашего желания; здоровье, ум и впечатления жизни имеют для нас свое самостоятельное значение, совершенно независимое от того выражения, которое они придают нашим физиономиям, и гораздо более важное, чем это выражение. Когда мы видим по лицу человека, что он здоров, умен и много пережил на своем веку, то его лицо нравится нам не как красивая картинка, а как программа наших будущих отношений к этому человеку. Мы, судя по лицу, расположены сблизиться с этим человеком, потому что его лицо говорит нам то, чего не мог бы нам сказать самый безукоризненный греческий профиль. Глядя на это лицо, мы невольно угадываем и предчувствуем в его обладателе энергического, твердого, верного, умного и полезного друга. Когда лицо нравится нам таким образом, как намек на ум, характер и биографию данного субъекта, тогда, очевидно, эстетика остается ни при чем. Мы смотрим на лицо человека так, как, при покупке серебряной или золотой вещи, мы смотрим на пробу. Проба не придает вещи никакой красоты; она только ручается за ее ценность. При том определении прекрасного, которое дает нам автор, эстетика, к нашему величайшему удовольствию, исчезает в физиологии и в гигиене.

Я не буду следить за борьбою нашего автора с немецким эстетиком Фишером по вопросу о прекрасном в действительности. Нам нет дела до этой борьбы, потому что для нас в настоящую минуту не имеют решительно никакого значения все глубокомысленные умозрения Фишера и других немецких идеалистов. Результат борьбы состоит в том, что, по мнению нашего автора: «прекрасное в объективной действительности вполне прекрасно и совершенно удовлетворяет человека». А если это так, то, разумеется, «искусство рождается вовсе не от потребности человека восполнить недостатки прекрасного в действительности». Выражаясь другими словами, цель искусства состоит не в том, чтобы создать такое чудо красоты, которого нет и не может быть в природе. В чем же состоит

цель искусства? Чтобы отвечать на этот вопрос, автор перебирает все различные отрасли искусства, и на этом анализе я считаю не лишним остановиться *.

IV

Автор начинает свой анализ с архитектуры и с первого же шага ставит господам эстетикам убийственную дилемму. По его мнению, надо или выключить архитектуру из числа искусств, или причислить к искусствам садоводство, мебельное, модное, ювелирное, лепное мастерство и вообще «все отрасли промышленности, все ремесла, имеющие целью удовлетворять вкусу или эстетическому чувству». Если какой-нибудь портик или палаццо есть произведение искусства на том основании, что он построен красиво и радует глаз правильностью своих форм, то на таком же точно основании надо будет назвать произведениями искусства — аллею с подстриженными деревьями, и кресло с резною или точеною спинкою, и фарфоровый чайник с закорюченною ручкою, и штуку обоев, расписанных яркими красками, и дамскую шляпку, украшенную цветами, перьями и блондою, и дамскую прическу, придуманную и исполненную каким-нибудь знаменитым artiste en cheveux[1]. Мало того, даже клюквенный кисель, вылитый в кухонную форму, оказывается также произведением искусства. В самом деле, кисель можно было бы подать на стол в виде сплошной бесформенной массы, лежащей на блюде; он был бы точно так же вкусен и удобоварим; но его подают в виде башни с зубчиками и фестончиками, и это делается именно потому, что человек не есть грубый скот; ему мало того, чтобы отправить кисель в желудок; ему хочется, кроме того, погрузиться в созерцание зубчиков и фестончиков и, уничтожая эти фестончики и зубчики, умиляться душою над непрочностью земной красоты. Таким образом, кисель, вылитый в форму, не только удовлетворяет эстетическому чувству обедающего человека, но даже пробуждает в его отзывчивой душе высокие размышления, точно такие же размышления, какие обыкновенно обуревают впечатлительного путешественника, созерцающего какой-нибудь обвалившийся портик времен Септимия Севера или какой-нибудь опустелый палаццо венецианского патриция. Значит, ясно, что архитектура не имеет ни малейшего права обитать в таких хоромах, в которые, по распоряжению непоследовательных эстетиков, не допускаются ее родные сестры и ближайшие родственницы.

---

[1] Буквально: артистом по части волос, то есть парикмахером *(франц.)*.— *Ред.*

Французы давно это поняли, и поэтому парикмахеры называются у них artistes en cheveux, и наш знаменитый мебельный мастер, г. Тур, наверное посмотрел бы на вас с глубоким презрением, если бы вы вздумали оспаривать у него право на титул художника. Так оно действительно и должно быть, если сущность, цель и оправдание искусства заключаются в его стремлении к красоте. Тогда и старуха, которая белится и румянится перед зеркалом, окажется художником, превращающим свою собственную особу в художественное произведение.

«Все отрасли промышленности, — говорит наш автор, — все ремесла, имеющие целью удовлетворять вкусу или эстетическому чувству, мы признаем искусствами в такой же степени, как архитектуру, когда их произведения замышляются и исполняются под преобладающим влиянием стремления к прекрасному и когда другие цели (которые всегда имеет архитектура) подчиняются этой главной цели.

Совершенно другой вопрос о том, до какой степени достойны уважения произведения практической деятельности, задуманные и исполненные под преобладающим стремлением произвести не столько что-нибудь действительно нужное или полезное, сколько произвести что-нибудь прекрасное. Как решить этот вопрос, — не входит в сферу нашего рассуждения; но как решен будет он, точно так же должен быть решен вопрос и о степени уважения, которой заслуживают создания архитектуры в значении чистого искусства, а не практической деятельности. Какими глазами смотрит мыслитель на кашемировую шаль, стоящую 10 000 франков, на столовые часы, стоящие 10 000 франков, такими же глазами должен смотреть он и на изящный киоск, стоящий 10 000 франков. Быть может он скажет, что все эти вещи — произведения не столько искусства, сколько роскоши; быть может, он скажет, что истинное искусство чуждается роскоши, потому что существеннейший характер прекрасного — простота» (стр. 85).

Мыслитель будет совершенно прав, если посмотрит с презрением на шаль, на часы и на киоск, но он будет совершенно неправ, когда начнет утверждать, что *истинное искусство чуждается роскоши*. Истинному искусству нет решительно никакого дела до экономических соображений. Истинное искусство есть чужеядное растение, которое постоянно питается соками человеческой роскоши. Являясь всегда и везде неразлучным спутником роскоши, оно никак не может ее чуждаться. И Микель-Анджело и Рафаэль расписывали своими фресками потолки и простенки папского дворца, подобно тому как различные московские художники украшают «пукетами и амурами» стены тех апартаментов, в которых Лазарь Елизарыч Подхалюзин наслаждается радостями семейной жизни с

своею супругою, Олимпиадою Самсоновною, урожденною Большовою. Фрески Рафаэля, по мнению такого чистокровного и даровитого эстетика, как Анри Тэн*, не имеют почти никакого самостоятельного значения. Они составляют просто дополнение архитектуры. «В самом деле, —рассуждает Тэн,— отчего же фрескам и не быть дополнением архитектуры? Не ошибочно ли рассматривать их отдельно? Чтобы понимать идеи живописца, надо становиться на его точку зрения. А Рафаэль, разумеется, смотрел на всю задачу именно таким образом. «Пожар в Борго» составляет украшение арки, которую ему поручено было чем-нибудь наполнить. «Парнас» и «Освобождение св. Петра» украшают простенки над дверью и над окном, и их место обязывает их принять известную форму. Эти картины не приставлены к стенам здания; они сами составляют часть здания; они облекают здание так, как кожа облекает тело. Если они принадлежат к архитектуре, то как же им не подчиняться архитектурным требованиям?..» «Вот,— объясняет он далее, — арка окна выгибается величественно и просто; линия этой арки благородна (noble!), и бордюра из лепных украшений сопровождает ее прекрасную округлость, но места по бокам и наверху остаются пустыми; надо их наполнить, а для этого годятся только фигуры, не уступающие архитектуре в полноте и серьезности; лица, предающиеся увлечению страсти, составили бы диссонанс; здесь не может быть места беспорядку естественных групп. Надо, чтобы действующие лица выравнивались сообразно с высотою простенка; на верху арки должны стоять маленькие дети или согнувшиеся фигуры, а по бокам большие, вытянутые во весь рост» [1].

А ведь мы, право, не умеем ценить достоинств нашей отечественной литературы; ведь у нас даже в эстетической «Эпохе» или в столь же эстетическом «Атенее» были немыслимы словоизвержения о том, что «la ligne est noble» [2] и что «les personnages s'étagent selon la hauteur du panneau» [3]. А у французов это — сплошь и рядом, так что даже самый ревностный реалист начинает конфузиться за автора только тогда, когда ему, по какому-нибудь странному случаю, приводится переводить эти деликатесы на русский язык.

Как бы то ни было, а из слов Тэна все-таки видно очень ясно, что истинное искусство с величайшею готовностью превращало себя в лакея роскоши. Художник подчинялся всем

---

[1] «L'Italie et la vie italienne» («Revue des deux Mondes», 1865, 1 janvier). [«Италия и итальянская жизнь» («Ревю де дё монд», 1865, 1 января) *(франц.)*. — *Ред.*]

[2] Линия благородна *(франц.)*. — *Ред.*

[3] Действующие лица располагаются друг над другом сообразно с высотою плоскости *(франц.)*. — *Ред.*

требованиям роскоши так раболепно, что соглашался уродовать в угоду им свои картины, соглашался расставлять группы по ранжиру,—словом, весьма охотно проституировал свою творческую мысль. Может ли мыслитель сказать после этого, что *истинное искусство чуждается роскоши?* Если же мыслитель решится выгнать из храма *истинного искусства* Рафаэля Санцио, то, спрашивается, кто же останется в этом храме после изгнания главного жреца? И спрашивается еще, не превратится ли тогда этот храм *истинного искусства* в мастерскую человеческой мысли, в которой исследователи, писатели и рисовальщики, каждый по-своему, будут стремиться к одной великой цели — к искоренению бедности и невежества?

В уме автора «Эстетических отношений» это превращение совершилось давным-давно; но в 1855 году наше общество было еще совершенно не приготовлено к пониманию таких плодотворных идей; поэтому автору и приходится, до поры до времени, оставлять в неприкосновенности какой-то призрак *истинного искусства*, в существование которого он, человек, осмелившийся заговорить в эстетическом трактате о *10 000 франков,* уже нисколько не верит.

V

Выбрасывая архитектуру из храма *истинного искусства,* автор «Эстетических отношений» не считает нужным даже упомянуть мимоходом о том безбрежном море фраз, которое изливают насчет архитектурных памятников разные туристы и дилетанты, считающие себя любителями и ценителями изящного во всех его проявлениях. Автор совершенно прав в своем спокойном презрении к этим фразам; возражать против них серьезно нет никакой возможности, а смеяться над ними очень неудобно в таком труде, который должен был подвергнуться суду ученого ареопага. Но так как литературные враги автора могут прикинуться, будто они принимают его презрительное молчание за доказательство его неведения или его неумения опровергнуть фразерство дилетантов, — то я брошу здесь беглый взгляд на несостоятельность этого фразерства.

Каждому читателю случалось, конечно, не раз слышать и читать возгласы о том, что архитектура такого-то века и такого-то народа воплотила в себе всю жизнь, все миросозерцание, все духовные стремления этого века и этого народа. Французские историки и туристы особенно бойко и самоуверенно умеют читать историю и мысли отживших народов в каменных сводах, колоннах, портиках, капителях, фронтонах и разных других архитектурных украшениях. У этих господ

на каждом шагу встречаются выражения: «гранитная поэма», «эпопея из мрамора»; эти выражения прикладываются ими к очень большим зданиям, вроде Колизея, Ватикана или собора св. Петра; если бы они были последовательны, то маленькие строения, с претензиями на элегантность, должны были бы называться на их фигурном языке—мадригалами из кирпича или сонетами из дуба.

Если поверить этим господам на слово, то окажется, что им для основательного изучения прошедшего совсем не нужны письменные документы; они берутся угадать и рассказать вам всю подноготную на основании мраморных поэм и гранитных эпопей. Приведите такого господина в древний греческий храм и предупредите его заранее, что это — точно греческий храм, ваш господин сию минуту начнет вам объяснять, что во всем характере и во всех отдельных подробностях архитектуры отразилась светлая и гармоническая полнота греческого духа. И столь усладительно начнет он вам повествовать о греческом духе, и такую элегическую грусть он на себя напустит по тому случаю, что древние греки все померли, и такую он перед вами развернет картину олимпийских игр или элевзинских таинств, что вы совсем растаете и припишете все его красноречие чудотворному влиянию греческого духа, замурованного в стены, в колонны и в своды древнего храма. Приведите этого господина в Алгамбру и скажите ему, что она была построена в таком-то веке, таким-то калифом, — сию минуту польются увлекательные речи о пылкости арабской фантазии. А в готический собор лучше уж совсем не водите вашего словоохотливого туриста, — тут уж конца не будет чтению гранитных поэм; в каждом стрельчатом окошке он будет усматривать выражение средневекового идеализма, стремившегося оторваться от земли и улететь в пространство эфира. Словом, турист всегда будет угадывать верно, по той простой причине, что он, как человек довольно начитанный, будет всегда знать заранее, *что именно* в данном случае должно быть угадано. Если мы знаем заранее, что такое-то здание было построено тогда-то, таким-то человеком, для такого-то употребления, то, разумеется, входя в это здание, мы невольно вспоминаем о том, как жил этот человек, что он делал, что он думал. А так как большинство людей не умеет анализировать свои собственные впечатления, то этим людям и кажется, что их воспоминания расшевеливаются в них именно самою *формою* здания и что, следовательно, эта форма находится в необходимой внутренней связи с жизнью, с деятельностью и с образом мыслей того человека, о котором приходится вспоминать.

Несостоятельность этого мнения может быть доказана совершенно очевидно и осязательно посредством анализа неко-

торых других, совершенно аналогических процессов нашей мысли. Показывают вам, например, картину, на которой нарисовано несколько мужчин и несколько женщин; физиономии у них очень молодые, но волосы — белые как снег; вы, конечно, тотчас соображаете, что они напудрены, и мысль ваша немедленно переносится в XVIII столетие. Пудра и XVIII столетие — два представления, неразрывно связанные между собою в нашем уме; мы знаем, что мода эта существовала именно тогда; мы знаем, что она не существовала ни в какое другое время; мы видели множество картин и портретов, на которых люди XVIII века представлены с напудренными головами, и таким образом мы совершенно незаметно и нечувствительно привыкли к той мысли, что пудра действительно характеризует собою XVIII столетие. Но кто же, в самом деле, решится утверждать, что эта странная мода находится в необходимой внутренней связи с жизнью, с деятельностью и с образом мыслей тогдашних людей? В этой моде есть, конечно, одна черта, характеризующая собою тогдашнее общество; но эту черту мы находим во многих других модах; эта черта заключается в искусственности и вычурности этой моды; эта искусственность и вычурность показывают нам, что преобладающим значением пользовалось в тогдашней Европе сословие совершенно праздное, которое от нечего делать принимало с восторгом самые нелепые выдумки парикмахеров и других законодателей моды. Но почему искусственность и вычурность проявились при Людовике XV в посыпании головы белым порошком, а при Людовике XIV — в ношении огромных париков, — этого ни один мыслитель в мире не объяснит нам общими причинами, заключавшимися в духе времени и народа. Конечно, и пудра и парики имеют свою причину, но причину такую мелкую, частную и случайную, которая может быть интересною только для собирателя исторических анекдотов.

То же самое можно сказать и об архитектурных памятниках. То обстоятельство, что в данное время строилось в данной стране значительное количество бесполезных и великолепных зданий, доказывает, конечно, что в данной стране были в данное время такие люди, которые сосредоточивали в своих руках огромные капиталы или по каким-нибудь другим причинам могли располагать по своему благоусмотрению громадными массами дешевого человеческого труда. А по этой канве политической и социальной безалаберщины пылкая фантазия архитекторов и декораторов, подогреваемая хорошим жалованьем или страхом наказания, конечно, должна была вышивать самые величественные и самые пестрые узоры; но видеть в этих узорах проявление народного миросо-

зерцания, а не индивидуальной фантазии — позволительно только тем туристам, которые серьезно рассуждают о благородстве круглой арки или о возвышенности стрельчатого окна.

VI

Бросив беглый взгляд на скульптуру и на живопись, автор «Эстетических отношений» приходит к тому выводу, что «произведения того и другого искусства по многим и существеннейшим элементам (по красоте очертаний, по абсолютному совершенству исполнения, по выразительности и т. д.) неизмеримо ниже природы и жизни». Доказательства в пользу этого положения автор берет отчасти из личных впечатлений, отчасти из анализа тех необходимых отношений, которые существуют между идеалом художника и живою действительностью. «Мы должны сказать, — говорит автор, — что в Петербурге нет ни одной статуи, которая по красоте очертаний лица не была бы гораздо ниже бесчисленного множества живых людей, и что надобно только пройти по какой-нибудь многолюдной улице, чтобы встретить несколько таких лиц. В этом согласится бо̀льшая часть тех, которые привыкли думать самостоятельно» (стр. 87).

Так как автор сказал уже в самом начале своего рассуждения, что «прекрасное есть жизнь», и так как красота статуй заключается не в жизни, то есть не в выражении лица, а в строгой правильности очертаний и в совершенной соразмерности частей, то, разумеется, каждое неизуродованное и умное лицо живого человека оказывается гораздо красивее всевозможных мраморных или медных лиц. Только в этом смысле и могут быть поняты слова автора, потому что иначе трудно было бы себе представить, каким образом в Петербурге, который, как известно, вовсе не славится красотою своих обитателей, могут встречаться на каждой многолюдной улице по нескольку лиц более прекрасных, чем лица статуй Кановы. Мое предположение подтверждается тем обстоятельством, что автор говорит о *«красоте очертаний»*, а не о *«правильности»*. Очевидно, что *правильность* не имеет в его глазах почти никакого значения. Об идеале скульптора автор говорит, что он «никак не может быть по красоте выше тех живых людей, которых имел случай видеть художник. Силы творческой фантазии очень ограничены: она может только комбинировать впечатления, полученные из опыта» (стр. 87).

Против этой очевидной истины могут спорить только неисправимые идеалисты, способные до сих пор принимать за чистую монету рассказы о том, что «художники, как боги, входят в Зевсовы чертоги и, читая мысль его, видят в

вечных идеалах то, что смертным в долях малых открывает божество» *. Кто не верит в прогулки художников по чертогам Зевса и кто не признает существования врожденных идей, тот, конечно, должен согласиться, что художник, подобно всем остальным смертным, почерпает из опыта все свое внутреннее содержание и, следовательно, все мотивы своих художественных произведений.

Говоря о живописи, автор обращает внимание на несовершенство ее технических средств. «Краски ее, — говорит он, — в сравнении с цветом тела и лица — грубое, жалкое подражание; вместо нежного тела она рисует что-то зеленоватое или красноватое» (стр. 90). «Руки человеческие грубы, — говорит он далее, — и в состоянии удовлетворительно сделать только то, для чего не требуется слишком удовлетворительной отделки; «топорная работа» — вот настоящее имя всех пластических искусств, как скоро сравним их с природою» (стр. 92). К ландшафтной живописи автор также относится без малейшего благоговения. Он сомневается в том, чтобы живопись могла лучше самой природы сгруппировать пейзаж, и говорит, что «человек с неиспорченным эстетическим чувством наслаждается природою вполне, не находит недостатков в ее красоте» (стр. 94).

Говоря о музыке, автор прежде всего отделяет вокальную музыку от инструментальной. Потом, рассматривая вокальную музыку, или пение, он отделяет естественное пение от искусственного. Естественным он называет то пение, которое возникает у человека само собою, в минуту радости или грусти, из потребности излить накопившееся чувство, а вовсе не из стремления к прекрасному. Это естественное пение автор считает произведением практической жизни, а не произведением искусства. Искусственное пение, по мнению автора, прекрасно в той мере, в какой оно приближается к естественному. А инструментальная музыка, в свою очередь, прекрасна настолько, насколько она приближается к вокальной. «После того,— говорит автор,— мы имеем право сказать, что в музыке искусство есть только слабое воспроизведение явлений жизни, независимых от стремления нашего к искусству» (стр. 101).

В поэзии автор находит тот неизбежный недостаток, что ее образы всегда оказываются бледными и неопределенными, когда мы начинаем их сравнивать с живыми явлениями. «Образ в поэтическом произведении, — говорит автор, — точно так же относится к действительному, живому образу, как слово относится к действительному предмету, им обозначаемому, — это не более как бедный и общий, неопределенный намек на действительность» (стр. 102).

Кто усомнится в верности этой мысли, тому я могу предложить следующее доказательство. Известно, что высший род поэзии — драма; известно, что лучшие драмы в мире написаны Шекспиром; выше шекспировских драм в поэзии нет ничего; стало быть, если образы шекспировских драм окажутся бледными и неопределенными намеками на действительность, то о всех остальных поэтических произведениях нечего будет и говорить. Но всякий знает, что все драмы, в том числе и драмы Шекспира, достигают некоторой определенности, приближающей их к действительности, только тогда, когда они играются на сцене; всякий знает далее, что играть удовлетворительным образом шекспировские роли могут только замечательные актеры; значит, необходима целая новая отрасль искусства для того, чтобы придать поэтическим образам некоторую определенность; значит, необходимы ум, талант и образование для того, чтобы понимать, комментировать *бледные и неопределенные намеки на действительность*. Это понимание и комментирование составляют всю задачу талантливого актера, и удовлетворительным решением этой задачи актер приобретает себе всемирную известность. Стало быть, задача действительно очень трудна и *намеки* действительно *бледны и неопределенны*. Но это еще не все. Всякому известно, что одна и та же роль играется различными актерами совершенно различно и между тем одинаково удовлетворительно. Один понимает характер действующего лица так, другой — иначе, третий — опять по-своему, и если все они одинаково талантливы, то самый внимательный и требовательный зритель останется совершенно доволен; значит, все понимают верно, и, значит, поэтический образ уподобляется неопределенному уравнению, которое, как известно, допускает множество различных решений. После этого, мне кажется, трудно сомневаться в том, что поэзия, по самой сущности своей, может давать только бледные и неопределенные намеки на действительность.

Перебрав таким образом все искусства, автор приходит к тому общему заключению, что прекрасное в живой действительности всегда стоит выше прекрасного в искусстве. Если, следовательно, искусство не может создавать таких чудес красоты, каких не бывает в действительности, то, спрашивается, что же оно должно делать? Оно должно, по мере своих сил, воспроизводить действительность. — Что именно оно должно воспроизводить? — Все, что есть *интересного* для человека в жизни. — Для чего нужно это воспроизведение? — На этот последний вопрос автор отвечает так: «Потребность, рождающая искусство, в эстетическом смысле слова (изящные искусства), есть та же самая, которая очень ясно выказывается в портретной живописи. Портрет пишется не потому,

чтобы черты живого человека не удовлетворяли нас, а для того, чтобы помочь нашему воспоминанию о живом человеке, когда его нет перед нашими глазами, и дать о нем некоторое понятие тем людям, которые не имели случая его видеть. Искусство только напоминает нам своими воспроизведениями о том, что интересно для нас в жизни, и старается до некоторой степени познакомить нас с теми интересными сторонами жизни, которых не имели мы случая испытать или наблюдать в действительности» (стр. 151).

Если художник должен познакомить нас с *интересными* сторонами жизни, то, очевидно, он сам должен быть настолько мыслящим и развитым человеком, чтобы уметь отделить интересное от неинтересного. В противном случае он потратит весь свой талант на рисование таких мелочей, в которых нет никакого живого смысла, и все мыслящие люди отнесутся к его произведению с улыбкою сострадания, хотя бы даже мелочи, выбранные художником, были воспроизведены превосходно. «Содержание, — говорит автор, — достойное внимания мыслящего человека, одно только в состоянии избавить искусство от упрека, будто оно — пустая забава, чем оно и действительно бывает чрезвычайно часто: художественная форма не спасет от презрения или сострадательной улыбки произведение искусства, если оно важностью своей идеи не в состоянии дать ответа на вопрос: да стоило ли трудиться над подобными пустяками? Бесполезное не имеет права на уважение. Человек сам себе цель; но дела человека должны иметь цель в потребностях человека, а не в самих себе» (129). Напирая на ту мысль, что искусство воспроизводит и должно воспроизводить не только прекрасное, но вообще интересное, автор с справедливым негодованием отзывается о том ложном розовом освещении, в котором является действительная жизнь у поэтов, подчиняющихся предписаниям старой эстетики и усердно наполняющих свои произведения разными *прекрасными* картинами, то есть описаниями природы и сценами любви. «Привычка изображать любовь, любовь и вечно любовь, — говорит автор, — заставляет поэтов забывать, что жизнь имеет другие стороны, гораздо более интересующие человека вообще; вся поэзия и вся изображаемая в ней жизнь принимает какой-то сентиментальный, розовый колорит; вместо серьезного изображения человеческой жизни произведения искусства представляют какой-то слишком юный (чтобы удержаться от более точных эпитетов) взгляд на жизнь, и поэт является обыкновенно молодым, очень молодым юношею, которого рассказы интересны только для людей того же нравственного или физиологического возраста» (стр. 137).

Весь смысл и вся тенденция «Эстетических отношений» концентрируются в следующих превосходных словах автора: «Наука не думает быть выше действительности; это не стыд для нее. Искусство также не должно думать быть выше действительности; это не унизительно для него. Наука не стыдится говорить, что цель ее — понять и объяснить действительность, потом применить к пользе человека свои объяснения; пусть и искусство не стыдится признаться, что цель его: для вознаграждения человека, в случае отсутствия полнейшего эстетического наслаждения, доставляемого действительностью,— воспроизвести, по мере сил, эту драгоценную действительность и ко благу человека объяснять ее. Пусть искусство довольствуется своим высоким, прекрасным назначением: в случае отсутствия действительности быть некоторою заменою ее и быть для человека учебником жизни».

VII

Познакомившись с содержанием «Эстетических отношений», мы посмотрим теперь, какое направление должна была принять критика, построенная на тех теоретических основаниях, которые заключает в себе эта книга. «Эстетические отношения» говорят, что искусство ни в каком случае не может создавать свой собственный мир и что оно всегда принуждено ограничиваться воспроизведением того мира, который существует в действительности. Это основное положение обязывает критика рассматривать каждое художественное произведение непременно в связи с тою жизнью, среди которой и для которой оно возникло. Налагая на критика эту обязанность, «Эстетические отношения» ограждают его от опасности забрести в пустыню старинного идеализма. Затем «Эстетические отношения» предоставляют критику полнейшую свободу. Роль критика, проникнутого мыслями «Эстетических отношений», состоит совсем не в том, чтобы прикладывать к художественным произведениям различные статьи готового эстетического кодекса. Вместо того чтобы исправлять должность безличного и бесстрастного блюстителя неподвижного закона, критик превращается в живого человека, который вносит и обязан вносить в свою деятельность все свое личное миросозерцание, весь свой индивидуальный характер, весь свой образ мыслей, всю совокупность своих человеческих и гражданских убеждений, надежд и желаний. *«Искусство,* — говорит автор, — *воспроизводит все, что еще есть интересного для человека в жизни»*. Но что именно интересно и что не интересно? Этот вопрос не решен в «Эстетических отношениях», и он ни под каким видом не может быть решен раз навсегда;

каждый критик должен решать его по-своему и будет решать его так или иначе, смотря по тому, чего он требут от жизни и каким образом он понимает характер и потребности своего времени. *«Содержание,* — говорит автор, — *достойное внимания мыслящего человека, одно только в состоянии избавить искусство от упрека, будто бы оно — пустая забава».* — Что такое *мыслящий человек?* Что именно *достойно внимания мыслящего человека?* Эти вопросы опять-таки должны решаться каждым отдельным критиком. А между тем от решения этих вопросов зависит, в каждом отдельном случае, приговор критика над художественным произведением. Решивши, что содержание *неинтересно* или, другими словами, *недостойно внимания мыслящего человека,* критик, основываясь на подлинных словах автора «Эстетических отношений», имеет полное право посмотреть на данное произведение искусства *с презрением* или *с сострадательною улыбкою.* Положим теперь, что один критик посмотрит на художественное произведение с презрением, а другой — с восхищением. Столкнувшись, таким образом, в своих суждениях, они затевают между собою спор. Один говорит: содержание неинтересно и недостойно внимания мыслящего человека. Другой говорит: интересно и достойно. Само собою разумеется, что спор между двумя критиками с самого начала будет происходить совсем не на эстетической почве. Они будут спорить между собою о том, что такое мыслящий человек, что должен этот человек находить достойным своего внимания, как должен он смотреть на природу и на общественную жизнь, как должен он думать и действовать. В этом споре они принуждены будут развернуть все свое миросозерцание; им придется заглянуть и в естествознание, и в историю, и в социальную науку, и в политику, и в нравственную философию, но об искусстве между ними не будет сказано ни одного слова, потому что смысл всего спора будет заключаться в *содержании,* а не в *форме* художественного произведения. Именно потому, что оба критика будут спорить между собою не о форме, а о содержании, именно потому, что они, таким образом, будут оба признавать, что содержание важнее формы, — именно поэтому они оба окажутся адептами того учения, которое изложено в «Эстетических отношениях». И ни один из обоих критиков не будет иметь права упрекать своего противника в отступничестве от основных истин этого учения; оба они будут стоять одинаково твердо на почве общей доктрины и будут расходиться между собою в тех именно вопросах, которые эта доктрина сознательно и систематически предоставляет в полное распоряжение каждой отдельной личности.

Доктрина «Эстетических отношений» именно тем и замечательна, что, разбивая оковы старых эстетических теорий, она совсем не заменяет их новыми оковами. Эта доктрина говорит прямо и решительно, что право произносить окончательный приговор над художественными произведениями принадлежит не эстетику, который может судить только о форме, а мыслящему человеку, который судит о содержании, то есть о явлениях жизни. О том, каков должен быть мыслящий человек, «Эстетические отношения», разумеется, не говорят и не могут сказать ни одного слова, потому что этот вопрос совершенно выходит из пределов той задачи, которую они решают. Стало быть, расходясь между собою в вопросе о мыслящем человеке, критики не имеют ни малейшего основания ссылаться на «Эстетические отношения». Это было бы так же остроумно, как если бы кто-нибудь в споре о косвенных налогах стал ссылаться на учебник математической географии. Математическая география — наука очень почтенная, но в решении социальных вопросов она совершенно некомпетентна.

МЫСЛЯЩИЙ ПРОЛЕТАРИАТ

I

В нашей умственной жизни резко выделяется от остальной массы то направление, в котором заключается наша действительная сила и на которое со всех сторон сыпятся самые ожесточенные и самые смешные нападения. Это направление поддерживается очень малочисленною группою людей, на которую, однако, несмотря на ее малочисленность, все молодое смотрит с полным сочувствием, а все дряхлеющее с самым комическим недоверием. Эта группа понемногу расширяется, обогащаясь молодыми деятелями; влияние этой группы на свежую часть общества уже теперь перевешивает собою все усилия публицистов, ученых и других литераторов, подверженных в большей или меньшей степени острым или хроническим страданиям светобоязни; * в очень близком будущем общественное мнение будет совершенно на стороне этих людей, которых остальные двигатели русского прогресса постоянно стараются очернить разными обвинениями и заклеймить разными ругательными именами. Их обвиняли в невежестве, в деспотизме мысли, в глумлении над наукою, в желании взорвать на воздух все русское общество вместе с русскою почвою; их называли свистунами, нигилистами, мальчишками; для них придумано слово «свистопляска», они причислены к «литературному казачеству», и им же приписаны сооружение «бомбы отрицания» и «калмыцкие набеги на науку» **. Об них постоянно болеют душою все медоточивые деятели петербургской и московской прессы; их то распекают, то упрашивают, то подымают на смех, то отрекаются от них, то увещевают; но ко всем этим изъявлениям участия они остаются глубоко равнодушны. Худы ли, хороши ли их убеждения, но они у них есть, и они ими дорожат; когда можно, они проводят их в общество; когда нельзя — они молчат; но лавировать и менять флаги они не хотят, да и не

умеют. Доля их кажется большинству незавидной, но они не могли бы по натуре своей переменить ее. Из них вышли люди, которым досталась слава геройских страданий, неутомимой, ненасытной ненависти. Другим встречались лишь тысячи мелких врагов, и в борьбе с препятствиями недостойными, презираемыми проходила их деятельность, которая видела вдали для себя более широкое поприще и была достойна его. Это тяжело, но им много помогает переносить все невзгоды то обстоятельство, что они уверены в себе и любят живою, сознательною любовью свои идеалы. Их не удивляют и тем более не раздражают комедии с переодеваниями, разыгрываемые нашими публицистами; в глубину отечественной учености они не верят; красотою отечественной беллетристики не восхищаются: к одним проявлениям нашей умственной жизни они равнодушны; к другим относятся с самым спокойным, глубоко сознательным и совершенно беспощадным презрением. Да и может ли быть иначе, когда в литературе, как и в обществе, целая пропасть отделяет их от официозных и патентованных наставников массы? В литературе они стоят совершенно в стороне от остальной толпы и не чувствуют ни надобности, ни желания приблизиться к ней или сойтись с ее искусственными представителями на чем бы то ни было. В обществе они не боятся своего нынешнего одиночества. Они знают, что истина с ними, они знают, что им следует покойною и твердою поступью идти вперед по избранному пути и что рано или поздно за ними пойдут все. Эти люди фанатики, но их фанатизирует трезвая мысль, и их увлекает в неизвестную даль будущего очень определенное и земное стремление доставить всем людям вообще возможно большую долю простого житейского счастья.

По мнению Молчалиных и Полониев журналистики и общества, это очень глупые и дурные люди, и к наиболее глупым и дурным из этих отверженных людей давно уже единогласно причислен ими автор романа «Что делать?». Но из всего, написанного им, всего хуже и всего глупее объявлен именно этот роман *.

И действительно не мудрено, что таков был общий голос всех критиков **. Никогда еще то направление, о котором я упомянул вначале, не заявляло себя на русской почве так решительно и прямо, никогда еще не представлялось оно взорам всех ненавидящих его так рельефно, так наглядно и ясно. Поэтому всех, кого кормит и греет рутина, роман г. Чернышевского приводит в неописанную ярость. Они видят в нем и глумление над искусством, и неуважение к публике, и безнравственность, и цинизм, и, пожалуй, даже зародыши всяких преступлений. И, конечно, они правы: роман глумится над их эстетикой, разрушает их нравственность, показывает

лживость их целомудрия, не скрывает своего презрения к своим судьям. Но все это не составляет и сотой доли прегрешений романа; главное в том, что он мог сделаться знаменем ненавистного им направления, указать ему ближайшие цели и вокруг них и для них собрать все живое и молодое.

С своей точки зрения наставники наши были правы; но я слишком уважаю своих читателей и слишком уважаю самого себя, чтобы доказывать им, как бесконечно позорно для них это обстоятельство и как глубоко уронил их роман «Что делать?» тою ненавистью и яростью, которые поднялись против него. Читатели мои, разумеется, очень хорошо понимают, что в романе этом нет ничего ужасного. В нем, напротив того, чувствуется везде присутствие самой горячей любви к человеку; в нем собраны и подвергнуты анализу пробивающиеся проблески новых и лучших стремлений; в нем автор смотрит вдаль с тою сознательною полнотою страстной надежды, которой нет у наших публицистов, романистов и всех прочих, как они еще там называются, наставников общества. Оставаясь верным всем особенностям своего критического таланта и проводя в свой роман все свои теоретические убеждения, г. Чернышевский создал произведение в высшей степени оригинальное и чрезвычайно замечательное. Достоинства и недостатки этого романа принадлежат ему одному; на остальные русские романы он похож только внешнею своею формою: он похож на них тем, что сюжет его очень прост и что в нем мало действующих лиц. На этом и оканчивается всякое сходство. Роман «Что делать?» не принадлежит к числу сырых продуктов нашей умственной жизни. Он создан работою сильного ума; на нем лежит печать глубокой мысли. Умея вглядываться в явления жизни, автор умеет обобщать и осмысливать их. Его неотразимая логика прямым путем ведет его от отдельных явлений к высшим теоретическим комбинациям, которые приводят в отчаяние жалких рутинеров, отвечающих жалкими словами на всякую новую и сильную мысль *.

Все симпатии автора лежат безусловно на стороне будущего; симпатии эти отдаются безраздельно тем задаткам будущего, которые замечаются уже в настоящем. Эти задатки зарыты до сих пор под грудою общественных обломков прошедшего, а к прошедшему автор, конечно, относится совершенно отрицательно. Как мыслитель, он понимает и, следовательно, прощает все его уклонения от разумности, но, как деятель, как защитник идеи, стремящейся войти в жизнь, он борется со всяким безобразием и преследует иронией и сарказмом все, что бременит землю и коптит небо.

II

В начале пятидесятых годов живет в Петербурге мелкий чиновник Розальский. Жена этого чиновника, Марья Алексеевна, хочет выдать свою дочь, Веру Павловну, за богатого и глупого жениха, а Вера Павловна, напротив того, тайком от родителей выходит замуж за медицинского студента Лопухова, который, чтобы жениться, оставляет академию за несколько недель до окончания курса. Живут Лопуховы четыре года мирно и счастливо, но Вера Павловна влюбляется в друга своего мужа, медика Кирсанова, который также чувствует к ней сильную любовь. Чтобы не мешать их счастью, Лопухов официально застреливается, а на самом деле уезжает из России и проводит несколько лет в Америке. Потом он возвращается в Петербург под именем американского гражданина Чарльза Бьюмонта, женится на очень хорошей молодой девушке и сходится самым дружеским образом с Кирсановым и его женою, Верою Павловною, которые, конечно, давно знали настоящее значение его самоубийства. Вот весь сюжет романа «Что делать», и ничего не было бы в нем особенного, если бы не действовали в нем новые люди, те самые люди, которые кажутся проницательному читателю очень страшными, очень гнусными и очень безнравственными. «Проницательный читатель», над которым очень часто и очень сурово потешается г. Чернышевский, не имеет ничего общего с тем простым и бесхитростным читателем, которого любит и уважает каждый пишущий человек. Простой читатель берет книгу в руки для того, чтобы приятно провести время, или для того, чтобы чему-нибудь научиться, а проницательный — для того, чтобы покуражиться над автором и произвести его идеям инспекторский смотр. Простой читатель, встретивший новую мысль, может не согласиться с нею, но может и согласиться. Проницательный читатель всякую новую идею считает за дерзость, потому что эта идея не принадлежит ему и не входит в тот замкнутый круг воззрений, который, по его мнению, составляет единственное вместилище всякой истины. У простого читателя есть предрассудки самого скромного свойства, вроде того, например, что понедельник — тяжелый день или что не следует тринадцати человекам садиться за стол. Эти предрассудки происходят от умственного неряшества; они не могут считаться неизлечимыми и большею частью не мешают простому читателю выслушивать без злобы мнения умных и развитых людей. Предрассудки проницательного читателя отличаются, напротив того, книжным характером и теоретическим направлением. Он все знает, все предугадывает, обо всем судит готовыми афоризмами и всех остальных людей считает глупее

себя. Мысль его протоптала себе известные дорожки и только по этим дорожкам и двигается. Паншин (в «Дворянском гнезде») и Курнатовский (в «Накануне») могут считаться превосходными представителями этого типа. В жизни действительной проницательные читатели всего чаще попадаются между теми людьми, для которых умственный труд составляет профессию. Всякая посредственность, пошедшая по этому пути, неминуемо превращается в проницательного читателя. Весь запас мыслей, сидевших в голове посредственности, очень быстро вытряхивается наружу, и тогда приходится повторяться, фразерствовать, переливать из пустого в порожнее, глупеть от этого приятного занятия и вследствие всего этого проникаться глубочайшею ненавистью ко всему, что размышляет самостоятельно. Большинство профессоров и журналистов всех наций принадлежат к скучнейшему разряду проницательных читателей. Все эти господа могли бы быть очень милыми, простыми и неглупыми людьми, но их изуродовало ремесло, точно так же как ремесло уродует портных, сапожников, гранильщиков. Они натерли себе на мозгу мозоли, и мозоли эти дают себя знать во всех суждениях и поступках проницательных читателей. Проницательный читатель скрежещет зубами, когда говорят о новых людях, а простому читателю скрежетать по этому случаю нет никакой надобности. Простой читатель улыбается добродушною улыбкою и говорит преспокойно: «Ну, посмотрим, посмотрим, какие это новые люди?» — А вот и посмотри.

Над существованием новых людей прежде всех задумался в нашей беллетристике Тургенев. Инсаров был неудачною попыткою в этом направлении; Базаров явился очень ярким представителем нового типа; но у Тургенева, очевидно, не хватило материалов для того, чтобы полнее обрисовать своего героя с разных сторон. Кроме того, Тургенев, по своим летам и по некоторым свойствам своего личного характера, не мог вполне сочувствовать новому типу; в его последний роман вкрались фальшивые ноты, которые вызвали со стороны «Современника» строгую и несправедливую рецензию г. Антоновича *. Эта рецензия была ошибкою, и лучшим ее опровержением является роман г. Чернышевского, в котором все новые люди принадлежат к базаровскому типу, хотя все они обрисованы гораздо отчетливее и объяснены гораздо подробнее, чем обрисован и объяснен герой последнего тургеневского романа. Тургенев — чужой в отношении к людям нового типа; он мог наблюдать их только издали и отмечать только те стороны, которые обнаруживают эти люди, приходя в столкновение с людьми совершенно другого закала. Базаров является один в таком кругу, который вовсе не соответствует его умственным потребностям; Базарову некого любить и

уважать, и потому всякому читателю, а «проницательному» в особенности, может показаться, что Базаров неспособен любить и уважать. Это последнее мнение составляет совершенную нелепость; нет того человека, у которого не было бы способности и потребности любить и уважать подобных себе людей; ничто не дает нам права думать, чтобы Тургенев захотел взвести на своего героя такую пустую небылицу; он просто не знал, как держат себя Базаровы с другими Базаровыми; не знал, как проявляются у таких людей чувства серьезной любви и сознательного уважения; он чувствует небывалость этого типа и недоумевает перед ним, да так и останавливается на этом недоумении все-таки потому, что не хватает материалов. Если бы г. Чернышевскому пришлось изображать новых людей, поставленных в положение Базарова, то есть окруженных всяким старьем и тряпьем, то его Лопухов, Кирсанов, Рахметов стали бы держать себя почти совершенно так, как держит себя Базаров. Но г. Чернышевскому нет никакой надобности поступать таким образом. Он знает не только то, как думают и рассуждают новые люди (это знает и Тургенев — по журнальным статьям, писанным новыми людьми), но и то, как они чувствуют, как любят и уважают друг друга, как устроивают свою семейную и вседневную жизнь и как горячо стремятся к тому времени и к тому порядку вещей, при которых можно было бы любить всех людей и доверчиво протягивать руку каждому. После этого нетрудно понять, почему Тургенев принужден был в своем Базарове остановиться на одной суровой стороне отрицания и почему, напротив того, под рукою г. Чернышевского новый тип вырос и выяснился до той определенности и красоты, до которой он возвышается в великолепных фигурах Лопухова, Кирсанова и Рахметова.

Новые люди считают труд абсолютно необходимым условием человеческой жизни, и этот взгляд на труд составляет чуть ли не самое существенное различие между старыми и новыми людьми. По-видимому, тут нет ничего особенного. Кто же отказывает труду в уважении? Кто же не признает его важности и необходимости? Лорд-канцлер Великобритании, сидящий на шерстяном мешке и получающий за это сидение по нескольку десятков тысяч фунтов стерлингов в год, твердо убежден в том, что он берет плату за труд и что он с полным основанием может сказать фабричному работнику: My dear [1], мы с тобой трудимся на пользу общества, а труд — святое дело. И лорд-канцлер это скажет, и граф Дерби это скажет, потому что он тоже доставляет себе труд класть в карман поземельную ренту, а между тем какие же они новые люди?

---

[1] Мой дорогой *(англ.)*. — *Ред.*

Они джентльмены очень старые и очень почтенные. Новые люди отдают полную справедливость тому и другому их качеству, но сами никогда не согласятся уважать труд так, как уважают его лорд-канцлер и граф Дерби; сами они никогда не согласятся заработывать так много, сидя на шерстяном мешке или на бархатной скамейке палаты пэров. Сами они не хотят питать издали платоническую нежность к труду. Для них труд действительно необходим, более необходим, чем наслаждение; для них труд и наслаждение сливаются в одно общее понятие, называющееся удовлетворением потребностей организма. Им необходима пища для утоления голода, им необходим сон для восстановления сил, и им точно так же необходим труд для сохранения, подкрепления и развивания этих сил, заключающихся в мускулах и в нервах. Без наслаждения они могут обходиться очень долго; без труда для них немыслима жизнь. Отказаться от труда они могут только в том случае, когда их разобьет паралич, или когда их посадят в клетку, или вообще когда они тем или другим путем потеряют возможность распоряжаться своими силами.

Размышляя часто и серьезно о том, что делается кругом, новые люди с разных сторон и разными путями приходят к тому капитальному заключению, что все зло, существующее в человеческих обществах, происходит от двух причин: от бедности и от праздности; а эти две причины берут свое начало из одного общего источника, который может быть назван хаотическим состоянием труда. Труд и вознаграждение находятся теперь между собою в обратном отношении: чем больше труда, тем меньше вознаграждения; чем меньше труда, тем больше вознаграждения. От этого на одном конце лестницы сидит праздность, а на другом бедность. И та и другая порождает свой ряд общественных зол. От праздности происходит умственная и физическая дряблость, стремление создавать себе искусственные интересы и увлекаться ими, потребность сильных ощущений, преувеличенная раздражительность воображения, разврат от нечего делать, поползновения помыкать другими людьми, мелкие и крупные столкновения в семейной и общественной жизни, бесконечные раздоры равных с равными, старших с младшими, младших с старшими, словом — весь бесконечный рой огорчений и страданий, которыми люди угощают друг друга без малейшей надобности и которых существование может быть объяснено только выразительною поговоркою: «с жиру собаки бесятся». От бедности идут страдания и материальные, и умственные, и нравственные, и какие угодно: тут и голод, и холод, и невежество, из которого хочется вырваться, и вынужденный разврат, против которого возмущается природа самых загрубелых созданий, и горькое пьянство, которого стыдится сам пьяница, и вся ва-

тага уголовных преступлений, которых нельзя было не совершить преступнику. На середине лестницы произведения бедности встречаются с произведениями праздности; тут меньше дикости, чем внизу, и меньше дряблости, чем вверху, но больше грязи, чем где бы то ни было; тут приходится ежиться, потому что хочется барствовать; приходится жилить пятачок у кухарки или дворника, потому что надо ехать на гулянье; держать детей в холодной детской, потому что надо меблировать гостиную; есть испорченную говядину, потому что надо сшить шелковую мантилью. По всей лестнице сверху донизу господствуют ненависть к труду и вечный антагонизм частных интересов. Не мудрено, что труд производит при таких условиях мало продуктов; не мудрено и то, что любовь к ближнему встречается только в назидательных книгах. Каждый рассуждает так или почти так: если, говорит, я прямо потяну с своего ближнего шубу, то меня за это не похвалят и посадят в полицию; но если я подведу под шубу кляузы и оттягаю ее тихим манером, то мне будет двойная выгода: во-первых, не надо будет вырабатывать себе шубу, во-вторых, всякий будет считать меня за умного и обходительного человека.

Не всем, однако, такое положение дел нравится; находятся отдельные личности, которые говорят праздным людям: «Вам скучно потому, что вы ничего не делаете; а есть другие люди, которые страдают потому, что бедны. Подите разыскивайте этих людей, помогайте им, облегчайте их страдания, входите в их нужды, и вам будет не так скучно, и им не так тяжело жить на свете». Это говорят хорошие люди, но новые люди этим не удовлетворяются. «Филантропия, — говорят новые люди, — такая же прекрасная вещь, как тюрьма и всякие уголовные и исправительные наказания. В настоящее время мудрено обойтись без того и другого, но настоящее время, подобно всем прошедшим временам, занимается только вечным заметанием и подчищанием тех гадостей, которые оно само вечно производит на свет. Когда гадость произведена, ее, конечно, следует замести и подчистить, но не мешает подумать и о том, как бы на будущее время прекратить такое невыгодное производство гадостей. Филантропия сама по себе оскорбительна для человеческого достоинства и заключает в себе глубокую несправедливость; она принуждает одного человека зависеть в своем существовании и благосостоянии от произвольного добродушия другого такого же человека; она создает нищего и благотворителя и развращает и того и другого. Она не уничтожает ни бедности, ни праздности; она не увеличивает ни на одну копейку продукты производительного труда. В древнем Риме под видом раздач дарового хлеба, а в новейших католических государствах южной Европы под видом

раздач даровых порций супа у монастырских ворот эта милая филантропия развратила вконец массы здоровой черни. Не богадельня, а мастерская может и должна обновить человечество. Здоровый человек, посаженный на необитаемый остров, может прокормить самого себя; силы человека увеличиваются в сотни и тысячи раз, когда он вступает в промышленную ассоциацию с другими людьми. Поэтому здоровый человек, живущий в цивилизованном обществе, может и должен собственным трудом прокормиться и одеться, приобрести себе образование и воспитать своих детей. Тут собственный труд не может быть заменен никаким другим ингредиентом. Труду нет простора, труд плохо оплачивается, труд порабощается, и от этих причин происходит все существующее зло.

Кто хочет бороться против зла, не для препровождения времени, а для того, чтобы когда-нибудь действительно победить и искоренить его, тот должен работать над решением вопроса: как сделать труд производительным для работника и как уничтожить все неприятные и тяжелые стороны современного труда? Труд есть единственный источник богатства; богатство, добываемое трудом, есть единственное лекарство против страданий бедности и против пороков праздности. Стало быть, целесообразная организация труда может и должна привести за собою счастие человечества. Говорить, что такая организация невозможна, значит подражать тем дряблым старикам, которые считают невозможным все, до чего не додумались их предшественники и современники. Складывать руки и вздыхать о несовершенствах всего земного, когда люди страдают от собственных глупостей, значит возводить эти глупости в законы природы и обнаруживать леность и робость мысли, недостойные человека свежего, честного и одаренного живым умом».

Так или почти так рассуждают о высоких материях новые люди; вглядевшись в эти рассуждения, каждый читатель, кроме «проницательного», увидит, что в них нет ничего ужасного и что в них, напротив того, много дельного. Искать обновления в труде во всяком случае гораздо рациональнее, чем видеть альфу и омегу человеческого благополучия в учреждении палаты депутатов или палаты пэров. Самая лучшая палата может только сберечь доходы страны, а хорошие мастерские могут удесятерить этот доход, удесятеряя, кроме того, сумму физических, умственных и нравственных сил работников и приготовляя, таким образом, с каждым годом большее увеличение богатства, образованности и всеобщего благоденствия. Не глупо рассуждают новые люди, а всего лучше то, что не в рассуждениях о высоких материях проходит их время. Постоянно имея в виду общую задачу всего человечества, они между тем уже разрешили ее в приложении к своей

частной жизни. Им труд приятен, и для них он производителен; нет ни одного нового человека, у которого не было бы его любимого труда, и этот труд для него не забава, а действительно цель и смысл всей жизни. Новый человек без своего любимого труда так же не мыслим, как не мыслим труд без него. Прежние люди заботились о своем положении в обществе и прежде всего старались составить себе карьеру и состояние, хотя бы пути, ведущие к тому и другому, внушали им глубочайшее отвращение. Для нового человека необходимо прежде всего, чтобы труд был ему по душе и по силам. До тех пор пока он не найдет такого труда, он ищет его; нашел — и кончено дело: тогда он влюбляется в него, работает с увлечением страсти, наслаждается всеми радостями творчества и чувствует, что он на белом свете не лишний. И нет такого нового человека, который не нашел бы себе любимого дела, потому что вообще нет того здорового человека, который не был бы на что-нибудь способен. И когда все работники на земном шаре будут любить свое дело, тогда все будут новыми людьми, тогда не будет ни бедных, ни праздных, ни филантропов, тогда действительно потекут те «молочные реки в кисельных берегах», которыми «проницательные читатели» так победоносно поражают негодных мальчишек. — Это невозможно, — рычит один из проницательных. — Конечно, невозможно, но было время, когда и паровые машины были совершенно невозможны. Что было, то прошло, а чему быть, тому не миновать.

III

Опираясь на свой любимый труд, выгодный для них самих и полезный для других, новые люди устроивают свою жизнь так, что их личные интересы ни в чем не противоречат действительным интересам общества. Это вовсе не трудно устроить. Стоит только полюбить полезный труд, и тогда все, что отвлекает от этого труда, будет казаться неприятною помехою: чем больше вы будете предаваться вашему любимому полезному труду, тем лучше это будет для вас и тем лучше это будет для других. Если ваш труд обеспечивает вас и доставляет вам высокие наслаждения, то вам нет надобности обирать других людей ни прямо, ни косвенно, ни посредством воровства-мошенничества, ни посредством такой эксплуатации, которая не признана уголовным преступлением. Когда вы трудитесь, то ваши интересы совпадают с интересами всех остальных трудящихся людей; вы сами — работник, и все работники — ваши естественные друзья, а все эксплуататоры — ваши естественные враги, потому что они в то же время враги всему человечеству, в том числе и себе самим. Если бы все люди тру-

дились, то все были бы богаты и счастливы; но если бы все люди эксплуатировали своих ближних, не трудясь совсем, тогда эксплуататоры поели бы друг друга в одну неделю, и род человеческий исчез бы с лица земли. Поэтому кто любит труд, тот, действуя в свою пользу, действует в пользу всего человечества; кто любит труд, тот сознательно любит самого себя, тот в самом себе * любил бы всех остальных людей; если бы только не было на свете таких господ, которые невольно или умышленно мешают всякому полезному труду.

Новые люди трудятся и желают своему труду простора и развития; в этом желании, составляющем глубочайшую потребность их организма, новые люди сходятся со всеми миллионами всех трудящихся людей земного шара, всех, кто сознательно или бессознательно молит бога и просит ближнего, чтобы не мешали ему трудиться и пользоваться плодами труда. Единство интересов порождает сочувствие, и новые люди горячо и сознательно сочувствуют всем действительным потребностям всех людей. Каждая человеческая страсть есть признак силы, ищущей себе приложения; смотря по тому, как эта сила будет приложена к делу, данная страсть будет называться добродетелью или пороком и будет приносить людям пользу или вред, выгоду или убыток. Силы и страсти, приложенные к эксплуатации ближнего, должны умеряться какими-нибудь нравственными мотивами, потому что иначе они подведут человека путем порока под уголовный суд; но силы и страсти, направленные на производительный труд, могут безвредно расти и развиваться до каких угодно размеров. Люди, живущие эксплуатациею, должны остерегаться исключительного эгоизма, потому что такой эгоизм лишает их всякого человеческого образа и превращает их в цивилизованных людоедов, которые гораздо отвратительнее людоедов-дикарей. Но люди новые, живущие трудом и чувствующие физиологическое отвращение к самой гуманной и добродушной эксплуатации, могут без малейшей опасности быть эгоистами до последней степени. Эгоизм эксплуататора идет вразрез с интересами всех остальных людей; обогатить себя — для эксплуататора значит отнять у другого; эксплуататор принужден любить себя в ущерб всему остальному миру; поэтому, если он добродушен и богобоязлив, он старается любить себя умеренно, так, чтобы и себе было не обидно и другим *не слишком* больно, но такую умеренность выдержать очень трудно, и потому эксплуататор всегда пускает или слишком много эгоизма, так что начинает пожирать других, или слишком мало, так что сам становится жертвою чужого эгоистического аппетита. Так как на нашей прекрасной планете господствует повальная эксплуатация и в семействе, и в обществе, и в международных

отношениях, то у нас принято испускать вопли против эгоизма, называть эгоистами отъявленных негодяев и, наоборот, обвинять в безнравственности таких людей, которые находятся только не на своем месте. Новые люди держатся вдали от всякой эксплуатации, без малейшего трепета и без всякого вреда для себя и для других погружаются в глубочайшую пучину эгоизма и не принимают на себя ни одного пятна несправедливости, исключительно потому, что умеют найти свое место и пристраститься к своему делу.

Если человек старого закала занимается медицинскою практикою, то его эгоизм выражается в том, что он старается сделать в день как можно больше визитов и приобрести как можно больше зелененьких и синеньких бумажек; он эксплуатирует своих пациентов, выслушивает их невнимательно, прописывает рецепты наудачу, бывает у таких больных, которые вовсе не больны, и делает все это исключительно по привязанности своей к синеньким и зелененьким. Такой человек, конечно, должен иногда укрощать свой эгоизм и от времени до времени читать самому себе довольно убедительные нравоучения. Новый человек занимается медициною не иначе, как по страстному влечению; для него дорог каждый час, потому что каждый час посвящается любимому изучению; для него деньги составляют только средство, которым он поддерживает свою жизнь, чтобы иметь возможность отдавать эту жизнь труду. Перед постелью больного он является мыслителем, разрешающим научный вопрос. Ему хочется не обобрать пациента, а вылечить его, потому что вылечить — значит разрешить задачу; пациенту также хочется, чтобы его не обобрали, а вылечили; таким образом, интересы медика и интересы больного сливаются между собою, и эксплуатации не существует; доктор нового закала может самым бессовестным образом предаваться своему эгоистическому влечению, и ему за это скажут спасибо и пациенты, и их родственники, и общественное мнение всех сограждан. И этому доктору незачем пугать себя идеею долга, потому что между долгом и свободным влечением для него не существует различия. А все отчего? Все оттого, что найден любимый труд, оттого, что человек попал на свое место. Это условие необходимо. Без него очень трудно, а может быть, и совсем невозможно быть честным человеком вообще.

Мы видим, таким образом, что в жизни новых людей не существует разногласия между влечением и нравственным долгом, между эгоизмом и человеколюбием; это очень важная особенность; это такая черта, которая позволяет им быть человеколюбивыми и честными по тому непосредственно сильному влечению природы, которое заставляет каждого человека

заботиться о своем самосохранении и об удовлетворении физических потребностей своего организма. В их человеколюбии нет вынужденной искусственности; в их честности нет щепетильной мелочности; их хорошие влечения просты и здоровы, сильны и прекрасны, как непосредственные произведения богатой природы; да и сами они, эти новые люди, не что иное, как первые проявления богатой человеческой природы, отмывшей от себя часть той грязи, которая накопилась на ней во время вековых исторических страданий. Если общественное мнение не признает в этих людях простых, но честных представителей своей породы, если оно видит в них что-то особенное, что-то страшное и зловещее, то это значит только, что это так называемое общественное мнение потеряло всякое понятие о человеческом образе, забыло все его приметы, пугается при встрече с ним, как с чем-то незнакомым, и принимает за настоящих людей ту странную породу двуногих, которую Джонатан Свифт выводит в путешествии Гулливера под именем иагу (jahou) и которой глупость и злость так рельефно противополагаются уму и великодушию мыслящих и говорящих лошадей. Трудясь для самих себя, увлекаясь и наслаждаясь процессом труда, новые люди трудятся на пользу человечества, потому что каждый производительный труд полезен для людей. Сначала новые люди приносят пользу и делают добро бессознательно, но потом самый процесс приношения пользы и делания добра кладет начало нравственной связи между тем, кто приносит и делает, и теми, кому приносится и для кого делается. Эта связь крепнет по мере того, как работник нового закала приносит больше пользы и делает больше добра. Это уже старая истина, что нам свойственно любить тех, кому мы сделали или делаем добро, и эта старая истина на каждом шагу находит себе подтверждение. Гарибальди любит Италию сильнее, чем какой-нибудь другой итальянец, и наверное теперь старик Гарибальди, износивший свою жизнь в трудах и в изгнании, раненный при Аспромонте итальянскою пулею *, любит свою Италию еще сильнее, чем мог любить ее лет тридцать тому назад пламенный юноша Гарибальди; тогда он любил в ней только родину; теперь он, кроме родины, любит в ней все свои подвиги, все свои страдания, всю блестящую вереницу своих чистых воспоминаний. Роберт Оуэн, «святой старик», как называет его Лопухов у г. Чернышевского, всю свою жизнь трудился для людей, и, конечно, под старость любовь его к людям была еще шире, еще теплее и во всяком случае гораздо более обильна сознательным прощением, чем была та же любовь в первые дни его молодости. Для таких людей, как Оуэн и Гарибальди, не существует старческой дряхлости; такие люди будут новыми людьми для всех веков и народов. Но явление, которое мы

замечаем в их жизни, составляет общую принадлежность всех деятелей или мыслителей, отдавших свои силы любимому и полезному труду. В этих деятелях и мыслителях растет и крепнет любовь к людям по мере того, как они втягиваются в свой труд и проникаются сознанием его полезности; они становятся постоянно лучше и чище; они постоянно молодеют, вместо того чтобы дряхлеть и пошлеть; они процессом своего живого и разумного труда смывают с себя ту грязь, которою облепили их родители, которою обрызгала их школа и которую постоянно брызжет на них «тьма кромешная» окружающей жизни.

Люди прежнего времени были красивы и свежи в умственном отношении только тогда, когда были молоды; проходило лет десять, и вся эта красота и свежесть пропадала вместе с румянцем щек; являлась кропотливость и мелочность, копеечная расчетливость и куриная трусливость; петушок превращался в каплуна, блестящий студент делался отъявленнейшим филистером и «проницательнейшим» читателем. Все это было совершенно естественно, потому что прежние молодые люди только ярились и горячились, только красноречиво болтали и красиво разнеживались; забава молодости должна была пройти вместе с молодостью, потому что она была забавою. Кто в молодости не связал себя прочными связями с великим и прекрасным делом или по крайней мере с простым, но честным и полезным трудом, тот может считать свою молодость бесследно потерянною, как бы весело она ни прошла и сколько бы приятных воспоминаний она ни оставила. Забирайте с собою чувства молодости, после не подымете, — говорит Гоголь *, и правду он говорит. А как их заберешь с собою, если не вложишь их целиком в такое дело, на которое до последней минуты твоей жизни будет откликаться каждая фибра твоего существа. Кому удалось это сделать, о том нечего жалеть, если даже молодость его прошла в суровом труде, вдали от дорогих и близких людей, без наслаждений, без объятий любимой женщины. И дорогие люди, и наслаждение, и любимая женщина — все это, несомненно, очень хорошие вещи, но сам человек для самого себя дороже всего на свете. Если ценою труда и лишений, ценою потраченной молодости, ценою потерянной любви он купил себе право глубоко и сознательно уважать самого себя, право унести с собою на край света и удержать за собою во всех испытаниях неизменную молодость и свежесть ума и чувства, то нельзя сказать, что он заплатил слишком дорого. Он отдал кусок жизни, чтобы по-человечески прожить всю жизнь, он лишился двух-трех радостей, но взамен их получил высшее наслаждение, которое служит украшением для жизни и поддержкою

в минуту агонии; он получил право знать себе настоящую цену и видеть, что цена эта не мала.

Вот эгоизм новых людей, и этому эгоизму нет границ; ему они действительно приносят в жертву всех и все. Любят они себя до страсти, уважают до благоговения; но так как они даже в отношении к самим себе не могут быть слепыми и снисходительными, то им приходится держать ухо востро, чтобы удерживать за собою во всякую данную минуту свою любовь и свое уважение. Еще больше, чем своею любовью и своим уважением, они дорожат прямыми и откровенными отношениями своего анализирующего и контролирующего *я* к тому *я*, которое действует и распоряжается внешними условиями жизни. Если бы одно *я* не могло смотреть смело и решительно в глаза другому *я*, если бы одно *я* вздумало отвечать увертками и софизмами на запросы другого *я*, а другое *я* в это время осмелилось бы смотреть сквозь пальцы и удовлетворяться пустыми отговорками первого, то вслед за этим позорным сумбуром в душе нового человека забушевало бы такое отчаяние и родилось бы такое конвульсивное отвращение к своей опоганенной особишке, что он, наверное, наплевал бы себе в глаза и потом, исказнивши себя таким образом, кинулся бы головою вперед в самый глубокий омут. Новый человек знает очень хорошо, как он неумолим и безжалостен к самому себе; новый человек боится самого себя больше, чем кого бы то ни было; он — сила, и горе ему, если когда-нибудь его сила обратится против него самого. Если он сделает такую гадость, которая произведет в нем внутренний разлад, то он знает, что от этого разлада не будет другого лекарства, кроме самоубийства или сумасшествия. Мне кажется, что такая потребность самоуважения и такая боязнь собственного суда будут покрепче тех нравственных перил, которые отделяют людей старого закала от разных мерзостей, тех перил, через которые разные неделимые обоего пола так свободно и изящно порхают туда и обратно, тех перил, за неимение которых новым людям приходится выслушивать такие утомительные наставления со стороны проницательных читателей, владеющих пером или одержимых слабостью к назидательному красноречию. Новые люди всеми преимуществами своего типа обязаны живительному влиянию любимого труда. Благодаря ему они могут быть полнейшими эгоистами; чем глубже становится их эгоизм, тем сильнее делается их любовь к человечеству, тем неизменнее и прочнее держится в новых людях их молодость и свежесть, тем шире ракрываются ум и чувство, тем более они дорожат своим собственным уважением, тем строже становится их верность самим себе, и вследствие всего этого тем ближе подходят они к всестороннему развитию своих сил и к безбрежной полноте своего счастия *.

IV

Люди, живущие эксплуатациею ближних или присвоением чужого труда, находятся в постоянной наступательной войне со всем окружающим их миром. Для войны необходимо оружие, и таким оружием оказываются умственные способности. Ум эксплуататоров почти исключительно прилагается к тому, чтобы перехитрить соседа или распутать его интриги. Нанести поражение ближнему или отпарировать его ловкий удар — значит обнаружить силу своего оружия и свое умение распоряжаться им, или, говоря языком менее воинственным и более употребительным, значит выказать тонкий ум и обширную житейскую опытность. Ум заостряется и закаляется для борьбы, но всем известно по опыту, что чем лучше оружие приспособлено к военному делу, тем менее оно пригодно для мирных занятий. Студенты, при всем своем остроумии, могли приурочить свои шпаги только к мешанию в печке, да еще к варению жженки, но и эти две должности оружие войны и символ чести исполняет довольно плохо. То же самое можно сказать и об уме, воспитанном для междоусобных распрей. В нем развиваются очень сильно некоторые качества, совершенно ненужные и даже положительно вредные для успешного хода мирного мышления. Мелкая проницательность, мелкая подозрительность, умение и охота всматриваться очень внимательно в такие крошечные случаи вседневной жизни, которые вовсе не заслуживают изучения, умение и охота морочить себя и других софизмами, сшитыми на живую нитку, — вот те свойства, которыми обыкновенно отличается ум практического человека нашего времени. Ум этот непременно делается близоруким, потому что практический человек постоянно смотрит себе под ноги, чтобы не попасть в какую-нибудь западню. Мелких неудач он остерегается очень тщательно, и ему действительно часто случается избавляться от них благодаря своей мелочной осмотрительности, но зато над общим направлением своей жизни практический человек теряет всякий контроль; он бредет потихоньку и все смотрит себе под ноги, а потом вдруг оглядывается кругом и сам не знает, куда это его занесло. Обобщать факты он, благодаря типическим свойствам своего ума, решительно не умеет; отдавать себе отчет в общем положении вещей и придавать своим поступкам какой-нибудь общий смысл он также не в состоянии; события уносят его с собою, и величайшая мудрость его состоит в том, чтобы не противиться их течению, которого он все-таки не понимает.

Величайшими представителями этого типа практических людей и эксплуататоров можно назвать Меттерниха и Талейрана: никто не скажет, чтобы у этих господ не было

природного ума, но всякий поймет также, что этот ум долговременною дрессировкою, начавшеюся с колыбели, был заострен и закален для самого одностороннего употребления, а именно для того, чтобы морочить людей софизмами, не поддаваясь софизмам противоположного лагеря. Вся тайна призрачного могущества Меттерниха и Талейрана заключается в их гибкости и бесцветности, в их полном равнодушии к своим собственным софизмам и в их всегдашней готовности переходить от одного софизма к другому, совершенно противоположному. Они не имели над событиями никакой власти и не оказывали на них ни малейшего влияния, точно так же как флюгер только указывает на перемену ветра, а не производит ее. Никакая буря не могла разбить Талейрана, потому что в нем нечего было разбивать, — не было никакого твердого содержания. Если же Меттерниха разбила революция 1848 года, то это обстоятельство следует приписать исключительно наивности добрых немцев: они приняли вывеску принципа за самый принцип; вывеску сняли — они прокричали *«виват»* и, конечно, остались в дураках. Ум Меттерниха, Талейрана и всяких других эксплуататоров, мелких и крупных, отличается крайнею односторонностью; он только на то и годится, чтобы поражать других людей в сражении, то есть чтобы водить их за нос. Когда такие господа руководствуются расчетами своего ума, то можно сказать заранее, что эти расчеты заставят их сделать какую-нибудь гадость, потому что эти расчеты близоруки, а внушения узкого и близорукого эгоизма всегда подают повод к самым возмутительным несправедливостям.

Люди старого закала знают это очень хорошо, и потому они говорят, что ум должен управлять нашими поступками, когда мы сталкиваемся с посторонними людьми; когда же мы входим в свое семейство или вступаем в сношения с своими друзьями, то должны класть свое боевое оружие в ножны и действовать по внушению чувства, чтобы не изранить и не надуть по неосторожности людей, которых мы действительно и бескорыстно любим. У людей старого закала голос чувства и голос рассудка находятся в постоянном разладе, и, потому они, во избежание дисгармонии, всегда заставляют молчать один из этих голосов, когда говорит другой. А из этого выходит естественное следствие, что в своих деловых сношениях они почти всегда бывают жестоки и несправедливы, а в своей домашней жизни — нелепы и бестолковы. Здоровые люди не должны раздваивать своего существа; каждый предмет, обращающий на себя их внимание, должен рассматриваться с разных сторон; впечатление, которое этот предмет производит на непосредственное чувство, так же важно, как то официальное впечатление, которое он оставляет по себе в нашем анализирующем уме. Если существует разноголосица между

требованиями нашего чувства и суждением нашего ума, то эту разноголосицу надобно устранить: ум и чувство надо примирить; но примиряются они не тем, что мы скажем тому или другому — «молчать!» — а тем, что мы тщательно и спокойно сличим требования чувства с суждением ума, доищемся скрытых причин того и другого и, наконец, путем беспристрастного размышления дойдем до такого решения, которым одинаково удовлетворятся и ум и чувство. У людей, живущих присвоением, соглашение между умом и чувством невозможно; их чувство проявляется беспорядочными вспышками, которые имеют чисто физиологическое основание, а ум их не признает самых элементарных начал справедливости, потому что справедливость, то есть общая польза, находится в вечном разладе с мелкою, житейскою, личною выгодою. Спрашивается: есть ли какая-нибудь возможность помирить чувство, вытекающее из слабонервности и прекращающееся от приема лавровишневых капель, с расчетом, основанным на рублях и копейках и неспособным видеть за рублями и копейками ни законов природы, ни страданий живого человека? — Конечно, на это нет никакой возможности и ни малейшей необходимости. По-настоящему, надо было бы уничтожить и то и другое, то есть и бестолковую чувствительность и бестолковую скаредность; надо было бы возвратить изуродованному уму его первобытную способность к широкому мышлению, обобщающему разрозненные факты и постигающему связь между причинами и следствиями; надо было бы превратить людей старого закала в людей новых; но так как подобное превращение совершенно невозможно, то надо махнуть на них рукою: пускай их переходят от конторских книг к лавровишневым каплям, от страстных объятий к биржевой игре и от благонамеренного надувательства к добродетельному умилению перед закатом солнца.

Если я так долго останавливался на их уме и чувстве, то это дает мне возможность очень коротко охарактеризовать соответствующие особенности ума и чувства новых людей: у них ум и чувство находятся в постоянной гармонии, потому что их ум не превращен в орудие наступательной борьбы; их ум не употребляется на то, чтобы надувать других людей, и поэтому они сами могут всегда и во всем доверяться его приговорам; не привыкши мошенничать с соседями, их ум не мошенничает и с самим хозяином. Зато новые люди действительно питают к уму своему самое безграничное доверие. Это надо понимать не в том смысле, будто каждый из них считает себя умнейшим человеком на свете. Совсем нет. Каждый из них думает только, что каждый взрослый человек, одаренный самыми обыкновенными умственными способностями, может обсудить свое положение и свои поступки гораздо лучше и

отчетливее, чем обсудил бы их за него, со стороны, величайший из гениальных мыслителей. Как бы ни было красиво и утешительно какое-нибудь миросозерцание, сколько бы веков и народов ни считали его за непреложную истину, какие бы мировые гении ни преклонялись перед его убедительностью — самый скромный из новых людей примет его только в том случае, когда оно соответствует потребностям и складу его личного ума. У каждого нового человека есть свой внутренний мир, в котором личный ум господствует с неограниченным самовластием; в этот мир проникает только то, что пропускает личный ум, и только то, что по самой природе своей может признать над собою полное господство личного ума. Что не покоряется личному уму, о том новый человек говорит очень скромно: «Этого я не понимаю», а что остается непонятым, того новый человек не пускает во внутренний мир и тому он свидетельствует издали свое глубочайшее почтение, если того требуют внешние обстоятельства.

Когда ветхому человеку приходится вести с собственным умом откровенные беседы, то при этом высказываются довольно щекотливые истины. «Ведь я тебя, приятель, знаю, — говорит ветхий человек своему уму, — ведь ты подлец, каких мало. Ведь, если дать тебе волю, ты придумаешь такую кучу гадостей, что мне самому противно сделается, хоть я человек не брезгливый. Постой же, голубчик, я тебя вышколю». И затем начинается усовещивание ума и запугивание его посредством разных крайне почтенных понятий, которыми должны сдерживаться слишком художественные его стремления. Для нового человека так же невозможно производить над своим умом такие проделки, как невозможно для всякого человека вообще укусить свой собственный локоть. Во-первых, чем ты его запугаешь? А во-вторых, зачем запугивать? Нечем и незачем. Новый человек верит своему уму, и верит только ему одному; он вводит свой ум во все обстоятельства своей жизни, во все заветные уголки своего чувства, потому что нет той вещи и нет того чувства, которое его ум мог бы замарать или опошлить своим прикосновением. Когда ветхие люди влюбляются, они выдают своему уму бессрочный отпуск и благодаря его отсутствию делают разные глупости, которые очень часто превращаются в гадости вовсе не шуточного размера. Девушку или женщину заставляют сделать решительный шаг, а к этому времени возвращается из своей отлучки рассудок — и ветхий человек, испугавшись последствий своей невинной шутки, обращается в расчетливое бегство и потом оправдывается тем, что он сам себя не помнил, что был как сумасшедший. Ветхие люди только и делают, что грешат и каются, и неизвестно, когда они бывают подлее: когда грешат или когда каются.

Новые люди не грешат и не каются; они всегда размышляют и потому делают только ошибки в расчете, а потом исправляют эти ошибки и избегают их в последующих выкладках. У новых людей добро и истина, честность и знание, характер и ум оказываются тождественными понятиями; чем умнее новый человек, тем он честнее, потому что тем меньше ошибок вкрадывается в расчеты. У нового человека нет причин для разлада между умом и чувством, потому что ум, направленный на любимый и полезный труд, всегда советует только то, что согласно с личною выгодою, совпадающею с истинными интересами человечества и, следовательно, с требованиями самой строгой справедливости и самого щекотливого нравственного чувства.

Основные особенности нового типа, о которых я говорил до сих пор, могут быть сформулированы в трех главных положениях, находящихся в самой тесной связи между собою.

I. Новые люди пристрастились к общеполезному труду.

II. Личная польза новых людей совпадает с общею пользою, и эгоизм их вмещает в себе самую широкую любовь к человечеству.

III. Ум новых людей находится в самой полной гармонии с их чувством, потому что ни ум, ни чувство их не искажены хроническою враждою против остальных людей.

А все это вместе может быть выражено еще короче: новыми людьми называются мыслящие работники, любящие свою работу. Значит, и злиться на них незачем.

V

Обозначенные мною особенности нового типа представляют только самые общие контуры, внутри которых открывается самый широкий простор всему бесконечному разнообразию индивидуальных стремлений, сил и темпераментов человеческой природы. Эти контуры тем и хороши, что они не урезывают ни одной оригинальной черты и не навязывают человеку ни одного обязательного свойства. В этих контурах уживется и насладится полным счастием каждый человек, если только он не испорчен до мозга костей произвольно придуманными аномалиями нашей неестественной жизни. Но так как эти контуры не могут дать читателю полного понятия о живых человеческих личностях, принадлежащих к новому типу, то я обращусь теперь к роману г. Чернышевского и возьму из него тот эпизод, в котором сосредоточивается главный его интерес. Я постараюсь проследить, как развивается в Вере Павловне любовь к другу ее мужа, Кирсанову, и как ведут себя в этом случае Лопухов, Кирсанов и Вера Павловна.

Когда Вера Павловна тайком от родителей вышла замуж за Лопухова, то и муж и жена силою обстоятельств были принуждены работать пристально и усердно. Надо было спасаться от нужды; он занимался переводами и уроками; она также давала уроки; оба трудились добросовестно и мало-помалу ввели в свою жизнь комфорт и изящество. Когда им перестала угрожать нужда, Вера Павловна задумалась над устройством такой швейной мастерской, в которой был бы совершенно устранен элемент эксплуатирования работниц. Задумалась и устроила. Много времени потребовалось на то, чтобы ознакомить работниц с новым порядком, много нужно было осторожности и искусства, чтобы не озадачить их новизною устройства и не оттолкнуть их от небывалого предприятия; однако Вере Павловне удалось победить все эти трудности, и года через два после своего основания мастерская доставляла всем швеям возможность иметь просторную и здоровую общую квартиру, сытный и вкусный стол, некоторые развлечения и частицу свободного времени для умственных занятий. Развитие и окончательное усовершенствование мастерской описаны г. Чернышевским очень ясно, подробно и с тою сознательною любовью, которую подобные учреждения естественным образом внушают ему как специалисту по части социальной науки.

В практическом отношении это описание мастерской, действительно существующей или идеальной — все равно, составляет, может быть, самое замечательное место во всем романе. Тут уже самые лютые ретрограды не сумеют найти ничего мечтательного и утопического, а между тем этой стороною своей роман «Что делать?» может произвести столько деятельного добра, сколько не произвели до сих пор все усилия наших художников и обличителей *. Ввести плодотворную идею в роман и применить ее именно к такому делу, которое доступно силам женщины, — мысль как нельзя более счастливая. Если бы эта мысль заглохла без следа, то пришлось бы изумиться умственной вялости нашего общества — с одной стороны, и силе обстоятельств, задерживающих его развитие, — с другой. Но, отдавая должную справедливость этим свойствам нашей жизни, нельзя не сказать, однако, что совершенно бесследно мысль эта могла пройти только разве между кретинами. Поэтому не одно честное сердце отозвалось на нее, не один свежий голос откликнулся на этот призыв к деятельности, обращенный к нашим женщинам. В этом отношении г. Чернышевский, разрушитель эстетики, оказался единственным нашим беллетристом, художественное произведение которого имело непосредственное влияние на наше общество, правда, на небольшую часть его, но зато на лучшую.

Главнейшие основания в устройстве мастерской Веры Павловны заключались в том, что прибыль делилась поровну между всеми работницами и потом расходовалась самым экономическим и расчетливым образом: вместо нескольких маленьких квартир нанималась одна большая; вместо того чтобы покупать съестные припасы по мелочам, их покупали оптом. Для личной жизни Веры Павловны устройство мастерской и прежние труды по урокам важны в том отношении, что они ограждают ее в глазах читателя от подозрения в умственной пустоте. Вера Павловна — женщина нового типа; время ее наполнено полезным и увлекательным трудом; стало быть, если в ней родится новое чувство, вытесняющее ее привязанность к Лопухову, то это чувство выражает собою действительную потребность ее природы, а не случайную прихоть праздного ума и блуждающего воображения. Возможность этого нового чувства обусловливается очень тонким различием, существующим между характерами Лопухова и его жены. Это различие, разумеется, не производит между ними взаимного неудовольствия, но мешает им доставить друг другу полное семейное счастье, которого оба они имеют право требовать от жизни.

Гейне в своей книге о Берне * различает два главные типа людей: одни, страстно и упорно сосредоточивающие свои силы на одной обожаемой идее, причисляются к иудейскому типу; другие, раскидывающие свои силы во все стороны и везде отыскивающие себе наслаждения, составляют тип эллинский. Гейне замечает, что эти типы находят себе блестящее воплощение в тех двух народах, которым они обязаны своими названиями, но что, несмотря на то, они часто перекрещиваются между собою, так что коренной иудей оказывается эллином по характеру, а чистейший эллин — иудеем. Гейне самого себя причисляет к эллинскому типу, а своего строгого критика Берне считает чистым представителем типа иудейского. Оба типа встречаются всего чаще в смягченном и ослабленном виде и очень редко доходят до своего полного развития.

Разбирая характеры Лопухова и его жены, я могу сказать, что *он* был преимущественно иудей, а *она* склонялась к эллинскому типу. Она любит цветы и картины, любит покушать сливок, понежиться в теплой и мягкой постели, развлечься оперною музыкою; у него в кабинете нет ни цветов, ни картин; на стене висят только ее портрет ** и портрет «святого старика», Роберта Оуэна; он много работает, а веселится редко, и воодушевляется только тогда, когда заходит речь о его обожаемой идее, о той идее, с которою связаны имена Оуэна, Фурье и немногих других истинных друзей человечества. Эти внешние различия служат признаками более глубоких внутренних различий. Ей необходимо постоянное присутствие

любимого человека, постоянно согревающее влияние его ласки и нежности, постоянное участие его в ее работах и в ее забавах, в ее серьезных размышлениях и в ее полуребяческих шалостях. В нем, напротив того, нет потребности в каждую данную минуту жить с нею одною жизнью, участвовать в каждой ее радости, делить поровну каждое впечатление. Он всегда поможет ей в минуту раздумья или огорчения; он подойдет к ней, если она позовет его в минуту веселья, но подойдет или по ее призыву, или потому, что без ее слов угадает ее желание; в нем самом нет внутреннего влечения к тем удовольствиям, которые любит она. Ему необходимо иногда уединяться и сосредоточиваться; он сам говорит о себе, что отдыхает только тогда, когда остается совершенно один. Стало быть, в семейной жизни Лопуховых непременно один из супругов должен был в угоду другому подавлять личную особенность своего характера. При таких условиях полное счастие любви совершенно невозможно, тем более что такие люди, как Лопуховы, превосходно понимают условия настоящего счастия и по высоте своей умственной организации и своего развития неизбежно оказываются очень требовательными в отношении всех процессов психической жизни. Когда к аккорду любви примешивается малейший фальшивый звук, соответствующий едва заметному стеснению одной из любящихся личностей, — тогда весь аккорд оказывается диссонансом, и диссонанс этот делается тем томительнее и тяжелее, чем выше и тоньше организация заинтересованных лиц. Когда умный и честный мужчина и умная и честная женщина стараются осчастливить друг друга, и не могут достигнуть этого, и видят бесплодность своих усилий, то оба становятся мучениками; чтобы выйти из этого страшно-драматического положения, им необходимо расстаться, как бы ни было велико их взаимное уважение и как бы ни была сильна связывающая их дружба.

Только на четвертый год своего замужества Вера Павловна начинает чувствовать, что какие-то потребности ее душевной жизни остаются неудовлетворенными; это смутное чувство неудовлетворения долго остается несознанным, потому что жизнь Веры Павловны в родительском доме была очень тяжела; вырвавшись, как она говорит, «из подвала», она рада была воздуху свободы, она была полна признательностию к своему освободителю, несмотря на то, что и она и освободитель ее совершенно справедливо считают признательность унизительным чувством, которое порабощает одного человека и оскорбляет другого. Четыре года разумной и свободной жизни развернули богатые способности Веры Павловны, изгладили тяжелые воспоминания о подвале и дали нашей героине возможность относиться совершенно непринужденно, без всякой примеси признательности к личности освободителя,

который, конечно, сам был особенно рад тому, что пропала низкая признательность и явилось совершенно свободное уважение. Но уважение и признательность Веры Павловны к своему доброму и умному мужу так сильны, что она приходит в совершенный ужас, когда в голову ее закрадывается сомнение в том, действительно ли она его любит и действительно ли она с ним счастлива *.

Вера Павловна просыпается с этим восклицанием, и быстрее, чем сознала она, что видела только сон и что она проснулась, она уже вскочила, она бежит.

— Мой милый, обними меня, защити меня! Мне снился страшный сон! — Она жмется к мужу. — Мой милый, ласкай меня, будь нежен со мною, защити меня!

— Верочка, что с тобою? — Муж обнимает ее. — Ты вся дрожишь. — Муж целует ее. — У тебя на щеках слезы, у тебя холодный пот на лбу. Ты босая бежала по холодному полу, моя милая; я целую твои ножки, чтобы согреть их.

— Да, ласкай меня, спаси меня! Мне снился гадкий сон, мне снилось, что я не люблю тебя.

— Милая моя, кого же ты любишь, как не меня? Нет, это пустой, смешной сон!

— Да, я люблю тебя, только ласкай меня, целуй меня, — я тебя люблю, я тебя хочу любить.

Она крепко обнимает мужа, вся жмется к нему и, успокоенная его ласками, тихо засыпает, целуя его.

В это утро Дмитрий Сергеич (Лопухов) не идет звать жену пить чай: она здесь, прижавшись к нему; она еще спит; он смотрит на нее и думает: «Что это такое с ней, чем она была испугана, откуда этот сон?»

Новые люди никогда ничего не требуют от других; им самим необходима полная свобода чувств, мыслей и поступков, и потому они глубоко уважают эту свободу в других. Они принимают друг от друга только то, что дается, — не говорю: добровольно, — этого мало, но с радостью, с полным и живым наслаждением. Понятие жертвы и стеснения совершенно не имеет себе места в их миросозерцании. Они знают, что человек счастлив только тогда, когда его природа развивается в полной своей оригинальности и неприкосновенности; поэтому они никогда не позволяют себе вторгаться в чужую жизнь с личными требованиями или с навязчивым участием. Вера Павловна в приведенной сцене требует от мужа ласки и нежности, и он, разумеется, с радостию исполняет ее желания; но *требует* или просит она только потому, что не помнит себя от испуга; в нормальном положении она ничего не станет требовать; ей будет казаться, что муж ласкает ее не по собственному влечению, не для себя, а для нее, и когда появится эта мысль, тогда ей будет тяжело и наконец невозможно принимать те самые ласки, которые составляют, однако, потребность ее любящей природы. Лопухов понимает это и потому задумывается над ее сном и над происшедшею между ними

сценою. Через месяц после страшного сна происходит следующая сцена, находящаяся в прямой связи с предыдущею.

— Верочка, милая моя, что ты задумчива?

Вера Павловна плачет и молчит.

— Нет, — она утерла слезы, — нет, не ласкай, мой милый! Довольно! Благодарю тебя! — и она так кротко и искренно смотрит на него. — Благодарю тебя, ты так добр ко мне.

— Добр, Верочка? Что это, как это?

— Добр, мой милый; ты добрый.

Теперь уже никакие силы, никакие старания не могут восстановить нарушенной гармонии любви. Когда женщина думает, что мужчина ласкает ее по своей доброте, вся ее законная гордость возмущается против этой обидной доброты, вся ее деликатность стремится оттолкнуть прочь эту жертву. Кто любит, тот непременно хочет, чтобы любовь доставляла равные наслаждения ему и другому. Где это условие не соблюдено, там мужчина и женщина могут быть друзьями, могут уважать друг друга, но любви между ними не может и не должно существовать, потому что любовь была бы порабощением для одного из них и несчастием для обоих. Через два дня натянутость положения становится еще заметнее.

Муж сидит подле нее, обнял ее...

«Да, это не то, во мне нет того», — думает Лопухов.

«Какой он добрый, какая я неблагодарная!» — думает Вера Павловна.

Вот что они думают.

Она говорит:

— Мой милый, иди к себе, занимайся или отдохни, — и хочет сказать, и умеет сказать эти слова простым, не унылым тоном.

— Зачем же, Верочка, ты гонишь меня? мне и здесь хорошо — и хочет, и умеет сказать эти слова простым, веселым тоном.

— Нет, иди, мой милый. Ты довольно делаешь для меня. Иди, отдохни.

Он целует ее, и она забывает свои мысли, ей опять так сладко и легко дышать.

— Благодарю тебя, мой милый, — говорит она.

То, что происходит между Лопуховым и его женою, не бросает ни малейшей тени ни на него, ни на нее. С их стороны не было даже ошибки в выборе, потому что обстоятельства доброго старого времени, окружавшие Веру Павловну в родительском доме, делали всякий свободный выбор, всякое колебание и даже всякое промедление совершенно невозможными. Ей надо было прежде всего вырваться из подвала; ему, как честному человеку, надо было прежде всего высвободить ее из невыносимого положения. Если бы при таких условиях они стали внимательно изучать друг друга да исследовать тончайшие особенности характеров, то их надо было бы на-

звать старыми тряпками вроде Рудина, а никак не свежими людьми нового типа. Они видели друг в друге честных и умных людей, братьев по взгляду на жизнь; этого было совершенно достаточно для того, чтобы он смело протянул ей руку, и для того, чтобы она, не задумываясь, приняла предлагаемую опору. Этот образ действий был совершенно согласен с их характерами, и он сам по себе был безусловно хорош. Теперь из этого образа действий развиваются последствия, одинаково тягостные для Лопухова и для его жены. Ветхие люди не сумели бы справиться с этими последствиями; они стали бы обвинять и мучить друг друга, когда ни тот, ни другой ни в чем не виноваты; они стали бы действовать наперекор собственной своей природе, и, разумеется, из этих неестественных и неразумных усилий не вышло бы ничего, кроме бесплодного страдания; они с тупою покорностью склонили бы голову перед так называемым решением судьбы, между тем как в их собственных руках находились бы все средства завоевать себе полное и прочное счастие. Новые люди в подобных случаях поступают совершенно иначе; они спокойно и внимательно осматривают свое положение, убеждаются, что оно действительно тяжело, стараются переделать не природу, а обстоятельства и благодаря своим разумным усилиям всегда находят себе счастливый выход из самых серьезных затруднений. Цельность природы, гармония между умом и чувством и постоянное присутствие духа должны непременно преодолевать такие препятствия, перед которыми ветхие люди останавливаются в недоумении и приходят в безвыходное отчаяние.

VI

Вера Павловна надеется снова найти себе счастие и спокойствие в серьезной и заботливой любви своего мужа, но Лопухов, как человек более опытный, понимает, что надеяться поздно. Ему тяжело отказываться от того, что он считал своим счастием, но он не ребенок и не старается поймать луну руками. Он видит, что причины разлада лежат очень глубоко, в самых основах обоих характеров, и потому он старается не о том, чтобы кое-как заглушить разлад, а, напротив, о том, чтобы радикально исправить беду, хотя бы ему пришлось совершенно отказаться от своих отношений к любимой женщине. Тут нет никакого сверхъестественного героизма; тут только ясный и верный расчет. Когда благоразумный человек ранен и когда пуля засела в его ране, он не говорит доктору: «Залечите мне рану», а говорит напротив того: «Углубите и расширьте рану, чтобы можно было вынуть пулю». Когда рану исследуют зондом, пациенту очень больно, но ему гораздо

выгоднее перенести эту сильную боль, чем оставить в своем теле пулю и иметь в перспективе антонов огонь или что-нибудь в этом роде. Лопухов ясно понимает свое положение и потому постоянно действует так, как люди, не умеющие мыслить, действуют только во время редких и случайных припадков слепого героизма. Ему очень тяжело, но даже в это тяжелое время ему приходится испытать минуты такого глубокого наслаждения, о каком иной «проницательный читатель» во всю свою жизнь не составит себе даже приблизительного понятия.

— Позволишь ли ты мне (говорит он Вере Павловне) просить тебя, чтобы ты побольше рассказала мне об этом сне, который так напугал тебя?

— Мой милый, теперь я не думала о нем. И мне так тяжело вспоминать его.

— Но, Верочка, быть может, мне полезно будет знать его.

— Изволь, мой милый. Мне снилось, что я скучаю оттого, что не поехала в оперу, что я думаю о ней, о Бозио; ко мне пришла какая-то женщина, которую я сначала приняла за Бозио и которая все пряталась от меня; она заставила меня читать мой дневник; там было написано все только о том, как мы с тобою любим друг друга, а когда она дотрагивалась рукою до страниц, на них показывались новые слова, говорившие, что я не люблю тебя.

— Прости меня, мой друг, что я еще спрошу тебя: ты только видела во сне?

— Милый мой, если бы не только, разве я не сказала бы тебе? Ведь я это тогда же тебе сказала.

Это было сказано так нежно, так искренно, так просто, что Лопухов почувствовал в груди волнение теплоты и сладости, которого всю жизнь не забудет тот, кому счастие дало испытать его. О, как жаль, что немногие, очень немногие мужья могут знать это чувство! Все радости счастливой любви ничто перед ним; оно навсегда наполняет чистейшим довольством, самою святою гордостью сердце человека.

В словах Веры Павловны, сказанных с некоторой грустью, слышался упрек; но ведь смысл этого упрека был: «друг мой, неужели ты не знаешь, что ты заслужил полное мое доверие? Жена должна скрывать от мужа тайные движения своего сердца: таковы уже те отношения, в которых они стоят друг к другу. Но ты, мой милый, держал себя так, что от тебя не нужно утаивать ничего, что мое сердце открыто перед тобою, как передо мною самой». Это великая заслуга в муже; эта великая награда покупается только высоким нравственным достоинством; и кто заслужил ее, тот вправе считать себя человеком безукоризненного благородства, тот смело может надеяться, что совесть его чиста и всегда будет чиста, что мужество никогда ни в чем не изменит ему, что во всех испытаниях, всяких, каких бы то ни было, он останется спокоен и тверд, что судьба почти не властна над миром его души, что с той поры, как он заслужил эту великую честь, до последней минуты жизни, каким бы ударам ни подвергался он, он будет счастлив сознанием своего человеческого достоинства. Мы теперь довольно знаем Лопухова, чтобы видеть, что он был человек не сентиментальный; но он был так тронут этими словами жены, что лицо его вспыхнуло.

— Верочка, друг мой, ты упрекнула меня, — его голос дрожал во второй раз в жизни и в последний раз; в первый раз голос его дрожал от сомнения в своем предположении, что он отгадал, теперь дрожал от радости: — ты упрекнула меня, но этот упрек мне дороже всех слов

любви. Я оскорбил тебя своим вопросом; но как я счастлив, что мой дурной вопрос дал мне такой упрек. Посмотри, слезы на моих глазах, с детства первые слезы в моей жизни!

Он целый вечер не сводил с нее глаз, и ей ни разу не подумалось в этот вечер, что он делает над собою усилие, чтобы быть нежным, и этот вечер был одним из самых радостных в ее жизни, по крайней мере до сих пор.

Да, надо быть недюжинным человеком, чтобы приобрести полную доверенность другого человека, и надо быть еще более недюжинным человеком, чтобы, убедившись в существовании этой доверенности, так глубоко прочувствовать ту святую радость, которую испытал Лопухов. В этой радости нет ничего своекорыстного; на ней Лопухов не основывает никакой практической надежды; после разговора с женою он серьезнее прежнего задумывается над их общим положением, и задает себе не тот вопрос: «любит ли она его или нет?», а тот: «из какого отношения явилось в ней предчувствие, что она не любит его?» Психологическая задача, требующая от него разрешения, нисколько не изменяется в его глазах вследствие того упрека Веры Павловны, который возбудил в нем чувство гордой и мужественной радости; стало быть, радость его основана исключительно на том обстоятельстве, что ему всего дороже достоинство собственной личности; а кому это достоинство так дорого, кто способен так сильно радоваться, когда это достоинство встречает себе справедливую оценку со стороны любимых и уважаемых личностей, тот, разумеется, пройдет спокойно и твердо через всякие испытания, потому что никакие испытания не могут отнять или испортить у него то, чем он действительно дорожит больше всего на свете. Когда пустой и слабый человек слышит лестный отзыв насчет своих сомнительных достоинств, он упивается своим тщеславием, зазнается и совсем теряет свою крошечную способность относиться критически к своим поступкам и к своей особе. Напротив того, человек с сильным умом и с твердою волею, получая себе заслуженную дань уважения, испытывает глубокую и вместе спокойную радость, которая удвоивает его бдительность над собою, его внимательность к чистоте своей личности и его непоколебимую решимость идти вперед по тому же неизменному пути правильного расчета.

В психологическом отношении чрезвычайно верно то обстоятельство, что Лопухов после разговора с Верою Павловною еще раз вдумывается в ее положение и, наконец, отыскивает из него выход. Радость освежила весь его организм и усилила деятельность его мысли; испытав эту радость, он и себя, и жену, и весь мир любит сильнее, чем за минуту перед тем; а когда вся душа человека потрясена приливом всеобъемлющей любви и переполнена чистейшим счастием самоуважения,

в его мыслях нет места узкому своекорыстию; он разрешает затруднения быстро и бесстрашно, потому что в такие минуты он готов идти навстречу всяким страданиям, лишь бы только эти страдания навсегда упрочили за ним право считать себя честным человеком. Продумав часов до трех ночи, Лопухов убеждается, что у жены его возникает любовь к Кирсанову; анализируя характер Кирсанова, Лопухов замечает, что в этом характере есть свойства, которые необходимы для Веры Павловны и которых нет у него, Лопухова. Всматриваясь в поведение Кирсанова, Лопухов находит в нем такие факты, которые заставляют его думать, что Кирсанов давно уже любит Веру Павловну. Года три тому назад Кирсанов, постоянно бывавший в доме Лопуховых, вдруг отдалился от них, прикрывая свое отступление какими-то несостоятельными предлогами. Приглашенный недавно к Лопухову по случаю болезни последнего, он снова сблизился с ним и с его женою, но потом опять отшатнулся от их дома. Сближая все эти обстоятельства, Лопухов решает, что Кирсанов любит его жену и держится вдали от нее, чтобы каким-нибудь неосторожным словом или взглядом не нарушить спокойствие женщины, пользующейся, по его мнению, полным семейным счастьем. Перед Лопуховым лежат теперь две дороги. Во-первых, он может оставаться в положении строгого нейтралитета. Кирсанов не будет их посещать; зарождающееся чувство Веры Павловны заглохнет во время его отсутствия, и семейная жизнь Лопуховых пойдет своим обычным порядком. Во-вторых, он может своим вмешательством изменить ход событий. Он скажет Кирсанову, чтобы тот бывал у них по-прежнему, чувство Веры Павловны разовьется, и жизнь ее наполнится радостями взаимной любви.

Проницательный читатель скажет, что пойти по второй дороге может только сумасброд, что это и глупо, и безнравственно, и черт знает на что похоже. Посудите сами, муж приглашает к себе в дом человека, которого прочит в любовники к своей жене. Хорош муж, и хороша жена, и хорошо третье лицо! — Ну, когда ветхий человек или проницательный читатель облегчит свою переполненную грудь громкими возгласами и наговорит нам значительное количество жалких слов, я возьму на себя смелость заметить, что прямая обязанность Лопухова состояла в том, чтобы пойти по этой второй дороге, и что, кроме того, на ту же самую дорогу указывал ему прямой и ясный расчет. По расчету выходит так: Лопухов знает, что сам не может составить счастья своей жены, стало быть, их семейная жизнь будет тягостна для обоих, и, кроме того, рано или поздно может случиться, что Вера Павловна с горя влюбится в такого человека, который будет во всех отношениях хуже Кирсанова. Если же она полюбит Кирса-

нова, то тягостное положение будет разрушено к обоюдной выгоде Лопуховых, которые оба должны желать его прекращения. Конечно, было бы лучше, если бы Вера Павловна могла вполне удовлетвориться любовью своего мужа; но так как это, судя по данным характерам, невозможно, то об этом нечего и толковать. Требования честности в этом случае формулируются так: человек не имеет права отнимать счастье у другого человека ни своими поступками, ни словами, ни даже молчанием. Если от нескольких слов одного зависит счастье другого и если первый не произносит этих слов, то он крадет чужое счастье и этим поступком марает свою личность. Если он станет говорить в свое оправдание, что он ничего не делал, что он умывал руки и оставался нейтральным, то замарает себя еще сильнее, потому что такие жалкие софизмы каждому честному человеку покажутся достойными презрения. Лопухов мог бы пойти по первой дороге только в том случае, если бы надеялся удержать за собою нежность своей жены; есть действительно такие люди, которые надеются до последней минуты и поддерживают в себе надежду всякими правдами и неправдами, потому что у них недостает мужества взглянуть в лицо неприятной действительности; вследствие этого действительность всегда захватывает их врасплох, и события играют ими, как пешками; если Лопухов не принадлежал к породе этих слабодушных оптимистов, то, мне кажется, это делает честь тонкости его ума и силе его характера. А если он не был оптимистом, то ему оставалось только ехать к Кирсанову. Он едет к нему на другой день после приведенной мною последней сцены с женою. Чтобы сделать такой решительный шаг, даже очень крепкому человеку необходимо собрать всю свою энергию; энергия Лопухова была возбуждена до крайних пределов тою радостью, которую причинил ему ласковый упрек Веры Павловны; процесс мысли был у него таков: когда мне так безусловно доверяют, надо действительно вполне оправдывать это доверие, и вот, находясь под свежим впечатлением обаятельного упрека, Лопухов начинает действовать. Кирсанов при первых, совершенно невинных словах своего друга вспыхивает и обнаруживает самое лютое негодование; но Лопухов не только не унимается, а, напротив того, укрощает яростного Кирсанова и заставляет его поступать так, как он, Лопухов, того хочет. Эта цель достигается, конечно, не посредством аргументации, а посредством следующего простого и невинного предположения: положим, говорит Лопухов, что существует три человека, — предположение, не заключающее в себе ничего невозможного; предположим, что у одного из них есть тайна, которую он желал бы скрыть и от второго, и в особенности от третьего; предположим, что второй угадывает эту тайну

первого и говорит ему: «делай то, о чем я прошу тебя, или я открою твою тайну третьему. Как ты думаешь об этом случае?» На аргументы Кирсанов не сдавался, но при этом предположении он кладет оружие. «Ты дурно поступаешь со мною, Дмитрий, — говорит он. — Я не могу не исполнить твоей просьбы. Но в свою очередь я налагаю на тебя одно условие. Я буду бывать у вас; но если я отправлюсь из твоего дома не один, то ты обязан сопровождать меня повсюду; и чтоб я не имел надобности звать тебя, слышишь? сам ты, без моего зова. Без тебя я никуда ни шагу — ни в оперу, ни к кому из знакомых, никуда». Лопухов понимает, что Кирсанов хочет непременно сблизить его с женою, и свидание невольных соперников по любви кончается тем, что они в первый раз в жизни обнимаются и целуются.

VII

Ту сцену *, в которой Вера Павловна объявляет Лопухову, что любит Кирсанова, необходимо передать подлинными словами автора. Иначе невозможно изобразить ту удивительную теплоту и нежность чувства, которую обнаруживает при этом случае суровый человек нового типа, человек, закиданный со всех сторон бессмысленными обвинениями в черствости сердца и в узкой рассудочности. Тут дело идет не о романе, даже не о г. Чернышевском; тут надо отстоять от тупой или злонамеренной клеветы тот тип людей, который один может освежить жалкую рутину нашей бессмысленной жизни.

.....проговорила: «Милый мой, я люблю его», и зарыдала.

— Что ж такое, моя милая? Чем же тут огорчаться тебе?

— Я не хочу обижать тебя, мой милый, я хочу любить тебя.

— Постарайся, посмотри. Если можешь, прекрасно. Успокойся, дай идти времени и увидишь, что можешь и чего не можешь. Ведь ты ко мне очень сильно расположена, как же ты можешь обидеть меня? — Он гладил ее волоса, целовал ее голову, пожимал ее руку. Она долго не могла остановиться от судорожных рыданий, но постепенно успокоилась. А он уже давно был приготовлен к этому признанию, потому и принял его хладнокровно, а впрочем, ведь ей не видно было его лица.

— Я не хочу с ним видеться, я скажу ему, чтобы он перестал бывать у нас, — говорила Вера Павловна.

— Как сама рассудишь, мой друг, как лучше для тебя, так и сделаешь. А когда ты успокоишься, мы посоветуемся. Ведь мы с тобою, что бы ни случилось, не можем не быть друзьями? Дай руку, пожми мою, видишь, как хорошо жмешь. — Каждое из этих слов говорилось после долгого промежутка, а промежутки были наполнены тем, что он гладил ее волоса, ласкал ее, как брат огорченную сестру.— Помнишь, мой друг, что ты мне сказала, когда мы стали жених и невеста? «Ты выпускаешь меня на волю». — Опять молчание и ласки. — Помнишь, как мы с тобой говорили в первый раз, что значит любить человека? Это значит радоваться тому, что хорошо для него, иметь удовольствие в том, чтобы

делать все, что нужно, чтобы ему было лучше, так? — Опять молчание и ласки. — Что тебе лучше, то и меня радует. Но ты посмотришь, как тебе лучше. Зачем же огорчаться? Если с тобою нет беды, какая беда может быть со мною?

Я не хочу оскорблять читателя; я не хочу доказывать ему, что выписанная мною сцена дышит жизнью и правдою и что каждый умный и честный человек, поставленный в положение Лопухова, будет держать себя точно таким же образом; я не хочу доказывать ему, что в этой сцене нет ни капли идеализации и что нежность и мягкость чувства составляют естественную принадлежность неиспорченной человеческой природы. Все это читатель должен сам передумать и перечувствовать при чтении превосходных строк романа. А кто до этого не додумается и не дочувствуется, тому я объяснять не намерен *. На той дороге, по которой идет Лопухов, нет возможности остановиться или поворотить назад. Когда, при его содействии, развилось и созрело чувство Веры Павловны к Кирсанову, ему, конечно, оставалось только содействовать этому чувству до конца и устранять все встречающиеся препятствия. Этого требовала от него самая простая логика, выразившаяся в известной пословице: «взявшись за гуж, не говори, что не дюж». Пока он не брался за гуж, пока он не вмешивался в поступки Кирсанова, до тех пор он мог выбирать тот или другой образ действий, и если бы он решился оставаться нейтральным, вместо того чтобы поступать активно, то мы могли бы только порицать его за ошибочность расчета, но не имели бы права относиться с презрением к его личности. Мы переменили бы к худшему наше мнение об уме Лопухова, но все нравственные достоинства, способные ужиться с дюжинным умом, остались бы при нем в полной неприкосновенности. После разговора своего с Кирсановым Лопухов перешел через Рубикон; он взял в свои руки счастье двух людей, и если бы после этого он оплошал в каком-нибудь отношении, то эта оплошность была бы грязною изменою, позорным банкротством в нравственном отношении. Может быть, это банкротство было бы не злостное, а только неосторожное, но это не оправдывало бы Лопухова. Кто позволяет себе быть неосторожным на чужой счет, тот не может считать себя честным человеком. Кто не испытал своих сил, кто не может на себя положиться, тот не имеет никакого права вмешиваться в судьбу другого лица.

Все это я говорю, чтобы доказать читателю, что в образе действий Лопухова не было таких проявлений героизма, которые возвышались бы над уровнем простой честности, обязательной для каждого порядочного человека. Лопухов только развил в своих поступках тот ряд последствий, который совершенно логично и неизбежно вытекает из его первого

решения, а логичность и последовательность поступков составляет, конечно, прямую и неотразимую обязанность каждого человека, способного распоряжаться своим головным мозгом. Я очень хорошо знаю, что большинство современных людей, считающих себя вполне порядочными, противоречат себе на каждом шагу в словах и в поступках. Человек, избегающий слишком явных противоречий самому себе, провозглашается в настоящее время чуть-чуть не гением по уму, и уж во всяком случае героем по характеру. Но это доказывает только, что у современных людей способность размышлять находится почти в совершенном бездействии. Головной мозг считается бесполезнейшею частью человеческого тела. Он растет и развивается по неизменным законам природы точно так, как растет и развивается на меже полынь и чернобыльник; на него льют и кидают всякие нечистоты; никто не обращает внимания на то, что ему вредно или полезно, и потому, конечно, он чахнет и искажается, так что здоровый и сильный мозг считается редким исключением и внушает к себе глубочайшее уважение. Хороша последовательность! Сначала дело ведется так, как будто бы надо было нарочно извратить все человеческие умы, а потом начинается благоговение перед теми немногими умами, которые по какому-нибудь случаю не успели извратиться. До сих пор люди всегда относились к массе своей породы с глубоким презрением и всегда были расположены ползать на коленях перед счастливыми исключениями, которые только потому были и остаются редкими исключениями, что масса не знала и не знает себе цены и безрассудно пренебрегала и пренебрегает своими естественными богатствами. Такие люди, как Лопухов, в настоящее время редки, но такие люди нисколько не выше обыкновенного человеческого роста. Каждый человек, не родившийся идиотом, может развить в себе мыслительную способность, может укрепить ее полезным трудом, может возвыситься до правильного и ясного понимания своих отношений к людям, и когда это будет исполнено, поступки Лопухова будут казаться ему совершенно простыми и естественными, и он будет спрашивать с искренним недоумением: да разве же можно было поступить иначе? Действительно, иначе поступить нельзя; кто в положении Лопухова сделает меньше, чем сделал Лопухов, тот перестанет быть честным человеком, а удержать за собою достоинство честного человека не значит еще совершить геройский подвиг.

Когда Лопухов заметил, что Вера Павловна худеет и бледнеет от напрасных усилий преодолеть свое чувство, он мягко и осторожно предложил ей отказаться от тяжелой борьбы; Вера Павловна разгневалась на него за это предложение, но потом через несколько времени объявила ему, что

борьба становится для нее действительно невыносимою; Лопухов почувствовал, что его присутствие может сделаться мучительным для Веры Павловны; он уехал на несколько недель; на его месте всякий порядочный человек поступил бы точно так же, потому что порядочному человеку чрезвычайно неприятно мучить своим присутствием кого бы то ни было. Возвратившись из своей непродолжительной отлучки, Лопухов увидел, что ему лучше было бы совсем не возвращаться; он понял — и понять было вовсе не трудно, — что его присутствие и даже его существование ставят между Кирсановым и Верою Павловною такую преграду, через которую, конечно, перешагнуть не очень трудно, но которую гораздо приятнее было бы совершенно устранить. Пока Лопухов перед обществом и перед законом сохраняет в отношении к Вере Павловне права мужа, до тех пор Кирсанов и Вера Павловна принуждены даже перед ближайшими знакомыми играть нелепейшую комедию, которая только утомляет актеров, не обманывая решительно никого. Самому Лопухову также предстоит мало удовольствия. В этой нелепейшей комедии ему приходится играть неблагодарную роль щита, подставного мужа и подставного отца. Самый узкий эгоист, в том смысле, как это слово понимается отсталыми рутинерами, — самый узкий эгоист, говорю я, поставленный на место Лопухова, пожелал бы, ради своего личного комфорта, развязаться с супружескими правами, потерявшими всякое фактическое значение. А развязаться можно или разводом, или смертью, но развод невозможен, потому что дело это затруднительно и хлопотливо и сопряжено с неприятною огласкою; стало быть, остается смерть: но, во-первых, всякому порядочному человеку жизнь так дорога, что он решится разбить ее только в случае самой крайней необходимости; во-вторых, самоубийство Лопухова было бы жестоким поступком в отношении к Кирсанову и к Вере Павловне; эта смерть отравила бы все их счастье и оставалась бы для них на всю жизнь кровавым упреком. Конечно, они тут ни в чем не были бы виноваты; но бывают такие происшествия, которые, поразив воображение людей, навсегда оставляют по себе болезненное воспоминание, похожее на упрек, и этого воспоминания не вытравит потом самый острый анализ. Очевидно, следовательно, что Лопухову всего расчетливее было бы поступить как-нибудь так, чтобы без ущерба для себя устранить препятствие, которое личность его представляла счастью других, и он решился умереть в глазах закона, ожить за границею под другим именем и объяснить потом Кирсанову и Вере Павловне, в каком смысле следует понимать его самоубийство.

Затруднительная задача разрешена, но разрешил ее не один Лопухов; ему принадлежала главная роль, но эту роль

было бы невозможно выдержать до конца, если бы Вера Павловна и Кирсанов не были людьми нового типа. Чувства, мысли и, следовательно, поступки Лопухова были бы далеко не так просты, спокойны, последовательны и человечны, если бы он не имел возможности во всякую данную минуту уважать свою жену и своего друга. Если бы Вера Павловна не была безукоризненно честна в отношении к своему мужу, то у Лопухова не было бы постоянного и горячего желания купить для нее счастье какою бы то ни было ценою. Если бы Лопухов не был уверен, что его жена полюбила Кирсанова серьезною и прочною любовью, то ему было бы невозможно и с его стороны было бы нерассудительно действовать с такою энергиею. Стоит ли в самом деле поднимать тревогу ради того, чтобы удовлетворить половому капризу взбалмошной женщины, у которой через неделю может явиться новый каприз? Если бы Кирсанов не заслуживал полного доверия, то со стороны Лопухова было бы нелепо и бессовестно бросить к нему на шею свою жену. Если бы вообще эти три человека не были в состоянии во всякую минуту смело глядеть друг другу в глаза, доверчиво советоваться между собою о своем общем деле и полюбовно разрешать это дело общими силами, то между ними непременно появились бы те недоброжелательные чувства, которые называются в общежитии антипатиею, боязнью, подозрением, ревностью и которые все вытекают из недостатка доверия и уважения. Поэтому переложить историю Лопухова на те нравы, которыми удовлетворяется почти все наше современное общество, нет никакой возможности. Тот ряд поступков, который был со стороны Лопухова совершенно логичен и необходим в отношении к таким людям, как Вера Павловна и Кирсанов, становится нелепым и смешным, если мы на место Веры Павловны поставим пустую барыню с чувствительным сердцем, а на место Кирсанова столь же пустого вздыхателя с пламенными страстями. Лопухов не стал бы поступать нелепо и смешно. Он вовсе не похож на Дон-Кихота и всегда сумеет понять, что ветряная мельница — не исполин и что бараны — не рыцари. Новые люди только в отношениях между собою развертывают все силы своего характера и все способности своего ума; с людьми старого типа они держатся постоянно в оборонительном положении, потому что знают, как всякий честный поступок в испорченном обществе перетолковывается, искажается и превращается в пошлость, ведущую за собою вредные последствия. Только в чистой среде развертываются чистые чувства и живые идеи; давно уже было сказано, что не следует вливать вино новое в мехи старые, и эта мысль так же верна теперь, как была верна две тысячи лет тому назад. Весь образ действий Лопухова, начиная от его поездки к Кир-

санову и кончая его подложным самоубийством, находит в себе блестящее оправдание в том полном и разумном счастье, которое он создал для Веры Павловны и для Кирсанова. Любовь, как понимают ее люди нового типа, стоит того, чтобы для ее удовлетворения опрокидывались всякие препятствия.

— Верочка, — говорит Кирсанов своей жене через несколько лет после свадьбы: — что? хвалиться или не хвалиться мне перед тобою? Мы — один человек; но это должно в самом деле отражаться и в глазах. Моя мысль стала много сильнее. Когда я делаю выводы из наблюдений — общий обзор фактов, я теперь в час кончаю то, над чем прежде должен был думать несколько часов. И я могу теперь обнимать мыслью гораздо больше фактов, чем прежде, и выводы у меня выходят и шире и полнее. Если бы, Верочка, во мне был какой-нибудь зародыш гениальности, я с этим чувством стал бы великим гением. Если бы от природы была во мне сила создать что-нибудь маленькое новое в науке, я от этого чувства приобрел бы силу пересоздать науку. Но я родился быть только чернорабочим, темным, мелким тружеником, который разработывает мелкие частные вопросы. Таким я и был без тебя. Теперь ты знаешь, я уже не то: от меня начинают ждать больше, думают, что я переработаю целую большую отрасль науки, все учение об отправлениях нервной системы. И я чувствую, что исполню это ожидание. В 24 года у человека шире и смелее новизна взглядов, чем в 29 лет (потом говорится: в 30 лет, в 32 года и так дальше); но тогда у меня не было этого в таком размере, как теперь. И я чувствую, что я все еще расту, когда без тебя я давно бы уж перестал расти. Да я уж и не рос последние два-три года перед тем, как мы стали жить вместе. Ты возвратила мне свежесть первой молодости, силу идти гораздо дальше того, на чем я остановился бы, на чем я уже и остановился было без тебя. А энергия работы, Верочка, разве мало значит? Страстное возбуждение сил вносится и в труд, когда вся жизнь так настроена. Ты знаешь, как действует на энергию умственного труда кофе, стакан вина; то, что дают они другим на час, за которым следует расслабление, соразмерное этому внешнему и мимолетному возбуждению, то имею я теперь постоянно в себе, — мои нервы сами так настроены постоянно, сильно, живо.

Надо стоять на довольно высокой степени развития не только для того, чтобы испытывать подобное чувство, а даже для того, чтобы понимать его возможность и верить в его действительное существование. Наша рутинная критика, конечно, не возвысится до этого понимания. Обвиняя г. Чернышевского в цинизме, она, кроме того, обвиняет его в идеализации и, таким образом, по свойственному ей остроумию, впадает в неразрешимое противоречие. Если г. Чернышевский — циник и если цинизм ставится ему в порок, то это значит, что он слишком мрачно смотрит на жизнь и оскорбляет таким взглядом человеческое достоинство. Если же он повинен в идеализации, значит, он слишком светло смотрит на жизнь и не замечает недостатков человека. Но нельзя же приписывать одному предмету два противоположные свойства; нельзя же

обвинять писателя в двух пороках, которые взаимно исключают друг друга. Что-нибудь одно: или циник, или идеализатор. А если он и циник и идеализатор, то это значит, что он ни циник, ни идеализатор, а просто человек, глубоко уважающий человеческую природу и превосходно понимающий неисчерпаемое богатство ее физических и умственных сил. Когда этот человек говорит о том, что унижает и искажает человеческую природу, он приходит в негодование, и тогда его обвиняют в цинизме те люди, которые слишком близоруки и испорчены, чтобы замечать унижение и искажение. Когда этот человек говорит о тех редких явлениях, в которых выражается чистота и сила человеческой природы, в его голосе слышатся радость и надежда, и тогда его обвиняют в идеализации те люди, которые, считая грязь за норму, видят в нормальных явлениях создания праздной фантазии. Что можно сказать этим обвинителям? Им можно сказать только, что они слепы и потому не понимают ни того, что стоит в уровень с ними, ни того, что стоит выше их.

В подтверждение моих слов о так называемом цинизме г. Чернышевского я приведу здесь самое резкое место его романа. «Сторешников (первый жених Веры Павловны) уже несколько недель занимался тем, что воображал себе Верочку в разных позах, и хотелось ему, чтобы эти картины осуществились. Оказалось, что она не осуществит их в звании любовницы, — ну, пусть осуществляет в звании жены; это все равно, главное дело не звание, а позы, то есть обладание. О, грязь, о, грязь! — «обладать» — кто смеет обладать человеком? Обладают халатом, туфлями. — Пустяки: почти каждый из нас, мужчин, обладает кем-нибудь из вас, наши сестры; опять пустяки: какие вы нам сестры? — вы наши лакейки! Иные из вас — многие — господствуют над нами, — это ничего: ведь и многие лакеи властвуют над своими барами». Очень резко, не правда ли? Но разве может быть иначе? Человек, понимающий любовь Кирсанова, может относиться мягко и снисходительно к любовным грезам Сторешникова только в том случае, если он допустит предположение, что Кирсанов и Сторешников — животные различных пород. А если он этого предположения не допустит, то ему, разумеется, будет обидно и досадно видеть поругание человеческой святыни, которая точно так же заключается в Сторешникове, как и в Кирсанове. А если обличители г. Чернышевского скажут, что Кирсановых совсем не бывает, то мы скажем на это: поживем, увидим. Будущее покажет нам, действительно ли существует новый тип, или его выдумали только в пику солидным людям негодные нигилисты.

VIII

Лопухов, Кирсанов и Вера Павловна, являющиеся в романе «Что делать?» главными представителями нового типа, не делают ничего такого, что превышало бы обыкновенные человеческие силы. Они — люди обыкновенные, и такими людьми признает их сам автор; это обстоятельство чрезвычайно важно, и оно придает всему роману особенно глубокое значение. Если бы автор показал нам героев, одаренных от природы колоссальными силами, и если бы даже повествовательный талант его заставил нас поверить в существование таких героев, то все-таки их мысли, чувства и поступки не имели бы общечеловеческого интереса, и каждый читатель имел бы право сказать, что он не герой и что ему за редкими исключениями нечего и гоняться. Человеческая природа вообще осталась бы по-прежнему под гнетом тех несправедливых и нелепых обвинений, которые набросала на нее вековая рутина прошедшего, победоносно отстаивающая свое существование и доказывающая свою законность в настоящем. Конечно, этот гнет обвинений и предрассудков не снят с человеческой природы романом г. Чернышевского; никакое литературное произведение, как бы оно ни было глубоко задумано, не может выполнить такую задачу, которой разрешение связано с радикальным изменением всех основных условий жизни; но чрезвычайно важно уже то, что роман «Что делать?» является в этом отношении блестящею попыткою; этим романом г. Чернышевский говорит всем самодовольным филистерам, что они клевещут на человеческую природу, что они свою искусственную забитость и ограниченность принимают за нормальное явление, освященное естественными законами, что они ставят чрезвычайно низко уровень своих умственных и нравственных требований, что они своим тупым или корыстным самодовольством наносят всему человечеству значительный вред и тяжелое оскорбление.

Указывая на Лопухова, Кирсанова и Веру Павловну, г. Чернышевский говорит всем своим читателям: вот какими могут быть обыкновенные люди, и такими они должны быть, если хотят найти в жизни много счастья и наслаждения. Этим смыслом проникнут весь его роман, и доказательства, которыми он подкрепляет эту главную мысль, так неотразимо убедительны, что непременно должны подействовать на ту часть публики, которая вообще способна выслушивать и понимать какие-нибудь доказательства. «Будущее, — говорит г. Чернышевский, — светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько можете перенести: настолько будет светла и добра, богата радостью и наслаждением ваша

жизнь, насколько вы сумеете перенести в нее из будущего. Стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее все, что можете перенести». Это светлое будущее, в которое так горячо верят лучшие люди, придет не для одних героев, не для тех только исключительных натур, которые одарены колоссальными силами; это будущее сделается настоящим именно тогда, когда все обыкновенные люди действительно почувствуют себя людьми и действительно начнут уважать свое человеческое достоинство. Кто старается пробудить уважение обыкновенных людей к их природе, возвысить уровень их требований, возбудить в них доверие к собственным силам и внушить им надежду на успех, тот посвящает свои силы великому и прекрасному делу разумной любви; в такой деятельности выражается живое стремление к будущему, потому что светлое будущее может быть достигнуто только тогда, когда много единичных сил будет потрачено на такую деятельность. Роман г. Чернышевского действует именно в этом направлении, между тем как вся остальная масса нашей беллетристики сама ходит ощупью и не действует ни в каком направлении.

Желая убедительнее доказать своим читателям, что Лопухов, Кирсанов и Вера Павловна действительно люди обыкновенные, г. Чернышевский выводит на сцену титаническую фигуру Рахметова, которого он сам признает необыкновенным и называет «особенным человеком». Рахметов в действии романа не участвует, да ему в нем нечего и делать; такие люди, как Рахметов, только тогда и там бывают в своей сфере и на своем месте, когда и где они могут быть историческими деятелями; для них тесна и мелка самая богатая индивидуальная жизнь; их не удовлетворяет ни наука, ни семейное счастие; они любят всех людей, страдают от каждой совершающейся несправедливости, переживают в собственной душе великое горе миллионов и отдают на исцеление этого горя все, что могут отдать. При известных условиях развития эти люди обращаются в миссионеров и отправляются проповедовать евангелие дикарям различных частей света. При других условиях они успевают убедиться, что в образованнейших странах Европы есть такие дикари, которые глубиною своего невежества и тягостью своих страданий далеко превосходят готтентотов или папуасов. Тогда они остаются на родине и работают над тем, что их окружает. Как они работают и что выходит из их работ, — это объяснить довольно трудно, потому что работы их начались очень недавно, всего лет пятьдесят или семьдесят тому назад, и потому что окончательный результат этих работ, передающихся от одного поколения деятелей к другому, лежит еще далеко впереди. Видят они, что настоящее дурно, стараются, чтобы будущее было лучше, и прила-

гают к делу те средства, которые находятся под руками. Их не понимают, им мешают делать добро, и от этого их мирная работа принимает совершенно не свойственный ей характер ожесточения и борьбы. Им чаще всего приходится брать в руки школьную указку и объяснять взрослым детям и цивилизованным дикарям азбуку правильного понимания самых простых вещей. Эти люди, способные по уму и характеру обдумывать и разрешать на практике самые сложные задачи современной истории, обыкновенно бывают принуждены возиться с самою мелкою черною работою в течение всей своей жизни, и они не отворачиваются от черной работы, потому что главная потребность всего их существа состоит в том, чтобы делать что-нибудь для облегчения человеческого горя. Нельзя сделать все, так они будут делать что можно. На свое место, на котором они могли бы развернуть все свои способности, эти люди попадают чрезвычайно редко и всегда какими-нибудь эксцентрическими путями. Правильной карьеры эти люди не сделали себе с самого сотворения мира. Природа всегда отказывает им в канцелярской сметливости и во всяких других служебных дарованиях. Поэтому какой-нибудь Роберт Пиль мог быть первым министром Англии и прослыть благодетелем своего народа, а другой Роберт, только не Пиль, а Оуэн, должен был непременно, во время всей своей жизни, терпеть притеснения от тупых мещан, а под старость прослыть помешанным. Поэтому граф Кавур мог считаться ангелом-хранителем Италии и возбудить своею смертью нескончаемые вопли в европейских журналах, поющих на голос «Times'а» [1], а Иосиф Гарибальди непременно должен был получить сначала рану при Аспромонте, а потом, вслед за раною, амнистию, которая была бы обиднее всякой раны, если бы прежде всего не была смешна до последней степени. Гарибальди и Оуэн все-таки выдвинулись из неизвестности, и деятельность их получила себе широкий простор; но первый из них мог выдвинуться потому, что для Италии наступило время политического обновления, а второй потому, что Англия, при всех недостатках своего общественного устройства, обеспечивает за своими гражданами значительную свободу действий. На одного выдвинувшегося Оуэна или Гарибальди приходится, наверное, по нескольку необыкновенных людей, которым на всю жизнь суждено оставаться полезными чернорабочими в деле служения человечеству.

К числу этих необыкновенных людей, обреченных на неизвестность, относится Рахметов. В то время, когда г. Чернышевский вводит его на короткое время в свой роман, ему 22 года. Он — потомок старинного рода и сын богатого поме-

---

[1] «Таймс» *(англ.)*. — *Ред.*

щика. Рахметов с 16 лет был студентом и на половине 17-го года проникнулся теми идеями, которые дали определенное направление всем богатым силам его молодой и любящей природы. Кирсанов, познакомившись с ним, отвечал на его тревожные вопросы и указал ему на некоторые книги. «Жадно слушал он Кирсанова в первый вечер, плакал, прерывал его слова восклицаниями проклятий тому, что должно погибнуть, благословений тому, что должно жить». Потом начал читать и читал, не отрываясь от книги, с 11 часов утра четверга до 9 часов вечера воскресенья; «первые две ночи не спал так, на третью выпил восемь стаканов крепчайшего кофе, до четвертой ночи не хватило сил ни с каким кофе, он повалился и проспал на полу часов 15». Через год после этого он оставил университет, «поехал в поместье, распорядился, победив сопротивление опекуна, заслужив анафему от братьев и достигнув того, что мужья запретили его сестрам произносить его имя, потом скитался по России разными манерами, и сухим путем, и водою, и пешком, и на расшивах, и на косных лодках». С земли, оставшейся у него после распоряжения по имению, он получал 3000 рублей дохода, но себе из этих денег брал только 400 рублей, а на остальные содержал семь человек стипендиатов, двоих в Казанском университете и пятерых в Московском. На половине 17-го года Рахметов начал развивать в себе физическую силу, занимался гимнастикою, возил воду, таскал дрова, рубил дрова, пилил лес, тесал камни, копал землю, ковал железо, и при этом кормил себя почти исключительно полусырою говядиною. Наконец, во время странствований своих по России, он прошел бурлаком всю Волгу, от Дубовки до Рыбинска, и за свою непомерную силу получил от своих товарищей по лямке прозвище Никитушки Ломова, по имени одного силача, ходившего по Волге лет 20 тому назад и пользовавшегося между народом значительною известностью. Свою приобретенную силу Рахметов поддерживал, не щадя ни труда, ни времени; «так нужно, говорил: это дает уважение и любовь простых людей. Это полезно, может пригодиться». Во всем своем образе жизни Рахметов соблюдал крайнюю умеренность. «По целым неделям у него не бывало во рту куска сахару, по целым месяцам — никакого фрукта, ни куска телятины или пулярки». Обедая в гостях, он с удовольствием ел некоторые блюда, которых не позволял себе есть дома, но были такие кушанья, от которых он навсегда отказался. «Причина различения была основательная: «То, что ест, хотя по временам, простой народ, и я могу есть при случае. Того, что никогда не доступно простым людям, и я не должен есть. Это нужно мне для того, чтобы хотя несколько чувствовать, насколько стеснена их жизнь сравнительно с моею». «Он сказал себе: «Я не пью ни

капли вина. Я не прикасаюсь к женщине», и объяснял следующим образом причину этого отречения. «Так нужно. Мы требуем для людей полного наслаждения жизнью, мы должны своей жизнью свидетельствовать, что мы требуем этого не для удовлетворения своим личным страстям, не для себя лично, а для человека вообще, что мы говорим только по принципу, а не по пристрастию, по убеждению, а не по личной надобности».

Это рассуждение Рахметова в логическом отношении никуда не годится. Если я доказываю, что людям необходимо полное наслаждение жизнью, то мне нет никакой надобности подрывать свои доказательства примером собственной жизни. Принимать самого себя за исключение и ставить себя выше человеческих потребностей и вне общих физиологических законов во всяком случае нерационально. Проповедуя против монашества, монах Лютер сам женился на монашенке, и его пример был самым убедительным подкреплением его проповеди. Вообще жизнь и учение человека должны всегда находиться в возможно полном согласии; аскет, проповедующий наслаждение жизнью, в своем роде явление такое же нелепое и безобразное, каким были средневековые папы, которые, пьянствуя, роскошничая и развратничая, проповедовали пост, нищету и истязание. Людям мешают наслаждаться или собственные их предрассудки, или внешние обстоятельства. Чтобы побеждать предрассудки, надо действовать убеждением и примером, стало быть, для борьбы с предрассудками личный аскетизм Рахметова может быть только вредным. Внешним же обстоятельствам, очевидно, нет никакого дела до личных страстей или до принципов Рахметова; было бы наивно думать, что внешние обстоятельства проникнутся уважением к личному бескорыстию проповедника и, убедившись в собственной непригодности, стыдливо отойдут в сторону. Внешние обстоятельства, как слепые, стихийные силы, не поддаются ни на какие убеждения, как бы ни была высока и чиста личность убеждающего мыслителя. Впрочем, самый факт рахметовского аскетизма нисколько не представляется мне невозможным или сомнительным. Бывают натуры, в которых любовь к людям, сохраняя всю пылкость чувства, принимает непреклонность догмата, управляющего всеми мыслями и поступками человека. Чем меньше силы такого человека могут быть приложены к внешней плодотворной деятельности, тем больше эти силы обращаются внутрь, на самого деятеля, которого они тиранят без малейшей пощады и без всякой пользы. У деятеля сердце обливается кровью от того, что он почти ничего не может сделать для облегчения общих страданий, и он на самого себя изливает свою законную досаду. «А, — говорит он себе, — ты не можешь им помочь, не

можешь? так вот же тебе! не помогаешь другим, так страдай же сам вместе с ними, страдай больше их!» И действительно наваливает он на себя груду ненужных тягостей и стеснений. Рахметов отказывается от какого-нибудь кушанья, чтобы чувствовать, насколько жизнь простых людей стеснена сравнительно с его жизнью. Ну кто ж этому поверит? Какой человек, знающий Рахметова, может подумать, что Рахметов когда-нибудь, во сне или наяву, забывает о нуждах и стеснениях простых людей? А если он их никогда не забывает, то зачем же ему напоминать себе о них ненужными лишениями? Причина одна — общая таким натурам потребность взимать на себя грехи мира, бичевать и распинать себя за все людские глупости и подлости.

Объяснить эту потребность я не умею, потому что ее испытывают и понимают только исключительные натуры; но сомневаться в действительном существовании этой потребности значило бы отрицать множество достовернейших исторических явлений. В общем движении событий бывают такие минуты, когда люди, подобные Рахметову, необходимы и незаменимы; минуты эти случаются редко и проходят быстро, так что их надо ловить на лету, и ими надо пользоваться как можно полнее. Я говорю о тех минутах, когда массы, поняв или по крайней мере полюбив какую-нибудь идею, воодушевляются ею до самозабвения и за нее бывают готовы идти в огонь и в воду; эти минуты редки, потому что массы вообще понимают туго и самыми ясными идеями проникаются чрезвычайно медленно; эти минуты коротки, потому что энтузиазм вообще испаряется скоро, как у отдельных людей, так и у целых народов; только в эти минуты массы способны сделать что-нибудь умное и хорошее; поэтому такими минутами надо пользоваться. Те Рахметовы, которым удается увидать на своем веку такую минуту, развертывают при этом всю сумму своих колоссальных сил; они несут вперед знамя своей эпохи, и уже, конечно, никто не может поднять это знамя так высоко и нести его так долго и так мужественно, так смело и так неутомимо, как те люди, для которых девиз этого знамени давно заменил собою и родных, и друзей, и все личные привязанности, и все личные радости человеческой жизни. В эти минуты Рахметовы выпрямляются во весь рост, и этот колоссальный рост как раз соответствует величию событий; если бы в эти минуты могли выступить из толпы десятки новых Рахметовых, то все они нашли бы себе работу по силам; но их вообще мало, и, по недостатку в таких людях, все великие минуты в истории человечества до сих пор обманывали общие ожидания, приводили за собою горькое разочарование и сменялись вековою апатиею. В обыкновенное время, когда господствует невозмутимая рутина, когда тя-

нутся скучные и томительно длинные исторические антракты, силам Рахметовых нет приложения; эти силы давят и гнетут своих обладателей, и те мелкие дела, к которым они прикладываются, только разжигают в этих людях стремление к полезной деятельности, не доставляя этому страстному стремлению ни малейшего удовлетворения. Вот чем занимается наш Рахметов: «Гимнастика, работа для упражнения силы, чтение — были личными занятиями Рахметова; но по его возвращении в Петербург они брали у него только четвертую долю его времени; остальное время он занимался чужими делами или ничьими в особенности, постоянно соблюдая то же правило, как и в чтении: не тратить времени над второстепенными делами и с второстепенными людьми, заниматься только капитальными, от которых уже и без него изменяются второстепенные дела и руководимые люди». Эта деятельность была, может быть, очень обширна и важна по своим результатам, но что она не удовлетворяла Рахметова, это всего убедительнее доказывается всей его системой ригоризма, которая придумана без малейшей необходимости. Отдельные случаи, в которых проявляется его ригоризм, могли бы быть устранены без малейшего ущерба для его любимого дела. Он встречается с молодою вдовою, которая влюбляется в него; он также чувствует к ней симпатию. Между ними происходит объяснение, вызванное ею, в котором он говорит: «Я был с вами откровеннее, чем с другими; вы видите, что такие люди, как я, не имеют права связывать чью-нибудь судьбу с своею». — «Да, это правда, — сказала она, — вы не можете жениться. Но пока вам придется бросить меня, до тех пор любите меня». — «Нет, этого я не могу принять, — сказал он: — я должен подавить в себе любовь; любовь к вам связывала бы мне руки, они и так не скоро развяжутся у меня — уж связаны. Но развяжу. Я не должен любить».

Это уже ни с чем не сообразно или, вернее, сообразно только с непреодолимою потребностью самобичевания. Такие исторические деятели, которые каждый день рисковали головою, не отказывали себе в любви и не находили, чтобы любовь в каком-нибудь отношении связывала им руки. Даже те люди, которых наш русский Тацит, Смарагдов, давно заклеймил заслуженным названием чудовищ и злодеев *, даже они (по свойственному мне целомудрию я не называю их по имени), даже они были люди женатые или, еще того лучше, имели невест и мечтали об идиллиях, которым, конечно, никогда не суждено было осуществиться. И руки у них — ничего, не были связаны.

Потребность обижать себя доходит у Рахметова до того, что он буквально тиранит свое тело, под тем предлогом, что ему надо испытать, как велика его способность переносить

физическую боль. «Спина и бока всего белья Рахметова (он был в одном белье) были облиты кровью; под кроватью была кровь; войлок, на котором он спал, также в крови; в войлоке были натыканы сотни мелких гвоздей шляпками с-исподи, остриями вверх; они высовывались из войлока чуть не на полвершка; Рахметов лежал на них всю ночь. — Что это такое, помилуйте, Рахметов? — с ужасом проговорил Кирсанов. — Проба. Нужно. Неправдоподобно, конечно; однако же на всякий случай нужно. Вижу, могу». Ну, а если бы он увидел, что не может, разве он переменил бы что-нибудь в своем образе жизни и в своей деятельности? Разумеется, нет. Скорее умер бы, чем переменил. Стало быть, какая же это проба? Очевидно, что все подобные выдумки происходят от избытка сил, не находящих себе достаточно широкого и полезного приложения.

Попытку г. Чернышевского представить читателям «особенного человека» можно назвать очень удачною. До него брался за это дело один Тургенев, но и то совершенно безуспешно. Тургенев хотел из Инсарова сделать человека, страстно преданного великой идее; но Инсаров, как известно, остался какою-то бледною выдумкою. Инсаров является героем романа; Рахметов даже не может быть назван действующим лицом, и, несмотря на то, Инсаров остается для нас совершенно неосязательным, между тем как Рахметов совершенно понятен даже по тем немногим выпискам, которые приведены в моей статье. Правда, мы не видим, что именно делает Рахметов, как не видели того, что делает Инсаров, но зато мы вполне понимаем, что за человек Рахметов, а рассматривая Инсарова, мы только до некоторой степени можем догадаться о том, каковы были намерения и желания автора. Я говорю это совсем не с тою целью, чтобы сравнивать г. Тургенева с г. Чернышевским и отдавать преимущество тому или другому из них. Я хочу выразить только ту мысль, что никакой художественный талант не может пополнить недостатка материалов; г. Тургенев не видал в нашей жизни ни одного живого явления, соответствующего тем идеям, из которых построена фигура Инсарова; г. Чернышевский видел, напротив того, много таких явлений, которые очень вразумительно говорят о существовании нового типа и о деятельности особенных людей, подобных Рахметову. Если бы этих явлений не было, то фигура Рахметова была бы так же бледна, как фигура Инсарова. А если эти явления действительно существуют, то, может быть, светлое будущее совсем не так неизмеримо далеко от нас, как мы привыкли думать. Где появляются Рахметовы, там они разливают вокруг себя светлые идеи и пробуждают живые надежды.

ПОДРАСТАЮЩАЯ ГУМАННОСТЬ

(Сельские картины)

I

Последнее десятилетие нашей литературы было посвящено акклиматизированию европейского либерализма на обширных и холодных равнинах России, или, другими словами, прививанию гражданских доблестей и гуманных идей к девственным умам и сердцам наших возлюбленных соотечественников. Успех гуманизирующих операций превзошел самые смелые ожидания. Во всех наших городах и почти во всех наших селах уже томятся, изнывают, лепечут, грациозничают и миндальничают тысячи тщедушных субъектов, в которых все почтенные европейские либералы, от графа Росселя до Юлиана Шмидта, будут принуждены узнать своих младших братцев, еще робких и неопытных, но уже способных выводить тоненьким дискантом некоторые модуляции общелиберального мяуканья. Теперешняя робость и неопытность наших подрастающих либеральчиков не должна внушать ни малейших опасений за будущее процветание российского либерализма. Роль либерала так многосложна, труд его так утомителен, путь его усеян сплошь такими крупными и острыми терниями, что в одно десятилетие нет никакой возможности усвоить себе ту невозмутимую ясность взоров и ту безукоризненную солидность поведения, которыми непременно должен отличаться опытный либерал, созревший в великой школе балансирования, мистификаторства и самоуверенного переливания из пустого в порожнее. Главная обязанность либерала состоит, как известно, в том, чтобы всем выражением своей физиономии, всеми своими словами и всем внешним видом своих поступков заявлять постоянно и ежеминутно свою пламенную и безграничную преданность великим идеям и интересам, которые возбуждают в нем почти такие же чувства, какие персидская ромашка возбуждает в клопе. Все усилия либерала должны постоянно направляться к тому, чтобы все его поступки противоречили всем его

словам и чтобы это противоречие оставалось постоянно совершенно незаметным для той бесхитростной сермяжной публики, которую следует ублажать и растрогивать либеральными представлениями. Если же противоречие сделается чересчур очевидным, то либерал должен тотчас объяснить с надлежащею торжественностью, что уважение его к великим принципам остается неизменным, но что обстоятельства места и времени, к сожалению, требуют себе довольно значительных уступок, из которых, однако же, для всей почтенной публики не произойдет ничего, кроме существенной пользы и великого удовольствия. Либерал должен постоянно стремиться и порываться вперед, не двигаясь с места и тщательно удерживая других людей от всего того, что становится похожим на действительное движение. Кто из либералов поумнее, тот проделывает все эти артикулы совершенно сознательно, зная очень хорошо, кого он надувает *. Кто попроще — и таких несравненно больше — тот либеральничает чистосердечно, не замечая в своей особе и в своей доктрине никаких внутренних противоречий, рассуждая понаслышке, поступая по привычке и с детскою беспечностью глядя на то, что слова и поступки взаимно уничтожают друг друга и что знамя великих идей водружается над кучей сора.

Можете ли вы себе вообразить смиренную корову, украшенную хорошим кавалерийским седлом? — Я полагаю, что эта корова представила бы нам зрелище довольно комическое, но в то же время и печальное; затянутая подпруга сильно угнетала бы ее коровью натуру и приводила бы ее в такое крайнее смущение, которое, конечно, выражалось бы во всей ее огорченной наружности; глядя на такую обиженную корову, каждый добродушный человек должен был бы сжалиться над ее несчастием и снять с ее спины совершенно несвойственное ей украшение. Но представьте себе, для усиления комизма и для уничтожения плачевности, что в оседланную корову вселился бес гордости и самодовольства; представьте себе, что она, жестоко перетянутая подпругою, желает изумить и очаровать вас тонкостью своей коровьей талии и легкостью своей коровьей походки; представьте себе, что она подражает манерам кровного английского скакуна, старается принять молодцеватый вид и бравурную осанку, раздувает ноздри, поднимает хвост колом и пробует пуститься с правой ноги галопом. Представьте себе такую картину, и вы получите некоторое слабое понятие о том неистощимом комизме, которым переполнены все слова, движения и поступки добродетельного либерала, самодовольно навесившего на себя то, что давит и гнетет его и что на каждом шагу произносит строжайший приговор над самыми неистребимыми поползновениями его мелкой душонки. Этот уморитель-

ный тип добродетельного либерала, или оседланной коровы, разобран с замечательным успехом в повести г. Слепцова «Трудное время», в которой мучеником либерализма является юный и просвещенный помещик, Александр Васильевич Щетинин. Об этом господине Щетинине, изнывающем под тяжестью собственной гуманности, я и поведу теперь разговор с читателем.

II

Щетинин живет в своем имении и старается уверить себя и других в том, что он занимается хозяйством, гуманизирует сельских обывателей, интересуется европейскою политикою и следит очень внимательно за развитием научной агрономии. Занятия хозяйством заключаются в том, что Щетинин по вечерам беседует с своим приказчиком, который из этих конференций выносит, по всей вероятности, то утешительное убеждение, что надувать и обирать молодых агрономов очень сподручно и совершенно безопасно. Гуманизирование земледельцев производится посредством тщательного взимания установленных штрафов за потравы; это взыскивание четвертаков и полтинников клонится вовсе не к тому, чтобы вознаградить помещика, а собственно и единственно к тому, чтобы воспитать в земледельцах уважение к принципу собственности, чтобы развить в них чувство законности, чтобы вложить в грубые умы понимание человеческих прав и обязанностей и чтобы, наконец, сделать человека царем окружающей его зоологической природы, то есть чтобы вооружить земледельца хворостиною, при содействии которой он развивал бы чувство законности и подавлял бы коммунистические инстинкты во всех деревенских коровах, телятах, баранах и свиньях. Поглощенный великим житейским делом народного воспитания, Щетинин, конечно, не может уже посвящать много времени политике и теоретической агрономии; поэтому и не мудрено, что книжки ученых журналов лежат неразрезанные и что пачки русских и иностранных газет остаются нераспечатанными. Орошая потом лица своего обширную и еще нетронутую ниву русских народных сил, Щетинин принужден отказывать себе даже в тех скромных умственных наслаждениях, которые для образованного человека составляют насущную потребность. Понятно, что, при таких условиях, неразрезанность журналов и нераспечатанность газет должны быть вменены Щетинину в особенно высокую патриотическую заслугу.

У нашего гуманизатора есть жена, Марья Николаевна, женщина молодая, честная, горячая и энергическая, принявшая за чистую монету либеральные разговоры доблестного супру-

га и постоянно ожидающая, во все время своего трехлетнего замужества, что вот-вот начнется какая-то не совсем известная ей, но великая и святая работа, которой все честные люди с наслаждением отдадут весь свой ум, всю свою волю, всю свою жизнь. Но время идет, Щетинин занимается потравами, и Марья Николаевна начинает недоумевать. Ей представляется, что благосостояние всех русских людей вообще и сельских обывателей в особенности еще не бог знает как далеко подвинется вперед, если даже труды Щетинина утвердят господство мужицких хворостин над всеми деревенскими телятами. Ей кажется, что в этой работе очень мало великого и святого и что не такими подвигами наполняется жизнь тех людей, которые действительно умели понять всю тяжесть долга, лежащего на них в отношении к их бедному и невежественному народу. В то время, когда Марья Николаевна недоумевает и тревожится, к Щетинину приезжает на лето его товарищ по университету, Рязанов, один из блестящих представителей моего возлюбленного базаровского типа. Появление этого нового лица ускоряет неизбежную развязку. Прислушиваясь к разговорам Рязанова с Щетининым, Марья Николаевна начинает смотреть на своего мужа совершенно трезвыми глазами и отдавать должную дань презрения его игрушечному либерализму. Добродетельное собирание четвертаков и полтинников становится для нее невыносимым, и она решается уехать от мужа, чтобы устроить себе полезную и разумную жизнь. Для тех проницательных читателей, которые пустятся в лукавые соображения, я замечу тотчас же, что она уезжает не с Рязановым, а одна, и уезжает вовсе не за тем, чтобы предаваться удовольствиям взаимной любви. Повесть г. Слепцова оканчивается тем, что Рязанов и Марья Николаевна холодно прощаются между собою в доме Щетинина, который, внезапно очутившись на развалинах своего семейного счастия, начинает мечтать о наживании капитала и о расходовании его на пользу человечества, словом, перекладывает маниловские фантазии на язык современного образованного общества. — Как видите, между тремя главными действующими лицами повести разыгралась простая, но мучительная драма, тем более интересная и замечательная, что ее составные элементы — грошовый либерализм, беспощадный анализ и неподкупная честность — находятся уже теперь во многих русских семействах. Не вдаваясь в подробный разбор замечательной повести г. Слепцова, я постараюсь бросить беглый взгляд на основную причину разыгравшейся драмы.

При первом же свидании Щетинина с Рязановым читателю становится заметно, что Щетинин боится Рязанова и совершенно безуспешно старается держать себя с ним развязно и самостоятельно. Читатель тотчас усматривает также и при-

чины щетининской трусливости. Щетинин во всех отношениях чистейший нуль, существо безличное, бесцветное, бесформенное, не способное ни любить, ни верить, ни сомневаться, ни знать, ни мыслить, ни действовать, а способное только вяло и бесстрастно повиноваться, по силе инерции, данному толчку. Щетинину, как и всякому другому нулю, вовсе не хочется признать себя нулем; он старается заглушить в себе мучительное ощущение собственного ничтожества; он усиливается втянуть себя в мысли, в чувства и в стремления; не имея ни к чему определенных влечений, он кидается на все, что его окружает, и обнаруживает очень много внешней подвижности и суетливости именно потому, что все идеи и все отрасли деятельности для него совершенно одинаковы; подвижность и суетливость его находятся в тесной связи с его вялостью и бесстрастностью; он суетится потому, что надо себя обманывать; а потребность обманывать себя происходит от того, что во всем его существе господствуют пустота и холод, которые его самого привели бы в ужас, если бы он осмелился заглянуть в самого себя спокойным и внимательным взглядом. Будь у него какие-нибудь страсти, он полюбил бы тот или другой строй понятий, и тогда он потерял бы возможность суетиться и разыгрывать роль услужливого казачка перед каждою новою вариациею жизни или мысли. Щетинин принадлежит к числу тех людей, которые никогда не могут быть искренни, потому что у них нет ничего такого, что они могли бы назвать своею умственною или нравственною собственностью; их мысли, их чувства, их желания — все это прицеплено, пришито и приклеено к ним; при случае старый слой этой драпировки покрывается новым слоем, и это наклеивание и нашивание производится ими так давно, с такой ранней юности, что они уж и сами не знают и не спрашивают, есть ли у них что-нибудь свое под грудою истлевших лохмотьев. Но что верхний слой драпировки, тот слой, которым они парадируют, составляет для них постороннюю массу, вовсе не приросшую к их телу, это они сами чувствуют, и это ощущение отравляет все их существование. Представьте же себе теперь, какое множество кошек скребут их сердце, когда они встречаются с такими людьми, которые сами, со всеми своими чувствами и убеждениями, вылиты как будто из одного куска металла и которые вследствие этого с первого взгляда замечают в других людях каждую малейшую искусственность или придуманность. — Рязанов видит насквозь Щетинина и понимает его так, как сам Щетинин себя понять не может. Щетинин об этом догадывается, хотя, впрочем, и не может себе представить, до каких размеров простирается понимание его товарища, и хотя вряд ли даже считает возможным, чтобы его, Щетинина, кто-нибудь умел созерцать в том совершенном мизерном и

голеньком виде, в каком он представляется Рязанову. Но уже и неопределенных догадок Щетинина достаточно для того, чтобы вогнать его в лихорадочное состояние, при котором он и говорит, и ходит, и смеется совершенно неестественным образом, как будто бы все это делается у него совсем не по собственному желанию, а по какому-то постороннему заказу. Рязанов все это видит и, с неумолимостью искреннего и цельного человека, разными хладнокровными репликами и замечаниями на каждом шагу дает чувствовать своему собеседнику, что все его слова и движения не клонятся ни к чему и появляются на свет неизвестно зачем. Так, например, Щетинин, после первых объятий, начинает упрекать Рязанова в том, что тот не писал к нему. Рязанов очень хорошо понимает, что эти упреки делаются для разговорца и что Щетинину на самом деле вовсе даже и не хотелось получать от него писем. Поэтому на кислосладко-любезный вопрос: «и не стыдно?» Рязанов отвечает: «Нет, брат, не стыдно. Да что толку писать? Нынче эту манеру бросают совсем». Щетинин пробует из дружески-сентиментального тона перейти в дружески-шутливый и снова берет такую ноту, в которой звучит фальшь и пустота. «Эх ты! — говорит он, — а еще сочинитель называешься». — Шутка натянута и поэтому никуда не годится. Рязанов тотчас и обнаруживает эту натянутость. «Так что ж, что сочинитель? Что ж мне для тебя письма, что ли, сочинять?» Щетинин желает поправиться и продолжает говорить ненужные слова, которых ненужность немедленно разоблачается. Наконец, в крайнем смущении, он объявляет, что путается в словах от радости, причиненной ему свиданием. И, разумеется, врет, потому что на самом деле он почти совсем не рад, и во всем его поведении нет ничего, кроме условных знаков радости, изображаемой неизвестно для чего. Если бы на месте Рязанова был другой Щетинин, то, услышав известие о причине путаницы и зная наверное ложность этого показания, этот другой Щетинин все-таки счел бы своею обязанностью прижать чувствительного друга к груди своей или по крайней мере крепко стиснуть его руку и взглянуть на него сладостными глазами. Но Рязанов, как бесчувственный скот, только ворочается на диване и на просьбу друга извинить его радостное замешательство отвечает спокойно: «Ничего. Это даже хорошо, что ты путаешься». —То есть: галопируй, корова, на тебя смотреть забавно. — Можно сказать наверное, что в эту минуту в душе радующегося Щетинина проползло что-то похожее на ненависть к тому другу, который посмотрел с таким убийственным спокойствием на рассыпанные перлы его поддельных чувств. Он задумался, потом, сказавши несколько загадочных плоскостей, начал ходить по комнате и, наконец, пустил новую демонстрацию

нежности: «нет, ведь я тебе рад, очень рад!» — точно будто бы ему приходилось отвечать внутреннему голосу, который говорил ему: ты совсем не рад. Но, чтобы перлы дружеские не остались не подобранными и на этот раз, Щетинин торопится насильно всунуть их в руки Рязанова. Производится крепкое пожатие рязановской руки, и Щетинин становится спокойнее, потому что таким образом нежная демонстрация получает по крайней мере внешний вид приличной обоюдности.

III

Если Щетинин очень мил, когда рассуждает о приятностях погоды и дружелюбия, то, без сомнения, он становится вдесятеро милее, когда заводит речь о предметах возвышенных и мудреных. Рязанов спрашивает у него мимоходом: «а дети есть у тебя?» Вопрос, кажется, очень невинный, но Щетинин находит удобным распространиться по этому поводу насчет родительских обязанностей. Оказывается, что обзаводиться детьми позволительно только тогда, когда для них кое-что заготовлено. Рязанов этого мнения нисколько не оспаривает и спрашивает очень добродушно: «успешно ли идет заготовка?» Щетинин, чувствующий в присутствии Рязанова хроническое смущение, сначала замечает, что нельзя не копить, а вслед за тем начинает в чем-то оправдываться: «Понимаю, понимаю, — говорит он, — да только вовсе я не такой человек, как ты думаешь». — Хотя Рязанов ни одним своим словом не выразил того, что считает Щетинина за какого-то особенного человека, однако он ему не противоречит и даже изъявляет полное согласие выслушать от самого Щетинина, какой же он именно человек. Щетинин приступает к делу очень храбро. «А вот я какой человек... Я человек...» Но тем все объяснение и кончается. «Да нет, — продолжает Щетинин гораздо скромнее, — я не могу о себе говорить. Черт знает, я как-то не умею». Рязанов молчит. Тогда Щетинин вызывается рассказать ему, что он делал в деревне. Рязанов на все согласен. Рассказ оказывается очень несложным. Все дело в том, что Щетинин подарил крестьянам землю, которою они владели, а крестьяне, подозревая в этом подвиге братолюбия какую-нибудь военную хитрость, не хотели брать подарок, но потом, склонившись на увещания посредника, взяли землю и подписали уставную грамоту. Слушая этот трогательный рассказ, Рязанов по-настоящему должен был бы умилиться над бескорыстием и великодушием своего либерального друга. Но Рязанов, к удивлению чувствительного читателя, выслушал все повествование с невозмутимым хладнокровием и потом произнес следующие убийственные слова: «Ну, таким манером,

стало быть, ты совершил в пределе земном все земное?» * — Я называю эти слова убийственными, потому что в них заключается для Щетинина и для всех подобных ему оседланных коров вообще страшная правда. Самое лучшее, что могут сделать эти люди, имеет чисто отрицательное значение и состоит в том, что они отказываются от права парализировать чужую деятельность и отравлять лишними заботами чужое существование. Отнявши у себя возможность вредить другим или по крайней мере ослабив эту возможность, эти люди действительно могут умереть совершенно спокойно, не огорчая и не волнуя себя тою мучительною мыслью, что они оставляют на земле какое-нибудь недовершенное дело, что жизнь их еще нужна их согражданам и что смерть их причинит обществу какой-нибудь хотя бы даже микроскопический убыток. Обеспечив за своими крестьянами средства питаться, при самом напряженном труде, черным хлебом, луком и квасом, Щетинин действительно совершил в пределе земном все земное. Но, к счастию для самого себя, Щетинин не способен понять, какое глубокое значение заключается в словах Рязанова; вследствие этого Щетинин принимает эти слова за одну из обыкновенных шутливых выходок Рязанова и отвечает очень весело: «Какое? Нет, брат, это еще только начало».— Рязанов с очень естественною недоверчивостью спрашивает: «а еще-то что же?» — потому что действительно, что же еще может сделать Щетинин, когда земля уже подарена? —Оказывается, что *тут-то вот и начинается настоящее дело*, — и притом какое дело! — «*Социальное, любезный друг, социальное*». — Услышав от своего либерального друга такое мудреное слово, Рязанов уже прямо начинает над ним смеяться, так точно, как засмеялся бы над Хлестаковым обитатель Петербурга, которому случилось бы присутствовать при рассказе о балах и обедах испанского посланника. «Ничего я противозаконного не затеваю, — продолжает Щетинин, — никаких я теорий не провожу, я делаю только то, что всякий из нас обязан делать». — Приступ очень недурен. Во-первых, выражено полное уважение к закону; во-вторых, заявлено столь же полное недоверие к неосновательным теориям; в-третьих, обнаружено сознание гражданских обязанностей, лежащих на каждом из нас. Словом, все было бы превосходно, если бы только Щетинин сумел повести эту речь дальше, приставляя один округленный период к другому и тщательно наблюдая за тем, чтобы во всех этих периодах не выразилось ни одной сколько-нибудь определенной идеи. Но я уже заметил в самом начале этой статьи, что в одно десятилетие невозможно сформировать таких либералов, которые были бы посвящены во все тайны европейского шарлатанства. Кроме

того, надо принять в соображение, что Рязанов не такая публика, перед которою было бы особенно удобно изливать чувствительные фразы, не заключающие в себе осязательного смысла. Сознавая свое печальное положение, Щетинин умолкает и с горя начинает царапать клеенку на диване, — чего никогда не делал покойник Пальмерстон и чего не делают в настоящее время ни Россель, ни Гладстон, когда им приходится говорить публично о красотах английской конституции и о непомерном благосостоянии английского пролетария. — Хотя Щетинину еще далеко до великих западных образцов, однако же и он не сразу признает себя побежденным и делает еще несколько попыток озадачить Рязанова балами и обедами испанского посланника. «Прежде всего, — говорит он, — ты должен согласиться с тем, что всякое общественное дело тогда только может быть прочно, когда оно основано на чисто народных началах». — Рязанов, по доброте души своей, соглашается беспрекословно. «Пока народ не подал своего голоса, — продолжает Щетинин, — пока он молчит и только слушает, — никакая пропаганда не поведет ни к чему». — Так как Рязанов никогда не предлагал Щетинину сделаться миссионером какой бы то ни было, умной или глупой, идеи, то, сохраняя строго-выжидательное положение, Рязанов спрашивает только: «ну так что ж?» — Эта сдержанность Рязанова окончательно губит его либерального собеседника. Вздумай Рязанов возражать, Щетинин тотчас воспрянул бы, и бесконечная трескотня слов благополучно устранила бы вопрос о том, чем занимался юный землевладелец в деревне и может ли он вообще совершить в пределе земном еще хоть что-нибудь путное. Но Рязанов только соглашается и ждет; поэтому Щетинин принужден приступить к делу, которого, к сожалению, не оказывается в наличности. «А то, — говорит он, — что, следовательно, мы должны все наши силы направить на то...» Но на что именно господа Щетинины должны направить все свои силы и какие такие силы у них имеются — этого мы, конечно, не узнаем никогда, потому что этого не знает и сам оратор, который, в своем отчаянии, прерывает свою возвышенную речь самою неуклюжею диверсиею, совершенно равносильною смиренной мольбе о пощаде. «Да ты, может быть, спать хочешь?» — спрашивает Щетинин, решительно не зная, на какое *то* должны быть направлены все силы господ Щетининых. Рязанов, конечно, достаточно насмотрелся в Петербурге на милых людей, царапающих клеенку и направляющих на какое-нибудь непонятное и неизвестное им *то* все свои несуществующие силы. Потому он отпускает щетининскую душу на покаяние и произносит великодушно: «да, брат, хочу». — Щетинин оправляется и придает своему отступлению приличный вид, выражая надежду, что они еще успеют обо

всем переговорить. — Рязанову в скором времени удалось познакомиться довольно близко с щетининскими *мы* и с *нашими силами,* которые все должны быть направлены на *то.*

Действие происходит в городе, в бывшем дворянском, а ныне *соединенном* клубе всех сословий, во время мирового съезда, заседающего в одной из комнат того же клуба.

Картина первая: *Наши силы* направляются.

— Как поживаете? — говорил Щетинин, раскланиваясь с другим, только что вышедшим из буфета, помещиком.

— Вот как видите, — отвечал тот. — Закусываем. Как же нам еще поживать? Ха, ха, ха! Вот с Иван Павлычем уж по третьей прошлись. Да, черт, их не дождешься, — говорил он, указывая на посредников. — Господа, что же это такое, наконец? Скоро ли вы опростаетесь? В буфете всю водку выпили, уж за херес принялись.

— Да велите накрывать, — заговорили другие.

— Стол нужен.

— Господа, тащите их от стола!

— Эй, человек, подай, братец, ведро воды, мы их водой разольем. Одно средство.

— Ха, ха, ха!

— Нет, серьезно, господа. Ну, что это за гадость! Все есть хотят. Кого вы хотите удивить?

— Что тут еще разговаривать с ними! Господа, вставайте! Заседание кончилось. Дела к черту. Гоните мужиков! Эй, вы, пошли вон.

Таким образом кончилось заседание. Посредники, с озабоченными и утомленными лицами, складывали дела, снимали цепи, потягивались и уходили в буфет.

И после этого есть еще люди, осмеливающиеся говорить, что у *нас* нет инициативы!

Картина вторая: *Наши силы* направлены.

Через час после обеда дворяне ходили по комнатам, как во сне: все что-то говорили друг другу, кричали, пели и требовали всё шампанского и шампанского... В одной комнате хором пели какую-то песню, но потом образовалось два хора, так что уж никто ничего не мог разобрать, никто никого не слушал...

— Кубок янтарный...

— Чтобы солнцем не пекло...

— Полон давно...

— Чтобы сало не текло...

— Господа, это подлость! Ура-а! шампанского!.. Пей, пей, пей!.. Позвольте вам сказать... Чтобы солнцем... Поди к черту... Ура! Шампанского!

— Во-о-дки! — вдруг заорал кто-то отчаянным голосом.

В другой комнате сидел судья на кресле, а прочие стояли. Судья произносил какие-то слова, а хор повторял их. Два посредника держали под руки купца Стратонова и заставляли его кланяться судье. Купец кланялся в ноги и просил ручку. Судья накрывал его полою своего сюртука и произносил какие-то слова; хор подхватывал; третий посредник махал цепью.

Щетинин с Рязановым вышли на крыльцо. Смеркалось. У ворот клуба их уже дожидался запряженный тарантас. На дворе видно было, как один помещик стоял, упершись в стену лбом, и мучительно расплачивался за обед.

Тотчас после этой панорамы *наших сил* Рязанов имел неслыханную жестокость напомнить либеральному другу в самом безобидном тоне о том разговоре, который остался недоконченным по случаю отхода собеседников ко сну.

«Что ты такое начал рассказывать, когда я приехал, помнишь? — про какое-то социальное дело, — спросил Рязанов своего товарища, когда они выехали в поле».

Щетинин мог бы очень резонно ответить своему другу, что Рим не в один день построился; что необходимо мешать приятное с полезным; что песни, пропетые хором, принадлежат к области чистого искусства, которое, как доказал г. Антонович, разгоняет мрачные мысли, ослабляет своекорыстные инстинкты и обуздывает неестественные порывы; * что, впрочем, *мы* вообще не созрели; ** что наши молодые силы бродят и кипят; что светлое вино творится из мутного брожения; и что вследствие этого даже тот господин, который *мучительно расплачивался за обед*, может еще со временем сделаться всяких социальных дел мастером. Словом, Щетинину представлялся отличный случай наговорить три короба разных либеральных бессмыслиц; но неопытность Щетинина была слишком велика, и блестящая панорама *наших сил* подействовала на него слишком подавляющим образом. Он даже не попробовал барахтаться и на ядовитый вопрос товарища ответил самым покорным и болезненным стоном, в котором слышалось и *пардон* и *караул*. «Нет, оставь это, — прошу я тебя: сделай милость, оставь, — ответил Щетинин». Корова начинает признаваться, что седло сильно намозолило ей спину.

IV

На другой день после приезда Рязанова к Щетинину разыгрывается одна из самых обыкновенных деревенских сцен. Мужицкая телушка забрела в барский хлеб; ее поймали и заманили на барский двор; мужик приходит к Щетинину, просит об ее освобождении; Щетинин требует установленного штрафа. Разговор между мужиком и Щетининым происходит в присутствии Рязанова и Марьи Николаевны. За несколько секунд до начала этого разговора Щетинин усердно рисовался перед Рязановым трудностями своей общественной деятельности.

«Поживи-ка, брат, здесь, — говорил он, — да погляди на нас, чернорабочих, как мы тут с сырым материалом управляемся». — «Вот ты тогда и увидишь, — говорил он далее, — что мы должны мало того что помогать им, но еще убеждать и упрашивать, чтобы они нам позволили им же быть полезными». — Слова Щетинина тотчас находят себе блистательное

оправдание. Кусок сырого материала вваливается к нему в переднюю и становится перед ним на колени. Чернорабочий Щетинин приходит в негодование и настоятельно требует от мужика, чтобы он уважал в себе свое человеческое достоинство. Мужик согласен уважать, лишь бы только ему отдали его телушку, не взыскивая с него штрафа. Щетинин начинает убеждать и упрашивать мужика, чтобы он ему позволил быть полезным сырому материалу. «Ну слушай! — говорит Щетинин. — Пойми, что мне твоих денег не нужно; я от этого не разбогатею! Я беру с тебя штраф для твоей же пользы, для того, чтобы ты был вперед осмотрительнее, зря не распускал бы скотины. Сами же вы благодарить будете, что вас уму-разуму учат». Возмущаясь мужицкими коленопреклонениями, как поруганием человеческого достоинства, Щетинин в то же время сам требует от мужика умственного раболепства, гораздо более вредного, опасного и унизительного, чем всевозможные коленопреклонения. В старину бывали такие воспитатели, которые заставляли ребенка нюхать розгу и спрашивали у него, чем пахнет? Ребенок должен был отвечать: «умом». И, разумеется, ребенок отвечал именно таким образом, потому что знал заранее, чего от него требуют и чему он может подвергнуться в случае своего нежелания дать формальный ответ, намекающий на спасительные свойства телесного наказания. Щетинин поступает с мужиком точь-в-точь так, как поступали с ребенком старинные воспитатели, которые по крайней мере были совершенно последовательны, то есть нимало не заботились о человеческом достоинстве и очень благосклонно смотрели на коленопреклонения ребенка, желающего изъявлениями покорности избавить себя от приближающейся розги. В самом деле, с одной стороны, нет никакой возможности предполагать, что мужик убедится аргументацией Щетинина; а с другой стороны, не подлежит сомнению, что мужик во всем будет поддакивать Щетинину, чтобы обезоружить его своим смирением. Все слова Щетинина мужик только и может понимать в том смысле, что барину желательно видеть мужицкую покорность, которая должна проявляться не в целовании барских ручек, а в скромном и почтительном выслушивании бестолковых барских речей. Мужик, конечно, готов принять на себя и эту епитимию, так точно, как он готов был валяться в ногах и обливаться слезами. Но мужик, очевидно, должен считать себя обманутым и обиженным, когда он видит, что перенесенная епитимия не вменяется ему ни во что и что вся его покорность не уменьшает требуемого штрафа ни на одну полушку. Как было два рубля десять копеек, так и осталось два рубля десять копеек. А что барин заставлял его нюхать розги и хвалить их превосходный запах — это все составляет вторую шкуру, содранную с вола

вопреки здравому смыслу и букве закона. Чего хотел Щетинин от мужика? Мог ли он надеяться на то, что мужик поймет и прочувствует его рассуждения?

Конечно, человеческим надеждам закон не писан, но если бы Щетинин потрудился сам обдумать смысл своих слов, то он увидел бы немедленно, что, обращаясь с ними к мужику, он предполагает в своем собеседнике знание таких вещей, о которых тот не может иметь никакого понятия. Щетинин говорит мужику: «мне твоих денег не нужно». — «Чудесно, — думает мужик. — А мне мои деньги нужны. Значит, они при мне и останутся». — Но тут Щетинин объясняет далее: «я беру с тебя штраф для твоей же пользы». — «Вот тебе раз! — думает мужик. — Да какое тебе дело до моей пользы? И с каких это пор тебе припала охота думать о моей пользе? Так я тебе сейчас взял и поверил!» Эти вопросы, в той или другой форме, непременно должны промелькнуть в уме мужика в то самое время, когда он отвечает Щетинину умиленным голосом: «И так много довольны, батюшка, Ликсан Васильич. Благодарим покорно!» — И на эти вопросы, очень невыгодные для Щетинина, мужик не может найти в своей голове такие ответы, которые могли бы доказать ему, что Щетинину действительно есть дело до его пользы. Чтобы решить вопросы в этом смысле, мужику надо знать, что в западной Европе происходили обширные народные движения, что над этими движениями принуждены были задуматься высшие классы общества, что это раздумье породило целые отрасли литературы, что новые идеи залетели, наконец, в Петербург, что к этим новым идеям прислушался Ликсан Васильич и что вследствие этого у Ликсана Васильича явилось стремление заботиться о мужицкой пользе. Ничего этого мужик не может знать, и поэтому в словах Щетинина он не может видеть ровно ничего, кроме самого бессовестного и топорного лицемерия, которое он, мужик, по зависимости своего положения, обязан принимать за чистейшее великодушие. Можно сказать наверное, что, выслушав медовые речи Щетинина с горьким заключением: «подавай 2 р. 10 к.», мужик унесет с собою более неприязненное чувство, чем в том случае, когда Щетинин прямо и резко ответил бы ему на первую его просьбу: «пошел вон! неси деньги!» — Тут дело шло бы начистоту, и мужик не видел бы того, что принимает за обман и что действительно должно казаться шарлатанством даже и всякому другому, более развитому и знающему человеку. Щетинин говорит, что он не разбогатеет от 2 р. 10 к. Это верно. Он действительно берет штраф не за тем, чтобы обогатиться. Штрафы совсем не для того и установлены, чтобы обогащать людей, потерпевших убыток от потравы. Но и не для того также они установлены и взыскиваются, чтобы приносить пользу мужикам,

распускающим скотину. Штрафы не имеют и не могут иметь никакого педагогического значения. Взыскивая с мужика деньги, Щетинин, конечно, думает про себя: «Нет, брат, шалишь! Попробуй-ка я дать тебе поблажку, так вы у меня все поля дочиста вытравите». — Размышляя таким образом, Щетинин определяет очень верно цель и смысл штрафов, которые, вместе со многими другими видами взыскания, существуют единственно для того, чтобы ограждать собственность от разных умышленных и неумышленных повреждений. Люди смелые и не изуродованные прививными идеями выражают прямо и откровенно те размышления, которые Щетинин, как робкая и безответная жертва либерализма, старается утаить даже от самого себя, несмотря на то, что все его действия обусловливаются именно одними этими размышлениями. Те жалкие плоскости, которые Щетинин говорит о мужицкой пользе и об учении уму-разуму, конечно, никого не обморочат и всего менее способны обмануть мужика, который, как я объяснил выше, застрахован от этого обмана именно своим круглым невежеством. Мужик своим простым ответом: «*и так много довольны*», опрокидывает всю щетининскую галиматью. Действительно, мужики имеют полное право сказать, что их и так уж чересчур много учили со всех сторон уму-разуму; если это учение принесло мало пользы, то это доказывает ясно, что всякая дидактическая система несостоятельна и что по этой системе, сколько ни учи, все ничему не выучишь. Если бы существовала какая-нибудь возможность развить в бесправном человеке чувство законности посредством взысканий, то мужики наши давным-давно сравнялись бы в этом отношении с самыми просвещенными нациями земного шара. Неужто в самом деле с наших мужиков до сих пор мало взыскивали? Неужели до сих пор позволяли безнаказанно нарушать их обязанности? Неужели до сих пор все желающие могли свободно уклоняться от платежа подушных податей, от несения рекрутской повинности, от барщины, от оброка и от всяких других денежных и натуральных повинностей? Ничего подобного, разумеется, никогда не было и не могло быть. Если же взыскания всегда были очень строги, если послаблений никаких не давалось, то, очевидно, слабое развитие чувства законности обусловливается у наших мужиков не недостаточностью взысканий, а именно тем низким уровнем нравственного развития, которое составляло общий удел всех неимущих классов нашего общества. Значит, какие штрафы ни берите с мужика, ничего вы в нем не разовьете, кроме бедности и ожесточения. В каком направлении должно действовать на ум и чувства мужика денежное взыскание, это мы видим из разговора между тем же самым обладателем телушки и щетининским конторщиком, Иваном Степанычем. «Ну, теперь, позвольте, — говорит

мужик, — так будем говорить: ваша скотина зашла ко мне в огород». — «Ну и загоняй ее!» — отвечает Иван Степаныч. «Загнать недолго, да на что ж так-то?» — «Как на что? Барин штраф заплатит». — «Ну, это тягайся там с вами еще! А незамай же, я ей ноги переломаю, она лучше ходить не станет». — «Вот ты поговори еще!» — «Право слово, переломаю. Что в самом деле?»

Видите, куда дело-то пошло? В мужике начинают шевелиться самые противообщественные и воинственные стремления, пробужденные тою самою мерою, которая, по доктрине Щетинина, должна была образумить и гуманизировать грубого земледельца. Переломает он ноги барской скотине, из этого, разумеется, завяжется дело, гораздо более важное, чем дело о потраве, и мужика накажут строго, как буйного и дерзкого человека. И либералы, подобные Щетинину, по своей глупости, или по своей подлости, будут возлагать на это наказание разные розовые надежды и будут говорить разоренному или отодранному мужику, что его разорили или отодрали для его пользы, единственно и исключительно для его собственной пользы. Но добродушный Иван Степаныч смотрит на дело гораздо проще и высказывает свои мысли без малейшей утайки. «То есть, я вам скажу, — говорит он тут же, при мужике, обращаясь к Рязанову, — тут какую нужно дубину!» Вот оно, великое-то слово, решающее задачу! Так или иначе, прямыми или косвенными путями, с тонкими деликатностями или без оных, все сентиментально-лживые либералы, подобные Щетинину, приходят все-таки в конце концов к воздыханию о дубине, которая, впрочем, составляет по-прежнему последнюю и высшую санкцию щетининского авторитета. Мужик говорит: *тягайся там с вами еще!* Мужик плохо верит в возможность отстоять свое право в суде. Ошибается ли он в этом случае? Уже самый факт его недоверчивости свидетельствует достаточно о тех уроках, которые давало прошедшее ему, его родственникам и всем его предкам. Недоверчивость выработалась из традиции, а традиция составилась из опытов жизни. Прекратилось ли по крайней мере теперь существование тех причин, которые породили эту недоверчивость? В каждом почти номере газет можно найти такие эпизоды, в которых эти причины продолжают действовать. В той же повести г. Слепцова рассказывается один крошечный случай, который, по своей ничтожности, не мог бы попасть ни в какие газеты, который, однако, совершенно оправдывает мужицкую недоверчивость. Волостной старшина говорит с посредником.

— А вот, — повествует старшина, — я забыл вашей милости доложить: батюшка тут приходил с садовником. У них опять эти пустяки вышли.

— Какие пустяки?

— Из телят. Зашли батюшкины телята к садовнику в огород; садовник их застал, стало быть это, на двор запер. Батюшка, значит, сейчас приходит, так и так, как ты мог полковничьих телят загонять?

— Каких полковничьих телят?

— Да то есть это батюшкиных-то. Он так считает, что, мол, полковник я.

— Да.

— Ну теперь это теща его выскочила, телят обыкновенно угнали...

— Ну, что же?

— Кто их разберет? Садовник жалится: он, говорит, у меня на шесть целковых овощей помял, а батюшка теперь за бесчестие с него то есть требует пятнадцать что ли-то.

— Пятнадцать целковых, — подтверждает писарь.

— За какое же бесчестие?

— Ну, тещу его, слышь, обидел.

— Как же он ее обидел?

— Слюнявой, что ли, назвал. Уж бог его знает. Слюнявая, говорит, ты, — смеясь, объясняет старшина. — Ну, а батюшка говорит: мне, говорит, это оченно обидно. Пятнадцать целковых теперь и требует.

Посредник тоже засмеялся; даже писарь хихикнул себе в горсть.

— Ну, это я после разберу, — вставая, говорит посредник. — А теперь, брат, вот что: вели-ка ты мне лошадок привести.

— Готовы-с.

Весь этот веселый разговор очень замечателен. Происшествие кажется старшине до такой степени мелким, что он даже едва не забыл доложить о нем посреднику; далее он называет этот случай *пустяками*, потом говорит, что телят *обыкновенно* угнали, и посредник, услышав об этом совершенно противозаконном поступке, спрашивает: *ну, что же?* Значит, и посредник считает это дело совершенно *обыкновенным* и не заслуживающим дальнейшего внимания. Наконец вся история разрешается общим смехом, и посредник уезжает, откладывая разбирательство дела до другого раза, вероятно потому, что из-за таких пустяков не стоит себя задерживать. Теперь потрудитесь только себе вообразить, что вся эта история разыгралась в обратном порядке. Не *полковницкие* телята зашли к садовнику, а, наоборот, садовницкие телята зашли к *полковнику*. *Полковник* загоняет их. Садовник с своею тещею идет на приступ отбивать своих пленных телят. Что же из этого выходит? Прежде всего садовнику и его теще накладывают в шею домашними средствами. Потом их обоих, как разбойников, связывают, представляют в волостной суд. Старшина немедленно дает знать посреднику о том, что в волости произошло необыкновенное буйство. Посредник приезжает и тотчас рассматривает дело. В лучшем случае садовник и его теща получают достаточную порцию розог и выплачивают *полковнику* значительное денежное вознаграждение. В худшем случае дело доходит до уголовного суда, садовник и его теща отправляются в острог, а впоследствии, быть может, и на поселение. Теперь возьмите опять историю в том виде, в каком она рассказана у г. Слепцова, и представьте себе, что садов-

ник вздумал сопротивляться, когда полковник с тещею пришел отбивать у него телят. Происходит драка, в которой садовник играет оборонительную роль. При всем том садовник оказывается виноватым и подвергается строгому наказанию за непочтительное обращение с чиновными особами. После этого, спрашиваю я вас, что же остается делать мужику и всякому другому чиновнику 15-го класса? Имеют ли люди действительное основание относиться недоверчиво к судебным разбирательствам? Объясняется ли наклонность этих людей к самоуправству их собственною порочностию, или же она находится в зависимости от каких-нибудь других внешних, то есть общественных условий? Предложивши читателю призадуматься над этими вопросами, я возвращаюсь теперь к разговору Щетинина с хозяином арестованной телушки. В этом разговоре Щетинин унижается, наконец, до явной и наглой лжи. Так как мужик продолжает упрашивать проприэтера[1] и никак не хочет понять, что наказание составляет *неотъемлемое право* преступника, право, которое преступник никому не должен уступать ни за какие блага, то Щетинин говорит наконец мужику: «Закон, понимаешь? закон». Мужик, разумеется, отвечает: «*слушаю-с*», что он ответил бы и в том случае, когда бы его назвали ослом или дураком. — «*Так что ж я могу сделать, а? Ну?*» — спрашивает Щетинин. Видите, как это мило! Щетинин представляет мужику дело в таком виде, что закон *обязывает* его, Щетинина, брать установленный штраф и *строго запрещает* ему подарить мужику 2 р. 10 к. с⟨еребром⟩. Он бы, изволите видеть, и рад был не взять ничего и оказать благодеяние, но тогда он сам сделается преступником и подвергнет себя законному наказанию. Из своего разговора с Щетининым мужик должен, стало быть, вывести то заключение, что в России существуют такие законы, которые запрещают одному человеку дарить свои собственные деньги другому человеку. И вот каким образом Щетинин воспитывает в грубых поселянах чувство законности. Вот каким образом *мы, чернорабочие, управляемся с сырыми материалами.* Вот каким образом *мы мало того что помогаем им, но еще убеждаем и упрашиваем, чтобы они нам позволили им же быть полезными,* то есть налгать им в глаза и вытащить из кармана два рубля десять копеек.

V

В тот же день, за обедом, Щетинин горько жалуется Марье Николаевне и Рязанову на неблагодарных плотников, которые, за всю его щедрость и доброту, заплатили ему тем, что,

[1] Проприэтер (*франц.* proprietaire) — собственник. — *Ред.*

по своей лености и небрежности, испакостили ему лесу на пятьдесят рублей. Марья Николаевна выслушивает молча излияние огорченного хозяина. Рязанов, с своей стороны, не обнаруживает никакого сочувствия и совершенно хладнокровно напоминает Щетинину о тех законных средствах, которые он может употребить против провинившихся работников; он может отправить их, для надлежащего вразумления, к становому; или же он может через посредника взыскать с них деньги за испорченный материал; имея в руках такие действительные средства, Щетинин, очевидно, не должен унывать и оплакивать свою горькую долю. Марья Николаевна, едва знакомая с Рязановым, не понимает того, к чему направляется его тактика, и с великодушным негодованием честной женщины вступается за работников.

«Но ведь они бедные, — говорит она, — вы забываете... откуда же они возьмут пятьдесят рублей».

Рязанов нисколько не смущается ее негодованием и ведет свою атаку дальше с несокрушимым хладнокровием.

«Ежели, — говорит он, — наличных денег не имеют, то, может быть, окажется движимость, скот».

Негодование Марьи Николаевны, конечно, увеличивается. — «Ну, и...» — спрашивает она.

«Продадут-с, — продолжает Рязанов добродушно и весело. — Что ж им в зубы-то смотреть».

«Да ведь это я не знаю, что такое... Это варварство!» — Впоследствии Марья Николаевна объявляет, что она в эту минуту просто готова была убить Рязанова.

Против слова *варварство* Рязанов ровно ничего не имеет. Он отвечает: «Очень может быть-с».

— Так как же вы предлагаете такие средства?

— Я никаких средств не предлагаю, я только напоминаю.

— Что же вы напоминаете?

— Я ему напоминаю его обязанности. Всякое право налагает на человека известные обязанности. Пользуешься правом — исполняй и обязанности.

— Какие обязанности? Вы ему напоминаете, что он может, если захочет, злоупотреблять своим правом.

— Нисколько-с. Напротив, я ему напоминаю только о том, как следует благоприобретать, а злоупотребляет уж это он сам.

— Разве это злоупотребление, если он прощает этих плотников?

— А вы как же думали? Конечно, злоупотребление (тут Рязанов мог бы даже сослаться на самого Щетинина, который, за несколько часов пред тем, тянул с мужика штраф для того, чтобы не сделать злоупотребления и не погрешить пред законом). Если бы он один только пользовался правом карать и миловать, тогда бог с ним, пусть бы его делал, что хотел. Если ему бог дал такую добрую душу, так что ж тут разговаривать. Хочешь идти по миру, ну и ступай. Но вы не забывайте, что нас много, что он, оставляя безнаказанными разных мошенников, поощряет их на новые мошенничества и подает гибельный пример. А от этого мы все страдаем: он портит у нас рабочие руки... Ну, хорошо еще,

что я вот могу жить так, ничего не делая; но если бы я был рабочая рука, да я бы... я бы непременно испортился. Я бы сказал: а! так вот что! Стало быть, можно делать все, что хочешь. Пошел бы в кабак: эй, братцы, рабочие руки, пойдемте наниматься в работу! Сейчас пошли бы мы, нанялись к кому-нибудь сад сажать; набрали бы денег вперед, потом взяли бы насажали деревья корнями вверх, а дорожки все изрыли бы и ушли. Ищи нас! Что ж, разве это хорошо?

Щетинину очень не нравятся рязановские монологи. Он чувствует, что все это клонится к какому-то неудобному для него заключению, хотя, по слабоумию своему, и не понимает, к какому именно.

«Бог тебя знает, — наконец сказал Щетинин, — для чего ты все это говоришь».

Но Рязанова нельзя ни запугать негодованием, ни обезоружить смиренною мольбою. Он продолжает разворачивать зондом глубокую рану своего истерзанного товарища.

— А для того и говорю, — поясняет он, — что не хочу тебя лишить дружеских советов. Вижу я, что друг мой колеблется, что ему угрожает опасность, что он может сделаться жертвою собственной слабости, да и нам всем напакостить; ну, вот я и не могу воздержаться, чтобы не напомнить ему и не сказать: друг, остерегись! не поддавайся искушению, не поблажай беззаконию, ибо оно наглым образом посягает на нашу собственность. Священное право поругано, отечество в опасности... Друг, мужайся, говорю я, и спеши препроводить обманувшие тебя рабочие руки в руки правосудия...

— Вот ты говоришь, препроводить, — начал Щетинин: — ну, хорошо; а что бы ты сказал, если бы я в самом деле так поступил?

В этих словах Щетинина скрывается следующий смысл: разве ты не видишь, что я человеколюбив и великодушен? Похвали же ты меня хоть сколько-нибудь за мою гуманность! Похвали хоть косвенным образом, ругая тот поступок, которого я, по гуманности моей, не сделал! Но Рязанов отказывает наотрез даже и в косвенных похвалах.

— Что бы я сказал? — говорит он. — Я сказал бы: вот примерный хозяин! и гордился бы твоею дружбою. И еще бы сказал: это человек последовательный; а лучшей кто бы мог хвалы тебе сказать?

Рязанов отвечает таким образом Щетинину, что его гуманность сводится к чистейшей бесхарактерности, которая не позволяет ему ни вывести из данного принципа его логические последствия, ни отбросить основной принцип, если эти неизбежные последствия кажутся ему отвратительными. Щетинин принужден склонить голову пред этим разговором.

«Так-то оно так, — со вздохом сказал Щетинин: — да... да нет, брат, я нахожу, что в некоторых случаях надо поступать непоследовательно».

Далее у Щетинина оказывается, что в практическом деле строгая последовательность невозможна и что этого нельзя

и требовать. Уловка эта стара, как мир; ею всегда пользовались слабоумные или недобросовестные люди, когда люди последовательные или честные доводили их до капитуляции посредством того известного диалектического маневра, который называется reductio ad absurdum и состоит в том, что основной принцип проводится до самого конца и превращается в очевидную нелепость или в возмутительную гнусность. Люди слабоумные благодаря своей многочисленности сумели дать обширный ход той жалкой и ложной мысли, будто бы в жизни невозможна строгая последовательность. Действительно, последовательность очень неудобна для тех людей, которые в основание своей деятельности кладут ложный принцип, то есть такую идею, в которой затаено что-нибудь нелепое или вредное для общества. Последовательность ведет в этом случае именно к тому, что затаенная нелепость, развернувшись во всей своей красоте, покрывает позором самого адепта неверной идеи. Поэтому, имея в виду такую неприятную перспективу, слабоумные люди стараются зажмурить глаза и утешают себя тем плоским рассуждением, что они всегда сумеют изменить своему принципу, как только этот принцип потащит их в вопиющую нелепость. На словах можно предаваться этим сладким надеждам сколько угодно, но жизнь постоянно разрушает эти ребяческие фантазии и, выводя из каждого принципа все его последствия, даже самые нелепые и самые безобразные, насильно навязывает их каждой отдельной личности, основавшей на данном принципе всю свою деятельность. На словах вы можете браковать все, что вам угодно, но у жизни есть своя собственная логика, которая переломит вашу непоследовательную брезгливость и непременно вымажет вас с ног до головы общеобязательною краскою или грязью, соответствующею основным требованиям вашего принципа. От этого окрашивания или загрязнения вы не отвертитесь никакими хитростями, если только у вас не достанет характера решительно оттолкнуть прочь основной принцип. Итак, Щетинин признается, что он не в силах быть последовательным, или, другими словами, что он не хочет и не может исполнять, во всем их объеме, те обязанности, которые налагает на него принцип собственности. Тогда Рязанов дает ему почувствовать, что, по всей вероятности, и плотники не хотят и не могут быть последовательными, то есть исполнять, во всем их объеме, те обязанности, которые налагает на них принцип труда *. Щетинин находит это сравнение совершенно неосновательным, потому что у плотников *нет никакой определенной цели, к которой бы они стремились*. Произнося последние слова, Щетинин, по-видимому, намекает на то, что у него есть великая и определенная цель и что он изменяет принципу собственности именно из любви к этой цели, о кото-

рой плотники не имеют понятия. Но Рязанов сейчас же выводит все дело начистоту; он выражает сомнение в том, чтобы у плотников не было определенной цели. «Они, — отвечает Щетинин, — только о том и стараются, чтобы как можно меньше работать и в то же время как можно больше получать». Рязанов находит, что это — цель очень определенная, и вслед за тем спрашивает у Щетинина, к чему же он сам-то стремится: «К тому, чтобы как можно больше работать и как можно меньше получать? Так, что ли?» — Щетинин совершенно становится в тупик и произносит коснеющим языком: «н-не...» — «Ну, — добивает его Рязанов, — так что ж тут разговаривать еще! Стало быть, стремления-то у нас с ними одни и те же; разница только в том, что мы сознательно желали бы их приспособить к нашему хозяйству, они же, как все глупорожденные, бессознательно упираются и всячески стараются схитрить. Ну, а на этот случай у нас средства такие имеются для понуждения их, средства, к народным обычаям приноровленные. Вот в древние века нравы были грубые, — тогда и орудия, которыми понуждались глупорожденные к труду, тоже были неусовершенствованные, как то: исправники, становые и проч., теперь же, когда нравы значительно смягчены и сельские жители вполне сознали пользу просвещения, и понудительные меры употребляются более деликатные, духовные, так сказать, а именно: увещания, штрафы, уединенные амбары и так далее. Вот и хороводимся мы таким манером и долго еще будем хороводиться, доколе мера беззаконий наших не исполнится. Только зачем же тут церемониться-то уж очень, нюни-то разводить зачем, я не понимаю. Штука эта самая простая, и весь вопрос в том, кто кого; стало быть, главная вещь, не конфузься...»

Щетинин раздавлен и уничтожен этими правдивыми словами, так точно, как в древности оказался уничтоженным и раздавленным благонравный юноша, которому вместо ожидаемой похвалы был дан весьма неприятный совет продать богатое наследство и раздать деньги нищим. Щетинин не находит больше никакого возражения, и разговор прекращается.

В мыслях Марьи Николаевны этот разговор производит решительный переворот.

VI

В голове Марьи Николаевны начинается усиленная работа мысли; то, о чем она только что начинала догадываться, обрисовывается перед нею совершенно ясно и пугает ее слишком знакомою и понятною рельефностью своих очертаний; смысл той жизни, которую она ведет с своим супругом, постигнут;

соответствующее имя или клеймо найдено и приложено к этой разлюбезной и высокопочтенной жизни так крепко, что его не вытравишь никакими * горькими слезами. Марья Николаевна становится похожа на леди Макбет; она чувствует на всей своей особе какое-то пятно и, не имея сил с ним помириться, в то же время не знает, каким образом от него отделаться. Можно себе представить, какие нежные чувства питает она к тому милому либералу, который, пользуясь ее неопытностью, замарал ее чистую личность и обессмыслил ее молодую жизнь. Она приходит к своему мужу как воплощение его совести и требует от него строжайшего отчета во всей его прошедшей деятельности, в которой он сулил ей чудеса либерализма и подвиги человеколюбия. «Когда ты хотел на мне жениться, — говорит она ему, — ты что мне сказал тогда? Вспомни! Ты мне сказал: мы будем вместе работать, мы будем делать великое дело, которое, может быть, погубит нас, и не только нас, но и всех наших; но я не боюсь этого. Если вы чувствуете в себе силы, пойдемте вместе. И я пошла. Конечно, я тогда еще была глупа, я не совсем понимала, что ты там мне рассказывал. Я только чувствовала, я догадывалась. И я бы пошла куда угодно. Ведь ты видел, я очень любила мою мать, и я ее бросила. Она чуть не умерла с горя, а я все-таки ее бросила, потому что я думала, я верила, что мы будем делать настоящее дело. И чем же все это кончилось? Тем, что ты ругаешься с мужиками из-за каждой копейки, а я огурцы солю да слушаю, как мужики бьют своих жен, — и хлопаю на них глазами. Послушаю, послушаю, потом опять примусь огурцы солить. Да если бы я желала быть такою, какою ты меня сделал, — так я бы вышла за какого-нибудь Шишкина, теперь у меня, может быть, уж трое детей было бы. (Это последнее место в монологе Марьи Николаевны не совсем понятно. Почему же Шишкин может сделать то, чего до сих пор не сделал Щетинин? Неужели же Щетинин так глубоко проникнулся учением мальтузианцев, что соблюдает moral restraint ** в своей собственной супружеской жизни? Или неужели он так высоко понимает обязанности отца, что наложил на себя обет целомудрия до тех пор, пока для будущих детей не будет подготовлено достаточное обеспечение? Все это очень неясно.) Тогда я по крайней мере знала бы, что я мать, знала бы, что я себя гублю для детей, а теперь... Пойми, что я с радостью пошла бы землю копать, если бы видела, что от этого польза не для нас одних; что я не просто ключница, которая выгадывает каждый грош и только и думает о том: ах, как бы кто не съел лишнего фунта хлеба! ах, как бы... Какая гадость!»

Перед этими строгими требованиями Щетинин оказывается чистейшим банкротом. Он остается безгласным. Он даже не

пробует защищаться. О работе над сырым материалом нет и помину. Впрочем, Щетинин до такой степени мелок и ничтожен, что он даже и теперь не понимает ни характера своей супруги, ни глубины того отчаяния, которое слышится в ее кровавых упреках. Она говорит ему о своей изуродованной жизни, о своих загубленных надеждах, о своих профанированных стремлениях к добру и к истине, она называет его жалким обманщиком, укравшим и заевшим чужой век, — а он в это время все норовит пожать ее ручку или ухватить ее за талию, он думает, что ее можно успокоить и ублаготворить супружескими нежностями. «Нет, — говорит она ему далее, — ведь я это все уж давно, давно поняла, и все это у меня вертелось в голове; только я как-то не могла хорошенько всего сообразить; ну, а теперь вот эти разговоры мне помогли. Я тут очень расстроилась, взволновалась. Это совсем лишнее. И случилось потому, что я все эти мысли долго очень скрывала: все хотела себя разуверить; а ведь по-настоящему знаешь, надо бы что сделать? Надо бы мне, ничего не говоря, просто взять да уехать...» Именно. Так и следует поступать с теми прощелыгами, которые сулят вам золотые горы и потом оставляют вас на бобах. Марья Николаевна имеет полное право поступить с Щетининым гораздо строже, чем поступают кредиторы с злостным банкротом. Банкрот крадет только деньги, а Щетинин своим либеральным фразерством украл у нее жизнь, ту жизнь, которую она могла бы отдать сильному, честному и полезному деятелю и которую она теперь, быть может, уже не сумеет устроить разумным образом. Любимая женщина говорит нашему либеральному буржуа, что от него следует ей бежать без оглядки, не говоря ему ни слова, как бегут здоровые люди от зачумленного больного, который уже находится при последнем издыхании и который уже не способен ни принимать лекарства, ни выслушивать слова любви и утешения, ни даже узнавать своих ближайших родственников и друзей. Чем же отвечает он ей на это жестокое оскорбление? Пробуждается ли в его телячьей душе хоть искра мужественной гордости, хоть слабое воспоминание, далекий и бледный отблеск тех титанических стремлений, которыми он так бессовестно рисовался в былые годы перед этою же самою женщиною? Произносит ли он хоть одно слово о труде, об общем благе, о борьбе, словом, о тех высших идеях, которые должны господствовать над всею жизнью энергического мужчины, осмеливающегося домогаться любви и уважения честной и умной женщины? Старается ли он убедить ее в том, что он не обманул ее, что его жизнь полна, широка и разумна и что, уезжая от него, она уедет именно от той деятельности, которую она сама же ищет? Наконец, если он чувствует невозможность

защищаться, то способен ли он по крайней мере с ужасом оглянуться на самого себя, оценить всю свою неудовлетворительность и потом, осудивши прошедшее, рвануться вперед к новой, чистой, высокой и плодотворной деятельности? Нет, ничего подобного не находим мы в его ответе. Титанические стремления были взяты напрокат и выражались в былое время довольно удачно и увлекательно только потому, что у молодого человека обыкновенно горят глаза и звучит в голосе искреннее чувство, когда ему приходится строить воздушные замки о жизни и работе вдвоем, в присутствии той молодой девушки, которая ему нравится. Теперь цель жизни достигнута, молодая девушка превратилась в молодую даму, и поэтому титанические стремления отправлены обратно в тот магазин, из которого они были взяты на подержание; дорога к этому магазину уже забыта и заросла травою, так что впопыхах невозможно уже найти ничего такого, что хоть издали напоминало бы прежний пыл великодушного энтузиазма. Щетинин застигнут врасплох и не находит у себя под руками ничего, кроме своей супружеской нежности, искренней и теплой, но решительно неспособной превратить жалкую тряпицу в порядочного человека. «Маша, — лепечет он, — Маша! что ты говоришь! Да ведь... ну... да... да ведь я люблю тебя. Ты понимаешь это?»

Пульхерию Ивановну действительно можно было бы удержать словом *люблю*, если бы она на старости лет вздумала уехать от Афанасия Ивановича для приискания себе разумной и честной деятельности. Марья Николаевна уходит в свою комнату, повторивши Щетинину еще раз, что она не может огурцы солить. Щетинин после ее ухода погружается на несколько минут в мрачное недоумение, потом отправляется вслед за своею супругою, но дверь оказывается запертою, и на его вопрос: «Можно войти?» — Марья Николаевна, с своей стороны, отвечает вопросом: «Зачем?» Щетинин видит, что входить действительно незачем, и удаляется восвояси. Через несколько времени он приходит в спальню, надеясь увидеться с своею супругою; но надежда его не осуществляется; Марья Николаевна проводит ночь у себя в комнате. На другой день Щетинин с Рязановым едут в город и созерцают там всю красоту *наших сил*, направленных на истребление шампанского и водки. Вечером они возвращаются домой, и Марья Николаевна сама приходит мириться с своим разогорченным супругом. Она даже просит у него прощения; он, разумеется, открывает ей свои объятия. Но эта трогательная сцена примирения показывает совершенно ясно, что окончательный разрыв неизбежен. В этой сцене полное и неизлечимое ничтожество Ще-

тинина становится еще более очевидным. Марья Николаевна находится в примирительном настроении собственно потому, что она, как ей кажется, отыскала возможность пристроить себя к полезному делу, не выезжая из деревни. Когда она враждовала, то враждовала она не с личностью своего мужа, а с тем образом жизни, на который он обрек самого себя и в который затянул и ее. Когда она мирится, то мирится также только с образом жизни, потому что находит возможность произвести в нем необходимые усовершенствования. Но Щетинин ничего этого не понимает. Ему все это дело представляется в том виде, что вот, мол, барыня изволили шибко прогневаться, а потом положили гнев на милость, так как все это происходит от живости их характера и совершенно извиняется молодостью их лет, особенно если еще принять в соображение красоту их наружности, предоставляющей им полную свободу капризов. Поэтому он выезжает исключительно на нежностях и на любезностях, усердно выражает ей теплоту своих чувств и не высказывает ни одной дельной мысли по поводу того плана, в котором для Марьи Николаевны заключается настоящий узел всего поднятого вопроса. Мне кажется, умная женщина непременно должна почувствовать глубокое отвращение к тому мужчине, который в разговорах с нею никогда не может или не хочет забыть ее пол, то есть всегда говорит с нею как с женщиною и никогда не говорит с нею как умный человек с умным человеком. Если он не хочет говорить с нею таким образом, — это значит, что он ставит ее ниже себя и считает ее не способною увлекаться теми интересами, которые составляют общее достояние всего мыслящего человечества. Если не может, — это значит, для него не существует ни одной страсти выше и сильнее полового влечения; это значит, что нет для него во всем мире ни одной великой идеи, которую он любил бы настолько, чтобы, вглядываясь и вдумываясь в нее, забыть, хоть на несколько минут, о приятной наружности своей собеседницы и о священных обязанностях любезного кавалера. В первом случае умная женщина должна чувствовать себя глубоко оскорбленною, и если она действительно умна, то она непременно сумеет показать мужчине, третирующему ее с высоты своего величия, что он ошибается в ней очень сильно. Во втором случае со стороны женщины обнаружится скоро полное презрение к вечно любезному и, следовательно, безнадежно пошлому кавалеру. Именно эта участь и должна постигнуть Щетинина. Ему приходится узнать на самом себе, что женщина любит не любовь мужчины, а его личность и что, следовательно, самая безукоризненная пламенность любви не способна

реабилитировать того субъекта, который сам по себе бесцветен и ничтожен.

«Да, — говорит Щетинин Марье Николаевне, заглядывая ей в лицо, — ну, так, стало быть, стало быть, ты не сердишься. Это главное». Эти слова исчерпывают до дна всю пошлость этого человека. «Нет, — отвечает Марья Николаевна, — да ведь я и тогда не сердилась. Ведь это совсем не то». И затем она, чтобы переменить разговор, спрашивает: «ну, что же там, в городе?» Вы видите, что она уже начинает уклоняться от объяснений с ним. Она говорит: «ведь это совсем не то», и даже не пробует ввести его в мир своих мыслей; она чувствует, что он ее не поймет, и это чувство становится для нее самой особенно заметным и ясным в ту минуту, когда он заглядывает ей в лицо и произносит свои глупейшие слова: «стало быть, ты не сердишься, это главное». Как вы в самом деле начнете толковать этому воплощению буржуазной мелкости и ограниченности, что *это* совсем не *главное?* Ему был поставлен вопрос обо всей его жизни; ему были высказаны сомнения в его личной честности; все его тунеядческое прозябание было подвергнуто строжайшему осуждению; а он, во всей этой серьезной и глубокоторжественной сцене, заметил только то неудобное для себя обстоятельство, что его супруга изволит на него сердиться. Теперь ему позволили поцеловать ручку, и весь разговор оказывается забытым, тот разговор, в котором были затронуты самые глубокие основы его человеческого достоинства. Одно из двух: или обвинения Марьи Николаевны показались ему справедливыми, или же он считает их незаслуженными. В первом случае ее слова должны были потрясти его до глубины души, потому что эти слова отнимают у него возможность уважать самого себя, а для всякого мало-мальски порядочного человека самоуважение составляет необходимое условие существования. Во втором случае он должен был заботиться не о том, чтобы помириться с нею и поцеловать ее в губки, а о том, чтобы оправдаться в ее глазах и снова завоевать себе уважение любимой женщины, которое для всякого порядочного человека несравненно дороже ее любви, если бы даже позволительно было предположить, что прочная любовь возможна без уважения. В том и в другом случае нежное примирение для самого Щетинина не заключает в себе никакого смысла и не должно иметь никакой цены. Если бы он был способен понимать тяжесть направленных против него обвинений, то ему надо было или начать совершенно новую жизнь, или представить на суд Марье Николаевне такие фактические доказательства, которые опровергали бы все ее обвинения. Но он даже не знает, чего от него требуют и за что на него так взъелись;

он поневоле должен приписывать всю эту историю раздражительности дамского темперамента и резкой необузданности рязановских рассуждений. Само собою разумеется, что перед грандиозностью этого тупоумия у Марьи Николаевны опускаются руки и обрывается голос. Если Щетинин так удачно понимает общий смысл всей коллизии, то понятно, что Марье Николаевне нечего ждать от него советов и помощи в том деле, в котором она надеется найти примирение с окружающею жизнью. Марья Николаевна додумалась до того убеждения, что грамотность составляет первую потребность крестьян; поэтому она хочет завести сельскую школу и полагает, что полезные труды преподавания помирят ее с веселою и сытою жизнью деревенской барыни. Она рассказывает свой план Щетинину, но не возлагает собственно на него самого никаких надежд; она прямо говорит ему, что посоветуется с Рязановым, который, наверное, не откажется ей помогать. Щетинину не хотелось бы, чтобы его супруга обращалась к Рязанову, но в то же время он, Щетинин, не умеет даже заинтересоваться ее предприятием, не умеет обсудить его удобоисполнимости, не умеет произнести ни одного такого слова, в котором виден был бы проблеск самостоятельного ума, или искреннего сочувствия, или даже самой простой житейской опытности. Ничего, ровно ничего такого, что могло бы обратить на себя внимание Марьи Николаевны и вызвать между обоими супругами хоть какой-нибудь обмен мыслей. Марья Николаевна уходит от него с тем же, с чем и пришла. В первый раз, когда ей понадобился дельный совет, она принуждена обращаться за ним к постороннему человеку. Очень понятно, что этот человек приобретает себе то уважение и доверие, которого не мог удержать за собою ее муж. Щетинин становится для нее нулем. Она понимает, что он стоит гораздо ниже тех горячих упреков, с которыми она обращалась к нему во время первого объяснения.

VII

Не подлежит ни малейшему сомнению, что очень многие читатели, — например, все любители и клиенты «Московских ведомостей», — назовут Рязанова отъявленным негодяем, разрушающим семейное счастье достойнейшего человека, а Марью Николаевну — взбалмошною бабою, неспособною оценить мягкость и великодушие нежнейшего из супругов и щедрейшего из землевладельцев. Все это в порядке вещей. Если бы эти господа читатели осмелились осудить Щетинина, то им пришлось бы произнести строжайший приговор над своими собственными особами. На это

не решится почти никто. Рыбак рыбака видит издалека, и ворон ворону глаза не выклюет, и тунеядец никогда не бросит камня в своего возлюбленного брата по тунеядству. Так как число этих читателей, закупленных своим положением, очень значительно и так как понятия, господствующие в нашем обществе, составляются почти исключительно из их пристрастных суждений, то я поставлен в необходимость говорить довольно подробно о таких простых истинах, на которые при других условиях достаточно было бы указать мимоходом. Мне теперь приходится доказывать то, что для мыслящих людей не требует никаких доказательств, — именно то, что Щетинин — совершенная дрянь и что он, попавши в фальшивое положение, неизбежно должен был сделаться дрянью, даже в том случае, если бы природа одарила его не совсем дюжинными способностями. По правде сказать, вся судьба человека зависит от того, какими средствами он поддерживает свое собственное существование. Всякому известно, что есть люди, которые добывают себе хлеб собственным трудом, и есть люди, которые кушают хлеб, добытый другими, и могут жить не трудясь. Права этих последних признаны всеми почтенными юрисконсультами и моралистами, и никто не может их притянуть за это к суду и к ответу. Точно так же, если бы им угодно было кушать каждый день по пяти фунтов конфект, или выпивать по три стакана крепчайшего уксуса, или сидеть круглый год в закупоренной комнате, или никогда в жизни не умываться — кто бы, спрашиваю я вас, имел законное право насиловать их наклонности? Опять-таки решительно никто. Каждый взрослый человек волен наполнять свой собственный желудок какими угодно кушаньями, продовольствовать собственные легкие каким угодно воздухом и покрывать свою собственную кожу каким угодно слоем пыли и грязи. Все это так, но существует, однако же, такая наука — гигиена, которая изучает те условия, при которых человеческий желудок, человеческие легкие и человеческая кожа находятся в нормальном или здоровом состоянии. Эта наука может предсказать заранее те последствия, которые повлечет за собою то или другое уклонение от правильного образа жизни, соответствующего ее разумным предписаниям. Гигиена говорит одному: вы испортите себе желудок; другому: вы наживете чахотку; третьему: вы совсем опаршивеете. Говоря таким образом, она никого не оскорбляет, не посягает ни на чьи права, не насилует ничьей свободы; она только показывает, что из чего выходит; она только разъясняет причинную связь между известным образом жизни и известными расстройствами организма. Раскрывая эту причинную связь, гигиена произносит свой строгий приговор

не только над какими-нибудь эксцентрическими или болезненными привычками, составляющими достояние отдельных личностей, но даже над целыми организованными профессиями, которые считаются необходимыми для благосостояния или комфорта всего общества. Так, например, она говорит прямо, что у портных искривляются ноги, у часовщиков портится зрение, у наборщиков образуются расширения вен в ногах, у зеркальщиков развивается от ртути дрожание всех членов. И, однако же, никто не жалуется на гигиену, что она excite à la haine et au mépris — возбуждает ненависть и презрение к портным, к часовщикам, к наборщикам и так далее.

Если образ жизни, занятия и привычки кладут свою печать на кости, мускулы, кровеносную систему и нервы данного субъекта, то само собою разумеется, что влияние тех же условий должно распространяться также и на всю совокупность его умственных отправлений. Каждая человеческая способность и каждая человеческая страсть, подобно каждому отдельному мускулу, развиваются от частого упражнения и слабеют или атрофируются от бездействия. Поэтому если можно определить заранее те видоизменения, которые данная профессия произведет в вашем телосложении, то можно также обрисовать в общих чертах те перемены, которые под влиянием этой профессии обнаружатся в складе ваших понятий и стремлений. Если можно сказать наверное, что постоянное переписывание бумаг наградит вас геморроем и сутуловатостью, то можно также выразить то печальное предположение, что это машинальное занятие притупит ваши умственные способности. Если можно сказать, что занятия рассыльного развивают в нем силу ножных мускулов, то почему же не сказать, что занятия ростовщика развивают в нем способность и привычку относиться равнодушно к человеческому горю, точно так же как, например, занятия хирурга развивают в нем способность и привычку смотреть спокойно на текущую кровь и на отрезанные руки и ноги. Словом, если возможна гигиена тела, то возможна также гигиена ума и характера. Само собою разумеется, что обе эти науки должны постоянно стремиться к соединению между собою; обе они достигнут своего совершенства и обнаружат все свое плодотворное влияние только тогда, когда соединение это, о котором теперь невозможно и мечтать, сделается действительным и общепризнанным фактом. До сих пор гигиена ума и характера находится в совершенном младенчестве; ею занимаются только такие люди, которых никто не считает за ученых; для нее собирают материалы беллетристика и литературная

критика; поэты и рецензенты задумываются над теми типами, в которых выражаются особенности общественной жизни, и над теми ингредиентами, из которых эти типы слагаются. Практические же люди в этом отношении, как и во многих других, бредут на авось, увлекаются обстоятельствами в ту или в другую сторону и не отдают себе никакого отчета в тех путях, которые приводят их к неизвестным, неожиданным результатам; эти практические люди в большей части случаев приобретают себе к летам мужественной зрелости такие умственные и нравственные физиономии, которые внушили бы им самим отвращение и ужас, если бы они сохранили до зрелых лет свою юношескую впечатлительность и требовательность. Каким образом приобрелись эти искаженные физиономии, этого они не знают; таких учебников, в которых можно было бы справиться о причинах умственных и нравственных убогостей, до сих пор еще никто не составлял. Если же вы, не будучи патентованным составителем учебников, попробуете изучить и описать важнейшие из этих причин, то легко может случиться, что в награду за ваше беспристрастное исследование вы прослывете вредным памфлетистом, желающим кого-то exciter à la haine et au mépris ко всем практическим людям. Впрочем, уже давно известно, что всякое новое исследование всегда кажется сначала почтенной публике неслыханно дерзким посягательством на какое-нибудь общественное сокровище. Чем новее исследование и чем почтеннее публика, тем громче оказываются вопли ужаса.

Если бы порядочные люди робели и отступали перед этими воплями, то никаких исследований не производилось бы и все старые заблуждения наслаждались бы полною неприкосновенностью. Этого нет и не должно быть. Поэтому я начинаю теперь анализ двух вышеупомянутых категорий с гигиенической точки зрения. Для большей наглядности и безобидности я придам этому анализу форму дружеского разговора между мною и господином Щетининым, которого я беру в периоде его студенческих стремлений и юношеских иллюзий.

— Чем вы занимаетесь в университете? — спрашиваю я у него. — Ведь вы, кажется, юрист?

— Да, — говорит он, — по правде сказать, почти ничем. Я в восхищении от нашего университетского товарищества, но факультет мой мне решительно не нравится.

— Отчего ж вы не перейдете на другой факультет, на такой, который вам нравится?

— Да куда ж я перейду? В филологи — греческого языка не знаю; в математики — сохрани меня бог. В натурали-

сты — слуга покорный! Побывал я у них раз в химической лаборатории — и закаялся. Такого напустили сернистого водорода, что меня три дня тошнило. А там ведь у них еще анатомия есть. Они у себя на квартире крыс потрошат из любви к науке. Посудите сами, какие же это занятия. Оно, пожалуй, и любопытно, да уж чересчур неприятно. Ну, в камералисты * и переходить не стоит. Почти то же самое, что у нас, только предметов еще больше, и в лабораторию ходить надо. Разве для штуки подняться в третий этаж ** и засесть за белуджистанскую литературу? Так ведь это именно только для штуки можно.

— Да, разумеется. Переходить вам действительно некуда.

— И, главное дело, незачем. Память у меня блестящая. Экзамены я сдаю великолепно. Значит, я свою юриспруденцию дотяну до конца как следует, а потом, как получу диплом, так сейчас ее и по боку.

— Совсем по боку нельзя. А служить-то как же без юриспруденции?

— Я служить не буду.

— Либерализм одолевает?

— Какой либерализм? Либерализм этому нисколько не мешает. Не только не мешает, а даже побуждает служить. Тут, стало быть, дело совсем не в либерализме. Я не буду служить потому, что намерен поселиться в деревне.

— Что ж вы там намерены делать?

— Там-то?! Да там теперь самая настоящая работа и начинается. Во-первых, я хочу упрочить положение бывших моих крепостных. А во-вторых, буду жить тихо, скромно, спокойно, обложу себя книгами, буду понемногу улучшать хозяйство, женюсь, будем с женой заниматься хозяйством, музыкой, будем кататься на лодке, будем много, много читать, будем вместе учить крестьянских детей... Да, помилуйте, теперь трудно и высказать, как много добра можно там сделать, как сильно можно подействовать на все окружающее общество; ведь не звери же там живут, а люди; ведь теперь и там уже много молодых деятелей, получивших высшее образование; ведь стоит только дать первый толчок; все это проснется и двинется... Лишь бы обстоятельства не помешали, — а то можно целый край пересоздать. Была бы только любовь к делу, а ее, как видите, достаточно.

— А вы теперь сколько получаете доходу?

— В хорошие годы тысячи четыре, да только теперь эти хорошие годы что-то редки становятся. В прошлом году на 2500 пришлось съехать.

— Ну, а с крестьянами-то вы как же разделаетесь? На выкуп пойдут или как?

— Что вы? Помилуйте! Какой выкуп! Мои убеждения не позволяют мне брать с них деньги за ту землю, которою они владеют. Ведь если б вы знали, как меня любят эти люди; ведь я, когда маленький был, каждого мужика в лицо знал и по имени. Как я иду, бывало, по деревне, мужик встречается и сейчас к руке подходит; я, разумеется, не даю ни под каким видом, и начинаются целования в губы. Славное это было время!

— Стало быть, землю даром даете?

— О, разумеется!

— Тогда ведь, пожалуй, на 1500 придется съехать.

— Не думаю. Во-первых, вам должно быть известно, что вольнонаемный труд производительнее обязательного. Это — экономическая аксиома. Второе дело — хозяйский глаз. Теперь приказчик валит через пень-колоду, а уж тогда — извините. Ну, потом — машины можно завести. Вместо трехпольного хозяйства — плодопеременную систему. Кое-какие свободные деньги у меня есть: заведу тирольских коров. Одним словом, извернуться можно. Я надеюсь даже так устроить, что у меня еще больше будет дохода, чем прежде. Главное дело — энергия и любовь к делу.

— Это-то все хорошо; да только ведь вы сейчас говорили, что вы этих людей очень любите.

— Так что же? Разумеется, люблю. Еще бы я их не любил! Да если бы я не любил их лично, по воспоминаниям детства, так я все-таки должен в них любить мое отечество. Ведь эта сермяга именно может ударить себя в грудь и сказать: «la patrie c'est moi»[1]. Если сермяге хорошо жить на свете, значит, все отечество благоденствует.

— Что вы яростный демократ — это я давно вижу. А вы мне вот что объясните — вы в деревне о чем будете заботиться: о сермяге или о доходе?

— Одно другому нисколько не мешает. Сермяга получит землю, произойдут великие целования: *батюшка, отец родной, озолотил*, и так далее. Ну, когда все это кончится, задам я им пир горой, а потом и начну доходы свои совершенствовать.

— Кто же вашу землю пахать будет? Все-таки та же сермяга?

— Ну, разумеется. Не могу же я сам тысячу десятин вспахать, засеять и убрать.

— А одну можете?

— Не пробовал, да, я думаю, и пробовать незачем. Буду я, вероятно, нанимать своих же бывших крестьян, и они, раз-

[1] «Отечество — это я» — перефразировка выражения «l'etat c'est moi» («государство — это я»), приписываемого Людовику XIV. — *Ред.*

умеется, будут у меня работать с превеликим удовольствием.

— Какую ж вы им цену будете давать? Что запросят — так сейчас вы и согласитесь?

— А вы думаете, они будут запрашивать?

— Я думаю, их прямой интерес состоит в том, чтобы брать за свой труд как можно дороже, а в чем будет состоять ваш прямой интерес — это вы мне потрудитесь теперь объяснить. У вас тут произойдет столкновение между любовью к сермягам и любовью к доходу. Которое же из этих двух чувств одержит перевес? А если они должны оставаться в равновесии, то каким образом вы ухитритесь устроить между ними примирение?

— Да что ж тут мудреного? Как другие хозяева делают, так и я буду делать.

— Другие хозяева не дарят земли, другие хозяева не чувствуют никакой особенной нежности к сермяге, другие не говорят о благоденствии отечества, другие не собираются пересоздавать целый край, и поэтому другие могут торговаться с *этими бестиями,* и действительно торгуются из-за каждой копейки, и никто им за это не скажет худого слова, потому что их дело хозяйское; но каким образом опасный человек и яростный демократ Щетинин будет торговаться с *этими бестиями* — этого я уж никак не умею взять в толк.

— Я не говорил вам, что буду подражать разным Плюшкиным и Ноздревым. Я буду действовать так, как действуют все честные и хорошие хозяева. Если мужик заломит цену совсем несообразную, — ну, тогда, разумеется, я ему растолкую, что так нельзя, что это недобросовестно, что таким образом он рискует остаться без работы. И тут же я ему объясню, какими выгодами он будет пользоваться, если согласится принять мои условия, составленные к нашему обоюдному удовольствию. Разговор со мною будет даже очень полезен для мужика; вместо того чтобы торговаться, — как вы выражаетесь, — с *этими бестиями,* я просто буду читать моим возлюбленным согражданам лекции политической экономии. Это разве дурно?

— Кроме траты времени, в этих лекциях не будет ничего дурного, по той простой причине, что слушатели ваши, к счастью для себя, не поймут и не захотят понимать ваши рассуждения.

— В настоящую минуту я тоже не понимаю вас.

— Понять не трудно. Вам хочется убедить мужика в том, что он ломит с вас несообразную цену и поступает недобросовестно. Вам хочется вложить в его мужицкую голову такие понятия, вследствие которых он считал бы своим священным долгом вечно питаться хлебом и луком и вечно выбиваться из сил исключительно для того, чтобы доставлять

вам каждый день страсбургские пироги и бутылку лафита. Чтобы убедить мужика в непреложности этого закона, надо отнять у него всякую способность размышлять; иначе он никак не поверит тому, что его скромное и естественное желание улучшить свое положение составляет несообразность или недобросовестность. Если бы он этому поверил, то он превратился бы в идиота, что, конечно, было бы очень грустно. Если же он этому не поверит, то ваше время и ваша лекция будут потрачены даром. Как бы ни была несообразна и недобросовестна та цена, которую слупит с вас мужик, — все-таки он на эти заработанные деньги не доставит себе ничего, кроме самых необходимых удобств жизни. Купит он себе сапоги, или новый полушубок, или дугу; поправит, может быть, избу, которая, того и гляди, задавит его вместе с семьею; заведет он лишнюю корову, так что ему можно будет чаще прежнего хлебать молоко. И остальная его роскошь все в том же роде. И, зная это, вы все-таки будете ему доказывать, что стремиться к новым сапогам, к полушубку, к поправлению развалившейся избы с его стороны и несообразно и недобросовестно, потому что такими стремлениями он может довести вас до такой печальной крайности, что вам придется вместо страсбургских пирогов кушать только швейцарский сыр, а вместо благородного лафита пить за обедом скромное шато-марго или даже — чего боже упаси! — презренный медок. И поворотится у вас язык читать возлюбленным согражданам такие лекции политической экономии? А если поворотится, — то будете ли вы иметь достаточное право презирать разных Плюшкиных и Ноздревых, которые торгуются с *этими бестиями?* Прочтете вы мужику вашу лекцию; она, разумеется, на него не подействует. Вы тогда что сделаете? — Вы тогда припрете мужика к стене тем аргументом, что он, — несообразный мужик, — *рискует остаться без работы. — Этот* аргумент подействует. Еще бы не подействовать! Аргумент старый, испытанный, поседелый в боях, но вечно юный, прекрасный и убедительный! На этом аргументе, поражающем рабочего человека прямо в желудок, построена вся европейская промышленность. Но когда вы будете употреблять этот убедительный аргумент, вы уж так и знайте, что именно вы делаете. Вы тогда не думайте, что читаете возлюбленному соотечественнику лекцию политической экономии, вы тогда будьте уверены, что вы привели человека в застенок и вытряхиваете из него те страсбургские пироги и бутылки лафита, которые будут появляться на вашем столе.

— Бог знает что вы говорите! И кто вам сказал, что я намерен торговаться. Что запросят, то я и буду давать. Ну, довольны ли вы наконец?

— Да я и прежде был очень доволен. Мое дело — сторона. А что *вы* не будете довольны вашими доходами — в этом я могу уверить вас заранее. Если вы не будете водить ваших возлюбленных соотечественников в вышеупомянутый застенок, — они оберут вас дочиста в самое короткое время.

— То есть как же это? Небось потребуют сразу по сту рублей в день?

— Зачем же сразу и зачем же по сту! Они тоже не сумасшедшие. Сразу они увидят только, что вы — барин податливый и что вас можно забрать в руки. И заберут.

— Как же это они меня заберут?

— Очень просто. Можно работать изо всех сил, и можно работать спустя рукава. Можно вставать на работу в четыре часа, и можно вставать в семь часов. Можно тратить на обеденный отдых час, и можно тратить три часа. Можно держать рабочих лошадей в чистоте и в порядке, и можно держать их черт знает как. Можно обходиться с инструментами бережно, и можно обходиться небрежно. Во всех этих случаях мешкотность и небрежность для работника выгодны, потому что сберегают его силы, а для хозяина убыточны, потому что количество добываемых продуктов уменьшается и рабочие инструменты портятся. Когда работник ведет дело лениво или небрежно, тогда хороший хозяин с него взыскивает. Если же вы, по либеральности вашего образа мыслей, взыскивать не намерены, то хозяйство ваше все пойдет вразброд, и произойдет именно то, что ваши работники заберут вас в свои руки. Вы их будете кормить, одевать, обувать и постоянно будете оставаться в чистом убытке. Как вам нравится эта перспектива? И как вы полагаете, не поворотить ли вам обратно к испытанным мерам спасительной строгости?

— Послушайте! В самом деле, совсем без взысканий обойтись в хозяйственном деле невозможно. Кое-какая дисциплина совершенно необходима. Иначе ведь это дым коромыслом пойдет. Лень, грубость, пьянство — просто хоть вон беги! Это даже и для них самих скверно будет. Они совсем негодяями сделаются.

— Еще бы, разумеется.

— Да. Ну, так как же не взыскивать? Взыскания у меня будут, и, стало быть, батраки мои не заберут меня в руки.

— Все виды взыскания можно свести к двум категориям: одни — телесные наказания, другие — денежные штрафы. Мужика можно бить или дубиной, или полтиной. Вы которое из этих орудий намерены пустить в ход?

— Я совершенно неспособен драться с мужиками.

— Драть мужиков и драться с мужиками две вещи раз-

ные. Но я не стану привязываться к словам. Итак, вы склоняетесь к полтине?

— Если мужик своею небрежностью нанесет мне убыток, то он, по всей справедливости, обязан вознаградить меня за этот убыток. Брать с него вознаграждение — значит приучать его к осмотрительности и к добросовестности.

— Именно так. Например, у вас идет уборка хлеба, и вы пользуетесь сухою погодою, чтобы поскорее свезти с поля всю вашу пшеницу; вам каждый час дорог, потому что — того и гляди — начнутся дожди, хлеб вымокнет, прорастет, и убытков не оберешься. Каждое замедление работников посягнет прямо на ваши карманы. И вдруг вы узнаете, что работники вышли в поле не в четыре часа утра, а в шесть. Разумеется, надо взыскать с каждого из них по крайней мере по 5 копеек штрафа за каждый упущенный час. Так или нет?

— По-моему, так.

— Все хорошие хозяева, то есть все благоразумные люди, смотрящие на работника как на машину, доставляющую нам удобства к жизни, — совершенно с вами согласятся. Но есть люди безрассудные, которые по этому поводу способны наговорить много сентиментального вздора. Они скажут, например, что самый жалкий и зависимый батрак — все-таки живой человек и что у него есть свои органические потребности, за удовлетворение которых штрафовать не годится. Они скажут, что, работая целый длинный летний день, мужик измучился, что ему напекло голову, что он долго не мог заснуть с вечера именно от головной боли и что поэтому ему невозможно было подняться на работу в четыре часа. Как все это наивно и смешно! Мужику напекло голову — ха, ха, ха! — У мужика голова болит — ха, ха, ха! — Мужику утром спать хочется — ха, ха, ха!* — И пшенице господской из-за этого мокнуть — ха, ха, ха! Убедительно вас прошу разделить со мною мою веселость. С какой стати вы предоставляете мне одному удовольствие смеяться над безрассудными речами безрассудных людей?

— Я вовсе не считаю этих людей безрассудными и нисколько не намерен смотреть на мужика как на машину.

— Напрасно! Ну, так смотрите на него по крайней мере как на злейшего и коварнейшего врага.

— И этого не хочу. Это еще гнуснее.

— Чего же вы, наконец, хотите? И как же вы, наконец, намерены смотреть на ваших батраков? Небось скажете — как на младших братьев? Вот одолжите-то!

— Это, конечно, фраза избитая и опошленная. Много нужно храбрости на то, чтобы произнести ее серьезно. И,

однако же, я все-таки произнесу ее: да, я твердо решился смотреть на них как на младших братьев.

— О мой добродетельный юноша! О мой храбрый и твердо решившийся либерал! Как живо разлетится одно из двух: или ваше родовое имущество, или ваше благоприобретенное братолюбие! Вы подумайте хорошенько: которое из этих двух сокровищ для вас дороже? И, подумавши, решите заранее: с которым из них вы намерены расстаться. И наконец, решившись, действуйте смело и последовательно, окончательно отложивши в сторону несбыточные надежды сохранить в неприкосновенности оба сокровища разом. Вы не верите тому, что я вам говорю?

— Не верю.

— И намерены удержать и приумножить оба сокровища?

— Намерен.

— Ну, так слушайте же. Я предлагал вам смотреть на работника как на машину. Вы отказались и прогулялись насчет братолюбия. Вашим отказом и вашею прогулкою вы подорвали основной принцип *наемщины*, на которой должно держаться все ваше хозяйство. Наемщина немыслима без двух условий: первое — борьба за рабочую плату; второе — борьба за исправность работы. Другими словами, надо торговаться и надо взыскивать. Без этого не может идти ни одно хозяйство, построенное на батрачестве. Если я смотрю на батрака как на машину, мне очень удобно и торговаться с ним и взыскивать с него. Я предлагаю ему ничтожную цену; он упирается. Что это значит? Это значит, что машина, которую я тащу к себе в дом, упирается по силе инерции. Надо победить это сопротивление энергическим усилием, например стачкою нанимателей. Когда усилие сделано и сопротивление побеждено, тогда все обстоит благополучно. Хорошо ли работнику при ничтожной плате, и каким образом он ухитрится свести концы с концами, и чем он будет набивать себе желудок — все эти вопросы не имеют ни малейшего смысла, точно так, как не имеет смысла вопрос о том, приятно ли машине стоять у меня в комнате. Так же удобно совершаются необходимые взыскания. Что я делаю с машиною, когда она начинает действовать неисправно? Я смазываю ее деревянным маслом. Что я делаю с лошадью, когда она не желает бежать рысью? Я смазываю ее ловким ударом кнута. Что я делаю с работником, когда он работает вяло и небрежно? Я также смазываю его достаточным количеством розог или, при изменившихся обстоятельствах, вычетом из его задельной платы. Почему, отчего, зачем работник работает вяло и небрежно, — об этом я не спрашиваю, точно так же, как не интересуюсь размышлениями,

страстями или огорчениями лошади, не желающей идти рысью...

— Все это чистые теории и утопии. Вы меня нисколько не убедите. Я решился твердо и пойду вперед по тому пути, который я себе выбрал. Дальнейшие возражения с моей стороны я считаю бесполезными, но мне любопытно было бы знать, — так просто, из желания посмотреть на воздушные замки, — к каким положительным теоретическим заключениям вы ведете вашу аргументацию. Вы старались доказать, что надо выбрать одно из двух: братолюбие или приумножение доходов. Представьте себе, что я убедился вашими доводами и, после зрелого размышления, твердо решился выбрать во что бы то ни стало чистейшее братолюбие. Что же мне следовало бы делать?

— Работать.

— Работать! Хорош ответ! Вы скажите, *что* и *как* работать?

— Хорош вопрос! Точно я могу залезть в вашу шкуру, смотреть на вещи вашими глазами, думать вашим мозгом и вообще понимать лучше вас самих все тончайшие особенности вашего ума, характера и темперамента? Я могу сказать вам только одно: к чему вы расположены, тем и занимайтесь.

— А если я ни к чему не расположен?

— Тогда у вас братолюбия быть не может, и тогда дальнейший разговор становится бесполезным.

— Почему же не может быть братолюбия?

— Кто любит людей, тот хочет во что бы то ни стало приносить им пользу и, следовательно, чувствует влечение ко всякой деятельности, способной так или иначе облегчить человеческие страдания. Если это влечение существует, то затем остается только из многих полезных отраслей труда выбрать ту, которая соответствует всего больше складу вашего ума. И такая отрасль непременно найдется, если только вы не идиот и не калека.

— Ну, положим, что такая отрасль нашлась. Дальше что же?

— Дальше ничего. Будете жить, будете работать, будете приносить пользу, потом в свое время умрете.

— Все это я и намерен делать у себя в деревне. Буду работать — то есть заниматься хозяйством; буду приносить пользу — устрою школу, больницу, образцовую ферму.

— Охота вам говорить о хозяйстве. Ну, какой же вы агроном, какой же вы специалист? Попробуйте наняться к кому-нибудь в управляющие: возьмет ли вас кто-нибудь, и много ли дадут вам жалованья, и долго ли вас продержат? Неужто вы в самом деле думаете, что будете получать ваши доходы

за ваши агрономические труды, а не за то совершенно не зависящее от вас обстоятельство, что вам принадлежит известное пространство земли. Вы будете жить в деревне доходами с земли, которую обработывают за вас другие люди. Разве это значит жить собственным трудом? Потом вы сюда еще приплели школу и больницу. Если вы сами намерены сделаться школьным учителем, то вам и книги в руки: только в таком случае надо удовольствоваться тем жалованьем, которое получают сельские учителя. Больницу же вы никогда не устроите, потому что для этого вам пришлось бы отказаться от многих удобств жизни.

— Так, по-вашему, что же я должен сделать с имением?

— По-моему, давно пора прекратить этот разговор. Поезжайте к себе в деревню, откажитесь от глупых фантазий, свойственных петербургскому студенту, и превращайтесь поскорее в образцового хозяина. Вы сами знаете очень хорошо, что для вас в жизни нет другой дороги.

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

I

Много есть на свете хороших книг, но эти книги хороши только для тех людей, которые умеют их читать. Умение читать хорошие книги вовсе не равносильно знанию грамоты. Я оставляю в стороне тех отличных и усердных грамотеев, к разряду которых принадлежит чичиковский Петрушка. Я сосредоточиваю все свое внимание на тех счастливцах, которые понимают смысл читаемых слов, предложений и периодов. Рассматривая только этот избранный кружок, я все-таки прихожу к тому заключению, что очень немногие члены этой умственной аристократии обладают умением читать хорошие книги.

Если вам, читатель мой, удалось завоевать себе это драгоценное умение, то вы, конечно, помните, каким продолжительным и упорным трудом было куплено это завоевание. Во времена вашего студенчества вы начали замечать, что жизнь совсем не такая простая и легкая штука, которую можно было бы изучить и постигнуть вполне по наставлениям родителей и по казенным учебникам, растворившим перед вами двери университета. Наставления родителей могли дать вам несколько хороших привычек. Казенные учебники могли сообщить вам сотни основных научных истин. Но вопрос: «как жить?» остался нетронутым. Над решением этого вопроса каждый здоровый человек должен трудиться сам, точно так, как женщина должна непременно сама выстрадать рождение своих детей. Для решения этого основного вопроса вам понадобилось перебрать, пересмотреть, проверить все ваши понятия о мире, о человеке, об обществе, о нравственности, о науке и об искусстве, о связи между поколениями, об отношениях между сословиями, о великих задачах вашего века и вашего народа. Занимаясь этим пересмотром, вы замечали у себя ошибки, которых до поры до времени нечем было поправить,

и огромные пробелы, которых нечем было пополнить. Вы волновались, ваше бессилие приводило вас в ужас, вы тревожно искали ответов на такие вопросы, которых сами не умели еще поставить и сформулировать; вы чувствовали, что вам необходимы какие-то материалы, какие-то знания, какое-то положительное содержание для мысли; весь ваш организм томился умственными потребностями, но вы сами решительно не могли определить, в чем именно вы нуждались. Вообще вы были очень похожи на того древнего царя, который видел страшный сон и потом, утром, не мог не только понять, но даже и припомнить его. От придворных гадателей требовалось, чтобы они сначала рассказали, а потом объяснили царю его таинственное и ужасное сновидение. Во время ваших умственных тревог вы также были окружены гадателями, хотя и не придворными. Наставники и товарищи, пережившие прежде вас умственный кризис, смотрели с кротким и разумным участием на ваши необходимые мучения. Значительно преувеличивая силу и мудрость этих гадателей, вы требовали от них, чтобы они разъяснили вам ваше состояние и потребности вашей собственной измученной души, изнемогающей под гнетом непривычных сомнений и неразрешимых вопросов. Гадатели указывали вам на хорошие книги. Вы хватались за них с зверскою жадностью, но так как вы не умели их читать, то они усиливали ваше беспокойство, погружали вас в отчаяние или увлекали вас на такую дорогу, которая не соответствовала ни вашим естественным наклонностям, ни окружающим вас обстоятельствам места и времени.

По вашим пробудившимся умственным потребностям вы уже были мужчиною. По вашим привычкам вы оставались еще ребенком. Каждого умного человека вы принимали за учителя, каждую хорошую книгу за учебник. Вас не пугали трудности; вы готовы были, вы даже пламенно желали окунуться с головою в самую утомительную, самую скучную, самую добросовестную работу. Но вы, по старой привычке, хотели работать пассивно, не так, как трудится исследователь, а так, как занимается ученик. Вы готовы были одолевать груды книг и просиживать целые месяцы в библиотеке, но только с тем, чтобы знающий человек управлял вашими занятиями и ручался вам за их успех. В кругу ваших знакомых вы постоянно искали себе *развивателя;* на полках библиотек вы старались найти себе книгу *«развитие»*. Вы хотели, чтобы какой-нибудь человек или какая-нибудь книга влила в вас, как в бутылку, те знания, идеи и стремления, которые необходимы честному и дельному работнику нашего времени; вы доверялись безусловно и людям и книгам; вы не умели выбирать; если вам нравилась в человеке или в книге одна какая-нибудь

сторона, то вы, увлекаясь одною этою стороною, принимали вместе с нею и весь остальной запас мыслей, в котором, наверное, было много непригодного и несостоятельного; если вас поражала в человеке или в книге какая-нибудь одна очевидная нелепость, то вы точно так же, из-за одной этой нелепости, браковали весь груз, в котором, наверное, можно было найти много интересных фактов и даже, быть может, несколько верных и глубоких идей. Само собою разумеется, что ни книги, ни люди не удовлетворяли вас вполне, потому что вы требовали от них невозможного; ни один человек не может быть *развивателем,* и ни одна книга не может быть *развитием.* И люди и книги могут быть только материалами, над которыми упражняется ваша пробудившаяся мысль. Эти материалы необходимы, потому что без впечатлений невозможна умственная работа. Но все-таки это материалы, а не готовые убеждения. Готовых убеждений нельзя ни выпросить у добрых знакомых, ни купить в книжной лавке. Их надо выработать процессом собственного мышления, которое непременно должно совершаться самостоятельно в вашей собственной голове, так точно, как процесс пищеварения совершается вполне самостоятельно в вашем собственном желудке.

Сталкиваясь с различными людьми, читая различные книги, гоняясь за призраком *развития* и *готовых убеждений* точно так, как алхимики гонялись за призраком философского камня, вы невольно сравнивали получаемые впечатления, становились в тупик над противоречиями, подмечали нелогичности, обобщали вычитанные факты и таким образом укрепляли понемногу вашу мысль, закладывая фундамент собственных убеждений, и становились в критические отношения к тем людям и к тем книгам, от которых вы ожидали себе сначала чудесной благодати немедленного умственного просветления.

Наконец ваши наклонности и способности развернулись и обозначились настолько, что вы перестали быть для самого себя мучительною загадкою. Познакомившись с своею собственною особою, вы в то же время поняли общее направление окружающей жизни; вы отличили передовых людей и честных деятелей от шарлатанов, софистов и попугаев; вы сообразили, куда передовые люди стараются вести общество; все эти сведения вы получили не зараз, не от одного человека и не из какой-нибудь одной книги; все эти сведения собраны вами по кусочкам, извлечены из множества различных впечатлений, заронены в ваш ум всякими крупными и мелкими событиями частной и общественной жизни. Незаметно проникая в вашу голову, все эти основные сведения срастались с вашим умом так крепко и превращались в такое неотъемлемое достояние вашей личности, что вы скоро потеряли всякую возможность

определить, где, когда и каким образом приобретены составные части самых дорогих и непоколебимых ваших убеждений.

Когда убеждения выработаны, когда цель жизни отыскана, тогда начинается сознательное, разумное и плодотворное чтение хороших книг. До этого времени вы читали ощупью. Книги нравились или не нравились вам так, как может нравиться или не нравиться шелковая материя, кусок обоев, фарфоровая чашка, соус или пирожное; когда автор шутил, вы смеялись; когда он впадал в элегический тон — вы умилялись; когда он аргументировал горячо и красноречиво — вы соглашались; когда он излагал свои мысли вяло и скучно, вы зевали. Из совокупности этих ощущений, воспринятых совершенно пассивно, составлялся ваш общий взгляд на книгу. Автор не мог быть ни вашим союзником, ни вашим противником, серьезная цель книги оставалась вам непонятною, вы не могли судить ни о достоинстве этой цели, ни о том, насколько эта цель достигается и насколько автор остается верен самому себе. Вы не могли и не умели уловить связь, существующую между данною книгою и всеми явлениями окружающей жизни; книга казалась вам отрывочным явлением, без корней в прошедшем, без влияния на будущее; поэтому вы и не могли сказать, что это за явление — дурное или хорошее и почему оно дурно или почему хорошо. Когда же знания ваши увеличились настолько, что дали вам возможность примкнуть сознательно к тому или к другому знамени, тогда вы начинали пылать тем фанатическим жаром, который составляет неотъемлемую принадлежность всевозможных неофитов. Дух вашей фанатической исключительности вы, разумеется, применили также и к чтению книг. Вы считали достойными внимания только те книги, которые написаны людьми вашего лагеря. Все остальные книги следовало, по вашему мнению, если не сжечь, то по меньшей мере осмеять и забыть. Читая книгу, вы производили над автором строжайшее следствие, и, чуть только вы замечали, что автор в чем-нибудь погрешил против вашего корана, вы немедленно причисляли этого автора к огромной толпе пишущих идиотов и негодяев. Но чем больше вы читали, тем яснее становилась для вас та истина, что цельные приговоры вроде восклицаний «*лоб*!» и «*затылок!*» неуместны и в отношении к людям и в отношении к книгам. Под влиянием жизни и чтения ваши собственные убеждения очистились, выяснились и окрепли; вы пристрастились к ним еще сильнее прежнего, вы сделались еще непоколебимее, но вы в то же время поняли, что для торжества вашей же собственной любимой идеи вы принуждены ежеминутно пользоваться трудами и мыслями таких людей, которые во многих отношениях уклоняются от вашего корана. Положим, например, что

вы материалист. Краеугольными камнями вашего миросозерцания оказываются труды Коперника, Галилея и Ньютона, которые постоянно были деистами и веровали даже в откровение. Не станете же вы из-за этого обстоятельства отвергать их астрономические открытия? А если не станете, то вы не должны также относиться с пренебрежением ни к химическим работам Либиха, ни к физиологическим исследованиям Рудольфа Вагнера, ни даже к добросовестным компилятивным трудам Теодора Вайца, несмотря на то, что все они спиритуалисты, а Рудольф Вагнер даже пиетист.

Положим далее, что вы фурьерист или прудонист. Спрашивается, каким образом отнесетесь вы к общественной физике О. Конта или к историко-философской теории Бокля? Причислите ли вы эти книги к вредным или к полезным явлениям? Станете ли вы отвергать или защищать эти идеи? С одной стороны, вы не можете не сочувствовать основной мысли Конта и Бокля, той мысли, что вся история есть борьба рассудка с воображением и что сильнейшим двигателем прогресса оказывается накопление и распространение знаний. Успеху этой мысли вы должны содействовать всеми вашими силами; с другой стороны, вы никак не можете сочувствовать ни контовской апологии нищенства, ни боклевскому мальтузианству. Но если бы вы вздумали, возмутившись этими нелепостями, забраковать целиком Конта и Бокля, то вы бы значительно ослабили ваши собственные идеи, отнявши у них ту подпору, которую они могут найти себе в исследованиях и размышлениях этих двух первоклассных умов. Значит, вы должны отделить светлые идеи от ошибочных суждений; вы должны пользоваться первыми и опровергать вторые. Пользуясь светлыми идеями Конта и Бокля, вы вовсе не принимаете на себя обязанности соглашаться с этими писателями во всем и превозносить каждое слово их сочинений. Опровергая то, что кажется вам ошибочным, вы нисколько не отступаете от того уважения, которое должны внушать вам великие мыслители. Сказать и доказать, что Бокль ошибся, вовсе не значит разбить авторитет Бокля и не значит также поставить самого себя выше этого замечательного мыслителя. С другой стороны, сказать и доказать, что у Гизо или у Маколея встречаются иногда светлые мысли, вовсе не значит превратиться в единомышленника этих узких доктринеров. В том и в другом случае, то есть опровергая Бокля и соглашаясь с Гизо, вы все-таки остаетесь верны вашим собственным убеждениям, и вы пользуетесь тою необходимою самостоятельностью, без которой невозможно сильное и плодотворное мышление и которая не должна стесняться ни раболепным благоговением перед великими именами, ни фанатическою исключительностью партий.

Так как критика должна состоять именно в том, чтобы в каждом отдельном явлении отличать полезные и вредные стороны, то понятно, что ограничиваться цельными приговорами значит уничтожать критику или по крайней мере превращать ее в бесплодное наклеивание таких ярлыков, которые никогда не могут исчерпать значение рассматриваемых предметов. В теории эта мысль не может вызвать против себя никаких возражений. Всякий скажет, что это очень старая истина и что несостоятельность цельных приговоров давным-давно засвидетельствована общеизвестными изречениями о пятнах на солнце и о золоте в грязи. Но в практической жизни цельные приговоры продолжают господствовать, и особенно сильно проявляется это господство у нас в России, где партии только что обозначились и почувствовали свою непримиримость. У каждой из наших партий есть свои кумиры, которые для противоположной партии оказываются чучелами и страшилищами. Каждое знаменитое имя европейской науки или литературы вызывает с одной стороны восторженное поклонение, а с другой — беспредельное и страстное порицание. Разногласие партий очень естественно, необходимо и безысходно, потому что настоящие причины противоположных суждений заключаются в противоположности интересов. Всякая попытка примирить партии была бы бесполезна и бессмысленна. Вместо примирения партий надо желать, напротив того, чтобы каждая партия обозначалась яснее и договорилась до последнего слова. Только тогда общество может узнать своих настоящих друзей и дать окончательную победу тому направлению мысли, которое всего более соответствует действительным потребностям большинства. Но именно для того, чтобы договориться до последнего слова, партии должны отказаться от цельных приговоров и подвергнуть одинаково тщательному анализу как своих кумиров, так и злейших своих противников. Вследствие такой операции многие кумиры утратят значительную долю своего сказочного великолепия, многие чучела и страшилища превратятся в довольно обыкновенных и безобидных людей, но основные идеи партий обозначатся яснее, именно потому, что эти идеи управляли всем ходом анализа, проникшего в самую глубину предмета и оценившего все его подробности.

II

Читатель простит мне мое длинное и утомительное введение, когда узнает, что я намерен говорить о Гейне, обращая при этом особенное внимание на слабые стороны его поэзии. Гейне один из наших кумиров, и, конечно, в мире не было до

сих пор ни одного поэта, который в более значительной степени заслуживал бы уважение и признательность мыслящих реалистов. Но чем важнее и колоссальнее какое-нибудь явление, тем необходимее знать ему настоящую цену. Чем больше пользы может принести нашему умственному развитию чтение Гейне, тем сильнее надо стараться о том, чтобы к массе этой пользы не примешивалась ни одна частица вреда. Чем неотразимее действует поэзия Гейне на умы читателей, тем тщательнее эти читатели должны оберегать себя от умственного раболепства перед Гейне, потому что из этого раболепства может развиться вредное обожание тех недостатков и пятен, которые наложены на поэзию Гейне обстоятельствами времени и места. Приступая к разбору этих недостатков и пятен, я непременно должен был напомнить читателю, что критика не имеет ничего общего с враждою, что без постоянной, строгой и тщательной критики невозможно никакое разумное и плодотворное чтение и что всякое умственное идолопоклонство вредит той самой идее, во имя которой оно производится.

Принявши в соображение эти простые истины, читатель, конечно, поймет, что, критикуя Гейне, я нисколько не желаю ослабить его влияние на русское общество, а, напротив того, стараюсь направить, сосредоточить, усилить это влияние так, чтобы ни одна его частица не пропадала даром и не вырождалась в нелепые и вредные уклонения, к которым сам Гейне очень часто подает повод своими эксцентричностями и внутренними противоречиями.

В настоящее время г. Вейнберг издает «Сочинения Генриха Гейне в переводе русских писателей». Одиннадцать томов уже находятся в руках читающей публики, а все издание будет состоять из пятнадцати томов. Можно надеяться, что это издание найдет себе многих читателей, но в то же время надо желать, чтобы эти читатели сумели усвоить себе такую точку зрения, с которой были бы ясно видны как достоинства, так и недостатки Гейне. Эту точку зрения я постараюсь указать читателю в моей теперешней статье.

Как понимает сам Гейне себя и свою литературную деятельность? На этот вопрос Гейне отвечает не раз стихами и прозою. Один из этих ответов особенно замечателен. «Я, право, не знаю, — говорит Гейне, — сто́ю ли я, чтобы мне когда-нибудь украсили гроб лавровым венком. Поэзия, как ни любил я ее, была для меня всегда лишь священною игрушкой или освященным средством для небесных целей. Я никогда не придавал большой цены славе поэта, и хвалить ли или бранить будут мои песни, меня мало беспокоит. Но я желаю, чтобы на гроб мой положили меч, потому что я был храбрым солдатом в войне за благо человечества» (т. II, стр. 120).

В этих словах заключается двойное противоречие. Ведя войну за благо человечества и считая себя *храбрым солдатом,* Гейне хочет в то же время служить чистому искусству. Два совершенно враждебные взгляда на искусство, — утилитарный и художнический, — укладываются рядом, один возле другого, в приведенных словах Гейне. *«Поэзия была для меня лишь священною игрушкой»,* — говорит Гейне. В этих словах художнический взгляд на искусство выразился во всей своей наивности, и в этих словах заключается второе внутреннее противоречие, доведенное до самой поразительной рельефности. В самом деле, что такое *священная игрушка?* Есть ли какая-нибудь психическая возможность играть тем, что вы действительно считаете святынею, или считать священным то, что служит вам игрушкою? Противоречия очевидны, а между тем все приведенные мною слова Гейне выражают чистейшую истину и дают превосходнейший ключ к пониманию всего Гейне, его миросозерцания, его стремлений, его поэзии. Когда есть внутренние противоречия в самом предмете, тогда они неизбежны и в его определении, и чем полнее и вернее определение, тем ярче должны в нем выступать внутренние противоречия. — Да, Гейне был действительно и храбрым солдатом и чистым художником; и поэзия была для него действительно *священною игрушкой,* хотя такое сочетание понятий дико и неестественно до последней степени.

Боевая храбрость Гейне достаточно известна. Его сарказмы, направленные против традиционных доктрин, против политического шарлатанства, против национальных предрассудков, против ученого педантизма, против всех бесчисленных проявлений общеевропейской и специально немецкой глупости, — его сарказмы составляют, без сомнения, самую яркую и единственную бессмертную сторону его поэзии. Не будь у него этих сарказмов, он замешался бы в толпу немецких поэтов, писавших гладкие стихи, и мы знали бы о нем столько же, сколько знаем, например, о каком-нибудь Людвиге Уланде, или Леопольде Шефере, или Эммануэле Гейбеле. Если мы в продолжение целого десятилетия переводим по частям прозу и стихи Гейне, если мы теперь издаем собрание его сочинений, если мы раскупим и прочитаем эти сочинения не только с удовольствием, но даже с некоторым благоговением, то, разумеется, все это делалось, делается и будет делаться только из любви к сарказмам, или, другими словами, из ненависти к тем общеевропейским подлостям и глупостям, которыми эти сарказмы были вызваны. Когда вы читаете Гейне, то самое течение мыслей почти никогда не занимает и не может занимать вас; мысли не новы, не оригинальны и не глубоки; вы даже редко можете найти что-нибудь похожее на развитие мыслей; чаще всего вы имеете перед собою легкую и кокетли-

вую болтовню о легких пустяках; но вы читаете терпеливо, внимательно, потому что вы постоянно находитесь в напряженном ожидании, вы знаете, что вдруг блеснет такая молния, которая с избытком вознаградит вас за незначительность всей прочитанной вами болтовни. Несмотря на ваше постоянное ожидание, молния все-таки застает вас врасплох и поражает вас своей неожиданностью. Она явилась безо всяких приготовлений, совсем не с той стороны, откуда вы ее ожидали; она изумила, очаровала вас и исчезла; начинается опять веселая болтовня, и вы опять с радостью готовы читать десятки страниц этой болтовни, лишь бы только добраться до новой молнии, такой же неожиданной и такой же очаровательной, как первая. Надежда на новую молнию и воспоминание о прежней помогает вам перебираться через те пустынные поляны, над которыми господствует бессмыслица романтически чистого искусства.

Но как ни великолепны молнии боевой храбрости и ядовитого сарказма, однако нельзя не заметить, что пустынные поляны очень обширны и чрезвычайно многочисленны. Путешествуя по этим полянам, читатель начинает понимать, что такое *священная игрушка*. Смысл этих загадочных слов очень печален. Когда Гейне творит образы, не имеющие никакого, даже самого отдаленного, отношения к борьбе за благо человечества, тогда он благоговеет перед своею собственною виртуозностью и играет теми чувствами и мыслями, на которые нанизываются яркие и роскошные картины. Соедините это благоговение с этим играньем, и в общем результате вы получите *священную игрушку*.

Но эти два потока — благоговение и игранье — не могут идти постоянно рядом, не действуя друг на друга и не смешиваясь между собою. С одной стороны, благоговение не может оставаться глубоким и совершенно искренним, потому что предмет этого благоговения, художническая виртуозность, растрачивается на мелочи, которые сам художник признает мелочами, годными только для забавы. Следовательно, сама виртуозность унижается и становится до некоторой степени смешною в глазах художника. С другой стороны, игра чувствами и мыслями становится почти серьезным и торжественным делом, когда художник увлекается процессом творчества и одушевляется силою благоговения перед собственным волшебным могуществом. Словом, ни читатель, ни художник не знают наверное, какие чувства и мысли им приходится переживать вместе; ни читатель не верит художнику, ни художник не доверяется читателю; читатель боится принять слова художника за выражение искреннего чувства, боится увлечься этим чувством, потому что художник тотчас начнет смеяться над тем, что могло показаться искренним порывом, и тогда

читатель, распустивший нюни, попадет в число сентиментальных дураков, неспособных понимать тонкую иронию; художник, с своей стороны, знает, что читатель остерегается и предвидит ироническую улыбку или циническую выходку; художник боится оказаться сентиментальнее читателя. Поэтому каждое чувство умышленно выражается так, что нет никакой возможности ни поверить его искренности, ни сказать наверное, что тут кроется ирония. «Еще рано, — говорит Гейне в конце своего «Путешествия на Гарц», — солнце совершило только половину своего пути, а мое сердце благоухает так сильно, что пары его бьют мне в голову, и в этом опьянении я не могу понять, где оканчивается ирония и начинается небо» (т. I, стр. 97). Эти последние слова прилагаются ко всей поэзии Гейне, и в этом постоянном отсутствии границы между иронией и небом, в этой невозможности отличить иронию от неба и положиться на искренность чувства заключается типический характер гейневской поэзии.

Благодаря этой особенности бо̀льшая часть произведений Гейне в целом оказываются совершенно непонятными, или, еще вернее, в них нет никакой целости. Каждое произведение Гейне не что иное, как цепь причудливых арабесков или гирлянда фантастических цветов, очень ярких, очень пестрых, очень разнообразных, но набросанных неизвестно для чего, рассыпанных без всякого общего плана и не имеющих между собою никакой связи. В предисловии к первому тому русского перевода г. Вейнберг высказывает следующие мысли: «Нам до сих пор случается встречать людей очень умных, развитых, но которые, будучи знакомы с Гейне только по тем переводам из него, которые существуют на русском языке, с каким-то странным изумлением смотрят на него и сами сознаются, что не понимают его, не понимают прелести, заключающейся в некоторых его произведениях. Это непонимание, как мы только что заметили, происходит от неполного знакомства с поэтом, с его своеобразною манерою, с его прихотливыми прыжками от одного предмета к другому, с его роскошною фантазиею; не говорим уже здесь о жгучем остроумии, которое и каждому непосвященному бросается в глаза» (т. I, стр. VII⟨—VIII⟩). Мне кажется, что с этим мнением невозможно согласиться. Если *непосвященные* выучат наизусть все произведения Гейне, с первого до последнего, — они все-таки останутся *непосвященными,* то есть не дороются ни до какого осязательного смысла, не вынесут никакого определенного впечатления и, наконец, убедятся только в том, что тут решительно нечего искать и что под этими цветочными иероглифами нет ничего похожего на скрытую мудрость или на таинственную глубину. Своеобразность манеры, прихотливость прыжков и роскошь фантазии — все это заметно с первого взгляда, все это бро-

сается в глаза каждому *непосвященному* наравне *с жгучим остроумием.* Но все это — и фантазия, и прыжки, и манера — относится только к *форме*, а не к *содержанию* поэтического произведения. Непосвященный видит очень хорошо, не хуже г. Вейнберга, *как* выражает Гейне, но *что* именно он выражает, *что* он хочет выразить и передать читателям, *какие* чувства и мысли рвутся наружу из его души, *какие* внутренние убеждения управляют его пером и заставляют его рисовать бессмысленно блестящие арабески — это остается тайною для непосвященного, это останется вечною тайною не только для непосвященного, но даже и для самого г. Вейнберга, и я осмеливаюсь думать, что ключа к этой тайне не было даже и у Гейне. Мне кажется, Гейне ясен для себя и для других только тогда, когда он обнаруживает свое *жгучее остроумие*, то есть когда он в качестве *храброго солдата* истребляет пронзительным смехом окружающие глупости и подлости. Когда же он обращается к более мирным занятиям, тогда он начинает небрежно и презрительно выкидывать из себя на бумагу какие-то клочки мыслей и чувств, которых он сам не понимает и которые, следовательно, навсегда останутся непонятными для его читателей. Я очень желал бы подтвердить мои слова наглядными и убедительными примерами, но сделать это очень трудно. Примеров существует очень много, и даже выбор не представляет никаких затруднений. Но вот в чем беда: чтобы доказать бессвязность и бесцельность произведений Гейне, надо рассказать их сюжеты; но бессвязность и бесцельность колоссальны до такой степени, что невозможно уловить никакого сюжета. Образы, восклицания, слезливые шутки, насмешливые вздохи, притворные слезы, эротические порывы мелькают и кружатся перед глазами, как снежинки во время метели. Разнообразие картин удивительное! Быстрота в смене впечатлений непостижима! Вы подавлены и ошеломлены пестротою красок. Вы принуждены сознаться, что автор обладает невероятною силою и подвижностью фантазии. Но зачем поднят весь этот ураган маленьких, пестреньких, недочувствованных чувств и недодуманных мыслей, к чему он клонится, что он хочет опрокинуть или построить — этого вы не будете понимать до тех пор, пока не преподаст вам своей таинственной мудрости какой-нибудь *посвященный,* в существовании и возможности которого я решительно сомневаюсь. Если такие посвященные действительно существуют и если до них дойдут когда-нибудь эти страницы, то я убедительно прошу их объяснить мне и другим недоумевающим профанам, каким образом возможно и следует понимать, например, известное произведение Гейне «Идеи. Книга Легран». Желая показать читателю, что без помощи мистагогов и иерофантов * нет возможности проникнуть в таинства этого произведения, которым

всякий развитой человек восхищается по заказу, — я постараюсь перечислить хоть малую долю тех странных картин, которые мелькают одна за другою в «Книге Легран».

В первой главе — комическая картина ада в виде огромной мещанской кухни. В аду слышится роковой напев песни о невыплаканной слезе, о той слезе, которой не выронила она, женщина, любимая поэтом, но не отвечающая ему взаимностью.

Во второй главе поэт, он же и граф Гангесский, хочет застрелиться, покупает себе пистолет, отправляется с ним завтракать в трактире и видит в стакане рейнвейна ост-индские пейзажи. Потом, выйдя на улицу, он встречается с хорошенькою женщиною, которая своим взглядом заставляет его остаться в живых.

В третьей главе поэт выражает свою радость и свою любовь к жизни.

В четвертой главе поэт представляет себе, как он на старости лет схватит арфу и споет молодым людям песню *про цветы Бренты.*

В пятой главе: «Сударыня, я обманул вас! Я не граф Гангесский!» Оказывается, что поэт родился на берегах Рейна. Потом являются три девушки: Гертруда, Катарина и Гедвига, и тетка их Иоганна. Все они только являются и ровно ничего не делают. В этой же главе г. Вейнберг показывает ясно, что он не принадлежит к числу *посвященных* и вряд ли может исправлять должность мистагога. «При прощании, — говорит Гейне, — она (Иоганна) подала мне обе руки — белые, милые руки — и сказала: «Ты очень добр, а когда ты сделаешься злым, то думай снова о маленькой умершей Веронике» (т. I, стр. 165). К этим словам г. Вейнберг присоединяет следующее подстрочное замечание: «Вероника — какое-то загадочное существо, о котором Гейне упоминает несколько раз с какою-то особенною грустью. Надо предположить, что это была женщина, которую он сильнее всех любил». Такое примечание мог бы, пожалуй, сделать и всякий *непосвященный.* Предположение совершенно произвольное, и неизвестно, почему оно прицеплено к имени Вероники, а не к какому-нибудь из многих других женских имен, которые Гейне поминает также со вздохами и причитаниями такой же точно сентиментальной искренности. Г. Вейнберг мог бы, например, с бо́льшим удобством сказать то же самое о Марии, которую Гейне во второй части «Путевых картин» вспоминает очень часто, постоянно называя ее *умершею* или *мертвою*, постоянно окружая ее имя ореолом загадочности, постоянно напуская на себя по этому случаю колорит интересной элегической томности, сквозь которую просвечивает вечная насмешливая улыбка, и ежеминутно намекая читателю на какие-то очень

таинственные, никому не известные и нисколько не замечательные события, которых он все-таки не рассказывает и которые, по всей вероятости, никогда ни с кем не случались. Вообще надо обладать огромным запасом доверчивости и добродушия, чтобы принимать женские имена, рассыпанные по книгам Гейне, за имена действительно существовавших женщин, — или чтобы видеть в тех любовных руладах и фиоритурах, которыми забавляется Гейне, намеки на радости и огорчения, действительно пережитые самим поэтом. Мне кажется, что все это — чистейшая фантасмагория, вызванная великим виртуозом единственно для того, чтобы насладиться собственным волшебным могуществом, собственною необыкновенною способностью творить из ничего и разрушать в одну секунду самые яркие образы.

В шестой главе — воспоминания детства и превосходный рассказ о том, как курфирст выехал из Дюссельдорфа и как вошли в город французские войска.

В седьмой главе — юмористические подробности о школьном учении. Тут появляется барабанщик Легран, и Гейне рассказывает очень остроумно, каким образом этот Легран объяснял ему посредством барабанного боя смысл новейшей истории. Тут Гейне выходит на политическую тропинку и поэтому становится, разумеется, великолепен. Но уже в конце этой главы Гейне, как достойный ученик наполеоновского барабанщика, падает на колени перед великим императором.

Этими коленопреклонениями наполнены восьмая и девятая глава. «И святая Елена, — говорит Гейне в IX главе, — сделается священным местом, куда народы Запада и Востока будут стекаться на поклонение на судах, изукрашенных флагами, — и сердца их окрепнут великим воспоминанием о деяниях великого человека, пострадавшего при Гудсон Ло, как сказано в писании Лас-Каза, Омеары и Антомарки» * (т. I, стр. 192). Как вам нравится это пророчество новой религии — наполеонианства? Впрочем, благоговение Гейне перед *великим императором* составляет такой интересный патологический феномен, что я буду говорит о нем ниже очень подробно.

В десятой главе барабанщик Легран, воплощенная скорбь великой армии о великом императоре, умирает, и Гейне, угадавши его последнее желание, прокалывает его барабан, чтобы он не был *«рабским инструментом в руках врагов свободы»*. — Из этих последних глав читатель узнает, что великий император был другом свободы и что барабаны его армии спасали Европу от рабства.

XI глава начинается словами: «Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas, madame!» («От великого до смешного — один шаг, сударыня!»). Эта истина доказывается тем, что когда Гейне оканчивает главу о смерти Леграна, тогда при-

шла старуха и попросила Гейне как доктора вырезать ее мужу мозоли. *Смешное* состоит в том, что старуха приняла доктора прав за медика. Что же касается до *великого,* то его надо искать в рассказе о смерти Леграна; чтобы найти это *великое,* надо непременно обратиться к помощи иерофантов и мистагогов.

В XII главе написаны слова «немецкие цензоры» и затем десять строк точек. Переход от смешного и от глупой старухи к немецким цензорам не может никому показаться удивительным и резким.

В XIII главе — очень остроумные насмешки над немецким педантизмом и над ученой страстью к бестолковым цитатам.

Главы XIV и XV рассуждают о дураках и отличаются неподражаемым остроумием. «Я живу в том же городе, — говорит Гейне, — и могу сказать, что ощущаю истинное удовольствие, когда подумаю, что всех дураков, которых я вижу, я могу употребить для своих сочинений: это чистые наличные деньги. Теперь у меня обильная жатва: бог благословил меня, дураки отлично уродились в этом году, и я, как хороший хозяин, потребляю их в небольшом числе, отбираю самых лучших и откладываю на будущее время. Меня очень часто можно встретить теперь на гулянье — радостного и веселого. Как богатый купец, потирая от удовольствия руки, ходит между ящиками, бочками и тюками своих товаров, так я прохаживаюсь посреди моего народа. Все вы мне принадлежите, все вы мне одинаково дороги, и я люблю вас, как вы сами любите свои деньги, — а это много значит» (т. I, стр. 216 и 217). По этому отрывку вы можете судить об оригинальности и дерзкой веселости этих двух глав.

В XVI главе появляется милая подруга с коричневою собакою. Гейне вместе с коричневою собакою сидит у ног милой подруги, смотрит ей в глаза, целует ее руки и рассказывает ей о маленькой Веронике. Что он рассказывает ей — неизвестно.

В XVII главе продолжаются сладостные подробности о милой подруге.

В XVIII главе мы узнаем, что «грудь рыцаря была полна тьмою и скорбью». У рыцаря происходит свидание с синьорою Лаурою на берегах Бренты, и «таинственно-темный покров лежит над этим часом». — При этом читателю, по обыкновению предоставляется понимать как угодно или даже совсем не понимать эту таинственную темную главу, заключающую в себе всего полторы странички.

В XIX главе — опять подруга с коричневою собакой, опять Вероника, растрогавшая г. Вейнберга, опять ост-индские пейзажи, хотя уже было объяснено, что Гейне — не граф Гангес-

ский, и, наконец, желтые пеньковые панталоны, повредившие молодому человеку во время любовного объяснения. Словом, ряд иероглифов-ребусов.

В XX главе — что-то такое о страдании и о том, что молодой человек хотел застрелиться. Этою главою оканчивается «Книга Легран».

III

Подведем итоги. Из 20 глав только пять — VI, VII, XIII, XIV и XV — удобопонятны и замечательны по своему остроумию. Затем три главы — VIII, IX и X — славословят Наполеона; одна глава — XI — повествует о глупой старухе; одна глава — XII — состоит из точек, и, наконец, десять глав не заключают в себе ничего, кроме неясных намеков на какие-то чувства, которые испытал или о которых фантазировал поэт. Конечно, никто не запрещает поэту делиться с публикою своими чувствами или фантазиями; это даже прямая обязанность поэта; но во всяком случае публика имеет право желать, чтобы с нею говорили удобопонятным языком, чтобы все слова и образы, употребленные поэтом, имели какой-нибудь ясный и определенный смысл, чтобы поэт не задавал ей неразрешимых загадок и не превращал своих произведений в длинную и утомительную мистификацию. Что такое *цветы Бренты*, что такое *Вероника*, что такое *невыплаканная слеза*, что такое *граф Гангесский* и какой общий смысл выходит из всех этих таинственных незнакомцев — все это такие вопросы, на которые читатель имеет полное право требовать себе ответа, и если он этого ответа не получает, то имеет полное право подумать и сказать, что поэт шутит с ним очень плоские шутки.

Было бы очень наивно думать, что в «Книге Легран» есть и общий смысл и великая цель, но что эта цель и этот смысл запрятаны в ней чересчур глубоко и вследствие этого могут быть отысканы и постигнуты только особенно развитыми и сведущими читателями. Ни цели, ни смысла в ней нет. Такою же точно бесцельностью, бессвязностью отличаются и все прочие сочинения Гейне, если брать и рассматривать каждое произведение в целом, а не по частям. Рассмотрите каждое произведение Гейне так, как я рассмотрел «Книгу Легран», и вы поневоле признаете верность моего непочтительного приговора.

Было бы также в высшей степени наивно думать, что бессвязность, бесцельность и бессмысленность могут когда-нибудь и при каких бы то ни было условиях превратиться в достоинства. Есть, конечно, любители, способные восхищаться этими уродливыми особенностями гейневской поэзии; есть

даже простофили, желающие прививать эти уродливые особенности к ничтожным выкидышам своей собственной музы. Но те люди, которых ум не поврежден раболепными отношениями к авторитетам и не вертится, как флюгер, сообразно со всеми капризами эстетической моды, будут говорить постоянно, что стройность, цельность и целесообразность составляют необходимые качества каждого замечательного произведения, к какой бы отрасли науки и литературы оно ни принадлежало. Безалаберность всегда и везде останется крупным недостатком.

Но, с другой стороны, для человека, сколько-нибудь способного понимать и чувствовать, нет ни малейшей возможности отрицать чарующую прелесть гейневской поэзии. Прелесть эта состоит, конечно, не в безалаберности, не в своеобразной манере, не в прихотливых прыжках, словом, совсем не в том блистательном юродстве, которое, по мнению поверхностных ценителей, образует всю настоящую сущность и весь букет этого небывалого и невиданного литературного явления. Прелесть эта освещает и согревает туманы безалаберности, она заставляет нас забывать и прощать все: и нелепость манеры, и безобразия обезьяньих прыжков; она заставляет нас читать с удовольствием то, в чем нет никакого человеческого смысла; но она сама, эта загадочная прелесть, выходит из гораздо более глубоких источников, не имеющих ничего общего с достоинствами или недостатками отдельных поэтических произведений. Прелесть эта заключается в неотразимом обаянии той сильной, богатой, нежной, страстной, знойной, кипучей и пылающей личности, которая смотрит на вас во все глаза из-за каждой строки, как бы ни была эта строка ничтожна или безумна. Что-то дышит, что-то волнуется, что-то смеется и плачет, что-то томится и кипит во всех этих хаотических образах, во всей этой дикой гармонии шальных и разбросанных слов.

Перед вами стоит живописец. На палитре его горят краски невиданной яркости. Он взмахнул кистью, и через две минуты вам улыбается с полотна или даже просто со стены прелестная женская физиономия. Еще две минуты, и вместо этой физиономии на вас смотрят демонически-страстные глаза безобразного сатира; еще несколько ударов кисти, и сатир превратился в развесистое дерево; потом пропало дерево, и явилась фарфоровая башня, а под ней китаец на каком-то фантастическом драконе; потом все замазано черной краской, и сам художник оглядывается и смотрит на вас с презрительно-грустною улыбкою. Вы глубоко поражены этой волшебно-быстрой сменой прелестнейших картин, которые взаимно истребили друг друга и от которых не осталось ничего, кроме безобразного черного пятна. Вы спрашиваете

у художника с почтительным недоумением, зачем он губит свои собственные великолепные создания и зачем он, при своем невероятном таланте, играет и шалит красками, вместо того чтобы приняться за большую и прочную работу.

— Нечего работать, — отвечает вам художник.

Вы этого ответа не понимаете и просите дальнейших объяснений.

— Нет сюжетов, — поясняет художник.

Изумление ваше увеличивается, и вы скромно возражаете, что сюжетов везде и всегда можно найти бесчисленное множество.

Улыбка художника становится еще презрительнее и еще грустнее.

— Сюжетом, — говорит он, язвительно отчеканивая каждое слово, — я называю такую мысль, которая овладевает всем моим существом и не дает мне покоя ни днем, ни ночью до тех пор, пока я не вырву ее из себя и не прикую ее к полотну. Таких сюжетов я не вижу и не чувствую в окружающей меня атмосфере.

— Но ведь были же у вас мысли, — говорите вы, — когда вы сейчас набрасывали одну картину за другою, или, вернее, одну картину на другую.

— Это не мысли, — отвечает художник, — это мимолетные настроения. Вы сами видели, как они рождались и как исчезали. Такими мыльными пузырями, как эти настроения, можно только удивлять и забавлять глупых ребятишек вроде вашей милости.

Вы обижены и прекращаете этот щекотливый разговор.

Я взял тут живописца единственно для того, чтобы мысль моя выразилась как можно нагляднее. Действуя в области такого искусства, которое по своим средствам неизмеримо богаче и по своему влиянию на общество неизмеримо сильнее живописи, Гейне, подобно моему фантастическому живописцу, не находит себе сюжетов и вследствие этого постоянно шалит и играет, вместо того чтобы творить. Играми и шалостями наполнена вся его жизнь, но можно сказать наверное, что он с радостью отдал бы половину этой жизни, лишь бы только какая-нибудь высшая сила дала ему возможность бросить поэтические шалости и посвятить остальную половину жизни серьезным и великим подвигам творчества. Грациозное бездельничанье мучительно и невыносимо для такого титана, который чувствует себя способным взбросить Пелион на Оссу * и вступить в крупный разговор со всеми обитателями Олимпа. Во время своих хронических шалостей Гейне небрежно роняет на пол свои жгучие сарказмы, которые возбуждают в окружающих людях чувства ужаса или восторга; но эти сарказмы могут только служить образчиками титанической

силы и не дают никакого приблизительного понятия о тех колоссальных подвигах, которые совершил бы этот титан, если бы ему удалось найти сюжет и взяться за работу, способную овладеть всем его существом. Но сюжет не нашелся, и титан умер, не совершивши ничего такого, что было бы вполне достойно его собственных сил. Титан не виноват. Если он не нашел сюжета, то, значит, сюжета действительно и не было, по крайней мере для него, для титана. — Лень было искать, — скажете вы, — оттого и не нашел. — Ошибаетесь, — отвечу я. Титану нужен великий сюжет, а такой сюжет — не иголка. Он не прячется от людей и не заставляет себя искать днем с огнем; такой сюжет сам дерзко и нахально лезет людям в глаза, поражает их воображение, разнуздывает их страсти и возбуждает вокруг себя ожесточенную борьбу, которая, начавшись в области мысли, быстро захватывает и наполняет сферу реальной жизни. Только такой мировой сюжет способен зажечь в груди титана тот великий пожар, от которого полетят во все стороны, как блестящие искры, гениальные произведения. У Гейне такого сюжета не было и не могло быть.

Чтобы подкрепить это мнение прочными доказательствами, надо сначала окинуть общим взглядом главные отрасли титанической деятельности, а потом объяснить смысл той исторической эпохи, которая произвела и воспитала поэзию Гейне.

IV

Титаны бывают разных сортов.

Одни из них живут и творят в высших областях чистого и бесстрастного мышления. Они подмечают связь между явлениями, из множества отдельных наблюдений они выводят общие законы; они вырывают у природы одну тайну за другою; они прокладывают человеческой мысли новые дороги; они делают те открытия, от которых перевертывается вверх дном все наше миросозерцание, а вслед за тем и вся наша общественная жизнь. Их открытия дают оружие для борьбы с природою сотням крупных и мелких изобретателей, которым наша промышленность обязана всем своим могуществом. Это — Атласы, на плечах которых лежит все небо нашей цивилизации (премилое небо, не правда ли?). Но, подобно Атласу, эти *титаны мысли* покрыты вечным снегом. Они ищут только истины. Им некогда и некого любить; они живут в вечном одиночестве. Их мысли хватают так высоко и так далеко, их труды так сложны и так громадны, что они, во время своей многолетней работы, ни в ком не могут встретить себе сочувствия и понимания и ни с кем не могут

поделиться своими надеждами, радостями, тревогами или опасениями. Их начинают понимать и боготворить тогда, когда цель достигнута и результат получен. Но и тогда между ими и массою остается длинный ряд посредников и толкователей. Только при содействии этих второстепенных и третьестепенных деятелей масса получает кое-какое слабое и смутное понятие о том, что выработалось в громадных черепах этих Давалагири и Гумалари нашей породы. Чистейшим представителем этого типа может служить Ньютон.

Другой тип можно назвать *титанами любви*. Эти люди живут и действуют в самом бешеном водовороте человеческих страстей. Они стоят во главе всех великих народных движений, религиозных и социальных. Несмотря ни на какие зловещие уроки прошедшего, несмотря на кровавые поражения и мучительную расплату, люди такого закала из века в век благословляют своих ближних бороться, страдать и умирать за право жить на белом свете, сохраняя в полной неприкосновенности святыню собственного убеждения и величие человеческого достоинства. Гальванизируя и увлекая массу, титан идет впереди всех и, с вдохновенною улыбкою на устах, первый кладет голову за то великое дело, которого до сих пор еще не выиграло человечество. Титаны этого разбора почти никогда не опираются ни на обширные фактические знания, ни на ясность и твердость логического мышления, ни на житейскую опытность и сообразительность. Их сила заключается только в их необыкновенной чуткости ко всем человеческим страданиям и в слепой стремительности их страстного порыва. В былое время, впрочем еще не очень давно, они искали себе точку опоры в бездонном пространстве голубого эфира, потом они стали верить в какую-то отвлеченную справедливость, которая уже давно собирается восторжествовать над земными гадостями и наконец, по мнению добродушных титанов любви, должна когда-нибудь приступить к выполнению своего давнишнего замысла. Впрочем, с тех пор как изобретено книгопечатание и усовершенствована во всей Европе сельская и городская полиция, титаны любви во многих отношениях изменились к лучшему. Им теперь уже нельзя и незачем проповедовать на открытом воздухе, где голубой эфир рассказывает всякому желающему заманчивые сказки о всевозможных точках опоры для всевозможных воздушных замков. Им нельзя увлекать слушателей восклицаниями и телодвижениями. Им пришлось взяться за перо. Они превратились в кабинетных работников и поневоле должны были познакомиться с великими трудами титанов мысли. Это сближение между двумя главными областями человеческого титанизма, это слияние деятельной любви и трезвой науки заклю-

чает в себе единственные возможные задатки будущего обновления.

Третью и последнюю категорию можно назвать *титанами воображения*. Эти люди не делают ни открытий, ни переворотов. Они только схватывают и облекают в поразительно яркие формы те идеи и страсти, которые воодушевляют и волнуют их современников. Но идеи должны быть выработаны и страсти предварительно возбуждены другими деятелями — титанами двух высших категорий. Материалом может служить для титанов воображения только то, что люди знают, и то, чего они хотят. Само собою разумеется, что не все человеческие знания с одинаковым удобством облекаются в яркие и блестящие формы; никакому титану не придет в голову дикая и смешная мысль писать поэму о спутниках Юпитера, или о скрытом теплороде, или о произвольном зарождении. Для поэмы годится только та часть человеческих знаний, которая глубоко затрогивает человеческие страсти, и притом не только страсти одних специалистов, способных даже горячиться и ссориться из-за спутников Юпитера, но страсти всех людей, имеющих возможность познакомиться с данным вопросом. Такими вечно жгучими знаниями могут быть только знания человека о междучеловеческих отношениях. В этой же области междучеловеческих отношений разыгрываются также и все серьезные и упорные человеческие желания, все те желания, которыми характеризуются и отличаются друг от друга различные исторические эпохи. Значит, титаны воображения располагают богатым запасом материала тогда, когда социальные знания и понятия людей отличаются большою определенностью и когда желания или стремления очень ясно обозначены, очень сильны, настойчивы и решительны. Напротив того, когда люди сомневаются в состоятельности своих знаний и в то же время не умеют отдать себе ясный отчет в своих собственных желаниях, когда им противно прошедшее и когда они плохо верят в лучшее будущее, тогда титаны воображения сидят без сюжетов и от нечего делать шалят и играют красками, звуками, словами и образами.

Великое несчастие титана Гейне состоит вовсе не в том, что какой-нибудь Меттерних или какой-нибудь союзный сейм * мешали ему откровенно объясняться с немецкою публикою. Это несчастие состоит даже и не в том, что сама немецкая публика отличалась поразительным тупоумием и во всякую данную минуту была готова и способна облизать ноги своим злейшим врагам, разорвать на части своих лучших и бескорыстнейших друзей и подарить миру из своих собственных недр тысячи новых Меттернихов и тысячи новых союзных сеймов; когда человеку мешает работать грубая

материальная сила, — это, конечно, очень неприятно. Когда человека не понимает то общество, которому он отдает кровь своего сердца и сок своих нервов, — это еще более неприятно, это даже очень больно, обидно и досадно.

Но все это такие препятствия, которые могут и должны быть побеждены сильным напряжением ума и воли. При всех этих препятствиях настоящий источник мужественной энергии и боевого задора остается нетронутым и незасоренным. Против материальной силы можно действовать хитростью. Инквизиторскую проницательность меттерниховских ищеек можно всегда обманывать неистощимым запасом тех уловок, изворотов, цветистых образов и иронических двусмысленностей, которые постоянно находятся под руками каждого даровитого писателя и которые придают искусно затаенной мысли особенную шаловливую прелесть и раздражающую пикантность. Нет той гремучей змеи, которую нельзя было бы опрятно и грациозно уложить в невиннейшую и грациознейшую корзинку, наполненную самыми великолепными и душистыми цветами. И в этой борьбе между меттерниховской ищейкой и даровитым писателем победа непременно должна склоняться на сторону последнего, потому что ищейка действует по обязанности службы, а писатель повинуется повелительному голосу всепоглощающей страсти.

Равнодушие и непонимание публики — это также не бог знает какое неодолимое препятствие. Если бы это равнодушие и непонимание простиралось на всю литературу без малейшего исключения, то есть если бы публика не обнаруживала никакой охоты к чтению и не имела бы никакого понятия об умственных наслаждениях, — тогда препятствие было бы действительно очень серьезно и далеко превышало бы силы не только одного даровитого писателя, но даже и целого поколения даровитых писателей. Но когда занятия текущею литературою сделались насущною потребностью для того общества, которое считает и называет себя образованным, тогда даровитому писателю уже вовсе не трудно сформировать себе в самое короткое время понимающих и страстно внимательных читателей. Если общество равнодушно к политике и не понимает современной истории, то, по всей вероятности, оно не равнодушно к театру и превосходно понимает микроскопические красоты лирического пустословия и романического селадонства. Чем равнодушнее становится общество к великим жизненным идеям, тем страстнее оно привязывается к прекрасным формам, которых понимание, впрочем, также извращается и мельчает под влиянием общего умственного оцепенения. В Европе так бывало всегда. Эпохи политического застоя и отупения были всегда золотыми годами для чистого искусства, которое быстро овладе-

вало всеми умственными силами общества и потом немедленно вырождалось и доходило до последних пределов вычурности и уродливой аффектации. Если титан воображения хочет при таких условиях овладеть вниманием общества, то ему стоит только воспользоваться теми формами, которые нравятся его современникам, отчистить, отполировать эти формы, навести на них новый, волшебно-ослепительный блеск и потом влить в них то живое содержание, которое было вытеснено из жизни и из литературы тяжелыми годами невольной умственной неподвижности. Современники накинутся сначала на ослепительную форму, сияющую пуще всякого медного таза, но процесс мышления, направленного на ближайшие и важнейшие интересы и вопросы жизни, обладает всегда и для всех такою неотразимою, такою раздражительною и затягивающею прелестью, что ядро ореха очень скоро будет вынуто из шелухи и что шумные споры о красотах и недостатках оболочки уступят место гораздо более ожесточенным прениям о питательности или ядовитости содержания. Пробуждение притупленного и деморализованного общества начинается обыкновенно с очищения его эстетических понятий, совсем не потому, что эти понятия важнее всех остальных, а потому, что деморализованное и притупленное общество только с этой стороны оказывается доступным для вразумлений. Эту сторону слабее караулят официальные аргусы, любители тупости и безнравственности; кроме того, сама публика только с одной этой стороны сохраняет способность видеть, слышать, чувствовать, понимать, интересоваться и увлекаться. Руководствуясь тем инстинктом, которым обладают титаны, Лессинг — в Германии и Белинский — в России — начали обновление общества со стороны его эстетических понятий, которые, при дальнейшем развитии умственного движения, должны были отодвинуться на самый задний план. Гейне также очень ловко умел бороться с равнодушием публики и побеждать ее непонимание. Как Лессинг и Белинский сами делались на всю жизнь эстетиками для того, чтобы положить конец неограниченному господству эстетики, так точно Гейне, осмеивая и убивая бессодержательный романтизм, пользовался в течение всей своей жизни романтическими формами, которых причудливая и необузданная дикость очаровывала его современников.

Стало быть, великое несчастие Гейне заключалось не в умственной убогости немецкой публики.

Настоящее, роковое несчастие, гораздо более неотразимое, чем Меттерних и филистерство, состояло в том, что сама соль земли находилась в недоумении и не знала наверное, что и как солить. Лучшие люди, самые умные, самые честные и самые страстные, искали вокруг себя и внутри себя твердую

точку опоры и не могли ее найти. Их мучило безверие в самом обширном и глубоком значении этого слова. Они не знали, на что надеяться и чего желать. В этом отношении лучшие люди первой половины XIX века были гораздо несчастнее своих предшественников и своих преемников. Предшественники верили в политический переворот; преемники верят в экономическое обновление; а посредине лежит темная трущоба, наполненная разочарованием, сомнением и смутно-беспокойными тревогами; и в самом центре этой темной трущобы сидит самый блестящий и самый несчастный ее представитель — Генрих Гейне, который весь составлен из внутренних разладов и непримиримых противоречий.

V

Передовые мыслители XVIII века были глубоко убеждены в том, что хорошее правительство может, в самое короткое время, поставить любой народ на высшую ступеньку цивилизации и блаженства. Мудрый законодатель и золотой век — это, по их мнению, были два понятия, неразрывно связанные между собою, как причина и следствие. Задача человечества представлялась в самом простом и элементарном виде: обезоружь тиранов, посади мудрецов в государственный совет и потом блаженствуй. Если ты хочешь упрочить свое блаженство на вечные времена, то наблюдай только за тем, чтобы мудрецы не глупели и не лукавили. Чуть заметил недосмотр или фальшь, сейчас отставляй мудреца от должности, замещай его новым благодетелем и будь уверен, что блаженству твоему не предвидится конца. Те люди, которые веруют в конституцию как в универсальное лекарство, рассуждают именно таким образом, потому что всевозможные конституционные гарантии и уравновешивания клонятся исключительно к тому, чтобы регулировать смещение мудрецов, пришедших в негодность, и выбор новых мудрецов, долженствующих занять их место. Откуда взялось это заблуждение, обольстившее XVIII век и не совсем утратившее свою силу до настоящего времени, — понять не трудно. Дело в том, что дурное правительство действительно может причинить народу необъятную массу разнообразного зла. Если бы дурному правительству, вроде турецкого или персидского, удалось при помощи вооруженной силы утвердиться в роскошной стране, населенной деятельным и даровитым народом, и если бы это дурное правительство успело задушить все взрывы народного негодования, то через несколько десятилетий страна превратилась бы в пустыню, и остатки народа сделались бы толпою нищих, идиотов и негодяев. Такое разрушение народ-

ного богатства, народных сил и народного ума производилось перед глазами тех мыслителей, которых работы положили свою печать на все умственное движение прошлого столетия. Дурное правительство Людовика XIV, Филиппа Орлеанского и Людовика XV превращало Францию в пустыню, а французов в нищих, которым были одинаково сподручны идиотизм, негодяйство и голодная смерть. Мыслители могли проследить шаг за шагом все развитие зла; они могли доказать самым осязательным образом, что все это зло сделано дурным правительством. Они видели собственными глазами, как колоссально может быть влияние правительства в дурную сторону; они умозаключали совершенно справедливо, что народ испытал бы значительное облегчение, если бы правительство, на будущее время, просто и скромно стало воздерживаться от грубых ошибок и от слишком скандалезного озорства. Но тут уже трудно было остановиться вовремя на пути умозаключений. Тут сейчас подвертывалась та, по-видимому, несомненно истинная мысль, что если правительство может все погубить, то оно может также все спасти, воссоздать, исправить, обновить и довести до высшей степени совершенства.

Итак, в XVIII веке дело шло о том, чтобы вручить правление искренним друзьям и достойным представителям народа. Такой опыт был произведен во Франции и окончился неудачею. Неудачею не в том смысле, что революция не принесла Франции никакой пользы, а только в том смысле, что результат не соответствовал наивно преувеличенным ожиданиям народа и его вождей. Феодализм был вырван с корнем; поземельная собственность распределилась равномернее. Вместо тысячи местных обычаев выработан один общий кодекс гражданских и уголовных законов, одинаково обязательных для герцога и для мужика; наследственное чиновничество уничтожено; старое, дорогое и запутанное судопроизводство заменено новым, гораздо более рациональным, быстрым и дешевым. Словом, великое множество авгиасовых стойл, не чищенных со времен Гуго Капета, снесено прочь до основания. В числе этих стойл цехи заслуживают самого почетного упоминания. Вообще в одно десятилетие был сделан невероятно громадный и совершенно бесповоротный шаг вперед, которого потом не могла затушевать самая бешеная реакция. Восстановить цехи, внутренние таможни, местные обычаи, церковную десятину, помещичьи права, — шалишь! Об этом не осмеливалась заикнуться даже *Chambre introuvable* * того толстого Людовика, который, наперекор всем историческим фактам, упорно называл себя XVIII-м. Это значило бы буквально искать вчерашнего дня или прошлогоднего снега. Но золотой век все-таки не наступил, а надежды были так неудержимо размашисты и так сильно возбуждены,

что уже одно это обстоятельство, одно это ненаступление золотого века повело за собою великое, долговременное и мучительное разочарование.

В это время, под влиянием разочарования и реакции, в Европе распустился чахлый и бледный цветок либерализма. Надежды наши разбиты, думали искренние либералы, потому что эти надежды вообще были неосуществимы. Золотой век всеобщего довольства и ненарушимого братолюбия не наступит никогда. Мечтать нам бесполезно. Стремиться к нему безумно и преступно. Земля слишком мала и бедна. Люди слишком многочисленны. Страсти их слишком пылки и разнообразны. Вечная борьба между людьми неизбежна. Поэтому надо заботиться только о том, чтобы борьба всегда и везде решалась личными достоинствами, а не прерогативами рождения. Надо твердо стоять на той почве, которую расчистили для нас великие принципы 1789 года. С одной стороны, надо отстаивать приобретения великого переворота против отвратительных замыслов реакционеров, мечтающих о восстановлении феодализма; с другой — надо держать в ежовых рукавицах тех сумасбродов, которые, считая себя законными преемниками тех великих деятелей, стараются увлечь общество в бездну анархии, разорения и варварства. Так рассуждали либералы, и по этой программе располагались все их действия.

Искренние либералы, желавшие доставить народу счастье, но считавшие это счастье недостижимым для масс, составляли незначительное меньшинство. Настоящая боевая армия либерализма состояла из таких людей, которые жадно собирали плоды великого переворота и нисколько не желали, чтобы число счастливых собирателей увеличилось. На развалинах старого феодализма утвердилась новая плутократия, и бароны финансового мира, банкиры, негоцианты, коммерсанты, фабриканты и всякие *надуванты* вовсе не были расположены делиться с народом выгодами своего положения. Слово *плутократия* происходит от греческого слова *плутос,* которое значит *богатство.* Плутократиею называется господство капитала. Но если читатель, увлекаясь обольстительным созвучием, захочет производить *плутократию* от русского слова *плут,* то смелая догадка будет неверна только в этимологическом отношении.

Бароны финансового мира образовали новый класс привилегированных особ и, прикрываясь великими принципами 1789 года, стали защищать только свои собственные привилегии. Те искренние друзья народа, которым пришлось жить и действовать в первой половине текущего столетия, очутились таким образом в компании самого сомнительного достоинства.

Рыхлая и бессвязная политическая партия, составленная из близоруких лавочников, честолюбивых шарлатанов, уклончивых юристов и немногих искренних, но глубоко разочарованных друзей народа, могла иметь некоторый смысл и кое-какую энергию только тогда, когда надо было осаживать и обуздывать шальных реакционеров, потерявших на старости лет последние остатки здравого человеческого рассудка. Император Франц, князь Меттерних, союзный сейм, герцог Веллингтон, маркиз Лондондерри, *Chambre introuvable,* Карл X, иезуиты и пиетисты были настоящим и неоцененным сокровищем для комически несчастной партии либералов. В самом деле, чем бы эти несчастные либералы стали наполнять свои досуги, чем могли бы они заработать себе европейскую знаменитость, какими терновыми венцами могли бы они избороздить свои интересно-бледные лбы, — если бы великодушные реакционеры не доставляли им обильных случаев оппонировать и будировать, ужасаться и хныкать, горячиться и доказывать торжественно, что дважды два — четыре и что мужик не любит платить десятину? Как только пылкие обожатели средневекового порядка вымерли или перестали быть опасными, как только либеральная партия одержала победу над своими благодетелями, так тотчас же либеральная партия расползлась на свои составные части. Честные и умные люди отшатнулись от нее прочь; а легион пройдох и торгашей, осененный знаменем *великих принципов,* стал представлять такое уморительное зрелище, что обнаружилась настоятельная необходимость свернуть и спрятать тихим манером компрометирующее знамя и выставить новый штандартик, на котором, вместо крикливых слов *«братство, равенство, свобода!»* было написано приглашение не воровать носовых платков и не ломать мостовую. Либералы очень горячо и настойчиво добивались свободы печати, но свобода печати была им необходима только для того, чтобы доказывать ежедневно, что дважды два — четыре, что бережливость есть мать всех миллионов и всех добродетелей, что силою ума и характера поденщик может сделаться банкиром и пэром Франции, что евреи имеют основательные причины считать себя людьми и что папе было бы очень полезно познакомиться с системою Коперника, открыть свои объятия всему человечеству и записаться в ряды просвещенных и умеренных либералов. Когда же свободная печать начала знакомить мир с новыми истинами, опасными для финансового феодализма, тогда либералы первые закричали «караул!» и выдумали новое слово *licence*[1] для обозначения печатных

[1] Распущенность *(франц.)*. — *Ред.*

ужасов, от которых надо укрываться под защиту городского сержанта.

Барышники знали, чего хотели. Они были очень довольны собою и своею политикою. Внутренние противоречия их не смущали. Они говорили, что жизнь — не математика и что непоколебимая верность основной идее так же невозможна в жизни, как невозможен в природе математический маятник. Этим людям было хорошо, тепло и весело. Смотря по требованиям данной минуты, они то отвергали принцип, допуская в то же время его последствия, то отвергали последствия, допуская принцип.

Так, например, в первой четверти нашего столетия многие английские лорды пожелали увеличить доходность своих владений и с этою целью нашли удобным превратить пахотные земли в пастбища, на которых должны воспитываться феноменально жирные и прекрасные быки и бараны. Когда окончился срок заключенным контрактам, тогда владельцы предложили фермерам уходить на все четыре стороны и вслед за тем немедленно приказали разрушить те усадебные строения, в которых эти люди родились, выросли, быть может даже состарились и надеялись умереть. Тысячи семейств оказались без приюта, старики и дети умирали от истощения сил; женщины разрешались от бремени в открытом поле; словом, происходили такие странные сцены, которые, по-видимому, были уместны и позволительны только во время нашествия неприятеля. Либеральная европейская пресса ударила в набат. Вот, мол, они каковы — эти олигархи, эти феодалы, эти варвары и кровопийцы!

Все эти либеральные завывания можно было приостановить одним простым вопросом: земля чья?

— Земля господская.

— Так чего же вы беснуетесь?

— Но эти несчастные фермеры! Куда же они пойдут?

— Куда угодно. В рабочий дом, в тюрьму, в Ирландский канал, в Немецкое море, в ближайший пруд, на виселицу, к черту на кулички или в какое-нибудь другое злачное и приятное место. Лорды не имеют права и, как добрые граждане, уважающие законы своего отечества, даже не желают стеснять своих бывших фермеров в выборе новой резиденции.

— Это ужас, это убийство!

— Неправда! Это логика!

Вы, господа либералы, учились римскому праву. Вы называете его *писаным разумом* (la raison écrite). Вам должно быть известно, что право собственности есть *jus utendi et abutendi* (право пользоваться и злоупотреблять). Желая получать с своей земли возможно бо́льшие доходы, лорд только

пользуется этою землею, а не злоупотребляет. Значит, он не только не выступает из должных границ своего неотъемлемого и священного права, но даже далеко не доходит до тех границ, которые очерчены вокруг него вашим *писаным разумом*. Из-за чего же вы лезете на стену, когда все в обществе обстоит благополучно и когда спокойно и торжественно развертываются прямые и законные последствия той идеи, перед которой вы стоите на коленях? Если же римское определение кажется вам неудобным, попробуйте сочинить новое. Но при этом будьте осторожны. Вы рискуете поднять из свежей могилы труп обезглавленного Бабефа. Вы рискуете вызвать из глубины далекого прошедшего великие тени Кая и Тиверия Гракхов. Вы рискуете потревожить грозный призрак аграрных законов.

Много таких потоков красноречия можно было бы направить против европейских либералов, осуждавших энергические хозяйственные распоряжения английских землевладельцев. Но все эти потоки пропали бы даром, потому что либералы решительно ничем не рисковали. Опасность угрожала бы им только в том случае, если бы они хоть сколько-нибудь уважали логику. Для человека последовательного изменить римское определение собственности значит перестроить сверху все здание междучеловеческих отношений. Для просвещенного либерала это значит внести в книгу законов лишнюю ограничительную закорючку, способную порождать ежегодно две-три сотни лишних процессов.

Когда благоухания какого-нибудь авгиасова стойла доводят просвещенного и чувствительного либерала до тошноты или до обморока, тогда либерал, очнувшись и собравшись с силами, брызгает в убийственное стойло одеколоном, или ставит в него курительную свечку, или выливает в него банку ждановской жидкости.

И к этой либеральной партии, к этому разлагающемуся трупу Жиронды был привязан в течение всей своей жизни гениальный поэт Генрих Гейне.

VI

Сарказмы Гейне злы, метки и картинны. Но те политические убеждения, из которых они вытекают, очень неглубоки, неясны и нетверды. Гейне — *храбрый солдат;* он превосходно владеет оружием; но в его нападениях нет общего плана и руководящей идеи.

Гейне — либерал, но как человек очень умный, очень страстный, переполненный горячею любовью к людям, он никогда

не мог застыть и одеревенеть в близорукой и самодовольной рутине либерализма. Он оставался вечно неудовлетворенным не только в действительной жизни, но даже в области мыслей и желаний. Вокруг себя он не находил ни одного явления, к которому можно было бы привязаться горячею и безраздельною любовью. Внутри себя он не находил ни одной идеи, на которую можно было бы опереться, ни одного желания, ради которого стоило бы очертя голову броситься в пропасть, ни одной мечты, которой умный человек мог бы отдаться без оглядки всеми силами своего существа.

Находясь в таком положении, спокойные и холодные натуры, подобные Гете и Горацию, мирятся с тем убеждением, что *жизнь пустая и глупая шутка,* принимают за правило, что надо *жить, пока живется,* устроивают свое существование по рецепту умеренной и светлой эпикурейской мудрости, пишут грациозные оды к Лигурину и к Делии или делают свой кейф на пестрых и мягких подушках западно-восточного дивана*.

Но для настоящих титанов, для бурных и волканических натур, подобных Гейне и Байрону, такое сахарное блаженство остается навсегда непонятным и недоступным. Эти люди могут быть до некоторой степени счастливы только тогда, когда они окунаются с головою в омут страстной и ожесточенной борьбы за идею. Этим людям необходимы цельные и громадные чувства, сильные и мучительные потрясения нервной системы. Им необходимо любить, ненавидеть, желать, стремиться и бороться так, чтобы при этом совершенно забывать о мелких будничных интересах собственной личности. Все это не всегда оказывается возможным, потому что в истории случаются длинные и томительно скучные антракты, когда старые идеи блекнут и линяют, а новые только что начинают зарождаться в рабочих кабинетах немногих титанов, еще не известных своим современникам. Во время таких антрактов цельным и громадным чувствам не к чему привязаться; а между тем эти чувства все-таки ищут себе выхода и все-таки никак не могут разменяться на мелкую монету усладительных вздохов, грациозных симпатий, миловидных волнений, покорных улыбок и официальных восторгов. Зная пустоту и бесцветность своего времени, несчастные титаны воображения, удрученные потребностью любить, ищут себе предмета любви до конца своей жизни, мечутся, как угорелые, из угла в угол, перерывают весь мир существующих идей, стараются влюбить себя насильно и при этом смеются над своими бесплодными усилиями таким демоническим смехом, от которого у слушателей мороз пробегает по коже. Наконец, длинный ряд бесплодных усилий доводит титана до такой лихорадочной раздражительности и награждает его на всю жизнь такою болезненною недо-

верчивостью, что ему случается брать в руки, осматривать со всех сторон и потом бросать, с презрительным смехом, в общую кучу забракованных нелепостей ту самую идею, в которой заключается заря лучшей исторической будущности и которая могла бы доставить ему, несчастному титану, самые высокие из всех доступных наслаждений.

Сам Гейне превосходно понимал или по крайней мере очень верно угадывал настоящую причину своего рокового несчастия, не имевшего, конечно, ничего общего с какою-нибудь личною утратою или с старою историею о том, что он *ее* любил, а она *его* любила.

Любезный читатель, — говорит Гейне во второй части «Путевых картин», — может быть, и ты из числа тех благочестивых птичек, что согласно вторят песне о байроновской разорванности, песне, которую мне уже лет десять насвистывают и напевают на все лады и которая даже в черепе маркиза, как ты видишь, нашла отголосок? Ах, любезный читатель, если ты вздумаешь горевать об этой разорванности, пожалей лучше, что самый мир разорван из конца в конец. Ведь сердце поэта — центр мира; как же не быть ему в настоящее время разорванным? Кто хвалится своим сердцем, что оно осталось у него цело, тот только доказывает, что у него прозаическое, оторванное от всего мира сердце. По моему же сердцу прошел большой мировой разрыв, и в этом я вижу доказательство, что судьба почтила меня высокою милостью в сравнении с другими и сочла достойным поэтического мученичества. Прежде, в древние и средние века, мир был цел; несмотря на внешние борьбы, было единство в мире; были и цельные поэты. Станем читать этих поэтов и радоваться ими; но всякое подражание их целостности будет ложью, которая не обманет ничьего здорового глаза и не избегнет тогда насмешки. Недавно, с большим трудом, добыл я в Берлине стихотворения одного из таких цельных поэтов, очень жаловавшегося на мою байроническую разорванность, и от фальшивых красок его и нежных сочувствий к природе, которыми веяло на меня от книги, как от свежего сена, бедное сердце мое, и без того надорванное, чуть было не лопнуло от смеха, и я невольно вскричал: «Любезный мой интендант-советник Вильгельм Нейман! Что вам за дело до зеленых деревьев?» (т. II, стр. 154⟨—155⟩).

Большой мировой разрыв, проходящий по сердцу поэта и отражающийся в разорванности его произведений,— это, конечно, очень смелый поэтический образ, но в этом образе нисколько не искажена и даже не преувеличена самая чистая истина. Читателя могут ввести в заблуждение только слова Гейне о цельности мира в древние и средние века. Основываясь на этих словах, читатель может подумать, что сердце поэта могло быть цело только тогда и что поэтическая разорванность родилась на свет вместе с началом великой борьбы против средневековых идей и учреждений. Такое мнение читателя было бы совершенно ошибочно. Разорванность лежит в гораздо более тесных и ясно обозначенных границах. Никаких признаков разорванности нельзя найти не только в поэтах времен Людовика XIV, не только в Мильтоне и

Клопштоке, но даже в Шиллере и во всех передовых мыслителях, господствовавших над умами французов во второй половине прошлого столетия. При Людовике XIV мир был еще цел, хотя средневековой порядок был уже нарушен в самых существенных своих чертах. В XVIII веке мир был уже разорван диаметрально противоположными стремлениями двух непримиримых партий, из которых одна тянулась к будущему, веровала в разум, а другая ухватывалась за прошедшее и не веровала ни во что, кроме штыков и картечи. Мир был разорван, но сердца поэтов и друзей человечества были в высшей степени цельны, здоровы и свежи. Эти сердца очутились целиком по одну сторону разрыва. В мыслях, в чувствах, в желаниях Вольтера, Дидро, Гольбаха не было ничего похожего на раздвоенность или нерешительность. Эти люди не знали никаких колебаний и не чувствовали никогда ни малейшей жалости или нежности к тому, что они отрицали и разрушали. По силе своего воодушевления, по резкой определенности своих понятий, по своей невозмутимой самоуверенности эти люди могут выдержать сравнение с любым средневековым фанатиком. А фанатизм и разорванность — два понятия, взаимно исключающие друг друга. Та разорванность, которую Гейне видит в самом себе и в Байроне, составляет прямой результат громадного разочарования, овладевшего лучшими людьми образованного мира после неудачного финала французской революции. Тут лучшие люди стали сомневаться в верности своих идей, тут они бросили грустный и тревожный взгляд назад, на оторванное прошедшее, и тут их сердца попали под черту мирового разрыва, потому что им показалось, что вместе с прошедшим они оторвали от себя часть своей собственной души. Это был оптический обман. Эти ужасы привиделись им только потому, что будущее было заслонено серыми и грязными тучами, сквозь которые еще не пробивался луч новой руководящей идеи, способной заменить собою потерянную веру в чудотворную силу голых политических переворотов. Когда появилась эта идея, тогда исчезла разорванность лучших людей, исчезла впредь до ближайшего общеевропейского разочарования, — если только такое разочарование действительно возможно. На наших глазах живут и действуют снова цельные люди, идущие вперед очень твердыми шагами к очень определенной цели. В Прудоне, в Луи Блане, в Лассале нет уже никаких следов байроновской или гейневской разорванности. Если бы в наше время сформировался великий поэт, то его сердце, наверное, было бы также перекинуто целиком за черту мирового разрыва, и эта цельность не имела бы ничего общего с интендант-советником Вильгельмом Нейманом и с запахом свежего сена.

Замечу, между прочим, что стрела, пущенная мимоходом в какого-то неизвестного или, может быть, даже не существующего интендант-советника Вильгельма Неймана попадает прямо в грудь тайного советника Вольфганга фон Гете. Трудно предположить, чтобы это косвенное нападение было сделано нечаянно. «Путевые картины» были изданы в 1826 году, тогда, когда Гете был еще жив и когда все немцы, считавшие себя сколько-нибудь компетентными судьями в деле поэзии и возвышенных ощущений, буквально лежали у ног этого человека, торжественно возведенного в сан величайшего из европейских поэтов. Поэтому нет почти ни малейшей возможности допустить то предположение, что Гейне, размышляя о характеристических особенностях истинного поэта, упустил из вида ту крупную личность, которая считалась в то время настоящим воплощением поэзии. Если же Гейне, рассуждая о мировом разрыве, хорошо помнил поэтическую физиономию Гете, то Гейне должен был также видеть и понимать очень ясно, что сердце Гете осталось совершенно нетронутым, что в этой цельности нет ничего похожего на страстную цельность Вольтера и Дидро, что, следовательно, сердце Гете *оторвано от всего мира* и что *судьба не сочла его достойным поэтического мученичества*. Эти заключения совершенно неотразимы. — Никто, конечно, не скажет о произведениях Гете, что они распространяют *запах свежего сена* и возбуждают в читателях гомерический хохот, но зато можно сказать наверное, что бесчисленное стадо подражателей великого индифферентиста наградило Германию целыми стогами *свежего сена* и что *любезный интендант-советник Вильгельм Нейман,* от которого едва не лопнуло бедное сердце Гейне, наверное падал ниц перед Гете и со всею добросовестною аккуратностью прусского чиновника старался идти по его следам. Quod licet Jovi, non licet bovi (что позволено Юпитеру, то не позволено быку); но тот Юпитер, который увлекает многие тысячи быков на ложную дорогу, быкам вовсе не свойственную, никак не может считаться просветителем скотного двора. Гете, конечно, очень умен, очень объективен, очень пластичен и так далее; все это при нем и остается на вечные времена. Но своему отечеству Гете сделал чрезвычайно много зла. Он, вместе с Шиллером, украсил, тоже на вечные времена, свиную голову немецкого филистерства лавровыми листьями бессмертной поэзии. Благодаря этим двум поэтам немецкий филистер имеет возможность мирить высшие эстетические наслаждения с самою бесцветною пошлостью бюргерского прозябания. Он читает своих великих поэтов, и вздыхает над ними, и умиляется, и заводит глаза, как откормленный кот, и остается безнадежным пошляком, и твердо уверен при этом, что он человек и что ничто человеческое ему не

чуждо. И все это происходит оттого, что в великих поэтах немецкого филистерства нет живой струи отрицания. Именно по этой причине их любят и читают немецкие филистеры и, по этой же самой причине, любя и читая их, остаются филистерами. Где нет желчи и смеха, там нет и надежды на обновление. Где нет сарказмов, там нет и настоящей любви к человечеству. Если хотите убедиться в этой истине, припомните, например, великолепные сарказмы против книжников и фарисеев. Тогда вы увидите, до какой степени неразлучны с истинною любовью ненависть, негодование и презрение.

VII

Не удовлетворяясь либерализмом и в то же время не имея возможности выработать себе собственными силами другой, более широкий и разумный взгляд на явления общественной жизни, Гейне в деле политики поневоле остался навсегда блестящим дилетантом. Лучший из немецких либералов, Людвиг Берне, стоявший уже на пороге новых экономических теорий, не раз печатно упрекал и уличал Гейне в легкомыслии, в бесхарактерности и даже в совершенном отсутствии серьезных политических убеждений.

Я, — говорит Берне в своих «Парижских письмах», — могу снисходительно смотреть на детские игры, на страсти юноши. Но когда в минуту самой кровавой битвы мальчишка, гоняющийся на поле сражения за бабочками, попадает мне под ноги; когда в минуту большого бедствия, когда мы горячо молимся богу, молодой фат становится подле нас в церкви и только глазеет на молодых девушек, и перемигивается, и перешептывается с ними, тогда, не будь сказано в обиду нашей философии и гуманности, мы не можем не сердиться... Кто признает искусство своим божеством и тут же, смотря по расположению духа, обращается с молитвами к природе, тот в одно и то же время является преступником против искусства и против природы. Гейне выпрашивает у природы ее нектар и цветочную пыль и строит ее улей из воска искусства, но он не строит улей для того, чтобы хранить в нем мед, а собирает мед для того, чтобы наполнить улей. Оттого-то он не трогает, когда плачет, потому что вы знаете, что слезами он только поливает свои цветочные гряды. Оттого-то он не убеждает тогда, когда говорит правду, потому что в правде он любит только прекрасное. Но правда не всегда прекрасна, она не всегда остается прекрасною. Проходит много времени, пока она зацветет, а отцветает она прежде, чем принесет плоды. Гейне поклонялся бы немецкой свободе, если бы она была в полном цвету; но так как по причине холодной зимы она закрыта навозом, то он не признает и презирает ее. С каким прекрасным одушевлением он говорит о республиканцах в церкви св. Марии, о их геройской смерти! * То была счастливая битва, в которой бойцы могли выказать прекрасное сопротивление своим врагам и умереть прекрасною смертью за свободу! Но если б в этой битве не было столько прекрасного, Гейне посмеялся бы над нею. Если бы в ту приснопамятную минуту, когда Франция очнулась от своего тысячелетнего сна и поклялась, что не будет больше спать, Гейне посадили в зале Мяча (Jeu de Paume), он сделался бы самым отчаянным якобинцем. Но заметь

он в кармане Мирабо трубку с красно-черно-золотой кисточкой — к черту свободу! И он ушел бы оттуда и стал бы писать прекрасные стихи в честь прекрасных глаз Марии-Антуанетты.

Политический дилетантизм Гейне охарактеризован здесь великолепно. Но Берне очень сильно ошибается в одном пункте. Он отрицает у Гейне способность глубоко любить и ненавидеть. Он говорит, что Гейне плачет для того, чтобы слезами поливать свои цветочные грядки. Он думает, что великому разорванному поэту легко, приятно и весело быть дилетантом. Он не видит трагической, роковой и мучительной стороны этого дилетантизма. Это грубая ошибка, впрочем совершенно естественная со стороны раздражительного и страстного политического бойца. Что Гейне не был на самом деле счастливым и легкомысленным мотыльком, что его слезы и его смех стоили ему не дешево, что ему были коротко знакомы жестокие внутренние бури и разрушительные умственные тревоги, — это доказывается всего убедительнее тем страшным расстройством нервной системы, которое, под конец его жизни, буквально положило на него венец *поэтического мученичества*. Если бы Берне мог предвидеть такой исход, он, по всей вероятности, не решился бы упрекнуть в поливании цветочных грядок великого и несчастного поэта, изнемогавшего под блестящим, но тяжелым крестом вынужденного дилетантизма. Далее, очень странен упрек в том, что Гейне презирает немецкую свободу, закрытую навозом, по причине холодной зимы. Тут Берне, по-видимому, зарапортовался. По крайней мере трудно понять, какой осязательный смысл вложен в эту хитрую метафору. *Холодная зима* — торжество феодалов и ретроградов. *Навоз* — система Меттерниха и союзного сейма. Прекрасно! Но во время такой *холодной зимы* нечего и говорить о немецкой свободе как о реальном факте. Немецкая свобода как реальный факт положительно не существует, если она боится простуды и благоразумно почивает под навозом. А что не существует, того нельзя ни презирать, ни уважать. Если же Берне толкует тут об *идее* немецкой свободы, то, во-первых, идея не знает никаких времен года, всегда находится в полном цвету, никогда не лежит под навозом и вообще повинуется только законам своего собственного внутреннего развития. А во-вторых, Гейне, при всей своей необузданной страсти персифлировать [1] врагов и друзей, никогда не отзывался насмешливо или презрительно об идее немецкой свободы. Как бы то ни было, главный факт — действительное существование гейневского дилетантизма — все-таки не подлежит ни малейшему сомнению.

---

[1] Персифлировать (*франц.* persifler) — освистывать, осмеивать. — *Ред.*

В книге своей о Людвиге Берне Гейне выписывает приведенный выше отрывок из «Парижских писем» для того, чтобы показать, какие на него взводились неосновательные обвинения. «Не определенными словами, но всевозможными намеками меня обвиняют там, — говорит Гейне, — в самом двусмысленном образе мыслей, если уже не в совершенном отсутствии его. Точно таким же образом дается там заметить, что я отличаюсь не только индифферентизмом, но и противоречием с самим собою» (т. VI, стр. 316).

Гейне совершенно напрасно говорит о каких-то *всевозможных намеках*. Берне, напротив того, выражает свои обвинения самыми *определенными словами*. Читатель уже видел образчик этих обвинений и, по всей вероятности, согласится, что в резких сравнениях и антитезах Берне нет ничего похожего на косвенный намек. Кажется, нет возможности выражаться яснее, прямее и нагляднее. Гейне думает и утверждает, что он стоит выше подобных обвинений, и не хочет оправдываться. Но именно в той самой книге, в которой он цитирует «Парижские письма», он чуть не на каждой странице дает внимательному читателю самые поразительные доказательства своего политического безверия и дилетантизма. Он, как будто нарочно, старается подтвердить все те обвинения, к которым он относится с самою великолепною самонадеянностью.

Гейне не хочет, чтобы его считали союзником Берне. Книга о Людвиге Берне была написана именно для того, чтобы провести между обоими писателями ясную пограничную черту. Стараясь отделить себя от Берне, Гейне в то же время не может не уважать его. Этим искренним и глубоким уважением проникнута вся книга, в которой автор тем не менее сурово осуждает Берне и нередко персифлирует его. Отклоняя от себя всякую умственную солидарность с таким писателем, которому он сам не может отказать в глубоком уважении, с таким писателем, который все-таки до конца жизни боролся и страдал за великую и святую идею, — Гейне, очевидно, должен был собрать все свои силы, пересмотреть все свои убеждения и представить самую полную и отчетливую картину своего собственного образа мыслей, такую картину, которая доказала бы неопровержимо ему самому и всем его читателям неизбежность, необходимость и глубокую законность его разрыва с величайшим предводителем немецких либералов. Гейне сам понимает главную задачу своей книги именно таким образом: «Я считаю себя обязанным, — говорит он, — изобразить в этом сочинении и мою собственную личность, так как вследствие сплетения самых разнородных обстоятельств как друзья, так и враги Берне, говоря о нем, непременно заводили с бо́льшим или меньшим добро-

желательством или зложелательством речь о моей литературной и общественной деятельности» (т. VI, стр. 311).

Какими же чертами изображает Гейне свою собственную личность? Такими чертами, которые приводят читателя в изумление, но вместе с тем отнимают у него всякое право пожаловаться на недостаток откровенности. Дилетант нисколько не драпируется в мантию глубокомысленных соображений. Художник сам себя выдает головою.

Надо, — говорит Гейне, — собственными глазами видеть народ во время действительной революции, надо нюхать его собственным носом, надо слышать его собственными ушами, чтобы понять, что хотел сказать Мирабо словами: «Нельзя сделать революцию лавандным маслом». Пока мы читаем о революциях в книгах, все выходит очень красиво, и с ними повторяется та же история, что с пейзажами, отлично вырезанными на меди и превосходно отпечатанными на дорогой веленевой бумаге; в этом виде они чаруют ваш взор, а посмотришь на них в натуре, то убедишься совсем в противном: вырезанный на меди навоз не воняет, а через вырезанное на меди болото легко перейти глазами вброд (т. VI, стр. 240 ⟨—241⟩).

В той же самой книге Гейне пускает следующую тираду по поводу Июльской революции:

Лафайет, трехцветное знамя, Марсельеза...

Кончилась моя жажда спокойствия. Теперь я снова знаю, чего я хочу, что должен, что обязан делать... Я — сын революции и снова берусь за оружие, над которым моя мать произнесла свое полное чар благословение... Цветов, цветов! Я увенчаю ими свою голову для смертельной битвы! И лиру, дайте мне лиру, чтобы я спел боевую песню. Из нее вылетят слова, подобные пламенным звездам, которые стреляют вниз с небесной высоты, и сожигают чертоги, и освещают хижины... Слова, подобные метательным копьям, которые взлетают в седьмое небо и поражают набожных лицемеров, которые пробрались там в святую святых... Я весь — радость и песнопение, весь — меч и огонь (т. VI, стр. 208).

Теперь читатель, сравнивая оба приведенные отрывка, начинает понимать сурово-печальные слова Берне о мальчишке, преследующем пеструю бабочку на поле кровопролитного сражения. *Во-первых,* весь лирический восторг Гейне происходит, — если верить его собственному объяснению, — оттого, что он созерцает революцию на столбцах газеты, где напечатанный навоз не воняет и где можно легко перейти вброд глазами через напечатанное болото. Гейне называет себя сыном революции, но его сыновняя любовь кончается там, где она становится несовместною с лавандным маслом. Все эти ужасные минуты борьбы между матерью и лавандным маслом несчастный поэт остается неизменно верен портрету матери, отлично вырезанному на меди и превосходно отпечатанному на дорогой веленевой бумаге. Благоговение перед портретом тем более прочно, что оно никогда не может помешать обожанию лавандного масла. *Во-вторых,* любуясь портретом своей матери, Гейне, как настоящий ребенок, сосредоточивает свое

внимание не на выражении ее лица, а на ярких лентах ее чепчика, на тонком узоре ее шитого воротничка и на блестящих камушках ее дорогого ожерелья. Знакомясь с революциею по газетам, он не задумывается над ее результатами, а только восхищается ее шумом, блеском и эффектностью самой борьбы. *Лафайет, трехцветное знамя, Марсельеза!* Экая, подумаешь, благодать! Дряхлый старик, которого водит за нос первый искатель приключений! * Пестрый лоскут, напоминающий миру о колоссальных разбоях Наполеона! И плохие стишонки, положенные на бравурную музыку! Гейне забавляется сувенирчиками в то время, когда решается участь даровитого и энергического народа, которому до сих пор постоянно подсовывали пестрые лоскутья и эффектные песенки вместо здоровой пищи, разумного труда, свободных учреждений и общедоступного образования. Смотреть на революцию с эстетической точки зрения — значит оскорблять величие народа и профанировать ту идею, во имя которой совершается переворот. В жизни народов революции занимают то место, которое занимает в жизни отдельного человека вынужденное убийство. Если вам придется защищать вашу жизнь, вашу честь, жизнь или честь вашей матери, сестры или жены, то может случиться, что вы убьете нападающего на вас негодяя. Впоследствии вы будете вспоминать об этом убийстве безо всякого особенного смущения, потому что, рассматривая ваш поступок со всех сторон и обсуживая его строжайшим образом, вы постоянно будете получать тот результат, что убийство было неизбежно и что всякое другое поведение было бы с вашей стороны низкою трусостью и подлою изменою в отношении к тем лицам, которые имели полное право рассчитывать на вашу защиту. Но, совершенно оправдывая свой насильственный поступок, вы все-таки никогда не будете считать особенно счастливым тот день, в который вы были принуждены зарезать или застрелить человека. Вы не будете желать, чтобы такие эффектные случаи повторялись в вашей жизни почаще. Печальная необходимость, в которую вы были поставлены, никогда не перестанет казаться вам очень печальною. Если же вы, паче чаяния, начнете гордиться, хвастаться и восхищаться тем мужеством, которое вы обнаружили во время схватки, то благоразумные люди подумают о вас совершенно справедливо, что вы — человек пустой и трусливый, которому как-то раз удалось не струсить и который потом носится с своим неожиданным припадком храбрости как с каким-нибудь восьмым чудом света.

То же самое можно сказать и о насильственных переворотах, которые, кроме того, можно также сравнить с оборонительными войнами. Каждый переворот и каждая война, сами по себе, всегда наносят народу вред как матерьяльный, так

и нравственный. Но если война или переворот вызваны настоятельною необходимостью, то вред, наносимый ими, ничтожен в сравнении с тем вредом, от которого они спасают, так точно, как вред, наносимый меркуриальным лекарством, ничтожен в сравнении с тем вредом, который причинило бы развитие сифилитической болезни. Тот народ, который готов переносить всевозможные унижения и терять все свои человеческие права, лишь бы только не браться за оружие и не рисковать жизнью, — находится при последнем издыхании. Его непременно поработят соседи или уморят голодною смертью домашние благодетели. Но, с другой стороны, такой народ, который тешится переворотами, как привычною забавою, всегда оказывается пустым, ничтожным, жалким, больным и глубоко развращенным народом. Для примера достаточно сослаться на испано-американские республики, в которых правительства сменяются чуть ли не ежемесячно; при этом не мешает сравнить их с Соединенными Штатами, в которых, со времени войны за независимость, был всего только один переворот.

Чтобы судить о каком-нибудь перевороте, надо всегда сравнивать то, что было накануне борьбы, с тем, что получилось на другой день после победы. Тогда можно будет решить, законен ли данный переворот в своей исходной точке и плодотворен ли он в своих результатах. Переворот, вырванный из своей естественной связи с ближайшим прошедшим и с ближайшим будущим, оказывается просто грязною свалкой, которою может восхищаться только пустоголовый батальный живописец. Относясь с почтительным сочувствием к какому-нибудь перевороту, мыслящие защитники народных интересов поступают таким образом вовсе не из любви к шумным демонстрациям и занимательным потасовкам, а только из любви к тем бедным людям, которым после переворота сделалось немного легче жить на свете. Если бы это облегчение могло быть достигнуто путем мирного преобразования, то мыслящие защитники народных интересов первые осудили бы переворот как ненужную трату физических и нравственных сил.

Если бы Гейне, понимая ясно цель и смысл великих переворотов, видел возможность их полного успеха, если бы он держал в руках ариаднину нить, способную вывести массу из лабиринта лишений и страданий, то, разумеется, созерцание великой идеи, заключающей в себе спасение человечества и пробивающей себе дорогу в действительную жизнь, доставило бы нашему поэту такое высокое умственное наслаждение, которое совершенно отбило бы у него охоту развлекаться мелкими сувенирчиками вроде трехцветной тряпки или справляться о том, употребляется ли лавандное масло во время народных движений. Но так как Гейне был заранее убежден

в том, что народ и после переворота останется при своей прежней, грязной нищете, то эстетический взгляд батального живописца и одерживал решительную победу над смутными и безнадежными стремлениями разочарованного прогрессиста. Не имея возможности интересоваться серьезным смыслом переворота, потому что такого смысла он в нем не предполагал, — Гейне любовался и восхищался позами, костюмами, смелостью и стойкостью патриотических бойцов. Восхищение это производилось издали. Когда же Гейне подошел поближе и заметил отсутствие лавандного масла, тогда он спокойно зажал себе нос и просвистал свою насмешливую песенку. Все это со стороны Гейне очень понятно, но все это вместе составляет полное и отчетливое отречение от серьезной политической деятельности. Кто смотрит на события с эстетической точки зрения, тот не может быть двигателем событий, так точно как не может быть хирургом тот ребенок, который смотрит на ланцеты как на блестящие игрушки.

Далее Гейне характеризует свой политический образ мыслей тою любопытною подробностью, что ему, в молодости, очень хотелось сделаться народным оратором, но что, к сожалению, он не может привыкнуть к табачному дыму, жестоко свирепствующему в собраниях немецких республиканцев.

Затем он объявляет, что если народ пожмет ему руку, то он, Гейне, немедленно вымоет ее. Подаривши миру такие великие политические истины, Гейне считает себя вправе третировать Берне с высоты своего величия, потому что Берне переносит табачный дым и не таскает с собою рукомойника в народные собрания, где производятся крепкие и многочисленные рукопожатия.

Гейне заподозривает Берне в личной зависти.

И именно в отношении ко мне, — говорит Гейне, — покойный (Берне) предавался таким личным чувствам, и все его нападения на меня были <...> не что иное, как мелкая зависть, которую маленький барабанщик чувствует к большому тамбурмажору. Он завидовал моему высокому плюмажу, который так смело развевался по воздуху, моему богато вышитому мундиру, на котором было столько серебра, сколько он, маленький барабанщик, не мог бы купить за все свои деньги, завидовал ловкости, с которою я махал тамбурмажорским жезлом, любовным взглядам, которые бросали на меня молодые девочки и на которые я, может быть, отвечал с некоторым кокетством (т. VI, стр. 261).

Гейне влюблен в самого себя, потому что ему не удалось влюбиться в идею. Это очевидно и нисколько не удивительно. Но мы имеем полное право не считать Берне мелким завистником, тем более что сам Гейне дает нам материалы для его оправдания.

Страстные речи, — говорит Гейне, — в духе рейнско-баварских ораторов доводили до фанатизма многие умы, и так как республиканизм такое

дело, которое понять гораздо легче, чем, например, конституционную форму правления, для уяснения которой необходимы многие другие сведения, то прошло немного времени, как тысячи немецких ремесленников сделались уже республиканцами и проповедовали новые убеждения. Эта пропаганда была гораздо опаснее всех тех выдуманных пугал, которыми вышеупомянутые доносчики пугали немецкие правительства, и писаное слово Берне, может быть, много уступало в могуществе его устному слову, с которым он обращался к людям, принимавшим эти слова с немецкою верою и распространявшим их у себя в отечестве с изумительным рвением (т. VI, стр. 237).

Итак, Гейне хотел и не мог сделаться народным оратором по неспособности переносить табачный дым. А Берне хотел, и мог, и переносил дым, и действовал, и фанатизировал тысячи немецких ремесленников, которые оставались для Гейне *зеленым виноградом*. Кто же из двух, Гейне или Берне, обладал богато вышитым мундиром и махал тамбурмажорским жезлом? Кто из двух имел более основательные причины завидовать другому?

VIII

Политический дилетантизм отравляет всю литературную деятельность Гейне и постоянно мешает ему сосредоточить свои силы на каком бы то ни было предмете. Гейне не может ни подчиниться политической тенденции, ни отделаться от нее. Гейне решительно не знает, в каких отношениях находятся к политике все другие отрасли человеческой деятельности — наука, искусство, промышленность, религия, семейная жизнь, умозрительная философия и т. д. Но Гейне понимает, что какие-нибудь отношения должны существовать между всеми этими отраслями и что так или иначе все эти отрасли могут ускорять или замедлять движение человечества к лучшему будущему. Предчувствуя существование какой-то общей связи между различными отраслями человеческой деятельности, сознавая необходимость общего взгляда на всю совокупность этих различных отраслей и в то же время не умея отыскать тот высший принцип, во имя которого можно было бы обсуживать и сортировать эти отрасли по их действительному внутреннему достоинству, — Гейне находится в хроническом недоумении и постоянно колеблется между тенденциозными суждениями недоразвившегося прогрессиста и непосредственными ощущениями простодушного эстетика. Эти колебания замаскированы от глаз легкомысленных читателей удивительным блеском внешней формы, неистощимым богатством картин, прелестью тонкого юмора и неожиданною силою отдельных сарказмов. Но если вы, закрывши книгу, попробуете отдать себе отчет в содержании прочитанных страниц, если вы захотите узнать, в чем убедил и в чем хотел убедить вас

автор, то на все эти вопросы вы не найдете у себя в голове ни одного определенного ответа, ничего, кроме какого-то приятного хаоса удачных шуток и грациозных сравнений, под которыми скрываются неясные мысли, общие места или внутренние противоречия. Так, например, если вы захотите узнать от Гейне, как он понимает отношения искусства к жизни, то вы не узнаете ровно ничего, или, вернее, вы узнаете сегодня одно, завтра совсем другое, послезавтра ни то ни се. Может случиться и так, что вы в один день получите три разнохарактерные ответа, которых несовместность поэт не заметил или не хочет заметить, считая ее, по всей вероятности, неизбежным атрибутом поэтической разорванности. В одной из предыдущих глав мы видели, что Гейне понимает поэзию как *священную игрушку* или как *освященное средство для необходимых целей.* Как ни сбивчиво это определение, однако же из него все-таки можно заключить, что поэзия, по мнению Гейне, должна подчиняться каким-то высшим соображениям. Цель важнее средства, и средство всегда должно приноровляться к цели; в противном случае средство перестает быть средством и превращается в самостоятельную цель. Стало быть, если Гейне признает существование *небесных целей,* предписанных для поэзии и лежащих за ее собственными пределами, то он обязывает поэзию видоизменяться сообразно с теми условиями, при которых *небесные цели* могут быть достигнуты. При таком взгляде самою лучшею оказывается та поэзия, которая всего больше облегчает достижение *небесных целей.* Если *небесные цели* могут быть достигнуты без содействия поэзии, то поэзия должна скромно и покорно согласиться на самоуничтожение. Иначе получится вопиющая нелепость: священная игрушка заставит людей забыть о *небесных целях,* и *храбрые солдаты* превратятся в легкомысленных школьников. Признавая существование *небесных целей* и называя себя храбрым солдатом, Гейне, по-видимому, никак не может желать подобного результата. А между тем он его желает. По крайней мере он горько плачется на тех людей, для которых поэзия не имеет самостоятельного значения и которые, стремясь к *небесным целям,* не хотят развлекаться *священными игрушками.*

Ах, — говорит Гейне в своей книге о Людвиге Берне, — пройдет много времени прежде, чем мы отыщем великое целебное средство; до тех пор придется нам сильно хворать и употреблять всевозможные мази и домашние средства, которые будут только усиливать болезнь. Тут прежде всего приходят радикалы, прописывающие радикальное лечение, которое, однако, действует только наружным образом, потому что разве только уничтожает общественную коросту, но не внутреннюю гнилость. А если им и удается на короткое время избавить [страждущее] человечество от страшнейших мук, то это делается в ущерб последним следам красоты, до тех пор остававшимся у больного; гадкий, как вылечившийся филистер, встанет

он с постели и в отвратительном госпитальном платье, пепельно-сером костюме равенства, станет жить со дня на день. Вся безмятежность, вся сладость, все благоухание, вся поэзия будут вычеркнуты из жизни, и от всего этого останется только Румфордов суп полезности. * — Красота и гений не находят себе никакого места в общественной жизни наших новых пуритан и подвергаются таким оскорблениям и угнетениям, каких они не испытывали даже при существовании старого порядка... Потому что красота и гений не могут жить в обществе, где каждый, с неудовольствием сознавая свою посредственность, старается унизить всякое высшее дарование и свести его к самому пошлому уровню. Сухое будничное настроение новых пуритан распространяется уже по всей Европе, точно серые сумерки, предшествующие суровому зимнему времени... (т. VI, стр. 328⟨—329⟩).

Читателю русских журналов достаточно знакомы эти старушечьи вопли против сухости новых пуритан и против Румфордова супа полезности. Гейне, к стыду своему, подает здесь руку г. Николаю Соловьеву и т. п. Гейне унижается даже до того бессмысленного предположения, что новые пуритане говорят и действуют под влиянием личной зависти. Все они, изволите видеть, маленькие барабанщики, желающие ободрать и испортить галуны с блестящих мундиров больших тамбурмажоров. Эту плоскую и избитую выдумку, родившуюся в голове какой-нибудь старой сплетницы и повторявшуюся всеми врагами народа и здравого смысла, можно опрокинуть простым указанием на тот факт, что новые пуритане глубоко уважают тех людей, которые лучше других варят Румфордов суп полезности или выдумывают для этого супа усовершенствованный способ приготовления.

Новые пуритане охотно признают превосходство этих людей, сознательно подчиняются их влиянию и, предоставляя им видные роли вождей и распорядителей, добровольно берут себе скромные обязанности учеников, последователей, исполнителей, переводчиков или компиляторов и комментаторов. Новые пуритане, без сомнения, очень уважают науку. У новых пуритан, конечно, есть также свои социальные понятия, которыми они дорожат очень сильно. Но как в реальной науке, так и в области социальных понятий работали и работают до сих пор гении первой величины и множество талантов крупных и мелких. И новые пуритане вовсе не отрицают гениальности первоклассных деятелей и даровитости второстепенных работников. Значит, пуритане восстают вовсе не против *всякого высшего дарования* вообще, а только против непроизводительной затраты всяких дарований, высших, средних и низших. *Пепельно-серый костюм равенства,* на который так умилительно жалуется любитель трехцветного знамени Гейне, надевается на людей совсем не для того, чтобы умные и глупые люди пользовались одинаковым влиянием на общественные дела. Это — вещь невозможная. И об этом могли мечтать люди XVIII века только потому, что они придерживались той

теории, которая признавала все интеллектуальные различия между людьми — продуктами различных впечатлений, воспринятых после рождения. Но так как в наше время уже достаточно известна та физиологическая истина, что люди приносят с собою на свет вместе с особенным телосложением особую организацию мозга и нервной системы, полученную по наследству от родителей и не изменяющуюся в своих существенных чертах ни от каких позднейших впечатлений, — то новые пуритане нашего времени вовсе и не мечтают об абсолютном равенстве. Смысл того стремления, которое Гейне называет *пепельно-серым костюмом,* состоит только в том, что тысячи не должны ходить босиком и питаться отрубями для того, чтобы единицы смотрели на хорошие картины, слушали хорошую музыку и декламировали хорошие стихи. Кто находит подобное стремление предосудительным, тот желает, чтобы хлеб, необходимый для пропитания голодных людей, превращался ежегодно в изящные предметы, доставляющие немногим избранным и посвященным тонкие и высокие наслаждения. Здесь Гейне стоит, очевидно, на стороне эксплуататоров и филистеров, но он не всегда рассуждает таким образом.

Это свойство, — говорит Гейне в «Романтической школе», — эту целостность мы встречаем и у писателей нынешней «Молодой Германии», которые также не допускают различия между жизнью и литературною деятельностью, не отделяют политики от науки, искусства, от религии и в одно и то же время являются художниками, трибунами и проповедниками правды.

Да, я повторяю слово *проповедники*, потому что не могу найти более характеристического слова. Новые убеждения наполняют душу этих людей такою страстностью, о какой писатели прежнего периода не имели и понятия. Это — убеждения в силе прогресса, убеждения, вышедшие из науки. Мы делали измерение земель, исследовали силы природы, высчитывали средства промышленности — и вот, наконец, нашли, что эта земля достаточно велика, что она дает каждому достаточно места для того, чтобы построить себе на ней хижину своего счастья, что эта земля может прилично питать всех нас, если мы все хотим работать и не жить на счет другого, что, наконец, нам нет никакой надобности отсылать более многочисленный и более бедный класс к небу. Число этих знающих и верующих, конечно, еще весьма невелико (т. V, стр. 339⟨—340⟩).

Здесь *пепельно-серый костюм равенства* представляется в самом привлекательном виде, а *новые пуритане,* которые выше были заподозрены в мелкой зависти, оказываются художниками, трибунами и проповедниками правды, людьми страстно убежденными, людьми целостными, людьми знающими и верующими. Нет ни малейшей возможности провести какую-нибудь границу между писателями «Молодой Германии», к которым Гейне относится с величайшим сочувствием, и теми радикалами, которых тот же Гейне с комическим негодованием обвиняет в исключительном пристрастии к Румфордову супу полезности. Гейне называет писателей «Молодой

Германии» художниками, но ведь это художество проникнуто насквозь трибунскими стремлениями и проповедованием правды. Это художество стремится доказать образами, что каждый, при соблюдении известных условий, может построить себе на земле хижину своего счастья. Это художество выводит на свежую воду те глупости и подлости, вследствие которых земля кажется тесною и люди принуждены строить себе хижины горя и бедности или жить в качестве батраков, в чужих чуланах, конюшнях или закутках. Стало быть, это художество приурочено к Румфордову супу полезности и составляет одну из самых важных и питательных его приправ. Стало быть, между Румфордовым супом и художеством вовсе не существует радикального и необходимого антагонизма, хотя, с другой стороны, не подлежит сомнению, что в жизни людей, построивших себе собственным трудом хижины своего счастья, художество не может иметь того преобладающего значения, которое принадлежит ему теперь в жизни людей, построивших себе чужим трудом великолепные замки и виллы. Наука, конечно, доказывает, что все мы можем построить себе теплые и сухие хижины, вмещающие в себе достаточное количество чистого воздуха, но наука до сих пор не думала доказывать, что все мы можем увешать стены наших хижин превосходными картинами, поставить в каждой хижине по одному великолепному роялю, держать при каждой сотне хижин труппу хороших актеров и тратить каждый день по нескольку часов на сочинение и чтение звучных лирических стихов. Счастье, доступное для всех, должно быть, по крайней мере на первых порах, гораздо проще и скромнее того счастья, которое в настоящее время доступно немногим. Величайшая прелесть общедоступного счастья состоит не в разнообразии и яркости наслаждений, а преимущественно в том, что у этих наслаждений нет обратной стороны, то есть что эти наслаждения не покупаются ценою чужих страданий.

Внутреннее противоречие, в которое впадает Гейне, очевидно и безвыходно. Он восхищается в одном месте теми идеями и стремлениями, против которых он вооружается в другом месте. Он бросается с одной точки зрения на другую и ни на одной из них не может остановиться. Когда художник поет как соловей, безо всякой тенденции, тогда Гейне находит в его произведениях запах свежего сена. Когда художник становится на всю жизнь под знамя одной, строго определенной идеи, тогда Гейне кричит, что мир затоплен волнами Румфордова супа. И в то же время тот же Гейне, смотря по минутному настроению, хвалит соловьев, подобных Уланду, Тику и Арниму, и пропагандистов, подобных Лаубе и Гуцкову. Словом, перед глазами читателя проходит целая радуга всех возможных мнений об искусстве, и читатель, к ужасу своему,

замечает, что вся эта радуга выходит из головы одного человека.

В выписанном мною отрывке о писателях «Молодой Германии» я должен обратить внимание читателя на то место, где Гейне говорит о *целостности* новых людей; этими словами сам Гейне подтверждает мое мнение о том, что и в наше время, при совершенной разорванности окружающего мира, возможна в писателе внутренняя целостность, выходящая не из тупого равнодушия, а из страстного воодушевления. Эта страстная целостность, характеризующая представителей «Молодой Германии», проводит резкую границу между этими писателями, выступившими на литературное поприще в начале 30-х годов, и самим Гейне, у которого никогда и ни в чем не было никакой целостности.

IX

При своем неизлечимом политическом дилетантизме, которого не искоренило даже умственное движение «Молодой Германии», Гейне никогда не мог подвергать правильной и точной оценке ни события современной истории, ни явления современной литературы. У Гейне не было никакого твердого принципа, на котором бы он мог построить свою критику. А между тем он любил прогуливаться с критическими намерениями и ухватками по различным областям настоящего и ближайшего прошедшего. Он любил рассуждать глубокомысленно и проницательно о политике и литературе. Он написал целую довольно большую книгу «О Германии», и написал по-французски собственно для того, чтобы познакомить французов с великими и плодотворными тайнами немецкой философии и немецкой поэзии. Не знаю, насколько эта книга просветила французских читателей; но знаю очень хорошо, по собственному горькому опыту, что русскому читателю эта книга не дает ровно ничего, кроме того неопределенно-приятного ощущения, которое возбуждается каждою страницею Гейне, написанною очаровательным языком и всегда переполненною самыми яркими и прелестными образами. Общей мысли в этой книге нет ровно никакой, а есть в ней только хорошо рассказанные анекдотцы, забавные параллели между французами и немцами, да попадаются иногда такие дикие историко-философские соображения и пророчества, что читатель не может разобрать, шутит ли автор или говорит серьезно; и если автор шутит, то читателю становится досадно, с какой стати шутка тянется так долго и до такой степени лишена игривости, забавности и язвительности; а если автор мудрствует серьезно, то читателю становится положительно совестно за автора.

По глубокомысленным соображениям Гейне оказывается, например, что различные фазы немецкой философии в точности соответствуют различным фазам французской революции. Умеренный и аккуратный Кант изображает собою террор Конвента и, по мнению Гейне, оказывается гораздо смелее и неумолимее Робеспьера. Фихте исправляет должность Наполеона, а Шеллинг играет роль Реставрации. Эти ребяческие сближения до такой степени забавляют Гейне и наполняют его сердце такою святою патриотическою гордостью, что он несколько раз с видимым удовольствием возвращается к этой приятной и затейливой выдумке. В конце своего сочинения о немецкой философии он до такой степени воодушевляется, что пророчествует миру о великих и ужасных событиях, которые вырастут со временем из философских сочинений Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля, благополучно похороненных и забытых ближайшим потомством. «Если, — говорит Гейне, рассуждая об ужасах будущей немецкой революции, имеющей вырасти из умозрительной философии, — рука кантиста бьет сильно и метко, потому что сердце его не волнуется никаким переходящим по преданию уважением, если фихтеанец смело презирает всякие опасности, потому что они в действительности для него не существуют, то натурфилософ ужасен потому, что вступает в союз с первородными силами природы, может вызвать все силы древнегерманского пантеизма и тогда получает ту жажду борьбы, которую мы встречаем у древних германцев, сражающихся не для разрушения, не для победы, но только для того, чтобы сражаться» (т. V, стр. 165⟨—166⟩). Немецкая гроза, воспитанная Кантом, Фихте и Шеллингом, будет, по соображениям Гейне, необыкновенно ужасна. «При этом грохоте, — говорит он, — орлы падут мертвые с воздушных высот, и львы, в самых далеких пустынях Африки, опустят хвосты и спрячутся в свои вертепы» (т. V, стр. 167). Вся эта невинная игра яркими красками и громкими словами была бы смешна до последней степени, если бы тут не видно было, что несчастному поэту больно и стыдно смотреть на тупое усыпление отечества и что он старается оглушить и отуманить себя громом несбыточных и неправдоподобных предсказаний. Хотя читатель и понимает до некоторой степени то настроение, которое породило эти хвастливые рулады, однако, во всяком случае, восторженные фразы Гейне о мировом значении немецкой философии оказываются для нашего времени неудачною шуткою или бессмысленным набором слов. Так же ничтожны и бесполезны для читателей разные отрывочные заметки и рассуждения о Тике, Шлегелях, Новалисе, Арниме и других забытых писателях, о которых распространяется Гейне в своей «Романтической школе». Но здесь, как и везде, Гейне роняет по временам превосходные сарказмы, которые

почти достаточно вознаграждают читателя за отсутствие общей мысли и за совершенную мертвенность самого сюжета.

О политических деятелях, как и обо всех остальных предметах, Гейне судит с плеча, по свободному вдохновению, рассыпая совершенно произвольно в разные стороны лавровые венки и дурацкие колпаки. Так как в новейшей истории очень много мизерного, то дурацкие колпаки почти всегда попадают без промаха туда, где им следует находиться. Зато лавровые венки, по тем же самым причинам, почти всегда залетают туда, где присутствие их решительно ничем не может быть оправдано.

Особенно замечательно то несчастное упорство, с которым Гейне увенчивал Наполеона, одного из самых вредных людей во всей истории человечества. Обожание Наполеона было для Гейне любимым коньком, с которого он не слезал до конца своей жизни. Этот конек был отчасти боевою лошадью, при содействии которой Гейне дразнил и огорчал, с одной стороны, немецких радикалов, последователей Берне, с другой — юродствующих патриотов, подобных Менцелю и Масману. Первые ненавидели Наполеона как представителя деспотизма и солдатчины. Вторые не могли простить Наполеону того, что он осмелился многократно разбивать немецкие армии, вступать с войском в немецкие столицы и держать у себя в передней немецких отцов отечества, которых предшественник Арминий одержал такую блистательную победу над римским полководцем Варом. Гейне, с своей стороны, не любил радикалов за их серьезность и презирал тевтоманов за их действительную и поразительную тупость. В пику обеим партиям он падал на колени перед великим и божественным императором при каждом удобном и неудобном случае. Эти коленопреклонения были также направлены в очень значительной степени против тех официальных политиков, которые, победивши Наполеона, распоряжались судьбою Европы в первой четверти нынешнего столетия. Нерасположение Гейне к этим политикам — к Меттерниху, к Веллингтону, к Кестльри — очень понятно и совершенно основательно. Но как бы ни были вредны и отвратительны эти победители Наполеона, из этого, однако, нисколько не следует, чтобы сам Наполеон был очень полезен и прекрасен. Если благоговение Гейне перед Наполеоном имело исключительно значение протеста, то нельзя не заметить, что для этого протеста выбрана очень неудобная форма, по милости которой Гейне принужден был написать десятки страниц вопиющей бессмыслицы. Если же это благоговение было чистосердечно, то я должен признаться, что процесс мышления, совершающийся в голове великих художников, заключает в себе тайны, непостижимые для простых людей. Всего мудренее и любопытнее та штука, что Гейне, пророчествуя

людям о том, что Наполеон сделается божеством новой религии, в то же время видит очень ясно и показывает своим читателям с полною откровенностью пятна «обожаемого кумира».

Пожалуйста, — говорит Гейне во второй части «Путевых картин», — не считай меня безусловным бонапартистом, любезный читатель. Я благоговею не перед действиями, а перед гением этого человека. Безусловно люблю я его только до 18 брюмера. Тут изменил он свободе. И не по необходимости сделал он это, а из тайной склонности к аристократизму. Наполеон Бонапарт был аристократом, аристократическим врагом гражданского равенства, и мне кажется колоссальным недоразумением, что европейская аристократия, в лице Англии, с таким ожесточением боролась с ним... Любезный читатель, объяснимся однажды навсегда. Я никогда не превозношу дел и хвалю лишь гений человека; дело — только его одежда, и история не что иное, как старый гардероб человеческого гения (т. II, стр. 111⟨—112⟩).

Решительное объяснение с любезным читателем ни к чему не ведет и заключает в себе очень мало осязательного смысла. Стараясь отделить гений человека от его дел, Гейне желает открыть самый широкий простор эстетическому произволу. Полезны ли, вредны ли дела человека, это, по мнению Гейне, все равно; это мелкие подробности старого гардероба; надо только, чтобы в исполнении этих вредных или полезных дел проявлялась некоторая виртуозность, некоторая фешенебельная грация и развязность. Эти качества, от которых окружающим людям ни тепло, ни холодно, составляют, по мнению Гейне, настоящую квинтэссенцию человека и требуют себе нашего благоговения. Политическому деятелю предписывается, таким образом, быть эффектным, интересным и привлекательным. При соблюдении этих условий ему отпускаются все его глупости и низости, промахи и преступления. И чем громаднее его ошибки, тем лучше для него, потому что тем поразительнее становится его эффектность. С эстетической точки зрения огромная гадость заслуживает гораздо большего уважения, чем маленькое доброе дело. Но при таком отделении *гения* от *дел* совершенно искажается настоящее значение слова *гений*. Этим словом перестает обозначаться то умственное превосходство, перед которым преклоняются с восторженною любовью все мыслящие люди. И после такого превращения *гений* сохраняет свою обаятельность только для слабоумных любителей театральной грандиозности. Гейне об этом не подумал. Иначе он понял бы, что с гения нет возможности снимать ответственность за направление и результаты дел. Гений сам задает себе работу. Следовательно, мы имеем полное право требовать от него отчета не только в том, искусно ли и удачно ли выполнена работа, но еще и в том, почему и зачем, с какою целью и на основании каких предварительных соображений он, гений, принялся именно за эту работу, а не за другую. Данный исторический деятель только тогда и

может быть признан гением, когда его дела и вся его жизнь дают совершенно удовлетворительные ответы на все вопросы, которые могут быть поставлены мыслящим историком. Выступая на арену борьбы и серьезной деятельности, человек бросает общий взгляд на положение партий, вдумывается в потребности и в понятия своих современников, задает себе вопрос о том, куда идет главный поток идей и событий, словом, ориентируется в лесу быстро сменяющихся явлений и затем, вооружившись своими наблюдениями, присоединяется более или менее сознательно к какой-нибудь одной группе бойцов или работников. Если собранные наблюдения неточны и сделанный выбор неудовлетворителен, молодой деятель переходит к другой партии или старается сообщить новое направление мыслям и работам своих союзников. Становясь под то или другое знамя, изменяя своим влиянием так или иначе характер своей партии, человек набрасывает в общих чертах весь план своей будущей деятельности. Достоинства или недостатки этого плана дадут себя знать впоследствии и во всяком случае одержат перевес над достоинствами или недостатками выполнения. Если план был составлен разумно, если при его составлении настоящие потребности времени были поняты верно, то вся деятельность будет плодотворна и благодетельна, хоть бы даже в выполнении было много отдельных ошибок и шероховатостей. Если же при составлении плана потребности времени были поняты навыворот, то вся деятельность будет тем более бессмысленна и вредна, чем больше остроумия будет потрачено на подробности выполнения. Но если план составлен неверно, если всей деятельности дано ложное направление, что же это значит? Значит очевидно, что у составителя недостало проницательности, сообразительности и глубокомыслия. Значит, в гениальности составителя имеется такой крупный изъян, который портит все дело и превращает неудавшегося гения в опасного и вредного сумасброда.

Гейне говорит, что Наполеон изменил свободе и был аристократическим врагом гражданского равенства. Говоря это, Гейне думает, что это обстоятельство не наносит никакого ущерба гениальности Наполеона, точно будто это обстоятельство нисколько не зависело от процесса его мышления, точно будто измена и аристократизм составляют прирожденные качества Наполеона, подобные цвету его глаз и волос. Изменил свободе и сделался аристократом. Где ж у него было соображение, куда девалась его прославленная гениальность в то время, когда он решился идти наперекор таким стремлениям, которые, выходя из самых глубоких потребностей человеческой природы, доросли уже до своей окончательной зрелости? Если он решался на борьбу с этими стремлениями, значит он надеялся победить. А если он надеялся победить и упрочить

результаты своей победы, значит он не знал людей, не понимал ни прошедшего, ни настоящего и не составлял себе никакого приблизительно верного понятия о ближайшем будущем. Если же, с другой стороны, он говорил: *après moi — le déluge*[1] и хотел победить только для того, чтобы весело прожить на свете, то, стало быть, у него не было даже того величественного размаха мысли, который побуждает всех истинных гениев строить для далекого будущего. При всем том он, конечно, был, если хотите, гениальным полководцем и за это может быть поставлен наряду с каким-нибудь Мальборо, перед которым Гейне ни за что не согласился бы падать на колени. Эта частичная гениальность, или, вернее, эта виртуозность в каком-нибудь одном деле, это умение быть превосходным орудием какой угодно партии не имеет ничего общего с тем светлым умственным величием, которое характеризует настоящих благодетелей нашей породы, людей, способных угадывать наши потребности и создавать средства для их удовлетворения. Не всякий способен сделаться отличным полководцем, так точно, как не всякий способен сделаться отличным танцором или отличным знатоком красных вин, но из этого еще не следует, чтобы каждый отличный полководец имел право на то благоговение, с которым мы относились к гению, согревшему и украсившему нашу жизнь своими трудами.

Гейне сам знает очень хорошо настоящую цену всякой славы.

Смешно было бы, — говорит он, — поставить статую Лафайету на Вандомскую колонну, вылитую из пушек, отбитых в стольких сражениях, — на эту колонну, вида которой не может вынести ни одна французская мать, как поет Барбье. На этой железной колонне поставьте Наполеона — железного человека. Пусть ему и здесь, как в жизни, служит подножием его пушечная слава; пусть он в ужасающем одиночестве касается челом облаков, чтобы каждый честолюбивый солдат, увидав его там вверху, недостижимо, мог исцелиться от суетной жажды славы и чтобы эта колоссальная металлическая статуя служила для Европы громоотводом против завоевательного героизма, орудием мира. Лафайет воздвиг себе колонну лучше Вандомской, статую лучше металлической или мраморной (т. VII, стр. 46).

Итак, Лафайет выше Наполеона, военная слава объявлена суетною, и Вандомская колонна должна служить честолюбивым солдатам тем наглядным предостережением, которым, по соображениям мудрых криминалистов, виселица служит похитителям собственности. Стало быть, памятник, поставленный Наполеону, изображает собою не уважение потомков к его гениальности, а только то чувство ужаса, вследствие которого

[1] После меня — хоть потоп *(франц.)*. — *Ред.*

люди стараются увековечить воспоминание о каком-нибудь громадном национальном бедствии, вроде наводнения, пожара, землетрясения или чумы.

Гейне понимает также, каким образом наполеоновская система подействовала на французское общество.

Люди среднего возраста, — говорит он, — утомлены раздражающей оппозицией, выпавшей на их долю в период Реставрации, или развращены Империей, которая своей блестящей солдатчиной и своей шумной славой умерщвляла ⟨...⟩ всякую любовь к свободе (т. VII, стр. 60).

Наконец Гейне договаривается до самого наивного и неожиданного признания.

Правда, — говорит он, — что умерший Наполеон больше любим французами, чем живущий Лафайет, может быть, именно потому, что он умер. Мне по крайней мере это всего больше нравится в Наполеоне, потому что, будь он в живых, мне пришлось бы идти воевать против него (т. VII, стр. 47).

Это признание нисколько не мешает Гейне обожать Наполеона по-прежнему. Пользуясь правами поэта, Гейне презирает последовательность и перелетает с удивительною развязностью от самой злой насмешки к самому восторженному панегирику. Тот человек, который развратил Францию *блестящею солдатчиною* и систематически старался умертвить в своих современниках *всякую гражданскую доблесть*, тот человек, которого лучший подвиг состоит в том, что он умер, тот человек, которого надо поставить на колонну для вечного устрашения честолюбивых солдат, оказывается вдруг *божеством от головы до ног* (т. III, стр. 99), божеством, которого имя сделалось *лозунгом для народов* (т. III, стр. 100), так что *«Восток* и *Запад*, встречаясь между собою, *понимают друг друга только посредством этого имени»* (там же). В подтверждение той мысли, что имя Наполеона действительно может служить умственною связью между Востоком и Западом, Гейне рассказывает следующий случай. В лондонскую гавань вошел корабль, прибывший из Бенгалии; Гейне посетил этот корабль, почувствовал особенное влечение к его пассажирам и захотел сказать им какое-нибудь приветствие. Не зная их языка, Гейне, чтобы выразить им свое сочувствие, произнес очень почтительно имя «Магомет». Индейцы, желая ответить на его любезность, произнесли имя «Бонапарте». На этом и остановился разговор, так что обмен мыслей между Востоком и Западом оказался не очень значительным, несмотря на существование чудотворного имени, *сделавшегося лозунгом для народов*.

Довольно трудно сообразить, для какой цели рассказан этот случай и какое из него можно вывести заключение. Что

индейцы знают о существовании Наполеона? Прекрасно. Но что же из этого следует? Этою честью пользовались в свое время Аттила, Чингисхан, Тамерлан, Надир-шах, словом, все разбойники, занимавшиеся своим ремеслом в обширных размерах. Имена этих людей всегда были гораздо более известны, чем имена великих исследователей и изобретателей. Эти имена поражали народное воображение и делались лозунгом для народов, но эти имена всегда облегчали международные сношения точно настолько же, насколько имя Наполеона помогло индейцам разговаривать с Гейне. Все это очень хорошо известно и самому Гейне, но ему, как разорванному поэту, нет никакого дела до самых элементарных требований здравого смысла, если только эти требования мешают ему в данную минуту уронить с пера эффектный эпитет, блестящую метафору или грациозную картинку.

Гейне излагает очень обстоятельно те причины, которые побуждают его считать Наполеона богом. Причины эти заключаются в том, что у Наполеона не шевелились глаза. «Вообще, — говорит Гейне, — твердый, смелый взгляд есть отличительный признак богов. Поэтому, когда Агни, Варуна, Яма и Индра приняли образ Наля на свадьбе Дамаянти, последняя узнала своего возлюбленного по движению его зрачков; ибо, как сказано, глаза у богов всегда неподвижны. У Наполеона также глаза имели это свойство, а потому я и убежден, что он тоже был из богов» (т. V, стр. 243).

Что вы скажете об этом пассаже? Вы скажете, по всей вероятности, что это шутка. Но я с вами не соглашусь и скажу вам, что это просто бессмыслица, которую сам поэт тоже считает за бессмыслицу и которую он, тем не менее, выбрасывает из себя на бумагу, потому что он находит ее оригинальною и грациозною. И это самодовольное выбрасывание бессмыслиц совершается у Гейне до такой степени часто, что читатель, наконец, теряет возможность определить, где кончается серьезное размышление и где начинается сознательное и умышленное юродство, желающее изображать собою грацию. Гейне положительно думает, что поэт имеет право производить на свет такие сочетания понятий, которые никогда и ни при каких условиях не могут залезть ни в какую человеческую голову. Он часто пишет то, чего он никогда не мог думать и чего вообще не может подумать ни одно мыслящее существо,

ФРАНЦУЗСКИЙ КРЕСТЬЯНИН В 1789 ГОДУ

(Histoire d'un paysan 1789, par Erckman — Chatrian)

I

Лучшие романы господ Эркмана и Шатриана уже известны нашей публике. «Тереза», «Воспоминания рекрута 1813 года», «Ватерло», «Юродивый Иегоф» и «Записки пролетария» были в свое время — года три тому назад — переведены на русский язык, помещены в одном журнале, имевшем довольно обширный круг читателей *, и потом выпущены в свет отдельным изданием.

Во всех этих романах авторы преследуют одну и ту же задачу. Они стараются взглянуть на великие исторические события снизу, глазами той обыкновенно безгласной и покорной массы, которая почти всегда и почти везде молчит и терпит, платит налоги и отдает в распоряжение мировых гениев достаточное количество пушечного мяса. Такой взгляд снизу редко бывает возможен: обыкновенно масса не имеет понятия о том, что делается в руководящих слоях общества; ей неизвестны ни имена, ни лица, ни поступки, ни взаимные отношения, ни мысли, ни желания главных актеров, занимающих в данную минуту сцену всемирной истории; она их не видит, не слышит и не понимает; ей не приходит в голову, чтобы могла существовать какая-нибудь живая связь между действиями этих актеров и ее собственными очень мелкими, но очень жгучими заботами, лишениями и печалями; она не может и не умеет себе представить, чтобы среди этих блестящих и громко говорящих актеров у нее могли быть друзья и враги, которых победа или поражение отзовется на ее собственной жизни увеличением или уменьшением прямых и косвенных налогов, рекрутской повинности и разнородных стеснений, тормозящих свободное развитие ее труда.

Не зная самых крупных фактов новейшей и современной истории, не имея тех простейших элементарных сведений, которые должны служить фундаментом политического развития, не умея разбирать те буквы, которыми наполнен листок га-

зеты, не понимая тех слов родного языка, которые составлены из этих букв, не привыкнув следить внимательно за сколько-нибудь сложною и отвлеченною мыслью, развивающеюся в целом ряде предложений и периодов, не имея возможности оторваться от тяжелого, скотского труда, который кормит ее в обрез, часто оставляет ее впроголодь и всегда мешает ей возвыситься до каких бы то ни было соображений и обобщений, — масса обыкновенно относится ко всем своим страданиям с одинаково угрюмою покорностью, не задавая себе вопроса о том, отчего они происходят, от тридцатиградусного ли мороза, который при данной географической широте совершенно неизбежен, или от ненужной, разорительной и неискусно веденной войны, которую не трудно было бы предотвратить или по крайней мере повести искуснее и окончить скорее. Масса обыкновенно видит наказание божие и в продолжительном отсутствии дождя, обусловленном чисто физическими причинами, и, например, в дороговизне соли, произведенной искусственным путем, посредством неудачных финансовых мероприятий. Встречаясь на каждом шагу с такими наказаниями божиими, масса не восходит к их причинам, не задумывается над средствами устранить или ослабить их, а действует врассыпную, то есть так, что каждый отдельный человек старается сберечь свою жалкую жизнь и укрыться от наказания в первое попавшееся, надежное или ненадежное убежище. Случается голод вследствие засухи — масса бредет врассыпную побираться, и наблюдатель народной жизни замечает более или менее значительное приращение в общем итоге случаев бродяжничества, нищенства, воровства и грабительства. Происходит дороговизна соли вследствие налога — масса поступает точно так же: она выдвигает из своей среды, смотря по удобствам местности, сотни или тысячи контрабандистов, которые, конечно, стараются не о том, чтобы устранить зло, тяготеющее над народною жизнью, а о том, чтобы прожить и по возможности обогатиться при существовании и даже при содействии этого зла.

Обыкновенно масса протестует против разнородных общественных зол, отравляющих ее жизнь, — или своими страданиями, болезнями и вымиранием, или индивидуальными преступлениями. При обеих этих системах протеста, которые обыкновенно пускаются в ход одновременно, масса принимает гнетущее ее зло как существующий факт и, не пускаясь в анализ его причин, не составляет в себе никакого взгляда на породившие его лица и события и не воспитывает в себе никаких политических симпатий и антипатий.

Но не всегда и не везде господствует это полное отсутствие взгляда снизу на великие исторические события. Не

всегда и не везде масса остается слепа и глуха к тем урокам, которые будничная трудовая жизнь, полная лишений и горя, дает на каждом шагу всякому умеющему видеть и слышать. Если, с одной стороны, только в одних Северо-Американских Соединенных Штатах масса постоянно, изо дня в день и из года в год, следит за ходом своих собственных дел с одинаково неусыпным, просвещенным и разумным вниманием, то, с другой стороны, в цивилизованной Европе трудно найти хоть один уголок, в котором самосознание масс не обнаруживало бы, хоть мимолетными проблесками, самого серьезного и неизгладимо-благодетельного влияния на общее течение исторических событий.

Во Франции такие проблески народного самосознания заявляли себя не раз в течение восьми последних десятилетий. Господа Эркман и Шатриан стараются уловить в своих романах именно эти проблески. Они берут людей народной массы в те торжественные минуты, когда в этой массе под влиянием многолетнего горя начинает созревать неотложная потребность отдать себе строгий и ясный отчет в том, что мешает ей жить здоровою человеческою жизнью. Они стараются проследить, какими путями и каналами в народную массу медленно просачивается сознательное неудовольствие, исподволь вытесняя и сменяя собою ту неповоротливую и тупую угрюмость, которая является обыкновенным результатом неосмысленного страдания и обыкновенно разрешается диким запоем, бестолковыми драками и нелепыми преступлениями. Они пытаются угадать и показать, какая борьба мнений и взглядов разыгрывается в великие минуты народного пробуждения у каждого самого скромного семейного очага и в каждом самом убогом деревенском трактире. Они стараются ввести читателя в ту таинственную лабораторию, почти недоступную для историка, где выработывается, из бесчисленного множества разнороднейших элементов и под влиянием тысячи содействующих и препятствующих условий, — тот великий *глас народа*, который действительно, рано или поздно, всегда оказывается *гласом божиим*, то есть определяет своим громко произнесенным приговором течение исторических событий.

Романы господ Эркмана и Шатриана можно совершенно справедливо назвать историческими, потому что они рисуют очень яркими и хорошо подобранными чертами дух того времени, из которого взяты их сюжеты. Но эти романы нисколько не похожи на те сшивки из реляций, мемуаров, дипломатических нот, мирных договоров и разных других исторических документов, которые также называются обыкновенно историческими романами и составляют в большей части случаев один из самых бесплодных и непривлекательных родов литературы. В романах господ Эркмана и Шатриана великие

исторические деятели вовсе не выступают на сцену. В их романах, взятых из времен первой революции, читатель не встречается ни с Робеспьером, ни с Дантоном, ни с королем Людовиком XVI и вообще ни с одним из тех лиц, которых имя сколько-нибудь известно образованному человеку. В романах из времен первой Империи мы не видим ни Наполеона, ни его маршалов, ни его врагов. Господа Эркман и Шатриан не позволяют себе ни отбивать хлеб у историков, рисуя великие исторические фигуры на основании материалов, сложенных в архивы и достаточно проверенных строгою критикою, ни дополнять смелыми догадками и произвольными порывами фантазии то, что остается и навсегда должно оставаться в этих фигурах неясным и недорисованным. Господа Эркман и Шатриан не пробуют вводить читателя в такие кабинеты, в которые никто из простых смертных не входил, подслушивать такие речи, которых в свое время никто не мог слышать и записать, угадывать такие мысли, желания и душевные движения, которые остались для всего мира глубочайшею тайною.

Наших авторов занимает не внешний очерк событий, а внутренняя сторона истории, та сторона, которою мыслящий историк дорожит чрезвычайно, но которая почти всегда в очень значительной степени от него ускользает и всегда будет ускользать, потому что он редко имеет возможность черпать из устных источников, например, из рассказов стариков, не имеет права доверяться таким источникам, принужден, пользуясь ими, стирать с них все, что в них есть индивидуального, то есть именно самого свежего и характерного, и, наконец, обязан сдерживать свое воображение в таких тесных границах, которые не существуют для романиста. Наших авторов интересует не то, как и почему случилось то или другое крупное историческое событие, а то, какое впечатление оно произвело на массу, как поняла его масса и чем она на него отозвалась.

Внешняя и внутренняя стороны истории находятся между собою в постоянном живом взаимодействии. Войны, мирные трактаты, переходы областей из рук в руки, смены династий, министерств и правительственных систем, законодательные и административные преобразования — все это с одной стороны, а с другой стороны — размеры и свойства лишений, страданий, невежества и долготерпения массы находятся, очевидно, в самой тесной связи между собой, хотя далеко не все видят и далеко не всякий историк умеет доказать и проследить действительное существование этой неизбежной и неразрывной связи. Очевидно, что всякое крупное историческое событие совершается или потому, что народ его хочет, или потому, что народ не может и не умеет ему помешать. Очевидно также,

что всякое историческое событие, которое действительно стоит называть и признавать крупным, совершается или в ущерб народу, или на его пользу, а это значит в общем результате, что оно или усыпляет, или, напротив того, живит и развивает в народе способность верно понимать, сильно желать и твердо настаивать.

Господа Эркман и Шатриан стараются в своих романах уловить эту связь между внешнею и внутреннею стороною истории. Они стараются показать, как то или другое историческое событие будило в массе самосознание и самодеятельность и как это умственное и нравственное пробуждение массы давало своеобразный оборот и сообщало живительный толчок дальнейшему течению событий. Это стремление указать массе на ту роль, которая по всем правам принадлежит ей на сцене всемирной истории и которая доставалась и всегда будет доставаться ей на долю всякий раз, как только она сумеет поразмыслить, вникнуть и вовремя промолвить свое тяжеловесное слово, — это стремление, составляющее живую душу романов господ Эркмана и Шатриана, придает этим романам важное и благотворное воспитательное значение.

Эти романы развивают в своих читателях способность уважать народ, надеяться на него, вдумываться в его интересы, смотреть на совершающиеся события с точки зрения этих интересов, называть злом все то, что усыпляет, а добром все то, что будит народное самосознание. Когда эти романы читаются человеком, принадлежащим к высшему или среднему классу общества, тогда они возделывают в нем чувство спасительного смирения, напоминая ему на каждом шагу, что настоящим фундаментом самых великолепных и замысловатых политических зданий всегда и везде является народная масса и что постоянная заботливость о благосостоянии этой массы составляет первую и самую священную обязанность всякого, кому эта масса своим неутомимым трудом доставила возможность сделаться мыслящим и образованным человеком. Когда эти романы попадаются в руки простому работнику, они внушают ему чувство законного и разумного самоуважения; он видит из них, что ему нет ни малейшей необходимости быть пассивным орудием чужой прихоти и покорным слугою чужих интересов; он видит, что люди той массы, к которой он сам принадлежит, и притом люди самых обыкновенных размеров, способны не только думать по-своему и обсуживать очень благоразумно свои общественные дела, но и влиять на направление народной жизни. Когда француз читает эти романы, они помогают ему ценить и любить в прошедшем своего народа то, что действительно достойно почтительной любви; они учат его гордиться тем, что по всей справедливости должно возбуждать гордость умного и честного патриота. Ино-

странцу эти романы показывают наглядно, в живых образах, то, чего он должен желать и добиваться для своего народа. Словом, кому бы ни попались в руки эти романы, всякого они наведут на такие размышления, которые не останутся бесплодными для его политического развития.

Можно сказать без преувеличения, что романы гг. Эркмана и Шатриана составляют очень удачную попытку популяризировать историю Франции за последние восемьдесят лет, и популяризировать именно так, как должна быть популяризирована история. Из этих романов читатель не узнает конечно, в котором году родился, женился, вступил на престол и умер тот или другой король или император французов, с кем он воевал и мирился, из-за чего и на каких условиях, по какому поводу и когда он менял своих министров. В этом смысле история достаточно популяризирована в элементарных и дешевых учебниках, и дальше популяризировать ее нельзя и незачем. Но смысл главнейших событий, то зло или то добро, которое они внесли в народную жизнь и которым народ и его друзья должны их поминать, выясняются этими романами так, как не могли бы их выяснить для массы читателей никакие учебники.

Что попытка популяризировать историю Франции, сделанная господами Эркманом и Шатрианом, не остается бесплодною — это доказывается просто тем числом изданий, которое выдержали многие из их романов. «Тереза» до 1868 года выдержала 13 изданий; «Ватерло» — 17; «Воспоминания рекрута» — 21. Когда книга в три-четыре года выдерживает больше десятка изданий, тогда, очевидно, ее читают все классы общества, читают даже и простые работники, и читают с постоянно возрастающим удовольствием, усердно расхваливая ее друзьям и знакомым, старательно вдумываясь в нее и завязывая и выдерживая по ее поводу горячие и продолжительные прения. Если книга читается таким образом, то, значит, умы читающих людей, в том числе и простых работников, направляются на те предметы, о которых эта книга трактует. А этого последнего условия совершенно достаточно, чтобы романы гг. Эркмана и Шатриана обнаружили все свое образовательное влияние и принесли народному самосознанию всю ту пользу, которую они могут принести.

II

К новому роману гг. Эркмана и Шатриана, к «Истории крестьянина», вполне прилагаются те замечания, которые я высказал до сих пор об их романах вообще. В «Истории крестьянина» наши авторы стараются показать читателю, как

жилось, что думалось и чувствовалось во французской деревне в тот знаменательный год, когда правительство Людовика XVI, изнемогая под бременем постоянно возрастающего дефицита, увидело себя принужденным приступить наконец к созванию государственных чинов *.

В этом романе рассказ ведется от имени старого крестьянина, который был молодым мальчиком в 1789 году, помнит совершенно отчетливо, как жили его родители при господстве старого порядка, и потом видел собственными глазами все фазы политического движения, уничтожившего во Франции все остатки средневекового общественного строя.

Действие романа происходит в Лотарингии, недалеко от города Пфальцбурга. Нашим авторам, по-видимому, особенно хорошо знакома эта местность **. Имя Пфальцбурга встречается почти во всех их романах. Гнездо их героев почти всегда находится где-нибудь поблизости этого города. В «Истории крестьянина» есть даже прямое указание на один из прежних романов, на «Юродивого Иегофа», в котором рассказано несколько эпизодов из народной войны против союзников в 1814 году. Деревенский священник Кристоф Матерн, действующий в «Истории крестьянина», оказывается родным братом Матерна, который в «Юродивом Иегофе» является одним из храбрейших и влиятельнейших волонтеров. То обстоятельство, что почти все романы наших авторов прикреплены к одной местности, дает нам право предположить, что тут очень многие подробности, лица и положения прямо списаны с натуры и что мы имеем перед собою взгляд снизу на исторические события, не сочиненный талантливыми и просвещенными писателями, а просто в значительной степени, если не вполне, подслушанный на месте и записанный со слов рассказчиков из среды самого народа. Понятно, что это обстоятельство может только увеличить достоинство и усилить занимательность этих романов.

Мишель Бастиан, крестьянин, ведущий рассказ от своего имени, — сын бедного корзинщика, который вместе с женою должен кормить шесть человек детей, не имея на это никаких средств, — ни гроша денег, ни клочка земли, ни козы, ни курицы, — ничего, кроме личного труда, обставленного множеством разнообразнейших стеснений и подвергающегося множеству таких же разнообразных поборов и вымогательств.

Изобретательность средневековых властей в деле эксплуатирования простых и беззащитных людей была, как известно, неистощима. Везде, где можно было поставить заставу и при ней посадить караульщика, обязанного брать дань с проходящих и с проезжающих, там эта застава ставилась и караульщик сажался. Везде, где можно было перехватить по дороге

товары, переходящие из рук в руки, и оторвать от них кусочек в виде налога или пошлины, там товары, как бы они ни были скромны, перехватывались и кусочек отрывался. Везде, где можно было учредить монополию, разорительную для большинства и прибыльную только для самого вельможного учредителя, там монополия была учреждена. Везде, где можно было продать в частные руки какое-нибудь право, существенно необходимое каждому отдельному работнику, там это право было продано, часто за поразительно дешевую цену, жадному и бессовестному откупщику. Накопляясь с течением веков, эти чудеса финансовой гениальности превратились наконец в такую чудовищную гору, которая совершенно придавила к земле всю массу трудящегося населения, так что этой массе представилась наконец альтернатива или задохнуться под этою горою, или задуматься над вопросом: куда идут деньги, добываемые такими энергическими и разнообразными средствами, и точно ли они идут туда, куда им следует идти.

Задыхаться под горою финансовых чудес — это было самое привычное дело для той массы, о которой рассказывает Мишель Бастиан. Редкий крестьянин мог осенью чувствовать себя уверенным, что ему достанет хлеба до следующей уборки. Редкий работник имел достаточные основания надеяться, что хлеб среди зимы не сделается для него предметом роскоши, совершенно недоступным по своей дороговизне. Зимою три четверти деревенского населения отправлялись побираться. Капуцины и другие нищенствующие монахи жаловались начальству на это беззаконное обилие конкурентов. Начальство, встревоженное неблагообразным развитием нищенства, старалось искоренить зло строгими законодательными и административными мерами. Нищих ловили, сажали в тюрьмы и ссылали на галеры. На нищих делались облавы. Против нищих выводили в поле вооруженные отряды. Но голод был страшнее солдатских штыков и того кнута, под которым работали каторжники, и число нищих росло, несмотря на жалобы капуцинов и циркуляры начальства. К весне, когда съестные припасы истощались во всей стране и когда каждый предусмотрительный домохозяин сокращал поневоле размеры подаяний, тогда многие из уцелевших нищих превращались с голоду в грабителей и бросались на проезжающих.

Начальство высылало войска и потом отправляло на виселицу десятки захваченных преступников. Таким образом, гора финансовых чудес буквально душила людей, доводя их путем нищенства, бродяжничества и преступления до каторги и до виселицы.

Задумываться над вопросом о тех причинах, которым гора финансовых чудес обязана своим существованием и воз-

растанием, было, конечно, несравненно труднее, чем так или иначе задыхаться под этою горою. Если эта гора своим гнетом делала серьезные размышления абсолютно необходимыми для спасения придавленного народа от одичания и вымирания, то эта же самая гора, тем же своим гнетом, по-видимому, делала такие размышления совершенно невозможными. В самом деле, разоренному, обобранному, истощенному, голодному и прозябшему человеку, изнемогающему под тяжестью механического и неблагодарного труда, необходимо, более чем всякому другому, вдуматься в свое бедственное положение, обсудить его со всех сторон, изучить пытливым взглядом все особенности окружающих условий, найти выход и немедленно воспользоваться сделанным открытием. Но такой человек, именно потому, что он разорен, обобран, истощен, голоден, дрожит от холода и забит воловьим трудом, — менее всякого другого способен к тем тонким и сложным умственным операциям, для которых требуется спокойствие, досуг, самоуверенность, способность смотреть вперед с сознательною надеждою и относиться к жизни с разумною требовательностью.

Вглядываясь в то положение, до которого были доведены трудящиеся классы французского народа в царствования Людовиков XIV, XV и XVI, и принимая в соображение ту общеизвестную истину, что невежество и умственная затхлость являются неразлучными и неизбежными спутниками крайней и безвыходной бедности, — можно было бы подумать, что французскому народу не оставалось в конце прошлого столетия никаких шансов спасения и что он обнаружит совершенное политическое бессмыслие и самую жалкую неспособность позаботиться о самом себе, когда его правительство, разорив его вконец и очутившись перед пустыми денежными сундуками, будет поставлено в необходимость сложить с себя на его плечи всю ответственность за дальнейшее ведение общественных дел. Как и почему разоренный и забитый народ мог в решительную минуту развернуть и несокрушимую энергию, и глубокое понимание своих потребностей и стремлений, и такую силу политического воодушевления, перед которою оказались ничтожными все происки и попытки внешних и внутренних, явных и тайных врагов, как и почему заморенный и невежественный народ сумел и смог подняться на ноги и обновиться радикальным уничтожением всего средневекового беззакония — это, конечно, одна из интереснейших и важнейших задач новой истории. Господа Эркман и Шатриан подходят к этой задаче с той стороны, с какой они могут к ней подойти, оставаясь романистами. Они наводят читателя на поучительные размышления об этой задаче и дают ему любопытные материалы для ее разрешения.

Мишель Бастиан является до некоторой степени представителем всего французского народа. В истории его личности отразилась судьба целой нации. По всем данным, надо было ожидать, что этот Мишель проведет всю свою жизнь в бедности, в грязи, в невежестве, снимая шапку перед каждым встречным барином и даже солдатом, целуя руку у каждого грязного и пьяного капуцина и не имея никаких сознательных политических убеждений, никаких общественных симпатий и антипатий, приобретенных самостоятельным трудом собственной мысли. Между тем на деле оказывается совсем другое. В 1789 году, восемнадцати лет от роду, Мишель читает газеты, интересуется политикой, понимает очень верно, хотя, конечно, в общих чертах, то, чего надо желать народу, принимает близко к сердцу его благо, знает и ненавидит его врагов, знает и любит его друзей, словом, обнаруживает в себе величайшую способность сделаться при сколько-нибудь благоприятных условиях политическим деятелем самого радикального образа мыслей. В совершенной гармонии с политическими убеждениями Мишеля находятся и его собственные, личные, чисто человеческие наклонности и стремления. Свободная мысль и свободное чувство проникают насквозь и облагороживают все его существо. Воспитанный в самой голодной нужде, привыкши слышать с детства, что бедность величайшее зло, а богатство драгоценнейшее благо, бывши с малых лет свидетелем того, как его отец, за неимением нескольких франков, принужден был пресмыкаться перед бессовестным ростовщиком Робеном, величайшим негодяем во всем околотке, — Мишель, однако же, влюбляется в бедную девушку, отдается всею душою своему чувству и остается совершенно равнодушен к любезностям богатейшей невесты во всей деревне. Получив о пределах родительской власти такие понятия, при которых ему казалось совершенно естественным, что его отец и мать, желая расплатиться с ростовщиком Робеном, продают в рекруты его старшего брата, — Мишель тем не менее решается в том деле, которое ему особенно дорого, действовать по собственному благоусмотрению, прямо, наперекор воле матери, не отступая и не робея даже перед угрозою проклятия. Он останавливает свой выбор на бедной девушке, да вдобавок еще на кальвинистке, то есть именно на той, кого родители его всего менее желали бы сделать своею невесткою. Проникнувшись в родительском доме привычкою благоговеть и трепетать передо всяким начальством, начиная с последнего сторожа и рассыльного, и покоряться беспрекословно всем самым неразумным и явно противозаконным требованиям этого начальства, Мишель в 1789 году оказывается настолько свободным от этой привычки, что грозным выражением своего

лица обращает в бегство одного начальника, подошедшего слишком близко к Маргарите Шовель, с целью сделать ей строгое внушение за излишнюю находчивость и неустрашимость.

Какие же обстоятельства, какие же влияния пересоздали внутренний мир Мишеля и дали ему определенные мысли и смелые желания вместо тех изношенных формул трусливой покорности, мелкого корыстолюбия и вялой безнадежности, которые, въевшись в убогие стены его родовой хижины, составляли в течение столетий всю умственную жизнь его несчастных предков, всю их хваленую житейскую мудрость?

Ответ на этот вопрос задуман у наших авторов так умно, что, вглядевшись внимательно в этот ответ, мы будем в состоянии объяснить себе до некоторой степени, каким образом разрешается та важная и интересная историческая задача, на которую было указано выше.

III

Вокруг Мишеля группируются три типические личности, имеющие решительное влияние на его умственное и нравственное развитие: богатый кузнец, он же и деревенский трактирщик, Жан Леру, деревенский священник Кристоф Матерн и кальвинист, разносчик книг и газет Матюрен Шовель. О каждой из этих личностей стоит поговорить подробно.

Жана Леру можно назвать хорошо выбранным представителем той части французской буржуазии, у которой связи с народом не совсем разорваны и которая в свое время, без ущерба самой себе, оказала народу самые существенные услуги. Жан Леру принадлежит, с одной стороны, к привилегированным классам, потому что он мастер кузнечного цеха, а звание мастера и все связанные с ним выгоды обыкновенно переходили от отца к сыну так точно, как звание и поместья герцога, графа или маркиза. С другой стороны, Жан Леру принадлежит к народу, потому что он не на шутку и не для виду работает у себя в кузнице рядом с своими подмастерьями. У него руки черные и жесткие, как у настоящего ремесленника. По всем своим вкусам и привычкам он стоит гораздо ближе к полуголодным и бесправным рабочим, чем к господам хорошего тона, носящим бархатные кафтаны, шпагу на боку и пудру на голове. Он платит тяжелые налоги, от которых эти господа свободны по праву рождения или умеют освободиться стараниями знатных покровителей. Он принужден сгибаться в дугу перед каждым из тех многих мелких

чиновников, к которым господа относятся свысока и которые при каждом удобном случае рады быть покорнейшими слугами этих господ. Он расположен смотреть недоброжелательно на господ с белыми руками и с изящными манерами, во-первых, потому, что он подозревает некоторую связь между белизною их рук и изяществом их манер, с одной стороны, и количеством тех налогов, которыми помрачается его благополучие, с другой стороны, а во-вторых, и потому, что он совершенно справедливо предполагает в этих господах всегдашнюю готовность обойтись с ним презрительно, грубо или даже жестоко, как с безответным и бесчувственным *roturier, manant* или *vilain*[1].

До поры до времени симпатии Жана Леру принадлежат народу, но будут они ему принадлежать только до тех пор, пока развитие народных прав будет в каком бы то ни было отношении усиливать или упрочивать благосостояние мастеров кузнечного цеха и деревенских трактирщиков. Жан Леру кричит против несправедливостей и желает глубоких и обширных преобразований, но он перестанет кричать и желать в ту блаженную минуту, когда несправедливости перестанут производиться в ущерб ему и когда осуществятся все те преобразования, из которых он может извлечь себе непосредственную личную выгоду. В эту минуту он отодвинет от себя блюдо с дальнейшими преобразованиями, скажет: «я сыт», порешит, что народ тоже сыт и доволен, — и сделается злейшим врагом всякого шума и всяких толков, способных нарушить процесс его здорового пищеварения.

В борьбе народа за свои права и за свое человеческое существование Жан Леру не способен быть ни полководцем, ни солдатом. Но он может принести значительную пользу в качестве трубача, когда это дело не представляет серьезных опасностей и хорошо оплачивается деньгами или почетом. Он не способен в минуту общего замешательства сказать во всеуслышание: «вот что надо сделать!» Не способен он также, услышав это вещее слово, броситься вперед с полным самоотвержением и сделать, презирая всякую опасность, то, что соответствует потребностям данного затруднительного положения. Но он может сообразить своим дюжим умом, что вещий голос сказал правду, и у него хватит смелости в ту минуту, когда толпа еще колеблется, крикнуть своим здоровым басом: «да, это точно надо сделать!» Поражая нервы недоумевающей толпы, здоровый бас производит часто гораздо более сильное впечатление, чем умное слово. А когда этот здоровый бас принадлежит человеку с независимым состоя-

---

[1] Разночинцем, деревенщиной или мужиком (*франц.*). — *Ред.*

нием и с некоторым положением в обществе, тогда он приобретает почти неотразимую убедительность, потому что слушатели предполагают совершенно основательно, что обладатель такого баса, состояния и положения не станет рисковать легкомысленно всеми этими благами и увлекать за собою толпу на очень опасную дорогу. Когда люди вроде Жана Леру решаются крикнуть: «да, это точно надо сделать», тогда они почти наверное могут рассчитывать, что толпа двинется за ними и превознесет их, как своих руководителей и благодетелей. Чтобы крикнуть, нужна все-таки некоторая доза смелости, потому что в таких делах шансы неудачи никогда не могут быть вполне предусмотрены и совершенно устранены. Но смелости тут требуется именно столько, сколько требуется ее для того, чтобы пуститься в выгодную спекуляцию. Жан Леру — смелый и неглупый спекулятор. Что бы он ни делал, за какую бы великую и общеполезную работу он ни принимался, он всегда остается спекулятором, и именно в качестве спекулятора он при известных условиях может оказать обществу некоторые услуги.

Следующий эпизод превосходно освещает личность Жана Леру. Разносчик Матюрен Шовель, побывавши в Германии, приносит оттуда картофельные шкурки и рассказывает, что если посеять эти шкурки, то от них родится неслыханное количество питательных и вкусных корней, которые навсегда могут застраховать страну от голода. Шовель сам видел, как картофель, остававшийся до того времени неизвестным во Франции, сеется и родится уже в течение нескольких лет в Германии. Жан Леру давно знает Шовеля и совершенно уверен в том, что Шовель, во-первых, вполне способен подметить и понять те вещи, на которые он обращает внимание, и, во-вторых, совершенно не способен прикрашивать в своем рассказе действительность блестящими вымыслами. Зная, что на слова Шовеля можно полагаться, как на свидетельство собственных чувств, Леру берет у него шкурки, показывает их всем своим соседям и знакомым и советует им посеять их для пробы. Тут он, конечно, поступает не так, как поступил бы жадный барышник. Тот взял бы сразу все шкурки себе и постарался бы устроить так, чтобы картофель можно было покупать только у него. Но Леру, во-первых, вовсе не желает приобрести себе репутацию барышника, ростовщика и кровопийцы, обращающего себе на пользу общественные бедствия. А во-вторых, для монополизирования картофеля потребовалось бы согласие Шовеля, на которое совершенно невозможно было рассчитывать. Шовель принес из-за границы шкурки собственно для того, чтобы произвести опыт, полезный для страны; он не торговал этими шкурками, а отдавал их даром, потому что у него

самого не было ни клочка земли и, стало быть, не на чем было устроить пробный посев. К такому человеку было совершенно неудобно обращаться с предложениями в барышническом вкусе. Кроме того, самая глубокая типическая черта в людях, подобных Жану Леру, состоит именно в том, что они стараются и обыкновенно успевают совместить вещественные выгоды с невещественными. Они не упускают ни одного случая поживиться лишнею копейкою, и в то же время никто о них не говорит и не думает, что они с неприличною жадностью гоняются за этими случаями. Всякий знает, что они своих выгод не теряют из виду и не роняют из рук, но всякий приписывает это обстоятельство скорее силе их ума и мужественной твердости их характера, чем их бездушности и мелкому пристрастию к деньгам. Они богатеют не по дням, а по часам, и в то же время толпа их сограждан относится к их богатству и к их личности с любовью и с уважением, потому что видит в первом, то есть в богатстве, достойную награду добродетелей, украшающих вторую, то есть личность.

Соседи и знакомые, подзадоренные капуцином Бенедиктом, встречают предложение Леру о сеянии картофельных шкурок недоверием и насмешками. Тогда Леру решается взять себе все шкурки и засеять ими весь свой огород. Леру оказывается, таким образом, умнее, предприимчивее и смелее всех своих односельчан, но, в сущности, чем же он рискует? В случае неудачи он только потеряет те овощи, которые родились бы в этом году у него в огороде, на пространстве четверти десятины. Потеря для него ничтожная, и шансы неудачи до крайности малы, потому что Леру знает хорошо того человека, который рекомендует ему сеяние нового растения. Значит, Леру просто схватывает новое верное средство обогащения, от которого сторонятся его земляки. Схватывая это средство, он обнаруживает, несомненно, свое умственное превосходство над земляками и оказывает им важную услугу, но, чтобы оказать обществу такую услугу, не требуется, очевидно, никаких гражданских и человеческих доблестей.

До начала июня на земле, засеянной шкурками, не показываются ростки. Вера Леру в показания Шовеля начинает колебаться. Ему уже жалко потратить на опыт несколько франков. Он уже подумывает, не засеять ли огород люцерной, чтоб земля не пропадала даром. Ум и характер спекулятора сейчас дают себя знать, как только спекуляция начинает принимать неблагоприятный оборот.

Однако успех опыта предупреждает бегство спекулятора. Картофель начинает расти, и Леру торжествует. Во время уборки он говорит: «На будущий год надо будет засадить

этими корнями мои две десятины на берегу; а остальное мы продадим по хорошей цене: что дают людям за бесценок, того люди и не ценят ни в грош».

Этими словами Леру характеризует себя как нельзя лучше. Картофель будет продан по хорошей цене — значит, интересы кармана соблюдены. Эта продажа по хорошей цене мотивирована удовлетворительно и объясняется человеколюбивым желанием Леру разрушить предрассудки, встретившие первое появление картофеля. Значит, рядом с интересами кармана спасается и слава Леру как просветителя и благодетеля родного края.

В день уборки Жан Леру добродушно говорит Шовелю: «Вы обедаете с нами, Шовель, мы их отведаем, и коли они хороши на вкус, в них будет богатство Барак» (имя деревни). Так бывает всегда и везде, в больших и в малых делах. Жаны Леру, люди, потрудившиеся выслушать чужую мысль и принять к сведению ее достоинства, забирают в свою пользу выгоды и популярность, а Шовели, настоящие изобретатели, притащившие на своих плечах те негодные шкурки, которые превращаются в новый источник народного богатства, Шовели получают радушное приглашение на обед и радуются тому, что чужой картофель уродился превосходно.

История о картофеле кончается тем, что «мастер Леру, которого глупость людей очень рассердила, продал им свои семена очень дорого».

Оказав своим землякам существенную услугу введением картофеля, Леру оказывает им другую, еще более важную услугу, которая также ровно ничего ему не стоит. Когда приходит время выбирать депутатов от деревни, тогда Леру рекомендует избирателям Шовеля, который действительно оказывается превосходнейшим защитником их интересов. Если бы деревня Жана Леру должна была выбирать только одного депутата и если бы Леру в этом случае уступил Шовелю, как достойнейшему, то место, которое предлагалось ему, Жану Леру, — тогда тут была бы по крайней мере с его стороны доблестная победа, одержанная над собственным честолюбием. Но и этого не было. Бараки высылали двоих депутатов; избиратели пришли предлагать Леру первое место и советоваться с ним насчет того, кому дать второе. Леру ответил им, что он принимает звание депутата только с тем непременным условием, чтобы другим депутатом был Шовель, кальвинист, на которого избиратели, добрые католики, смотрели как на человека совершенно невозможного. Поступая таким образом, Леру, во-первых, предписывал законы избирателям, — значит, тешил свое самолюбие, как только это было возможно, и, во-вторых, обеспечивал себе в собрании деревенских депутатов

такого товарища, с которым ему невозможно было стать в тупик и осрамиться.

Фигуру Жана Леру можно было бы дополнить множеством мелких черточек, разбросанных в различных местах романа, но я нахожу, что ее основной смысл уже теперь достаточно ясен. Это один из тех людей, которые отлично служат общему делу, когда требования этого дела совпадают с интересами их личного материального благосостояния.

IV

Чтобы читатели сразу поняли личность священника Кристофа Матерна, я приведу довольно большую выписку. Матерн приходит вечером, в проливной дождь, в трактир к своему приятелю Жану Леру.

— Я из Саверна, — говорит он. — Видел этого знаменитого кардинала де Роган... Боже милостивый! Боже милостивый! И это кардинал, князь церкви!.. Ах, как подумаешь!..

Он негодовал. Вода текла по его щекам на воротник его рясы; он порывисто снял свои брыжи и положил их в карман, прохаживаясь из угла в угол. Мы смотрели на него с изумлением; он как будто не видал нас и говорил с одним мастером Жаном.

— Да, видел я этого князя, — кричал он, — видел этого великого сановника, который обязан нам подавать пример доброй нравственности и всех христианских добродетелей, видел, как он сам правил своими лошадьми и скакал во весь опор по большой савернской улице, посреди фаянсовой и глиняной посуды, разбросанной по земле, и хохотал, как настоящий безумец. Какой соблазн!..

— Ты знаешь, что Неккера в отставку? — спросил мастер Жан.

— Как не знать! — сказал он с презрительною улыбкою. — При мне ведь настоятели всех эльзасских монастырей — пикпусы, капуцины, кармелиты, барнабиты, все нищие, все босоногие проходили церемониальным маршем через передние его высокопреподобия! Ха, ха, ха!

Он крупными шагами ходил по комнате. Он был в грязи по поясницу, промочен до костей, но он ничего не чувствовал; его большая курчавая голова с проседью вздрагивала; он говорил как будто с самим собою:

— Да, Кристоф, да, вот они князья церкви!.. Поди попроси монсиньора заступиться за бедного отца семейства; поди пожалуйся тому, кто должен быть опорою духовенства; поди скажи ему, что агенты фиска, якобы отыскивая контрабанду, забрались даже в твой священнический дом; что тебе пришлось отдать им ключи от твоего погреба и от твоих шкафов. Скажи ему, что это срам — заставлять гражданина, кто бы он ни был, днем и ночью отворять свою дверь вооруженным людям без мундира, без всякого знака, по чем бы их отличать от разбойников; и этим людям верят в суде на слово! и не позволяется собирать никаких справок о их жизни и нравственности, когда их вводят в должность и доверяют их опасному слову имущество, честь, иногда жизнь других людей! Попробуй скажи ему, что это дело его чести довести эти справедливые жалобы до подножия престола и заставить выпустить на волю несчастного, засаженного в тюрьму за то, что пристава нашли у него четыре фунта соли... Сунься... сунься... славно тебя примут, Кристоф!

— Но, ради бога, — сказал ему мастер Жан, — что с тобою случилось?

Тогда он остановился на две минуты и сказал:

— Я пошел туда пожаловаться на генеральный обыск, сделанный соляными приставами вчера, в одиннадцать часов вечера, в моей деревне, и на арестование одного из моих прихожан, Якова Баумгартена. Это была моя обязанность. Я думал, что кардинал это поймет; что он сжалится над несчастным отцом семейства, купившим несколько фунтов контрабандной соли, и велит его выпустить. Ну, во-первых, мне пришлось простоять два часа у ворот этого великолепного замка, куда капуцины входили как к себе домой. Они шли поздравлять монсиньора с благополучною сменою Неккера. Потом мне позволили войти в этот Вавилон, где кичливость шелка, золота и камней обнаруживается повсеместно, в живописи и в остальном! Наконец меня там продержали с одиннадцати часов утра до пяти вечера, с двумя бедными священниками с горы. Мы слышали, как хохотали лакеи. Один из них, большой, весь в красном, показывался на пороге, смотрел на нас и кричал другим: «поповшина всё тут!» Я терпел... Я хотел пожаловаться монсиньору; вдруг один из этих нахалов приходит и говорит нам, что аудиенции монсиньора отложены на неделю. Мерзавец смеялся.

С этими словами г. священник Кристоф, державший в руках толстую палку, сломал ее, как спичку, и лицо его сделалось ужасно.

— Этой шельме стоило бы надавать пощечин, — сказал мастер Жан.

— Кабы мы были одни, — ответил священник, — я взял бы его за уши и отделал бы. Но там я принес мое унижение в жертву господу.

Он опять стал ходить по комнате. Мы все его жалели. Катерина принесла ему хлеба и вина; он поел стоя, и вдруг гнев его схлынул. Но он сказал такие вещи, которых я никогда не забуду. Он сказал:

— Поругание справедливости повсеместно. Народ все делает, а другие только нахальничают; они попирают ногами все добродетели; они презирают религию. Сын бедняка их защищает; сын бедняка их кормит; и также сын бедняка, вот такой, как я, проповедует уважение к их богатствам, к их почестям и даже к их бесчинствам! Долго ли это протянется? Я не знаю; но всегда продолжаться это не может! это противно природе, это противно воле божией. Это бессовестно — проповедовать уважение к тому, что достойно позора! Это должно кончиться, и в писании ведь сказано: «Кто творит мои заповеди, войдет в мою обитель. Но извержены будут бесстыдные, лжецы, идолослужители: все, кто любит неправду и творит ее».

Кристоф Матерн — один из тех людей, которые могут посвятить всю свою жизнь служению узкой, односторонней идее, но которые, во всяком случае, вносят глубокую нравственную серьезность во все то, чему они себя посвящают. Матерн может сделаться ретроградом, обскурантом, гонителем и палачом, но, как бы он ни заблуждался, он всегда будет заблуждаться с полною искренностью, постоянно прислушиваясь только к голосу собственной совести. Проповедовать по обязанности службы то, чему он по совести не верит, или то, чему он верит вполовину, играть в жизни какую бы то ни было комедию, лицемерить и тартюфничать он решительно не в состоянии. Ему непонятно, каким образом можно по платью и по титулу быть кардиналом, а по жизни и по привычкам — веселым кутилой. Он принимает серьезно и совершенно буквально те обязанности, которые налагает на человека его звание. От каждого частного явления он требует, чтобы оно при-

ближалось или по крайней мере обнаруживало стремление приблизиться к идеалу. Такие соображения, что идеал слишком высок, что совершенство недостижимо, что дорога к идеалу усеяна непобедимыми трудностями, что идеал, созданный для другого времени, сделал свое дело и отошел в область истории, — такие соображения для Кристофа Матерна не существуют. У него в основе его мышления и деятельности лежит такое правило: или добросовестно, с напряжением всех сил идти к идеалу, или не смей им прикрываться и во имя его брать с народа десятину и всевозможные пожертвования.

Личный характер Кристофа вполне соответствует его общественному положению. То есть задатки, заключавшиеся в природном складе его ума, более крепкого, чем гибкого, должны были развернуться и закалиться теми отношениями к людям, в которые его поставило звание деревенского священника.

Католическая церковь, как известно, очень рано стала превращаться в политическое учреждение. Папы сначала гнались за недостижимым призраком гильдебрандовской теократии *, а потом стали округлять свои владения в Италии. Французская, или галликанская, церковь, желавшая сосредоточить все силы королевства в руках короля, так же точно имела свои *политические* тенденции, обыкновенно шедшие наперекор столь же *политическим* планам пап. Это политическое направление, которое в своей совокупности могло быть совершенно ясно только лицам, высоко поставленным в церкви, всегда возбуждало неудовольствие в людях, искренно и глубоко веровавших, в тех многих людях, которые требовали от пастырей церкви христианских добродетелей, а не административных или дипломатических талантов. Политическое направление, господствовавшее в высших слоях духовенства, никогда не могло проникать собою всю корпорацию сверху донизу. Монахи, образуя из себя строго организованные и отлично дисциплинированные отряды, могли быть послушным орудием в руках своих генералов, посвященных в тайны высшей политики. Но деревенские священники, разбросанные среди светских людей и живущие одною жизнью с своими прихожанами, никак не могли следить за изгибами и поворотами клерикальной политики; теряя способность понимать планы начальства и сознательно сочувствовать ему, относясь к высшим политическим комбинациям почти так, как относились наши становые к запросам статистических комитетов, деревенские священники должны были, смотря по своим личным свойствам, пойти по одному из двух путей — или по пути набивания карманов и желудков, или же по пути деятельного человеколюбия. Священники, пошедшие по этому второму пути, должны были, путем своей деятельной и честной жизни, возвыситься до очень

ясного и верного понимания того идеала, который они имели полное право считать для себя обязательным. Во имя этого идеала они должны были при каждой встрече строго осуждать высших сановников церкви, окунувшихся с головою в темный омут политических интриг. Оппозиция незаметно росла, таким образом, в среде одного из самых привилегированных сословий.

В XVII и XVIII столетиях католицизм начал, сперва понемногу, а потом все быстрей и быстрей, терять свое господство над умами. Ряды католической иерархии стали пополняться людьми, равнодушными ко всякой религии, не имеющими никаких, ни философских, ни политических убеждений, способными только чваниться гербами и предками и усвоившими себе только то правило эпикурейской мудрости, что надо жить, пока живется. В высших сферах католического духовенства стали понемногу утрачиваться даже и та серьезность и деловая озабоченность, которою отличались прежние политические интриганы. Все чаще и чаще стали появляться такие прелаты, у которых в жизни не было никакой другой цели, кроме получения и проживания громадных доходов. Тогда глухой разлад между высшим и низшим духовенством сделался еще более непримиримым; богатые и веселые прелаты, проводящие свою праздную жизнь среди таких же богатых, праздных и веселых аристократов обоего пола, потеряли всякую нравственную связь с бедными, трудящимися священниками, живущими среди бедного, трудящегося народа. Первые стали чувствовать себя прежде всего магнатами, обязанными поддерживать все привилегии, все монополии, все несправедливости старого порядка и противиться всему, что могло подать народу хоть отдаленную надежду на какое бы то ни было облегчение его участи. Вторые также почувствовали себя наконец прежде всего детьми бедняков и стали не без удовольствия прислушиваться к тому, что обещало этим беднякам освобождение из работы египетской. Замечая в своем духовном начальстве, при отсутствии всяких христианских добродетелей и всякой нравственной серьезности, холодную и систематическую вражду против еретиков и вольнодумцев, низшее духовенство, в лице лучших своих представителей, познакомилось потихоньку с мыслями этих гонимых людей и убедилось, что эти люди, в сущности, гораздо более своих гонителей проникнуты духом христианской доктрины.

В «Истории крестьянина» есть одна очень характерная сцена. Кристоф Матерн очень дружелюбно обедает за одним столом с Шовелем, продавцом запрещенных книг и кальвинистом. Входя в комнату, он даже в шутку говорит громовым голосом, что предаст еретиков и злоумышленников в руки

правосудия, и, разумеется, этот громовой голос никого не пугает. Жан Леру весело и радушно говорит священнику: «Садись, Кристоф, будем обедать», а Шовель с лукавою улыбкою спрашивает: «Кто ж тогда будет поставлять Жан-Жаков господам горным священникам?» Мы узнаем, таким образом, что католический священник водит дружбу с еретиками и читает запрещенные книги свободных мыслителей. И делает он это не по легкомыслию, не по равнодушию к религии, а именно вследствие своего глубокого уважения к основным принципам той доктрины, которую он проповедует. Как он понимает свои обязанности, как он пользуется удобствами своего положения среди крестьян, это обнаруживается во время того же обеда.

— Слушай, Кристоф, — говорит Жан Леру, окончив суп, — скоро ты у себя в школе учение начнешь?

— Да, Жан, на будущей неделе, — ответил священник. — Я даже затем и отправился; иду в Пфальцбург за бумагой и за книгами. Я было хотел начать 20 сентября, да надо было кончить статую св. Петра для Абершвиллерского прихода; там церковь отстроивается. Я обещал, так хотел сдержать слово.

— А, хорошо!.. Значит, на будущей неделе.

— Да, с понедельника и начнем.

— Ты бы взял этого мальчика, — сказал мой крестный отец (Леру), указывая на меня. — Это мой крестник, сын Жан-Пьера Бастиана. Я уверен, что он с радостью будет учиться.

Услышав это, я весь покраснел от удовольствия, потому что мне уже давно хотелось ходить в школу.

Г. Кристоф повернулся ко мне.

— Ну, — сказал он, кладя свою большую руку ко мне на голову, — взгляни на меня.

Я посмотрел на него помутившимися глазами.

— Тебя как зовут?

— Мишель, г. священник.

— Ну, Мишель, милости просим. Дверь моей школы для всех открыта. Чем больше приходит учеников, тем мне приятнее.

— Чудесно, — вскрикнул Шовель, — такие речи и слушать приятно.

Еретик и католический священник, таким образом, протягивают друг другу руки, когда дело идет о просвещении народа. Точно так же они протягивают друг другу руки и тогда, когда дело идет о возвышении материального благосостояния того же народа. Кристоф попал к Жану Леру на обед в день первой уборки картофеля. Отведав этого нового кушанья, Кристоф говорит:

— Слушайте, Шовель! Вы, тем, что принесли эти шкурки в вашей корзине, а ты, Жан, тем, что посадил их в своей земле, несмотря на насмешки капуцинов и других идиотов, вы больше сделали для нашей страны, чем все монахи трех епископств за целые столетия. Эти коренья будут хлебом бедняков.

Личность Кристофа Матерна никак не может быть признана исключительным явлением. Немало деревенских свя-

щенников сидело на левой стороне в Учредительном собрании и потом даже в Национальном конвенте, рядом с самыми искренними и неустрашимыми друзьями народа.

Чем ближе подходила решительная минута, тем теснее становилась связь между лучшими из бедных деревенских священников и лучшими из бедных прихожан.

— Мастер Жан! — говорил Шовель, — чем дальше, тем лучше идут дела; наши бедные приходские священники только и хотят читать, что «Савойского викария» Жан-Жака *, каноники, всякие бенефициарии читают Вольтера; начинают проповедовать любовь к ближнему и сокрушаются о народных бедствиях; собирают деньги на бедных. Во всем Эльзасе и в Лотарингии только и слуху, что о добрых делах. В одном монастыре господин настоятель приказывает осушать пруды, чтобы дать работу крестьянам; в другом — на нынешний год прощают малую десятину; в третьем — раздают порции супа. Лучше поздно, чем никогда! Все добрые мысли приходят к ним сразу. Это люди тонкие, очень тонкие; они видят, что лодка потихоньку идет ко дну. Вот они и припасают себе друзей, чтоб потом было за что уцепиться.

В конце этого монолога Шовель указывает на дело лукавого и корыстного милосердия, вынужденного неопределенным и тоскливым предчувствием надвигающейся грозы. Но в начале речи, где идет дело о бедных приходских священниках, читающих Жан-Жака, мы видим ясное и меткое указание на тот факт, что политический радикализм стал находить себе искренних адептов даже в рядах духовенства.

V

Матюрен Шовель — вполне герой, фанатик общественного блага, человек, не боящийся ни труда, ни лишений, ни опасностей, ни боли, ни смерти. Он ненавидит зло, въевшееся в народную жизнь, такою ненавистью, какою, например, медик может ненавидеть болезнь, подрывающую силы его пациента, или математик может ненавидеть ошибку, вкравшуюся в его вычисление. Понятно, что ни медик с болезнью, ни математик с ошибкою не могут вступать ни в какие переговоры, не могут идти ни на какие сделки, не могут мириться ни на каких взаимных уступках. Понятно, с другой стороны, что ни медик не может чувствовать никакой личной вражды к тем частям тела, к тем органам, в которые засела болезнь, ни математик не может гневаться на те цифры или буквы, в которые закралась ошибка. Понятно также, что медик, в случае надобности, безо всякого зазрения совести и без малейшего колебания, будет действовать на зараженную часть тела острыми кислотами, шпанскими мушками, растравляющими ма-

зями, ляписом, огнем и железом, — и что математик с невозмутимым спокойствием и с совершенною ясностью духа проведет мокрою губкою по своей аспидной доске и сотрет без следа те цифры или буквы, которые испортили его вычисление. Медик отказывается от звания медика, когда он перестает вести истребительную борьбу с болезнью; математик перестает быть математиком, когда он отказывается преследовать ошибку в последних ее убежищах. Так точно и Шовель перестал бы быть самим собою, если бы мог отказаться от своей ровной, спокойной, холодной, зоркой и чуткой ненависти к общественному злу.

Вот какие условия сделали его неподкупным и непримиримым врагом средневекового беззакония:

Он никогда не горячился. Я помню, как он часто с большим спокойствием рассказывал о страданиях своих предков: как их выгнали из Ларошели; как у них отняли землю, деньги, дома; как их преследовали по всей Франции, отнимая у них насильно детей, чтобы воспитывать их в католической религии; как впоследствии, в Ликсгейме, на них напускали драгунов, чтобы обращать их в католичество сабельными ударами; как отец убежал в Грауфтальские леса, куда за ним пошли на другой день мать и дети, отказываясь от всего во имя своей религии; как деда отправили на тринадцать лет на дюнкирхенские галеры, где нога у него днем и ночью оставалась прикованною к гребецкой скамье; начальником у них был там настоящий злодей, который бил их так, что многие из этих кальвинистов умирали; а когда происходило сражение, тогда эти несчастные галерники видели, как англичане направляли свои большие орудия, набитые до самого устья, в расстоянии четырех шагов от них, прямо на их скамью. Они это видели и не могли пошевельнуться, и фитиль опускался на затравку! Потом, когда проносились пули, гвозди и картечь, их переломанные ноги отрывались от цепи, их самих бросали в воду и подметали, что оставалось.

Он рассказывал эти вещи, приводившие нас в трепет, растирая себе в ладони понюшку табаку; и его маленькая Маргарита, вся бледная, молча смотрела на него своими большими черными глазами.

Он всегда заканчивал так:

— Да, вот чем Шовели обязаны Бурбонам, великому Людовику XIV и Людовику XV Возлюбленному! Смешная штука — наша история, не правда ли? И я сам, до нынешнего дня, ни на что я не годен; нет у меня гражданского существования. Наш добрый король, как и все другие, вступая на престол, среди своих епископов и архиепископов, поклялся нас истреблять: «Я клянусь, что буду стараться искренно и всеми силами об истреблении на всех подчиненных мне землях всех еретиков, осужденных церковью». Ваши священники, которые ведут списки и должны поступать одинаково со всеми французами, отказываются записывать наши рождения, браки и смерти. Закон запрещает нам быть судьями, советниками, школьными учителями. Мы можем только шататься по свету, как звери; у нас подрезывают заранее все корни, которыми люди прикрепляются к жизни; и, однако, мы не делаем зла, все принуждены признавать нашу честность.

Мастер Жан отвечал:

— Это отвратительно, Шовель; но христианское милосердие?..

— Христианское милосердие!.. Мы ему никогда не изменяли, — говорил он, — к счастью для наших палачей! Если б оно нам изменило!.. Но все выплачивается с процентами на проценты. Надо, чтобы все выплати-

лось!.. Коли не через год, так через десять лет; а не через десять, так через сто... через тысячу... Все выплатится!

Понятно после этого, что Шовель не удовлетворился бы, как мастер Жан, некоторыми смягчениями, облегчением в налогах, в милиции. Стоило только взглянуть на его бледное лицо, на его маленькие живые черные глаза, на его тонкий горбатый нос, на его тонкие, всегда сжатые губы, на его сухую спину, согнувшуюся под тяжестью тюка, на его маленькие руки и ноги, крепкие, как железные прутья, — стоило только взглянуть на него, чтобы подумать:

«Этот маленький человечек хочет всего или ничего! У меня терпения достаточно; он тысячу раз рискнет попасть на галеры, чтобы продавать книги по своим идеям; он ничего не боится, он ничему не доверяет: когда представится случай, нехорошо будет с ним столкнуться! И дочка его уже на него похожа: такая, что переломится, а уж не согнется!».

Я об этом еще не думал — молод был слишком, — но я это чувствовал; я очень уважал отца Шовеля; я всегда снимал перед ним шапку и говорил про себя: «Он хочет добра крестьянам, мы с ним заодно».

Постоянные, многолетние гонения, среди которых прошла жизнь Шовеля, должны были или убить его, или закалить во всех отношениях. Он занимался таким ремеслом, которое каждый день могло повести его на галеры или даже на виселицу.

— Ба, это все ничего, — говорит он в дружеской беседе Жану Леру, — теперь это одни шутки. Лет десять, пятнадцать тому назад дело другое! Вот тогда меня преследовали, тогда не надо было попадаться с кельнскими или амстердамскими изданиями *: я бы одним прыжком очутился из Барак на галерах; а несколькими годами раньше меня бы прямо вздернули. Да, тогда было опасно; а если меня теперь арестуют, так ненадолго; теперь мне не будут ломать руки и ноги, чтобы я выдал моих сообщников.

Для Шовеля не существует ни презрение к работе, ни страх перед работою. Чтобы служить тому делу, которое он любит, он готов, смотря по требованиям данной минуты, браться с одинаковою охотою за самую черную и за самую чистую работу, за самую трудную и за самую легкую, за самую простую и за самую сложную, за самую грубую и за самую тонкую. Когда ему нельзя было пристроиться ни к какому другому делу, он целые десятки лет шатался по городам и селам с сумкою книг и употреблял все силы своего большого и гибкого ума на то, чтобы ускользать от преследований полиции и распространять в массе читающей провинциальной публики сочинения тех мыслителей, которые наложили печать своего влияния на все умственное движение прошлого столетия. Когда его соседи, по рекомендации Жана Леру, выбрали его в депутаты деревни, он принял это звание и на съезде деревенских депутатов повел себя так, что его выбрали в депутаты округа. В окружном собрании он опять так отличился, что его выбрали в депутаты третьего сословия в собрание государственных чинов. И он принял свое новое звание спокойно

и с достоинством, как приглашение на важную и трудную работу, на которую он не хотел напрашиваться, которую он не старался отбивать у других, более способных и лучше приготовленных кандидатов, но перед которою он не отступает и не робеет, когда голос его сограждан объявил ему, что он стоит на очереди и что впереди его нет никого. Шовель, понимавший давно, какое значение имеет созвание государственных чинов, становится одним из законодателей Франции так же спокойно, как в древности Цинциннат сделался римским диктатором. Разносчику Шовелю не нужно ничего изменять, подчищать или подкрашивать в своей личности, чтобы сделаться депутатом Шовелем, и депутат Шовель не изменил ни одного оттенка в своих отношениях с теми людьми, с которыми был знаком и близок разносчик. Эта неизменность самого человека при совершенной перемене декораций и положения до такой степени характеризует Шовеля, что дочь Шовеля, шестнадцатилетняя девушка Маргарита, даже не видавшись с отцом после выборов, говорит Мишелю с полным убеждением:

— Как, приедем ли мы? Да что ж мы станем делать, дурачина? Ты разве думаешь, мы там разживемся?

Она смеялась.

— Ну да, мы приедем, и еще беднее теперешнего, поверь! Мы приедем торговать по-прежнему, когда права народа будут установлены. Мы приедем, может быть, в нынешнем году, а самое позднее на будущий год.

Шовель так воспитывал свою дочь, которая была его неразлучною спутницею во всех его скитаниях, что ее уже не может ослепить и ей не может вскружить голову никакое земное величие, как бы оно ни было блистательно и неожиданно. Ее отец — избранник народа, выше этой чести она себе ничего не может представить; она плачет от радости; и однако, в минуту величайшего упоения, уезжая из родной деревни в Версаль, она, без малейшей горечи, предвидит совершенно ясно ту минуту, когда они вернутся беднее теперешнего и опять пойдут по проселочным дорогам, с тяжелыми тюками книг за спиною.

По этой черте в характере молодой девушки можно судить о личности того человека, который ее сформировал.

VI

Теперь надо рассмотреть, что же именно сделала для Мишеля Бастиана каждая из трех личностей, очертанных на предыдущих страницах.

Жан Леру, крестный отец Мишеля, оказал ему, по своему обыкновению, несколько важных услуг, которые ему, Жану

Леру, ровно ничего не стоили. Во-первых, Жан взял к себе в пастухи своего крестника, чуть только последнему минуло восемь лет. Условия были такого рода: Жан кормил Мишеля и давал ему каждый год по паре башмаков. Ночевать Мишель ходил к себе домой. Ясное дело, что Жану это было выгодно. Пастуха все равно надо было бы нанимать, а между тем бедный крестник, считая и чувствуя себя облагодетельствованным, так усердно старался угодить благодетелю, от которого он получал только пищу и пару башмаков, — что в этом отношении с ним, конечно, не мог потягаться наемник.

Во-вторых, Жан доставил Мишелю случай страдать и бороться за дело прогресса и общественного блага. Мишель был еще совсем мальчишка, когда произошла рассказанная выше история с картофельными шкурками. Покуда картофельные ростки не показывались, сверстники Мишеля дразнили его, как слугу полоумного человека, посеявшего какую-то дрянь у себя в огороде. Мишель бил насмешников кнутом; насмешники, в свою очередь, обработывали его общими силами, и Мишель, исполосованный кнутами молодых рутинеров, мог потом предаваться печальным размышлениям о человеческой глупости. Не трудно понять, что эта вторая услуга также ничего не стоила Жану и была оказана им невольно.

В-третьих, Жан, как мы уже видели выше, ввел Мишеля в даровую школу Кристофа Матерна. Эта услуга имела для Мишеля неисчислимые добрые последствия, но она также ровно ничего не стоила Жану Леру.

Кристоф Матерн выучил Мишеля читать и писать. Этим ограничивается его доля влияния, но этого слишком достаточно, чтобы ученик поминал его добром.

Шовель дал Мишелю политическое образование. Мишель сначала слушал с самым жадным вниманием, а потом читал сам, и вслух и про себя, газеты, которые Шовель приносил своему приятелю Жану Леру. Шовель объяснял часто Мишелю то, чего последний не понимал, Шовель часто говорил о текущих делах то с самим Мишелем, то в присутствии Мишеля с Жаном Леру, и великодушное негодование честного гражданина, горевшее спокойно-неугасимым пламенем в груди Шовеля и звучавшее в ироническом тоне его тихих речей, переходило понемногу во все существо его молодого даровитого и впечатлительного слушателя.

Чтобы дать понятие о том, как говорил Шовель, как просто и ясно он ставил вопросы, как он умел внушать самым неразвитым умам серьезное уважение к основным принципам разумной и честной политики, я приведу здесь его речь, сказанную без приготовления, в трактире Жана Леру, на обеде деревенских избирателей.

Все глаза обратились на Шовеля; все хотели знать, что он ответит. Он сидел спокойно, на почетном месте, бумажный колпак его был прицеплен к спинке стула; щеки его были бледны, губы сжаты, глаза как будто скошены; он, совсем задумавшись, держал свой стакан. Рибопьерское вино, должно быть, пораздражило его, потому что, не отвечая на заздравные клики других, он сказал внятным голосом:

— Да, первый шаг сделан! Но не будем еще петь победу; много нам остается сделать, прежде чем мы воротим себе наши права. Отменение привилегий, подушной, косвенных налогов, соляной подати, внутренних застав, барщины — это уже много значит. Те не сразу выпустят из рук, что держат, нет! они будут бороться, попробуют защищаться против справедливости. Надо будет их принуждать! Они призовут к себе на помощь всех служащих, всех, кто живет своими местами и думает облагородиться. И это, друзья мои, только первый пункт; это еще самая малость; я думаю, что третье сословие выиграет это первое сражение; народ того хочет; народ, на котором лежат эти неправедные тягости, поддержит своих депутатов.

— Да, да, до смерти! — закричали большой Летюмье, Кошар, Гюре, мастер Жан, сжимая кулаки. — Мы выиграем, мы хотим выиграть!..

Шовель не шевелился. Когда они перестали кричать, он продолжал, как будто никто ничего не говорил.

— Мы можем победить в деле обо всех несправедливостях, которые чувствует народ; это несправедливости слишком вопиющие, слишком ясные; но к чему же это нас поведет, если впоследствии, когда государственные чины будут распущены и деньги на уплату долга доставлены, графы да маркизы опять восстановят свои права и привилегии? Это уже не в первый раз; у нас ведь уж бывали и другие собрания государственных чинов, и все, что они решили в пользу народа, уже давно не существует. После уничтожения привилегий нам нужна такая сила, которая помешала бы их восстановить. Эта сила в народе; она в наших армиях. Надо хотеть не день, не месяц, не год; надо хотеть всегда. Надо так сделать, чтобы негодяи и мошенники не восстановили медленно, потихоньку, окольными путями того, что опрокинет третье сословие, опираясь на нацию. Надо, чтобы армия была с нами; а чтобы армия была с нами, надо, чтобы последний солдат своим мужеством и умом мог повышаться в чинах и, пожалуй, даже сделаться маршалом и коннетаблем, так точно, как дворяне, понимаете?

— За здоровье Шовеля! — закричал Готье Куртуа.

Теперь мы можем сообразить до некоторой степени, какие влияния подготовили французский народ к его политическому пробуждению.

Во-первых, были низшие слои буржуазии, были люди, которые, подобно Жану Леру, знали жизнь простого работника, понимали его горе и нужду и в то же время могли читать газеты, заглядывать в запрещенные книжки и задумываться над плачевною бестолковщиною текущих событий. Этим людям выгодно и приятно было делиться с своими рабочими плодами своих размышлений, и их фрондерские речи, падая на восприимчивую почву, порождали в ней такой процесс брожения, которого дальнейшее развитие трудно было остановить или предугадать.

Во-вторых, было низшее духовенство, возмущенное безумною роскошью и развратною жизнью прелатов. Оно сближа-

лось с простым народом, учило его грамоте, и вносило таким образом в его темную жизнь луч света, который давал ему некоторую возможность со временем осмотреться и распознать добро и зло, друзей и врагов, правду и ложь.

Наконец, были Матюрены Шовели, люди разоренные, ожесточенные, измученные нелепостями старого порядка, люди, вредившие этому порядку с настойчивостью, свойственною непримиримым врагам, и с полным знанием всех его слабых сторон.

При таких наставниках французский народ, даровитый и впечатлительный, как юный Мишель Бастиан, не мог остаться неучем и недорослем в политическом отношении.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. НОВЫЙ ТИП
По поводу романа Чернышевского «Что делать?»

I

Есть у нас ученые, есть литераторы, есть деловые люди, у всех этих господ есть взгляды, мнения, желания, один взгляд встречается с другим, одно желание находит себе умеряющее противодействие в другом; мнения вырабатываются, сталкиваются и видоизменяются; люди сходятся и расходятся; посмотришь и увидишь, что есть и пестрота, и разнообразие, и движение — все признаки жизни, и не какой-нибудь простой, а жизни умственной, той самой жизни, которая, если верить слухам, творит чудеса в некоторых странах земного шара, взысканных особенною милостью создателя. Еще бы у нас не быть умственной жизни! У нас шесть университетов, у нас каждый год по нескольку магистерских и докторских диссертаций защищается победоноснейшим образом; у нас каждый год толстый журнал подряжается доставить подписчикам и роман, и повесть, и драму, и исследование, и рассуждение, и язвительный смех над погибающим пороком, и теплые слезы умиления по поводу ежедневного торжества нашего прогресса. Наша умственная жизнь питает (хотя и плохо питает, а все-таки питает) целые сотни, а пожалуй, и тысячи наборщиков, рассыльных и печатников. А кроме того, у нас есть и такая умственная жизнь, которая не печатается, но все-таки существует и оплодотворяет наши мозговые нивы. Всякому известно, что целые берковцы самого тонкого знания дела и самой положительной практической мудрости хранятся в архивах каждой из наших канцелярий... Вот вы [и] сообразите, сколько у нас пишется и печатается, и сколько пишется, но не печатается, и сколько содержится в мысли и не пишется, а тем более не печатается; сообразите-ка все это и тогда попробуйте усомниться в существовании нашей умственной жизни. Если я с похвальным усердием ратую пером своим против таких непатриотических сомнений, которые, может быть, никогда не закрадывались в

чистую душу моих читателей, если я таким образом принимаю на себя лишний труд и становлюсь в безвредно-воинственнную позу ламанчского рыцаря, то, разумеется, я сам всеми силами своего существа верую в то, что у нас действительно процветает и развивается умственная жизнь. Я не только верую в то, что она у нас существует, я даже утверждаю, что у нее есть по крайней мере одно типическое свойство, по этому свойству тотчас узнаешь, что это именно русская жизнь, а не какая-нибудь другая.

Россия, как известно, отпускает за границу сырые продукты, потому что переработывать их у себя или не умеет, или считает не барским делом. Между русскою промышленностью и русским умом — трогательное соответствие, которое всех нас, патриотов, должно приводить в восторг, потому что оно свидетельствует о цельности нашего народного духа, не изменяющего своей природе ни в одном из проявлений своей деятельности. — Русский ум производит также только сырые продукты, которые и расходятся по домашним рынкам, так как за границею этого сорта русских изделий не требуется. Удивительная производительность русского ума по части сырья составляет то типическое свойство нашей умственной жизни, которым мы по всей справедливости можем гордиться и которого, наверное, никто у нас оспаривать не станет. Если наш ученый напишет исследование, то вы никак не отличите этого исследования от того материала, на котором оно основано; вы даже, чего доброго, спросите в простоте душевной: где же исследование? Вот это, скажете вы, хрестоматия из летописей, а это сборник из архивных бумаг, а это измененный перевод с немецкого. — Если вы так судите, с вами, конечно, и толковать невозможно. А вы должны понять, что ум русского ученого есть плодородная нива, в эту ниву бросают семена, состоящие из летописей, архивных бумаг и иностранных сочинений; семена пускают ростки и в урочное время приносят обильные плоды. Но так как ячмень родит ячмень, а пшеница — пшеницу, то и плод, вырастающий на умственной ниве, представляет самое полное сходство с тем зерном, из которого он возник. Ученый, поглотивший летопись, производит куски летописи, а ученый, преодолевший груду немецких книг, порождает куски этих книг в более или менее верном переводе на отечественный язык. — К сожалению, ни сырым ячменем, ни сырою рожью, ни сырою пшеницею нельзя питаться; посылать зерновой хлеб за границу для того, чтобы его там превращали в печеный хлеб и потом возвращали нам для потребления, также считается не совсем удобным; на этом основании промышленность наша в отношении к хлебу и даже к некоторым другим веществам имела неосторожность изменить своему основному

принципу и нарушить, таким образом, драгоценную цельность нашего народного духа; у нас не только сеют и жнут хлеб, но даже мелют и пекут его; у нас не [только] производят лен и коноплю, но даже и ткут холстину. Такой лукавый пример нашей промышленности не подействовал развращающим образом на важнейшие отправления нашей умственной жизни: ученые строго выдерживают свой характер и производят одно сырье; если публика, для которой, по-видимому, предназначаются эти продукты, находит их неудобоваримыми, то в этом уже виновата сама публика. Пусть она покается, пусть исправится и переродится, и тогда пойдет все превосходно, потому что «Ученые записки Академии наук» будут читаться нарасхват, а «Отечественные записки» и «Русский вестник» будут ежедневно выслушивать от самой публики строгие замечания за легкомысленность тона и за неумеренную живость изложения.

Поэты наши поступают совершенно так же, как наши ученые, с тою только разницею, что ниву поэта составляет его сердце, а семенами служат всякие впечатления. Сердце поэта, как известно, не имеет ничего общего с тем простым сердцем, которое приводит в движение кровь обыкновенных людей; у поэта сердце большое, наполняющее собою все тело: весь поэт не что иное, как огромное сердце, снабженное глазами, ушами, носом, руками и другими членами, необходимыми для того, чтобы поддерживать сношения между поэтическим *я* и прозаическим *не-я*, то есть между поэтом и окружающим миром. Всякое впечатление, поражающее глаз, ухо или нос поэта, тотчас западает во всеобъемлющее сердце, и что потом делается с этим впечатлением, то объясняет нам один из наших поэтов: «Мое сердце, — говорит он, — родник; моя песня — волна» *. Следовательно, что попадает в «родник» сердца, то немедленно уносится «волною песни» и осаждается на белую бумагу. Но так как к сердцу поэта ведут многие каналы, открытые и для росы небесной и для земной пыли, то в родник сердца попадает всякая всячина, и волна песни мутится разными примесями. А поэт только руками разводит: «я, — говорит, — ни в чем не виноват; я пою, как мне бог на душу положит». «Ах, — говорит, — затрещали барабаны, и встрепенулось мое сердце, и пою я на голос: «О чем шумите вы, народные витии?». Ах, я увидал хорошенькую ножку и начинаю петь:

«Ах, ножки, ножки! где вы ныне?» **

«Ах, сижу я вечером с нею и представляется мне, что сидит жар-птица, «на суку извилистом и чудном, вся в сияньи изумрудном» ***.

«Ах, прочитал в журнале статью, и течет волна моей песни, и заканчиваю я эту песню так:

Думы с ветром носятся,
Ветра не догнать» *.

«Ах, попалась мне книжка: «Le voyage de jeune Anaharsis en Grèce» **, и сейчас пою я о том, как Фрина,

Лезбийской страстию горя,
Гостей на новую приманку
Коварно дразнит и манит» ***.

«Ах, услышал я кое-что о палеонтологии и пою с расстановкою, выражая глубокую задумчивость:

Я с содроганием смотрю
На эту кость иного мира» ****.

«Ах, мне показалось, что я сознательно проникнулся материализмом, и я придаю волне моей песни оттенок холодной грусти вот таким образом:

И звезд иных огнем
Небес таинственные своды
Осыпаны кругом...
К ним так и манит взор мой жадный;
Но их спокойный вид,
Ах, взор холодный безотрадной
Мне душу леденит!..
И не садится ангел белый
К рулю в мой утлый челн,
Как в оны дни, когда так смело
На эту кость иного мира» ****.

И мне верят, и мне сочувствуют, обо мне говорят и даже пишут: «Вот это поэт, вот у него есть миросозерцание» ******. А какое миросозерцание? И какой я материалист? — Я невиннейший человек. Я вам, коли на то пошло, такую песню пропою, которую мне потом самому зазорно будет поместить в собрание моих стихотворений. Я что такое? — Я поэт, я большое и настежь открытое сердце, я пускаю из родника сердца волну песни, я производу сырой продукт из таких семян, которые западают в меня бог знает откуда и зачем, а вы, милостивые государыни и господа, делайте из моего сырья, что вам угодно; только, ради Христа, не приставайте ко мне и не требуйте от меня никаких отчетов — зачем и почему и каким образом».

То *я*, от лица которого автор этих строк произнес вышеприведенную тираду, оказывается, конечно, мифическим и

собирательным *я*. Стихи взяты у различных лириков, но все они могут быть приписаны одному поэту точно так же, как каждое большое стихотворение может быть разорвано пополам и может, таким образом, двумя половинками своими украсить миртовые и лавровые венки двух различных поэтов. Если всю антологию нашу, за исключением Некрасова, перетасовать самым тщательным образом, то потом можно разделить всю сумму ее между различными вкладчиками по жребию; при этом никто не останется в обиде. Г. Фету достанутся, например, несколько стихотворений гг. Берга, Майкова, Щербины, Алмазова и Крестовского. Публика, конечно, не заметит никакой перемены, да и сам автор не отличит своих произведений от подкинутых.

Рожь, произведенная Тульскою губерниею, совершенно похожа на рожь, выращенную Амурским краем, так точно поэтическое сырье, излитое одним поэтом, совершенно похоже на сырье, изливаемое другим; семена одни и те же, потому что впечатления не разнообразны и устройство сердец тоже совершенно одинаково, стало быть, и в конечных результатах разницы быть не может.

Публицисты наши также, кроме сырья, ничего не производят; семена выписываются из-за границы и принимаются оч[ень] удачно. Проходя по грядкам нашей публицистики, каждый сведущий читатель скажет не без удовольствия: «Вот это растет Гнейст, а рядом цветет Рошер, а вот тут распускается Милль, а там прививки от «Times», от «Allgemeine Zeitung», от берлинской «Kreuzzeitung» и от лагероньеровской «France». Все эти растения мирно зеленеют рядом и пестротою своею радуют глаз всякого доброго и домовитого хозяина. Пестрота эта не исключает некоторого единства; в разнообразии есть гармония, потому что Молчалин может, пожалуй, на каждом слове противоречить себе, но никогда не изменит он своему основному характеру и никогда не утратит в своих смелых схватках с здравым смыслом ни умеренности, ни аккуратности. Полоний может говорить Гамлету, что облако похоже и на верблюда, и на крокодила, и черт знает на что; но в действительности ему до облака нет никакого дела, и мнением своим он не дорожит нисколько. Правда, что и дорожить нечем.

II

А что производят наши романисты? Также сырые материалы, очень красивые на вид, очень дорогие по цене и, сказать по правде, очень полезные для нашей умственной жизни. Наши науки, лирика и публицистика, в теперешнем своем

положении, проходят совершенно мимо общества, что составляет для общества немалое благополучие. Но картины жизни, в какой бы внешней форме они ни были представлены в романе, в повести, в драме, всегда сильно интересуют наше общество и вызывают размышления и споры в таких кружках, в которых обыкновенно беседуют только о модных шляпках, или о соленых грибах, или об открывающейся вакансии, или вообще о предметах солидных и непосредственно доступных. Идея, выраженная в отвлеченной форме, не прошибает той раковины, в которой гнездятся эти кружки, составляющие в своей совокупности большинство или, может быть, даже всю массу нашего общества. Та же идея, вложенная в роман, успевает заявить по крайней мере о своем существовании. Если автор серьезной статьи говорит с 1000 читателей, то романист такого же достоинства может рассчитывать наверное, что он говорит с 10 000. Романы читаются женщинами, а женщины всегда и везде являются самыми деятельными и полезными распространительницами новых известий и новых идей. Романы потихоньку или открыто читаются неоперившимися птенцами, а эти птенцы составляют самую интересную часть всякого общества, потому что, как ни хмурься Катков, а все-таки им, птенцам, безусловно, по всем правам и законам природы, принадлежит ближайшее будущее. Для современных женщин и для подрастающих отроков беллетристика составляет насущный хлеб, поедаемый в огромном количестве сравнительно с прочим сырьем. Благодаря влиянию Гоголя, растолкованного нашему обществу гениальною критикою Белинского, беллетристика наша прочно усвоила себе простоту и непременность отношений к явлениям жизни. Публика наша очень необразована, а критика наша слаба и туманна; но при всем том ни публика, ни критика не терпят в беллетристике преднамеренной лжи. Критике и публике даже не приходится иметь дела с такими романами и повестями, которые грубо клевещут на жизнь или так же грубо идеализируют ее; только сцена Александринского театра украшается такими произведениями, которых не примет на свои страницы ни один журнал. Кроме критики печатной, есть критика кабинетная, осуждающая на вечное забвение большую половину русских беллетристических сочинений; каждый роман, доходящий до публики путем журналов, уже выдержал критику редакций, а так как журналы решительно преобладают в нашей издательской деятельности, то беллетристика наша в значительной степени обязана своею чистотою этой редакционной критике. Встречаются романы и повести слабые и растянутые, но почти совсем не бывает таких, в которых живая жизнь была бы выдумана и изложена по известной программе. Что касается до лучших представи-

телей нашей беллетристики, то в их произведениях самая строгая критика принуждена признать совершенную верность в изображении действительности и величайшую тонкость психологического анализа. Но эти лучшие произведения остаются все-таки сырыми продуктами. — Писатель часто встречается в обществе со многими личностями, имеющими сходные характеры и почти одинаковые взгляды на жизнь. Писателя заинтересовывают эти общие черты, он к ним приглядывается, он об них задумывается, и у него в уме складывается мало-помалу идеальное лицо, которое называется обыкновенно представителем типа. Писатель старается объяснить себе, как эти типические личности росли и вырабатывались, как и в чем проявилась их типичность и какое влияние произвела или могла она произвести на людей, зависевших от нее так или иначе. Из всех этих размышлений писателя образуется ряд сцен, связанных между собою общею нитью рассказа, и таким образом возникает роман. Чтобы роман был недурен, писателю, кроме природных свойств ума, необходимо знание жизни. Без знания жизни он не может сделать ни шагу. Если у него в романе мужички будут действовать, как карамзинский Фрол Силин, благодетельный крестьянин, если чиновники будут похожи на соллогубовского Надимова *, влюбленного в Россию, и барышни — на несчастное создание Гоголя Уленьку Бетрищеву, — тогда, конечно, роман погибнет и критика вместе с хорошим читателем очень весело пропоют ему вечную память. Но знать жизнь и понимать жизнь — две вещи разные. Лучшие писатели наши знают жизнь, но до сих пор и подойти не умеют к ее пониманию. Они подмечают подробности, отлично рисуют отдельные явления, воспроизводят маленькие уголки жизни, но до общего ее обсуждения они не возвышаются. Они не подозревают, по-видимому, что в общественной жизни человека, подобно тому как в физической жизни вообще, все отдельные явления зависят друг от друга, связаны между собою общею солидарностью и сплетены в одну бесконечно сложную и неизмеримо огромную сеть. В анатомическом атласе можно и должно рисовать отдельно сердце, печень, легкие, желудочные железки, но кто хочет понимать общий ход жизни в человеческом организме, тот должен знать и понимать, что все органы постоянно действуют друг на друга и только совокупными силами производят тот страшно сложный результат, который называется органической жизнью. Писатели наши об этом не думают; они берут отдельные продукты нашей общественной жизни и говорят нам: «Вот Рудин, вот Обломов, вот Калинович». Чувствуют они, правда, что рисовать недостаточно, чувствуют, что надо еще объяснить, но за объяснения они принимаются совсем не так, как следует. «Покажите нам развитие

вашего героя», — говорит им критика, и они тотчас приводят несколько сцен из воспитания героя и из его первой молодости. Господи! Точно будто люди формируются в детских и школах; точно будто нас воспитывает только та полоса жизни, с которою мы приходим в непосредственное столкновение. На нас действует весь строй жизни, вся житейская атмосфера, все учреждения и все люди, о которых мы имеем самое смутное понятие или которых мы никогда не видали в глаза. Как вы думаете — чувствует ли на себе лондонский пролетарий влияние герцогов, маркизов, епископов и банкиров, которых он не знает по имени и с которыми он, конечно, никогда не сказал и не скажет ни слова? Мне кажется, что чувствует. Как вы думаете, действовало [ли] наше крепостное право на жизнь и понятия вольных купцов и мещан, которые, однако, не владели людьми и сами не находились под непосредственной властью других людей? Мне кажется, что действовало. Я не думаю, чтобы какой-нибудь здравомыслящий человек стал серьезно доказывать мне противное; а если выраженная мною мысль может быть признана верною, то и попытки наших романистов объяснить характеры героев влиянием папеньки, маменьки и учителя должны показаться нам чрезвычайно наивными. Такое объяснение тотчас же подает повод к новому требованию: «Объясните теперь папеньку, маменьку и учителя». Писателю придется выводить на сцену бабушку и старшего учителя; поднимаясь таким образом вверх по аналогиям, он рискует дойти до натека цельных формаций и до мастодонтов, и все это ни к чему не приведет, потому то мастодонт и его родители все-таки останутся необъясненными. Тургенев для объяснения Лаврецкого, подобно Одиссею, вызывал души мертвых поколений и все-таки ничего не объяснил, потому что избранный метод объяснения сам по себе неверен. Чтобы объяснить типическое лицо, надо раздвигать рамки романа не в глубину веков, а в ширину современной жизни. Посмотрите на английские романы — там выводятся десятки существенно важных действующих лиц, и все они объяснены влиянием общих великих начал, порождающих хорошие или дурные стороны современной цивилизации; у нас выводятся две-три главные личности, очерчиваются они ярко, но не объясняются решительно ничем. Английские романы — портреты, на которых за нарисованной фигурой виднеются в полумраке какие-то аксессуары, ни на что не нужные и ни с чем не связанные. В английских романах все действующие лица оттого именно и объясняются удовлетворительно, что их много и что каждое из них обрисовывается тем общим строем жизни, который выражается в образе мысли, в словах и поступках всех остальных. Чтобы изобразить жизнь и дать читателю возможность уловить ее

смысл и важнейшие характеристические особенности, надо попеременно вывести много личностей и много разнообразных положений, но этого, конечно, недостаточно. Можно представить столько ярких личностей, что у него зарябит в глазах, и при этом все-таки можно оставить смысл жизни совершенно неразъясненным. Так поступает г. Писемский: все фигуры его романов чрезвычайно живы, и выводит он иногда очень много фигур, но в общем результате читатель все-таки не знает, что ему думать о русской жизни, и что думает о ней автор, и способен ли думать о ней автор что-нибудь или ровно ничего не думает. Прочтите вы роман Бульвера и сейчас смекнете, что имеете дело с хитрым и осторожным обскурантом, который очень ловко подтасовывает в своем произведении лица и события так, что богатая аристократия являлась умиленным взорам читателя в самом привлекательном и величественном виде. Прочтите вы роман Диккенса и Теккерея и сейчас увидите в этих джентльменах честных и откровенных защитников тех действительных интересов человечества, которые забиты общественными аномалиями. Бульвер, Диккенс и Теккерей имеют такие же определенные понятия о политической и экономической жизни современного мира и такие же ярко очерченные убеждения, какие имеют, например, Маколей и Гизо, Шлоссер и Гервинус. — Конечно, Бульвер держится поближе к Маколею и Гизо, а Диккенс и Теккерей примыкают к Шлоссеру и Гервинусу. Кажется, нельзя сказать, чтобы присутствие сознательных убеждений и проявление их в постройке романов особенно вредно художественности тех произведений, которые выходят из-под пера трех знаменитейших английских романистов, кажется, нельзя сказать также, чтобы Гете и Шиллер, Байрон и Гейне были уж очень плохими художниками. А между тем эти люди знали все, что делается в современном мире, и по-своему понимали и осмысляли, что знали. Но наши писатели рассуждают иначе; знают они из пятого в десятое, что делается в свете, а понимать — так они и совсем не понимают. Что занимает и волнует умы передовых людей, то доходит до наших художников чрез «Северную пчелу» и «Русский вестник», которые имеют привычку обсуждать и осмеивать вещи, совершенно недоступные их утлому пониманию. То, на чем сходятся между собою с трепетом благоговения и с порывами святого восторга все честные мыслители различных наций, то, что носит в себе залоги будущего обновления для всех людей, то встречается нашими лучшими писателями с тупым недоверием и с суеверным страхом, навеянным разными совами и летучими мышами нашей позорной журналистики. Г. Гончаров уверяет нас, что мы больны «обломовщиною», и предлагает нам лекарство в виде

деревянной фигуры Штольца; г. Тургенев выписывает из Болгарии нелепого и небывалого Инсарова и не находит в себе сил сочувствовать действительно существующему Базарову; наконец, г. Писемский, заканчивая свой превосходный рассказ «Батька», прямо и откровенно выражает тоскливое желание забыть прошедшее и не понимать будущего. — Отчего происходит это ребяческое непонимание простых вещей? Откуда эта болезненная мечтательность, влекущая художника к Инсарову и мешающая ему подать руку Базарову? Откуда эта ипохондрическая боязнь, заставляющая другого художника зажмуривать глаза и отмахиваться обеими руками от темного прошедшего и от светлого будущего? Все это происходит от незнания, от непривычки к широкой деятельности мысли, от вынужденной ограниченности умственного горизонта. У наших писателей старшего поколения есть и ум, и талант, и честное стремление к добру, но на их плечах лежит подавляющая тяжесть такого страшного прошедшего, которое до сих пор мешает им понимать настоящее и с сознательной доверчивостью смотреть в далекое будущее. Они не виноваты, и им самим очень тяжело тащиться во мраке за такими путеводителями, как публицисты «Русского вестника» и «Московских ведомостей». Пожалеем их и пройдем мимо.

III

Говоря о нашей умственной жизни, я до сих пор оставлял совершенно в стороне то направление, в котором заключается наша действительная сила и на которое со всех сторон сыплются самые ожесточенные и самые смешные нападения. Это направление поддерживается очень малочисленною группою людей, на которую, однако, несмотря на ее малочисленность, все молодое поколение смотрит с полным сочувствием, а все дряхлеющее — с самой комической злобой. Эта группа понемногу расширяется, обогащаясь молодыми деятелями. Влияние этой группы на свежую часть общества уже теперь перевешивает собою все усилия публицистов, ученых и других литераторов, подверженных в большей или меньшей степени острым или хроническим страданиям светобоязни; в очень близком будущем общественное мнение будет совершенно на стороне этих людей, которых отсталые двигатели русского прогресса постоянно стараются очернить разными обвинениями и заклеймить разными ругательными именами. Их обвиняли в невежестве, в глумлении над наукой, в желании взорвать на воздух все русское общество вместе с русскою почвою; их называли свистунами, нигилистами, мальчишками; для них придумали слово «свистопляска»; они же

причислены к «литературному казачеству»; им же приписано сооружение «бомб отрицания»; об них постоянно болеют душою все медоточивые деятели петербургской и московской прессы; их то распекают, то упрашивают, — но ко всем этим изъявлениям участия они остаются глубоко равнодушными. Худы ли, хороши ли их убеждения, но они у них все-таки есть, и они ими дорожат; когда можно — они их проводят печатно, когда нельзя — они молчат, но лавировать и менять флаги они не хотят, да и не умеют. Их вовсе не удивляют и тем более не раздражают комедии с переодеваньями, разыгрывающиеся нашими публицистами; в глубину отечественной учености они не верят, красотою отечественной беллетристики они не восхищаются; к одним проявлениям нашей умственной жизни они равнодушны, к другим они относятся с самым спокойным, глубоко сознательным и совершенно беспощадным презрением. Они стоят совершенно в стороне от общей массы литературы и не чувствуют ни малейшего желания приблизиться к ней или сойтись с ее искусственными представителями на чем бы то ни было. Они знают, что истина с ними, они знают, что им следует спокойною и твердою поступью идти вперед по избранному пути и что рано или поздно за ними пойдут все. Эти люди — фанатики, но их фанатизирует трезвая мысль и их увлекает в неизвестную даль будущего очень определенное и земное стремление доставить всем людям вообще возможно большую долю простого житейского счастия. Это очень глупые люди и дурные, а к наиболее глупым и дурным из этих отверженных людей давно уже причислен единогласным приговором всех Молчалиных и Полониев нашей журналистики г. Чернышевский, автор романа «Что делать?» Что же это за роман, и какое место займет он в рядах нашей беллетристики? Посильным ответом на этот вопрос послужит предлагаемая статья.

Когда я узнал, что г. Чернышевский написал роман, — я очень удивился. Принялся я за этот роман с неприятным чувством боязни за автора.

Так как я имею непростительную и неисправимую слабость глубоко сочувствовать г. Чернышевскому, то мне было тяжело думать, что роман его потерпит обидное фиаско и что на его счет будут прохаживаться своим официальным остроумием разные гг. Катковы, Павловы и Василии Заочные. — Если роман хорош, думал я, пускай прохаживаются, насмешки зубоскалов можно будет обратить на их же мудрые головы, а публика оценит хорошую вещь своим непосредственным инстинктом. Но если роман плох, тогда и защитить его будет невозможно, тогда люди, действительно уважающие Чернышевского, принуждены будут сознаться, что он сделал ошибку и взялся не за свое дело.

Мне казалось более правдоподобным, что роман будет слаб, и потому я брался [за него] с значительным предубеждением и с невольною робостью. Кто знаком с прежнею литературною деятельностью г. Чернышевского, тому мое предубеждение будет очень понятно. — Трудно, в самом деле, ожидать, чтобы мыслитель, посвящавший все свои силы исследованию экономических и социальных вопросов, возившийся постоянно с цифрами и фактами статистических таблиц, мог произвести такой хороший роман.

Вышло, однако, то, чего я никак не ожидал. Оставаясь верным всем особенностям своего критического таланта и проводя в свой роман все [свои] теоретические убеждения, г. Чернышевский создал произведение в высшей степени оригинальное и, с какой бы точки зрения вы ни взглянули на него, во всяком случае чрезвычайно замечательное. — Достоинство и недостатки этого романа принадлежат ему одному. На русские романы он похож только внешнею своею стороною, он похож на них тем, что сюжет его очень прост и что в нем мало действующих лиц. — На этом и оканчивается всякое сходство.

Роман «Что делать?» не принадлежит к типу сырых продуктов нашей умственной жизни. Он создан работою сильного ума; на нем лежит печать глубокой мысли. Умея вглядываться в явления жизни, автор умеет обобщать и осмысливать их. Его неотразимая логика прямым путем ведет его от отдельных явлений к высшим теоретическим комбинациям, и комбинации эти, конечно, приводят в отчаяние бедных рутинеров, которым остается только клеветать на мыслителя и бросать на ветер против идеи бессмысленное слово «утопия». Неисправимых рутинеров, тех людей, которых рутина кормит и греет, роман Чернышевского приводит в неописанную ярость. Они видят в нем и глумление над искусством, и неуважение к публике, и безнравственность, и цинизм, и, пожалуй, даже зародыши жалких преступлений. Я слишком уважаю моих читателей и слишком уважаю самого себя, чтобы завязывать спор с этими преследователями г. Чернышевского. Читатели мои, разумеется, очень хорошо понимают, что в романе «Что делать?» нет ничего ужасного. В нем чувствуется везде присутствие самой горячей любви к человеку, в нем собраны и подвергнуты анализу пробивающиеся проблески новых и лучших стремлений; в нем автор смотрит вдаль с тою сознательною полнотою страстной надежды, которой нет у наших публицистов и романистов. Все симпатии автора лежат, безусловно, на стороне будущего; симпатии эти отдаются безраздельно тем задаткам будущего, которые замечаются уже в настоящем. Эти задатки зарыты до сих пор под грудою бессмысленных обломков прошедшего, а к настоя-

щему автор, конечно, относится совершенно отрицательно. Как мыслитель, он понимает и, следовательно, прощает все его уклонения от разумности, но как деятель, как защитник идей, стремящихся войти в жизнь, он борется со всяким безобразием и преследует иронией и сарказмом все, что бременит землю и коптит небо. — Многие из наших литературных деятелей, скрывающих под набором своих фразистых софизмов платоническую (а иногда и вовсе неплатоническую) привязанность к доброму старому времени, конечно, могут принять и действительно принимают на свой счет сарказмы и иронию Чернышевского. Поступая таким образом, они не ошибаются, потому что автор романа «Что делать?», как и всякий честный русский человек вообще, имеет полное основание глубоко презирать пишущих филистеров. Если отвратителен обскурант вообще, то вдвойне тот отвратителен обскурант, у которого есть кое-какое умственное развитие и который для своих целей пользуется святым орудием просвещения. Скалозуб, поставленный рядом с каким-нибудь Вольно Сарду или Лагероньером, всегда будет казаться мне рыцарем честности и благородства. Вместо каждого французского имени я мог бы поставить по нескольку русских имен, но к чему? Ведь эти люди давно разучились краснеть; их суждения о романе Чернышевского показали еще раз публике, из какого металла сделаны их ученые лбы.

2. РАЗРУШЕНИЕ ЭСТЕТИКИ

(Части журнального текста, не вошедшие в первое издание сочинений Писарева)

⟨Окончание гл. V⟩

В мартовской книжке «Современника» г. Антонович излагает и комментирует по-своему идеи той книги, которую я разбираю в настоящую минуту. Любопытно заметить, что г. Антонович не говорит ни слова о взгляде автора на архитектуру. Приводя из «Эстетических отношений» очень большие выписки, г. Антонович не приводит, однако, того замечательного места, в котором автор ставит архитектуру рядом с ювелирным мастерством и упоминает о 10 000 франков. Это место, проникнутое весьма грубым и непозволительным реализмом, очевидно возмутило изящные чувства г. Антоновича, который в настоящее время старается потихоньку поворотить «Современник» назад, в тихую область сладких звуков и приятных очертаний. Сознавая недостаточность своих собственных сил для произведения такой реакции, г. Антонович желает прикрываться во время своего отступления «Эстетическими отношениями». Он желает доказать, что мысли автора «Эстетических отношений» в настоящее время утрируются *«слишком рьяными, но не слишком рациональными последователями»*. Чтобы образумить этих *слишком рьяных* последователей, он хочет затормозить их порывы словами самого автора. Он хочет, чтобы книга «Эстетические отношения» залегла навсегда поперек той дороги, по которой движется русская мысль; он хочет, чтобы эта книга образовала собою ту крайнюю границу, дальше которой не было бы ни проходу, ни проезду. Связать таким образом мысль общества, которое только что начинает пробуждаться, — это, конечно, намерение очень похвальное; но г. Антонович этим намерением не удовлетворяется. Ему хочется непременно, чтобы «Эстетические отношения» сами разрушили то дело, которое они построили. Чтобы исполнить свое желание, г. Антонович берет из этой книги только то, что соответствует изящности его чувств, и оставляет без внимания все то, что подходит

близко к *рьяности* и *нерациональности* таких негодных людей, как, например, автор «Нерешенного вопроса». На основании таких соображений г. Антонович игнорирует сопоставление архитектуры с ювелирным или с модным мастерством, потому что это сопоставление чересчур похоже на ту параллель, которая была проведена в третьей части «Нерешенного вопроса» между великим Моцартом и великим поваром Дюссо, между великим Рафаэлем и великим маркером Тюрею, между скульптурою и слоеными пирожками и так далее *. Эти очистительные операции, искажающие смысл всего сочинения, г. Антонович может производить над «Эстетическими отношениями» совершенно безнаказанно, потому что книга — не живой человек. Г. Антонович, как джентльмен ловкий и сообразительный, понимает все выгоды своего положения и эксплуатирует их с величайшею развязностью **.

⟨Окончание гл. VII⟩

Все это я говорю в назидание г. Антоновичу, который, понявши «Эстетические отношения» из пятого в десятое, усмотрел в них какую-то энциклопедию науки и жизни, порешившую на вечные времена все вопросы прошедшего, настоящего и будущего. Он старается обуздать «Эстетическими отношениями» *рьяных, но нерациональных последователей,* совершенно не понимая того, что его разногласие с этими *рьяными, но нерациональными последователями* принадлежит к такой сфере понятий, в которой «Эстетические отношения» не имеют права голоса. Причина разногласия заключается именно в том, что *рьяные, но нерациональные последователи* решают вопрос о мыслящем человеке совсем не так, как силится решить его г. Антонович. Причина разногласия таится не в эстетических понятиях, а в основных взглядах на жизнь общества и на задачу современного писателя. Хотя это и очень скучно, однако я принужден сделать из статьи г. Антоновича «Современная эстетическая теория» несколько больших выписок, для того чтобы показать читателям, как плохо понимает и как неудачно прикладывает он к делу идеи автора, которого он считает своим учителем. «Мы рассмотрели, таким образом, — говорит г. Антонович, — первую задачу искусства — воспроизведение прекрасного, существующего в природе и в жизни. Это воспроизведение делается для наслаждения человека, для того, чтобы ему удобнее было любоваться прекрасным, которое в действительности может быть для него или вовсе недоступно, или не всегда доступно и сподручно. Мы с намерением ударяем на этом значении искусства, потому что в последнее время некоторые, восставая против ложных направлений искусства, в горячности и нерассуди-

тельности дошли до того, что стали восставать вообще против искусства и против эстетического наслаждения им. Говорят, будто бы человек не должен предаваться никаким удовольствиям, даже эстетическим; будто бы дельный и рациональный человек никогда не позволит себе наслаждаться каким-нибудь художественным произведением, хотя бы то было произведение высшего искусства поэзии; будто бы такое наслаждение только расслабляет человека и есть напрасная трата времени, которое гораздо лучше было бы употребить на полезные дела, и т. д. Такой сухой, аскетический взгляд на искусство понятен и возможен только у людей, которые придумывают кодекс человеческих обязанностей не на основании реальных свойств и потребностей человеческой натуры, а на основании произвольных, фантастических воззрений, выработанных мечтательным идеализмом и прилагаемых к человеку. Кто не держится этих воззрений, тому решительно не пристало вооружаться против искусства и эстетического наслаждения, а потому мы и думаем, что приведенные аскетические воззрения на искусство скорее бессознательные и необдуманные выходки, чем сознательные, отчетливые суждения» («Современник», март 1865, стр. 61). О г. Антонович! О гениальный г. Антонович! Вы себе даже и представить не можете, какую пропасть умственной нищеты и нравственной мелкости вы обнаруживаете в этой самодовольной тираде против горячности и нерассудительности каких-то *некоторых*. Вы говорите откровенно всем вашим читателям, что вы никогда не способны возвыситься до понимания той нравственной философии, которую два-три года тому назад поддерживал «Современник» и которую в настоящее время должно защищать от вашей жалкой близорукости одно «Русское слово». Ваша умственная слабость и ваша нравственная приземистость выражаются особенно ярко в тех рассуждениях, которые вертятся вокруг слова «*аскетический*». Вы рассуждаете так: уж не аскеты ли эти *некоторые?* А впрочем, нет, вряд ли они аскеты. Ну, так, стало быть, они не могут *«вооружаться против искусства и эстетического наслаждения»,* и, стало быть, все их разговоры на эту тему не что иное, как *бессознательные и необдуманные выходки.* По-вашему, выходит непременно одно из двух: или аскетизм, или бессмысленная болтовня. Никакого третьего решения вы не видите и даже не можете себе представить. Так как я сам принадлежу к числу *некоторых,* то, снисходя к вашей слабости и непонятливости, я объясняю вам с достаточною вразумительностью, чем обусловливаются наши понятия об искусстве и какая громадная разница существует между этими понятиями, с одной стороны, и *«сухим аскетическим взглядом»,* с другой стороны.

⟨Главы VIII и IX⟩

VIII

Аскетом, если не ошибаюсь, называется такой человек, который, по той или по другой причине, борется с своими страстями и переделывает свою природу по ранее задуманному плану. Из ваших слов, г. Антонович, видно, что вы понимаете слово *аскет* в том же самом смысле. Стало быть, аскетом ни в каком случае нельзя назвать такого человека, который весь поглощен одною преобладающей страстью и который, нисколько не думая о борьбе с самим собою, посвящает удовлетворению этой страсти все свои силы и всю свою жизнь. Конечно, вы не назовете аскетом горького пьяницу, который пропивает все свои деньги и все свое здоровье; конечно, вы не назовете также аскетом отчаянного игрока, который нарушает все свои человеческие обязанности, чтобы доставить себе сильные ощущения азартной игры, и точно так же вы не имеете ни малейшего основания называть аскетом Архимеда или Ньютона, которые, забывая о всех человеческих наслаждениях, проводили дни и ночи над математическими вычислениями. Архимед, и Ньютон, и все другие великие ученые исследователи, наверно, никогда не говорили себе, что они *обязаны* посвящать все свои силы науке и человечеству; если бы они приневоливали себя, если бы они действовали по *обязанности,* а не по страсти, то они никогда не сделались бы великими деятелями; потратив большую часть своей энергии на борьбу с инстинктами и страстями собственной природы, они взялись бы за умственную работу слабо и вяло и повели бы эту работу так, как ведут вообще всякую работу люди утомленные. Тайна их величия заключается именно в том, что они работали по той же самой причине, по которой пьяница пьет, а игрок играет. И в Архимеде, и в игроке, и в пьянице одна страсть развилась в ущерб всем остальным страстям и положила свою печать на все поступки, на весь образ мыслей и на всю жизнь данной личности. Нарушение равновесия, которое происходит в Архимедах, ставит их выше уровня обыкновенных людей; а нарушение равновесия, которое происходит в пьяницах и в игроках, ставит их ниже уровня обыкновенных людей; поэтому читателю может показаться очень странным сопоставление Архимеда с игроком и с пьяницею. Но в этом сопоставлении нет ничего ни страшного, ни обидного для Архимеда. Это сопоставление клонится к реабилитации человеческой природы. Оно доказывает, что человек становится полезным и великим тогда, когда он, при благоприятных условиях, усиливает и развивает в себе высшие стремления своей личности, которые, усилившись и развившись сами собою, без ломки и

борьбы, одерживают победу и упрочивают за собою перевес над низшими и вредными инстинктами нашей природы. Сопоставление Архимеда с игроком и с пьяницею доказывает, что величайшие подвиги полезного труда так же свойственны человеческой природе, как свойственны ей самые грязные проявления нравственной распущенности. — Если вы, г. Антонович, понимаете теперь, что нет надобности быть аскетом для того, чтобы проводить дни и ночи над математическими вычислениями, то вы, может быть, ухитритесь также понять, что нет надобности быть аскетом для того, чтобы относиться равнодушно к искусству как к источнику эстетического наслаждения. Те *некоторые,* которых вы упрекаете в горячности и нерассудительности, просто принадлежат к тому разряду явлений, к которому я отнес горьких пьяниц, отчаянных игроков и Архимедов и к которому никак нельзя отнести аскетов. У этих *некоторых,* которые действительно очень горячи и нерассудительны, вся жизнь наполнена стремлением к одной цели, все действия, слова и мысли окрашены одною преобладающей и безотвязной страстью, перед которою бледнеют и исчезают всякие посторонние соображения и всякие побочные интересы. Этим *некоторым* хочется непременно возбудить в людях желание серьезно задуматься над своим настоящим положением. Для чего им этого хочется и какой им от этого будет барыш, — этого я решительно не знаю; что же касается до вас, г. Антонович, то вы, без сомнения, знаете об этом еще меньше моего. Как бы то ни было, однако им этого очень хочется. Они думают, читают, пишут, принимают на себя различные хлопоты и неприятности, и все только для того, чтобы как-нибудь расшевелить умственные способности окружающих людей, направить их внимание на вопросы действительной жизни и указать им на те пути, на которых эта жизнь становится легче и лучше. Какие странные субъекты, какие, можно даже сказать, глупые субъекты! Не правда ли, г. Антонович? Во-первых, кого расшевелить? А во-вторых, им-то что за дело?! Не правда ли, г. Антонович? Предаваясь безраздельно своей глупой страсти, эти глупые *некоторые* ищут и находят в ней одной главные источники своих страданий и своих наслаждений, своих сомнений и своих надежд, своих иллюзий и своих разочарований. Они чувствуют себя счастливыми, когда они видят, что сколько-нибудь подвинулись вперед к своей цели; они злятся и волнуются, когда обстоятельства отбрасывают их назад или заставляют топтаться на одном месте. Они не говорят себе, что они, как добродетельные граждане, *обязаны* чувствовать себя счастливыми в одном случае и страдать разлитием желчи в другом. Нет, они действительно, без всякой команды, чувствуют себя счастливыми, когда их работа подвигается вперед;

и желчь их разливается также действительно и также без всякой команды, когда умственная спячка окружающих людей заявляет свое существование посредством какого-нибудь неожиданно громкого взрыва храпений. — Вам, г. Антонович, как и всякому другому *рассудительному* и *негорячему* человеку, мои слова покажутся, вероятно, неправдоподобными выдумками, но некоторым из ваших предшественников, хоть бы, например, Добролюбову, эти самые слова показались бы такими известными истинами, о которых не стоит даже и распространяться. Из этого обстоятельства я могу вывести то заключение, что «Современник» за последние два-три года сделал очень значительные успехи в *рассудительности* и что эти драгоценные качества, особенно при вашем содействии, могут развернуться в роскошный цветок умеренности и аккуратности. Впрочем, если мои повествования о *некоторых* покажутся вам чересчур невероятными, то вы можете обратиться за справками и пояснениями к кому-нибудь из оставшихся вокруг вас сотрудников добролюбовского «Современника», хоть бы, например, к г. составителю «Внутреннего обозрения», и эти ветераны, наверное, объяснят вам, что хотя то явление, которое я описываю, очень неправдоподобно, однако оно действительно встречается в жизни. — Итак, я буду продолжать, не смущаясь вашим весьма естественным недоверием. — Как человек *рассудительный* и *негорячий,* как человек, имеющий сделаться умеренным и аккуратным, как человек, имеющий пойти во всех отношениях по следам того достойного писателя, который говорил о прогрессистах, засиживающих идеи и испрашивающих благословения у Молешотта *, — вы, достойнейший г. Антонович, имеете полное и неоспоримое право называть *некоторых* — людьми помешанными или одержимыми. Но, если вы только не желаете ратовать против очевидности, вы непременно должны признать существование двух фактов: во-первых, того, что эти помешанные люди очень последовательны в своем помешательстве, а во-вторых, того, что эти люди совершенно искренни в своем помешательстве, то есть что они действительно, без всякой искусственной натяжки, любят свою idée fixe[1] больше всего на свете. Последовательность этих людей достаточно ограждает их от вашего упрека, будто бы их слова не что иное, как *бессознательные и необдуманные выходки.* А искренность этих людей должна убедить вас в том, что название аскетов может быть приложено к этим людям так же справедливо, как, например, к горьким пьяницам, к отчаянным игрокам или к Архимедам. Но вы все-таки не поверите ни мне, ни даже вашим сотрудникам. Вы сами совершенно не способны

[1] Навязчивую идею *(франц).* — *Ред.*

подвергнуться тому помешательству, о котором я вам рассказываю; вы не способны работать по страсти, — и в этом заключается ваша нравственная мелкость; кроме того, вы не способны понимать эту страсть и в других людях, — и в этом заключается ваша умственная дряхлость. Нельзя же, размышляете вы, целый день все учиться; надо же когда-нибудь и в игрушечки поиграть. И вслед за тем вы начинаете распространяться о том, в какие именно игрушечки должны играть благовоспитанные деточки. И этот школьнический взгляд на долг и на труд вы проводите в том самом журнале, в котором Добролюбов доказывал неутомимо, что для нормального, здорового и развитого человека долг и труд совершенно сливаются с личной выгодою и с личным наслаждением. Ваши рассуждения об аскетическом взгляде и о бессознательных выходках ручаются читающей публике за то, что вы чрезвычайно хорошо поняли идеи ваших учителей и чрезвычайно способны сделаться их преемником. Есть надежда, что вы в скором времени заподозрите в аскетизме того ригориста, которого бурлаки прозвали Никитушкой Ломовым. Развивайтесь дальше, и вы пойдете очень далеко...

IX

На 68 странице *рассудительный* и *негорячий* г. Антонович предается следующим трогательным размышлениям об искусстве: «Из всего этого видно, — говорит он, — что эстетическое наслаждение есть нормальная потребность человеческой природы, удовлетворяемая прекрасными предметами; и невозможно придумать никакого основания, которое бы могло дать право воспрещать или даже порицать удовлетворение этой потребности». Так вы находите, что невозможно придумать никакого основания? Не горазды же вы придумывать. Послушайте же вы следующее рассуждение и уразумейте из него, что основание придумать даже совсем нетрудно. Утоление голода есть нормальная потребность человеческой природы, удовлетворяемая питательными предметами; и действительно, невозможно придумать никакого основания, которое могло бы дать право воспрещать или даже порицать удовлетворение этой потребности. Однако, хотя никто не воспрещает и не порицает, эта потребность удовлетворяется у огромного большинства людей чрезвычайно плохо, по той простой причине, что не все могут есть то, что им хочется, и что питательных предметов производится не столько, сколько следовало бы их производить. А производятся питательные предметы в недостаточном количестве потому, что много, слишком много рабочих рук отвлекается на произ-

водство тех изящных предметов, которыми удовлетворяются разные эстетические пожелания, которые вы, критик «Современника», преемник Добролюбова и ученик автора «Эстетических отношений», считаете вашею обязанностью принять под свое просвещенное покровительство.

Так как вы сами знаете эту азбучную истину и оставляете ее под спудом именно тогда, когда вы обязаны были ею воспользоваться, то я начинаю догадываться, что ваша голова устроена по общему филистерскому плану, с крепкими и прочными перегородками *, которые дают вам полную возможность, подобно господину Incognito, предаваться эстетическим веселостям, забывая о существовании этой истины. «Значит, — продолжаете вы, — искусство как удовлетворение этой потребности полезно, если бы оно даже больше ничего и не давало человеку, кроме эстетического наслаждения, если бы оно было просто искусством для искусства, без стремления к другим, высшим целям». Значит, Добролюбов, сражавшийся в течение всей своей жизни против искусства для искусства, сражался против полезного явления и, следовательно, принес русскому обществу очень много вреда. Это говорит критик «Современника», и, что всего любопытнее, он говорит это, прикрываясь «Эстетическими отношениями». Знаете ли вы, г. Антонович, какое существенное различие сохранилось до сих пор между вами и г. Николаем Соловьевым? —Только то, милостивый государь, что вы пишете в таком журнале, из которого несравненно сильнее г. Николая Соловьева можете извращать понятия читающей публики; да еще то, что ваша литературная неопрятность дружески пачкает идеи, которые г. Николай Соловьев мог только осыпать издали своею бессмысленною и вследствие этого совершенно невинною бранью. И здесь, г. Антонович, я во второй раз должен отдать вам справедливость, что вы с большим уменьем, с замечательною тонкостью выбираете цитаты из «Эстетических отношений». Являясь панегиристом искусства для искусства, вы весьма тщательно предали забвению то место, в котором автор говорит о «содержании, достойном внимания мыслящего человека». В этом месте, которое я выписал в VI главе этой статьи, автор отрицает наповал искусство для искусства, и вы, находя, конечно, что автор — «ужасный моветон», почтительно игнорируете его *горячее* и *нерассудительное* мнение о том, что искусство чрезвычайно часто бывает пустою забавою. Таким образом, ужасный моветон является у вас в весьма облагороженном виде. «Кроме того, — говорите вы далее, — эстетическое наслаждение полезно и тем, что оно значительно содействует развитию человека, уменьшает его грубость, делает его мягче, впечатлительнее, вообще гуманнее, сдерживает его дикие инстинкты,

неестественные порывы, разгоняет мрачные, своекорыстные мысли, ослабляет преступные намерения и восстанавливает в человеке тихую гармонию, устраняя диссонансы, производимые всем, что есть дурного в людях и их отношениях; и это очень понятно, потому что искусство удовлетворяет естественной, нормальной потребности, а человек всегда бывает лучше и добрее, когда его натура удовлетворяется во всех ее нормальных потребностях». О г. Антонович, вы просто превзошли самого себя. Г. Дудышкин и г. Incognito, г. Страхов и г. Косица, г. Аверкиев и г. Николай Соловьев стремятся в ваши объятия. «Хочу целовать, хочу целовать!» — поют они хором и непременно поцелуют вас, тем более что вы, смягченные и разнеженные искусством, то есть их пением, *сдержите* ваши *неестественные порывы, разгоните* ваши *мрачные мысли, ослабите* ваши *преступные намерения, восстановите* в себе *тихую гармонию, устраните диссонансы, производимые всем, что есть дурного в людях,* и, следовательно, не станете отвертываться от филистерских безешек этих людей, в которых, конечно, есть очень много ингредиентов, весьма способных производить диссонансы. По красоте языка и по яркости красок ваша реклама в пользу искусства может найти себе опасного соперника только в объявлении парфюмера Л. Леграна о достоинствах *тонической воды из хинины Легран.* Читайте и сравнивайте. «Составленная из крепительных веществ, — говорит парфюмер Л. Легран, — эта вода уничтожает болезни головной кожи, останавливает падение волос, даже самое сильное, препятствует седине и, с помощью помады тонинного бальзама, возобновляет растение волос на головах, уже давно плешивых». — Что касается до меня, то я решительно предпочитаю красноречие парфюмера Леграна, потому что в нем гораздо меньше пустословия и гораздо больше конкретности. Сначала я хотел привести в параллель вашему панегирику объявление о «превосходной *Revalescière* доктора *Du Barry»,* но потом я заметил, что это было бы с моей стороны невеликодушно, ибо это объявление совершенно подавило бы вас своими достоинствами. В этом объявлении сказано, что *превосходная Revalescière произвела до 60 000 выздоровлений.* Значит, приведен факт, на котором и построена теория о великих достоинствах *превосходной Revalescière.* А вы, мой *рассудительный и негорячий* мыслитель, — вы какой факт можете привести в подкрепление вашей уморительной импровизации? Не вздумаете ли вы заглянуть в историю? Ах, сделайте одолжение, загляните хоть в историю Нерона, который сам был и музыкантом, и певцом, и актером, и обожателем Гомера. — Вторая великая эпоха процветания для искусства наступила в Италии в XV столетии. Ну и что же? Вероятно, в тогдашней Италии

возвратились чистота нравов, поголовная кротость и всеобщее братолюбие? Да, похоже на то! Все эти и многие другие добродетели воплотились, например, в семействе Борджиа. Это имя, как известно, в своем роде так же выразительно, как имя Нерона. Вот что говорит о всей этой эпохе эстетик Тэн, который обожает искусство, но обожает просто и откровенно, не приписывая ему никаких чудодейственных качеств и не желая состязаться с парфюмером Леграном в сочинении красноречивых реклам. «Стоит только прочитать Челлини, письма Аретино, историков того времени, чтобы увидеть, до какой степени телесна и опасна была тогдашняя жизнь, каким образом человек сам должен был творить себе суд и расправу, каким образом на него нападали на прогулке и в дороге, каким образом он был принужден постоянно иметь под рукою шпагу и аркебузу и никуда не отлучаться из дому без *giaco*[1] и кинжала. Знатные особы режут друг друга без затруднений и даже в своих дворцах удерживают грубые нравы простолюдинов. Папа Юлий, рассердившись на Микель-Анджело, однажды отколотил палкой одного прелата, который старался смягчить его гнев». Видите, г. Антонович, как опасно бывает сдерживать *дикие инстинкты* и как плохо досталось бы представителю искусства, если бы он взял на себя ту роль, которую вы ему навязываете. «Всегда, — продолжает Тэн, — когда господствует какое-нибудь искусство, тогда дух современников вмещает в себя его элементы, то есть идеи и чувства, если преобладают поэзия и музыка, или же формы и краски, если царствуют скульптура и живопись. Всегда искусство и дух соответствуют друг другу, так что искусство выражает дух и так что дух порождает искусство. Таким образом, в тогдашней Италии совершается возрождение языческих искусств именно потому, что в ней возрождаются языческие нравы. Цезарь Борджиа, взявши какой-то город в Неаполитанском королевстве, оставил себе сорок самых красивых женщин. Приапеи, которые описывает Буркард, камергер папы, чрезвычайно сходны с теми празднествами, которые во времена Катона разыгрывались на римских театрах. Вместе с чувством наготы, вместе с упражнением мускулов, вместе с развитием телесной жизни появляются во второй раз чувство и обожание человеческого образа» («L'Italie et la vie italienne» — «Revue des deux Mondes», Janvier 1865, p. 197)[2]. Вот это по крайней мере смело и откровенно. Эстетик не прячется в лицемерную мораль. Он любуется красотою, он радуется процветанию искусства и вовсе

[1] Кольчуги *(итал.)*. — *Ред.*

[2] «Италия и итальянская жизнь» — «Ревю де дё монд», январь 1865, стр. 197. — *Ред.*

не думает скрывать от читателя, что это процветание было вызвано грубостью нравов и, в свою очередь, поддерживало и поощряло эту грубость, возводя ее в перл создания. А у вас, г. Антонович, не хватило храбрости сделаться чистокровным эстетиком, и вы робко и неловко пробуете составить какую-то невозможную амальгаму искусства с утилитарностью и эстетики с примерным благонравием. Точь-в-точь г. Incognito и г. Николай Соловьев! В заключение я вас порадую тем неожиданным для вас известием, что вы с г. составителем «Внутреннего обозрения» взаимно истребляете друг друга. Вы уличаете в *горячности и нерассудительности* каких-то *некоторых,* и вдруг оказывается, что один из *некоторых* горячится и безрассудствует рядом с вами, в той самой книжке, в которой вы рекомендуете чистое искусство *. Комизм выходит поразительный. Ваш сотрудник с лишком на *семи* страницах (164—171) осмеивает *высокие наслаждения души.* «Только люди с неразвитым эстетическим вкусом, — говорит он, например, на стр. 166, — огрубевшие для *высоких наслаждений души,* ⟨...⟩ не понимают этих возвышенных потребностей и потому грубо спрашивают: «Куда же деваются деньги», если не видят их употребленными на покупку плугов и молотилок, на постройку хлевов, на перевозку навоза и т. п. Они не знают, что и в тех городах, где нет оперы, ни даже музыкального общества, возможны высшие наслаждения души, которым занятие плугами, молотилками, хлевами и тому подобною грязью может предпочесть только человек с неразвитым вкусом» **. Ваш сотрудник говорит с иронием то самое, что вы совершенно серьезно выдаете нашему обществу за «современную эстетическую теорию». Обратите же внимание на вашего сотрудника, наставьте его на пусть истины, уличите его в *горячности и нерассудительности* и внушите ему раз навсегда, что *невозможно придумать никакого основания, которое бы могло дать право воспрещать или даже порицать высокие наслаждения души;* объясните ему, что все, упивающиеся концертами и итальянскою оперою, поступают превосходно, потому что они, таким образом, *уменьшают* свою *грубость, делают* себя *мягче, впечатлительнее, вообще гуманнее, сдерживают* свои *дикие инстинкты, неестественные порывы, разгоняют мрачные, своекорыстные мысли, ослабляют преступные намерения и восстанавливают* в *себе тихую гармонию, устраняя* и так далее, и так далее, и так далее. Но при этом подумайте, куда вы тащите «Современник»?»

ПРИМЕЧАНИЯ

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Первое издание — Сочинения Д. И. Писарева, изд. Ф. Павленкова, чч. I—X, СПб. 1866—1869.
Писарев — Д. И. Писарев, Сочинения, тт. 1—4, Гослитиздат, М. 1955—1956.
Пятое издание Павленкова — Сочинения Д. И. Писарева, полное собрание в шести томах, изд. 5-е Ф. Павленкова, тт. I—VI, СПб. 1909—1912.
«Р. сл.» — «Русское слово».
ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции в Москве.
Чернышевский — Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, тт. I—XVI, Гослитиздат, М. 1939—1953.

В настоящее издание включены избранные статьи Д. И. Писарева, имеющие существенное значение для характеристики его литературно-критических и эстетических взглядов и его мировоззрения в целом. Основное место занимают статьи, относящиеся ко времени интенсивной деятельности Писарева в журнале «Русское слово», ко времени формирования его «теории реализма» (1864—1865).

К первому периоду деятельности Писарева в «Русском слове» относится статья «Базаров». Последние годы его жизни и творчества представлены статьями «Генрих Гейне» и «Французский крестьянин в 1789 году». Включенная в издание важнейшая из статей Писарева на исторические темы — «Исторические эскизы» — имеет особое значение для правильного и всестороннего понимания мировоззрения Писарева. Вместе с тем она содержит отдельные характерные детали, объясняющие социальный смысл того «разрушения эстетики», которое полемически провозглашалось Писаревым в середине 60-х гг. «Исторические эскизы» ни разу не перепечатывались в собраниях сочинений Писарева, изданных в советскую эпоху. Эта статья оставалась нередко вне поля зрения наших читателей и не всегда привлекала к себе то внимание со стороны историков русской критики, которое она заслуживает.

В приложении даны первые главы статьи «Новый тип» по недавно открытому так называемому ялуторовскому списку (см. об этом в примечаниях к статье «Мыслящий пролетариат») и части журнального текста статьи «Разрушение эстетики», не вошедшие в первое издание сочинений Д. И. Писарева.

БАЗАРОВ

Впервые напечатана в журнале «Русское слово», 1862, кн. 3; затем вошла в ч. I первого издания сочинений (1866). Варианты текста этих двух прижизненных публикаций незначительны. Здесь статья публикуется по тексту первого издания с исправлением небольших погрешностей по тексту «Р. сл.» и пятого издания Павленкова.

Стр. 62. * *...общество... стало даже заглядывать в аудитории...* — В 1859—1860 гг. лекции в Петербургском университете, а также в Медико-хирургической академии стали впервые посещаться вольнослушателями, в частности женщинами. Особенно обширную аудиторию собирали тогда лекции историка Н. И. Костомарова.

Стр. 63 *...*грубейшее суеверие нас душит...* — Курсив Писарева. В письме Цензурного комитета от 22 марта 1866 г. в Главное управление по делам печати, рассматривавшего ч. I первого издания сочинений, говорилось по этому поводу: «В отношении к религии Писарев обходит все случаи, даже предсмертные минуты Базарова, как будто об этом предмете не стоило и говорить. Только в одном месте... в разговоре Базарова с дядею Аркадия слова Базарова: «Когда грубейшее суеверие нас душит» — автор распорядился напечатать... курсивом, очевидно не без намерения, а это, без сомнения, намек на авторитет церкви» (цит. по статье В. Е. Евгеньева-Максимова «Д. И. Писарев и охранители». — «Голос минувшего», 1919, № 1—4).

Стр. 79. *...*гегелистом (вроде Шамилова)...* — Шамилов — тип безвольного фразера в повести А. Ф. Писемского «Богатый жених».

**...*негодование теоретиков...* — Теоретиками в охранительно-либеральной прессе 60-х гг. обычно называли представителей революционно-демократической мысли, в частности Чернышевского и других публицистов журнала «Современник».

Стр. 95. *...*хоть они припевают и посвистывают...* — Здесь выражение «посвистывают» имеет эзоповский смысл. В журналистике 60-х гг. глагол «свистеть» нередко употреблялся в особом осмыслении: выступать с критикой, осмеянием и отрицанием всего старого, реакционного, отжившего. Такое употребление пошло от названия сатирического отдела «Свисток», организованного в журнале «Современник» Добролюбовым.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭСКИЗЫ

Впервые опубликована в журнале «Русское слово», 1864, кн. 1 (гл. I—XIII) и кн. 2 (гл. XIV—XXIII). Затем вошла в ч. VIII первого издания сочинений (1867). В первом издании сравнительно с журнальным текстом имели место отдельные пропуски. Они указаны в последующих примечаниях.

Статья обратила на себя внимание цензуры еще при выходе первого издания. В дальнейшем, при издании Ф. Ф. Павленковым шеститомного собрания сочинений Писарева, статья подверглась серьезнейшим цензурным искажениям. Был исключен ряд мест, где речь шла об антагонизме между буржуазией и трудящимися, об эксплуатации масс и т. д. Особенно существенными были искажения в главах XVI—XVII. Полный текст первого издания был восстановлен лишь в пятом (1912) и шестом (1914) изданиях собрания сочинений Писарева.

Писарев, очевидно, предполагал продолжить изложение и анализ событий французской буржуазной революции XVIII в. Во всяком случае, в главе VII он говорит о том, что приступает к изложению событий «от 1789 до 1795 года», между тем изложение останавливается на событиях осени 1791 г.

Стр. 98. * В тексте «Р. сл.» за этим следовало: «исторического деятеля; я честнее такого-то».

Стр. 100. * В своей статье Писарев использовал фактические материалы из работы немецкого буржуазно-либерального историка Г. Зибеля «История революционного времени», незадолго до того появившейся в русском переводе. В «Р. сл.» (1863, кн. 11—12, «Библиографический листок») в связи с появлением этого перевода была дана следующая характеристика книги: «Ее нельзя никоим образом считать авторитетом, потому что

автор имел более в виду интересы прусской либерально-консервативной партии, чем интересы науки и исторической правды». В той же заметке было указано, что Писарев «скоро познакомит в более обширной статье читателей «Русского слова» с этим сочинением». Однако статья Писарева, по существу, явилась не разбором и пересказом книги Зибеля, а самостоятельной работой, освещавшей события революции с демократических позиций.

** Отрицательную оценку «объективизма» И. А. Гончарова см. в статье «Писемский, Тургенев и Гончаров» (Писарев, т. 1, стр. 197 и след.). Частые выпады в адрес Гончарова у Писарева связаны, между прочим, с тем, что Гончаров в 60-х гг. заявил себя как один из цензоров, отличавшихся преследованием демократической журналистики, в частности и статей Писарева.

Стр. 101. *...*Филипп IV Красивый сжег тамплиеров...* — Тамплиеры (храмовники) — члены рыцарского ордена, основанного во время крестовых походов, в 1119 году. Филипп IV, боясь усиления ордена и желая отнять его богатства, конфисковал имущество ордена, предавал членов его пыткам и сожжению. В 1312 г. орден был окончательно упразднен.

** Собрание государственных чинов — Генеральные штаты, сословно-представительное учреждение в феодальной Франции с совещательными функциями. Возникли в начале XIV в. С 1614 г. до мая 1789 г. не созывались королями.

*** Лига — организация, возникшая в 1570-х гг. среди католиков северной Франции под руководством видного феодала Генриха Гиза; имела сильное влияние на короля Генриха III.

Стр. 102. * Президиальными судами с 1551 по 1789 г. назывались во Франции суды второй инстанции, судившие ряд дел безапелляционно.

** Парламентами во время сословной монархии назывались во Франции верховные суды, действовавшие в Париже и в четырнадцати провинциях. Наиболее важную роль играл парижский парламент, наблюдавший за правильностью законодательства. Парижский парламент неоднократно пытался вступать в оппозицию к королевской власти; особенно сильной была эта оппозиция при Людовике XV, который распустил его в 1771 г. Людовик XVI, также встретив в восстановленном им парламенте серьезную оппозицию, вновь распустил его накануне революции. Восстановленный в самом начале революционных событий, парижский парламент был окончательно ликвидирован декретом 1790 г.

Стр. 109. * ...*задолго до рождения гг. Фета и Семена...* — Речь идет об очерках А. А. Фета «Из деревни» («Русский вестник», 1863, кн. 1 и 3). В них поэт выступил с характерными для крепостников жалобами на ухудшение поместной жизни после реформы 1861 г., грубость и леность крестьян. Между прочим, он рассказывал там и о работнике Семене, который был уволен им за нерадивость и с которого ему с трудом удалось взыскать выданный задаток. В главе «Гуси с гусенятами» Фет приводит еще один факт: он поймал на своем поле крестьянских гусей и оштрафовал их хозяина. Отсюда Фет делал вывод, что интересы помещиков еще недостаточно охраняются законом. Эти реакционные ламентации поэта были постоянной мишенью для демократической критики и сатиры в 1863—1865 гг.

Стр. 110. * Оптиматы — в древнем Риме аристократия, знать; здесь употреблено в более широком смысле, применительно к аристократии в сословно-монархической Франции.

Стр. 123. * *Собрание... нотаблей...* — Собрание представителей высшего духовенства, придворного, дворянства и других привилегированных лиц, которое крайне нерегулярно созывалось французскими королями в XIII—XVIII вв. в совещательных целях.

Стр. 134. * Национальная гвардия была создана в июле 1789 г. преимущественно из зажиточных горожан и служила не столько делу борьбы с абсолютизмом и дворянской контрреволюцией, сколько защите интересов крупной буржуазии и подавлению широкого демократического движения

(расстрел народной демонстрации на Марсовом поле в июле 1791 г.). Конвент позднее принял ряд мер для демократизации национальной гвардии.

Стр. 139. * ...*Объявление о правах человека...* — «Декларация прав человека и гражданина», манифест, принятый Учредительным собранием 26 августа 1789 г.

** Шлоссер Фридрих Кристоф (1776—1861) — немецкий историк. Его «Историю восемнадцатого и девятнадцатого столетия до падения Французской империи» переводил Н. Г. Чернышевский, привлекший к участию в переводе ряд молодых литераторов (В. Обручева, Е. Белова и др.). Этот перевод, который начал издаваться с 1858 г., составил несколько томов «Исторической библиотеки», выходившей при журнале «Современник». (Характеристику Шлоссера как историка см.: Чернышевский, VII, стр. 453—457).

Стр. 140. * Ср. крылатое выражение из «Обыкновенной истории» Гончарова: «вещественные знаки невещественных отношений».

Стр. 150. * Парижская коммуна — во время Французской буржуазной революции XVIII в. наименование общины граждан, муниципального самоуправления Парижа.

Стр. 158. *В тексте «Р. сл.» затем следовало: «своих предшественников и в особенности счастливее».

Стр. 162. * Янсенисты — приверженцы религиозной секты, образовавшейся в начале XVII в. (названа по имени одного из ее основателей — голландца Янсения). Янсенисты являлись сторонниками реформации католической церкви и подвергались в XVII—XVIII вв. преследованиям со стороны католической иерархии.

** ...*о победе над ультрамонтанскими тенденциями...* — Ультрамонтанский (от франц. ultramontain) — стремящийся к неограниченному расширению власти римских пап в духовных и светских делах католических стран.

Стр. 175. * См. обращение Гамлета к Горацию в трагедии Шекспира «Гамлет».

Стр. 176. * В «Р. сл.» далее следовало: «в которых люди живут тесными и грязными кучками».

Стр. 185. * ...*между Ормуздом и Ориманом...* — Ормузд и Ориман — в мифологии древних иранцев божества: одно — носитель доброго, а другое — злого начала. Долгая борьба между ними должна была завершиться, по этим верованиям, победой Ормузда.

Стр. 191. * В «Р. сл.» затем следовала фраза: «Собрания городских кварталов, или секций, должны были собираться только на время выборов, чтобы назначить мэра и членов обоих советов».

Стр. 192. * Клуб кордельеров (общество друзей прав человека и гражданина) был образован в 1790 г. Получил название от монастыря, принадлежавшего монашескому ордену кордельеров, где происходили его собрания. Активную роль в работе клуба играл Марат. Члены клуба одними из первых выступили с требованиями ликвидации монархии и установления республики. Затем стал оплотом левых якобинцев, выступавших против Робеспьера. После казни эбертистов в марте 1794 г. прекратил существование.

Стр. 210. * Ср. слова Фамусова, обращенные к Чацкому: «Просил я помолчать, не велика услуга» (д. II, явл. 5).

Стр. 214. * ...*памфлет с республиканскими тенденциями...* — Имеется в виду трактат «La France libre» («Свободная Франция», 1789), где выдвигалось требование провозглашения республики.

Стр. 221. * ...*Бриссо стал издавать газету «Le Républicain»...* — Газета «Республиканец» была основана Бриссо в июле 1791 г.; вышло четыре номера.

** ...*Кондорсе написал республиканский памфлет...* — Памфлет Кондорсе против монархии был опубликован в этой газете 16 июля 1791 г. Он был написан в форме письма некоего механика, который предлагал свои

услуги для изготовления в двухнедельный срок по сходной цене послушного «конституционного» короля со всей его семьей и двором.

*** Клуб фельянов, получивший название по месту собраний — в монастыре ордена фельянов, — был образован в 1791 г. Здесь сосредоточились руководящие силы умеренно-либеральной партии, защищавшей конституционную монархию. Клуб перестал существовать в августе 1792 г.

РЕАЛИСТЫ

Впервые — в «Русском слове», кн. 9—11 за 1864 г., под названием «Нерешенный вопрос» (в кн. 9, с подзаголовком «статья первая», гл. I—IX; в кн. 10, «статья вторая», гл. X—XXI и в кн. 11 остальные тринадцать глав с подзаголовком «статья третья и последняя» и с отдельной нумерацией глав), без посвящения матери критика и без подписи (впрочем, в оглавлении на обложке кн. 9 журнала автор указан). Вошла в ч. II первого издания (1866) под названием «Реалисты», без разделения на три статьи и с общей нумерацией глав.

В журнале текст статьи претерпел сильные цензурные искажения. В примечании, сопровождавшем статью в первом издании, говорилось по этому поводу: «Хотя настоящая статья, написанная Д. И. Писаревым в конце 1864 года, носила заглавие «Реалисты», но почему-то ей дали название «Нерешенный вопрос», под которым она испытала на себе, по словам Писарева, нечто вроде геологического переворота. Наиболее вопиющие изменения восстановлены». В т. IV пятого издания Павленкова (1910) это примечание издателя более прямо и красочно характеризует цензурные злоключения статьи: «Хотя настоящая статья, написанная Д. И. Писаревым в конце 1864 года, носила название «Реалисты», но одна из рук, оберегающих отечественную печать, вымарала это жгучее тавро ненавистного для нее направления и заменила его канцелярским вензелем «нерешенного вопроса», желая, вероятно, такой заменой выразить, что по этому делу еще не последовало от кого следует разрешающей резолюции. Любопытно, что, вымарывая скромное заглавие и производя ряд кавалерийских маневрирований на полях авторских мыслей, заботливый пестун уничтожил также посвящение сына матери. Почему так нужно было поступить, неизвестно. Это поистине единственно составляет нерешенный вопрос «Реалистов». Произвольные изменения, насколько можно было, восстановлены самим автором. *Примечание издателя к изданию 1866 г.*». Как мы видели, однако, примечание в первом издании сформулировано более кратко и неопределенно; очевидно, там оно было смягчено издателем также из опасения цензурных преследований.

«Кавалерийские маневрирования» цензуры, насколько об этом можно судить по восстановленным в первом издании «наиболее вопиющим изменениям» (автограф статьи не сохранился), свелись, помимо изменения заглавия и снятия авторского посвящения, прежде всего к механическому устранению нескольких кусков текста, что привело к серьезным искажениям смысла (см. примечания к стр 248, 249). В других случаях вместо точных и прямых определений и оценок, данных Писаревым, в журнальном тексте были даны смягченные и более неопределенные варианты (см. примечания к стр. 226, 228), что иногда вело также к смысловым нелепостям.

В первом издании сочинений, помимо восстановления ряда искаженных цензурой мест, были внесены и другие частные изменения и исправления. Далее в примечаниях указываются наиболее существенные из них. Здесь текст статьи дается по первому изданию, с исправлением некоторых очевидных его погрешностей по тексту журнала и пятому изданию Павленкова.

Статья Писарева вызвала многочисленные полемические отклики. В журналах реакционного и либерально-охранительного направления «тео-

рия реализма» подверглась ожесточенным нападкам. Н. И. Соловьев в журнале «Эпоха», Е. Ф. Зарин (Incognito) в «Отечественных записках» и другие рассматривали эту теорию как крайнее проявление материализма и нигилистического отрицания. «Аргументы» этих критиков справа Писарев высмеял в статье «Прогулка по садам российской словесности» («Р. сл.», 1865, № 3).

Опубликование «Нерешенного вопроса» в «Русском слове» особенно обострило полемику между «Русским словом» и «Современником», начавшуюся несколько ранее. Уже в книге 10 «Современника» за 1864 г., то есть сразу же после опубликования в кн. 9 «Русского слова» первой части статьи «Нерешенный вопрос», была помещена (под псевдонимом «Посторонний сатирик») заметка М. А. Антоновича «Вопрос, обращенный к „Русскому слову“». Антонович спрашивал редакцию «Русского слова», согласна ли она со статьею Писарева и разделяет ли она положительную оценку «Отцов и детей», типа Базарова и отрицательное мнение о его статье «Асмодей нашего времени», содержавшей резкую критику романа Тургенева. В неподписанной заметке «Ответ „Современнику"», принадлежащей Писареву («Р. сл.», 1864, № 10), было заявлено о солидарности редакции журнала с «Нерешенным вопросом», и печатание дальнейших глав писаревской статьи продолжалось. В № 11—12 «Современника» Антонович в заметке «„Русскому слову“ (предварительные объяснения)» указывал, что он считает «Нерешенный вопрос» вызовом «Современнику», и обещал в дальнейшем дать подробный разбор «Нерешенного вопроса» и критику ошибок «Русского слова».

Вслед за тем в последних номерах «Современника» и «Русского слова» за 1864 г. и в первых двух номерах этих журналов за 1865 г. было помещено несколько полемических заметок очень резкого и иногда оскорбительного характера. Антонович на страницах «Современника» критиковал другого сотрудника «Русского слова» — В. А. Зайцева, обвинял в беспринципности редактора журнала Г. Е. Благосветлова. Зайцев и Благосветлов, отвечая на эти обвинения, наносили ответные удары по «Современнику». Однако несмотря на то, что полемика сразу же развернулась по нескольким направлениям, Антонович все же утверждал, что «главный предмет» спора составляет статья Писарева «Нерешенный вопрос».

Писарев парировал нападения Антоновича в последней главе статьи «Прогулка по садам российской словесности». Между тем в книгах 2 и 4 «Современника» за 1865 г. появилась обещанная ранее статья Антоновича («Промахи»). Однако и теперь Антонович не дал полного критического разбора идейной программы, развернутой Писаревым в «Реалистах». Главное место заняли здесь обвинения в том, что Писарев не понял истинных целей тургеневского романа, и указания на противоречия в оценке «Отцов и детей», содержавшиеся в статьях «Базаров» и «Реалисты». В заключение второй части статьи «Промахи» Антонович писал, что он на время прерывает свои рассуждения о «Нерешенном вопросе». Однако продолжения этой статьи в «Современнике» не последовало. В дальнейшем, после появления в «Русском слове» статьи «Разрушение эстетики», центр полемики между Антоновичем и Писаревым оказался перенесенным на общие вопросы эстетики (см. примечания к указанной статье). Впрочем, и в последней полемической статье, опубликованной Антоновичем в книге 7 «Современника» за 1865 г. — «Лжереалисты (по поводу «Русского слова»)», — повторялись утверждения, что Писарев не заметил тенденциозности «Отцов и детей» и ошибочно принял Базарова за тип «нового человека». Писареву, так же как и Зайцеву, предъявлялось обвинение в том, что они создали искаженное представление о «реализме», то есть отступили от материалистических и революционно-демократических позиций Чернышевского и Добролюбова.

Писарев ответил большой полемической статьей «Посмотрим!» («Р. сл.», 1865, кн. 9), явившейся заключительным эпизодом полемики,

Стр. 224. * Мартинизм — одно из ответвлений масонства (по имени французского мистика Луи Клода Сен-Мартена (1743—1803); общество мартинистов в России было основано около 1780 г.

Стр. 226. * Здесь и далее в «Р. сл.» вместо «мы глупы» был цензурно смягченный вариант: «мало развиты» (в двух первых случаях), «не развиты» (в двух последующих).

Стр. 228. * В «Р. сл.» по цензурным причинам здесь вместо имени Рахметова было: «человек строго реальный». Далее соответственно: вместо «особенности Рахметова» — «особенности человека с реальным направлением»; «у Рахметова» — «у реалиста»; «Рахметов» (стр. 229, строка 3 св.) — «человек вполне реальный». Эти цензурные замены имени конкретного персонажа на общее типовое определение приводили, как указывал Писарев позднее в статье «Посмотрим!», к логическим несообразностям в изложении (см. Писарев, т. 3, стр. 181—182).

Стр. 229. * Имеется в виду басня И. А. Крылова «Муха и дорожные».

Стр. 231. * *...все нападки мальчишек...* — Мальчишки — кличка, пущенная по адресу представителей революционной демократии, в частности сотрудников «Современника», Катковым.

Стр. 232. * Имеется в виду статья «Асмодей нашего времени».

Стр. 233. * *...г. Станицкий рекомендует железные кольца, продетые в ноздри...* — В романе Н. Станицкого (псевдоним А. Я. Панаевой) «Женская доля» говорится, что эгоистов могут остановить лишь «железные кольца, продетые в их ноздри; только тогда они бессильны проявить свою зверскую силу над слабыми» («Современник», 1862, кн. 3). В статье «Кукольная трагедия с букетом гражданской скорби», опубликованной Писаревым в кн. 8 «Р. сл.» за 1864 г., он, цитируя это место из романа, упрекал редакцию «Современника» в том, что она, публикуя роман Панаевой, отступает от программы Чернышевского, не понимает учения о «разумном эгоизме», заменяет его отвлеченным морализированием.

Стр. 240. * *«Женитьба от скуки»* — повесть Г. Е. Благосветлова (псевдоним: Г. Лунин), напечатана в «Р. сл.» за 1863 г., кн. 7 и 8. Герой ее — молодой дворянин Ничкин, способный, чуткий, но без устойчивых интересов и занятий. Женившись на простой девушке по увлечению, он вскоре начинает тяготиться семейной жизнью, опускается. Жена, нежно любящая его, но неразвитая, не имеет на него влияния. Наступает разлад, в результате которого герой кончает самоубийством, а жена его сходит с ума.

Стр. 242. * В «Р. сл.»: «Лукошко глубокомыслия». Это хлесткое и резкое выражение, брошенное в адрес М. А. Антоновича, подлило масла в огонь полемики между «Русским словом» и «Современником». Позднее, в статье «Посмотрим!», Писарев признал неуместность этого выражения (см. Писарев, т. 3, стр. 438).

Стр. 248. * В «Р. сл.» цензурное искажение текста, в результате которого придаточное предложение выглядело так: «когда стремление к человеческому благополучию и решать задачи, вытекающие из этого благополучия, оказывается преждевременно».

** *...Костомарова... ставят в тупик запросы пробуждающейся жизни...* — В начале 1862 г., в связи с закрытием властями Петербургского университета на время студенческих волнений, в здании городской думы студенты организовали чтение публичных лекций. В них принимал участие ряд прогрессивно настроенных профессоров, в частности известный историк Н. И. Костомаров. В марте 1862 г., после того как правительство выслало профессора П. В. Павлова из Петербурга за произнесенную им речь о тысячелетии России, студенты в знак протеста приняли решение о прекращении этих публичных лекций. Когда по окончании лекции Костомарова один из студентов объявил об этом, Костомаров, вернувшись на кафедру, заявил, что, вопреки решению, он чтение лекций будет продолжать. Его заявление вызвало бурную реакцию присутствующих. После этого чтение лекций было запрещено правительством.

Стр. 249. * В «Р. сл.» здесь текст искажен цензурным вмешательством. К концу предыдущего предложения: «к угловатым реалистам нашего времени» было непосредственно присоединено следующее: «что на его поприще никто бы не мог действовать лучше и плодотворнее».

Стр. 251. * Ср. выражение В. А. Зайцева (в статье «Белинский и Добролюбов» — «Р. сл.», 1864, кн. 1) о Печориных, наряжавшихся «в черкесское платье для пущего трагизма».

Стр. 252. * *...открытие, что естественные науки действительно существуют...* — Это ироническое замечание относится, видимо, к статье Н. Н. Страхова «Естественные науки и общее образование» («Эпоха», 1864, кн. 7), где, между прочим, говорилось: «До сих пор мы доказывали... что естественные науки совершенно годны для общего образования; прибавим к этому, что их никак нельзя считать лишними» (стр. 27).

** *...вместо «роз Феокрита», возрастить на российских снегах...* — Ср. у Пушкина: «Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы».

Стр. 253. * Перефразировка слов Лермонтова о Демоне: «Да он и не взял бы забвенья!» (ч. 1, строфа IX).

Стр. 254. * *...недоступную атмосферическим влияниям...* — Под «атмосферическими влияниями» иносказательно понимается реакция. Область, недоступная этим влияниям, — естествознание. Ср. замечание в статье «Наша университетская наука», что только в область естествознания «не проникает никакая реакция» (см. Писарев, т. 2, стр. 224—225).

** Писарев ссылается на выводы своей статьи «Мотивы русской драмы» (см. Писарев, т. 2, стр. 366—395).

Стр. 258. * *...пифагорейский обет молчания...* — В общину пифагорейцев, последователей древнегреческого философа-идеалиста Пифагора, основанную в Кротоне (южная Италия) в VI в. до н. э., принимались только те, кто подвергался предварительно трудным испытаниям, в частности налагался обет полного молчания в течение нескольких лет.

** Имеется в виду место из фельетона М. Е. Салтыкова-Щедрина «Наша общественная жизнь» («Современник», 1864, № 3), где, характеризуя критику «Русского слова», он писал о «юродствующих и вислоухих», которые признали в последнее время «болтуна Базарова» «за тип современного прогрессиста» (Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. VI, М. 1941, стр. 324). В «Р. сл.» вместо слов: «фельетонист „Современника“» была ироническая аттестация: «известный герой Егор Козырев, или душа Тряпичкин».

Стр. 261. * Имеется в виду антинигилистический роман Писемского «Взбаламученное море» (1863). *Иона-циник* — персонаж этого романа, помещик, устраивавший оргии.

Стр. 262. * Роман Тургенева цитируется по отдельному его изданию 1862 г. Курсив в последующих цитатах принадлежит Д. И. Писареву.

Стр. 263. * См. указанное место в статье «Когда же придет настоящий день?» (Н. А. Добролюбов, Собрание сочинений, т. 6, Гослитиздат, М. — Л. 1963, стр. 118).

Стр. 284. * *...живут безгрешными доходами...* — Принятое в литературе 60-х гг. ироническое обозначение взяток.

Стр. 285. * Имеется в виду мексиканская экспедиция 1861—1867 гг. — совместная англо-испано-французская интервенция в Мексику с целью подавления национально-освободительного движения.

Стр. 292. * *...в английском парламенте сидит мистер Геннеси...* — Джон Геннеси — член палаты общин, тори; в 1864 г. критиковал политику Пальмерстона в польском вопросе. Тогда же выступил с клеветой на итальянского революционера Дж. Маццини, обвиняя его в организации покушения Греко на Наполеона III. Шум, поднятый вокруг этого, привел к отставке одного из английских министров — Стансфилда, якобы помогавшего сношениям Маццини с Греко.

** *...Гарибальди сначала подстрелили при Аспромонте, а потом вылечили и простили...* — Гарибальди был ранен при Аспромонте во время его

военной экспедиции в Папскую область, в августе 1862 г., и арестован. Митинги протеста против этого ареста, прошедшие в разных странах, принудили правительство Сардинии «помиловать» Гарибальди: он был выслан на остров Капрера.

Стр. 303. * Свечина С. П. — фрейлина при дворе Павла I и Александра I; в 1807 г. перешла в католичество, подпала под влияние иезуитов и переселилась в Париж. Оставила после себя записки мистического содержания. В начале 60-х гг. имя Свечиной стало популярным в русской журналистике после статьи Евг. Тур «Госпожа Свечина», помещенной в «Русском вестнике» (1860, № 7). В полемике вокруг этой статьи принял участие и Чернышевский (см. его статью «История из-за госпожи Свечиной». — Чернышевский, т. VII, стр. 300—324).

Стр. 310. * Писарев упрекает Тургенева в том, что он не возражал против тенденциозной интерпретации его романа со стороны реакционеров, стремившихся использовать роман и образ Базарова для поношения и дискредитации демократических идей (см. статью реакционного публициста В. Скарятина «О табунных и некоторых других свойствах русского человека» в приложении к «Русскому вестнику» — «Современная летопись», 1862, № 17). Лишь позднее в статье «По поводу „Отцов и детей“» (1869) Тургенев решительно отвел от себя обвинения во враждебном отношении к демократически настроенной молодежи.

Стр. 315. * *...в своей песне о Тангейзере...* — Писарев в 1859—1860 гг. перевел ряд стихотворений Гейне. Перевод легенды о Тангейзере был включен в публикацию «Отживший мир (из Гейне)», помещенную под псевдонимом «И. П. Рагодин» в «Р. сл.», 1861, кн. 9.

Стр. 320. * *«Шепот, робкое дыханье, трели соловья»* — начало известного стихотворения Фета (1850). Об отношениях Фета и работника Семена см. примечание к стр. 109.

Стр. 324. * Имеется в виду одна из систем одиночного тюремного заключения, введенная в конце XVIII в. в Пенсильвании (США) квакерами; разновидность пенитенциарной системы.

Стр. 328. * *...попробовал написать роман «Свежее предание»... соорудить драму «Разлад»...* —«Свежее предание» — роман в стихах Я. П. Полонского; печатался в журнале «Время» (1861—1862), но не был закончен, носил мемуарный характер, в нем были даны картины московского быта и жизни московских кружков 40-х гг. Здесь имели место выпады против демократической критики. «Свежее предание» вызвало резко полемические отклики в демократической журналистике. Драма «Разлад» была опубликована в журнале «Эпоха» (1864). На фоне шаблонно-романического сюжета давалось тенденциозное освещение польского восстания 1863 г., близкое официально-шовинистической точке зрения. Это и хочет подчеркнуть Писарев, иронически говоря, что Н. В. Кукольник, автор реакционно-монархической пьесы «Рука всевышнего отечество спасла» (1834), может выражать восторг по случаю появления драмы Полонского.

Стр. 331. * «Фанни» (1858) — имевший шумный успех роман французского писателя Э. Фейдо (1821—1873). Добролюбов, указывая на этот успех, считал, однако, роман «неудачной попыткой» разрешить поставленную в нем психологическую задачу (см. Н. А. Добролюбов, Сочинения, т. VII, Гослитиздат, М. — Л. 1963, стр. 231). Об историческом романе Г. Флобера «Саламбо» (1863) иронически отзывался и М. Е. Салтыков-Щедрин в рецензии на «Князя Серебряного» А. К. Толстого («Современник», 1863, № 4). Повесть И. С. Тургенева «Первая любовь» (1860) неизменно, начиная с Добролюбова (в статьях его «Благонамеренность и деятельность» и «Забитые люди»), расценивалась демократической критикой как произведение неудачное; повесть «Призраки» (1864) встретила также резкий отзыв в статье М. А. Антоновича «Современные романы» («Современник», 1864, № 4). Отрицательное отношение демократической критики к «Призракам» было связано с тем, что здесь Тургенев в аллегорической форме выразил свой страх перед народным восстанием.

** См. заключительную фразу Поприщина в «Записках сумасшедшего» Гоголя: «А знаете ли, что у алжирского дея под самым носом шишка?»

Стр. 333. * Цитата из главы 1 тома II «Мертвых душ» Гоголя.

** «Яко крин (сельный)» — библейское сравнение (крин — лилия).

*** *...совершили «в пределе земном все земное»...* — Ср. в стихотворении Е. А. Баратынского «На смерть Гете» (1833):

Почил безмятежно, зане совершил
В пределе земном все земное!

С 1840 гг. это выражение часто употреблялось в ироническом смысле.

Стр. 334. * Две статьи Писарева под общим названием «Пушкин и Белинский» (I — «Евгений Онегин»; II — «Лирика Пушкина») были опубликованы впервые в «Р. сл.», 1865, кн. 4 и 6.

Стр. 356. * Статья Д. В. Аверкиева «Университетские отцы и дети» («Эпоха», 1864, №№ 1—3) являлась полемическим ответом на статью Писарева «Наша университетская наука».

** Имеются в виду брошюра П. Л. Лаврова «Три беседы о современном значении философии» (СПб. 1861) и ряд его популярных статей по философии, печатавшихся в журналах в конце 50-х и в 60-х гг. (в «Библиотеке для чтения», «Отечественных записках», «Русском слове» и др.). Критика философских взглядов П. Л. Лаврова была изложена Н. Г. Чернышевским в его статье «Антропологический принцип в философии».

Стр. 357. * *...раскусили «Критику чистого разума» через восемь лет...* — Первое издание «Критики чистого разума» Канта вышло в 1781 г. Вслед за тем в немецкой печати появилось много жалоб на трудность понимания этой книги. В связи с этим Кант подготовил новое издание (1787), где текст был заново отредактирован. В 1783 г. Кант издал также свои «Пролегомены ко всякой будущей метафизике», явившиеся попыткой разъяснения и истолкования основных идей «Критики чистого разума». В 1786—1787 гг. появились «Письма о философии Канта» К. Л. Рейнгольда, где в популярной форме излагались основные идеи Канта. Говоря, что «немцы раскусили «Критику чистого разума» через восемь лет после ее выхода», то есть в 1789 г., Писарев, очевидно, хочет также указать на то, что основные тенденции кантовской философии и ее противоречия стали особенно понятными в связи с развитием революционных событий во Франции.

** Писарев имеет в виду, очевидно, книжки О. Дебе «Гигиена и физиология брака» и «Книга чудес, или Физиология незримого мира» и П. де Жуванселя «Начала мира», вышедшие в русском переводе в 1863—1864 гг. В «Библиографическом листке» («Р. сл.», 1864, кн. 9 и 11) были даны самые резкие отзывы о них, как о книгах шарлатанских, спекулирующих на интересе широкой публики к вопросам естествознания.

Стр. 364. * *Виктор Ипатьевич* — В. И. Аскоченский.

РАЗРУШЕНИЕ ЭСТЕТИКИ

Впервые — в журнале «Русское слово», 1865, кн. 5. Затем вошла в ч. IV первого издания сочинений (1867). Текст журнальной публикации существенно отличался от текста первого издания. В первом издании были исключены окончания глав III, V и VII, а также отсутствуют главы VIII и IX, имеющиеся в журнальном тексте. Все исключенные в первом издании части журнального текста статьи посвящены полемике со статьей М. А. Антоновича «Современная эстетическая теория».

Эти изменения в тексте статьи при ее перепечатке в первом издании сочинений были произведены издателем Ф. Ф. Павленковым, несомненно с согласия автора. Они вызваны нежеланием в новых условиях после 1866 г., когда журналы «Современник» и «Русское слово» были закрыты, а

на демократические силы обрушились новые преследования со стороны царского правительства, возрождать старые разногласия между демократическими журналами (об этом говорилось в предисловии издателя к ч. IV первого издания сочинений, — см. примечания к статье «Мыслящий пролетариат»). В дальнейших изданиях сочинений Писарева, за исключением тома II «Избранных сочинений Писарева» (М. 1935), составители которого без оснований полагали, что статья подверглась сокращению в первом издании по цензурным условиям, текст этой статьи неизменно воспроизводился по первому изданию. Мы также даем текст статьи по первому изданию. Исключенные в нем окончания глав V и VII, главы VIII и IX журнального текста даны в приложении.

Статья, особенно в журнальной ее редакции, прямо связана с полемикой между «Современником» и «Русским словом». В кн. 2 «Современника» за 1865 г. М. А. Антонович в отделе «Литературные мелочи» ставил перед Г. Е. Благосветловым, как редактором «Русского слова», вопрос: согласен ли он с теорией искусства Чернышевского?

«Теперь вышла вторым изданием книга «Эстетические отношения искусства к действительности», — писал Антонович, — ваши сотрудники непременно должны вполне одобрить эту книгу как выражение положительного реалистического взгляда на искусство, должны восстать на тех, которые не разделяют этого взгляда и опровергают его» (стр. 385).

В кн. 4 «Русского слова» за 1865 г. появилась прежде всего рецензия В. А. Зайцева на второе издание книги Чернышевского. В этой рецензии Зайцев присоединился к эстетической теории Чернышевского, но считал, в соответствии со своей собственной прямолинейной утилитаристской концепцией, что эта теория ведет к отрицанию искусства. Характерным для него было утверждение, что искусство «не более как болезненное явление в искаженном, ненормально развившемся организме».

В кн. 3 «Современника» за 1865 г. Антонович посвятил книге Чернышевского, изложению и защите его эстетических взглядов специальную статью («Современная эстетическая теория».— См. ее в кн.: М. А. Антонович, Литературно-критические статьи, Гослитиздат, М. — Л. 1961, стр. 196—242). Антонович уделял специальное внимание в этой статье критике теоретических ошибок в решении основных вопросов эстетики, допускавшихся в «Р. сл.» Писаревым и Зайцевым.

Статья «Разрушение эстетики» в ее журнальном варианте была посвящена Писаревым, в свою очередь, не только изложению и интерпретации идей Чернышевского, но и резкой полемике с указанной статьей Антоновича, содержавшей ряд расплывчатых формулировок относительно социальной роли искусства. В полемических частях журнального текста статьи (см. приложение 2) Писарев обвинял Антоновича в отступничестве от основных идей Чернышевского, в уступках либерализму.

Полемика по этим вопросам была продолжена Антоновичем в статье «Лжереалисты» («Современник», 1865, кн. 7), а Писаревым — в статье «Посмотрим!» («Р. сл.», 1865, кн. 5).

Статья «Разрушение эстетики» обратила на себя большое внимание. Характерно сочувствие ее идеям со стороны определенных кругов демократической молодежи и резкое осуждение и вражда со стороны реакционной критики. Защитники теории чистого искусства видели в ней крайнее и открытое выражение материалистического взгляда на искусство, безоговорочную защиту основного тезиса Чернышевского об искусстве как воспроизведении действительности. Характерно, что цензор де Роберти, рассматривая ч. IV сочинений Писарева во втором издании (1872) и требуя запрещения этой части, заявлял, что статья «Разрушение эстетики» «проникнута тем же отрицательным направлением в области искусства», что и книга Чернышевского (см. В. Е. Евгеньев-Максимов, Д. И. Писарев и охранители. — «Голос минувшего», 1919, № 1—4, стр. 157).

Стр. 373. * Последнее предложение этой главы имело в «Р. сл.» следующее окончание: «потому что вопрос об искусстве понимается до сих

пор совершенно превратно не только нашими филистерами, но даже и теми самолюбивыми посредственностями, которые считают себя учениками автора и преемниками Добролюбова». Здесь имелся в виду прежде всего М. А. Антонович.

Стр. 375. * Цитируемая дальше статья принадлежит французскому позитивисту, историку Ипполиту Адольфу Тэну. Писарев неправильно раскрыл инициал его имени «Н.»: Hippolite как Henri (Анри).

Стр. 380. * Цитата из стихотворения А. Н. Майкова «Анакреон скульптору».

МЫСЛЯЩИЙ ПРОЛЕТАРИАТ

Впервые опубликована под названием «Новый тип» в журнале «Русское слово», 1865, кн. 10. Затем, под настоящим названием, вошла в ч. IV первого издания сочинений (1867).

Журнальная редакция статьи, помимо названия, в шести случаях содержит существенные отличия от текста первого издания. В главе I в первом издании отсутствует абзац, посвященный критическим откликам на роман Чернышевского и содержащий полемический выпад против М. Е. Салтыкова-Щедрина; в следующем затем абзаце в первом издании исключен конец первого предложения такого же полемического свойства; далее имеются еще два небольших разночтения, также связанные с характеристикой отношения критики к «Что делать?». В журнале глава VII начиналась с указания на «небывалые размеры статьи» и обилие цитат в ней; в той же главе оказалось исключенным еще одно предложение журнального текста статьи. Остальные разночтения не столь существенны. Здесь статья воспроизводится по тексту первого издания с исправлением отдельных его погрешностей по тексту «Русского слова».

Статья Писарева о романе «Что делать?» имеет сложную и еще не вполне уточненную в деталях, хотя теперь уже в основном выясненную историю. Из материалов дела Особого присутствия сената о П. Баллоде, Писареве и других, хранящегося в ЦГАОР, известно, что петербургский генерал-губернатор, князь А. А. Суворов, переслал 8 октября 1863 г. на усмотрение сената только что написанную Писаревым, находившимся в Петропавловской крепости, статью «Мысли о русских романах». Сенат 14 октября ответил Суворову, что «это сочинение, заключающее по преимуществу разбор романа содержащегося под стражею литератора Чернышевского под названием «Что делать?» и преисполненное похвал сему сочинению, с подробным развитием материалистических и социальных идей, в нем заключающихся, по мнению Правительствующего сената, в случае напечатания его, может иметь вредное влияние на молодое поколение, проникнутое этими идеями». Впрочем, в заключении сената указывалось, что «предмет этот подлежит рассмотрению цензуры». Получив такой ответ, Суворов обратился с секретным отношением к министру внутренних дел П. А. Валуеву, в котором передал мнение сената о статье. На это последовала резолюция Валуева: «Теперь же предварить цензоров конфиденциально». Рукопись статьи была возвращена Суворовым автору (см. М. К. Лемке, Политические процессы в России 1860-х гг., изд. 2-е, М. — П. 1923, стр. 576).

Автограф статьи «Мысли о русских романах» до нас не дошел.

До недавнего времени о ней можно было судить только на основании приведенных выше косвенных данных. В 1930-х гг. было высказано предположение, что эта статья представляет собою ранний, не увидевший свет по цензурным условиям вариант статьи, опубликованной позднее в «Русском слове» под названием «Новый тип», а еще через два года в первом издании получившей название «Мыслящий пролетариат», под которым она и стала широко известной читателям (см. Д. И. Писарев, Избранные сочинения, т. II, М. 1935, стр. 607). Это предположение опиралось на ха-

рактеристику основного содержания статьи «Мысли о русских романах» («по преимуществу разбор романа... „Что делать?“») и ее направления («похвалы» этому роману «с подробным развитием материалистических и социальных идей, в нем заключающихся») в приведенном выше мнении сената. Но из названия статьи и из самого сенатского определения явствовало, что статья содержала, кроме разбора романа «Что делать?», также и суждения о других русских романах. Между тем ни в статье «Новый тип» в ее печатном журнальном виде, ни в статье «Мыслящий пролетариат» в первом издании сочинений о других романах, если не считать сопоставления Рахметова с Базаровым, речи не было.

Решающее значение для выяснения истории этой статьи имело открытие списка статьи «Новый тип» в фондах ЦГАОР (см. публикацию В. Архипова «Неизвестные страницы Д. И. Писарева». — «Литературная Россия», 1964, № 18 (70), стр. 9—11). Список находится в бумагах политического ссыльного, участника польского восстания 1863 г. Петра Галицкого, отобранных у него в г. Ялуторовске Тобольской губернии во время обыска в сентябре 1866 г. (ЦГАОР, ф. 109, оп. 214, № 323). Список представляет самодельную тетрадь из пятидесяти восьми листов с пометкой на обложке «№ 1», что дает основание предполагать, что была или должна была быть и другая тетрадь. Список сделан тремя почерками (в переписке статьи, видимо, принимали участие товарищи Галицкого по ссылке Вильбик и Дембовский, умершие в 1865 г.); на обложке подпись владельца тетради, что дало основание в реестр найденных при обыске вещей занести ее как статью самого Галицкого. Статья имеет здесь то же название, что и в «Русском слове», — «Новый тип», с подзаголовком: «По поводу романа г. Чернышевского „Что делать?“».

Из восьми глав известного текста статьи в тетради № 1 содержатся пять первых (в тетради они соответствуют III—VII главам), но им предпосланы две главы, отсутствующие в печатных публикациях. Они и содержат рассуждения о русской литературе и современных романах, в частности русских. Принадлежность их Писареву не вызывает сомнений как по содержанию, поскольку аналогичные мысли высказывались им и в других статьях 1864—1865 гг., так и по стилю изложения. Глава III ялуторовского списка, соответствующая первой главе журнального текста статьи «Новый тип», дает существенно отличный вариант текста и по отдельным деталям и по общей композиции. В ней содержатся, в частности, очень важные эпизоды, раскрывающие отношение Писарева к роману Чернышевского, не попавшие в печатный текст. Бесспорно, что список Галицкого был сделан с первоначального рукописного текста статьи «Новый тип», сокращенного и видоизмененного при его публикации в журнале. Не вызывает сомнений и заключение В. Архипова, что этот список в основе своей совпадает с неизвестной ранее статьей 1863 г., хотя и носит название, данное статье при ее публикации в журнале в 1865 г. Каким образом рукопись статьи Писарева стала доступна Галицкому, данных нет. Но можно предполагать, что списки ее в редакции 1863 г. распространялись еще до появления статьи под названием «Новый тип» в «Русском слове». Расхождения между ялуторовским списком и журнальным текстом статьи «Новый тип» в других главах (IV—VII ялуторовской тетради, то есть соответственно II—V главы журнального текста) менее значительны. Но и здесь имеются отдельные существенные различия. Мы приводим их в примечаниях. Первые три главы текста списка, ввиду их существенного значения, мы помещаем целиком в отдельном приложении.

Таким образом, Писарев откликнулся на роман Чернышевского большой статьей вскоре после опубликования «Что делать?» в «Современнике» (кн. 3—5 за 1863 г.). Возможность опубликовать статью о романе представилась лишь два года спустя, когда журнал «Русское слово» стал выходить без предварительной цензуры. При этом статья подверглась значительному сокращению, отчасти внесены изменения в текст. Эти изменения и, во всяком случае, устранение двух первых глав первоначального текста

статьи «Мысли о русских романах» были произведены не из-за цензурных условий, поскольку материал сохраненных глав являлся не менее, а более опасным в цензурном отношении, а по иным причинам. В. Архипов с основанием предположил, что изъятие двух первых глав объясняется тем, что сходные мысли о русской литературе и романах Писаревым уже неоднократно высказывались в ранее опубликованных статьях (1864—1865 гг.), в частности в статье «Реалисты».

Различия между текстом статьи в «Русском слове» и в первом издании имеют другое объяснение. Они связаны прежде всего с полемикой между «Русским словом» и «Современником» (см. краткие сведения об этой полемике в примечаниях к статье «Реалисты»). В предисловии издателя (Ф. Ф. Павленкова) к ч. IV первого издания так объяснялись причины, по которым был задержан ее выход в свет:

«В своих публикациях мы постоянно объявляли, что 4-я часть «Сочинений Д. И. Писарева» выйдет после 8-й. Это происходило потому, что мы не считали возможным принять на себя нравственную ответственность за возрождение похороненной полемики «Современника» с «Русским словом». Нам казалось, что после всем известных дней, когда та и другая партия вдруг оказались рассеянными [1], кидать в какую-либо из них камнем значило бы работать в пользу тех, с кем мы *не можем* быть солидарными, в пользу тех, кто основывает свою силу на окружающем бессилии. Вот почему мы от всей души желали исключения из нашего издания статьи «Посмотрим!». Но понятно, что для такого исключения нам было все-таки необходимо согласие самого Д. И. Писарева, который, к сожалению, в то время находился в крепости. В полной надежде на получение его согласия в будущем, мы и откладывали печатание той части (4-й), в которой было предположено автором поместить вышеупомянутую полемическую статью. По выходе 8-й части ожидаемое согласие было наконец нами получено, и мы считаем долгом предуведомить своих подписчиков, что, взамен выбывшей статьи, они найдут в 4-й части три следующие: «Генрих Гейне», «Наши усыпители» и «Подвиги европейских авторитетов». Две первые из них появляются в печати в первый раз».

Две первые купюры из числа указанных нами выше разночтений первого издания (см. примечание к стр. 387), несомненно, вызваны теми же причинами, по которым была исключена статья «Посмотрим!», поскольку здесь имели место выпады против «Современника» и Щедрина. Характерно, что в том варианте главы, который представлен ялуторовским списком, этих полемических строчек также нет. Они, следовательно, появились непосредственно в процессе подготовки текста статьи 1863 г. для журнальной публикации, когда полемика между двумя журналами была в самом разгаре. Этим же, очевидно, объясняется и небольшая правка текста на стр. 388.

Начало главы VII журнальной редакции, где речь шла о «небывалых размерах статьи» и о том, что «много в ней цитат», было снято в первом издании, поскольку эта характеристика статьи уже не отвечала тому виду, в каком она появилась в журнале. Это было устранением следов первой, более обширной редакции статьи 1863 г., механически сохранившихся при публикации статьи в журнале.

Иного объяснения следует искать для переименования статьи в первом издании. Под названием «Мыслящий пролетариат» первоначально была помещена в «Русском слове» (кн. 1 за 1865 г.) статья Писарева о романах Помяловского, в первом издании (ч. III, 1866) получившая название «Роман кисейной девушки». По первоначальному замыслу этой статьи о Помяловском Писарев действительно собирался затронуть в ней

---

[1] Намек на репрессии, последовавшие после выстрела Каракозова в апреле 1866 г., в частности на то, что оба журнала были правительством закрыты. — *Ю. С.*

проблему «мыслящего пролетариата», особенно занимавшую его в годы развития им «теории реализма». Но, как он признавался сам, статья эта в конце «соскочила с рельсов» и указанная в ее заглавии тема не нашла развития.

Название «Мыслящий пролетариат», напротив, непосредственно подходило к статье о «Что делать?», так как именно эта тема трудовой разночинной интеллигенции, посвятившей себя борьбе за преобразование общества, оказывалась в ней центральной. Вместе с тем переименование статьи «Новый тип» при ее воспроизведении в первом издании сочинений вызывалось и историей ее журнальной публикации. Появление статьи «Новый тип» в «Русском слове» навлекло серьезные цензурные преследования. Журнал получил за статью 20 декабря 1865 г. первое предостережение со стороны карательной цензуры. На этом настаивал в своем отзыве о книге 10 журнала И. А. Гончаров, бывший тогда цензором. Он называл статью «поразительным образцом крайнего злоупотребления ума и дарования», «буйно младенческим лепетом». Аналогичный отрицательный отзыв о статье содержался и в докладе цензора Скуратова на заседании Цензурного комитета 15 декабря 1865 г. В предостережении цензурного ведомства указывалось, что автор статьи «отвергает понятие о браке» и «проводит теорию социализма и коммунизма» [1]. Естественно, что опубликование статьи под тем же названием могло сказаться и на судьбе ч. IV первого издания.

Опубликование статьи в первом издании сочинений под новым названием действительно не повлекло за собою преследований издателя. Очевидно, цензура не решилась на это, находясь под впечатлением окончившегося для нее неудачно судебного процесса в связи с наложением ареста на выпущенную годом ранее Ф. Ф. Павленковым ч. II первого издания.

Зато появление этой же части во втором издании (1872) дало новый повод для гонений. Воспользовавшись реакционным законом о печати от 7 июня 1872 г., комитет министров в своем решении от 22 сентября 1873 г. запретил выход в свет этой части. Цензор де Роберти в отзыве заметил по поводу статьи Писарева, что автор выставляет тип «новых людей-нигилистов» «в самом выгодном свете, в противоположность тупоумным, невежественным наставникам — этим Молчалиным и Полониям журналистики и общества, которых кормит и греет рутина и под которыми автор, очевидно, разумеет представителей консервативного направления». Указывалось, что статья «служит восторженною рекламою» романа Чернышевского и что критик «превозносит талант автора романа, признает безусловную справедливость его воззрений, объясняет их и подкрепляет своими собственными рассуждениями».

В дальнейшем статья долго не переиздавалась. Лишь после революции 1905 г. она была включена в дополнительный выпуск к шеститомному собранию сочинений Писарева в издании Ф. Ф. Павленкова.

Ф. Кузнецов в рецензии на издание сочинений Писарева 1955—1956 гг. («Вопросы литературы», 1959, № 1, стр. 228—231) высказал сомнение в том, возможно ли при публикации этой статьи придерживаться текста первого издания сочинений. Он приводит письмо Павленкова к Писареву от 9 ноября 1867 г., где выражено нежелание Писарева печатать статью «Новый тип» с теми изменениями, которые были предложены Павленковым. Ф. Кузнецов без достаточных оснований делает вывод, что все изменения, внесенные в текст статьи в первом издании, были сделаны Павленковым «в угоду цензуре». Но, как мы видели из обзора и анализа разночтений журнального текста и текста первого издания, все изменения, кро-

---

[1] См. об этом: В. Е. Евгеньев-Максимов, Д. И. Писарев и охранители.— «Голос минувшего», 1919, № 1—4, а также: К. Военский, Гончаров-цензор. — «Русский вестник», 1906, № 10.

ме перемены названия, явно иного происхождения; они не связаны с опасением цензурных преследований. Вряд ли можно предполагать, что Павленков опасался цензурных гонений за те места статьи, которые были обращены против «Современника» и Салтыкова-Щедрина. Нет оснований предполагать и намеренную «фальсификацию» текста Павленковым вопреки воле Писарева, как об этом пишет Ф. Кузнецов. В письме Павленкова есть прямое указание на то, что сам Писарев в свое время знал об этих изменениях, и на то, что «фальсификация названия» статьи исходила не от издателя. Зная отношение Ф. Ф. Павленкова к Писареву, трудно предполагать и то, что он мог опубликовать статью Писарева в измененном виде, не получив на это окончательного согласия автора, как Павленков и указывает сам в предисловии. Правильнее полагать, что если в ходе подготовки издания этой части между издателем и Писаревым и возникли разногласия, они в конце концов были устранены.

Ф. Кузнецов ссылается на то, что в дополнительном выпуске к шеститомному изданию сочинений (первое издание дополнительного выпуска — 1907 г.; третье, последнее — 1913 г.) эта статья была дана по тексту журнала, хотя и под названием «Мыслящий пролетариат». Но дополнительный выпуск сочинений Писарева был издан уже после смерти Павленкова, и нет оснований думать, что именно Павленков обратился к журнальному тексту, выполняя задним числом «последнюю волю» Писарева. Тем более, что самым серьезным изменением текста статьи, вызванным внешними причинами, было именно ее переименование. Если учесть, что статья уже получила широкую известность именно под новым своим названием, возвращение к первоначальному названию вряд ли было желательным. Этими причинами объясняется, почему мы публикуем здесь статью по тексту первого издания, не восстанавливая в основном тексте тех небольших кусков журнального текста, по преимуществу полемического свойства, которые были исключены в первом издании.

Стр. 386. * *...подверженных... страданиям светобоязни...* — Здесь в эзоповском смысле: речь идет о публицистах, враждебных демократическим идеям. Ср. характерное образное употребление в демократической публицистике выражения «луч света» после известной статьи Добролюбова.

** Писарев приводит здесь несколько типичных для реакционной и либеральной публицистики 1860—1863 гг. выпадов по адресу представителей демократического направления. Так, в невежестве, деспотизме мысли, глумлении над наукою обвиняли демократическую журналистику Катков в «Русском вестнике» (например, в статье «Виды на entente cordiale с „Современником“» — кн. 7 за 1861 г.), А. К. (А. А. Котляревский) — в статье «Жертвы „Современника“» («Московские ведомости» от 17 сентября 1861 г.) и другие; свистунами, мальчишками называли демократических деятелей также с легкой руки Каткова (см. его «Несколько слов вместо „Современной летописи“» — кн. 1 «Русского вестника» за 1861 г.). Слово «свистопляска» было пущено в ход М. П. Погодиным в феврале 1860 г. в открытом письме Н. И. Костомарову, которого он вызывал на публичный диспут по норманнскому вопросу. Погодин применил это слово по адресу «Современника» и его руководителей. Об «умственном и литературном казачестве», о «буйном разгуле мысли» и т. д. писал Б. Н. Чичерин во «Вступительной лекции по государственному праву, читанной в Московском университете» (опубликована в газете «Московские ведомости» от 31 октября 1861 г.). Аналогичные выпады против демократической литературы повторялись им и в статьях, опубликованных в газете «Наше время» за 1862 г. (например, в статье «Что такое охранительные начала?», № 39, от 22 февраля). Публицист «Отечественных записок» С. С. Громека утверждал, что демократическая журналистика внесла своим «отрицанием» разлад в общество и тем самым якобы способствовала усилению реакции. Либеральный публицист писал о том, что когда вся журналистика в целом осаждала крепостников, «упала со свистом и шумом бомба отрицания», пущенная демократами, и ее «первые осколки посыпались на

лагерь осаждавших», а «осажденные обрадовались и вздохнули свободнее» («Отечественные записки», 1863, кн. 3, отдел «Современная хроника России», стр. 9).

Стр. 387. * Далее в «Р. сл.» следовал абзац:

«Дружный ропот негодования пронесся по всей нашей журналистике, когда роман этот увидел свет. Заговорило все, что могло говорить[1], а на противоположной стороне господствовало полное и глубокое молчание. Когда наконец через год молчание это нарушилось, «вольные» критики и публицисты могли сказать, что полку их прибыло. Целый год истощалось их остроумие по поводу алюминиевых колонн, нейтральной комнаты, вечных песен Белой Арапии[2] и проч. Наконец, истощившись в последнем усилии главы российских казеннокоштных сатириков, оно смолкло окончательно, как будто роман погребен навеки соединенными усилиями вольных писателей».

Здесь явный выпад против Щедрина. В фельетоне из серии «Наша общественная жизнь» («Современник», 1864, кн. 1), направленном против «Русского слова», Щедрин писал: «„Со временем“ зайцевская хлыстовщина утвердит вселенную... „со временем“ милые нигилистки будут бесстрастною рукою рассекать человеческие трупы и в то же время подплясывать и подпевать „Ни о чем я, Дуня, не тужила“ (ибо „со временем“, как известно, никакое человеческое действие без пения и пляски совершаться не будет)»[3]. В. А. Зайцев в фельетоне «Глуповцы, попавшие в „Современник“» («Р. сл.», 1864, кн. 2) обвинил Щедрина в насмешках над романом «Что делать?», именно над сценами будущей жизни при социализме, как они были изображены в четвертом сне Веры Павловны. Щедрин ответил на это обвинение в очередном фельетоне «Нашей общественной жизни» («Современник», 1864, кн. 3): «В прошлом году вышел роман «Что делать?», — роман серьезный, проводивший мысль о необходимости новых жизненных основ и даже указывавший на эти основы. Автор этого романа, без сомнения, обладал своею мыслью вполне, но именно потому-то, что он страстно относился к ней, что он представлял ее себе живою и воплощенною, он и не мог избежать некоторой произвольной регламентации подробностей, и именно тех подробностей, для предугадания и изображения которых действительность не представляет еще достаточных данных. Для всякого разумного человека этот факт совершенно ясный, и всякий разумный человек, читая упомянутый выше роман, сумеет отличить живую и разумную идею от сочиненных и только портящих дело подробностей. Но вислоухие[4] понимают дело иначе; они обходят существенное содержание романа и приударяют насчет подробностей, а из этих подробностей всего более соблазняет их перспектива работать с пением и плясками»[5].

Сама аттестация Щедрина у Писарева как «главы казеннокоштных сатириков» повторяет те выпады, которые уже допускало «Русское слово» в ходе полемики в конце 1864 г. В данном случае это намек на то, что Щедрин служил вице-губернатором.

** В «Р. сл.» предложение оканчивалось словами: «от „Развлечения“ до „Современника“». Сопоставление «Современника» с юмористическим

---

[1] То есть реакционная и либеральная журналистика. — *Ю. С.*

[2] «Эпопеей о Белой Арапии» назвал «Что делать?» Ап. Григорьев в статье «Отживающие в литературе явления» («Эпоха», 1864, кн. 7), желая подчеркнуть неосуществимость социалистических идеалов Чернышевского. — *Ю. С.*

[3] Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. VI, Гослитиздат, М. 1941, стр. 246.

[4] То есть Зайцев и другие сотрудники «Русского слова». — *Ю. С.*

[5] Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. VI, Гослитиздат, М. 1941, стр. 326.

журнальчиком, плоско осмеивавшим «Что делать?», также носило явно полемический характер.

Стр. 388. * Вместо слов: «отвечающих жалкими словами на всякую новую и сильную мысль» в «Р. сл.» было: «не имеющих другого возражения, кроме бессмысленного слова „утопия"».

Стр. 390. * Речь идет о статье М. А. Антоновича «Асмодей нашего времени».

Стр. 396. * В ялуторовском списке: «в самом деле». В. Архипов, публикуя этот список («Литературная Россия», 1964, № 18, стр. 11), полагал, что в печатном тексте статьи имела место опечатка. Однако слова «в самом себе» (здесь текст «Р. сл.» и первого издания совпадают) вполне соответствуют всему смыслу высказывания, кратко формулирующего теорию «разумного эгоизма».

Стр. 398. * *...Гарибальди... раненный при Аспромонте итальянскою пулею...* — См. примечание к стр. 292.

Стр. 399. * Свободная передача слов Гоголя из главы VI тома I «Мертвых душ».

Стр. 400. * В ялуторовском списке эта глава оканчивается следующим образом: «Ну что, милый простой читатель? Посмотрим на новых людей? Что ж, они — большие злодеи?»

Стр. 406. * В ялуторовском списке это предложение звучит так: «А если между тысячами читателей найдется только человек пять, которые решатся произвести по этому плану опыты, то роман «Что делать?» произведет столько деятельного добра, сколько не произвели до сих пор все усилия наших художников и обличителей». Напротив, в этом списке три последних предложения данного абзаца отсутствуют.

Стр. 407. * Имеется в виду памфлет Г. Гейне «Людвиг Берне» (1840).

** В ялуторовском списке вместо «ее портрет» — «портрет Герцена». Любопытно, что в «Что делать?» никаких намеков на портрет Герцена нет; в комнате Лопухова висели действительно только портрет Веры Павловны и «святого старика».

Стр. 409. * В ялуторовском списке статьи после этого следовало: «Это сомнение облечено у г. Чернышевского в форму тревожного сна. Здесь, для утешения неисправимых эстетиков, я, пожалуй, замечу, что эта форма выбрана неудачно и что вообще Вера Павловна в течение всего романа видит такие сны, которые никто никогда не видал; уж очень они умны и всегда оказываются аллегорического или пророческого свойства, так что напоминают собою тощих и тучных коров царя Фараона. Но я это говорю, собственно, для того, чтобы заткнуть рот эстетикам и чтобы избавить себя от подозрения в безусловном пристрастии к роману г. Чернышевского. А по-моему, решительно все равно, во сне или наяву родилось у Веры Павловны сомнение ужасное. Важно и любопытно знать, как она распорядилась с этим сомнением».

Стр. 416. * В «Р. сл.» глава VII имела следующее начало:

«Длинна моя статья, и много в ней цитат, и совестно утомлять мне читателя, а все-таки я не решаюсь рассказать конец взятого мною эпизода в коротких словах и не могу отказать себе в удовольствии привести еще несколько выписок. Такой роман, как «Что делать?», составляет небывалое явление в нашей литературе; поневоле приходится писать об нем и критическую статью небывалых размеров. Как, например, пересказать читателю ту сцену, в которой Вера Павловна объявляет Лопухову, что любит Кирсанова? Как передать ту удивительную теплоту и нежность чувства, которую обнаруживает...» И далее, как в тексте первого издания.

Стр. 417. * В «Р. сл.» далее следовала еще фраза: «С таким читателем рассуждать серьезно не следует».

Стр. 429. * В учебнике Смарагдова «Краткое начертание всеобщей истории» злодеями, извергами и т. д. именовались Марат, Робеспьер и другие якобинцы.

ПОДРАСТАЮЩАЯ ГУМАННОСТЬ

Впервые опубликована в «Русском слове», 1856, кн. 12, под названием «Сельские картины» и подписана псевдонимом: «Д. Рагодин». Затем вошла в ч. IV первого издания сочинений (1867) под настоящим названием, с сохранением журнального названия в подзаголовке. Отличия журнального текста и текста первого издания незначительны и сводятся преимущественно к пропуску отдельных предложений или их частей. Здесь воспроизводится по тексту первого издания с исправлением по тексту журнала явных корректурных погрешностей. Наиболее существенные варианты журнального текста даны в примечаниях.

Известный сербский писатель Светозар Маркович, встречавшийся с Писаревым в 1866—1867 гг. в Петербурге, издал в г. Нови-Сад в 1877 г. (в одной из книжек серии «Мала библиотека») перевод на сербскохорватский язык последней части статьи (диалог между автором и Щетининым) под названием «Разговор с либералом». В этом переводе имеется следующее окончание, отсутствующее как в журнальном русском тексте, так и в тексте первого издания:

«В заключение запомните следующую простую истину: будете ли вы хорошим или плохим, вам, как вы могли видеть, не будет добра. Если вы будете хорошим, вас разорят работники, если вы будете плохим, то вы доведете их до разорения. Ни то ни другое вам не нравится, и вы не можете понять, отчего это происходит. Между тем причина этого чрезвычайно проста: вы хотели бы, чтобы вы получали доход не работая. Полно, откажитесь от господства, работайте сами, и вы увидите, что не произойдет никакой беды. Попробуйте... Но куда уж вам пробовать! Вы предпочитаете жить «по-старому». Идите и живите в довольстве по-старому. Есть люди иного склада, которые разрушат это «старое» и которые достаточно сильны, чтобы не искать вашей помощи» [1].

Принадлежит ли это окончание статьи Писареву или оно было прибавлено переводчиком в духе всего предшествующего изложения, решить за отсутствием рукописи статьи не представляется возможным.

Статья Писарева обратила на себя внимание цензуры при прохождении ч. IV сочинений во втором издании (1872). Как отмечал цензор де Роберти, автор статьи «старается доказать, что при настоящих экономических условиях можно быть или эксплуататором чужого труда, или подвергаться эксплуатации других и что никакие либеральные и гуманные нововведения не могут ничего изменить без коренного изменения всего экономического строя по идеалам новых людей» (см. В. Е. Евгеньев-Максимов, Д. И. Писарев и охранители. — «Голос минувшего», 1919, № 1—4, стр. 157). На основании отзыва де Роберти ч. IV второго издания сочинений была запрещена.

Стр. 432. * В «Р. сл.» было еще: «и зачем надувает».

Стр. 438. * *...совершил в пределе земном все земное...* — См. примечание к стр. 333.

Стр. 441. * Эти утверждения М. А. Антоновича взяты из его статьи «Современная эстетическая теория». См. полемику Писарева с ним на стр. 569—570 наст. изд.

** *...мы вообще не созрели...* — иронический намек на один эпизод в полемике 60-х гг., получивший широкую известность. В связи с обсуждением в журналистике деятельности Русского общества пароходства и торговли в зале Пассажа в Петербурге 13 декабря 1859 г. состоялся публичный диспут между Н. П. Перрозио, критиковавшим ведение дел обществом, и И. А. Смирновым, оправдывавшим правление общества. Председательствующий на диспуте специалист по финансовым вопросам

---

[1] См. В. Г. Карасев, Д. И. Писарев и Светозар Маркович.— «Краткие сообщения Института славяноведения», вып. 9, М. 1952.

Е. И. Ламанский сказал, закрывая собрание ввиду возникшего на нем скандала, что «мы еще не созрели» для публичного обсуждения общественных вопросов. Эта фраза неоднократно воспроизводилась в демократической журналистике для осмеяния отношений либералов к общественному движению 60-х гг.

Стр. 450. * В «Р. сл.»: «принцип вольнонаемного труда».

Стр. 452. * В тексте «Р. сл.» было: «его не вытравишь никакими тонкими умствованиями и не отмоешь никакими горькими слезами».

** Moral restraint (нравственное самовоздержание) — распространенное в английской буржуазной политической экономии требование, чтобы трудящиеся воздерживались от деторождения, поскольку причиной ухудшения положения масс, по Мальтусу, является то, что население растет гораздо быстрее, чем производительные силы общества.

Стр. 461. * Камералисты — студенты камерального факультета, бывшего тогда в Петербургском университете. Камеральные науки — устарелое название наук, посвященных изучению народного хозяйства.

** *...подняться в третий этаж...* — В третьем этаже Петербургского университета помещался восточный факультет.

Стр. 466. * В «Р. сл.» далее следовало: «И доходам господским из-за этого уменьшаться — ха, ха, ха!»

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

Впервые напечатана в ч. IV первого издания сочинений (1867). В шеститомном издании Ф. Ф. Павленкова перепечатывалась в томе II среди статей 1862 г. Это дало повод ряду исследователей ошибочно датировать статью 1862 г. На самом деле она не могла быть написана ранее 1866 г.

Писарев цитирует здесь издание «Сочинений Генриха Гейне в переводе русских писателей под редакцией Петра Вейнберга», первый том которого вышел в 1864 г. В главе II статьи указывается, что «в настоящее время» «одиннадцать томов уже находятся в руках читающей публики, а все издание будет состоять из пятнадцати томов». Том XI издания П. И. Вейнберга вышел в 1866 г.[1] Указание на то, что издание будет состоять не из одиннадцати томов, как предполагалось ранее, а из пятнадцати томов, было сделано только на обложке томов этого издания, вышедших в 1865 г.

В объявлении издателя (Ф. Ф. Павленкова) о составе первого издания сочинений Писарева на обложках тех частей его, которые вышли в 1866 г., еще не значится данной статьи. Первое упоминание о ней находим лишь в объявлении, приложенном к ч. VIII, вышедшей в 1867 г. В предисловии к ч. IV говорится, что статья «Генрих Гейне» помещена в ней, наряду с двумя другими статьями, взамен выбывшей статьи «Посмотрим!» и что она «появляется в печати в первый раз».

Сербский писатель Светозар Маркович в очерке «Литературный вечер» указывает, что Писарев выступил на одном вечере, на котором присутствовал Маркович, живший в Петербурге в 1866—1869 гг., с чтением реферата о Гейне. Приводимые Марковичем выдержки из этого реферата[2] не оставляют сомнения в том, что читалась именно эта статья или отрывки из нее. Естественно, что Писарев выступал с произведением, только что или недавно им написанным и еще недостаточно известным публике.

---

[1] Однако к началу 1867 г. вышло в действительности десять томов, а не одиннадцать, так как том X появился позднее, в 1868 г. — *Ю. С.*

[2] См. С. Марковиħ, Целокупна дела, т. II, свезка 8. Београд, 1893. Точная дата вечера неизвестна.

Таким образом, несомненно, что статья была написана критиком уже после его освобождения из крепости, не ранее самого конца 1866 г. При прохождении в цензуре ч. IV второго издания сочинений (1872) статья вызвала преследования. Цензор де Роберти отвечал: «На мысли и суждения Гейне критик смотрит с точки зрения «нового человека» и сходится с немецким поэтом в том, в чем замечает дух отрицания, осуждая беспощадно во всем, что противно этому духу... Автор оправдывает необходимость революции при известных обстоятельствах, сравнивая ее с вынужденною оборонительной войной, самозащитою и сильными, необходимыми в опасных болезнях лечебными средствами» (см. В. Е. Евгеньев-Максимов, Д. И. Писарев и охранители. — «Голос минувшего», 1919, № 1—4, стр. 156). На основании этого доклада цензора решением комитета министров от 22 октября 1873 г. ч. IV второго издания была запрещена.

В изданиях шеститомного собрания сочинений Д. И. Писарева 1894 и 1897 гг. статья публиковалась со значительными цензурными купюрами (так, в главе VII было изъято все рассуждение о революциях).

Стр. 480. * Мистагог — в древней Греции жрец, вводивший посвященных в мистерии (таинства, связанные со служением божеству). Иерофант — старший жрец, первосвященник в элевсинских мистериях.

Стр. 482. * *...в писании Лас-Каза, Омеары и Антомарки...* — Имеются в виду мемуары врачей Наполеона I О'Мира (O'Meara), Антомарки и его друга Лас-Каза о пребывании Наполеона на острове св. Елены. В них сообщалось о суровом обращении с Наполеоном губернатора острова Гудсона Ло.

Стр. 486. * *...взбросить Пелион на Оссу...* — то есть совершить невероятные подвиги. Имеется в виду греческий миф о титанах, которые в борьбе с Зевсом взгромоздили горный хребет Пелион в Восточной Фессалии на гору Оссу, чтобы достигнуть Олимпа.

Стр. 489 * Союзный сейм — представительный орган государств, входивших в состав Германского союза; создан после Венского конгресса; был орудием реакционного Священного союза.

Стр. 493. * Chambre introuvable — буквально: «ненаходимая палата», то есть подобную которой не найти, — прозвище, данное Людовиком XVIII французской палате депутатов, поскольку она с готовностью поддерживала его.

Стр. 498. * *...грациозные оды к Лигурину и Делии...* — Имеются в виду оды Горация. *...делают свой кейф на... подушках западно-восточного дивана...* — Каламбур, использующий название лирического цикла Гете «Западно-восточный диван».

Стр. 502. * Речь идет о героическом сопротивлении республиканцев во время восстания 5—6 июня 1832 г. в районе переулка Сен-Мерри и монастыря того же названия в Париже. Гейне говорит об этом эпизоде в книге «Французские дела».

Стр. 506. * Имеется в виду Луи Филипп и поддерживавший его претензии на трон старый маршал Лафайет, деятель французской буржуазной революции конца XVIII в.

Стр. 511. * *...Румфордов суп полезности...* — Суп для бедных из костей и других отбросов; «изобретение» английского физика Румфорда, занимавшегося также и филантропией.

ФРАНЦУЗСКИЙ КРЕСТЬЯНИН В 1789 ГОДУ

Впервые опубликована без подписи в журнале «Отечественные записки», 1868, кн. 6. Затем вошла в ч. X первого издания сочинений (1869). Существенных расхождений между этими публикациями нет.

Исторические романы французских писателей Пьера Александра Шатриана и Эмиля Эркмана, писавших совместно, пользовались широкой из-

вестностью у русских читателей 1860—1870 гг. Роман «История одного крестьянина» появился в русском переводе (под названием «На рассвете») в журнале «Дело» (1868, №№ 4—8) одновременно с его первой публикацией во Франции. Отдельное издание полного перевода романа, выполненного известной писательницей Марко Вовчок, вышло в 1872 г. С тех пор переводы романа неоднократно у нас переиздавались (последнее издание в двух томах — М. 1967).

Стр. 522. * Русские переводы перечисленных здесь романов печатались первоначально в журнале «Русское слово» в 1865 г.

Стр. 528. * Государственные чины — Генеральные штаты. См. примечание к стр. 101.

** Эркман и Шатриан были родом из Эльзаса.

Стр. 539. * *...Папы сначала гнались за недостижимым призраком гильдебрандовской теократии...* — Гильдебранд (ставший папой под именем Григория VII в 1073 г.) выдвинул теорию, согласно которой власть папы выше светской власти.

Стр. 542. * Имеется в виду «Исповедание савойского викария» — эпизод из книги Жана Жака Руссо «Эмиль, или О воспитании».

Стр. 544. * *...не надо попадаться с кельнскими или амстердамскими изданиями...* — В Кельне и Амстердаме печатались многие произведения французских просветителей, нелегально провозимые затем во Францию и преследуемые там за антифеодальные и антиклерикальные идеи.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. НОВЫЙ ТИП.

По поводу романа Чернышевского «Что делать?»

Стр. 551. * Из стихотворения Я. П. Полонского (1856).

** Начальная строка из стихотворения Пушкина «Клеветникам России» и строка из строфы XXXIII первой главы «Евгения Онегина».

*** Из стихотворения А. А. Фета «Фантазия».

Стр. 552. * Из стихотворения Я. П. Полонского «На Женевском озере».

** Роман «Путешествие молодого Анахарсиса в Грецию» аббата Жана Жака Бартелеми (1788), имевший особую популярность в конце XVIII — начале XIX в.

*** Из поэмы Вс. Крестовского «Фрина».

**** Из стихотворения А. Н. Майкова «Допотопная кость».

***** Из стихотворения А. Н. Майкова «Как чудных странников сказанья...».

****** *...у него есть миросозерцание...* — Применительно к антологическим стихотворениям А. Н. Майкова, о выражении в них «древнего миросозерцания» впервые писал Белинский (статья «Стихотворения Аполлона Майкова» (1842) — см. В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. VI, Гослитиздат, М. 1955, стр. 15—17). О Майкове как поэте, имеющем «определенное трезвое миросозерцание», говорил и сам Писарев в статье 1861 г. «Писемский, Тургенев и Гончаров» (Писарев, т. 1, стр. 196). См. также в его статье 1860 г. «Мысли по поводу сочинений Марко Вовчка» (Сочинения Д. И. Писарева, полное собрание в шести томах. Дополнительный выпуск, 3-е изд., СПб. 1913, стр. 112).

Стр. 555. * *...похожи на соллогубовского Надимова...* — Надимов — ходульный образ «добродетельного» бюрократа из комедии В. А. Соллогуба «Чиновник», пользовавшейся особым успехом в либеральных кругах 50-х гг. Демократическая критика неизменно осмеивала поверхностный обличительный «пафос» Надимова.

2. РАЗРУШЕНИЕ ЭСТЕТИКИ

(Части журнального текста, не вошедшие в первое издание сочинений Д. И. Писарева)

Стр. 563. *...*параллель... между великим Моцартом и великим поваром Дюссо... и так далее...* — См. главу XXIX «Реалистов».

** Здесь имеет место резкий полемический прием. Антонович обвиняется в сознательном отступничестве от идей Чернышевского, в чем автор «Эстетических отношений», находившийся на каторге, не мог, как дает понять Писарев, уличить Антоновича.

Стр. 567. * Намек на фельетон М. Е. Салтыкова-Щедрина из серии «Наша общественная жизнь», опубликованный (без подписи) в кн. 3 «Современника» за 1864 г. Ср. в нем следующие фразы, направленные против публицистов «Русского слова» и особенно В. А. Зайцева: «Нет мысли, которой наши вислоухие не обесславили бы, нет дела, которого они не засидели бы... Им кажется, что вся Россия взирает на них и что сам Молешотт напутствует их из своего далека» (см. Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. VI, Гослитиздат, М. 1941, стр. 327—328).

Стр. 569. * ...*голова... с крепкими и прочными перегородками...* — Говоря в полемической статье «Прогулка по садам российской словесности» («Р. сл.», 1865, кн. 3) о филистерской критике и имея в виду непосредственно публицистов реакционного «Русского вестника» и либеральных «Отечественных записок», и в частности — статью Е. Ф. Зарина (псевдоним: Incognito) «Предисловие к литературному обозрению. О качестве и количестве прогресса в новейшем движении нашей литературы», направленную против «Русского слова» и специально против статьи «Реалисты», Писарев так иронически характеризовал эклектизм критика-филистера: «И предрассудки и знания живут тихо и смирно рядом в одной и той же голове, потому что эта голова разгорожена на несколько отдельных клеток, не имеющих между собою никакого сообщения. В одной клетке лежит у филистера политическая экономия; в другой — нравственная философия; в третьей — эстетика; в четвертой — уголовное право; в пятой — физиология, в шестой — история и так далее» (Писарев, т. 3, стр. 279; см. там же, стр. 291).

Стр. 572. * Речь идет об очерке из раздела «Внутреннее обозрение» («Современник», 1865, кн. 3, стр. 131—176), составленном Г. З. Елисеевым.

** В указанном выше «Внутреннем обозрении» Г. З. Елисеев вслед за упоминанием о свирепствовавшей среди бедняков Петербурга эпидемии возвратного тифа и о голоде в Самарской губернии писал: «А другие? У других есть много забот более важных, чем эпидемия в Петербурге или голод в Самарской губернии. Возьмем, например, хоть Петербург; в нем есть итальянская опера, русская опера, балет, театров сколько! Сколько здесь блестит разных артистических солнц, которым всем надобно поклониться» (стр. 164). В заключение иронически говорилось: «А еще называют нигилистов веселыми людьми! Какие это веселые люди! Это какие-то своего рода аскеты, которых воззрения способны убить всякую эстетически развитую натуру. Они, например, утверждают, что стремление к *высоким наслаждениям души* при расстройстве экономических сил в целом обществе, при множестве настоятельных, неотложных потребностей для его благоустройства, остающихся неудовлетворенными, — не свидетельствует нисколько о высокой развитости общества, а показывает, напротив, только крайнюю распущенность в нем нравов» (стр. 171; курсив источника).

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ[1]

[1] В указатель включены имена исторических лиц и названия журналов и газет, упоминаемые в сочинениях Писарева, вошедших в данное издание. Указатель аннотирован выборочно, с учетом степени известности имени исторического лица и контекста, в котором оно упоминается у Писарева. Курсивом выделены те страницы, на которых данное лицо непосредственно не упоминается, хотя речь идет о его произведениях, их персонажах, приводятся цитаты и т. д. — *Ред.*

СОДЕРЖАНИЕ

Д. И. ПИСАРЕВ
Избранные произведения

Редактор Р. Белло
Художественный редактор Л. Чалова
Технический редактор М. Андреева
Корректор Л. Никульшина

Сдано в набор 6/II 1968 г. Подписано к печати 15/V 1968 г. Тип. бум. № 2. Формат 60×90 1/16. 38,5 печ. л. 38,5 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 38,872+1 вкл. = 38,915. Тираж 25 000 экз. Заказ № 1464. Цена 1 р. 18 к.

Издательство
«Художественная литература»
Ленинградское отделение
Ленинград, Невский пр., 28

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор» им. А. М. Горького Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, г. Ленинград, Гатчинская ул., 26